КНИГА НОВОГО СОЛНЦА

ДЖИН ВУЛФ



МЕЧ И ЦИТАДЕЛЬ

fanzon

Меч и Цитадель
Джин Вулф

Аннотация
Джин Вулф. Меч и Цитадель
Меч ликтора
I. Владыка Дома Оков
II. Над порогами
III. Убогий хакаль
IV. В бартизане Винкулы
V. Кириака
VI. Библиотека Цитадели
VII. Влечения
VIII. У обрыва
IX. Саламандра
X. Свинец
XI. Десница прошлого
XII. Вслед за текущей водой
XIII. В горы
XIV. Домик вдовы
XV. «Он там, впереди!»
XVI. Альзабо
XVII. Меч ликтора
XVIII. Два Севериана
XIX. Сказка о мальчике по прозванию Лягу-

шонок
Часть первая. Раннее Лето и ее сын
Часть вторая. Как Лягушонок нашел новую мать
Часть третья. Золото Черной Смерти
Часть четвертая. Пашня Рыбки
XX. Колдовской круг
XXI. Поединок магов
XXII. У подножья великой горы
XXIII. Проклятый город
XXIV. Мертвое тело
XXV. Тифон и Пиатон
XXVI. Глаза мира
XXVII. Среди горных просторов
XXVIII. Ужин у гетмана
XXIX. Лодка гетмана
XXX. Натрий
XXXI. Озерный люд
XXXII. К замку
XXXIII. Оссипаго, Барбат и Фамулим
XXXIV. Маски
XXXV. Сигнал
XXXVI. Бой во дворе замка
XXXVII. «Терминус Эст»
XXXVIII. Коготь
Цитадель Автарха

I. Мертвый солдат
II. Живой солдат
III. По пыльной дороге
IV. Лихорадка
V. Лазарет
VI. Милес, Фойла, Мелитон и Гальвард
VII. Рассказ Гальварда. История о двух зверобоях
VIII. Пелерина
IX. Рассказ Мелитона. История о петухе, ангеле и орле
X. Ава
XI. Рассказ Верного Группе Семнадцати. История о честном человеке
XII. Виннок
XIII. Рассказ Фойлы. История об армигерской дочери
XIV. Маннея
XV. Последний приют
XVI. Анахорет
XVII. Рагнарёк, или Последняя зима
XVIII. Просьба Фойлы
XIX. Гуасахт
XX. Патруль
XXI. Расстановка сил
XXII. Сражение

XXIII. Океанический странник увидел землю
XXIV. Флайер
XXV. Милосердие Агии
XXVI. Над джунглями
XXVII. Аудиенция с Водалом
XXVIII. На марше
XXIX. Автарх Содружества
XXX. Коридоры Времени
XXXI. Песчаный сад
XXXII. «Самру»
XXXIII. Цитадель Автарха
XXXIV. Ключ к Мирозданию
XXXV. Письмо Отца Инире
XXXVI. О поддельном золоте и об огне
XXXVII. Вновь за реку
XXXVIII. Воскресение
Приложения
Об управлении провинциями
О вооружении войск Автарха и о кораблях иеродул
Михаил Назаренко. Как читать «Книгу нового солнца»
1
2
3
4

5
6
7
Примечание 1. Сюжет ненаписанной повести, из которой выросла «Книга Нового Солнца»
Примечание 2. Манвантары
Литература
Об авторе

Аннотация

Премия «Локус».

Британская премия фэнтези.

Мемориальная премия Джона Кэмпбелла.

Премия «Аполло».

Китайские премии «Галактика» и «Туманность».

Финалист премий «Хьюго», «Небьюла», «Балрог», премии Британской ассоциации научной фантастики, Всемирной премии фэнтези.

Премии журнала SF Chronicle и альманаха Gigamesh.

«Меч и Цитадель» – вторая половина прославленной магической тетралогии «Книги Нового Солнца».

«Меч ликтора»

Северian, ставший ликтором города Тракса, снова нарушает свой долг палача и устраивает побег женщине, которую должен был убить. Он вынужден бежать на север Содружества, в горы, преследуемый стражей Тракса и чудовищами, насылаемыми его старыми

врагами. На севере полыхает война: войска Автарха сражаются с армией асциан.

«Цитадель Автарха»

История Севериана близится к финалу. Он откроет источник сил Когтя Миротворца и познает природу Автарха. Севериан вернется в Несс, в Цитадель, к своим учителям, но уже в новом качестве. Станет ли бывший палач Новым Солнцем?

«Лучшая фантастика за последнее столетие». – Нил Гейман

«"Книги Нового Солнца" почти душераздирающе хороша, богата и полна нюансов, которые проявляются с каждым перечитыванием. Это шедевр Джина Вулфа». – Дэвид Лэнгфорд, критик, десятикратный лауреат премии «Хьюго»

«Удивительно колоритная и изобретательная книга… Самый экстраординарный герой за всю историю эпического фэнтези». – The Washington Post

«Шедевр научной фантастики, сравнимый по значимости с главными работами Толкина и Льюиса». – Publishers Weekly

«Книга содержит элементы аллегории Спенсера, сатиры Свифта, общественной

сознательности Диккенса и мифологии Вагнера. Вулф создает поистине чуждый социум, который читатель начинает ощущать изнутри… Попав в него, остановиться уже невозможно». – The New York Book Reviews

Джин Вулф
Меч и Цитадель

Gene Wolfe
The Sword of the Lictor
Copyright © 1981 by Gene Wolfe

Gene Wolfe
The Citadel of the Autarch
Copyright © 1982 by Gene Wolfe

© Д. Старков, перевод на русский язык, 2022
© М. Назаренко, послесловие, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Меч ликтора

Уходят вдаль людских голов бугры,
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я – сказать, как солнце светит…

Осип Мандельштам

I. Владыка Дома Оков

— Не по себе мне там было, Севериан, очень не по себе, — призналась Доркас. — Стою я под этаким водопадом в жарко-жарко натопленной комнате… не знаю, может, в мужской половине иначе устроено? И всякий раз, как выступлю из-под него, слышу их пересуды — обо мне. О нас. Тебя называют черным мясником, душегубом и еще много кем… не хочу пересказывать.

— Это вполне естественно, — ответил я. — Скорее всего, до тебя здесь людей новых, со стороны, месяц, а то и больше не видели, так стоит ли удивляться, если местные только о тебе и судачат, а пара женщин, знающих, кто ты, горды этим настолько, что небылицы начинают выдумывать? Что до меня, я к такому давно привык, и по пути сюда ты наверняка много раз слышала нечто похожее — я-то уж точно слышал.

— Верно, слышала, — согласилась Доркас, присаживаясь на каменный выступ под амбразурой.

Внизу, под стеной, раскинулся город. Загоравшиеся один за другим фонари множества лавок мало-помалу наполняли долину Ациса нежным, желтоватым, точно лепестки жонкиля, сиянием,

однако Доркас их словно бы не замечала.

— Теперь ты, думаю, понимаешь, отчего устав нашей гильдии запрещает жениться, хотя этим пунктом я, как уже много раз говорил, ради тебя готов поступиться в любой момент, только пожелай.

— То есть мне лучше жить где-то еще, а тебя навещать всего раз или два в неделю или ждать, пока ты сам не придешь повидаться?

— Именно так обычно и делается. Ну а женщины, судачившие о нас сегодня, со временем поймут, что однажды сами — либо их мужья, либо сыновья — тоже могут угодить ко мне в руки.

— Нет же, пойми: все это, в общем, вздор. Главное…

На сем Доркас умолкла, а после довольно долгого молчания встала и принялась расхаживать взад-вперед, крепко обхватив ладонями прижатые к груди локти. Подобного я за ней прежде не замечал никогда и не на шутку встревожился.

— Так что же главное? — спросил я.

— Что все это прежде было неправдой, а вот сейчас — правда.

— Но я прибегал к Искусству всюду, где для меня находилась работа. Исполнял приговоры городских и деревенских судов. И ты не раз глядела

на меня из окна, хотя в толпе, среди зевак, тебе не нравилось — в чем я тебя понимаю вполне.

— Я не смотрела, — возразила Доркас.

— А я помню, что видел тебя.

— Однако я не смотрела. Не смотрела, как все это происходит. А ты, сосредоточившийся на казни, не видел, как я ухожу от окна или прикрываю глаза ладонью. Обычно я любовалась тобой, махала тебе, когда ты в самом начале вспрыгивал на эшафот. В эти минуты ты так гордился собой, держался прямее собственного меча, так был прекрасен… прекрасен и честен. Помнится, однажды рядом с тобой стояли какой-то чиновник, приговоренный и иеромонах — и только твое лицо казалось честным, открытым.

— Вот моего лица ты видеть никак не могла. Я ведь неизменно выхожу на эшафот в маске.

— А мне, Севериан, и не нужно было его видеть. Я просто знала, как ты выглядишь.

— Разве сейчас я выгляжу как-то иначе?

— Нет, — нехотя подтвердила Доркас. — Но я же спускалась туда и видела там, в подземельях, людей, закованных в цепи. И сегодня мы с тобой, уснув в мягкой постели, будем спать прямо над ними. Сколько их, ты говорил, когда водил меня вниз?

— Около тысячи шестисот. Но неужели ты всерьез веришь, будто эти тысяча шестьсот человек оказались бы на свободе, не будь здесь их стража, меня? Вспомни: в подземелья их бросили задолго до нашего появления.

Но Доркас упорно смотрела куда угодно, только не на меня. Плечи ее заметно подрагивали.

— Будто огромная общая усыпальница, — сказала она.

— Так оно и есть, — подтвердил я. — Конечно, архонт мог бы освободить их, но кто воскресит тех, кого они погубили? Тебе ведь еще не доводилось терять близких?

Доркас молчала, словно о чем-то задумавшись.

— Спроси жен, матерей и сестер тех, чьи тела наши пленники оставили гнить там, наверху, не следует ли Абдиесу отпустить их.

— Только саму себя, — отрешенно проговорила Доркас и задула свечу.

Тракс — все равно что кривой кинжал, вогнанный в сердце гор. Расположенный в нешироком дефиле долины Ациса, он тянется вдоль реки кверху, до самого замка Акиэс. Все ровное место от замка до стены (называемой Капул), замыкающей узкую часть долины внизу, занимают арена, пантеон и прочие общественные здания.

Постройки частные взбираются вверх по обоим склонам, причем многие их помещения выдолблены прямо в скале; из-за этого-то обыкновения Тракс и удостоен одного из своих прозваний — Град Без Окон.

Преуспеянием город обязан местоположению: находится он в самом конце судоходной части реки. Здесь, в Траксе, все товары, перевозимые на север по Ацису (многим из коих пришлось преодолеть девять десятых протяженности Гьёлля, прежде чем достичь устья его рукава, а может, и истинного истока), необходимо выгружать на берег и, если нужно, везти далее на спинах вьючных животных. Гетманам горных племен и местным помещикам, желающим отправлять по воде в южные поселения шерсть и кукурузу, также приходится везти товары в Тракс и нанимать под них баржи здесь, ниже ревущих порогов, увенчанных арчатым водосливом замка Акиэс.

Крепость в немирных, неспокойных краях — неизменный оплот и символ закона, и посему главной заботой городского архонта было отправление правосудия. Дабы диктовать свою волю живущим вне городских стен (а в ином случае те вполне могли бы и воспротивиться), он располагал семью эскадронами димархиев, каждый

из коих возглавлял собственный командир. Судебные слушания устраивались ежемесячно, от первого появления на небе новой луны до наступления полнолуния. Открывались они в начале второй стражи утра и продолжались сколько потребуется, до исчерпания дневного реестра подлежащих разбирательству дел. Мне, главному исполнителю приговоров архонта, вменялось в обязанность присутствовать на заседаниях (таким образом, архонт мог быть уверен, что передающие мне его распоряжения не смягчат и не ужесточат назначенных им наказаний), а еще я распоряжался всеми делами, касавшимися содержания заключенных в Винкуле. Иными словами, исполнял я, пусть в несколько меньшем масштабе, те же обязанности, что и мастер Гюрло у нас, в Цитадели, и первую пару недель, проведенных в Траксе, служба давалась мне нелегко.

Одна из максим мастера Гюрло гласила: идеально устроенных тюрем на свете нет. Подобно большинству банальных мудростей, высказываемых в назидание молодым, эта была совершенно неоспорима, но и в высшей степени бесполезна. Из тюрем от веку бегут тремя, всего тремя способами: тайком, силой либо благодаря измене тех, кто поставлен их охранять. Отдаленность мест

заключения затрудняет тайное бегство надежнее всего — по этой причине ее и предпочитает любой, много думавший над данным вопросом.

К несчастью, пустыни, вершины гор и уединенные острова являют собой наиболее благодатную почву для побегов, совершаемых с помощью грубой силы: если тюрьма осаждена друзьями заключенных, узнать о сем факте вовремя весьма затруднительно, а усилить ее гарнизон присланными подкреплениями практически невозможно; если же бунт поднят самими заключенными, войскам также вряд ли удастся подоспеть к месту происшествия до завершения дела.

Устройство тюрьмы в густонаселенных и хорошо охраняемых землях позволяет избежать этих трудностей, однако порождает другие, куда серьезнее. Для побега из таковой заключенному достаточно помощи не тысячи, а всего-навсего одного-двух друзей, причем не обязательно умелых бойцов — вполне сойдет и поденщица-поломойка, и уличный лоточник, хватило бы им только ума да решимости. Мало этого: едва оказавшись за стенами тюрьмы, заключенный немедля затеряется в безликой толпе, и чтобы снова схватить его, потребуются уже не охотники с собаками, а

соглядатаи и доносчики.

В нашем случае об обособленной тюрьме в отдаленных местах не могло быть и речи. Даже если придать в помощь тюремщикам-клавигерам гарнизон, достаточный для отражения набегов автохтонов, зооантропов и культелляриев, рыщущих за городом, не говоря уж о вооруженных дружинах мелких экзультантов (на каковых никогда ни в чем нельзя положиться), снабжение подобной тюрьмы не обойдется без целого войска для сопровождения обозов с припасами. Таким образом, Винкулу властям Тракса, за неимением выбора, пришлось поместить в городских стенах, а именно — примерно посредине склона долины на западном берегу, этак в полулиге, или около того, от Капула.

Древней постройки, Винкула неизменно казалась мне предназначенной под тюрьму изначально, хотя, согласно легенде, некогда строилась как гробница, а расширена и перестроена для новой цели была всего две-три сотни лет тому назад. Для наблюдателя с более удобного, просторного восточного берега она выглядела словно прямоугольный бартизан, торчащий из камня, с фасадом четырех этажей в высоту и плоской, окаймленной зубцами крышей, примыкающей

дальним краем к отвесной скале. Эта видимая часть тюрьмы, которую многие гости города наверняка полагают всей тюрьмой целиком, на деле — лишь крохотная, самая незначительная ее доля. Во времена моего ликторства там находились только кабинеты чиновников, казармы для клавигеров да мои собственные жилые покои.

Заключенные размещались в наклонной штольне, уходящей глубоко в толщу камня. Держали их не в отдельных камерах-одиночках, как наших клиентов, обитателей подземелий моей родной башни, но и не в общем зале, с каким мне довелось столкнуться в Обители Абсолюта, побывав в заключении самому. Здесь заключенных в прочных железных ошейниках приковывали вдоль стен штольни на цепи, а посредине оставляли достаточно места, чтоб двое клавигеров могли пройти между подопечными бок о бок, не опасаясь кражи вверенных им ключей.

Длина штольни — около пяти сотен шагов — позволяла разместить в ней тысячу с лишним заключенных. Вода вниз поступала из резервуара, вмурованного в камень на вершине утеса, а избыток ее всякий раз, как резервуару угрожало переполнение, ополаскивал штольню от начала до конца. Канализационный колодец, пробитый

в нижней ее части, отводил нечистоты в трубу, тянувшуюся от подножья скалы за стену Капула, а там, ниже города по течению, нечистоты сливались в Ацис.

Должно быть, некогда, изначально, из прямоугольной башенки прилепившегося к скале бартизана да этой вот самой штольни состояла вся Винкула. Впоследствии к ней прибавилось множество ветвящихся галерей и параллельных штолен — результатов многочисленных попыток освободить заключенных, пробив в подземелья туннель из той или иной частной резиденции на склоне утеса, а также рытья контрмин, призванных сии попытки предотвратить — ныне также используемых для размещения заключенных.

Все эти скверно продуманные (а то и не продуманные вообще) дополнения изрядно усложняли порученную мне задачу, и посему первым моим свершением в должности ликтора стало начало избавления от ненужных и нежеланных проходов путем заполнения оных смесью речной гальки, песка, щебня и негашеной извести с водой, вкупе с расширением и соединением меж собою оставшихся коридоров таким образом, чтобы в итоге сообщить подземельям должную рациональность. Увы, работы эти, при всей их

необходимости, продвигались вперед крайне медленно, поскольку освободить для их исполнения более двух-трех сотен заключенных одновременно возможным не представлялось, да и состояние их здоровья оставляло желать много лучшего.

В течение первой пары недель после того, как мы с Доркас прибыли в Тракс, все мое время без остатка пришлось посвятить делам службы. Таким образом, осваиваться на новом месте за нас обоих выпало Доркас, а я строго-настрого наказал ей повсюду, где только возможно, расспрашивать о Пелеринах. Весь долгий путь от Несса до Тракса я ни на минуту не забывал, что Коготь Миротворца по-прежнему при мне, и память о нем весьма меня тяготила. Теперь же, когда путешествие подошло к концу и я лишился возможности попутно искать следы Пелерин и даже успокаивать себя заверениями, будто наши пути когда-нибудь, с течением времени, непременно пересекутся, бремя сие сделалось просто невыносимым. В дороге я спал под звездным небом, пряча самоцвет за голенищем, а при тех редких оказиях, когда нам случалось заночевать под крышей, — в носке сапога. Здесь, в Тракс, я обнаружил, что вовсе не способен уснуть, если он

не со мной, если я, проснувшись посреди ночи, не могу сразу же убедиться, что камень никуда не исчез. В конце концов Доркас сшила мне для него мешочек-ладанку из тонкой кожи, и эту ладанку я не снимал с шеи ни днем ни ночью. Не менее дюжины раз в течение тех первых недель мне снилось, будто камень пылает огнем, паря надо мною в воздухе, точно горящий собор, ему же и посвященный, а после, проснувшись, я обнаруживал, что Коготь испускает ослепительный свет, различимый даже сквозь тонкую кожу. Вдобавок каждую ночь я раз, а то и два просыпался лежащим навзничь, оттого что ладанка на груди казалась такой тяжелой, словно вот-вот раздавит меня насмерть, хотя ее не составляло никакого труда поднять двумя пальцами.

Доркас заботилась обо мне, помогала, чем только могла, однако я прекрасно видел, что резкая перемена в связующих нас отношениях не прошла для нее незамеченной и тревожит ее куда сильней, чем меня. Согласно моему опыту, подобные перемены приятными не бывают — хотя бы лишь потому, что, весьма вероятно, влекут за собою дальнейшие перемены. Путешествуя вместе (а путешествовали мы с большей или меньшей расторопностью с той самой минуты

в Саду Непробудного Сна, когда Доркас помогла мне, едва не захлебнувшемуся, выбраться на наплавную тропку из примятой осоки), мы были равными, товарищами, преодолевавшими каждую пройденную лигу на собственных ногах или на собственном скакуне. Если я в какой-то мере и служил ей защитой, то Доркас в той же степени служила мне моральной опорой, ибо немногим удавалось подолгу изображать презрение к ее невинной красоте либо вслух ужасаться моему роду занятий, глядя на меня и — хочешь не хочешь — видя рядом ее. Доркас была мне советницей в минуты растерянности и верной спутницей в сотне безлюдных земель.

Когда же мы наконец вошли в Тракс и я вручил городскому архонту рекомендательное письмо от мастера Палемона, все это, разумеется, естественным образом завершилось. Мне в одеяниях цвета сажи более ни к чему было опасаться уличных толп — напротив, встречные трепетали передо мной, главой самой жуткой ветви законной власти, а Доркас ныне жила в отведенных мне комнатах Винкулы на правах не равной, но всего лишь «возлюбленной», как некогда называла ее кумеянка. Советы ее сделались практически бесполезными, поскольку возникавшие передо

мной трудности касались только юриспруденции да управления, и преодолению их меня учили не один год, тогда как Доркас не смыслила в них ни аза, а у меня нечасто находились время и силы для объяснений и обсуждений.

Посему, пока я выстаивал стражу за стражей рядом с архонтом в зале суда, Доркас завела обычай бродить по городу, и мы, не разлучавшиеся до самого конца весны, теперь, с наступлением лета, друг друга почти не видели — разве что ужинали вместе по вечерам, а после, усталые донельзя, отправлялись в постель, где чаще всего попросту засыпали, обнявшись.

И вот наконец в небесах засияла полная луна. С какой же радостью смотрел я на нее — окутанную изумрудно-зеленой мантией леса, округлую, словно ободок кружки, — с крыши бартизана! Конечно, до полной свободы было еще далеко, поскольку за время, проведенное в зале суда, дел, касавшихся совершения казней и содержания заключенных, у меня накопилось немало, но теперь я, по крайней мере, мог посвятить им себя целиком, а это казалось немногим хуже настоящей свободы. На следующий же день я пригласил Доркас с собой, на осмотр подземных частей Винкулы.

Пригласил… и совершенно напрасно. Среди жуткой вони, при виде убогого положения заключенных ей сразу же сделалось дурно. В тот вечер — о чем я уже вспоминал — она созналась, что ей пришлось отправиться в публичные бани (для Доркас, из-за боязни воды моющейся по частям, губкой, смачиваемой в миске не глубже суповой, случай крайне редкий), чтоб смыть с волос и кожи зловоние штольни, и там она слышала, как банщицы сплетничают о ней с прочими посетительницами.

II. Над порогами

На следующее утро, прежде чем покинуть бартизан, Доркас остригла волосы так коротко, что сделалась похожей на мальчишку, а за удерживавший их обруч заткнула белый цветок пиона. Я до полудня трудился над бумагами, а после, одолжив у сержанта подчиненных мне клавигеров мирскую джеллабу, тоже отправился в город, в надежде случайно столкнуться с ней.

Книга в коричневом переплете, хранящаяся в моей ташке, утверждает, будто на свете нет ничего удивительнее знакомства с городом, ни в чем не похожим на известные тебе города, поскольку сие все равно что знакомство с новой, совершенно неожиданной стороной себя самого. Мне удалось обнаружить нечто еще более дивное — знакомство с подобным городом после того, как прожил в нем какое-то время, так ничего о нем и не узнав.

К примеру, я знать не знал, где находятся упомянутые Доркас бани, хотя из разговоров, услышанных мною в зале суда, следовало, что в городе таковые есть. Не знал я и где расположен базар, на котором она покупала одежду с

косметикой, и даже не смог бы сказать, один он в городе или нет… короче говоря, знакомо мне было лишь то, что я мог видеть из амбразуры да на недолгом пути от Винкулы до дворца архонта. Возможно, я слишком полагался на собственную способность быстро освоиться в городе много меньшем, чем Несс, однако ж, шагая по кривым улочкам, тянувшимся вниз со склона, к реке, между домами-пещерами, вырубленными в скале, и домами, прилепившимися к ней на манер ласточкиных гнезд, не забывал время от времени оборачиваться, дабы удостовериться, что позади все еще виден знакомый силуэт бартизана, и рогатки у его ворот, и черный гонфалон, реющий над зубцами.

В Нессе кто побогаче селятся ближе к северу города, где воды Гьёлля чище, а кто победнее живут на юге, где Гьёлль зловонен и грязен. Здесь, в Траксе, такого обычая не установилось: во-первых, Ацис столь быстр, что испражнения живущих выше по течению (составляющих, разумеется, едва ли тысячную долю от числа обитателей северной части столицы) практически не загрязняют реки, а во-вторых, вода, подающаяся в общественные колодцы и особняки богатеев по акведукам, берется выше порога, так что по-

лагаться на реку приходится только тем, кому требуется очень много воды — к примеру, владельцам мануфактур либо крупных прачечных.

Таким образом, в Траксе богатых от бедных отделяет иная граница — высота проживания. Самые состоятельные живут у подножия склонов долины, возле реки, откуда проще всего добираться до лавок и присутственных мест: недолгая пешая прогулка до пристаней, а там разъезжай себе вдоль города в каике с рабами на веслах сколько душа пожелает. Чуть выше уровнем расположены дома менее преуспевающих горожан, над ними — жилища людей среднего достатка, и так далее, и так далее, до самых бедных, обретающихся под стенами укреплений на гребнях утесов, нередко — в крытых соломой хакалях из глины и тростника, до которых можно добраться лишь по лестницам вроде трапов несусветной длины.

Впрочем, знакомство с убожеством этих хижин ожидало меня впереди, а пока что я оставался в пределах торгового квартала у самого берега. Здесь, на узеньких улочках, толпилось столько народу, что мне поначалу подумалось, будто сегодня какой-то праздник или, может, война — из Несса казавшаяся невообразимо далекой, но

придвигавшаяся все ближе и ближе по мере того, как мы с Доркас следовали на север, — уже совсем близка, отчего город и заполонен беженцами.

Несс так обширен, что там, насколько я слышал, на каждого из живущих приходится по пять зданий. В Траксе сие соотношение, несомненно, противоположно, а в тот день мне и вовсе временами казалось, будто на каждую из крыш вокруг должно приходиться не меньше пятидесяти человек. Вдобавок Несс — город множества наций, однако, видя на улицах множество иноземцев, а порой даже какогенов, прибывающих на кораблях из иных миров, там всегда сознаешь, что они — иноземцы, гости, вдали от родины. Здесь улицы кишели самыми разными представителями рода людского, но все они попросту отражали разнообразие горных племен, и если навстречу мне попадался, к примеру сказать, человек в шляпе из птичьей шкурки (с крыльями, прикрывающими уши), или человек в косматой шубе из шкур каберу, или человек с татуированным лицом, за ближайшим углом вполне могла оказаться еще хоть сотня его соплеменников.

Все эти люди были эклектиками, потомками поселенцев с юга, смешавших кровь с коренастыми темнокожими автохтонами, воспринявшими

их уклад, к которому добавились обычаи, перенятые от амфитрионов, живущих еще дальше к северу, а порой и от еще менее известных народов, купцов либо парохиальных рас.

Многие из местных эклектиков предпочитают ножи искривленной формы — или, как их порой называют, изогнутые (два относительно прямых «колена»; второе, сведенное к острию, слегка под углом относительно первого). Говорят, таким клинком, вонзив его под грудину, проще поразить сердце, а сам клинок посредине снабжен ребром жесткости, заточен с обеих сторон, обыкновенно — до бритвенной остроты, гарды нет, а рукоять чаще всего выточена из кости. (Эти ножи я описываю так подробно, потому что они — одна из самых характерных черт здешних земель, а еще именно из-за них Тракс получил другое свое прозвание — Город Кривых Ножей. Вдобавок план города имеет явное сходство с клинком такого ножа: изгиб дефиле соответствует изгибу клинка, русло Ациса — продольному ребру жесткости, замок Акиэс — острию, а Капул — той линии, где сталь исчезает в костяной рукояти.)

Один их смотрителей Медвежьей Башни как-то раз говорил, что на свете нет зверя столь же опасного, столь же дикого и вздорного, как метисы,

рожденные волчицей, покрытой псом бойцовой породы. Все мы привыкли считать дикими зверей, обитающих в лесах и горах, и народы, словно бы взросшие на их почве, полагаем не меньшими дикарями. Однако на деле в некоторых домашних животных (которых мы наверняка поостереглись бы, кабы не настолько привыкли к ним) таится дикость куда более жуткая, несмотря на то что они неплохо понимают речь человека, а некоторые даже способны выговорить пару-другую слов; а в людях, мужчинах и женщинах, чьи предки жили в больших городах с самой зари человечества, также коренится куда более основательная, всепоглощающая дикость натуры. К примеру, Водал, в чьих жилах течет ничем не осквернённая кровь тысячи экзультантов — экзархов, этнархов и войтов, — отнюдь не гнушался жестокостей, непредставимых для автохтонов, расхаживающих по улицам Тракса нагими, если не считать домотканых плащей из шерсти гуанако.

Подобно волкособам (которых я никогда в жизни не видел, поскольку они слишком злобны, чтоб приносить хоть какую-то пользу), местные эклектики унаследовали от предков разных кровей все самое дурное, всю их жестокость и необузданность: будучи друзьями либо сподвиж-

никами, они строптивы, вероломны и вздорны, будучи же врагами — свирепы, коварны и мстительны. По крайней мере, так отзывались о них мои подчиненные из Винкулы — ведь более половины заключенных в ее подземельях составляют именно эклектики.

Встречаясь с мужчинами, говорящими, одевающимися, держащимися по-иноземному, я всякий раз начинаю строить догадки о природе женщин их расы. Связь между ними имеется непременно, поскольку и те и другие взращены единой культурой, подобно листьям дерева, видимым наблюдателю, и прячущемуся за ними плоду, коего наблюдатель не видит. То и другое также взращено одним и тем же живым организмом, однако наблюдатель, отважившийся судить о внешнем виде и вкусе плода по очертаниям пары поросших пышной листвой ветвей, наблюдаемых (если можно так выразиться) с изрядного расстояния, должен обладать весьма обширными знаниями о листьях и о плодах, дабы не выставить себя на посмешище.

Воинственные мужчины вполне могут быть рождены слабыми, хрупкими женщинами и даже иметь сестер почти столь же сильных, как сами, и куда более решительных. Посему я, прогулива-

ясь среди толп, по большей части состоящих из местных эклектиков и горожан (на мой взгляд, отличавшихся от жителей Несса разве что одеждой попроще да манерами слегка грубее), невольно принялся рисовать в мыслях образы кареглазых, темнокожих женщин; женщин с глянцевито блестящими черными волосами, густыми, словно хвосты пегих скакунов их братьев; женщин с волевыми, однако прекрасными лицами; женщин, склонных к яростному сопротивлению и быстрой капитуляции; женщин, которых можно завоевать, однако нельзя купить — если подобные женщины существуют в нашем мире хоть где-нибудь.

Из их объятий я устремился мыслями в края, где их можно найти, к одиноким приземистым хижинам у родников среди скал, к крытым шкурами юртам, затерявшимся на просторах высокогорных пастбищ. Вскоре мысли о горах захлестнули меня с головой, как некогда, пока мастер Палемон не объяснил, где именно расположен Тракс, — мечты о море. Как же великолепны они, незыблемые идолы Урд, высеченные из камня бессчетными резцами стихий во времена непостижимо древние, однако до сих пор поднимающие над окоемом мира жутковатые головы,

увенчанные митрами, тиарами и диадемами, посеребренными снегом, под коими темнеют глаза величиною не меньше иных поселений, а еще ниже — плечи, укутанные мантиями лесов!

Так думал я, укрывшись под неяркой джеллабой простого горожанина, локтями прокладывая себе путь вдоль забитых народом улиц, насквозь пропахших навозом и ароматами кухонь, и мысли мои целиком занимали образы гор, нависших над головою скал в ожерельях хрустальных ручьев.

Думаю, Теклу когда-то возили, по крайней мере, к подножиям этих пиков — несомненно, затем, чтоб укрыться в горах от жары некоего особенно знойного лета, причем множество картин, возникавших в памяти словно бы сами собой, она явно запомнила совсем еще крохой. Видел я и целомудренные цветы, растущие прямо из камня, да так близко, что взрослому для этого пришлось бы опуститься на колени; и бездонные пропасти, не только пугавшие, но и поражавшие воображение, как будто само их существование противно законам природы; и высочайшие горы, в буквальном смысле слова не имеющие вершин — казалось, весь мир наш без конца падает, течет с какого-то невообразимого Свода Небес,

накрепко соединенного с землей этими самыми пиками.

Со временем, пройдя город почти из конца в конец, я достиг замка Акиэс. Здесь я назвался караульным, стоявшим на посту у служебного входа, был впущен внутрь и поднялся на вершину донжона, как некогда, прежде чем распроститься с мастером Палемоном, поднимался на нашу родную Башню Матачинов.

Взойдя на нее, дабы сказать «прощай» всему, что знал в жизни, я оказался на одной из высочайших вершин Цитадели, в свою очередь, венчавшей собою одну из высочайших возвышенностей во всем Нессе. Столица тянулась вдаль, насколько хватало глаз, а Гьёлль пересекал ее, точно след слизня — карту; кое-где, у самого горизонта, виднелась даже Стена, но ни единое здание, ни единая башня во всем городе не могли бы бросить на меня тени.

Здесь впечатление оказалось совсем иным. Сейчас я стоял над Ацисом, несшимся ко мне сверху по скалистым уступам — каждый вдвое, а то и втрое выше высокого дерева. Взбитая в белую пену, сверкавшую хрусталем в лучах солнца, река исчезала подо мною и вновь появлялась внизу, в виде серебристой ленты, струящейся через город,

угнездившийся в теснине скал с опрятностью одной из игрушечных деревенек в коробке, какие мне (вернее, конечно же, Текле), помнится, дарили ко дню рождения.

Однако стоял я словно бы на дне исполинской чаши. По обе стороны от донжона вздымались кверху стены утесов, и, взглянув на любой из них, вполне можно было — по крайней мере, на миг — поверить, будто сила земного притяжения, благодаря баловству некоего колдуна с мнимыми числами, сменила направление действия, повернулась под прямым углом к прежнему, подобающему направлению, и на самом деле отвесные скалы передо мною — обыкновенная ровная земная твердь.

Наверное, целую стражу, а то и более, глазел я на эти скалы, на паутину бесчисленных струй водопадов, что с грохотом, с громкой любовной песнью падали вниз, дабы слиться с Ацисом, и на застрявшие среди них облака, словно бы робко жмущиеся к их непоколебимым стенам, подобно овцам, озадаченным, сбитым с толку громадой незнакомого каменного загона.

Наконец великолепие гор и мечты о горах утомили меня — вернее сказать, не утомили, но одурманили до головокружения; будто бы видев-

ший неумолимые лики утесов, даже зажмурив глаза, я чувствовал, что в эту ночь и на протяжении еще многих ночей мне предстоит падать с их круч либо цепляться сбитыми в кровь пальцами за их беспощадные склоны.

Решительно повернувшись лицом к городу, я отыскал взглядом Винкулу, казавшуюся отсюда лишь скромным крохотным кубиком, вмурованным в скалу, являвшую собой не более чем морщинку среди бессчетных волн камня вокруг, и ее вид прибавил мне бодрости духа. Встряхнувшись, я принялся (будто играя сам с собой, чтоб окончательно протрезветь после долгого любования горами) оглядывать главные улицы, стараясь узнать среди них те, что привели меня к замку, рассматривать под новым углом здания и рыночные площади, примеченные по пути. Взглядом нащупал я городские базары (их оказалось два, по одному на каждом берегу реки) и обновил в памяти знакомые достопримечательности, которые не раз видел сквозь амбразуру Винкулы, — арену, пантеон и дворец архонта. Когда все виденное мною с земли подтвердилось еще раз, с новой точки зрения, и пространственная взаимосвязь оной со всем, что я уже знал о планировке города, сделалась мне понятна, я начал

исследовать боковые улочки, скользя взглядом вдоль их извилистых русел, тянувшихся вверх, к гребням склонов, нащупывая проулки, зачастую казавшиеся не более чем полосками мрака меж зданий.

В поисках таковых мой взгляд, наконец, вернулся обратно к речным берегам, и я начал изучать облепившие их причалы и склады и даже пирамиды бочонков, ящиков и тюков сена, ожидавших погрузки на борт какого-нибудь торгового судна. Здесь вода больше не пенилась — ну разве что кое-где, у самых пирсов. Синева ее, почти сравнявшись оттенком с синью индиго, подобно темным, словно индиго, теням, что появляются на снегу к вечеру зимнего дня, безмолвно струилась вдоль берегов — вроде бы плавно, неспешно, однако скорость движения несущихся куда-то каиков и груженых фелук ясно давала понять, сколь велика мощь, таящаяся под речной гладью: суда покрупнее размахивали бушпритами, точно фехтовальщики шпагами, и все как одно по-крабьи рыскали вбок, когда весло гребца невзначай угодит в стремительный водоворот.

Исчерпав все, лежавшее ниже по течению, я перегнулся через парапет, чтоб разглядеть реку под самым замком и пристань, находившуюся не

более чем в сотне шагов от боковых ворот. Стоило мне взглянуть вниз, на пристанских грузчиков, трудившихся, разгружая одну из узких речных ладей, я увидел неподалеку от них крохотную неподвижную фигурку со светлыми волосами. Поначалу я решил, что это ребенок, девочка, так как рядом с дюжими, почти неодетыми грузчиками она казалась совсем малюткой, однако то была Доркас, сидевшая у самой кромки воды, пряча лицо в ладонях.

III. Убогий хакаль

Подойдя к Доркас, разговорить ее я не смог. Нет, дело было не просто в том, что она сердится на меня, хотя я в то время именно так и подумал. Безмолвие постигло ее, будто хворь, не поразив ни губ, ни языка, но напрочь лишив Доркас сил, а может быть, и желания вымолвить хоть словечко, — точно таким же манером определенные инфекции отбивают у человека все влечение к удовольствиям и даже лишают захворавшего способности понимать радость других. Не подними я ее головы, не поверни лицом к себе, Доркас так и смотрела бы в никуда, вниз, пожалуй, не видя даже земли под ногами, либо сидела, прикрыв руками лицо, как в ту минуту, когда я отыскал ее.

Полагающему (в то время), будто я в силах хоть чем-то утешить ее, вернуть в обычное, прежнее расположение духа, мне очень хотелось с нею поговорить. Однако затевать подобного разговора на пристани, под взглядами таращащихся на нас грузчиков, не стоило, а вокруг не было ни единого места, куда я мог бы ее отвести. Наконец, увидев на небольшой улице, тянувшейся вверх по склону, к востоку от реки, вывеску тракти-

ра, я повернул туда. Желающих подкрепиться в узком общем зале собралось немало, однако, расставшись с парой аэсов, мне удалось нанять комнату этажом выше — конурку без какой-либо мебели, кроме кровати, занимавшей почти все свободное место, и со столь низким наклонным потолком, что возле дальней ее стены я мог стоять лишь нагнувшись. Хозяйка (что с учетом всех обстоятельств вполне естественно) подумала, будто комната нужна нам для тайного свидания, однако из-за отчаяния на лице Доркас подумала также, что я ее чем-то шантажирую либо вовсе купил у сводника, и посему одарила ее взглядом, исполненным пылкого сострадания, коего Доркас, по-моему, просто не заметила, а на меня взглянула весьма осуждающе.

Затворив и заперев дверь на засов, я уложил Доркас в кровать, а сам сел рядом и принялся исподволь, ласково втягивать ее в разговор, спрашивать, что стряслось, чем я могу помочь ее горю, и так далее, и так далее. Когда все это не возымело никакого эффекта, я, заподозрив, что причина этакого нежелания общаться со мной кроется лишь в ее ужасе перед условиями содержания заключенных в Винкуле, заговорил о себе.

— Да, нами гнушаются все до единого, — сказал

я, — и потому у тебя нет причин относиться ко мне как-то иначе. Странно вовсе не то, что ты меня возненавидела; странно, как много времени потребовалось тебе, чтоб согласиться с мнением большинства. Однако я ведь люблю тебя, а потому попробую заступиться за нашу гильдию и, таким образом, за себя самого, в надежде, что после ты не будешь так убиваться по поводу любви к палачу, пусть даже больше меня не любишь.

— Мы не жестоки. Удовольствия ремесло наше нам не приносит, если не считать удовольствия от на совесть — иными словами, быстро и в точном соответствии с требованиями закона — выполненной работы. Мы подчиняемся судьям, занимающим должности оттого, что люди с этим согласны. Некоторые индивидуумы твердят, что заниматься нашим ремеслом не следует ни нам, ни кому-либо другому. По их словам, совершенная хладнокровно казнь есть преступление много страшнее любого преступления, какое бы ни совершили наши клиенты.

— Может статься, в этом есть некая справедливость, однако подобная справедливость уничтожит Содружество на корню. Восторжествуй она, никто не сможет спокойно жить дальше, а если никому не станет покоя, люди вскоре поднимутся

на борьбу самочинно — вначале против воров и убийц, затем против всякого, живущего вопреки общепринятым представлениям о благочинии, и, наконец, попросту против чужаков да изгоев. Тогда-то они и вернутся к ужасам старины, к сожжениям и побиению камнями, причем каждый из страха, как бы назавтра его не заподозрили в толике сострадания к несчастному, умирающему сегодня, будет стараться перещеголять соседа.

— Есть также индивидуумы, утверждающие, будто одни клиенты заслуживают самой суровой кары, а другие — нет и нам надлежит отказаться от исполнения законных обязанностей в отношении этих других. Вне всяких сомнений, вина некоторых тяжелее вины остальных, и вполне может быть, что кое-кто из передаваемых нам не совершил ничего дурного — ни того, в чем обвинен, ни каких-либо преступлений вообще.

— Однако люди, придерживающиеся такой точки зрения, всего лишь ставят себя выше судей, назначенных Автархом, хотя куда меньше смыслят в юриспруденции и не наделены властью призывать на свой суд свидетелей. Вдобавок они требуют, чтобы мы, отказавшись от повиновения настоящим судьям, прислушались к ним, но доказать, что более судей достойны нашего

повиновения, не могут.

— Третьи считают, что вместо пыток и казней наших клиентов следует принуждать к труду на пользу Содружеству — к рытью каналов, постройке сторожевых башен и тому подобному. Однако средства, необходимые на стражу и кандалы, вполне позволяют нанять для тех же работ честных тружеников, которые в ином случае могут остаться без хлеба. Разве законопослушные рабочие должны голодать ради того, чтоб убийца остался жить, а вор не испытал боли? Мало этого, нечтящие закона и ненадеющиеся на награду, убийцы и воры станут трудиться только под плетью. А что есть эта плеть, если не та же пытка, только названная по-другому?

— Четвертые говорят, что всех, признанных судом виновными, надлежит содержать под стражей, с удобствами, без страданий, многие годы — зачастую до самой смерти. Однако живущие с удобствами и без страданий обыкновенно живут подолгу, а ведь каждый орихальк, пошедший на их содержание, можно потратить с куда большей пользой. В делах военных я смыслю мало, но тем не менее представляю, в какие суммы обходится покупка оружия и выплата жалованья солдатам. Бои сейчас ведутся в горах, на севере, так что мы

бьем врага словно бы из-за сотни каменных стен. Но что, если война достигнет пампы? Сумеет ли армия сдержать асциан, когда вокруг так много пространства для маневра? И чем прокормить Несс, если пасущиеся там стада попадут во вражьи руки?

— Ну, а если виновных не держать под замком со всеми удобствами и не пытать, что тогда остается? Казнить смертью, причем всех одинаково? Но тогда нищая воровка будет считаться не менее страшной преступницей, чем мать, отравившая собственное дитя, вроде Морвенны из Сальтуса. Хотелось бы тебе этого? В мирное время многих преступников можно отправить в изгнание. Однако изгнать их сейчас означает подарить асцианам целый отряд шпионов, а враг не преминет обучить их, снабдить необходимыми средствами и снова заслать к нам. Вскоре вокруг нельзя будет доверять никому, пусть и говорит он по-нашему. Хотелось бы тебе этого?

Доркас лежала поверх одеял так тихо и неподвижно, что мне подумалось, будто она задремала. Однако глаза ее — огромные, безупречной синевы — были открыты, и когда я, склонившись над ней, взглянул ей в лицо, зрачки их дрогнули, однако устремленный на меня взгляд… пожалуй,

так смотрят на круги ряби, разбегающиеся по глади пруда.

— Ну ладно, допустим, мы — сущие демоны, если тебе так больше нравится, — сказал я. — Но без нас в жизни не обойтись. Без помощи демонов не обходятся даже Силы Небесные.

На глаза Доркас навернулись слезы, хотя отчего она плачет — оттого, что сделала мне больно, или потому, что я все еще рядом, — я не понимал. В надежде напомнить ей о прежних чувствах ко мне, я завел речь о тех временах, когда мы шли в Тракс, о том, как встретились на прогалинке после бегства из пределов Обители Абсолюта, как разговаривали друг с другом в ее великолепных садах, перед началом пьесы доктора Талоса, пройдя через цветники с целебными травами и присев на древнюю каменную скамью возле полуразрушенного фонтана, обо всем сказанном ею и обо всем, что сказал ей сам.

Казалось, Доркас сделалось чуточку легче на сердце, но, стоило мне вспомнить о фонтане, воды коего, вытекая из треснувшей чаши, струились дальше крохотным ручейком, отведенным кем-то из садовников к деревьям, чтоб те не нуждались в поливе, и, наконец, без остатка впитывавшимся в почву, на лице ее угнездился мрак

сродни тем странным тварям наподобие клочьев тьмы, преследовавшим нас с Ионой в холмах, поросших кедрами. Вскоре она отвела от меня взгляд, а после и в самом деле уснула.

Как можно тише поднявшись с кровати, я отпер дверь, одолел кособокую скрипучую лестницу и оказался внизу. Хозяйка заведения по-прежнему хлопотала в общем зале, однако гости, сидевшие там, разошлись. Я объяснил, что девушке, приведенной мной, нездоровится, оплатил аренду комнаты на несколько дней вперед, пообещал, вернувшись, возместить все иные расходы, а еще попросил приглядывать за Доркас время от времени и кормить ее, если проголодается.

— О, постоялица в этой комнате для нас — сущее благословение, — отвечала хозяйка. — Но если милой твоей нездоровится, неужто для нее места получше «Утиного Гнезда» не сыскать? Может, тебе домой ее отвести?

— Боюсь, от жизни в моем доме ей и нездоровится. Не хотелось бы рисковать: вдруг с возвращением туда ей станет хуже?

— Бедняжка! — хозяйка трактира сокрушенно покачала головой. — И такая милая, хотя с виду совсем ребенок. Сколько ей лет?

Я ответил, что не знаю.

— Ладно, я к ней загляну и бульону снесу, как только ей полегчает, — посулила хозяйка. Судя по взгляду, брошенному на меня, она полагала, что полегчает Доркас сразу же после того, как я уберусь подальше. — Но знай: держать ее тут ради тебя в неволе никто не станет. Захочет уйти — слова ей поперек не скажу.

Покинув крохотный, тесный трактир, я решил возвращаться в Винкулу кратчайшим путем, но совершил ошибку, рассудив, что узкая улочка, на которой расположилось «Утиное Гнездо», ведет почти прямо на юг, а значит, пройти ею дальше и переправиться через Ацис чуть ниже по течению выйдет быстрее, чем возвращаться назад, к пристани у подножия боковой стены замка Акиэс, где мы встретились с Доркас.

Увы, улочка меня подвела — к чему я, зная Тракс несколько лучше, был бы готов заранее. Дело в том, что все эти кривые улочки, змеящиеся по склонам, конечно, могут пересекаться одна с другой, но в общем и целом ведут снизу вверх, а посему, чтобы добраться от одного прилепившегося к скале домика до другого (если только они не выстроены совсем рядом либо один над другим), необходимо спуститься на главную улицу, проложенную вдоль реки, а уж с нее в

нужном месте снова свернуть наверх. Таким образом, вскоре я поднялся по восточному склону примерно на ту же высоту, на какой — только напротив, на западном склоне, — находилась Винкула, оказавшись гораздо дальше от нее, чем в тот момент, когда вышел за порог трактира.

Сказать правду, открытие это было не столь уж и неприятным. В Винкуле меня ожидали дела службы, а заниматься ими как раз не хотелось: мысли мои целиком занимала Доркас. Решив избыть огорчения, задав работы ногам, я двинулся по расшалившейся улочке дальше: пройду, если понадобится, хоть до самого гребня, взгляну на Винкулу и замок Акиэс с его высоты, а там, возле укреплений, предъявлю часовым служебный жетон, пройду вдоль стен до Капула и переправлюсь за реку в нижней части города.

Однако полстражи спустя, изрядно уставший, я обнаружил, что дальше пути нет. Улочка упиралась в отвесный обрыв три, а то и четыре чейна высотой, а заканчивалась, может статься, еще раньше, так как последние несколько дюжин шагов я прошел по тропинке, ведущей всего лишь к убогому хакалю из глины да сучьев, перед которым и вынужден был остановиться.

Убедившись, что хакаля не обогнуть, а подъ-

ема дальше, наверх, нигде поблизости нет, я уж хотел было плюнуть да повернуть обратно, но тут выскользнувший из хижины ребенок уверенно, однако не без опаски, глядя на меня одним только правым глазом, подошел ближе и в недвусмысленной, понятной всякому и всякому попрошайке известной манере протянул ко мне крохотную, невероятно грязную ладошку. Возможно, в лучшем расположении духа я бы расхохотался при виде несчастной крохи, столь робкой и столь приставучей, но тогда просто бросил в перепачканную ладонь пару аэсов.

Вдохновленный успехом, ребенок отважился заговорить:

— Моя сестра больна. Очень больна, сьер.

Судя по тембру голоса, то был мальчишка. Как только он повернул ко мне голову, я смог разглядеть, что его левый глаз вспух и заплыл, пораженный какой-то заразой, а из-под сомкнутых век, засыхая на щеке, сочатся слезы пополам с гноем.

— Очень, очень больна, сьер.

— Да уж, вижу, — ответил я.

— О нет, сьер, отсюда не разглядеть. Но если хочешь, можешь сквозь дверь заглянуть — ее ты не потревожишь.

И тут мальчишку окликнул человек в потертом кожаном фартуке каменщика, грузно шагавший по тропке вверх, к нам:

— Что там, Иадер? Чего ему нужно?

Мальчишку вопрос, как и следовало ожидать, перепугал до утраты дара речи.

— Я спрашивал, как проще всего попасть в нижнюю часть города, — сказал я.

Каменщик не ответил ни слова, однако, остановившись примерно в четырех маховых шагах от меня, скрестил на груди руки, с виду не уступавшие твердостью тем самым камням, из которых складывали стены. Казалось, он не на шутку рассержен и не доверяет мне, но отчего — неизвестно. Возможно, мой выговор выдавал пришлого с юга, а может, причиной послужила одежда, отнюдь не роскошная и не причудливая, однако явно свидетельствовавшая о принадлежности к иному, высшему слою общества.

— Уж не посягаю ли я на частную собственность? — спросил я. — Этот участок твой?

Ответа вновь не последовало. Как бы он ни относился ко мне, ясно было одно: на его взгляд, никакое общение между нами невозможно. Обращаясь к нему, я словно бы обращался к скотине, причем вовсе не из разумных — скорее, так

погонщик кричит на волов. Что до него самого, ему моя речь также казалась «разговором» зверя с человеком, чем-то вроде рыка да воя.

Не раз и не два замечал я, что в книгах подобных тупиковых положений не возникает никогда: авторам их невтерпеж подтолкнуть повествование дальше (сколь деревянным оно ни будь, сколь ни скрипи колесами, будто телега рыночного торговца, направляющаяся всего-навсего в запыленные деревушки, где сельская местность утрачивает весь шарм, а городских удовольствий не найти днем с огнем), и посему этакому непониманию, этакими решительным отказам от переговоров в них места нет. Наемному убийце, приставившему кинжал к горлу жертвы, непременно нужно обсудить с нею сложившуюся ситуацию от начала до конца, в любом угодном жертве (либо автору) объеме. Пара влюбленных в жарких объятиях также готова откладывать «удар кинжалом» до лучших времен как минимум в той же мере, если не в большей.

Увы, в жизни все обстоит иначе. Я таращился на каменщика, каменщик — на меня. Я готов был убить его, однако сомневался в успехе: во-первых, на вид он казался человеком необычайно сильным, а во-вторых, при нем вполне могло ока-

заться оружие, а в убогих хижинах по соседству — его дружки. Между тем он словно бы готовился сплюнуть наземь, мне под ноги, и в таком случае я наверняка заколол бы его, накинув ему на голову свой джелаб. Но нет, плевать каменщик не спешил, и спустя еще пару минут нашей игры в гляделки мальчишка, очевидно, понятия не имевший, что происходит, вновь подал голос:

— Загляни в дверь, сьер. Сестру ты не потревожишь.

Охваченный страстным желанием доказать, что не солгал, хотя и его собственный вид оправдывал попрошайничество в полной мере, он даже осмелился слегка потянуть меня за рукав.

— Я тебе верю, — сказал я, но тут же понял, что тем самым наношу ему нешуточное оскорбление, показывая, будто не верю его словам даже настолько, чтоб проверять их.

Наклонившись к двери, я устремил взгляд внутрь, но, глядя с залитой солнцем тропки в полумрак хакаля, поначалу не разглядел почти ничего. Солнце светило мне прямо в спину. Почувствовав затылком натиск его лучей, я осознал, что сейчас каменщик может совершенно безнаказанно напасть на меня сзади.

Комнатка, при всей ее тесноте, оказалась вовсе

не захламленной. На куче соломы у дальней от двери стены лежала девочка. Болезнь ее достигла той стадии, когда к больному уже не испытываешь никакой жалости, когда он внушает один только ужас. Лицо девочки казалось черепом, туго обтянутым кожей — тонкой, полупрозрачной, словно кожа на барабане; губы не прикрывали зубов даже во сне; от выкошенных жаром лихорадки волос остались лишь жидкие пряди.

Упершись ладонями в стены из обмазанной глиной лозы, возле дверных косяков, я выпрямил спину.

— Вот видишь, сьер, — сказал мальчишка, — моя сестра очень больна.

С этими словами он вновь протянул ко мне сложенную горстью ладонь.

Да, я это видел (и снова вижу сейчас), однако увиденное отпечаталось в памяти отнюдь не сразу. Мысли мои целиком занимал Коготь, словно давящий на грудь — не столько как нечто тяжелое, сколько вроде костяшек невидимого кулака. В эту минуту мне вспомнился и ныне казавшийся частицей невообразимо далекого прошлого улан, выглядевший мертвым, пока я не коснулся Когтем его губ; и обезьяночеловек с отрубленной кистью руки; и ожоги Ионы, поблекшие, стоило

мне провести вдоль них камнем.

Однако, после того как Коготь не спас Иоленту, я больше ни разу не прибегал и даже не думал прибегать к его целительной силе и так давно хранил его тайну, что опасался пробовать снова. Возможно, я и коснулся бы им умирающей девочки, если б на меня не глазел ее братец, да и его вспухшего глаза тоже коснулся бы, кабы не неприветливый каменщик. В сложившихся же обстоятельствах я всего лишь, с трудом одолевая его силу, давящую на грудину так, что не продохнуть, не разбирая дороги, двинулся вниз. За спиной звучно шлепнулся об истертый, растрескавшийся камень тропинки плевок, сорвавшийся с губ каменщика, но я даже не понял, что это был за звук, пока не добрался почти до самой Винкулы и более-менее не пришел в себя.

IV. В бартизане Винкулы

— У тебя гость, ликтор, — доложил караульный.

В ответ я лишь кивнул, дав понять, что принял доклад к сведению, и тогда он добавил:

— Пожалуй, тебе, ликтор, стоит прежде переодеться.

После этого спрашивать, кто меня дожидается, нужды не возникло: к подобному тону караульного мог склонить только визит самого архонта.

Добраться до личных покоев, обойдя стороной кабинет, где я занимался делами Винкулы и держал все бумаги, не составляло никакого труда. Время, потребовавшееся, чтобы избавиться от одолженного джелаба и переодеться в плащ цвета сажи, я провел, гадая, что могло побудить архонта, которого я лишь изредка видел где-либо, кроме зала суда, ни разу прежде у меня не бывавшего, посетить Винкулу — да еще, по всему судя, без свиты.

Оттеснившие прочь кое-какие иные мысли, размышления эти пришлись очень кстати. В нашей спальне имелось большущее зеркало из посеребренного стекла — такие намного лучше

отполированных пластинок металла, привычных мне с детства, — и впервые встав перед этим зеркалом, дабы оценить собственный вид, я заметил, что Доркас нацарапала на нем мылом четыре строки из песни, которую как-то мне пела:

Горны Урд, вы небесам поете
О зеленых, милых сердцу рощах.
Отчего ж к лесам не унесете,
Что милей мне, что остались в прошлом?

В кабинете моем имелось с полдюжины покойных кресел, и я ожидал обнаружить архонта в одном из них (хотя мне также приходило на ум, что он может, воспользовавшись случаем, заглянуть в мои бумаги, на что, буде того пожелает, имеет полное право). Однако архонт стоял у амбразуры, глядя на город точно так же, как сам я недавно, только сегодня оглядывал Тракс с зубцов замка Акиэс. Сложенные за спиной, руки градоправителя шевелились, словно каждая жила собственной жизнью, порожденной его размышлениями. Задумался он так глубоко, что отвернулся от окна и увидел меня только некоторое время спустя.

— А-а, вот и ты, мастер казнедей. Я и не слышал,

как ты вошел.

— Я всего лишь подмастерье, архонт.

Архонт, улыбнувшись, присел на подоконник, спиною к проему. Его лицо — грубое, резкое, с крючковатым носом, с большими глазами в обрамлении темных век — несмотря на все это, казалось совсем не мужским: пожалуй, оно вполне могло бы принадлежать весьма неприглядного вида женщине.

— То есть ты остаешься простым подмастерьем даже после того, как поставлен мной во главе всей этой махины?

— Возвысить меня вправе лишь мастера нашей гильдии, архонт.

— Но ведь, судя по принесенному тобой письму, и по тому, что выбор мастеров пал на тебя, и по работе, проделанной тобою со дня прибытия, ты — лучший из их подмастерьев. А впрочем, здесь разницы все равно не заметит никто… особенно если ты решишь напустить на себя важность. Сколько там мастеров?

— О притворстве, архонт, будет известно мне самому. Мастеров же, если после моего отбытия до сего звания не возвысили кого-то еще, в гильдии только двое.

— Я напишу им и попрошу возвысить тебя, так

сказать, *in absentia*.

— Благодарю, архонт.

— Пустяки, пустяки, — отмахнулся градоправитель и вновь повернулся лицом к амбразуре, как будто в сложившемся положении почувствовал себя неловко. — Полагаю, известия об этом ты получишь в течение месяца.

— Меня не возвысят, архонт, но мастеру Палемону приятно будет узнать, что ты обо мне столь лестного мнения.

Архонт, обернувшись, снова устремил взгляд на меня:

— В подобной официальности между нами надобности вовсе нет. Меня зовут Абдиес, и тебе ничто не мешает называть меня так, когда мы наедине. А ты, насколько мне помнится, Севериан?

Я кивнул.

Градоправитель вновь отвернулся к амбразуре окна.

— Проем этот низок сверх меры. Я осмотрел его, пока дожидался тебя: подоконник лишь самую малость выше моих коленей. Боюсь, кто-нибудь легко может выпасть наружу.

— Разве что человек столь же высокий, как ты, Абдиес.

— А разве в прошлом порой не казнили людей,

выбрасывая жертву из окна или сталкивая с края обрыва?

— Да, в прошлом практиковалось и то и другое.

— Но тебе, очевидно, прибегать к этим методам не доводилось?

С этим архонт опять повернулся ко мне:

— Насколько мне известно, Абдиес, на памяти ныне живущих такого не бывало ни разу. Сам же я исполнял декапитации — как на плахе, так и в кресле, — но этим мой опыт и ограничивается.

— Однако ты ведь не против прибегнуть к иным способам, если получишь соответствующие указания?

— Я для того и нанят, чтоб приводить в исполнение приговоры архонта.

— Видишь ли, Севериан… бывает, публичные казни идут народу на пользу. А бывает, что они принесут только вред, возбудив в народе волнения.

— Это понятно, Абдиес, — подтвердил я.

Подобно тому, как во взгляде мальчишек порой видны тревоги мужчин, которыми им только предстоит стать, в эту минуту на лице архонта отразилось (о чем он, возможно, сам пока даже не подозревал) чувство вины, сожаление о каком-то

еще не совершенном поступке.

— Вечером у меня во дворце соберутся гости. Немного, всего несколько человек. Надеюсь увидеть среди них и тебя, Севериан.

— В чиновничьей среде, Абдиес, — с поклоном ответил я, — имеется давний обычай: избегать общества чиновников, служащих по нашему ведомству.

— И ты, что совершенно естественно, полагаешь его несправедливым. Хорошо, если тебе так больше нравится, считай сегодняшний вечер своего рода восстановлением… попранных прав.

— Нет, наша гильдия никогда не жаловалась на несправедливость. Напротив, столь уникальная обособленность — предмет нашей гордости. Однако сегодня вечером прочие гости могут счесть себя уязвленными.

Губы архонта дрогнули, складываясь в улыбку:

— Сие меня не заботит. Вот, это откроет тебе путь во дворец.

Пальцы протянутой ко мне руки бережно, словно бабочку, готовую в любой момент вспорхнуть с ладони и улететь, сжимали один из тех самых картонных дисков — не больше хризоса в величину, с вытисненной золотом витиеватой надписью, — о которых я много раз слышал от

Теклы (встрепенувшейся в памяти, стоило мне коснуться глянцевого картона), но никогда прежде не видел.

— Благодарю, архонт. Значит, сегодня вечером? Я постараюсь подыскать подходящую одежду.

— Нет, оденься как обычно. Я устраиваю ридотто, и твое облачение сойдет за маскарадный костюм как нельзя лучше. — Поднявшись на ноги, градоправитель расправил плечи, слегка потянулся, словно некто вплотную приблизившийся к завершению долгого, не слишком приятного дела. — Минуту назад мы говорили о некоторых не слишком затейливых способах, к которым ты мог бы прибегнуть при исполнении служебных обязанностей. Возможно, сегодня вечером тебе пригодится необходимое для этого снаряжение.

Тут мне все сделалось ясно. Для отправления служебных обязанностей мне не требовалось ничего, кроме собственных рук — так я ему и ответил, а затем, вспомнив, что непозволительно долго пренебрегаю обязанностями хозяина дома, предложил гостю подкрепить силы.

— Нет-нет, — отказался архонт. — Знай ты, сколько я вынужден есть и пить учтивости ради, — сразу понял бы, как хорошо в гостях у того, от чьих гостеприимных предложений можно вот

так запросто отказаться. Полагаю, пытка едой вместо голода вашей братии даже в головы прежде не приходила?

— Принудительное кормление? Эта процедура называется плантерацией, архонт.

— Непременно расскажи о ней как-нибудь, при случае. Да, вижу, ваша гильдия далеко — несомненно, не на одну дюжину столетий — опережает мою фантазию. Должно быть, ваша наука — древнейшая из наук, кроме охотничьей. Однако дольше я задерживаться у тебя не могу. Стало быть, вечером мы увидим тебя во дворце?

— Вечер вот-вот настанет, архонт.

— Значит, приходи к концу следующей стражи.

С этим градоправитель вышел из кабинета, и только после того, как за ним захлопнулась дверь, я уловил слабый аромат мускуса, которым была надушена его мантия.

Я оглядел картонный кружок, повертев его так и сяк. Оборот кругляша украшала фальшь масок, среди коих я тут же узнал и одно из чудовищ — личину, что являла собой всего-навсего пасть, окаймленную рядом клыков, — которых увидел в садах Автарха, когда какогены избавились от маскировки, и морду обезьяночеловека из забро-

шенного рудника неподалеку от Сальта.

Утомленный долгой прогулкой в той же мере, что и предшествовавшей ей работой (а трудился я почти целый день, так как встаю рано), прежде чем снова покинуть бартизан, я разделся, вымылся, перекусил фруктами и холодным мясом и выпил стакан по-северному пряного чая. Если я чем-то основательно обеспокоен, тревоги не покидают меня, даже когда я о них не задумываюсь. Так вышло и сейчас: мысли о Доркас, лежащей в тесной трактирной комнатке под косым потолком, и память о девочке, умирающей на охапке соломы, пусть сам я того и не осознавал, изрядно притупили и мое зрение, и слух. Думаю, именно из-за них я не услышал сержанта, и, пока он не вошел, даже не замечал, что, вынув из ящика у очага горсть растопки, ломаю лучинку за лучинкой напополам. Сержант спросил, собираюсь ли я вновь покидать Винкулу, и, поскольку в мое отсутствие управление ею ложилось на него, я ответил, что да, собираюсь, но не могу сказать, когда вернусь. Затем я поблагодарил его за одолженный джелаб и заверил, что более он мне не понадобится.

— Располагай им, когда ни потребуется, ликтор. Однако я по другому вопросу. Мой тебе совет:

отправишься снова в город, прихвати с собой пару клавигеров.

— Спасибо, — ответил я, — но за порядком в городе следят отменно, так что мне вряд ли есть чего опасаться.

Сержант звучно откашлялся, прочищая горло.

— Тут дело в престиже Винкулы, ликтор. Тебе, как нашему командиру, положено сопровождение.

Я ясно видел, что это ложь, но с той же ясностью видел, что лжет он, заботясь обо мне, и потому сказал:

— Хорошо, я над этим подумаю, при условии, что ты сумеешь выделить мне двоих, поприличнее с виду.

Сержант просиял.

— Однако, — продолжил я, — мне не хотелось бы, чтоб они были при оружии. Я иду во дворец, и если прибуду с вооруженной охраной, господин наш, архонт, может счесть это за оскорбление.

Тут сержант залопотал что-то невнятное, и я, словно бы в гневе повернувшись к нему, с треском швырнул об пол лучину, остававшуюся в горсти.

— А ну, выкладывай все как есть! По-твоему, мне что-то угрожает? Что?

— Нет, ничего, ликтор. Чтоб именно тебе — ничего. Просто…

— Что «просто»?

Понимая, что отмалчиваться сержант не станет, я подошел к столику у стены и налил нам обоим по бокалу розолио.

— В городе, ликтор, совершено несколько убийств. Вчера ночью — три, а позавчерашней — еще два. Благодарю, ликтор. Твое здоровье.

— Твое здоровье. Однако убийства — дело вполне обычное, разве нет? Эклектики режут друг друга каждый день.

— А этих людей сожгли заживо, ликтор. Правду сказать, мне подробности неизвестны, да и никому другому, видимо, тоже. Возможно, ты сам знаешь больше.

Лицо сержанта казалось тусклым, невыразительным, будто вытесанное из шероховатого бурого камня, но, судя по быстрому взгляду, брошенному им за разговором на холодный очаг, он отнес сломанную мною лучину (лучину, столь твердую, столь сухую на ощупь, однако в ладони я ее почувствовал лишь спустя долгое время после его прихода, совсем как Абдиес, вполне вероятно, не сознававший, что размышляет не о чьей-то — о собственной смерти, еще долгое время после

того, как в кабинет вошел я) на счет каких-то мрачных секретов, коими поделился со мною архонт, тогда как в действительности причиной тому была всего-навсего память об охваченной отчаяньем Доркас да о нищей девчонке, которую я поначалу принял за нее.

— Я велел двум добрым малым дожидаться снаружи, ликтор, — продолжал он. — Оба готовы идти с тобой, куда потребуется, и дожидаться тебя, пока не соберешься назад.

Я сказал, что это прекрасно, и сержант немедля развернулся кругом, опасаясь, как бы я не догадался или не заподозрил, будто он знает больше, чем мне докладывает, однако и неестественная прямизна спины, и перевитая канатами жил шея, и быстрый шаг, которым он направился к двери, содержали столько значимых сведений, сколько ни за что не вместил бы его оловянный взгляд.

В сопровождающие мне достались здоровяки, выбранные сержантом за силу. Щегольски, напоказ, поигрывая огромными железными ключами, «клавесами», они шли со мною, несшим «Терминус Эст» на плече, лабиринтом улиц; если хватало места, то по бокам, а нет — спереди и сзади. У берега Ациса я отпустил обоих, подхлестнув их желание поскорей распроститься со мной

личным позволением провести остаток вечера как пожелают, а сам нанял небольшой, юркий каик (под пестро раскрашенным пологом, в котором к вечеру, по истечении последней стражи дня, совсем не нуждался) и распорядился отвезти меня вверх по реке, к дворцу.

Плавать по Ацису мне до того дня не доводилось. Усевшемуся ближе к корме, между рулевым (он же — владелец каика) и четверкой гребцов, в такой близости от мчащейся навстречу чистой, ледяной воды, что мог бы, если пожелаю, окунуть в реку обе ладони, мне показалось, будто этой хрупкой дощатой скорлупке, из амбразуры нашего бартизана наверняка выглядящей не больше паучка-водомерки, пляшущего на волнах, не сдвинуться против течения ни на пядь. Но тут рулевой отдал команду, и каик отчалил от пристани — разумеется, держась близ берега, однако заскакав по воде плоским камешком. Удары четырех пар весел оказались столь стремительны, столь безупречно слажены, а каик столь легок, узок и обтекаем, что мы помчались вперед скорее по-над водой, чем по воде. Ахтерштевень венчал пятигранный фонарь аметистово-фиолетового стекла, и как раз в тот миг, когда я по неведению решил, что сейчас течение ударит нас в борт, под-

хватит, перевернет и понесет полузатопленное суденышко вниз, к Капулу, рулевой невозмутимо, бросив кормовое весло, закачавшееся на обвязке, поднес к фитилю огонек.

Конечно же, он был прав, а я ошибался. Как только дверца фонаря захлопнулась, заслонив масляно-желтое пламя, и во все стороны брызнули нежно-фиалковые лучи света, подхваченный водоворотом каик развернулся носом к течению, прянул вперед этак на сотню маховых шагов, а то и больше, хотя гребцы подняли весла на борт, и мы оказались в миниатюрной бухте, спокойной, будто мельничный пруд, битком набитой сверх меры яркими прогулочными лодками. Из глубины реки тянулись на берег, к ослепительным факелам и изящным решеткам ворот, ведущих в дворцовый сад, ступени лестниц, очень похожих на те, с которых я еще мальчишкой нырял в Гьёлль, только гораздо чище.

Дворец архонта я много раз видел из Винкулы и, таким образом, знал, что сооружен он вовсе не под землей, по образцу Обители Абсолюта (чего, наверное, ожидал бы в противном случае). Совершенно не походил он и на мрачную крепость наподобие нашей Цитадели: очевидно, архонт и его предшественники сочли форпосты

в виде замка Акиэс и стены Капула, дважды соединенные меж собой стенами и фортами вдоль гребней утесов, вполне достаточными для обороны города. Здесь крепостные стены заменяли обычные живые изгороди, призванные уберечь сады от любопытных взглядов да, может статься, случайных воришек. Разбросанные по красочному, интимно уютному парку постройки под золочеными куполами издали, из моей амбразуры, казались очень похожими на перидоты, что, соскользнув с разорванной нити, рассыпались по узорчатому ковру.

У филигранных ворот в карауле стояли спешенные кавалеристы в стальных латах и шлемах, вооруженные пламенеющими копьями и длинными кавалерийкими спатами, однако с виду они казались кем-то вроде актеров-любителей на вторых ролях, добродушными, многое повидавшими в жизни людьми, блаженствующими на отдыхе после упорных сражений и патрулирования открытых всем ветрам горных троп. Те двое, которым я предъявил картонный кругляш, едва взглянув на него, мотнули головами: не стой, дескать, проходи.

V. Кириака

На званый вечер я прибыл одним из первых. Суетящихся слуг вокруг пока что было куда больше, чем гостей в маскарадных костюмах: казалось, слуги взялись за работу всего минуту назад и твердо решили тотчас же ее завершить. Одни зажигали светильники с хрустальными линзами и хоросы, свисавшие с верхних ветвей деревьев, другие несли в сад подносы с напитками и закусками, расставляли их по местам, передвигали туда-сюда, а после вновь тащили назад, к одному из увенчанных куполом зданий (всеми тремя процедурами ведали трое слуг, но порой — несомненно, оттого, что остальные отвлекались на что-то другое, — только один).

Какое-то время я бесцельно бродил по саду, любуясь цветами в быстро сгущавшихся сумерках, а после, заметив среди колонн одного из павильонов людей в костюмах, направился внутрь, к ним.

Как мог выглядеть подобный званый вечер в Обители Абсолюта, я выше уже описывал. Здесь, в обществе целиком провинциальном, прием отличался несколько иной атмосферой: проис-

ходящее казалось игрой детишек, нарядившихся в обноски родителей, многие — и мужчины, и женщины — явились в костюмах автохтонов, выкрасив лица красновато-коричневым с белыми пятнышками, причем один из них был настоящим автохтоном, однако же нарядился именно таковым, в костюм не более и не менее подлинный, чем у прочих, отчего я расхохотался бы в голос, если б не осознал, что на самом деле одет он куда оригинальнее остальных ряженых жителей Тракса. Вокруг всех эти автохтонов, настоящего и самозваных, толпилось около двух дюжин не менее нелепых фигур — офицеров, переодетых женщинами, женщин, переодетых солдатами, эклектиков столь же карикатурных, как и автохтоны, гимнософистов, аблегатов с причетниками, анахоретов, эйдолонов, зооантропов (наполовину людей, наполовину зверей) и деодандов с ремонтадо в живописных лохмотьях, с причудливо подведенными глазами.

Глядя на разношерстную толпу, я невольно задумался, как забавно вышло бы, если бы Новое Солнце, Дневная Звезда собственной персоной, столь же внезапно, как появлялось в давние времена, когда его звали Миротворцем, появилось бы здесь, среди нас, в совершенно неподходя-

щем для сего месте — ведь Миротворец всегда предпочитал появляться в местах самых неподходящих, взглянуло на всех этих людей свежим взглядом, чего никому из нас не дано, и, увидав их, при помощи чародейства обрекло всех собравшихся (людей, совершенно мне незнакомых и знать не знавших меня) отныне и впредь жить жизнью тех, кем нарядились сегодня, горожан навсегда сделало автохтонами, жмущимися к дымящим очагам в горных хижинах из дикого камня, настоящего автохтона — горожанином на ридотто, женщин — кавалеристами, во весь опор скачущими навстречу врагам Содружества с саблями наголо, а офицеры отправятся по домам, заниматься шитьем у северного окна да порой с грустью вздыхать, взглянув на безлюдную дорогу, а деоданды — в лесную чащу, оплакивать собственные немыслимые прегрешения, а ремонтадо, подпалив собственные дома, устремят взгляды к вершинам гор… и только я один останусь самим собой, подобно скорости света, которой, если верить знающим людям, не изменить никакими математическими преобразованиями.

Посмеивался я втихомолку, под маской, до тех пор, пока Коготь в мешочке из мягкой кожи не

толкнул меня в грудь — легонько, словно напоминая, что с Миротворцем шутить не стоит, а я как-никак ношу при себе некую частицу его силы. Тут-то, устремив взгляд поверх голов в шлемах, в уборах из перьев, в диких космах волос, я и увидел у дальних колонн павильона одну из Пелерин. Увидел и со всех ног поспешил к ней, расталкивая в стороны тех, кто не пожелал расступиться. (Правда, таких оказалось немного: конечно, никому вокруг даже в голову не пришло, что я действительно тот, кем наряжен, однако из-за высокого роста меня принимали за экзультанта, поскольку настоящих экзультантов у архонта в гостях не случилось.)

Пелерина была не из молодых, но и не старой; овальное, правильной формы, ее лицо под узкой полумаской несло на себе печать благородства и отстраненности, подобно лицу главной жрицы, позволившей мне войти в шатер собора, после того как мы с Агией разнесли в щепки алтарь. В руке она держала крохотный, словно игрушка, бокал с вином, и когда я преклонил колено у ее ног, поставила его на ближайший стол, чтоб протянуть мне руку для поцелуя.

— Прости меня, Домницелла, — взмолился я, — ведь я причинил тебе и твоим сестрам вели-

чайшее зло.

— Смерть причиняет зло всем нам, — отвечала она.

— Но я не Смерть.

Тут я поднял взгляд, и в голове моей зародились кое-какие сомнения.

Шумный вдох Пелерины был слышен даже сквозь трескотню собравшихся.

— Вот как?

— Именно так, Домницелла. — Пусть и уже усомнившийся в ней, я все-таки испугался, как бы она не пустилась бежать, и ухватил ее за конец опояски, свисавший с талии. — Прошу простить меня, Домницелла, но вправду ли ты принадлежишь к ордену?

Пелерина, не говоря ни слова, покачала головой и рухнула на пол.

Клиенты, содержащиеся в наших подземных темницах, нередко притворяются лишившимися чувств, однако их плутовство легко распознать. Симулянты намеренно закрывают глаза и держат их закрытыми. Жертва же настоящего обморока (коим, кстати заметить, в равной мере подвержены и женщины, и мужчины) первым делом теряет власть над глазами, отчего оба глаза какой-то миг смотрят в несколько разные стороны,

а порой закатываются под лоб — точнее, под верхние веки. Веки, в свою очередь, редко смыкаются полностью, поскольку сие — не сознательное действие, но попросту результат расслабления их мускулатуры. Обычно между кромками верхнего и нижнего века остается виден узкий полумесяц склеры глазного яблока — именно так и вышло сейчас, с упавшей передо мной женщиной.

Около полудюжины человек помогли мне перенести ее в один из альковов, чему сопутствовало множество дурацкой болтовни о жаре и возбуждении, хотя, за полным отсутствием и первого и второго, причиной обморока ни жара, ни чрезмерное возбуждение послужить не могли. Какое-то время я никак не мог отделаться от зевак, но затем происшедшее утратило всю прелесть новизны, после чего мне уже при всем желании никак не удалось бы удержать их рядом. Вскоре после этого женщина в алом зашевелилась, а другая женщина, примерно тех же лет, наряженная маленькой девочкой, сообщила мне, что это супруга некоего армигера, чья вилла находится невдалеке от Тракса, недавно отбывшего в Несс по каким-то делам. Отойдя к столу, я отыскал тот самый крохотный бокал, вернулся и смочил ее губы остававшейся в нем красной жидкостью.

— Не надо, — слабым голосом заговорила она. — Не хочу… это сангари, а я терпеть его не могу — выбрала только потому, что… потому что оттенок… к наряду подходит.

— Отчего ты лишилась сознания? Оттого, что я решил, будто ты из настоящих конвентуалок?

— Нет… оттого, что догадалась, кто ты, — ответила женщина в алом.

На время мы оба умолкли. Она по-прежнему полулежала на диване, куда мне помогли ее отнести, а я сидел у нее в ногах.

Пользуясь случаем, я вновь воскресил в памяти тот момент, когда преклонил перед нею колено: ведь мне, как не раз уже говорилось, ничего не стоит мысленно реконструировать любой миг прожитой жизни. Увы, на сей раз это нисколько не помогло, и, наконец, мне хочешь не хочешь пришлось спросить:

— Как же ты догадалась?

— Любой другой в этой одежде, спроси его, Смерть ли он, ответил бы «да»… потому что такова его маска. Неделю назад, когда муж обвинил одного из наших пеонов в краже, я присутствовала на суде архонта. В тот день и видела тебя, стоявшего сбоку, скрестив руки на гарде вот этого самого меча, а едва лишь услышала, в чем ты со-

знаешься, едва ты поцеловал мои пальцы, сразу тебя узнала и подумала… О, сама не знаю, что я подумала! Наверное, что ты преклоняешь передо мной колено, так как намерен убить меня. Там, в зале суда, ты держался… все время держался, словно тот, кто не отступится от законов учтивости даже в обращении с несчастным, которому собирается отсечь голову, особенно с дамой.

— Я преклонил перед тобою колено лишь потому, что очень хочу поскорей разыскать Пелерин, а твой наряд, как и мой, казался вовсе не маскарадным.

— Так и есть. Говоря откровенно, носить его мне не положено, но это не просто костюм, на скорую руку сооруженный служанками, а настоящая инвеститура. — Тут она ненадолго умолкла. — Однако я ведь даже не знаю твоего имени.

— Севериан. А тебя зовут Кириакой — так сказала одна из женщин, помогавших перенести тебя сюда. Будь любезна, скажи, как ты добыла эти одежды и не знаешь ли, где Пелерины сейчас?

— Твоей службы это не касается, верно? — Пристально взглянув мне в глаза, Кириака покачала головой: — Да, дело, определенно, личное. Я росла у них и воспитывалась. В послушницах. Мы исходили весь континент, от края до края, и я

получила немало чудесных уроков ботаники, попросту глядя на цветы и деревья в пути. Порой, стоит вспомнить былое, мне кажется, будто пальмы от сосен отделяла всего неделя пешего хода, хотя это, конечно, не так.

— Шло время, я готовилась принять невозвратные обеты, а за год до облачения всякой послушнице шьют инвеституру, дабы та могла примерить ее и подогнать по себе, после чего ее всякий раз, разбирая поклажу, видишь среди обычной одежды. Будто девочка, любующаяся свадебным платьем матери, принадлежавшим и ее бабке, и понимающая, что тоже выйдет замуж — если когда-либо выйдет замуж — именно в нем. Только я инвеституры так ни разу и не надела, но, возвращаясь домой… ждать случая, надо заметить, пришлось долго, ведь провожать меня никто не стал бы… прихватила ее с собой.

Прихватила с собой, но долгое время о ней не вспоминала. А получив от архонта приглашение на маскарад, вынула из сундука и решила надеть нынче вечером. Фигурой своей я горжусь по праву: служанкам пришлось лишь самую малость расставить вот здесь и здесь. Сидит как влитая, и лицом я — что настоящая Пелерина, вот только глаза… Правду сказать, мне этот взгляд никогда

не давался. Думала, само придет, когда я обеты приму или после. У старшей над послушницами такой взгляд был… Допустим, сидит за шитьем, а заглянешь в глаза ей и сразу же веришь, что ей виден весь Урд, до тех самых краев, где обитают перисции, что взгляд ее проникает и сквозь ткань старой изношенной юбки, и сквозь стену шатра — сквозь все на свете… Однако куда направляются Пелерины сейчас, я не знаю, да и сами они — кроме разве что Матери — вряд ли знают об этом.

— Должно быть, у тебя среди них остались подруги, — заметил я. — Разве больше никто из послушниц не предпочел мирскую жизнь?

Кириака пожала плечами:

— Даже не знаю. Никто из них мне ни разу не написал.

— Как ты себя чувствуешь? Не хочешь ли вернуться назад? Там начинаются танцы.

Прежде, пока речь шла о Пелеринах, взгляд собеседницы словно блуждал в коридорах времени. Сейчас она, не поворачивая головы, искоса взглянула на меня.

— А тебе самому туда хочется?

— Пожалуй, нет. В толпе мне всегда несколько не по себе, если только вокруг не друзья.

— Так у тебя есть друзья?

Казалось, она искренне удивлена.

— Не здесь… за исключением одной подруги. А в Нессе рядом со мной были братья по гильдии.

— Понимаю, — после недолгой паузы ответила Кириака. — Что ж, возвращаться к остальным нам вовсе незачем. Званый вечер продолжится до утра, а с рассветом, если архонту не надоест веселиться, в павильоне опустят шторы, чтобы свет солнца не проникал внутрь, а может быть, даже накроют сводчатым куполом весь сад. Мы можем сидеть здесь сколько пожелаем. Захотим чего-нибудь выпить или перекусить — подзовем проходящего мимо официанта, а когда рядом появится кто-нибудь, с кем нам захочется поговорить, остановим его и заставим развлечь нас беседой.

— Боюсь, я наскучу тебе задолго до конца ночи, — предупредил я.

— Вот уж нет! Думаешь, я позволю тебе много болтать? Нет, я намерена говорить сама, а ты будешь слушать. Для начала: знаешь ли ты, что очень красив?

— Я знаю, что ничуть не красив. Однако ты ни разу не видела меня без маски, а значит, не можешь знать, как я выгляжу.

— Ошибаешься.

С этим Кириака подалась вперед, будто затем, чтоб разглядеть мое лицо под маской сквозь прорези для глаз. Ее собственная маска, пара обрамлявших глаза миндалевидных петелек из узкой тесьмы того же цвета, что и платье, была так крохотна, что казалась всего лишь условностью, но придавала ее внешности налет экзотики, в иное время совсем ей не свойственной, а самой Кириаке, по-моему, внушала ощущение тайны, анонимности, избавлявшей ее от груза ответственности.

— Несомненно, ты — человек недюжинного ума, но на подобных приемах бывал куда реже, чем я, иначе давно освоил бы искусство судить о лицах, не видя их. Конечно, если тому, за кем наблюдаешь, вздумалось нацепить личину из дерева, не повторяющую формой лица, приходится нелегко, но даже в этом случае заметить можно очень и очень многое. Подбородок у тебя заостренный, верно? С небольшой ямочкой посередине?

— Заостренный — да, — подтвердил я, — однако без ямочки.

— Вот тут ты лжешь, чтоб сбить меня с толку, либо сам никогда в жизни ее не замечал. Форму

подбородка я могу определять по талии — особенно у мужчин, в чем и заключается главный мой интерес. Тонкая талия означает заостренный подбородок, и форма твоей кожаной маски вполне позволяет в том убедиться. Вдобавок глаза… глубоко посажены, однако довольно велики и подвижны, что у мужчин, особенно узколицых, непременно сопутствует ямочке на подбородке. Скулы — их очертания самую чуточку видны под маской — у тебя широки, а из-за впалых щек кажутся еще шире. Волосы, судя по волоскам на тыльной стороне ладоней, темны, а губы тонки — их видно сквозь прорезь для рта. Поскольку целиком мне их не разглядеть, они изогнуты, словно лук купидона — самая соблазнительная форма мужских губ.

Не зная, что на это ответить, я многое отдал бы, лишь бы оставить ее как можно скорее, и наконец спросил:

— И теперь ты захочешь, чтоб я снял маску, дабы проверить точность всех этих суждений?

— О нет, нет, снимать маски нельзя — до тех пор, пока не заиграют обаду! Кроме того, подумай о моих чувствах. Если ты снимешь маску и, вопреки моему опыту, окажешься нисколько не красивым, я лишусь интересной ночи.

Рассматривая меня, она села прямо, теперь же улыбнулась и снова откинулась на диван, а ее волосы раскинулись по подушкам, окружив голову темным ореолом.

— Нет, Севериан, снимать маску с лица ни к чему, а вот снять маску с души придется. Чуть позже ты это сделаешь, показав все, что сделал бы, будучи волен делать что пожелаешь, а пока — рассказав обо всем, что я о тебе хочу знать. Ты прибыл из Несса — об этом мне уже известно. Отчего тебе так не терпится отыскать Пелерин?

VI. Библиотека Цитадели

Едва я собрался дать ей ответ, мимо нашего алькова прошла пара гостей — облаченный в санбенито кавалер с дамой, наряженной мидинеткой. На нас они только глянули мимоходом, и нечто — возможно, склоненные одна к другой головы, а может, незначительная перемена в выражениях лиц — подсказывало: они знают или, по крайней мере, подозревают, что на мне вовсе не маскарадный костюм. Однако я сделал вид, будто ничего не заметил, и сказал:

— Мне в руки случайно попало кое-что, принадлежащее Пелеринам. Хочу вернуть им пропажу.

— То есть чинить им зла ты не собираешься? — уточнила Кириака. — А можешь ли рассказать, что это?

Ответить правду я не осмелился и, понимая, что Кириака непременно попросит показать ей названное, ответил:

— Книга… старинная, великолепно иллюстрированная книга. Не стану делать вид, будто хоть что-либо смыслю в книгах, но почему-то уверен: она и в смысле религии многое значит, и сама по себе ценность имеет немалую, — и вынул из

ташки ту самую книгу в коричневом переплете из библиотеки мастера Ультана, которую взял с собой, покидая камеру Теклы.

— Да, книга древняя, — подтвердила Кириака. — И, вижу, сильно подмочена. Позволь взглянуть?

Я подал ей книгу, и Кириака, перелистав страницы, поднесла ближе к светильнику, мерцавшему над нашим диваном, разворот с изображением сикинниды. Казалось, рогатые люди запрыгали, сильфиды дружно качнули бедрами в такт пляске пламени.

— Я в этом тоже мало что смыслю, — созналась она, возвращая мне книгу, — однако мой дядюшка разбирается в книгах прекрасно и, думаю, дорого бы за нее заплатил. Вот если бы он был здесь и смог поглядеть… а впрочем, так даже к лучшему: возможно, я сама попробую ее у тебя как-нибудь выманить. Каждую пентаду он отправляется в путешествие не хуже моих странствий с Пелеринами — и все ради поисков старинных книг. Даже в забытых архивах бывал. Ты о них слышал?

Я отрицательно покачал головой.

— И я знаю только то, что он однажды рассказывал, выпив чуть больше нашего домашнего

кюве, чем обычно, да и рассказал, может статься, не все: за разговором мне постоянно казалось, будто дядюшка слегка опасается, как бы я не решилась отправиться туда сама. Я, разумеется, не решилась, хоть иногда и сожалею о том. Так вот, далеко на южных окраинах Несса, где большинство горожан не бывали никогда в жизни, так далеко вниз по великой реке, что люди обычно думают, будто город заканчивается намного, намного раньше, стоит древняя-древняя крепость. Все, кроме, возможно, самого Автарха — да живет его дух в тысяче преемников, — давным-давно позабыли о ней и места те считают нечистыми. Стоит она на высоком холме возле берега Гьёлля, взирая с его вершины на бескрайнее поле, усеянное полуразрушенными гробницами, и ничего, ничего не охраняет.

Сделав паузу, она вскинула руки и нарисовала в воздухе перед собою холм с венчающей его твердыней. Тут у меня возникло ощущение, будто эту историю она рассказывала уже не раз и не два — возможно, собственным детям. Подумав об этом, я осознал, что лет ей не так уж мало, довольно, чтобы иметь детей, в свою очередь подросших достаточно, чтоб выслушать и эту, и прочие ее сказки по много раз. Да, все эти годы не оставили

на ее гладком, чувственном лице никакого следа, однако светоч юности, все еще ярко горящий в Доркас, и озарявший чистым, не от мира сего, сиянием даже Иоленту, и ослепительно, буйно пылавший за несгибаемой красотой Теклы, и осиявший укрытые пеленою тумана дорожки некрополя, когда сестра ее, Тея, приняла у Водала пистолет на краю осквернённой могилы, угас в Кириаке так давно, что от его пламени не осталось даже едва уловимого аромата, и посему мне сделалось искренне ее жаль.

— Тебе, несомненно, известно, как наша раса, как люди древности достигли звезд и как отдали ради этого все первозданное, дикое, что оставалось в них, и оттого утратили вкус к буйству встречного ветра, и плотскому вожделению, и к любви, и к сложению новых песен, и к пению песен старых, и к прочим проявлениям «звериной» натуры, которые якобы принесли с собою из джунглей, с самого дна времен… хотя в действительности, как утверждал дядюшка, все это и вывело их из дикой глуши. Известно тебе также — а неизвестно, так знай, — что отданы эти вещи были творениям их же собственных рук, в душе ненавидевшим их. Да, у них вправду имелись души, хотя сотворившие их люди никогда с этим

не считались. Так вот, творения решили уничтожить создателей, и уничтожили, дождавшись, пока человечество не покорит тысячи солнц, а после вернув человеку все, от чего он отрекся задолго до этого.

Одним словом, запомни все это и знай. Сама я то, что рассказываю, узнала от дядюшки, а он прочел обо всем этом и о многом другом в книге из своего собрания. В книге, которой, на его взгляд, не открывали целую хилиаду.

А вот о том, как это было проделано, известно гораздо меньше. Помнится, еще девчонкой я представляла себе злые машины, рывшие, рывшие землю ночь напролет, пока не откопали, не вынули из-под корней древних дубов железный сундук, ими же спрятанный под землей, когда мир был еще совсем юным, а после, стоило им сбить замок, все, о чем мы с тобой говорили, вырвалось, вылетело наружу, словно рой золотистых пчел. Глупо, наивно, однако мне даже сейчас не по силам вообразить, как эти думающие машины выглядели, как поступили в действительности.

Я тут же вспомнил об Ионе, о светлом металле, блестевшем там, где должна быть кожа его чресл, однако не сумел представить себе Иону, выпуска-

ющего мор на горе всему роду людскому, и лишь недоверчиво покачал головой.

— Однако в дядюшкиной книге, по его словам, объяснялось, что они сделали, а выпущенное ими на волю было вовсе не роем насекомых, а изобилием всевозможных артефактов, которые, по их расчетам, вернут к жизни все мысли и чувства, оставленные людьми в прошлом, так как всего этого не представлялось возможным записать цифрами. Строительством и изготовлением всего на свете, от городов до сосудов для сливок, управляли те же машины, и вот они, на протяжении тысячи человеческих жизней строившие города-механизмы, принялись возводить города, похожие на скопления туч перед бурей или, к примеру, на скелеты драконов.

— Когда же все это происходило? — спросил я.

— Очень, очень давно — задолго до того, как были уложены первые камни в фундаменты первых строений Несса.

Я обнял Кириаку за плечи, а ее ладонь — жаркая, ищущая — крадучись заскользила по моему бедру.

— Тому же принципу подчинили они все, что бы ни делали. И очертания мебели, и, скажем, покрой одежды. Ну а поскольку правители, в

незапамятные времена решившие, что все мысли, какие могут символизировать подобные города, и одежда, и мебель, человечеству надлежит оставить в прошлом, давным-давно умерли, простых людей, позабывших и лица их, и максимы, новизна привела в восторг. Это и погубило всю человеческую империю, возведенную на основании одного лишь порядка.

Но все же, хоть империя и распалась, до гибели каждого из миров было еще далеко. Поначалу, дабы род людской вновь не отверг того, что ему возвратили, машины придумали грандиозные зрелища, феерии, вселявшие в голову всякого зрителя мысли о богатстве, о мщении либо о незримом, духовном мире. Позже они приставили к каждому из людей компаньона, советника, невидимого для всех остальных. У детей такие товарищи имелись с давних времен.

Когда власть машин — как самим машинам и требовалось — ослабла еще больше, они уже не могли ни поддерживать в сознании владельцев эти фантомы, ни строить новые города, так как и прежние-то, уцелевшие, почти опустели.

Таким образом, они, как сказал дядюшка, достигли той стадии, на коей человечество, согласно всем их надеждам, должно было обра-

титься против машин и уничтожить их, однако ничего подобного не случилось, так как теперь их — тех, кого прежде презирали, словно рабов, либо почитали, как демонов, — полюбили всем сердцем.

Тогда созвали они к себе всех, кто возлюбил их сильнее прочих, долгие годы учили избранных всему, отвергнутому родом людским, а со временем умерли.

Собрались те, кого полюбили они и кто полюбил их, на совет, начали думать, как сохранить их науку, ибо прекрасно знали, что подобных им на Урд больше не будет. Но начались среди них ожесточенные споры. Науки они постигали не сообща: каждый, будь он хоть мужчиной, хоть женщиной, слушал одну из машин, как будто во всем мире нет никого, кроме них двоих, ну а поскольку знаний было великое множество, а учеников — жалкая горстка, машины каждого учили по-разному.

Так, слово за слово, ученики машин разделились на две партии, а каждая из партий — еще на две, а каждая из этих двух — еще на две, и, наконец, всяк из собравшихся остался один, непонятый, осуждаемый всеми прочими и, в свою очередь, осуждающий их. Поодиночке разошлись

они по миру, прочь из городов, служивших приютом машинам, либо в самую их глубину — все, кроме нескольких, по привычке оставшихся во дворцах машин, бдеть возле их безжизненных тел.

Один из сомелье принес нам по чаше вина почти столь же прозрачного, как вода, и столь же спокойного, пока легкие колебания чаш не пробудили его, обращая в игристое. Заструившиеся к поверхности пузырьки наполнили альков ароматом цветов, которых не различить глазом, которых не отыскать никому, кроме слепых, а пить такое — все равно что пить квинтэссенцию силы из сердца быка. В нетерпении выхватив свою чашу из рук служителя, Кириака жадно осушила ее и со звоном отбросила в угол.

— Продолжай, — попросил я. — Чем кончилась история о забытых архивах?

— Когда последняя из машин остыла и замерла без движения, а каждый из тех, кто постигал запретные, отвергнутые человечеством знания, расстался со всеми прочими, сердца их исполнились ужаса. Ибо каждый сознавал, что он — всего-навсего смертный и вдобавок уже немолод, и понимал: с его собственной смертью погибнут его любимые знания. Тогда каждый из

них — полагая, будто никто другой до этого не додумался, — начал записывать все, что постиг в течение долгих лет, внимая наставлениям машин, раскрывавших ученикам без утайки все тайны дикой, «звериной» части человеческого существа. Немало рукописей после было утрачено, но куда больше уцелело, попав в руки тех, кто взялся копировать их, оживляя собственными дополнениями или ослабляя пропусками… Поцелуй меня, Севериан.

Поцелуям изрядно мешала маска, однако губы наши встретились. Стоило ей отстраниться, из глубин памяти всплыл целый ворох призрачных воспоминаний о прежних любовных шалостях Теклы, разыгрывавшихся за псевдотирумами, ведущими в катахтонические будуары Обители Абсолюта, и я сказал:

— Разве ты не знаешь, что подобные вещи требуют от мужчин полной сосредоточенности?

— Знаю, — с улыбкой ответила Кириака. — Потому так и сделала. Хотела проверить, слушаешь ли ты мой рассказ. Так вот, долгое время — сколь долгое, наверное, не знает никто на свете, хотя, когда все это началось, мир наш еще не подошел вплотную к угасанию солнца, а годы были длиннее — эти рукописи ходили по рукам либо

покрывались плесенью в кенотафах, где авторы прятали их для пущей сохранности. Были они фрагментарны, противоречивы и эйзегестичны. Затем, когда один из автархов (хотя в ту пору их еще не именовали автархами) вознамерился вернуться к завоеваниям и достижениям той, первой империи, его слуги, люди в белых одеждах, обшарили все чердаки, низвергли с пьедесталов статуи андросфинксов, воздвигнутые в память о машинах, вошли даже в кубикулы давным-давно умерших мойрианок и собрали их все. Собрали, а добычу сложили огромной грудой посреди только что выстроенного великого города, Несса, дабы предать огню.

Однако в ночь накануне сожжения автарху тех времен, коему никогда прежде не являлись необузданные, своевольные сновидения, грезившему лишь наяву, и то об одной только власти, наконец-то приснился сон. Сон о том, как из рук его навсегда ускользает множество неприрученных миров — миров жизни и смерти, камня и рек, зверей и деревьев.

С приходом утра он приказал не зажигать факелов, но выстроить огромную сокровищницу и поместить все тома и свитки, собранные слугами в белых одеждах, туда. Ибо решил, если со строи-

тельством новой империи что-либо не заладится, удалиться в эту сокровищницу и с головой погрузиться в миры, которые, в подражание древним, собирался отринуть навек.

Новой империи у него, как и следовало ожидать, не вышло. Прошлого в будущем не найдешь, так как там его нет и не будет — до тех самых пор, пока метафизический мир, что куда обширнее, неторопливее мира материального, не завершит оборот и к нам не явится Новое Солнце. Однако не удалился он, как замышлял, и в свою сокровищницу, за крепостную стену, коей велел обнести ее, ибо диких, первозданных черт человеческой натуры, однажды оставив их в прошлом, назад уже не вернешь.

Но, как бы там ни было, говорят, будто, прежде чем запереть собранное от всех на свете, он приставил к сокровищнице блюстителя. Когда же срок жизни сего блюстителя на Урд подошел к концу, тот подыскал нового, а тот — еще одного, и все они неизменно оставались верны приказам того автарха, поскольку душой и телом впитали «дикие» черты и помыслы, порожденные тайным знанием, сохраненным машинами, — ведь подобная верность как раз к ним, к первозданным чертам человека, и принадлежит…

Слушая, я освободил ее от одежд и начал целовать груди, но тут сказал:

— Разве все черты и помыслы, о которых ты говорила, не исчезли из мира, когда автарх запер их под замок? Быть может, я о них в жизни не слышал?

— Нет, не исчезли: ведь их долгое время передавали из рук в руки, и мало-помалу они проникли в кровь каждого. Кроме того, говорят, будто блюститель порой выпускает их прогуляться. Да, в итоге они неизменно к нему возвращаются, но прежде чем снова канут во тьму сокровищницы, их читают — то один, то другой, а то и многие.

— Чудесная сказка, — сказал я. — Возможно, я знаю об этом больше, чем ты, но услышал ее впервые.

Длинные ноги Кириаки плавно сужались от бедер, очень похожих на шелковые диванные валики, к лодыжкам, да и все ее тело было словно создано для наслаждений.

Ее пальцы коснулись фибулы, удерживавшей на плечах мой плащ.

— Тебе обязательно его снимать? — спросила она. — Не хватит ли его, чтоб укрыть нас обоих?

— Хватит, — подтвердил я.

VII. Влечения

В подаренных ею наслаждениях я едва не утонул с головой, так как — пусть не любил ее, как некогда любил Теклу и до сих пор любил Доркас, пусть она оказалась вовсе не столь прекрасной, какой когда-то была Иолента, — проникся к ней нежностью, лишь отчасти порожденной игристым вином, а Кириака была именно такой женщиной, о каких мечтал я оборванным мальчишкой, в Башне Матачинов, прежде чем был очарован сердцевидным ликом Теи возле вскрытой могилы, причем об искусстве любовных утех знала гораздо больше любой из них трех.

Поднявшись с дивана, мы отправились к серебряной чаше проточного бассейна, помыться. Возле него, подобно нам, предавалась любовной игре пара женщин. Уставившись на нас, обе расхохотались, однако, увидев, что я не пощажу их, хоть они и женщины, с визгом умчались прочь, а мы с Кириакой омыли друг друга.

Я понимал: Кириака не сомневается, что после этого я оставлю ее, и сам не сомневался в том, что она оставит меня, но нет, мы не расстались (хотя так, наверное, было бы лучше), а удалились

в небольшой тихий сад, укрытый мраком ночи, и остановились у одинокого фонтана.

Оба мы держались за руки, как держатся за руки дети.

— Тебе случалось бывать в Обители Абсолюта? — спросила она, глядя на наше отражение в озаренной лунным светом воде.

Голос ее прозвучал едва слышно.

Я ответил, что доводилось, и ее пальцы крепче сжали мою ладонь.

— И в Кладезе Орхидей?

Я отрицательно покачал головой.

— В Обители Абсолюта я тоже бывала, но Кладезя Орхидей ни разу не видела. Говорят, если у Автарха имеется супруга, каковой у нашего нет, она держит двор именно там, в самом прекрасном месте на весь мир. Даже сейчас там позволяют гулять только красавицам из красавиц. Когда я была при дворе, нам — моему господину и мне — отвели покои, совсем небольшие, сообразно армигерскому званию. Однажды вечером господин мой отбыл неизвестно куда, а я вышла в коридор, и, пока глядела по сторонам, мимо прошел один из высших придворных чиновников. Ни его имени, ни придворного чина я не знала, однако остановила его и спросила, нельзя ли мне

посетить Кладезь Орхидей.

Тут Кириака ненадолго умолкла. На протяжении трех, а то и четырех вдохов вокруг не слышалось ни звука, кроме музыки, доносившейся из павильонов, да звона струйки фонтана.

— А он остановился и взглянул на меня… думаю, с некоторым удивлением. Тебе наверняка невдомек, каково это — чувствовать себя ничтожной армигеттой с севера, в платье, пошитом собственными служанками, в провинциальном драгоценном убранстве, под взглядом особы, всю жизнь прожившей среди экзультантов Обители Абсолюта… Так вот, взглянул он на меня и улыбнулся.

Пальцы Кириаки сомкнулись вокруг моей ладони крепче прежнего.

— Улыбнулся и говорит: по такому-то и такому-то коридору, сверни у такой-то статуи, поднимись вверх по лестнице и следуй дорожкой, мощенной слоновой костью. О Севериан, любимый!

Лицо ее сияло, словно сама луна. В эту минуту я понял: она описывает вершину всей своей жизни и весьма дорожит подаренной мною любовью — отчасти, а может, и в основном оттого, что приключение наше напомнило Кириаке, как ее красота, взвешенная и оцененная персоной,

сочтенной ею достойной вынести приговор, была сочтена достаточной. Разум подсказывал, что мне следовало бы оскорбиться, однако обиды в сердце я отыскать не сумел.

— Чиновник ушел, а я отправилась, куда было указано, прошла пару дюжин — ну, может, две пары дюжин маховых шагов и… И нос к носу столкнулась с моим господином, а он велел мне вернуться назад, в наши крохотные покои.

— Понимаю, — сказал я, поправив меч на плече.

— Наверное, понимаешь… А если так, слишком ли дурно я поступаю, изменяя ему, как по-твоему?

— Я не магистрат.

— Все осуждают меня… все друзья и подруги… и все любовники, из коих ты — не первый и не последний, и даже те женщины из кальдария.

— Нас с детства учат никого не осуждать, а лишь приводить в исполнение приговоры, вынесенные судами Содружества. Нет, я не стану осуждать ни его, ни тебя.

— А вот я осуждаю, — сказала она, поднимая лицо к яркому, неумолимому свету звезд, и я впервые с тех пор, как увидел Кириаку в переполненном павильоне, отведенном под бальный

зал, понял, каким образом мог принять ее за схимницу ордена, в одеяния коего она нарядилась. — Или, по крайней мере, делаю вид, будто осуждаю и признаю за собою вину, но остановиться никак не могу. По-моему, таких, как ты, что-то ко мне влечет. Что тебя привлекло? Среди гостей было немало женщин куда красивее и моложе меня.

— Не знаю, что и ответить, — проговорил я. — Когда мы шли сюда, в Тракс…

— А, так тебе тоже есть о чем рассказать? Расскажи, Севериан, расскажи. О единственном интересном событии из собственной жизни я уже рассказала.

— По пути сюда мы — с кем я шел сюда, объясню как-нибудь в другой раз, — случайно столкнулись с ведьмой, ее фамулой и клиентом, пришедшими в некое место, чтоб вновь вызвать к жизни тело давно умершего человека.

— Правда? — В глазах Кириаки вспыхнули огоньки. — Как восхитительно! Слышала я о подобном, но сама никогда не видела. Расскажи все, только, гляди, не выдумывай.

— На самом деле рассказывать особенно не о чем. Путь наш лежал через заброшенный город, и, увидев огонь их костра, мы подошли к нему,

так как при нас был некто тяжело больной. Когда ведьма вернула к жизни нужного человека, я поначалу решил, будто она вознамерилась восстановить весь город, и только примерно через неделю понял, что…

Закончить не удалось: я просто не смог объяснить, что именно понял. Суть выходила за рамки человеческого языка, достигая того уровня, который мы предпочитаем полагать несуществующим, хотя, если бы не привычка постоянно держать в узде, одергивать собственные мысли, они то и дело забирались бы туда сами собой.

— Продолжай же.

— Разумеется, ничего я толком не понял. До сих пор размышляю над происшедшим, но понять не могу. Одно знаю: ведьма вернула к жизни его, а он принялся возвращать к жизни каменное городище, словно без этого города ему, как актеру без декорации, никуда. Порой мне даже думается, что город, может статься, никогда не существовал сам по себе, отдельно от него, и мы, едучи по растрескавшимся мостовым, мимо разрушенных стен, на деле ехали среди его мертвых костей.

— Ну а он-то пришел? — с нетерпением спросила Кириака. — Рассказывай, не томи!

— Да, он вернулся. А после клиента ведьмы

постигла смерть, и хворую девушку, что была с нами, тоже. Апу-Пунчау — так звали давно умершего — снова исчез, а ведьмы, думаю, просто сбежали, но, может, и улетели. Впрочем, это не главное. Важно другое: весь следующий день мы шли пешком, а на ночлег остановились в хижине некоей бедной семьи. В ту ночь, пока моя спутница спала, я поговорил с хозяином дома, очевидно, многое знавшим о каменном городище, хотя его изначальное название оказалось ему неизвестным. А еще поговорил с его матерью, и вот она, думаю, знала несколько больше, чем он, только мне обо всем, что знает, рассказывать не пожелала.

Тут мне пришлось сделать паузу: говорить о подобных вещах с этой женщиной оказалось нелегко.

— Поначалу я заподозрил, что их предками были выходцы из этого города, но они утверждали, будто город разрушили задолго до появления на свет их расы. Однако его секретов они знали немало, так как хозяин дома с детства искал там сокровища, но, по его словам, так ничего и не нашел, кроме обломков камней, да битых горшков, да следов других искателей кладов, побывавших там задолго до него.

«В дни древности, — так рассказывала его мать, — люди верили, будто зарытое золото можно приманить, если закопаешь в землю пару-другую монет, сотворив при этом такие-то чары. Многие пробовали, да только одни забывали нужное место, другим что-то мешало туда вернуться… Эти-то монеты сын и находит. Это и есть наш хлеб».

Рассказывая, я вспоминал эту старуху, дряхлую, сгорбленную, гревшую руки над пламенем костерка из торфа. Возможно, она чем-то напоминала одну из престарелых нянек Теклы, так как при виде нее Текла поднялась из глубин памяти еще ближе к поверхности, чем в ту ночь, когда мы с Ионой сидели под замком в аванзале Обители Абсолюта, — раз или два я, бросив взгляд на собственные руки, искренне удивлялся и толщине пальцев, и смуглому цвету кожи, и полному отсутствию колец.

— Продолжай же, Севериан, — поторопила меня Кириака.

— Затем старуха поведала, что в каменном городище есть нечто, действительно притягивающее себе подобных. «Ты наверняка слышал сказки о некромантах, выуживающих из-за черты души умерших, — сказала она. — А знаешь ли, что

среди мертвых есть вивиманты, призывающие к себе тех, кому по силам их оживить? Один из таких обитает и в каменном городище, и каждый сарос с нами раз или два ужинают те, кого он зовет к себе. Помнишь того молчуна, спавшего рядом со своим посохом? — спросила она сына. — Ты был тогда совсем крохой, но помнить его, я думаю, должен. До нынешнего дня к нам после него больше никто не заглядывал». Тут я и понял, что меня тоже влек к себе вивимант, Апу-Пунчау, хотя ничего такого не чувствовал.

Кириака искоса взглянула на меня:

— По-твоему, и я мертва, да? Ты говорил, будто всего-навсего наткнулся на костер ведьмы, оказавшейся некроманткой. Теперь мне кажется, будто этой «ведьмой» был ты сам, а «клиентом» — несомненно, хворая девушка, а вторая девица — твоей прислужницей.

— Это потому, что я рассказал тебе только о том, что посчитал важным, а о многом другом умолчал, — пояснил я.

Над тем, что принят за колдуна, я посмеялся бы от души, однако Коготь снова толкнул меня в грудь, будто напоминая: благодаря его краденой силе я вправду стал сродни ведьмам во всем, кроме знаний. Подумав об этом, я понял — в том же

смысле, в каком «понимал» все остальное, — что Апу-Пунчау тянул, влек Коготь к себе, однако не смог (а может, не захотел?) отнять его у меня.

— А самое главное, — продолжал я, — когда выходец с того света исчез, в грязи осталась одна из алых накидок ордена Пелерин, точно такая же, как сейчас на тебе. Она у меня с собой, в ташке. Неужто Пелерины балуются некромантией?

Ответа на этот вопрос я так и не услышал: стоило мне завершить фразу, на дорожке, ведущей к фонтану, показался архонт. На маскарад он нарядился баргестом, так что при хорошем освещении я бы, пожалуй, его не узнал, однако сумерки ночного сада сорвали с него и костюм, и маску не хуже человеческих рук, а посему, едва различив в темноте его рост и походку, я узнал его сразу.

— А-а, — заговорил он, — стало быть, ты нашел ее. Я должен был это предвидеть.

— Я так и подумал, — ответил я, — но не был в том уверен.

VIII. У обрыва

Из дворцового сада я вышел через одни из ворот, выходящих на сушу. Возле них несли караул шестеро кавалеристов, отнюдь не столь беспечных и благодушных, как те, что несколько страж назад встречали меня на лестнице, ведущей к садам от реки. Один, вежливо, но непреклонно преградив выход, спросил, вправду ли мне необходимо уйти со званого вечера так рано. В ответ я представился и сказал, что этого, увы, не избежать: ночью-де я еще должен закончить кое-какие дела (в самом деле ждавшие завершения), а назавтра мне предстоит крайне нелегкий день (в самом деле мне предстоявший).

— Тогда ты просто герой, ликтор, — несколько дружелюбнее прежнего заметил солдат. — Сопровождающие при тебе есть?

— Были два клавигера, но я отпустил их. Что помешает мне найти дорогу назад, в Винкулу, одному?

— Можешь остаться здесь до утра, — предложил другой кавалерист, до сих пор хранивший молчание. — Тебе подыщут тихое место, чтоб спокойно поспать.

— Да, но дела останутся несделанными. Боюсь, я должен идти немедля.

Солдат, преграждавший мне путь, отступил в сторону.

— Я бы все же послал с тобой пару человек. Подожди немного, и они подойдут — вот только получу разрешение от начальника караула.

— В этом нет надобности, — заверил его я и вышел за ворота, прежде чем кто-либо из них сказал еще хоть словцо.

Отовсюду вокруг явственно веяло тревогой, словно виновный в убийствах, о которых рассказывал мой сержант, еще не угомонился — меня никак не оставляла уверенность, будто, пока я гостил во дворце у архонта, в городе не обошлось без новых жертв. Мысли эти внушали приятное возбуждение, и вовсе не оттого, что я по глупости полагал себя неуязвимым: риск покушения, смертельно опасная ночная прогулка по темным улицам Тракса изрядно притупили гнетущую тоску, готовую накрыть меня с головой. Этот неясный ужас, эта безликая угроза ночи были самыми ранними среди всех моих детских страхов и посему сейчас, когда детство осталось далеко позади, казались столь же родными, домашними, как и все прочее, что сохранилось при нас,

повзрослевших, с детских времен.

Оказавшемуся на том же берегу, что и хакаль, где я побывал нынче днем, нанимать лодку мне не потребовалось, но незнакомые улицы в темноте казались лабиринтом, выстроенным специально ради того, чтоб сбить меня с толку. Однако после нескольких неудачных попыток я отыскал ту самую узкую тропку, что вела наверх, к хакалю у отвесной скалы.

Из жилищ по обе ее стороны, безмолвствовавших днем, в ожидании, пока могучая каменная стена, что напротив, поднявшись, не заслонит солнца, доносились негромкие голоса, а за несколькими окнами мерцали огоньки лампжирников. В то время как Абдиес пировал внизу, во дворце, скромные обитатели вершины утеса тоже устроили себе празднество, причем их веселье отличалось от его званого вечера разве что куда меньшим буйством. Проходя мимо, я слышал за стенами звуки любовных игр, точно такие же, какие слышал в садах у архонта, пока шел к воротам после окончательного расставания с Кириакой, негромкие разговоры, добродушные перепалки и смех. Дворцовый сад благоухал цветами, а воздух его освежали струи фонтанов и влага ледяных вод Ациса, струившихся за огра-

дой. Здесь этаких ароматов, разумеется, было не сыскать, однако ночной ветерок, витавший среди хакалей и пещер с закупоренными устьями, пах то навозом, то ароматным свежезаваренным чаем либо убогой жидкой похлебкой, то попросту свежестью горных вершин.

Поднявшись повыше, туда, где не желал селиться никто из хозяев, настолько зажиточных, чтобы позволить себе хоть немного света, кроме света кухонных очагов, я обернулся и оглядел город точно так же, как — правда, в совсем ином расположении духа — озирал его днем, с зубчатых стен замка Акиэс. Говорят, в горах имеются расселины такой глубины, что на дне их видны звезды — другими словами, пропасти, достигающие той стороны мира, пронзающие весь мир насквозь. Казалось, на краю одной из этих расселин я и стою. Внизу, подо мною, сияли мириады огней, как будто вся Урд внезапно ушла из-под ног, открыв взгляду бездну, полную звезд.

К этому времени меня уже вполне могли хватиться и начать поиски. Разумеется, мне первым делом представились димархии архонта, галопом, возможно, с факелами, прихваченными из садов, мчащиеся по тихим улицам, однако мысль о возглавляемых мной до сего дня клави-

герах, веером расходящихся в стороны от ворот Винкулы, оказалась гораздо хуже. Но нет, внизу царило спокойствие — ни движущихся огней, ни отдаленных хриплых возгласов, а если в Винкуле и поднялся переполох, то темных улиц, оплетавших паучьей сетью склон за рекой, переполох сей пока не затронул. Не наблюдалось вдали и мерцающих отсветов в проеме огромных ворот, распахивающихся, выпуская наружу очередной отряд только что поднятых с коек людей, и вновь затворяющихся за их спинами. Успокоившись, я еще раз оглядел город и двинулся дальше, наверх. Пускай тревога еще не поднялась, ждать ее оставалось недолго.

В том самом последнем хакале под отвесной скалой было темно, а изнутри не доносилось ни звука. Прежде чем переступить порог, опасаясь, что, когда войду, мне не хватит на это духу, я вынул Коготь из ладанки на груди. Порой он полыхал ослепительнее всякого фейерверка — как, например, в Сальте, на постоялом дворе, порой же поблескивал не ярче осколка простого стекла. Той ночью, в хакале, свет Когтя не слепил глаз, но налился глубочайшей ультрамариновой синевой, словно камень испускал вовсе не свет, а нечто вроде чистой, прозрачной тьмы.

Среди многочисленных имен Миротворца есть одно, по-моему, употребляемое людьми реже всех прочих, а мне всегда казавшееся самым из них загадочным — Черное Солнце. С той ночи я, кажется, понимаю, в чем его смысл. Держать самоцвет в пальцах, как часто делал и прежде, и в будущем, я не мог, а посему положил его на раскрытую ладонь правой руки, дабы не осквернять святотатственным прикосновением более необходимого, выставил руку перед собою, пригнулся и вошел в хакаль.

Девчонка лежала там же, где и днем, — лежала не шевелясь, а если и дышала, ее дыхания я не расслышал. Мальчишка со вспухшим глазом спал подле ее ног, на голой земле. Должно быть, полученные от меня деньги он потратил на пищу: пол был усеян огрызками кукурузных початков и очистками фруктов. На миг я осмелился понадеяться, что ни один из них не проснется.

Лицо девочки в ультрамариновом свете Когтя казалось еще более бледным, еще более жутким, чем днем: сияние камня подчеркнуло и темные круги под глазами, и впалые щеки, и заострившиеся скулы. Я чувствовал, что тут нужно что-то сказать, воззвать к Предвечному либо его посланникам при помощи неких ритуальных фраз,

но внезапная сухость во рту лишила меня дара речи. Онемевший, будто бессловесный зверь, я медленно опустил руку так, что тень ладони целиком заслонила девчонку от темно-синего света, а снова подняв ее и не обнаружив в девчонке никаких перемен, вспомнил, что Иоленте Коготь ничем не помог. Быть может, на женщин он вовсе не действует или действует, но только в женских руках? Подумав так, я коснулся камнем лба спящей. Какой-то миг Коготь казался третьим глазом, открывшимся на ее мертвенно-бледном, неподвижном лице.

Сколько бы раз я им ни пользовался, в ту ночь воздействие Когтя оказалось самым поразительным, единственным в своем роде, начисто исключавшим возможность объяснить происшедшее каким-либо самообманом с моей стороны или каким-либо, пусть даже откровенно надуманным, случайным стечением обстоятельств. Вполне возможно, обрубок запястья обезьяночеловека перестал кровоточить благодаря его суевериям, а улан на дороге близ Обители Абсолюта был всего-навсего оглушен и ожил бы в любом случае, а исцеление полученных Ионой ожогов могло оказаться просто иллюзией, порожденной игрой света и тени, однако сейчас…

Казалось, в промежутке, отделявшем предыдущий хронон от хронона следующего, некая невообразимая сила вытолкнула из колеи само мироздание. Настоящие, темные, точно речные омуты, глаза девчонки открылись; лицо, утратившее сходство с обтянутым кожей черепом, обернулось обычным лицом юной, изнуренной болезнью женщины.

— Кто ты, одетый так ярко? — спросила она. — А-а, да это же просто сон…

В ответ я сказал, что я — друг, а ей нет причины бояться.

— Я вовсе и не боюсь, — объявила она. — Вот если бы не спала, наверняка испугалась бы, но я же сплю. А ты… на вид — будто с неба сошел, но я-то знаю: ты всего лишь крыло несчастной птички. Тебя Иадер изловил, да? Спой мне…

Веки ее снова сомкнулись, и на сей раз я услышал ее протяжный, неторопливый вздох. Лицо девчонки осталось прежним — худым, изможденным, однако печать смерти стерлась с него без остатка.

Сняв самоцвет с ее лба, я коснулся им глаза мальчишки, точно так же, как касался лица его сестры, но, полагаю, в этом никакой необходимости не было. Глаз принял совершенно обычный,

здоровый вид еще до того, как почувствовал поцелуй Когтя — возможно, и инфекция к тому моменту была уже побеждена. Встрепенувшись, спящий мальчишка вскрикнул, словно во сне бегущий впереди не столь быстроногих сверстников звал их за собой.

Я спрятал Коготь в ладанку на груди, сел на земляной пол среди огрызков кукурузных початков с очистками и прислушался. Со временем мальчишка затих. Неяркий свет звезд очерчивал у порога едва различимый косой четырехугольник, а в прочих частях хакаля царил непроглядный мрак. Тишину нарушало лишь мерное дыхание мальчишки и его сестры.

Девчонка сказала, что я, со дня возвышения до подмастерья носивший одежду цвета сажи, а до того — серые отрепья, облачен в яркие одежды. Естественно, ей, ослепленной светом Когтя на лбу, показался бы ярким любой наряд, однако я чувствовал: в каком-то смысле она права. Нет, я (сколь ни велик соблазн написать так) вовсе не возненавидел своего плаща, и штанов, и сапог с той самой минуты; скорее мне сделалось ясно, что одежда моя действительно есть лишь маскарадный костюм, за который ее принимали собравшиеся во дворце архонта, а может, костюм

театральный, которым казалась зрителям, когда я играл роль в пьесе доктора Талоса. В конце концов, палач тоже живой человек, а постоянно носить на теле исключительно тот цвет, что чернее черного, противно человеческой природе. Да, надев блекло-коричневую накидку из лавки Агила, я презирал собственное лицемерие всей душой, но, может статься, одеяния цвета сажи под нею являли собою не меньшее, а то и большее лицемерие.

Мало-помалу мне сделалось ясно и еще кое-что. Если я когда-либо воистину был палачом — палачом в том же смысле, что и мастер Гюрло, и даже мастер Палемон, быть таковым я перестал. Здесь, в Траксе, мне представился новый, второй шанс, но я упустил и его, а третьего шанса не будет. Возможно, должность благодаря науке и облачению мне обеспечена, но это и все, так что облачение лучше всего уничтожить при первом же удобном случае, а после искать себе место среди солдат, отправляющихся на север, на фронт, как только сумею — если, конечно, сумею вообще — вернуть Пелеринам Коготь.

Мальчишка вновь встрепенулся во сне, окликнул кого-то — должно быть, сестру. В ответ та пробормотала нечто неразборчивое, но тоже не

открыла глаз. Я поднялся на ноги, еще раз оглядел обоих и выскользнул за порог, опасаясь перепугать ребятишек суровыми, резкими чертами лица и огромным, грозного вида мечом.

IX. Саламандра

Снаружи звезды казались ярче, а Коготь впервые за много недель прекратил толкаться и давить на грудь.

Спускаясь со склона по узкой тропинке, оборачиваться и останавливаться, чтобы взглянуть на город, было уже ни к чему. Тракс простирался передо мной десятком тысяч мерцающих огоньков, от сигнального огня замка Акиэс до отражений света из окон кордегардии в мчащейся сквозь Капул воде.

К этому времени все ворота для меня наверняка окажутся закрыты. Если димархии и не выехали на поиски, то выедут еще до того, как я доберусь до ровных мест возле берега, однако я твердо решил еще раз увидеться с Доркас, прежде чем покинуть город, — в способности сделать это я отчего-то ни минуты не сомневался. Однако, едва я начал обкатывать в голове планы бегства за городские стены, далеко внизу вспыхнул новый огонь.

Издали он, как и все остальные огни, казался совсем крохотным, не больше булавочной головки, но в остальном ничем на них не походил, и,

может статься, мой разум воспринял этот огонь как вспышку света лишь потому, что не знал, чему еще его уподобить. Той ночью, в некрополе, когда Водал поднял из могилы умершую, я видел пистолетный выстрел во всей его мощности — отчетливый, правильный луч энергии, рассекший туман, точно молния. Этот огонь, совсем не похожий на выстрел из пистолета, походил на него куда больше всего, что еще могло бы прийти мне на ум. На мгновение вспыхнув, он тут же угас, а еще удар сердца спустя в лицо мне дохнуло жаром.

В темноте я каким-то образом ухитрился миновать небольшой трактир под названием «Утиное Гнездо». Возможно, где-то свернул не туда, возможно, просто прошел мимо закрытых ставнями окон, не взглянув на вывеску над головой, — в чем было дело, я так никогда и не узнал. Но, как бы оно ни обернулось, вскоре я обнаружил, что, очутившись неожиданно далеко от реки, быстро шагаю улицей, ведущей — по крайней мере пока — параллельно утесу, а ноздри щекочет вонь горелого мяса, словно во время клеймения. Едва собравшись повернуть назад и отыскать верный путь, я столкнулся во мраке с какой-то женщиной. Столкновение вышло столь резким и неожи-

данным, что я едва не упал, а пошатнувшись и отпрянув назад, услышал, как шлепнулось о камень мостовой ее тело.

— Я не разглядел тебя, — пояснил я, потянувшись к упавшей.

— Беги! Беги! — выдохнула она, но тут же прибавила: — Ох, только помоги уж подняться.

Голос ее казался смутно знакомым.

— Зачем мне бежать? От кого?

Я помог женщине встать. В неярком свете ее лицо казалось расплывчатым мутным пятном, однако в его выражении явственно чувствовался страх.

— Оно спалило Юрмина. Спалило заживо. Когда мы на него наткнулись, его посох еще горел. А он… он…

Что бы она ни собиралась сказать дальше, фраза оборвалась, заглушенная безудержными рыданиями.

— Что спалило Юрмина?

Женщина не отвечала. Пришлось встряхнуть ее, но от этого она только заплакала горше прежнего.

— А ведь я тебя знаю. Говори, отвечай же! Ты — хозяйка «Утиного Гнезда». Веди меня туда, скорее!

— Не могу, — отвечала она. — Страшно. Будь добр, сьер, позволь опереться на твое плечо. Спрятаться нужно — где угодно, только под крышей.

— Прекрасно. Вот в «Утиное Гнездо» и направимся. Идти, я уверен, недалеко… Так, а это еще что?

— Не поспеть нам туда! — прорыдала хозяйка трактира. — Не поспеть!

Рядом, на улице, кроме нас, появился кто-то еще. Возможно, я не заметил его приближения, а может, до сего момента его невозможно было заметить — возник он внезапно, словно из ниоткуда. Слышал я, будто люди, панически боящиеся крыс, чувствуют их появление в доме еще до того, как увидят хотя бы одну, — точно так же вышло в ту ночь и со мной. Я ощутил жар, который не согревает, и хотя в воздухе не было запаха, я почувствовал, что его способность поддерживать жизнь иссякает. Однако трактирщица ничего этого не заметила.

— Говорят, прошлой ночью оно сожгло троих, возле самой арены, а сегодня еще одного, поблизости от Винкулы. И вот теперь еще Юрмин… Слухи в городе ходят: ищет оно кого-то.

Мне тут же вспомнились и нотулы, и неведомое существо, с сопением кравшееся вдоль стен

аванзалы Обители Абсолюта.

— Ну если так, похоже, оно его отыскало.

Выпустив руку трактирщицы, я огляделся по сторонам — и раз, и другой, — но все впустую. Жар нарастал, однако нигде вокруг не было видно ни единого проблеска света. В отчаянии я едва не поддался соблазну осветить улицу Когтем, но вовремя вспомнил, как разбудил им создание, спавшее в недрах Урд под рудником людей-обезьян, и понял, что свет лишь поможет неведомой твари отыскать меня в темноте. Меч вполне мог оказаться для нее не опаснее, чем для нотул, когда мы с Ионой бежали от них сквозь кедровники, однако я обнажил клинок и замер, приготовившись отразить нападение.

Почти в тот же миг невдалеке загремели копыта, и из-за угла не более чем в сотне маховых шагов от нас с воплем вынеслись двое димархиев. Будь у меня больше времени, я наверняка улыбнулся бы, обнаружив, сколь близко схожа эта картина с нарисованным фантазией образом, однако полыхнувшие фейерверками острия их пик выхватили из мрака некий темный, приземистый, сгорбленный силуэт, отделявший нас от всадников.

Неведомая тварь развернулась к свету, распу-

стилась, точно цветок, выросла с такой быстротой, что глазу не уследить, истончилась и обернулась существом, сплошь состоящим из полупрозрачного пламени, раскаленным, однако всем своим обликом схожим с рептилией — точно таким же образом мы узнаем пресмыкающихся в тех разноцветных змеях, которых порой привозят из северных джунглей, несмотря на их поразительное сходство с замысловатыми ожерельями из цветной эмали. Скакуны солдат с визгом взвились на дыбы, попятились, но один из димархиев, проявив куда больше присутствия духа, чем я, выпустил разряд пики в самое сердце твари, преграждавшей обоим путь.

Слепящая вспышка рассекла темноту. Хозяйка «Утиного Гнезда» обмякла, повиснув на мне, и я, отнюдь не желая потерять ее, поддержал трактирщицу свободной рукой.

— Думаю, ее тянет к живому теплу, — сказал я. — Сейчас она отвлечется на дестрие, а мы сможем уйти.

В тот же миг тварь повернулась к нам.

Как я уже говорил, со спины, раскрывшись навстречу димархиям, она казалась неким пресмыкающимся цветком. Теперь, когда огненная тварь предстала перед нами во всем своем устра-

шающем великолепии, к этому впечатлению прибавились еще два. Первым оказалось ощущение невероятно сильного, потустороннего жара: не утратившее прежнего сходства с пресмыкающимися, странное существо обернулось горящей рептилией, каких еще не видала Урд, не менее необычной, чем пустынная гадюка внутри снежного кома. Второе впечатление… пожалуй, его можно назвать сходством с лохмотьями, трепещущими на ветру, не имеющем ничего общего с токами воздуха. Тварь, как и прежде, выглядела словно цветок, но приняла вид цветка, белые, бледно-желтые и огненно-рыжие лепестки коего треплет какой-то чудовищный ураган, зарождающийся в самой его сердцевине.

Всем этим впечатлениям сопутствовал — окружал их, пропитывал насквозь — ужас, которого мне просто не описать: этот ужас вмиг вытянул из меня всю решимость и силы, лишил способности и бежать, и драться. Казалось, мы с неведомой тварью застряли в каком-то временном промежутке, не имеющем ничего общего ни с минувшим, ни с будущим, удерживающем нас, единственных его обитателей, в неподвижности, а посему и цельность его нарушить попросту некому.

Оцепенению положил конец громкий вопль. Позади нас на улицу галопом вылетела вторая пара димархиев. Увидев жуткое создание, солдаты подхлестнули дестрие, устремились в атаку, вмиг оказались рядом и только благодаря вмешательству святой Катарины не втоптали нас в мостовую. Если я когда-либо сомневался в отваге солдат Автарха, в эту минуту все мои сомнения развеялись без остатка: обе пары кавалеристов бросились на чудовище, словно гончие на оленя.

Увы, вся их отвага пропала впустую. Вновь ослепительная вспышка, волна жуткого жара — и я, волоча за собой наполовину бесчувственную трактирщицу, со всех ног рванулся вперед.

Бежать я намеревался туда, откуда появились димархии, однако, охваченный паникой (к моему страху прибавился леденящий душу страх Теклы), свернул за угол слишком поздно, а может быть, слишком рано. Вместо крутого спуска к нижнему городу передо мной, вопреки всем надеждам, открылся тесный глухой дворик, примостившийся на пятачке скального выступа, а к тому времени, как я осознал положение, жуткая тварь — вновь невысокая, сгорбленная, но окруженная ореолом некоей устрашающей незримой силы — преградила нам выход на улицу.

В неярком свете звезд она казалась всего лишь согбенным стариком, однако большего ужаса, чем при виде нее, я не испытывал никогда в жизни. В глубине дворика виднелся хакаль — несколько больше хижины, где страдали больная девчонка и ее брат, но в той же манере сооруженный из жердей, лозы да глины. Ударом ноги выбив дверь, я стрелой помчался сквозь лабиринт омерзительно грязных комнаток — из первой во вторую, а за ней в третью, где спали вповалку около полудюжины человек, а за нею в четвертую, где и остановился перед окном, ведущим наружу примерно так же, как амбразура моего кабинета в Винкуле. То был тупик, последняя из комнат хижины, нависавшая, точно ласточкино гнездо, над пропастью, в эту минуту казавшейся бесконечной.

Из только что покинутой нами комнаты донеслись гневные возгласы разбуженных вторжением хозяев хакаля. Дверь распахнулась, однако собравшийся вышвырнуть прочь незваных гостей — должно быть, увидевший блеск «Терминус Эст» — застыл на пороге как вкопанный, изумленно выругался и поспешил удалиться. Почти в тот же миг кто-то пронзительно завизжал, и я понял: огненное создание уже здесь, в хакале.

Стоило отпустить повисшую на мне трактирщицу, та без сил рухнула у моих ног. За окном не обнаружилось ничего обнадеживающего: стена из обмазанного глиной плетня заканчивалась несколькими кубитами ниже, а концы балок, поддерживавших настил пола, наружу из-под нее не выступали. Край крыши, крытой прелой соломой, расползался под пальцами, как паутина. Не успел я ощупать карниз в поисках хоть какой-то опоры, как комната озарилась светом, начисто стершим все краски вокруг, разогнавшим по углам черные, точно сама сажа, точно расщелины в самом мироздании, тени. Что ж, дело ясное: либо вступить в бой и, по примеру димархиев, принять смерть, либо прыгать в окно… и я развернулся лицом к явившейся по мою душу твари.

Тварь еще не переступила порога — маячила невдалеке от дверного проема, снова раскрывшаяся, как там, среди улицы. На каменном полу перед ней распростерся наполовину обглоданный пламенем труп какой-то злосчастной старухи, а огненное создание (в этом я мог бы поклясться) склонилось над жертвой с таким видом, словно внимательно изучает ее. Покрывшиеся волдырями, шипящие, точно жир на сковороде, кожа и плоть старухи распались в прах. Еще миг — и

даже кости ее превратились в белесый пепел, а тварь, разметав его лапой, двинулась к нам.

По-моему, во всем мире не было, нет и не будет меча лучше «Терминус Эст», однако в бою с противником, разбившим наголову такое множество кавалеристов, помочь он мне не мог, и посему я, в смутной надежде, что со временем его отыщут и вернут мастеру Палемону, отбросил его в сторону и выхватил из ладанки на груди Коготь.

Пожалуй, с такими же чувствами утопающий хватается за соломинку, однако мне сразу же сделалось ясно: соломинка эта меня не спасет. Каким бы образом неведомое создание ни воспринимало окружающий мир (а судя по его движениям, на Урд оно было практически слепо), самоцвет тварь разглядела немедля и ничуть его не испугалась. Неторопливо, будто ощупью двигавшаяся к дверям, она оживилось, целеустремленно скользнула вперед, достигла порога… а едва миновав его, с грохотом, с треском исчезла, окруженная облаком дыма. Дыра, прожженная ею в хлипком дощатом полу, начинавшемся сразу же за порогом, за краем скального выступа, озарилась снизу сполохами ее бесцветного пламени, сменившимися быстрым чередованием прочих оттенков: сиренево-синий уступил место лило-

вому, лиловый розовому, и вскоре от всего этого великолепия остались лишь неяркие краснова-тые отсветы пляшущих язычков огня.

X. Свинец

Поначалу я было подумал, что наверняка провалюсь в зияющую дыру посреди крохотной комнатушки, не успев отыскать «Терминус Эст», а уж тем более — увести содержательницу «Утиного Гнезда» куда-нибудь, где поспокойнее. Затем какое-то время нисколько не сомневался, что сейчас вниз со скалы рухнет все — и стены, и крыша, и проседающий под ногами пол, и мы, разумеется, тоже.

Однако в конце концов мы выбрались из хакаля. На улице не оказалось ни димархиев, ни кого-либо из горожан: очевидно, внимание солдат привлек разгоревшийся внизу пожар, а местные жители, перепуганные, попрятались по домам. Поддерживая трактирщицу на ногах, я, пусть она, не оправившаяся от пережитого ужаса, еще не могла внятно отвечать на вопросы, предоставил ей выбирать путь самой, и не ошибся: она вправду, ни разу не сбившись с дороги, привела нас прямо к «Утиному Гнезду».

Доркас спала. Будить ее я не стал, а просто, не зажигая света, устроился на табурете рядом с кроватью — кроме табурета, теперь там стоял и

столик, а на столике как раз нашлось достаточно места для бокала и бутылки вина, прихваченной из общего зала. Вино (уж не знаю, какого сорта) на вкус казалось довольно крепким, однако пилось, словно вода: к тому времени, как Доркас проснулась, я выпил добрую половину бутылки, но выпитое подействовало на меня не более чем полбутылки шербета.

Приподнявшись, Доркас вновь уронила голову на подушку.

— Севериан… Мне следовало сразу догадаться, что это ты.

— Прости, если я тебя напугал, — сказал я. — Пришел посмотреть, как ты тут.

— Ты очень заботлив. Но, кажется, я всякий раз, как ни проснусь, вижу тебя, склонившегося надо мной. — На миг она вновь смежила веки. — А ты сам знаешь, как тихо, совсем неслышно ходишь, даже в сапогах на толстой подошве? Этого люди тоже пугаются.

— Как-то раз ты сказала, что я словно всю ночь пил чью-то кровь, потому что перед тем я ел гранат и мои губы были перепачканы гранатовым соком. Помнишь, как мы над этим смеялись?

(Произошло это в поле, в пределах Несской Стены, когда мы заночевали возле сцены доктора

Талоса, а проснувшись, завтракали фруктами, оброненными накануне разбежавшейся публикой.)

— Помню, — ответила Доркас. — Ты, верно, хочешь снова меня рассмешить? Боюсь, засмеяться я больше не смогу никогда.

— Хочешь вина? Досталось задаром, но оказалось не таким скверным, как я ожидал.

— Чтобы развеселиться? Нет. По-моему, пить нужно, когда на душе уже весело. Иначе не найдешь на дне кружки ничего, кроме горькой тоски.

— Однако выпей хотя бы глоток. Хозяйка говорит, ты была нездорова и целый день ничего не ела.

Слегка встряхнув золотистыми волосами, Доркас повернулась ко мне лицом. Видя, что она окончательно проснулась, я отважился зажечь свечу.

— Ты все в тех же одеждах, — сказала Доркас. — Должно быть, перепугал ее до потери разума.

— Нет, она меня вовсе не испугалась. И сейчас льет в кружку все, что под руку подвернется.

— Она была добра ко мне — да и вообще сердце у нее доброе. Не осуждай ее, пусть даже у нее в обычае выпивать посреди ночи.

— Я ее вовсе не осуждаю. Но, может, ты все-таки съешь чего-нибудь? Еда в здешней кухне найдется наверняка. Только скажи, и пожалуйста — все, что захочешь, перед тобой.

На эти слова Доркас откликнулась блеклой улыбкой.

— Что я ни съем, и так целый день… передо мной. Это хозяйка и имела в виду, сказав, что я нездорова. Или она рассказала всю правду как есть? Тошнит меня, стоит хоть что-нибудь проглотить. Наверное, даже запах до сих пор чувствуется, хотя эта бедная женщина из сил выбилась, убирая за мной.

Сделав паузу, Доркас принюхалась:

— А этот запах откуда? Тряпкой горелой пахнет… Должно быть, от свечки… хотя фитиля тебе этим громадным клинком, думаю, не подрезать.

— Наверное, от моего плаща, — предположил я. — Было дело — к огню я сегодня вечером слишком близко придвинулся.

— Я бы попросила открыть окно, но, вижу, оно уже открыто. Боюсь, сквозняк не дает тебе покоя: вон как колеблется пламя свечи. У тебя не кружится голова от этой пляски теней?

— Нет, — отвечал я. — Если прямо на огонек не смотреть, все в порядке.

— А лицо у тебя… будто тебе так же худо, как мне — возле воды.

— Днем я отыскал тебя на берегу, у самой реки.

— Да, помню, — сказала Доркас и замолчала.

Молчание ее длилось так долго, что я испугался, не умолкла ли она навсегда. Что, если патологическая (теперь я в этом нисколько не сомневаюсь) немота, поразившая ее днем, возобновилась, и на сей раз необратимо?

— Я ведь вовсе не ожидал найти тебя там, — наконец сказал я. — Помню, глядел, глядел и все никак глазам не мог поверить, хотя искал именно тебя.

— Меня тошнило, Северианн. Я ведь об этом уже рассказывала, верно?

— Верно, рассказывала.

— А знаешь чем?

Говоря, она не сводила взгляда с низкого потолка, отчего у меня возникло стойкое ощущение, будто там, наверху, — еще один, другой Северианн, добрый сердцем и, может, даже благородный, существующий только в воображении Доркас. Конечно, каждый из нас в минуты самых интимных откровений на самом деле обращается не столько к собеседнику, сколько к некоему его образу, нами же самими и созданному, однако

сейчас дела обстояли куда серьезнее: казалось, Доркас продолжит говорить, даже если я выйду за дверь.

— Нет, — отвечал я. — Наверное, водой?

— Пулями от пращи.

— Неприятное, должно быть, ощущение, — отважился заметить я, решив, что слова ее следует понимать в переносном смысле.

Доркас, не поднимая головы с подушки, вновь повернулась ко мне, и я смог разглядеть огромные зрачки ее синих глаз. Исполненные пустоты, они казались парой крохотных призраков.

— Пулями от пращи, Севериан, милый мой. Увесистыми, свинцовыми, в поперечнике примерно с орех, а в длину чуть короче большого пальца, и на каждой отчеканено: «Рази без промаха». С грохотом вывалились они изо рта в ведро, и я, запустив руку в выблеванную вместе с ними мерзкую жижу, вынула их — поглядеть. Женщина, что владеет трактиром, пришла и унесла ведро, но пули я вытерла и сберегла. Их две, и сейчас они в ящике вот этого стола. Хозяйка трактира принесла его, чтоб было куда поставить ужин. Хочешь взглянуть? Выдвини ящик.

Не в силах представить себе, о чем речь, я спросил, не думает ли она, будто кто-то пытался ее

отравить.

— Нет, вовсе нет. Выдвини ящик, взгляни. Ты ведь так храбр. Разве не хочешь сам посмотреть?

— Я тебе и без того верю. Если ты говоришь, что в ящике пули, значит, там, несомненно, пули.

— Но ты не веришь, что меня ими стошнило. Ну что ж, тут тебя трудно в чем-либо упрекнуть. Помнишь историю о дочери охотника, благословленной пардалеем так, что, стоило ей сказать слово, с губ ее сыпались бусины гагата? А после ее невестка, жена брата, обманом забрала благословение себе, однако, стоило ей заговорить, с ее губ прыгали жабы? Я ее, помнится, слышала, но всегда думала, что это сказка.

— Как человека может тошнить свинцовыми пулями?

Доркас залилась смехом, однако в смехе том не было ни грана веселья.

— Все очень просто. Проще, пожалуй, некуда. Знаешь, что я сегодня видела? Знаешь, отчего не могла говорить с тобой, когда ты меня отыскал? Я ведь вправду говорить не могла, Севериан, клянусь чем угодно. Знаю, ты думал, будто я просто сердита и потому упрямлюсь, но дело вовсе не в том. Я… я словно бы превратилась в бессловесный камень. Все на свете казалось — да и сейчас,

наверное, кажется — сущим пустяком. Хотя в трусости я тебя упрекнула напрасно. Не думай, я в твоей храбрости вовсе не сомневаюсь. Вот только в том, что ты делаешь с несчастными заключенными, по-моему, храбрости нет никакой. А ведь ты так отважно сражался с Агилом и после готов был сразиться с Бальдандерсом, потому что мы думали, будто он собирается убить Иоленту…

Вновь помолчав, Доркас шумно вздохнула:

— Ох, Севериан, как же я устала…

— Об этом — насчет заключенных — я и хотел с тобой поговорить, — сказал я. — Хочу, чтобы ты кое-что понимала, даже если не сможешь простить меня. Все это — мое ремесло. Меня учили ему с раннего детства.

Склонившись к Доркас, я взял ее за руку. Ладонь ее казалась хрупкой, словно крылышко канарейки.

— Да, что-то вроде этого ты уже говорил. Я вправду все понимаю.

— Но не понимаешь другого. Ремеслом этим, Доркас, я владею куда лучше многих. Пытки и казни — это искусство, и у меня есть к нему склонность, природный талант, дар свыше. И этот меч, и все прочие орудия нашего ремесла оживают в моих руках. Оставшись в Цитадели, я мог бы

стать мастером, Доркас. Ты меня слушаешь? Для тебя все это хоть что-нибудь значит?

— Да, — отвечала она. — Кое-что значит, да. Вот только пить очень хочется. Если сам пить больше не будешь, налей мне, будь добр, немного вина.

Я так и сделал, из опасений, как бы она не пролила вино на простыни, наполнив бокал не более чем на четверть.

Приняв вино, Доркас села (до тех пор я сомневался, что ей хватит для этого сил), а проглотив последнюю капельку алой жидкости, швырнула бокал за окно. Снаружи донесся звон разбившегося о мостовую стекла.

— Не хочу, чтоб ты пил из него после меня, — пояснила Доркас. — А ты б непременно выпил, оставь я бокал на столе.

— Думаешь, твое недомогание заразно?

— Да, — вновь рассмеявшись, ответила Доркас, — но этой хворью ты уже заражен. С рождения. От матери. Имя ей — Смерть. А вот о том, что я такое сегодня видела, ты, Севериан, так и не спросил.

XI. Десница прошлого

Стоило Доркас сказать: «А вот о том, что я такое сегодня видела, ты, Севериан, так и не спросил», — я осознал, что невольно увожу разговор в сторону от сих материй. Имелось у меня не слишком приятное предчувствие, что, на мой взгляд, ответ окажется совершеннейшим пустяком, однако для Доркас значит очень и очень многое; так умалишенные порой бывают уверены, будто червоточины под корой упавших деревьев есть некие сверхъестественные письмена.

— По-моему, что бы это ни было, тебе о нем лучше не вспоминать, — сказал я.

— Разумеется, лучше бы, да только не выйдет. А было это кресло.

— Кресло?

— Да, старое кресло. И стол, и еще около полудюжины разных вещей. Оказывается, на улице Токарей есть лавка, где продают старую мебель эклектикам и автохтонам, в достаточной мере проникшимся нашей культурой. Источников удовлетворения спроса здесь, в Траксе, нет, и потому ее владелец с сыновьями два-три раза в году отправляется в Несс, в заброшенные квар-

талы на юге столицы, и там битком набивает барку всякой всячиной. Понимаешь, я говорила с ним, и он обо всем рассказал. Пустующих домов там — десятки тысяч. Некоторые давным-давно обвалились, но некоторые до сих пор целы, как в тот день, когда были брошены хозяевами. Большая часть, конечно, разграблена, однако они до сих пор находят в таких домах серебро, а то и кое-какие драгоценные украшения. Правда, мебели сохранилось не так уж много, но съехавшие хозяева почти всегда что-нибудь да оставляли.

Почувствовав, что Доркас вот-вот расплачется, я подался вперед и погладил ее по голове. Однако Доркас, дав взглядом понять, что ей этого не хочется, вновь, как и прежде, улеглась на кровать.

— Случается, в таких домах вся мебель на месте. Подобные, по словам лавочника, лучше всего. Он полагает, что, когда кварталы пустели, по две-три семьи или даже по два-три человека, живших в одиночестве, оставались. Одни — потому что слишком стары, чтобы сниматься с обжитого места, другие — попросту из упрямства. Я долго об этом думала и не сомневаюсь: должно быть, у некоторых там имелось… нечто такое, с чем они не в силах расстаться. К примеру, могилы близких. Чтоб уберечься от мародеров, они наглухо

заколачивали окна, заводили сторожевых псов, а то и зверей пострашнее. Однако в конце концов и эти люди съезжали в другие места… либо жизнь их подходила к концу, а звери, сожрав трупы хозяев, вырывались на волю, и с тех самых пор, до появления этого лавочника с сыновьями, туда не заглядывал никто, даже грабители или падальщики.

— Должно быть, старых кресел там великое множество, — заметил я.

— Да, но не таких. В этом кресле мне оказалась знакома каждая мелочь, вплоть до резьбы на ножках и даже рисунка древесных волокон на подлокотниках. Сколько всего я тогда вспомнила… а после, когда меня стошнило свинцовыми пулями вроде твердых, налитых тяжестью семян, окончательно все поняла. Помнишь ли ты, Севериан, как мы покинули Ботанические Сады? Как втроем с Агией вышли из того громадного остекленного вивария и ты нанял лодку, чтоб нас переправили с острова на берег, а река густо заросла ненюфарами, голубыми цветами среди глянцевых зеленых листьев? Так вот, семена у них точно такие же — твердые, увесистые, темные… а еще я слышала, что они тонут в воде и могут покоиться на дне Гьёлля не одну эпоху.

Однако, волею случая оказавшись вблизи от поверхности, они, сколько б им ни было лет, прорастают и вновь украшают реку цветами, целую хилиаду ждавшими своего часа.

— Я тоже об этом слышал, — подтвердил я. — Но для нас-то с тобой все это ничего не значит.

Лежала Доркас, не шевелясь, но голос ее задрожал:

— Какая сила зовет их наверх? Какая? Ты можешь ответить?

— Свет солнца, наверное… Хотя нет, ответа я не знаю.

— А солнечный свет исходит только от солнца?

Да, тут я понял, к чему она клонит, но согласиться с ней отчего-то не мог.

— Переправляя нас через Птичье Озеро, тот человек — Хильдегрин, тот самый, с кем мы встретились во второй раз на крыше гробницы посреди руин каменного городища, — поминал о миллионах умерших, покойников, чьи тела похоронены там, в воде. Что удерживает их на дне, Севериан? Сами по себе мертвые тела всплывали бы на поверхность. Чем их утяжеляют? Я не знаю… а ты?

А вот я это знал.

— Свинцовую дробь сыплют в желудок сквозь горло.

— Я так и думала. — Голос Доркас звучал так слабо, что был едва слышен даже в крохотной тихой комнатке. — Нет, не думала — знала. Поняла, как только увидела их.

— Думаешь, Коготь… вернул тебя назад?

Доркас кивнула.

— Действительно, иногда он творил нечто подобное. Но только если я вынимал его, да и то не всегда. А когда ты тащила меня из воды в Саду Непробудного Сна, он лежал в ташке, и я о нем даже не подозревал.

— Севериан, однажды ты позволил мне подержать его. Можно взглянуть на него еще раз?

Я вынул камень из мягкой замшевой ладанки и поднял кверху. Голубое сияние самоцвета словно дремало, но я отчетливо видел в его середине хищно изогнутый крюк, в честь коего он и был наречен Когтем. Доркас потянулась к нему, но я, вспомнив судьбу винного бокала, отрицательно покачал головой.

— Думаешь, я хочу сделать с ним что-то дурное? Нет, не хочу. Это ведь святотатство.

— Если ты веришь собственным словам — а по-моему, ты вправду так и считаешь, — то навер-

няка ненавидишь Коготь, пробудивший тебя…

— …от смерти. — Вновь устремившая взгляд в потолок, Доркас заулыбалась, словно делясь с ним каким-то интимным, до смешного нелепым секретом. — Не стесняйся, говори прямо. Вреда тебе это никакого не причинит.

— От сна, — поправил ее я. — Поскольку какая же это смерть? Если уж человека можно взять да вернуть назад, это вовсе не смерть — не смерть в нашем с тобой понимании, не то, что приходит на ум, когда мы говорим «смерть». Хотя, должен признаться, поверить, будто Миротворец, умерший многие тысячи лет назад, стал бы поднимать кого-либо из мертвых при помощи этого камня, мне не по силам.

Доркас не отвечала. Вполне возможно, она вовсе меня не слушала.

— Ты вспомнила, как Хильдегрин, — продолжал я, — вез нас на лодке через озеро, за цветком аверна. А помнишь, что он говорил о смерти? Что смерть будто бы с птицами в доброй дружбе. Возможно, нам еще в тот день следовало понять, что подобная смерть не может быть смертью, какой мы ее представляем.

— А если я скажу, что верю во все это, ты позволишь мне подержать Коготь?

Я вновь отрицательно покачал головой.

Смотрела Доркас по-прежнему не на меня, но, должно быть, заметила движение моей тени, а может, тот, воображаемый ею Севериан на потолке попросту тоже покачал головой.

— Ну что ж, ты прав — я в самом деле собиралась уничтожить его, если получится. Знаешь, что я действительно думаю? По-моему, я была мертвой — не спящей, мертвой. Вся моя жизнь миновала долгое-долгое время тому назад, когда мы с мужем жили над крохотной лавкой и растили ребенка. А твой Миротворец, явившийся к нам в незапамятные времена, — авантюрист, искатель приключений, принадлежавший к одной из древних рас и переживший всеобщую гибель. — Пальцы ее крепко стиснули край одеяла. — Скажи, Севериан, не его ли нарекут Новым Солнцем, когда он явится снова? Не к этому ли все идет? А еще я считаю, что, явившись к нам, он принес с собой нечто, обладающее той же властью над временем, какой зеркала Отца Инире будто бы обладают над расстоянием. То есть твой самоцвет.

Умолкнув, Доркас повернулась ко мне, одарила меня воинственным взглядом и, видя, что я молчу, продолжила:

— Того улана ты, Севериан, вернул к жизни, потому что Коготь искривил для него время, отправив его в тот момент, когда он еще был жив. А наполовину заживил раны друга, потому что камень приблизил момент их заживления. А когда свалился в болото в Саду Непробудного Сна, камень, должно быть, коснулся меня или оказался совсем рядом со мной, и для меня настало время, в котором была жива я, и потому я снова жива. Но ведь я умерла. Умерла, и мой сморщенный труп долгое-долгое время лежал на дне, а бурые воды не дали ему истлеть. И что-то во мне мертво до сих пор.

— Нечто мертвое, изначально мертвое, имеется в каждом из нас, — заметил я. — Хотя бы память о том, что каждому в свое время предстоит умереть. Об этом ведь знают все, кроме самых маленьких ребятишек.

— Мне нужно вернуться назад, Севериан. Об этом и весь разговор. Вернуться и разузнать, кем я была, где жила и что со мною стряслось. Конечно же, ты пойти со мной не сможешь…

Я ответил согласным кивком.

— Да я об этом и не прошу. И даже не хочу этого. Я люблю тебя, но ведь ты — тоже смерть, еще одна смерть, смерть, оставшаяся при мне,

подружившаяся со мной, как та, прежняя смерть, в озере, но все равно смерть. Не хочется, знаешь ли, брать с собой смерть, отправляясь на поиски собственной жизни.

— Я тебя понимаю, — сказал я.

— Может статься, мой малыш еще жив — состарился, разумеется, но еще жив. Мне и об этом знать нужно.

— Да, — согласился я, однако, не удержавшись, добавил: — А ведь было время, ты говорила, что я вовсе не смерть и не должен, идя на поводу чужих мнений, считать себя ею. За тем самым фруктовым садиком, на землях Обители Абсолюта. Помнишь?

— Но для меня ты был смертью, — возразила Доркас. — Я, если хочешь, сама угодила в ловушку, о которой предупреждала тебя. Возможно, ты и не смерть, но останешься тем, кто ты есть — палачом и казнедеем, и руки твои вечно будут обагрены кровью. И… да, раз уж ты так хорошо помнишь те дни в Обители Абсолюта, быть может… Нет, не выговорить. Но сделал это со мной не ты. Миротворец, а может, Коготь, а может, Предвечный, однако не ты.

— Так в чем дело? — спросил я.

— После уже, на той самой прогалинке, доктор

Талос вручил нам обоим деньги. Деньги, полученные от какого-то придворного чиновника за представление пьесы. По пути в Тракс я все отдала тебе. А теперь хочу получить обратно. Мне они очень нужны. Если не все, то хоть часть.

Я вывалил на стол все деньги, лежавшие в ташке, — не меньше, чем получил от Доркас, а то и чуточку больше.

— Спасибо, — сказала она. — А тебе они не понадобятся?

— Тебе будут гораздо нужнее. Вдобавок они ведь твои.

— Отправлюсь в путь завтра же, если сил хватит. А уж послезавтра — в любом случае, как бы себя ни чувствовала. Как часто из Тракса уходят лодки к низовьям, ты, наверное, не знаешь?

— От тебя все зависит. Главное, лодку от берега оттолкни, а там, по течению, она сама к низовьям пойдет.

— А вот это на тебя, Севериан, как-то не слишком похоже. Скорее в такой манере мог бы ответить твой друг, Иона, судя по тому, что ты о нем рассказывал. Кстати, вот о чем еще твоя шутка напомнила: ты не первый сегодня ко мне заглянул. Здесь был еще наш — или, по крайней мере, твой — друг, Гефор. По-твоему, не смеш-

но? Прости, я только хотела сменить предмет разговора.

— Гефор наслаждается всем этим. Ему на меня глядеть в радость.

— Когда ты работаешь на публике, тобой любуются тысячи человек, да и тебе самому работа, я вижу, нравится.

— Они приходят затем, чтобы как следует натерпеться страху, а после искренне радоваться тому, что сами живы. Еще им нравится общее возбуждение, тревожное ожидание, неизвестность — не «сломается» ли приговоренный, не стрясется ли какой-нибудь жуткой неожиданности. Мне радость приносит собственное мастерство — единственное ремесло, которому я обучен; я радуюсь безукоризненно выполненной работе, а вот Гефор… Гефору нужно нечто другое.

— Чужая боль?

— Да, именно, но не только.

— Знаешь, ведь он преклоняется перед тобой, — сказала Доркас. — Поговорил со мной всего-то пару минут, но я нисколько не сомневаюсь: по твоему повелению этот Гефор пойдет хоть в огонь.

Должно быть, тут я невольно поморщился, так как Доркас продолжила:

— Вижу, от разговоров о нем тебе дурно становится? Нет уж, хватит с нас и моих злосчастий. Давай о другом лучше поговорим.

— Нет-нет, моим злосчастьям до твоих далеко. Дело в том, что Гефора я способен представить себе только таким, каким видел его однажды, стоя на эшафоте: рот разинут, а глаза…

Доркас тревожно поежилась:

— Да уж, глаза… я их сегодня видела. Глаза его мертвы, хотя, наверное, не мне бы так о других говорить. Взгляд — что у трупа. Никак не избавиться от ощущения, будто, если потрогать, они окажутся сухи, словно камни, и даже не дрогнут под пальцем.

— Вовсе нет, вовсе нет. В Сальте, когда я взглянул вниз с эшафота и увидел его, глаза Гефора просто-таки плясали. По-твоему, глаза Гефора — чаще всего тусклые — похожи на глаза трупа… но разве ты никогда не смотрелась в зеркало? Твои глаза на глаза умершей уж точно совсем не походят.

— Может, и так, — с легкой запинкой ответила Доркас. — Ты не раз говорил, что они прекрасны.

— Неужели тебя не радует жизнь? Пусть даже муж твой мертв, и сын тоже, и дом, где вы некогда жили, превратился в развалины, пусть даже так,

разве возвращение к жизни — не счастье? Ты ведь не призрак, не выходец с того света вроде того, что мы видели в разрушенном городе. Еще раз повторю: погляди же на себя в зеркало! А не хочешь — взгляни в глаза хоть мне, хоть любому другому из мужчин и увидишь, какова ты на самом деле!

Поднявшись с подушки еще медленнее, с еще большим трудом, чем прежде, когда поднималась, чтоб выпить вина, Доркас села, но на сей раз спустила ноги с кровати, и я увидел, что, кроме тонкого одеяльца, на ней нет ни лоскутка. До болезни кожа Иоленты была безупречной — гладкой и нежной, точно крем на пирожном. Хрупкое — кожа да кости — тело Доркас сплошь покрывали россыпи золотистых веснушек, однако ее несовершенство казалось куда желаннее пышности форм Иоленты. Конечно, сейчас, когда ей нездоровилось, а я приготовился с нею расстаться, приставать к ней и даже упрашивать открыться передо мной было бы тяжким грехом, и все же влекло меня к ней неудержимо. Сколь бы крепко — или же сколь бы мало — ни любил я женщину, особенно сильно меня влечет к ней, когда получить желаемого уже невозможно, однако влечение к Доркас оказалось гораздо

сильнее и много сложнее обычного. Доркас, пусть совсем ненадолго, стала мне близким другом — ближе друзей у меня не бывало, и наша взаимная страсть, от первого лихорадочного соития в Нессе, в отведенной нам для ночлега кладовке, до долгих, неторопливых любовных игр под сводами спальни в Винкуле, являла собою не только акт любви, но и акт дружбы.

— Плачешь? — заметил я. — Хочешь, чтоб я ушел?

Доркас отчаянно замотала головой, а после, как будто не в силах сдержать рвущиеся наружу слова, зашептала:

— О Севериан, разве ты не уйдешь отсюда? То есть я не о том… Может, ты… может, ты тоже пойдешь со мной?

— Нет. Не могу.

Удрученно осевшая на кровать, Доркас словно бы сделалась совсем маленькой, не больше ребенка.

— Да, понимаю. У тебя долг перед гильдией. Снова предать ее и преодолеть себя тебе не по силам, и просить о подобном я даже не думала. Просто ни на минуту не теряла надежды, что ты сможешь…

Однако я вновь, как и прежде, покачал голо-

вой:

— Мне нужно бежать из города, но…

— Севериан?!

— Но на север. А ты отправишься на юг, и если с тобой буду я, за нами в погоню отправится куча посыльных лодок, битком набитых солдатами.

— Севериан… что случилось?

Лицо Доркас оставалось предельно спокойным — только глаза округлились от изумления.

— Я отпустил на волю одну женщину. Ее было приказано задушить и швырнуть тело в Ацис, и этому ничто не препятствовало — никаких чувств я к ней не испытывал, а стало быть, привести приговор в исполнение мог без труда. Однако, оставшись с нею наедине, я вспомнил о Текле. Дело было в небольшом летнем домике у самого края воды, со всех сторон окруженном кустами, и я, держа приговоренную за горло, вспомнил, как мне хотелось освободить из заточения Теклу. Но освободить ее я возможности не нашел… и тебе об этом, помнится, не рассказывал, верно?

Доркас едва заметно покачала головой.

— Там нас со всех сторон окружали братья по гильдии. Кратчайший путь из темниц вел мимо пятерых. Все они знали меня и знали о ней. — (В глубине памяти раздался пронзительный визг

Теклы.) — На самом-то деле им можно было просто сказать, что мастер Гюрло распорядился привести ее к себе. Но тогда мне пришлось бы уйти вместе с ней, а я еще надеялся отыскать другой способ, позволяющий остаться в гильдии. Наверное, любил ее не так крепко, чтобы…

— Но теперь-то все это в прошлом, — напомнила Доркас. — А еще, Севериан, смерть вовсе не так ужасна, как ты думаешь.

В эту минуту мы с ней поменялись ролями, словно заблудившиеся детишки, поочередно ободряющие друг друга.

В ответ я только пожал плечами. Призрак, съеденный мною у Водала на пиру, успокоился: я чувствовал мозгом прикосновения длинных, прохладных пальцев Теклы, и хотя вывернуть голову наизнанку, чтобы взглянуть на нее, не мог, знал: сейчас ее темно-синие, точно фиалки, глаза смотрят на мир сквозь мои. Знал и лишь ценою изрядных усилий не заговорил ее голосом.

— Так вот, мы с этой женщиной остались в летнем домике, наедине. Звали ее Кириакой. Я знал или по меньшей мере подозревал, что ей известно, где сейчас Пелерины — какое-то время она принадлежала к их ордену. Нашей гильдии известно немало способов пытки, беззвучных и

притом не требующих никаких инструментов, не слишком зрелищных с виду, однако весьма эффективных. В основе их лежит непосредственное воздействие на нервные структуры клиента. Я собирался прибегнуть к тому, что у нас называется Посохом Хумбабы, но прежде чем успел коснуться ее, она обо всем рассказала. Пелерины сейчас невдалеке от Орифийского перевала, выхаживают раненых. По словам этой женщины, всего неделю назад она получила письмо от одной из знакомых по ордену, и та…

XII. Вслед за текущей водой

Летний домик щеголял сплошной прочной крышей, но его стены были сооружены из изящных решетчатых шпалер, и, таким образом, иллюзию уединения создавали скорее не их тонкие планки, а высокие лесные папоротники, посаженные к ним вплотную. Ажур листвы пронзали лучики лунного света; за открытым дверным проемом поблескивали в изумрудном сиянии бурные воды реки. Охваченная страхом смерти, Кириака надеялась лишь на то, что в моем сердце еще сохранилась хоть малая толика любви к ней, и, видя это, я, не питавший к ней никаких чувств, понимал: все надежды ее напрасны.

— В лагере Автарха, — повторила она. — Так пишет Эйнхильда. В Орифии, у порогов Гьёлля. Но если пойдешь туда возвращать книгу, будь осторожен: еще она пишет, будто где-то там же, на севере, приземлился корабль какогенов.

Я смерил ее пристальным взглядом, пытаясь понять, в чем она лжет.

— Так утверждает Эйнхильда. Должно быть, они не захотели воспользоваться зеркалами Обители Абсолюта, чтобы не попадаться на глаза

Автарху. Конечно, он у них в услужении, но порой ведет себя так, точно это они служат ему.

Я резко встряхнул ее:

— Ты что же, шутить надо мной вздумала? Автарх в услужении у какогенов?!

— Прошу тебя! О, пожалуйста…

Отпущенная мною, Кириака рухнула на пол.

— Об этом… О Эреб! Прости меня. — С этим она звучно всхлипнула, и хотя лежала в тени, я почувствовал, что моя жертва утирает глаза и нос краем алого облачения. — Об этом известно всем, кроме пеонов да вольных простолюдинов. А армигеры и даже оптиматы, не говоря уж об экзультантах, знают об этом с детства. Сама я Автарха ни разу не видела, но слышала, будто он, Венценосный Наместник Нового Солнца, ростом разве что самую малость выше меня. Думаешь, наши гордые экзультанты позволили бы подобной особе править собою, если б не тысячи пушек за его спиной?

— Я видел его и тоже об этом задумывался, — сказал я, ища в воспоминаниях Теклы подтверждение сказанного Кириакой, но не нашел ничего, кроме слухов да сплетен.

— Расскажи мне о нем! Прошу тебя, Севериан, прежде чем…

— Нет, не сейчас. Чем какогены могут мне угрожать? В чем опасность?

— В том, что Автарх наверняка отправит разведчиков искать их, и наш архонт, думаю тоже. Всех обнаруженных рядом с ними сочтут шпионами какогенов или, что еще хуже, изменниками, разыскивающими их, дабы привлечь на свою сторону в каком-нибудь заговоре супротив Трона Феникса.

— Понятно.

— Севериан, не губи меня. Молю, не губи. Женщина я не из добродетельных, с тех пор как оставила Пелерин, жила в грехе и сейчас не могу взглянуть в лицо смерти.

— И что же ты натворила? — спросил я. — Отчего Абдиес желает твоей смерти? Об этом тебе известно?

Задушить человека с неразвитой шейной мускулатурой проще простого, и я уже разминал пальцы, готовясь исполнить порученное, но в то же время жалел, что мне не позволено воспользоваться «Терминус Эст».

— Я всего лишь любила слишком многих мужчин, пренебрегая супругом.

Словно бы поднятая на ноги волной воспоминаний обо всех тех объятиях, она встала и

двинулась ко мне. В лунном свете, вновь озарившем ее лицо, глаза Кириаки заблестели от навернувшихся слез.

— После женитьбы он был так жесток, так жесток ко мне… и потому я, в пику ему, завела любовника, а после еще одного и еще… — (Голос ее звучал все тише и недолгое время спустя сделался едва слышен.) — В конце концов поиски новых любовников вошли в привычку, стали этаким способом задержать ход времени, показать себе, что жизнь вовсе не утекла между пальцами, что я еще вполне молода — взгляни-де, мужчины с прежней охотой подносят тебе подарки, с прежней лаской тянутся к твоим волосам… Ради этого я, если уж на то пошло, и оставила Пелерин. — Кириака сделала паузу, словно бы собираясь с силами. — Знаешь, сколько мне лет? Я тебе говорила?

— Нет, — отвечал я.

— Тогда и не скажу. Однако еще немного, и я вполне могла бы стать тебе матерью. Если бы понесла в течение года-другого после того, как обрела к этому способность. В то время мы странствовали далеко на юге, где течения носят по черным морям огромные иссиня-белые льды. Был там невысокий холмик, и я не раз, взойдя на него,

глядела вдаль и мечтала: одеться бы потеплее, запастись пищей, взять с собой ученую птицу, которой у меня никогда в жизни не было, но очень хотелось бы завести, догрести в шлюпке до льдины побольше и уплыть на ней, на собственном ледяном островке, к северу, к песчаному острову, заросшему пальмами, да отыскать там руины замка, выстроенного на заре мира… Вот тогда-то, одна на льдине, я, скорее всего, и родила бы тебя. Отчего бы воображаемому сыну не появиться на свет во время воображаемого плавания? И рос бы ты, ловя рыбу, плавая в море теплее парного молока…

— Над жизнью неверной жены властен только ее супруг, — напомнил я.

Кириака протяжно вздохнула: очевидно, мое замечание развеяло ее грезы.

— Среди окрестных армигеров-землевладельцев он — один из немногих, стоящих на стороне архонта. Остальные надеются, не повинуясь ему насколько посмеют и подстрекая к смуте местных эклектиков, склонить Автарха к его смещению. Я же, выставив супруга на смех, превратила в посмешище и его друзей, и архонта.

Благодаря живущей в памяти Текле перед моим мысленным взором предстала загородная вилла

— наполовину особняк, наполовину форт — о множестве комнат, почти не изменившихся за две сотни лет. В ушах зазвучало хихиканье дам, топот охотничьих скакунов, и звуки рогов за окном, и лай гончих, натасканных на кабанов. Именно в этот мир надеялась удалиться Текла, и мне стало жаль Кириаку, насильно запертую в сем тесном мирке, не успев повидать хоть сколь-нибудь более широких сфер.

Подобно покоям Инквизитора из пьесы доктора Талоса, судилищу, таящемуся в лабиринтах самых нижних уровней Обители Абсолюта, в самых пыльных чуланах памяти каждого хранятся счета, по коим все мы стремимся расплатиться с долгами прошлого изрядно утратившей ценность монетой настоящего. Один из таких счетов я и погасил, пощадив жизнь Кириаки в уплату за гибель Теклы.

Знаю: выведенная из летнего домика, она заподозрила, будто я намерен покончить с нею у кромки воды. Нет, вместо этого я указал ей на реку:

— Ацис быстро течет к югу, пока не сольется с водами Гьёлля, а тот, уже куда медленней, течет к Нессу и после — к южному морю. Беглеца, затерявшегося в лабиринтах Несса, не найти

никому, если только он сам того не пожелает: улиц, дворов и доходных домов там без счета, не говоря уж о сотнях всевозможных лиц из сотен всевозможных стран. Будь у тебя возможность отправиться туда, одетой, как одета сейчас, без друзей, без денег, воспользуешься ли ты ею?

Кириака кивнула, прижав бледные пальцы к горлу.

— Преграды для лодок под Капулом еще нет: Абдиесу известно, что нападений снизу, против течения, до середины лета опасаться не стоит. Однако течение под его сводами может опрокинуть лодку, а это верная смерть. А если даже доберешься до Несса, тебе придется добывать хлеб нелегким трудом — в прачки наняться или, скажем, в кухарки.

— Я умею укладывать куафюры и шить. Но, Севериан… я слышала, что иногда, в качестве последней, самой ужасной пытки, вы убеждаете пленника, будто его отпускают на волю. Если сейчас ты так и делаешь, будь добр, прекрати. Мне и без того хуже некуда.

— Такое в ходу у калогеров или иных особ духовного звания. Нам ни один клиент не поверит. Однако я хочу убедиться, что ты не наделаешь глупостей, вернувшись домой или вознамерив-

шись просить архонта о помиловании.

— Я, конечно, глупа, — созналась Кириака, — но нет. Подобное не придет в голову даже мне, клянусь.

Держась у кромки воды, мы дошли до лестницы, где караульные встречали гостей архонта, а возле берега покачивались на якорях крохотные, ярко раскрашенные прогулочные лодки. Сообщив одному из солдат, что мы собираемся прокатиться по реке, я спросил, удастся ли нам нанять гребцов, чтобы подняться назад, вверх по течению. Караульный ответил, что мы, если угодно, можем оставить лодку у Капула, а назад воротиться в наемном фиакре. Стоило ему, отвернувшись, возобновить беседу с товарищем, я сделал вид, будто осматриваю лодки, и осторожно распутал носовой фалинь той, что была зачалена дальше всех прочих от освещенного факелами караульного поста.

— Так, значит, теперь ты должен бежать на север, а я все деньги у тебя забрала? — ахнула Доркас.

— Мне много не нужно, а понадобятся — заработаю, — поднявшись, заверил ее я.

— Возьми назад хоть половину.

Я отрицательно покачал головой.

— Тогда хоть два хризоса. Я, если совсем туго придется, могу собой торговать или воровкой стану.

— За кражу карают отсечением руки. Уж лучше я буду рубить руки другим, чтоб не остаться без ужина, чем ты — расплачиваться за ужин собственными руками.

С этим я шагнул к двери, но Доркас, вскочив с кровати, удержала меня за полу плаща:

— Будь осторожен, Севериан. По городу бродит какая-то тварь — Гефор называл ее саламандрой. Говорят, она сжигает жертвы живьем.

Я ответил, что солдаты архонта для меня куда страшнее любых саламандр, и вышел из комнаты, прежде чем Доркас успела сказать еще хоть словечко. Однако несколько позже мне, с трудом поднимавшемуся наверх узкой улочкой, по заверениям лодочников, ведущей к самому гребню скалы, пришло в голову, что горная стужа и дикие звери, пожалуй, опаснее и тех и других. Подумал я и о Гефоре: каким образом он догнал меня так далеко на севере, чего ради? Но много больше, чем обо всем этом, я думал о Доркас — о том, кем была она для меня, а я для нее. Увидеться снова, хотя бы мельком, нам предстояло лишь долгое время спустя, и я это каким-то неведомым

образом чувствовал. Впервые покидая Цитадель, я опустил капюшон пониже, чтоб встречные прохожие не видели моей улыбки, и точно так же сделал сейчас — чтоб спрятать от посторонних глаз текущие по щекам слезы.

Резервуар, снабжавший Винкулу водой, я дважды видел при свете дня, а вот ночью еще ни разу. Прямоугольный пруд не обширнее фундамента дома, не глубже могилы, в то время он выглядел совсем небольшим, но сейчас, под ущербной луной, казался едва ли не озером, глубоким, точно резервуар у подножия Колокольной Башни.

Находился он не более чем в сотне шагов от крепостной стены, защищавшей Тракс с запада. Имелись в стене и башни — одна возле самого резервуара, и, несомненно, их гарнизоны к этому часу уже получили приказ схватить меня, буде я попытаюсь бежать из города. Время от времени, по пути вдоль гребня скалы, мне попадались на глаза часовые, патрулировавшие стену: пики их были погашены, но увенчанные гребнями шлемы заслоняли собою звезды, а порой и поблескивали, отражая их неяркий свет.

Оглядывая город внизу, я присел на корточки и положился на то, что плащ и капюшон цвета сажи укроют меня от бдительных взоров солдат.

Железные решетки, коими в случае надобности запирали проемы арок под Капулом, оказались подняты: буруны там, где Ацис бился об их прутья, были видны даже издали. Сомнений не оставалось: Кириаку схватили либо, что еще более вероятно, просто заметили и доложили о ней. Вопрос, сколь много сил бросит Абдиес на ее поиски, оставался открытым. На мой взгляд, поднимать вокруг нее много шума архонту было бы не с руки — пускай уж лучше исчезнет как можно тише, и дело с концом, а вот меня он наверняка не упустит возможности арестовать, дабы принародно, в назидание противникам, казнить за измену законной власти в его лице.

Отведенный от быстрых вод Ациса, взгляд мой скользнул к недвижной глади резервуара. Слово, отпирающее замок шлюзовых ворот, я знал и не преминул им воспользоваться. Древний механизм заскрежетал, будто приведенный в движение призрачными рабами, и тихие воды тоже, бурля, быстрее течения Ациса, бушующего у подножья Капула, хлынули вниз. Там, далеко внизу, заключенные услышат их грохот, а те, кто прикован ближе всех к выходу, увидят белую пену бурунов. Не пройдет и минуты, как стоящие окажутся по щиколотку в воде, а спящие вскочат

на ноги. Еще минута, и вода достигнет пояса, однако все они надежно прикованы к стене, и, стало быть, самым сильным придется поддерживать тех, кто послабее… а мне остается только надеяться, что никто не утонет. Между тем клавигеры, дежурящие у входа, оставив пост, поспешат к крутой лестнице, ведущей на вершину утеса, поглядеть, кто там озорничает с резервуаром…

И верно: едва резервуар опустел, неподалеку раздался дробный стук камешков, сыплющихся из-под их сапог. Закрыв за собой шлюзовые ворота, я осторожно спустился в осклизлый, почти вертикальный ход, которым вода ушла вниз. Здесь мне пришлось бы намного легче, если бы не «Терминус Эст» за плечом. Чтоб упереться спиной в стенку коленчатой, наподобие дымохода, трубы, с плеча меч пришлось снять, однако освободить руку, чтобы держать его, я не мог. Тогда я накинул перевязь на шею, опустил клинок с ножнами книзу и двинулся в путь. Дважды оскальзывался, но оба раза меня спасало очередное колено сужавшегося стока. Наконец, выждав достаточно долгое время, чтоб клавигеры успели вернуться на пост, и разглядев внизу красноватые отсветы факела, я вынул из ладанки Коготь.

Горящим столь ярко я с тех пор не видел его

больше ни разу. Свет камня слепил глаза, а я, несший его над головою вдоль длинного коридора Винкулы, мог только дивиться, отчего он еще не спалил мне руку до кости. Меня самого, думаю, никто из заключенных не разглядел. Коготь заворожил их, как свет фонаря в ночи завораживает оленей среди лесной чащи: все они замерли, разинув рты, подняв к потолку усталые, поросшие бородами лица, а тени за их спинами сделались четкими, будто силуэты, вырезанные из металла, выкрашенного в цвет сажи.

В самом конце коридора, где вода уходила в длинный наклонный сточный туннель, ведущий под Капул, содержались самые слабые, самые хворые из заключенных, и там я увидел воочию, как благотворно сказалась на них сила Когтя. Те, кого не помнили стоящими во весь рост даже старейшие из клавигеров, вмиг стали высокими, сильными, крепкими телом. Я помахал им, хотя этого наверняка ни один не заметил, спрятал Коготь Миротворца в ладанку, и нас окружил мрак, в сравнении с коим ночь на поверхности Урд показалась бы ясным днем.

Поток воды отмыл сточный туннель дочиста, и спуск вниз оказался намного легче спуска из резервуара в темницу: этот сток, хоть и у́же, был

куда менее крут, что позволяло быстро ползти вниз головою вперед. На дне его имелась решетка, однако во время одной из инспекций я обнаружил, что прутья ее проржавели почти насквозь.

XIII. В горы

В тот день, когда я ползком выбрался из-под Капула в серые предрассветные сумерки, весна сменилась началом лета, но в высокогорьях становилось тепло, лишь пока солнце держалось невдалеке от зенита. Однако спускаться в долины, где жались друг к дружке крестьянские домики, я не осмеливался и до вечера шел наверх, все дальше и дальше в горы, а плащ свернул скаткой и перекинул через плечо, придав ему как можно большее сходство с одеждами эклектиков. Кроме того, я разобрал «Терминус Эст» и снял с него гарду, так что клинок в ножнах казался издали посохом.

К полудню земля под ногами сменилась сплошным камнем, а путь стал так неровен, что карабкаться приходилось столько же, сколько идти. Дважды я замечал далеко подо мной блеск лат и, взглянув вниз, видел небольшие отряды димархиев, галопом мчащихся тропами, которыми большинство и пешком-то пройти себя не заставит — только алые кавалерийские плащи развеваются за спиной. Пригодных в пищу растений я не нашел, никакой дичи, кроме хищных

птиц, паривших высоко в небе, — тоже, и даже если бы углядел неподалеку какую-нибудь другую живность, мечом ведь ее не возьмешь, а иного оружия при мне не было.

Да, все это выглядит довольно безнадежно, но, если уж начистоту, от горных пейзажей, от бескрайней панорамы империи воздуха просто захватывало дух. В детстве мы обычно не ценим красот природы, так как, еще не накопив в памяти множества подобных картин, со всеми сопутствующими им обстоятельствами и переживаниями, воспринимаем их крайне поверхностно, не видя, так сказать, под рябью на озере дна. Сейчас я смотрел на вершины в венчиках облаков, вспоминая, как выглядел Несс со шпиля Башни Матачинов, вспоминая, как оглядывал Тракс с донжона замка Акиэс, и, несмотря на все невзгоды, готов был лишиться чувств от несказанной радости.

Ту ночь я провел на голых камнях, кое-как укрывшись от ветра за скальным выступом. Поесть мне в последний раз довелось во время переодевания в Винкуле — казалось, не одну неделю, а то и не один год назад. На самом же деле с тех пор, как я отнес Текле изрядно сточенный нож, украденный с кухни, а после, словно завороженный, не мог оторвать глаз от струй-

ки ее крови, алым червем выползавшей из-под двери в камеру, прошло всего-навсего несколько месяцев.

Что ж, по крайней мере, укрытие я выбрал удачно. Скала надежно преграждала путь ветру, и, оставаясь за нею, я будто бы отдыхал в тиши и покое какой-нибудь небольшой ледяной пещеры, но… шаг-другой в сторону — и несмолкающий ветер, учуяв жертву, вмиг промораживал до самых костей.

Думаю, около стражи я проспал без каких-либо запоминающихся сновидений, а после проснулся с ощущением — навеянным вовсе не сном, но неким чисто интуитивным чутьем или псевдочутьем, пробуждающимся в минуты усталости и страха, — будто надо мною склонился Гефор. Казалось, его зловонное ледяное дыхание щекочет лицо, а устремленные на меня глаза, утратив обычную блеклость, сверкают огнем. Без остатка стряхнув с себя сон, я обнаружил, что принял за зрачки Гефора пару звезд — крупных, необычайно ярких в чистом, разреженном воздухе.

В попытке снова уснуть я смежил веки и принялся воскрешать в памяти воспоминания о самых теплых, уютных местах, какие только мог вспомнить: о каюте подмастерья, отведенной

мне в нашей башне — отдельной, с мягкими одеялами, сущей роскоши после ученического дормитория; и о кровати, которую мне как-то раз довелось разделить с Бальдандерсом (от его широкой спины веяло жаром, словно от печи); и о покоях Теклы в Обители Абсолюта; и о тесной комнатушке постоялого двора в Сальте, нанятой на двоих с Ионой…

Увы, все это нисколько не помогло. Заснуть мне не удалось, а продолжить путь я, опасаясь свалиться в темноте с какого-нибудь обрыва, не осмелился. Остаток ночи пришлось коротать, глядя на звезды, и тут я впервые сумел оценить по достоинству великолепие созвездий, о которых не раз слышал на уроках мастера Мальрубия еще в те времена, когда числился самым младшим из учеников. В самом деле, не чудо ли? Небо, днем кажущееся недвижной твердью, по коей движутся облака, ночью становится фоном, задником для движения Урд, и в это время мы чувствуем ее неспешный крен под ногами, подобно морякам, чувствующим волну прилива. Той ночью ощущение этого медленного вращения оказалось столь явственным, что у меня едва не закружилась голова.

Не менее сильным было и ощущение, будто

небо превратилось в бездонную пропасть, куда может навеки кануть само мироздание. Слышал я от людей, что, если долго смотреть на звезды, многих охватывает неодолимый ужас: такое-де чувство, точно тебя уносит куда-то вдаль. Мой собственный страх — признаюсь, мне тоже сделалось страшно — был порожден не столько далекими солнцами, сколько зияющей пустотой, и порой достигал такой силы, что я невольно вцеплялся в скалу замерзшими пальцами, нисколько не сомневаясь, что вот-вот свалюсь с Урд. Подобное в той или иной мере наверняка знакомо каждому, поскольку на свете, как говорят, нет столь мягкого климата, чтоб люди довольствовались спальнями без крыш.

Чуть выше я уже рассказывал, как пробудился, думая, будто Гефор (должно быть, оттого, что после разговора с Доркас я то и дело вспоминал о нем) смотрит мне прямо в лицо, однако, открыв глаза, обнаружил, что от его лица не осталось ни единой черты, кроме двух ярких звезд, сияющих надо мною сами по себе. Примерно то же произошло со мной, когда я принялся за поиски созвездий, названия коих нередко встречал в книгах, но в какой части неба какое из них находится, представлял себе весьма приблизительно.

Поначалу звезды казались бессмысленной, беспорядочной россыпью огоньков, пусть даже красивых, точно искры, вьющиеся над костром. Но вскоре я, разумеется, заметил, что один из них ярче других, и цвет их отнюдь не одинаков. Долгое время смотрел я на них и вдруг различил в вышине очертания перития, да так явственно, будто все тело сего крылатого создания припорошено алмазной пылью. Спустя еще миг силуэт исчез, но вскоре вновь возник в небе, окруженный множеством других образов, порой соответствующих знакомым созвездиям, порой же, боюсь, всего-навсего плодов моей собственной фантазии. Лучше всех была видна амфисбена, змея о двух головах — на шее и на кончике хвоста.

При виде всех этих небесных созданий я был до глубины души поражен их красотой. Однако вскоре (буквально пару вдохов спустя) они сделались различимы столь явственно, что мне уже не удавалось избавиться от них никакими усилиями воли, и тут я испугался их не меньше, чем перспективы падения в полночную бездну, над коей мерцали их контуры, но то был отнюдь не обычный физический, инстинктивный страх, подобный всем остальным, нет, — скорее меня обуял некий философского толка ужас при

мысли о бескрайних просторах космоса, на коих пылающими солнцами нарисованы грубые изображения зверей и сказочных чудищ.

С головою накрывшись полой плаща (что вынужден был сделать, дабы не повредиться рассудком), я погрузился в размышления о мирах, вращающихся вокруг этих солнц. Об их существовании известно каждому: многие — всего-навсего бесконечные каменные равнины, другие же — сферы, сплошь покрытые льдом либо усыпанными золою холмами, среди которых текут к горизонту реки огненной лавы (именно такой обычно воображают себе Преисподнюю), но среди них немало и тех, что более-менее пригодны для жизни, населенных существами, происходящими от человека или, по крайней мере, не слишком разительно отличающимися от нас. Первым делом на ум пришли мысли о зеленом небе, синей траве и прочей примитивной детской экзотике, лезущей в голову всякого, стоит лишь вспомнить об иных, не похожих на Урд мирах. Однако со временем сии ребяческие идеи мне наскучили, и я перешел от них к раздумьям о социумах и образах мышления, ничем не похожих на наши, о мирах, где все люди, зная, что произошли от единственной пары поселенцев, почитают друг

друга за братьев и сестер; о мирах, где нет иной валюты, кроме уважения окружающих, и каждый трудится ради того, чтоб быть достойным родства с неким спасителем или спасительницей всего сообщества; о мирах, где долгие войны между людьми и зверями благополучно завершены. За этими мыслями последовала еще сотня, а то и более, новых: к примеру, как вершить правосудие, если все любят друг друга? А может ли нищий, не имеющий за душой ничего, кроме принадлежности к роду людскому, вымолить толику уважения? А во что одеваются и обуваются, чем кормятся те, у кого не в обычае лишать жизни животных, наделенных чувствами, а то и зачатками разума?

Еще мальчишкой, впервые осознав, что изумрудно-зеленый диск луны на самом деле есть нечто вроде острова, парящего в небе, а цвет ему сообщают невообразимо древние, посаженные в дни юности Человечества леса, я сразу же захотел когда-нибудь побывать там, а после, узнав о существовании всех прочих миров во вселенной, начал мечтать и о них. А после (наверное, то было неотъемлемой частью взросления) с мечтами сими пришлось распроститься: как выяснилось, покинуть Урд когда-либо удавалось лишь людям,

чье положение в обществе казалось мне недостижимо высоким.

Теперь же те детские и, мало этого, с течением лет становившиеся все более нелепыми (ведь маленьким, во времена ученичества, я, безусловно, имел куда больше шансов отправиться к звездам, чем сейчас, превратившись в затравленного изгоя), мечты затеплились в сердце снова, разгорелись сильней, жарче прежнего, ибо за время, минувшее с тех пор, я понял, сколь глупо ограничивать желаемое возможным. Уж теперь-то я твердо решил: отправлюсь туда непременно. Всю оставшуюся жизнь, глаз не смыкая, возможности буду ждать и не упущу ни одной, пусть даже самой ничтожной. В конце концов, однажды мне уже случилось оказаться совсем одному рядом с зеркалами Отца Инире, и в тот момент Иона, проявив много больше мудрости, чем я, без колебаний нырнул в волны фотонов, но… Кто сказал, что мне не представится нового случая?

С этой мыслью я, исполнившийся решимости снова поднять взгляд к звездам, сдернул с головы плащ и обнаружил, что озаренные солнцем короны гор утратили все величие. Лики титанов, возвышавшиеся надо мной, обернулись всего-навсего усталыми лицами покойных вла-

стителей Урд, источенными временем так, что и щеки, и скулы их давно осыпались лавинами в пропасти.

Поднявшись на ноги, я от души потянулся. Дело было яснее ясного: провести еще день, как вчерашний, без пищи я не смогу и уж тем более не смогу провести еще одну ночь, как минувшую, укрывшись только плащом. Посему все еще не осмеливающийся спускаться в обитаемые долины, я свернул к высокогорному лесу, раскинувшемуся подо мною на нижних склонах.

Добраться до леса удалось лишь к концу утра. Съехав со склона и остановившись среди его передовых дозоров, зарослей карликовых берез, я обнаружил, что склон здесь гораздо круче, чем выглядел издали, однако ближе к середине леса становится несколько ровнее, а значит, и скудные почвы там слегка плодороднее. Достигавшие значительной высоты деревья теснились так близко друг к дружке, что промежутки, отделявшие ствол от ствола, вряд ли превосходили шириной сами стволы. Конечно же, лес этот нисколько не походил на пышные широколиственные леса, оставшиеся далеко позади, на южных берегах Кефиса. Прямые высокие стволы мохнатых сосен и кедров при всей своей мощи и высоте клонились

прочь от тени ближайшей горы, а на неровной коре по крайней мере каждого четвертого явственно проступали шрамы — следы множества ран, полученных в нескончаемых войнах с ветром и молниями.

Шел я сюда в надежде отыскать лесорубов либо охотников, дабы воспользоваться тем самым пресловутым гостеприимством, каковое любой из них (согласно наивным поверьям жителей больших городов) почитает долгом оказывать всякому встреченному в глуши незнакомцу. Увы, надежды мои оправдываться все никак не желали. Снова и снова я останавливался, прислушивался, не донесется ли издали звон топора либо собачий лай. Однако вокруг было тихо, и, мало этого, деревьев, по всему судя, никто никогда не рубил, хотя строевого леса здесь имелось в избытке.

Наконец я набрел на небольшой ручеек, петлявший среди сосняка в окаймлении бахромы из карликового, чахлого папоротника-орляка да тонкой, как волос, травы. Вдоволь напившись студеной воды, я около половины стражи шел вниз по течению, чередой миниатюрных водопадов и омутов, а по дороге — несомненно, подобно многим другим путникам на протяжении бес-

счетных хилиад — дивился тому, как ручеек постепенно растет, ширится, хотя собратьев его, притоков, нигде вокруг не видать.

Мало-помалу поток разросся настолько, что стал опасен даже для сосен и кедров, а впереди показалось подмытое течением, рухнувшее поперек ручья дерево не менее четырех кубитов в толщину. Не слыша поблизости никаких настораживающих звуков, я без особой опаски подошел к нему, оперся о торчащий в сторону сук, прыгнул к его вершине и…

И едва не свалился в океан воздуха. Зубчатая стена замка Акиэс, с которой я разглядел удрученную Доркас, в сравнении с такой высотой казалась садовой балюстрадой. Пожалуй, из рукотворных строений с ней не могло бы соперничать ни одно, кроме Несской Стены. Воды ручья беззвучно падали ко дну пропасти, а ветер рассеивал их в мелкую пыль, так что ручей, обращаясь радугой, исчезал без остатка. Лес внизу выглядел будто игрушечный, изготовленный в подарок какому-нибудь мальчишке щедрым отцом, а у его опушки, на краю поля, виднелся крохотный, не больше камешка, домик с белым дымком над крышей, призраком падавшего навстречу гибели ручейка, подобно току воды, змеившимся к небу,

чтоб там, в вышине, рассеяться без следа.

Поначалу спуск со скалы казался делом проще простого, так как с разгону я едва не перепрыгнул через упавший ствол, в свою очередь, наполовину выдававшийся за край обрыва. Однако, восстановив равновесие и оглядевшись, я счел сие предприятие практически неосуществимым. Обрыв, насколько мне удалось разглядеть, оказался по большей части отвесным. Возможно, будь у меня с собою веревка, я смог бы, спустившись вниз, достичь домика задолго до наступления ночи, но веревки при мне, разумеется, не было, да и доверяться веревке столь огромной длины, какая тут требовалась, я бы, наверное, в любом случае не рискнул.

Впрочем, потратив толику времени на исследование гребня утеса, я, наконец, обнаружил тропку, ведущую вниз, — весьма коварную, узкую, но, судя по всем признакам, ею время от времени пользовались. Вдаваться в подробности спуска я здесь не стану: для моей повести они не слишком важны, хотя в то время и могли представляться весьма захватывающими. Вскоре я попривык смотреть только под ноги да на стену обрыва то по правую, то по левую руку, так как тропа петляла из стороны в сторону. Чаще всего

она представляла собой довольно крутой спуск шириною около кубита или чуть меньше, но порой становилась чередой ступеней, вырубленных в цельном камне, а как-то раз сделалась лишь выемками для рук и ног, так что спускаться пришлось будто по трапу. Да, если судить объективно, все это было куда проще спуска от трещины к трещине в ту самую ночь, возле устья рудника, населенного людьми-обезьянами — тем более что над ухом не взрывались арбалетные стрелы, пущенные из темноты, — но во сто крат большая высота изрядно кружила голову.

Возможно, из-за стараний не обращать внимания на бездну с противоположной стороны огромный слоистый образчик коры мира в разрезе я по пути вниз изучил во всех деталях. В древние времена — так говорилось в одной книге, присланной мне от мастера Палемона, — сердце самой Урд было живо, и мерные биения ее живого ядра взламывали поверхность равнин, превращая их в исполинские фонтаны воды, порой за одну ночь разливавшейся открытым морем меж островков, что еще на закате солнца составляли один континент. Теперь ядро Урд, говорят, мертво и, остывая, ссыхается под толщей каменной мантии подобно трупу старухи в одном из бро-

шенных домов, о которых рассказывала Доркас, благодаря сухому, неподвижному воздуху обернувшемуся мумией в истлевших, рассыпавшихся под собственным весом одеждах. То же самое, говорят, происходит и с Урд, отчего в этом месте гора дала трещину так, что добрая половина ее, отделившись от другой половины, осела вниз по меньшей мере на целую лигу.

XIV. Домик вдовы

В Сальте, где мы с Ионой остановились на несколько дней и где мне довелось исполнить вторую и третью декапитации в своей карьере, шахтеры насилуют почву ради металлов, строительного камня и даже артефактов, оставленных в недрах Урд цивилизациями, угасшими и позабытыми за многие хилиады до того, как поднялась к небесам Стена Несса. Для этого они бурят в склонах холмов узкие штольни, пока не наткнутся на слой, богатый развалинами, либо (если бурильщикам особенно повезет) на здание, сохранившееся в относительной целости настолько, что может служить готовой галереей.

То, что стоит горнякам Сальта немалых сил, у обрыва, с коего я спускался, могло быть достигнуто без какого-либо труда. Прошлое стояло у моего плеча — нагое, беззащитное, подобно всему, что мертво, как будто осевшая книзу скала обнажила само время. Тут и там из отвесной стены торчали ископаемые кости — кости огромных зверей и людей. Здесь же хоронил своих мертвых и лес: среди костей попадались ветви и пни, обращенные временем в камень, так что я по пути то и дело

задавался вопросом: быть может, Урд, вопреки общепринятым умозаключениям, нисколько не старше своих детищ, деревьев? При этих мыслях в воображении возникали леса, росшие в пустоте, перед лицом солнца, деревья, сцеплявшиеся друг с дружкой путаницей корней и ветвей, до тех пор, пока их скопление не придало Урд известный, привычный нам облик, а сами они не сделались всего-навсего ворсом ее одеяний.

Несколько глубже начинались постройки и механизмы, созданные человечеством. (Может статься, среди них находились и творения иных культур, так как около полудюжины историй из книги в коричневом переплете, хранившейся в моей ташке, намекали на существование некогда, в прошлом, колоний существ, зовущихся среди нас какогенами, хотя на самом деле принадлежат они не к одной — к мириадам рас, каждая из коих отличается от остальных не меньше, чем от человека.) Видел я здесь слитки металлов зеленых и синих в том же смысле, в каком медь называют красной, а серебро белым, слитки столь разных цветов и столь причудливых форм, что их с равным успехом можно было принять как за произведения искусства, так и за части неизвестных машин… хотя, может статься, кое-какие

из непостижимых чужих народов вовсе не знали разницы между тем и другим.

В одном месте, чуть ниже середины спуска, линия разлома совпадала с облицованной плиткой стеной какого-то огромного здания, так что продуваемая всеми ветрами тропка, которой я шел, перечеркивала ее наискось. Что за узор составляли плитки, я так и не узнал, поскольку, спускаясь с обрыва, находился к нему слишком близко, чтоб разглядеть его целиком, а наконец оказавшись внизу, не смог различить рисунка за мутными облаками брызг падавшего сверху ручья. И все-таки по пути я видел его, как насекомое может видеть лицо на портрете, когда ползет по холсту. Самой разной формы, изразцовые плитки были безукоризненно пригнаны одна к другой, и поначалу мне показалось, будто они изображают птиц, ящериц, рыб и тому подобных созданий, стиснутых в объятиях жизни. Внизу же у меня создалось впечатление, будто это вовсе не так, будто там, на стене, — геометрические построения, которых мне не понять, чертежи столь затейливые, что в них сами собой появляются очертания всевозможной живности (схожим образом из сложных геометрических фигур молекул складываются тела настоящих, живых зверей).

Как бы там ни было, к общей картине орнамента все эти фигуры особого отношения не имели. Их перечеркивали цветные линии, должно быть, вплавленные в материал плиток эоны тому назад, однако яркие, своенравные, словно всего минуту как нанесены на стену кистью какого-то исполинского живописца. Из оттенков чаще всего встречались берилловый и белый, но хотя я не раз останавливался, стараясь понять, что же здесь нарисовано (письмена, или лицо, или просто линейный декоративный орнамент, или, может, орнамент растительный), мои старания не привели ни к чему — возможно, на стене можно было разглядеть и то, и другое, и третье, и четвертое, либо вообще ничего, в зависимости от угла зрения и ожиданий зрителя.

Стоило миновать загадочную стену, спуск сделался много легче. Карабкаться вниз по отвесной скале мне больше не пришлось, а последние несколько пролетов ступеней оказались вовсе не так круты и узки, как прежде. Достигнув подножья обрыва заметно раньше, чем ожидал, я поднял голову и оглядел тропку, которой спускался, с таким удивлением, словно в жизни на нее не ступал — тем более что в нескольких местах ее рассекали сколы и трещины, со стороны

выглядевшие непреодолимыми.

Домик, отчетливо различимый с кромки обрыва, скрылся из виду, спрятавшись среди деревьев, однако дымок из печной трубы белел в небесах, как и прежде. Лес, преграждавший к нему дорогу, оказался совсем не так густ и мрачен, как тот, которым я шел вдоль ручья, — разве что темные деревья выглядели заметно старше. Огромные южные папоротники здесь не росли: правду сказать, к северу от Обители Абсолюта я не видел ни одного, кроме нарочно высаженных в садах у Абдиеса, однако среди толстых сосновых корней, в окружении густых бархатистых мхов, повсюду синели лесные фиалки с блестящими зеленью листьями и лепестками точно того же оттенка, что и глаза бедной Теклы. Казалось, земля под ногами укрыта роскошным ковром, а деревья сплошь задрапированы драгоценными тканями.

За некоторое время до того, как впереди показался дом либо еще какие-нибудь следы человека, до меня донесся собачий лай. Нарушивший тишину, шум развеял и чары леса — не без остатка, но словно бы оттеснил их куда-то вдаль. Казалось, некая иная, загадочная жизнь, древняя, чужеродная, но и не чуждая доброте, едва открывшись передо мной, тут же ушла, словно некто

чрезвычайно выдающийся, вроде величайшего из музыкантов, которого я не один год старался залучить к себе в дом, однако, постучавшись в двери, услышавшего голос еще одного гостя, крайне ему неприятного, а посему, опустившего руку и ушедшего прочь, чтоб никогда более не возвращаться.

И все же каким покоем повеяло от этого лая! Почти два долгих дня я оставался совершенно один — вначале среди голых скал, затем под ледяными красотами звезд, а после в окружении приглушенных вздохов древнего леса. Теперь же резкий привычный звук снова заставил меня вспомнить об уюте человеческого жилья — да не просто вспомнить, а вообразить его себе так ярко, будто я уже окружен им. В эту минуту я решил, что с виду лающий пес окажется очень похож на Трискеля, и не ошибся. Да, четыре лапы вместо трех, и череп длиннее и несколько у́же, и масть скорее бурая, чем желтая, точно у льва, однако и огоньки в глазах, и машущий из стороны в сторону хвост, не говоря уж о вываленном наружу розовом языке, были в точности теми же самыми. Начал он с объявления войны, каковое немедля аннулировал, стоило мне заговорить с ним, а прежде чем я прошел еще два десятка

маховых шагов, ткнулся мордой в ладонь, чтоб его почесали за ухом. Так, с резвящимся, юлящим вокруг меня псом, я и вышел на небольшую полянку, к дому.

Сложенные из камня стены едва достигали моего темени. Соломенная крыша (таких островерхих крыш я еще не видал) была выложена рядами плоских камней, удерживавших солому на месте в ветреную погоду. Короче говоря, я отыскал в глуши дом одного из крестьян-первопроходцев, славы и горя Содружества, нередко кормящих Несс излишками обильных урожаев, однако в иные годы неспособных прокормить хотя бы самих себя.

Если у входа нет мощенной камнем дорожки, по густоте травы, тихой сапой крадущейся вперед, на вытоптанную землю, вполне можно судить, как часто к дому подходят либо выходят наружу. Здесь пятачок пыли перед каменной ступенью крыльца ненамного превосходил величиной головной платок. Видя это, я заподозрил, что могу напугать человека, живущего в домике (ведь таковых явно насчитывалось не более одного), явившись на порог неожиданно, а посему, так как пес давным-давно прекратил лай, остановился у края полянки и поприветствовал хозяина

во весь голос.

Деревья и небо поглотили мой крик, и вокруг вновь воцарилось безмолвие.

Я крикнул еще раз и, сопровождаемый псом, двинулся к домику, но как только подошел к крыльцу, из-за двери вышла наружу женщина. Изящное лицо ее вполне можно было бы счесть красивым, если б не затравленный взгляд, однако рваное платье отличалось от нищенского разве что чистотой. Спустя еще миг из-за ее юбки выглянул круглолицый, щекастый мальчуган с глазами еще больше материнских.

— Прошу прощения, если напугал тебя, — заговорил я, — но я заблудился в горах.

Женщина понимающе кивнула и, после некоторых колебаний отодвинувшись в сторону, пропустила меня внутрь. За толстыми стенами оказалось еще теснее, чем я полагал, да вдобавок резко пахло каким-то густым овощным варевом, кипевшим в котле, подвешенном на крюк над очагом. Немногочисленные окна также были невелики и из-за толщины стен казались скорее погребцами тени, чем проемами, предназначенными для освещения. На шкуре пантеры, спиной к очагу, сидел старик, и взгляд его был так рассеян, настолько лишен искры разума, что мне

поначалу подумалось, будто он слеп. Посреди комнаты стоял стол в окружении пяти кресел, три из коих, судя по величине, делались для взрослых. Взглянув на них, я сразу вспомнил рассказ Доркас о мебели из опустевших несских домов, вывозимой на север для продажи эклектикам, не чуждым веяниям более развитой культуры, однако все эти вещи обладали множеством признаков местного, кустарного изготовления.

— Муж скоро вернется. К ужину, — сказала хозяйка, заметив, куда направлен мой взгляд.

— Тебе вовсе не о чем волноваться: я никому не желаю зла, — отвечал я. — Если ты позволишь мне разделить с вами пищу и переночевать в тепле, а утром укажешь дорогу, я с радостью пособлю в любой необходимой работе.

Хозяйка дома снова кивнула, а мальчишка вдруг ни с того ни с сего пропищал:

— А Северу ты видел?

Мать повернулась к нему с быстротой, живо напомнившей мне мастера Гюрло за демонстрацией хватов, служащих для приведения заключенных к повиновению. Звон оплеухи я, разумеется, слышал, однако удара почти не разглядел. Мальчишка пронзительно взвизгнул, его мать, шагнув в сторону, загородила дверь, и

тогда он укрылся за сундуком, в самом дальнем от нее углу комнаты. Тут я и понял (во всяком случае, решил, будто понял), что Севера — девочка либо женщина и хозяйка считает ее еще более беззащитной, чем саму себя, а потому велела ей спрятаться — вероятно, наверху, под соломенной кровлей, — прежде чем впустить меня в дом. Рассудив, что любые дальнейшие заверения в моих добрых намерениях пропадут даром, так как женщина эта, при всем своем невежестве, явно не дура, а значит, заручиться ее доверием проще всего не словом, а делом, я начал с вопроса о воде для умывания: я-де охотно принесу ее сам от любого ближайшего источника, если она позволит согреть воду на очаге. В ответ хозяйка вручила мне котелок и указала путь к роднику.

В жизни мне не раз довелось побывать в местах, считающихся среди людей романтическими — на вершинах высоких башен, глубоко в чреве мира, в роскошных домах, и в джунглях, и на борту корабля, — но ни одно из них не тронуло моего сердца таким же образом, как эта убогая каменная хижина. Она казалась праформой, классическим образцом тех самых пещер, куда, если верить ученым книжникам, человечество вновь и вновь заползает в нижней точке очеред-

ного витка цивилизации. Всякий раз, читая либо слыша описание идиллической, тихой жизни на лоне природы (в частности, Текла от этой идеи была без ума), я обнаруживаю, что образ сей зиждется на чистоте и порядке. Тут тебе и клумбы с мятой под окнами, и поленница дров у самой холодной стены, и вымощенный блестящими плитами камня пол, и так далее, и так далее. Здесь не было ничего подобного, ни намека на идеальность, однако этот домик при всех своих недостатках являл собою само совершенство, наглядно показывая, что человек вполне может жить и любить в такой дикой глуши, даже лишенный возможности превратить свое жилье в поэму.

— Ты всегда мечом бреешься? — спросила хозяйка, впервые заговорив со мной без опаски.

— Таков обычай. Традиция. Если меч недостаточно остр, чтобы им бриться, носить его — позор. А если он остр достаточно, зачем тогда носить с собой бритву?

— Все же такой тяжелый клинок, должно быть, держать неловко, и осторожность нужна, не то вмиг порежешься.

— Подобные упражнения укрепляют мускулы. Кроме того, чтобы меч стал привычен, как

собственная рука, пользоваться им нужно при всякой возможности.

— Стало быть, ты из солдат. Я так и подумала.

— Мое ремесло — лишать жизни людей. Сродни ремеслу мясника.

— Я… я не хотела тебя обидеть, — изрядно опешив, заверила меня хозяйка дома.

— Я вовсе не обижен. Каждый из нас губит чью-либо жизнь — к примеру, ты губишь эти коренья, бросая их в кипящий котел. Предавая смерти кого-либо из людей, я спасаю все жизни, которые он погубил бы, если б продолжил жить, возможно, включая сюда жизни многих других людей — мужчин, женщин, детей. Вот, скажем, муж твой — он чем занимается?

Впервые на моей памяти улыбнувшись, хозяйка дома изрядно помолодела с виду.

— Всем на свете. Здесь, наверху, все самим приходится делать.

— То есть ты родилась не здесь?

— Да, — подтвердила она. — А вот Севериан…

От улыбки на ее лице не осталось даже следа.

— Севериан? Я не ослышался?

— Так зовут моего сына. Ты видел его, войдя в дом, да и сейчас он за нами подглядывает, негодник.

— Точно так же зовут и меня. Я — мастер Севериан.

— Слыхал? Гостя зовут так же, как и тебя! — крикнула хозяйка мальчишке и вновь обратилась ко мне: — А как ты думаешь, хорошее ли это имя? Тебе оно по душе?

— Боюсь, об этом я никогда не задумывался, но, наверное, да. По душе. По-моему, имя вполне подходящее.

Покончив с бритьем, я сел в кресло и принялся приводить в порядок клинок.

— Я родилась в Траксе, — сказала хозяйка. — Тебе там бывать доводилось?

— Два дня как оттуда, — подтвердил я.

Скрытничать смысла не было: если следом за мной к ней явятся с расспросами димархии, описание моего облачения в любом случае выдаст меня с головой.

— Не встречал ли ты там женщины по имени Гераида? Это моя матушка.

Я отрицательно покачал головой.

— Что ж, Тракс — город большой… а ведь ты недолго там пробыл?

— Верно, всего ничего. А что слышно в здешних горах о Пелеринах? Об ордене жриц, что одеваются в красное?

— Боюсь, тут я тебе ничем помочь не смогу. Новости до нас доходят редко.

— Я ищу их, а если не сумею найти, хотел бы пристать к армии Автарха, идущей на асциан.

— Как этих найти, муж объяснит куда лучше. Сама я не слишком-то… но так высоко в горы тебе забираться не стоило. Бекан — так мужа зовут — говорит, что патрульные солдат, идущих на север, не трогают, даже если те идут старыми дорогами.

Стоило ей заговорить о солдатах, идущих на север, поблизости от меня, гораздо ближе хозяйки, шевельнулся кто-то еще. Да, шевельнулся украдкой, однако звук этот я расслышал отчетливо, несмотря на треск дров в очаге и дыхание старика. Чьи-то босые пятки, не в силах больше терпеть полную неподвижность, без коей не добиться и тишины, едва заметно шевельнулись, а их смещению сопутствовал едва уловимый скрип досок, принявших на себя тяжесть тела.

XV. «Он там, впереди!»

Вопреки ожиданиям хозяйки, глава семейства к ужину домой не явился, и мы — хозяйка дома, старик, мальчишка и я — поужинали вчетвером, без него. Вначале предупреждение его супруги казалось обманом с целью отбить у нежданного гостя охоту к любым злодействам, каковые я в ином случае мог совершить, но с течением времени, пока хмурый день тянулся своим чередом в том самом безмолвии, что предвещает грозу, мне сделалось очевидно, что своим словам она верила и теперь искренне беспокоится.

Ужин наш был прост, насколько простым может быть подобное угощение, но я проголодался настолько, что радовался ему, как никогда в жизни. Состоял он из вареных овощей без соли и масла, черствого хлеба и малой толики мяса. Ни вина, ни фруктов, ничего сладкого — однако я, пожалуй, съел больше, чем трое других, вместе взятых.

Когда мы покончили с ужином, хозяйка (звали ее, как выяснилось, Касдо) отыскала в углу длинный, окованный железом посох и отправилась искать мужа, перед уходом заверив меня, что в

сопровождении не нуждается, а старику, который ее, на мой взгляд, не услышал, сообщив, что идет недалеко и вскоре вернется. Видя, что старик в прежней рассеянности, не замечая вокруг ничего, сидит у огня, я поманил к себе мальчишку и после того, как завоевал его доверие, показав ему «Терминус Эст», позволив взяться за рукоять и попробовать поднять меч, спросил, отчего Севера не спустится и не присмотрит за ним, пока мать в отлучке.

— Она вернулась вчера ночью, — сообщил он.

— И сегодня к ночи непременно вернется, — сказал я, думая, что говорит он о матери, — но разве Севере не следует присмотреть за тобой, пока ее нет?

Мальчишка, подобно всем детям, не освоившим речи в достаточной для продолжения спора мере, пожал плечами и отвернулся, но я поймал его за плечо:

— Будь добр, малыш Севериан, поди-ка наверх и скажи ей: пусть спустится к нам. Обещаю: я ей ничего дурного не сделаю.

Мальчишка кивнул и нехотя, нога за ногу, двинулся к лестнице.

— Злая она, — буркнул он.

И тут, впервые с тех пор, как я переступил порог

дома, старик подал голос:

— Бекан, ступай поближе! О Фехине тебе расскажу.

В недоумении оглядевшись, я понял, что обращается он ко мне, принимая меня за зятя.

— Первый озорник среди нас он был, этот Фехин. Бесшабашный, росту высокого, руки сплошь в волосе рыжем, будто у обезьяны. Увидишь, как тянется за чем-нибудь из-за угла, так и подумаешь: ну в точности, в точности обезьяна, только у той лапа будет поменьше. И проказник такой же. Как-то раз стащил нашу медную сковороду, ту самую, в которой мать колбасу жарила, а я его руку заметил, но никому ничего не сказал: ведь Фехин был мне другом. Сковороды я так и не нашел — в глаза больше не видел, хотя с Фехином виделся тысячу раз. Не нашел и вбил себе в голову, будто он смастерил из нее кораблик да пустил по реке, потому что сам такое же озорство всегда хотел учинить. Пошел искать ее вниз по течению и глазом моргнуть не успел, как наступила ночь, а ведь я еще шага назад, к дому, не сделал! А может, он со дна сковороду отшлифовал, чтобы в нее смотреться — водилась за ним привычка портреты собственные рисовать. А может, просто воды в нее налил и рисовал с отражения.

Слушая старика, я пересек комнату и подошел ближе — отчасти из-за невнятности его лопотания, отчасти же из уважения к его годам, обнаружив в чертах морщинистого лица легкое сходство с мастером Палемоном, хотя глаза у него были собственные, природные.

— Однажды я свел знакомство с человеком примерно твоих лет, позировавшим Фехину, — сказал я.

Старик поднял на меня взгляд, однако мелькнувший в его глазах с быстротой птичьей тени, скользящей по серому половику, выброшенному за порог, на траву, проблеск разума, понимания, что я не Бекан, тут же угас. Впрочем, рассказа он не прервал и слов моих будто бы вовсе не слышал. Казалось, он ведет речь о чем-то чрезвычайно важном, о том, что непременно нужно хоть кому-нибудь рассказать, излить хоть в чьи-нибудь уши, пока все это не утрачено навсегда.

— А вот лицом он на обезьяну вовсе не походил, нет. Красавчик он был, Фехин — красивей всех вокруг. Всегда мог у какой-нибудь женщины еды или деньжат раздобыть. Чего захочешь от женщин добиться мог. Помню, шли мы с ним как-то по дорожке, ведущей туда, где в те времена стояла старая мельница. У меня имелся с собой

лист бумаги, выданный школьным учителем. Настоящей бумаги, не совсем белой, а этак слегка буроватой и сплошь в крохотных пятнышках — ну чисто форель в молоке! Учитель дал его, чтоб я письмо для матери написал: в школе-то мы писали только на дощечках, а после, чтоб писать снова, вытирали их начисто тряпкой. Бывало, когда никто за нами не смотрит, подбросишь тряпку и ка-ак дашь по ней дощечкой — прямо в стену, а то и кому-нибудь в голову… Однако Фехин любил рисовать, а я по пути вспомнил об этом и думаю: ну и лицо у него сделается, получи он листок бумаги, чтоб сохранить нарисованное навсегда!

— Он ведь только рисунки свои и берег. Другое что — либо потеряет, либо раздаст, либо выбросит. О чем матери хочется рассказать в письме, я знал прекрасно и рассудил так: если писать помельче, половинки листа будет вполне довольно. Фехин о моем сокровище, конечно, не знал, но я вынул лист из-за пазухи, показал ему, а потом сложил вдвое и разорвал напополам.

Сверху донесся писклявый голосок мальчишки, но что он сказал, я не расслышал.

— Знаешь, светлее денька я в жизни не видывал. Солнце просто-таки зажило новой жизнью,

будто человек, который хворал вчера, и завтра будет хворать, но нынче гуляет себе, смеется, так что, кто его видит впервой, наверняка подумает: все с ним в порядке, здоров как бык, а лекарства возле постели приготовлены для кого-то другого. В молитвах сказано, будто Новое Солнце воссияет так ярко, что невозможно смотреть, и я до того самого дня считал это просто таким выражением, для красного словца — вроде как младенца называют красавчиком или возносят до небес всякую пустяковину, хорошим человеком сработанную, а на самом-то деле, появись на небе хоть два солнца, смотреть на них это никому не помешает. Но в тот день мне стало ясно, что в молитвах-то сказана чистая правда: Фехин так засиял лицом, что отвернуться пришлось — даже глаза заслезились. Сказал он мне спасибо, и двинулись мы с ним дальше, и подошли к дому, где девчонка одна жила. Как ее звали, уже запамятовал, но красива она была в самом деле, без дураков — той красотой, какой обычно отличаются самые тихие. До того дня я и не знал, что Фехин с нею знаком, но он попросил меня подождать, и уселся я на ступеньку у ворот.

Наверху раздались шаги: к лестнице двинулся кто-то куда тяжелее мальчишки.

— В доме он пробыл недолго, но когда вышел, а девчонка выглянула ему вслед из окна, я понял, чем они там занимались. Поднял я на него взгляд, а он только развел в стороны длинные, тонкие обезьяньи ручищи: извини, дескать, с тобой поделиться не смог. В конце концов он велел девчонке дать мне полкаравая хлеба и фруктов, а еще нарисовал с одной стороны листа мой портрет, а девчонкин — с другой, но рисунок оставил себе.

Лестница заскрипела, и я обернулся на шум. Как я и ожидал, сверху спускалась женщина — невысокая, но пышнобедрая и тонкая в талии, в платье, изодранном не меньше, чем платье хозяйки дома, однако гораздо грязнее. На спину ее с затылка ниспадали длинные пряди пышных темно-русых волос. Думаю, я узнал ее еще до того, как она повернулась ко мне, а уж увидев широкие скулы и продолговатые, раскосые карие глаза, лишился последних сомнений. То была Агия.

— Значит, ты с самого начала знал, что я буду здесь, — сказала она.

— То же самое я мог бы сказать о тебе. Ты вроде бы появилась здесь первой.

— Я всего-навсего заподозрила, что ты можешь прийти сюда. И, так уж оно обернулось, немного опередила тебя, а хозяйке этого дома рассказала,

что ты со мною сделаешь, если меня не спрятать, — отвечала Агия.

(Очевидно, таким образом она решила дать мне понять, что здесь у нее есть союзник, пусть даже столь слабосильный.)

— Выходит, ты пыталась погубить меня с тех самых пор, как попалась мне на глаза в Сальте, среди толпы?

— Это обвинение? Да, пыталась.

— Лжешь.

Нечасто, нечасто мне доводилось видеть Агию настолько сбитой с толку.

— Что значит «лжешь»?

— Только то, что погубить меня ты пыталась еще до Сальта.

— Ну да, разумеется. Аверном.

— И не только, Агия, и не только. Я знаю, кто такой Гефор.

В ожидании отклика я умолк, но Агия не проронила ни слова.

— В день нашего знакомства ты поминала о старом моряке, желающем, чтоб ты жила с ним. По твоим же словам, старом, уродливом с виду и бедном. А я еще не смог понять, отчего ты, миловидная, молодая, вообще задумалась над его предложением, хотя с голоду вовсе не умираешь.

У тебя ведь был и заступник, брат-близнец, и лавка кое-какой доход приносила.

Тут настал мой черед удивляться.

— Мне следовало сразу пойти к нему и стать его госпожой. И теперь я ею стала, — отвечала она.

— Я думал, ты просто обещала отдаться ему в обмен на мою жизнь.

— Я обещала ему и это, и еще многое, и потому он целиком в моей власти. Он там, Севериан, впереди, ждет от меня приказа!

— С новыми тварями наготове? Благодарю за предупреждение. Ведь в них все и дело, не так ли? Он угрожал вам с Агилом ручными зверушками, привезенными из иных сфер?

Агия кивнула.

— Он явился к нам продать кое-какую одежду, из тех, что носили на древних судах, в давние-давние времена ходивших за кромку мира, причем не маскарадный костюм, не подделку и даже не старье с брошенных складов, многие сотни лет пролежавшее в темноте, а почти новые вещи. Сказал, что его корабли — все его корабли — заблудились в черной бездне меж солнц, где останавливается круговорот лет. Заблудились так безнадежно, что их не отыскать даже самому Времени.

— Знаю, — заметил я. — Слышал от Ионы.

— Узнав, что тебе поручено казнить Агила, я отправилась к нему. Кое в чем он тверже стали, но кое в чем другом сущий ребенок. Не поступившись собственным телом, я не добилась бы от него ничего, но я согласилась на все извращения, какие он ни пожелал, и внушила ему, будто люблю его. Ради меня он следил за тобой после расправы над Агилом, на его серебро я наняла тех, кого ты убил возле старого рудника, и ради меня прирученные им твари покончат с тобой, если я не покончу с тобою сама. Здесь.

— Полагаю, ты замышляла дождаться, пока я не усну, а после спуститься и зарезать во сне.

— Я собиралась разбудить тебя, приставив вначале нож к горлу. Однако этот мальчишка сказал, что ты обо мне знаешь, и я подумала: а ведь так выйдет еще веселей. Только скажи, как ты догадался о Гефоре?

Сквозь узкие оконца в дом ворвалось дыхание ветра. Огонь заплясал, закоптил, и умолкший было старик, звучно откашлявшись, сплюнул на угли. Мальчишка, спустившийся с чердака, во время нашего с Агией разговора тоже молчал, недоуменно таращась на нас во все глаза.

— О нем мне следовало догадаться намного

раньше, — ответил я. — Точно таким же моряком был мой друг, Иона. Думаю, ты его помнишь — видела мельком возле входа в рудник. Вы о нем наверняка знали.

— Верно, знали.

— Возможно, оба служили на одном корабле, а может, могли узнать друг друга по какой-то примете — по крайней мере, Гефор этого опасался всерьез. И, как бы там ни было, старался не приближаться ко мне во время странствий с Ионой, хотя прежде так и рвался побыть со мной рядом. Я видел его в толпе у эшафота, когда казнил мужчину и женщину, однако в Сальте он даже не пробовал ко мне подойти. По дороге в Обитель Абсолюта мы с Ионой увидели его позади, но примчался он только после того, как Иона отъехал подальше, хотя навсегда распроститься с нотулой ему наверняка было отчаянно жаль. Брошенный в аванзалу, он тоже не пробовал подсесть к нам, пусть даже Иона был, можно сказать, при смерти, однако перед тем, как мы ушли, по залу шарила еще какая-то тварь, оставившая за собой след — дорожку слизи.

На это Агия не ответила ничего и в молчании вполне могла бы сойти за ту самую, прежнюю Агию, какой я увидел ее на следующее утро после

того, как покинул родную башню, поднимавшую жалюзи на витринах пыльной лавки старьевщика.

— Должно быть, на пути в Тракс след мой вы потеряли, — продолжал я, — либо вас задержало что-нибудь непредвиденное. Но после, выяснив, где мы, вы не смогли разнюхать, что я возглавляю Винкулу, иначе Гефор не посылал бы свою огненную тварь искать меня на улицах города. Затем вы каким-то образом нашли Доркас в «Утином Гнезде»…

— Мы сами там жили, — пояснила Агия. — Пришли в Тракс всего за пару дней до того, взялись искать тебя, а тут вы и объявились. Но даже узнав в девице из комнатушки на чердаке ту самую полоумную, подобранную тобой в Ботанических Садах, не смогли догадаться, что поселил ее туда ты: по словам этой старой курицы, хозяйки трактира, ее провожатый был одет как обычный горожанин. Не смогли, но решили, что она может знать, куда ты запропал, и что с Гефором разговорится охотнее. Кстати, на самом деле никакой он не Гефор. Его настоящее имя куда древнее, в наше время о таких и не слыхивали.

— Он рассказал Доркас об огненной твари, — сказал я, — а Доркас все рассказала мне. Я о ней

слышал и прежде, но Гефор в разговоре с Доркас называл ее саламандрой — то есть знал, что это за существо. Знал для него название. Услышав об этом от Доркас, я еще ничего не заподозрил, но позже вспомнил, что у Ионы нашлось название для черного существа, летевшего за нами вблизи от Обители Абсолюта. Существо это он называл нотулой и объяснил, что так его нарекли моряки с кораблей за то, что по ночам подобных ему выдают только тепловые волны. Нашедшееся у Гефора название для огненной твари тоже вполне могло быть придумано моряками, а еще означало, что он как-то связан с нею самой.

По губам Агии скользнула кривая улыбка.

— Стало быть, ты все знаешь, а я в твоих руках — если, конечно, тебе в такой тесноте удастся размахнуться своим огромным мечом.

— Ты и без него у меня в руках. А возле входа в рудник, если уж на то пошло, вовсе под сапогом побывала.

— Однако нож мой пока что при мне.

В этот момент в дом вошла мать мальчишки, и мы оба на время умолкли. Изумленно взглянув на нас с Агией, она, словно никакое удивление не могло одолеть ее скорби либо отвлечь от насущных дел, затворила дверь и заперла ее на

тяжелый засов.

— Вот так-то, — сказала Агия. — Услышал он, что я наверху, и заставил меня спуститься. И теперь жизни лишить собирается.

— И как я ему помешаю? — устало откликнулась хозяйка дома и обратилась ко мне: — Я спрятала ее, так как она сказала, что ты желаешь ей зла. Меня ты тоже убьешь?

— Нет. И ее убивать не стану, о чем ей прекрасно известно.

Лицо Агии исказилось в гримасе ярости — точно таким же образом мог бы исказиться лик какой-нибудь юной красавицы, вылепленный из разноцветного воска самим Фехином, оплывая и в то же время горя в языках пламени.

— Ты был так горд собой, убив Агила! Неужто я недостойна такой же смерти? Ведь мы с ним — одной плоти и крови!

Услышав, что Агия вооружена ножом, я не слишком поверил ей и даже не заметил, как он — один из тех самых кривых ножей, коими славится Тракс, — оказался в ее руке.

Воздух уже довольно давно был тяжел от назревавшей грозы, и в эту минуту среди горных пиков над нами раскатисто загремел гром. Когда же отголоски его раскатов почти утихли, неподалеку,

будто в ответ им, раздался вопль. Описать этот вопль мне не по силам: то был не вполне человеческий крик, но и не просто рев дикого зверя.

Усталость хозяйки дома, Касдо, исчезла, как не бывало, уступив место отчаяннейшей спешке. Схватив ближайший из тяжелых дощатых ставней, прислоненных к стене под каждым из узеньких окон, она подняла его, будто ставень весил не более сковороды, и с грохотом вставила в оконный проем. Снаружи взахлеб, яростно залаял пес, но лай его тут же умолк. Теперь воцарившуюся вокруг тишину нарушал лишь стук первых капель дождя.

— Ну вот, уже здесь! — вскричала Касдо. — Уже здесь! — Вдруг напустилась на сына: — Севериан, не путайся под ногами!

И тут сквозь одно из оставшихся открытыми окон снаружи донесся тоненький детский голосок:

– Папа! Ты мне не можешь помочь?

XVI. Альзабо

Взявшись помогать Касдо в возне со ставнями, я повернулся спиной к Агии, а стало быть, и к ее ножу. Эта оплошность едва не стоила мне жизни, так как Агия не преминула броситься на меня, едва я поднял ставень. Да, согласно известной поговорке, женщина и портной острие держат книзу, однако Агия, будто заправский убийца, ударила острием вверх, чтоб наверняка вспороть кишки и достать до сердца. В последний миг развернувшись, я принял удар на ставень, и клинок, вогнанный между досками, блеснул сталью у самого моего носа.

Необычайная сила удара Агию и подвела. Рванув ставень вбок, я отшвырнул его в угол вместе с ее ножом. И Агия, и Касдо стрелой метнулись к нему. Агию я, ухватив за плечо, оттащил назад, а Касдо с размаху вставила ставень в окно — вместе с ножом, рукоятью наружу, навстречу надвигающейся грозе.

— Дура, — спокойно, будто смирившись с поражением, буркнула Агия. — Где твоя голова? Сама же вручаешь оружие тому, кого боишься.

— Ножи ему без надобности, — пояснила Ка-

сдо.

В доме стало темно: мрак разгоняли лишь рыжеватые отсветы пламени в очаге. Я огляделся вокруг в поисках свечи или фонаря, но ничего подходящего не нашел. Как выяснилось позже, скудный запас источников света хозяева отнесли на чердак. Снаружи сверкнула молния, окаймившая вспышками кромки ставней и вычертившая прерывистую ярко-белую линию у порога, под дверью. Лишь спустя некоторое время я понял, что линии следовало оказаться не прерывистой, а сплошной.

— Снаружи есть кто-то, — сказал я. — Стоит на крыльце.

Касдо кивнула.

— Вовремя я окна успела закрыть. Так рано он еще не появлялся. Наверное, гроза его разбудила.

— Но, может быть, это твой муж?

Прежде чем она успела ответить, снаружи снова раздался голос — все тот же, детский, тоньше даже, чем у мальчишки:

– *Мама, открой! Впусти меня!*

Пугающую неестественность в этих простых словах почувствовал даже я, знать не знавший, кем они произнесены. Да, может, голос и вправду был детским, но никак не голосом обыкновенно-

го, человеческого ребенка.

– *Мама,* — настаивал он, — *пусти, тут дождь начинается!*

— Поднимемся лучше наверх, — сказала Кадо. — Если втащим лестницу за собой, нас ему не достать, даже если в дом проберется.

Я подошел к двери. Без вспышек молний ног существа, стоявшего на пороге, было не разглядеть, однако снаружи, сквозь стук дождя, явственно слышалось хриплое, медленное дыхание, а еще негромкий сухой скрежет, словно тварь, ждавшая там, в темноте, переминалась с ноги на ногу.

— Ваша работа? — спросил я Агию. — Еще одна Гефорова тварь?

Агия покачала головой, лихорадочно кося карими глазами то вправо, то влево:

— Нет. Они живут в этих горах сами по себе, и ты должен бы знать об этом куда лучше меня.

– *Мама?*

За этим последовало шарканье ног: похоже, тварь там, на крыльце, раздосадованная, отвернулась от двери. В одном из ставней зияла трещина, и я осторожно приник к ней глазом. Снаружи царила непроглядная тьма, и разглядеть мне не удалось ничего, однако из темноты донеслись мягкие, тяжелые шаги, точно такие же, какие мне

доводилось порой слышать дома, за решетками подвальных амбразур Медвежьей Башни.

— Третьего дня он уволок Северу, — сказала Касдо, поднимая на ноги старика, но тот, не желая расставаться с теплом очага, повиновался ей неохотно. — Я настрого запретила им с Севериано́м в лес бегать, так он сюда, на поляну, вышел, этак за стражу до сумерек. С тех пор возвращается каждый вечер. Пес следа не брал, и нынче с утра Бекан пошел искать его сам.

К этому времени я уже догадался, о каком звере речь, хотя своими глазами подобных ему ни разу не видел.

— Значит, это альзабо? — сказал я. — Зверь, из чьей железы приготовляют тот самый аналептик?

— Верно, альзабо, — подтвердила Касдо, — а вот про аналептики мне ничего не известно.

Агия расхохоталась:

— Зато Севериану известно, да еще как! Он же отведал премудрости этого зверя и теперь носит с собою — в себе — свою возлюбленную! Воображаю, как эти двое шепчутся по ночам — в поту, в разгаре любовной страсти!

Ловко нырнув под мой удар, она загородилась от меня столом.

— Разве ты, Севериан, не рад, не счастлив оттого, что среди зверей, привезенных на Урд взамен истребленных нашими предками, оказались альзабо? Не будь на свете альзабо, ты потерял бы свою драгоценную Теклу навеки! Расскажи, расскажи-ка Касдо, как альзабо тебя осчастливили!

— Искренне сожалею о гибели твоей дочери, — сказал я Касдо, — и готов, если будет на то воля свыше, защитить твой дом от чудовища.

Мой меч стоял у стены, и, дабы продемонстрировать, что слова у меня не расходятся с делом, я потянулся к нему. Потянулся… и как раз вовремя: в тот же миг за дверью раздался новый голос, мужской:

– *Отпирай, милая!*

Мы с Агией, точно сговорившись, бросились к Касдо, однако остановить ее не успели. Стоило ей отодвинуть засов, дверь распахнулась настежь.

Зверь, поджидавший снаружи, стоял на четырех лапах, но, невзирая на это, его могучие плечи оказались вровень с моей головой. Морду он опустил книзу, так что шерсть, гребнем торчавшая на загривке, возвышалась над острыми кончиками ушей. В отсветах пламени очага его клыки сверкали белизной, глаза горели красноватым огнем. Мне довелось смотреть в глаза самых

разных созданий, что явились к нам из-за края света. Как утверждают некоторые филогносты, они привлечены гибелью местных видов и подобны племенам энхоров, вооруженных ножами из камня и факелами, стекающимся в деревни, опустошенные войнами или эпидемиями, однако их глаза были всего-навсего глазами зверей. Огненный взгляд альзабо таил в себе нечто иное — не человеческий разум, но и не простодушие дикого зверя. Так, подумалось мне, мог бы смотреть дьявол, наконец-то восставший из бездны на какой-нибудь черной звезде… Но тут я вспомнил людей-обезьян: они ведь тоже казались сверхъестественными чудовищами, однако глаза их были глазами людей.

На миг показалось, что дверь еще можно успеть вновь затворить. В ужасе отшатнувшаяся, Касдо вцепилась в дверь, навалилась на нее плечом, однако альзабо, вроде бы двигавшийся неторопливо, даже с ленцой, оказался куда проворнее хозяйки дома. Край двери ударился о его ребра, будто о камень.

— Оставь открытой! — крикнул я Касдо. — Нужно больше света!

С этими словами я обнажил «Терминус Эст». Отразивший огонь очага, клинок меча тоже

казался языком жгучего пламени. Конечно, тут куда более кстати пришелся бы арбалет приспешников Агии, стрелы коего воспламеняются от трения о воздух, а при ударе взрываются, словно камни, брошенные в плавильную печь, однако «Терминус Эст» я чувствовал точно продолжение собственных рук, а арбалет мог бы дать альзабо возможность броситься на меня, пока я взвожу его заново, если первая стрела пройдет мимо.

Впрочем, длина клинка отнюдь не гарантировала мне безопасности. Притупленный, лишенный острия кончик не позволял проткнуть зверя насквозь, буде он прыгнет ко мне. В таком случае альзабо придется рубить в прыжке, а я, нисколько не сомневаясь в своей способности отделить его голову от могучей шеи на лету, понимал: промах означает гибель. Вдобавок для удара требовалось достаточно места, а в тесной комнате его хватало едва-едва, да еще нужен был свет, однако огонь в очаге угасал.

Между тем старик, мальчишка по имени Севериан и Касдо куда-то исчезли — возможно, вскарабкались на чердак, пока я не сводил глаз с альзабо, а может, по крайней мере, кто-то из них выскользнул в распахнутую дверь за его спиной. Со мной осталась одна только Агия, вжавшаяся

спиной в угол и выставившая перед собой окованный железом посох Касдо, словно моряк, в отчаянии обороняющий шлюпку от надвигающегося галеаса при помощи отпорного крюка. Я понимал, что, заговорив с Агией, привлеку к ней внимание зверя, однако, если альзабо хоть повернет к ней голову, мог без труда перерубить ему спинной хребет.

— Агия, мне нужен свет, — сказал я. — В темноте зверь меня одолеет. Помнится, как-то раз ты взялась отвлекать меня, чтоб твои люди смогли зайти ко мне за спину и убить. Сейчас я возьмусь отвлечь на себя зверя, если ты всего-навсего принесешь свечу.

Агия кивнула, подтверждая, что мысль поняла, и в тот же миг зверь двинулся ко мне. Нет, не прыгнул, как я ожидал, но лениво, однако проворно скользнул вправо, приблизившись ровно настолько, чтоб не попасть под удар. Охваченный недоумением, я вовсе не сразу сообразил, что, держась у стены, он не оставляет мне места для каких-либо атак, а если сумеет, еще немного продвинувшись вбок, занять позицию между мною и очагом, то оставит меня и без света.

Так между нами началась осторожная, напряженная игра, причем альзабо изо всех сил

старался воспользоваться к собственной выгоде и креслами, и столом, и стенами, а я — выиграть побольше места для удара мечом.

Наконец я прыгнул вперед и взмахнул мечом. Увернувшись, альзабо, как мне показалось, разминулся с клинком не более чем на ширину пальца, метнулся ко мне и отпрянул назад, едва успев уклониться от второго, обратного маха. Способные впиться в голову человека, как человек впивается зубами в бок яблока, челюсти зверя щелкнули у самого моего носа. Казалось, густая, едкая вонь из его пасти окутала меня с головы до ног.

С небес вновь ударила молния, да так близко, что после того, как гром стих, я услышал оглушительный треск и грохот, возвещающий о падении и гибели огромного дерева. Вспышка молнии, озарившая все вокруг парализующим светом, ослепила меня, сбила с толку. Взмахнув мечом навстречу нахлынувшей тьме, я почувствовал, как клинок, впившись в кость, пружинисто отскочил вбок, и, едва гром отгремел, нанес новый удар, но на сей раз лишь отшвырнул прочь одно из кресел, в щепки разбившееся о стену.

Вскоре в глазах прояснилось. Пока мы с альзабо кружили по комнате, стараясь перехитрить друг

друга, Агия тоже не сидела на месте. Должно быть, во время удара молнии она рванулась к лестнице и сейчас в спешке карабкалась на чердак, а Касдо, свесившись вниз, протягивала ей руку. Альзабо возвышался передо мной, с виду вроде бы целый и невредимый, однако вокруг его передних лап скопилась лужица темной крови, обильно каплющей неизвестно откуда. В отсветах пламени его клочковатая шерсть отливала красным, когти на лапах — куда длиннее, толще медвежьих — тоже сделались темно-красны и словно бы полупрозрачны. Взглянув на меня, зверь снова заговорил тем же голосом, каким окликал Касдо из-за дверей — отпирай, дескать, милая, — и голос его казался куда ужасней, чем речь внезапно заговорившего трупа.

– *Да*, — сказал он, — *я ранен. Но боль ничтожна, а стою я и двигаюсь не хуже прежнего. Тебе не по силам вечно не подпускать меня к семье*.

Казалось, устами зверя говорит сильный, прямодушный, не привыкший отступать перед трудностями человек.

Вынув из ладанки Коготь, я положил камень на стол, но засветился он лишь тусклой лазурной искоркой.

— Свет! — крикнул я Агии, однако света так и

не дождался. Судя по дробному стуку лестницы о доски чердачного пола, женщины втащили ее за собою наверх и на том успокоились.

– *Сам видишь, отступать тебе некуда,* — все тем же мужским голосом сказал зверь.

— Но и тебе к ним, наверх, хода нет. Допрыгнешь ли ты до люка, с рассеченной-то лапой?

Мужской голос резко сменился тоненьким, плаксивым писком маленькой девочки:

– *Не допрыгну, так влезу. По-твоему, мне не хватит ума придвинуть туда, к люку, стол? Мне, умеющей говорить?*

— То есть ты все-таки зверь и знаешь об этом?

Голос девочки снова сменился мужским:

– *Мы понимаем, что живем в теле зверя, как прежде жили в сожранных зверем оболочках из плоти.*

— И ты, Бекан, с легким сердцем позволишь ему сожрать жену с сыном?

– *Еще как! Сам его к этому подтолкну. И тогда все мы — я, Севера, Касдо и Севериан — снова будем вместе. Как только огонь угаснет, вначале к нам с Северой присоединишься ты, а следом за тобой и они.*

Я от души рассмеялся:

— Ты не забыл, что получил рану, когда я ни-

чего не видел?

Держа «Терминус Эст» наготове, я пересек комнату, поднял с пола доску, служившую спинкой разбитому креслу, и бросил ее в огонь. Над очагом взвилось облако искр.

— Думаю, дерево прекрасно выдержано, да еще чья-то заботливая рука натерла его пчелиным воском. Ярко будет гореть!

– *Ничего. Со временем тьма придет.* — В голосе зверя — Бекана — слышалось неисчерпаемое терпение. — *Тьма придет, и ты присоединишься к нам.*

— Нет. Когда кресло догорит и свет начнет гаснуть, я просто подойду ближе и покончу с тобой. А до тех пор подожду, пока ты не истечешь кровью.

Последовавшее за этим молчание казалось особенно жутким, оттого что во взгляде зверя не появилось ни намека на раздумья. Да, я понимал: подобно следам нейронного химизма Теклы, закрепленного в ядрах определенных клеток моих лобных долей при помощи секрета желез точно такого же существа, хозяин дома и его дочь обретаются в темных дебрях звериного мозга и верят, будто продолжают жить… но каким может быть этот призрак жизни, какие влечения и

грезы могут руководить им — о сем оставалось только гадать.

Наконец «Бекан» вновь подал голос:

– Стало быть, спустя стражу-другую я покончу с тобой или ты покончишь со мной. А может, в схватке погибнем мы оба. Если я сейчас отвернусь и уйду в ночь, под ливень, станешь ли ты выслеживать меня, когда Урд снова повернет лицо к свету? Или, может, останешься здесь, не пуская меня к родным, к жене с сыном?

— Нет, — отвечал я.

– И всей честью имеющейся поклясться готов? Вот на этом мече, хотя не можешь поднять его к солнцу?

Шагнув назад, я повернул «Терминус Эст» к себе — так, чтоб его затупленное острие указывало на сердце.

— Клянусь сим мечом, символом моего Искусства, моего ремесла, не выслеживать тебя назавтра, если ты не вернешься сюда нынче ночью, а с наступлением дня уйти из этого дома.

Зверь плавно, с быстротою змеи, развернулся к двери. Пожалуй, в тот миг я мог бы перерубить его мощный хребет, но в следующий миг он, канув в ночь, исчез без следа — если не брать в расчет распахнутой двери, разбитого кресла и лужи

крови (по-моему, гораздо темнее крови зверей нашего мира), мало-помалу впитывавшейся в дочиста выскобленные половицы.

Подойдя к двери, я запер ее на засов, спрятал Коготь на место, в висевшую на шее ладанку, а после, по наущению зверя, придвинул к люку в потолке стол, поднялся на него, подтянулся и без труда взобрался на чердак. Касдо со стариком и мальчишкой по имени Севериан (судя по его взгляду, воспоминания об этой ночи обещали остаться при нем лет этак на двадцать, не меньше) жались в дальнем углу, залитые дрожащим светом лампы, подвешенной к одному из стропил.

— Как видите, я жив, — сказал я им. — Вы слышали, о чем мы говорили внизу?

Касдо безмолвно кивнула.

— Посвети вы сверху, как я просил, мне не пришлось бы так поступать. Ну а теперь я вам, на мой взгляд, ничего не должен. И сам бы на вашем месте оставил этот дом с наступлением дня, отправившись вниз, в долины, но это уж как хотите.

— Мы очень уж испугались, — пробормотала Касдо.

— Я тоже. Где Агия?

К немалому моему удивлению, старик ткнул пальцем вбок. Взглянув туда, я обнаружил в толстой соломенной кровле прореху вполне достаточной для стройного тела Агии ширины.

В ту ночь я, предупредив Касдо, что убью любого, кто спустится вниз с чердака, уснул у горящего очага, а утром вышел наружу и обошел вокруг дома. Как и следовало ожидать, застрявший в дощатом ставне нож Агии исчез.

XVII. Меч ликтора

— Мы уходим, — сообщила Касдо. — Но прежде чем отправиться в путь, я приготовлю завтрак. Если не пожелаешь, с нами можешь не есть.

Ответив кивком, я подождал снаружи, пока она не вынесет мне деревянную миску с пустой овсянкой и деревянную ложку, отнес еду к роднику и позавтракал. Родник ограждала стена тростников, и я, покончив с кашей, не стал (возможно, в нарушение данной альзабо клятвы) покидать укрытия, а принялся наблюдать за домом.

Спустя какое-то время Касдо, старик и малыш Севериан вышли наружу. Мать семейства несла при себе увесистый узел и посох мужа, а старик с мальчуганом — по небольшому заплечному мешку. У ног их резвился пес, очевидно, с приходом альзабо заползший под дом (не стану винить его в трусости, однако замечу, что Трискель на его месте так бы не поступил). Остановившись за порогом, Касдо огляделась и, не сумев отыскать меня, оставила на крыльце какой-то узелок.

На моих глазах все трое двинулись прочь краем поля, вспаханного и засеянного всего около месяца тому назад. Теперь весь урожай с него

достанется птицам… Касдо с отцом шли не оглядываясь, однако мальчишка, Севериан, прежде чем перевалить гребень первой возвышенности, остановился и обернулся, чтобы взглянуть напоследок на родной дом — единственный дом, который знал в жизни. Сложенные из камня стены стояли незыблемо, как ни в чем не бывало, над печной трубой еще курился дымок очага, на котором готовили завтрак…

Должно быть, услышавший оклик матери, мальчуган поспешил за ней и вскоре тоже скрылся из виду. Тогда я покинул укрытие в тростниках и подошел к двери. В узелке на крыльце оказались два одеяла из мягкой шерсти гуанако и немного вяленого мяса, завернутого в чистую тряпицу. Мясо я спрятал в ташку, а одеяла свернул скаткой и перекинул через плечо.

Воздух после дождя был чист и свеж, а при мысли о том, что убожество каменной хижины и запахи дыма с едой вскоре останутся позади, на душе сделалось необычайно легко. Заглянув в дом, я окинул взглядом черную кляксу засохшей крови альзабо и обломки кресла. Стол Касдо сдвинула на прежнее место, а Коготь, так тускло мерцавший на нем, не оставил на столешнице ни следа.

Не обнаружив внутри ничего стоящего, я вышел за порог, затворил дверь и направился следом за семейством Касдо. Простить ее, оставившую меня без света во время схватки с альзабо, я, разумеется, не простил — осветить комнату она без труда могла бы, попросту опустив лампу вниз, сквозь проем люка, но и сверх меры винить Касдоза то, что та приняла сторону Агии, совсем одной среди суровых, неумолимых ликов гор в ледяных венцах, не мог; ну а старик и мальчишка, уж точно ничем передо мною не провинившиеся, были по крайней мере настолько же беззащитны, как и она.

Тропа оказалась столь мягкой, что я в буквальном смысле этого слова шел по их следу, отчетливо различая впереди небольшие отпечатки ног Касдо, а рядом — цепочку еще меньших следов мальчугана, на каждый ее шаг делавшего по два, и следы заметно косолапившего старика. Шагал я неспешно, чтоб не нагнать их, и, понимая, что путь мой с каждым шагом становится все опаснее, надеялся вовремя заметить солдат архонта, если встречный патруль остановит их для допроса. Выдать меня Касдо не сможет: любые правдивые сведения, которые она изложит димархиям, только собьют их с моего следа, а

если поблизости окажется все тот же альзабо, его я рассчитывал услышать либо почуять, прежде чем он нападет, — в конце концов, оставлять его дичь без защиты я клятв не давал, обещал лишь не выслеживать его и не оставаться в доме.

Должно быть, путь, которым мы шли, был обычной звериной тропой, расширенной Беканом: вскоре тропа исчезла. Окрестности казались вовсе не такими суровыми, как выше уровня леса. Южные склоны нередко покрывал ковер из крохотных папоротников пополам с мхом, а за вершины утесов цеплялись корнями сосны и кедры. Почти все время откуда-нибудь неподалеку слышался шум падающей воды. Текле в мой голове вспомнилось очень похожее место, куда она как-то раз ездила на пленэр в сопровождении учителя рисования и пары кряжистых, грубоватых телохранителей. У меня тут же возникло ощущение, будто я вот-вот набреду на мольберт, палитру и неопрятный этюдник с кистями и красками, позабытый возле какого-нибудь водопада, когда скрывшееся солнце прекратило играть в его брызгах.

Разумеется, ничего подобного мне в пути на глаза не попалось; около полудюжины страж я вовсе не видел вокруг каких-либо признаков

присутствия человека. К следам семейства Касдо прибавились отпечатки оленьих копыт, а дважды я замечал цепочки кургузых, округлых следов лап одного из крупных рыжих котов, охотящихся на оленей. Без сомнения, эти следы были оставлены на заре утра, когда дождь прошел.

Спустя еще какое-то время я увидел впереди вереницу следов, оставленных босыми ступнями значительно больше ступней старика. Правду сказать, каждый не уступал величиной отпечатку подошвы моего сапога, а шагал тот, кто оставил их, даже шире, чем я. След незнакомца пересекал следы семейства Касдо под углом, однако, судя по отпечатку, оставленному поверх отпечатка ступни мальчишки, проходил здесь после них, но до меня.

Ускорив шаг, я поспешил вперед.

Поначалу мне думалось, будто следы оставлены каким-нибудь автохтоном, хотя я в первый же миг удивился ширине его шага: как правило, эти горные дикари невелики ростом. Если то вправду был автохтон, встреча с ним Касдо и прочим ничем особенным не угрожала, хотя с него вполне сталось бы поживиться ее поклажей. Из слышанных мною рассказов об автохтонах окрестных гор явствовало, что они — великолепные охотники,

но отнюдь не воинственны и не кровожадны.

Вскоре путь мой снова пересекли отпечатки босых ног. К первому из незнакомцев присоединилось еще по крайней мере двое, если не трое.

Окажись это дезертиры из армии, дело могло обернуться совсем по-иному: именно они и их женщины составляли около четверти всех заключенных Винкулы, и многие угодили туда за самые зверские преступления. Вдобавок дезертиры наверняка должны быть неплохо вооружены… но и одеты-обуты, на мой взгляд, тоже — не босиком же пускаться в бега!

Впереди показался крутой подъем. На земле появились борозды, оставленные посохом Касдо, и сломанные ветки, за которые путники — и, вероятно, их преследователи — хватались, карабкаясь наверх. Тут мне пришло в голову, что старик, по всей видимости, уже изрядно устал, однако дочери, как ни удивительно, до сих пор удается вести его вперед. Возможно, ему, а то и всем троим, уже известно о погоне?

Приближаясь к гребню возвышенности, я услышал заливистый собачий лай, а затем (в тот момент это казалось едва ли не эхом минувшей ночи) — дикий вопль без слов, только вовсе не жуткий, наполовину человеческий крик альза-

бо. Такие крики я много раз слышал в прошлом — порой издали, лежа в койке по соседству с Рохом, порой же вблизи, относя пищу клиентам и подмастерьям, дежурившим в наших подземных темницах. Крик этот в точности, в каждой нотке, повторял крики одного из клиентов с третьего уровня, одного из тех, кто утратил дар осмысленной речи, отчего их — из практических соображений — более не выводили наверх, в пыточную.

Все это были зооантропы — те самые, которыми вздумалось нарядиться некоторым из приглашенных вместе со мною на ридотто к Абдиесу. Поднявшись на гребень, я разглядел их так же отчетливо, как и Касдо с отцом и сыном. Людьми их, конечно, не назовешь, но издали они вполне могли сойти за обнаженных людей, вдевятером, сутулясь, подпрыгивая на полусогнутых ногах, окружавших кольцом троих путников. Я снова ускорил шаг, но тут же увидел, как один из них взмахнул дубинкой, и старик упал наземь.

Тут я замешкался, и остановил меня вовсе не испуг Теклы, а мой собственный страх.

Возможно, с людьми-обезьянами в руднике я дрался отважно, однако в то время у меня не было иного выхода. Не дрогнул я и в схватке с альзабо,

но там тоже некуда было бежать, кроме как в темноту, где меня ждала верная гибель.

Сейчас выбор у меня был, и я подался назад.

Живущая в диких горах, не знать о зооантропах Касдо не могла, хотя, возможно, ни разу прежде с ними не сталкивалась. Заслонив собою мальчишку, вцепившегося в ее юбку, она взмахнула посохом, будто саблей. Казалось, ее невнятный, резкий, пронзительный крик, перекрывая вопли зооантропов, доносится откуда-то издали. Меня охватил ужас, знакомый всякому, кто видел подвергшуюся нападению женщину, однако вместе с ним (а может, таясь за ним) в голове промелькнула еще одна мысль: на сей раз ей, не пожелавшей драться вместе со мной, придется драться в одиночку.

Продлиться долго схватка, разумеется, не могла. Подобные твари либо пугаются и бегут сразу, либо их вовсе ничем не отпугнуть. Увидев, как один из зооантропов выхватил посох из рук Касдо, я обнажил «Терминус Эст» и побежал вниз, к ней. Тем временем один из обнаженных сбил ее с ног и швырнул наземь, готовясь (как мне подумалось) учинить над нею насилие.

И тут из-за деревьев по левую руку от меня стрелой вылетел зверь огромной величины. Мчался

он с такой быстротой, что поначалу я принял его за дестрие рыжей масти, неоседланного и без седока, и только увидев его клыки, услышав отчаянный визг одного из зооантропов, узнал в нем альзабо.

Уцелевшие зооантропы навалились на него гурьбой. Вздымавшиеся и опадавшие навершия их дубинок из железного дерева на миг приобрели гротескное сходство с головами кормящихся кур, клюющих рассыпанную для них по двору кукурузу. Затем один из зооантропов, отброшенный прочь, взлетел в воздух. Казалось, его обнаженное тело обернуто алым плащом.

К тому времени, как в схватку вступил и я, альзабо был повержен, а мне тут же сделалось не до него. «Терминус Эст» запел, описывая надо мной круг. За первым из обнаженных упал второй, а возле самого моего уха — так близко, что я смог расслышать звук рассекаемого воздуха — просвистел камень величиною с кулак. Попади он в цель, тут бы мне и конец.

Однако на этот раз со мною сражались не люди-обезьяны из заброшенного рудника, столь многочисленные, что одолеть их в конечном счете никому не по силам. Одного из зооантропов я, почувствовав, как подается, скрежещет по лез-

вию каждое рассекаемое ребро, разрубил от плеча до бедра, а еще одному с маху раскроил череп.

Наступившую после этого тишину нарушали лишь всхлипывания мальчишки. На горном лугу распростерлись семеро зооантропов; по-моему, с четверыми покончил «Терминус Эст», а с тремя другими — альзабо, так и не выпустивший из зубов мертвого тела Касдо (причем голову и плечи он, несмотря ни на что, успел сожрать). Неподалеку, точно смятая тряпичная кукла, лежал старик, некогда знавший Фехина. Пожалуй, сей знаменитый художник превратил бы его гибель в настоящее чудо, показав ее с точки зрения, которой никому другому не отыскать ни за что, а в проломленной голове воплотил бы все величие и всю тщету человеческой жизни… но, увы, Фехина рядом не оказалось. Подле старика распластался в траве пес с окровавленной мордой, а маленький Севериан…

Я огляделся в поисках мальчишки. К немалому моему ужасу, он, съежившись, жался к спине альзабо. Несомненно, тварь эта окликнула его отцовским голосом, и мальчуган послушно пошел на зов. Задние лапы зверя конвульсивно дрожали, глаза были закрыты. Стоило мне взять мальчишку за плечо, из пасти альзабо, словно

собравшегося лизнуть его руку, вывалился язык — куда шире и толще бычьего, затем плечи зверя содрогнулись с неистовством, заставившим меня невольно отпрянуть назад, а язык, так и не втянутый в пасть, безвольно обмяк, тряпкой упал на траву.

— Все кончено, малыш Севериан, — сказал я, оттащив мальчишку от зверя. — С тобой все в порядке?

Мальчишка кивнул и заплакал. Долгое время пришлось мне расхаживать из стороны в сторону, качая его на руках.

Какое-то время я размышлял, не воспользоваться ли Когтем, хотя в доме Касдо он изрядно меня подвел, причем уже не впервые. Однако пусть даже Коготь не подведет — как знать, каким окажется результат? Даровать новую жизнь зооантропам или альзабо мне ничуть не хотелось, а какой жизнью можно одарить обезглавленный труп Касдо? Что же до старика, он и так сидел у порога смерти, а теперь умер, и умер быстро. Скажет ли он мне спасибо, вернувшись назад только затем, чтобы вновь умереть через год-другой?

Камень сверкнул в луче света, но вспышка его оказалась обычным солнечным зайчиком, а вовсе

не светом Миротворца, противосияния Нового Солнца, и я убрал Коготь в ладанку. Мальчишка не сводил с меня круглых от изумления глаз.

«Терминус Эст» оказался в крови по самую гарду и даже более. Усевшись на ствол упавшего дерева, я вычистил его кусками гнилой древесины, заново наточил и смазал клинок и все это время раздумывал, что делать дальше. Зооантропы с альзабо нисколько меня не заботили, но оставлять тела Касдо и старика на поживу зверью казалось низостью.

Возражало против этого и благоразумие. Что, если сюда явится еще один альзабо и, набив брюхо мясом Касдо, отправится в погоню за мальчишкой? Однако выбор у меня был небогат. Тела можно было отнести назад, в дом, но от дома мы отдалились изрядно. Вдобавок нести разом оба тела я не мог, а оставленное без присмотра, любое из них наверняка не дождется моего возвращения в целости и сохранности. Привлеченные множеством пролитой крови, в небе над головой уже кружили стервятники-тераторнисы, не уступавшие шириной распростертых крыльев грота-рею каравеллы.

Некоторое время я пробовал землю вокруг в поисках места, где мог бы выкопать яму посохом

Касдо, но в итоге отнес оба тела к каменистому берегу ближайшего ручья и там соорудил над ними кайрн. Под кайрном им, согласно моим надеждам, предстояло пролежать почти год, до таяния снегов, пока, где-нибудь незадолго до пира в честь Дня святой Катарины, талые воды не унесут кости отца с дочерью прочь.

Малыш Севериан, поначалу лишь наблюдавший за мной, тоже принялся класть в незаконченный кайрн камни поменьше, а когда мы спустились к ручью, смыть пот и пыль, спросил:

— Ты — мой дядя, да?

— Я — твой отец, — отвечал я. — По крайней мере, пока. Оставшемуся без отца малышу вроде тебя непременно нужен новый отец, так что быть нам с тобой теперь вместе.

Мальчишка, кивнув, глубоко о чем-то задумался, а я неожиданно вспомнил о том, как всего-то две ночи назад видел во сне мир, где все люди, будучи потомками одной и той же пары колонистов, считали себя кровными братьями. Не знавший имен родной матери и отца, я вполне мог оказаться в родстве с этим мальчуганом, носившим то же самое, мое имя, и, если уж на то пошло, с любым из встречных. Привидевшийся во сне мир служил основой зданию всего моего

существа. Жаль, не могу описать, сколь серьезны были мы оба там, у смешливого горного ручейка, сколь торжественным, чистым выглядел маленький Севериан с мокрыми щеками, с искристыми капельками воды в густой бахроме ресниц, окаймлявших огромные круглые глаза…

XVIII. Два Севериана

Через силу, по самое горло напившись воды из ручья, я велел мальчишке сделать то же: в горах, дескать, много безводных мест и, может быть, снова напиться мы сможем лишь завтра утром. В ответ он спросил, не пойдем ли мы домой, но я, хоть до тех пор и планировал вернуться назад, к хижине, принадлежавшей Бекану с Касдо, сказал, что нет, так как прекрасно знал, каким ужасом обернется для него возвращение под знакомую крышу, к родительскому полю и огородику, только затем, чтоб оставить все это снова. В такие-то годы с него вполне сталось бы даже вообразить, будто отец с матерью, и сестренка, и дед каким-то непостижимым образом окажутся дома.

Однако продолжать спуск тоже было нельзя: мы и без того спустились изрядно ниже той высоты, где мне не угрожала опасность. Рука архонта достанет беглеца за сотню лиг от Тракса и даже дальше, тем более что Агия при первом же удобном случае наведет димархиев на мой след.

На северо-востоке тянулась к небу высочайшая из всех горных вершин, какие мне когда-либо доводилось видеть. И голову, и плечи ее укрывала

снежная мантия, спускавшаяся почти до самого пояса. Пожалуй, не только я, но и никто иной из ныне живущих не смог бы сказать, чей гордый лик взирает на запад, поверх голов других, не столь высоких гор, но обладатель его, несомненно, правил в самые ранние из величайших дней человечества, повелевая силами, коим и самый твердый гранит покоряется, как дерево — ножу резчика. Глядя на его образ, нетрудно было поверить, что даже самые черствые, огрубевшие сердцем димархии, изучившие дикие горы точно собственные пять пальцев, замрут перед ним в благоговении. К нему мы с Северианом и двинулись — вернее сказать, не столько к нему, сколько к высокогорному перевалу, соединявшему складки его мантии с горой, на которой Бекан когда-то выстроил дом. Поначалу склоны были не слишком круты, и мы куда чаще шли, чем карабкались наверх.

Маленький Север иан нередко держал меня за руку, даже когда не нуждался в помощи. Я в возрастах детей разбираюсь неважно, но, на мой взгляд, как раз в эти годы — другими словами, овладев речью настолько, чтобы вполне понимать услышанное и без запинки излагать собственные мысли, — наши ученики впервые

входят в класс мастера Палемона.

Добрую стражу, а то и больше, он не сказал ни слова, кроме того, о чем я уже упоминал, однако затем, во время спуска по ровному травянистому склону, окаймленному сосняком, очень похожему на место гибели матери, спросил:

— Севериан, а кто были эти люди?

О ком речь, я понял без уточнений.

— Они вовсе не люди, хотя когда-то были людьми и до сих пор с людьми схожи. Называются эти создания зооантропами — словом, означающим «звери, подобные человеку». Понимаешь?

Мальчишка серьезно кивнул и задал новый вопрос:

— А почему они голыми ходят?

— Потому что они больше не люди, как я уже говорил. Пес рождается псом, птица рождается птицей, а вот стать человеком — немалое достижение, о чем тебе еще придется крепко подумать. Впрочем, над этим ты, малыш Севериан, уже думаешь по меньшей мере три, а то и четыре года, хотя, возможно, сам того не замечаешь.

— А пес только ищет, чего бы сожрать, — заметил мальчишка.

— Именно. Но тут возникает вопрос, следует ли понуждать человека к подобным раздумьям, и

кое-какие особы давным-давно решили, что нет. Порой мы заставляем пса вести себя как человек — ходить на задних лапах, носить ошейник и тому подобное. А вот заставлять человека вести себя как человек мы не вправе, да и не по силам это никому. Скажи, хотелось ли тебе когда-нибудь взять да уснуть? Хотя и спать не хочется, и даже нисколько не устал?

Мальчишка кивнул.

— Это оттого, что тебе хотелось немного отдохнуть от груза человеческого, мальчишеского бытия. Бывает, я выпиваю слишком много вина, и причиной тому то же самое — желание на время перестать быть человеком. По той же причине некоторые вовсе лишают себя жизни. Тебе об этом известно?

— Или затевают такое, что до беды может довести, — откликнулся малыш Севериан.

Тон его намекал на подслушанные споры родителей: весьма вероятно, именно к таким людям относился и Бекан, иначе ему вряд ли пришло бы на ум тащить семью в столь отдаленные, столь опасные для человека места.

— Верно, — подтвердил я. — Порой это одно и то же. А люди определенного склада — и мужчины, и даже женщины — проникаются ненавистью к

бремени разума, но к смерти их не влечет. Глядя на животных, они проникаются желанием стать такими же, подчиняться только инстинктам и ни о чем не задумываться. Знаешь, малыш Севериан, что заставляет тебя думать?

— Голова, — без промедления ответил мальчишка, стиснув виски ладонями.

— Но у животных — даже у самых глупых, вроде раков, волов или клещей, — тоже есть головы. То, что заставляет тебя думать, есть лишь малая часть твоей головы, а находится она здесь, внутри, несколько выше глаз, — сказал я, коснувшись пальцем его лба. — Если тебе по какой-то причине понадобится избавиться от одной из рук, за этим можно обратиться к умельцам, обученным хирургическому ремеслу, — на свете таких существует немало. К примеру, если твоя рука повреждена так, что никогда не заживет, эти люди отделят ее от тела без особого вреда для всего остального.

Мальчишка кивнул в знак понимания.

— Прекрасно. Таким же манером те же самые люди могут вынуть из головы невеликую ее часть, заставляющую тебя думать, а вот поместить вынутое назад им, сам понимаешь, уже не по силам. А если кто-то и смог бы, оставшись

без этой части, ты просто не сумеешь о том попросить. Однако некоторые люди платят этим умельцам за то, чтобы эту часть вынули. Им хочется избавиться от способности думать навсегда: нередко они говорят, что хотят отвернуться от всего совершенного человечеством. После этого считать их людьми уже несправедливо, так как они превращаются в животных — в зверей, похожих на человека только с виду. Вот ты спросил, отчего они ходят голыми. Они просто не понимают, что такое одежда, а потому и не надевают ее, даже если очень замерзнут, хотя могут улечься на груду одежды или даже закутаться в нее.

— А ты тоже немного такой, как они? — спросил мальчишка, указав на мою обнаженную грудь.

Подобных мыслей мне никогда прежде в голову не приходило, и вопрос малыша Севериана застал меня врасплох.

— Так заведено в нашей гильдии, — пояснил я. — Из моей головы, если ты об этом, никто ничего не вынимал, и рубашки я прежде носил… Но — да, наверное, я вправду немного такой, как они, потому что никогда об этом не задумывался, даже если очень замерзну.

Судя по выражению лица мальчишки, его подозрения подтвердились.

— Поэтому ты и убегаешь из города?

— Нет, убегаю я не поэтому. Со мной, можно сказать, все наоборот. Возможно, эта часть моей головы выросла слишком большой. Однако насчет зооантропов ты прав: они в горах именно оттого. Становясь зверем, человек становится зверем опасным — из тех, которым не место в населенных местах, там, где фермы и много людей. Поэтому их гонят сюда, в горы. Кое-кого вывозят в эти места старые друзья, а некоторые, прежде чем навсегда отрешиться от человеческого разума, нанимают кого-нибудь. Конечно, немного думать они еще могут, как любые животные. Достаточно, чтоб прокормиться в глуши, хотя каждую зиму гибнут зооантропы во множестве. Достаточно, чтобы швыряться камнями, как обезьяны — орехами, и драться дубинками, и даже приносить добычу спутницам жизни, так как среди них, о чем я уже поминал, есть и особы женского пола. Однако их сыновья с дочерьми редко живут подолгу, и это, думаю, к лучшему: ведь рождаются-то они точно такими же, как ты и я, отягощенными бременем разума.

К концу разговора помянутое бремя изрядно отяжелело, и под его тяжестью я впервые в жизни поверил, что способность мыслить вправду

может казаться людям столь же великим проклятием, как мне — безупречная память.

Я в жизни не отличался особым чувством прекрасного, но в эти минуты необычайная красота неба и горных склонов расцвечивала мои раздумья так, что вскоре мне показалось, будто я вот-вот постигну нечто непостижимое. Явившийся мне после первого представления пьесы доктора Талоса (сути его появления я в то время не понял и не могу понять до сих пор, однако все крепче убеждаюсь, что мне оно отнюдь не почудилось), мастер Мальрубий завел разговор об основах правления, хотя вопросы правления и подчинения нимало меня не заботили. Теперь же меня осенило: ведь сама воля также подчинена если не разуму, то неким сущностям ниже оного либо выше. Вот только сказать наверняка, с какой стороны от разума находятся эти сущности, было непросто. Инстинкт, разумеется, ниже… но разве не может он также становиться превыше разума? Альзабо, бросившемуся на зооантропов, инстинкт велел защитить от соперников свою добычу; Бекана же, сделавшего то же самое, инстинкт, надо думать, подвиг на защиту жены и сына. Между тем деяние оба совершили одно и то же и, мало этого, в одном и том же теле. Неужто

высший и низший инстинкты шли за спиной разума рука об руку? А может, за всем нашим разумом кроется только один инстинкт и разум просто видит его под разным углом?

Но в самом ли деле инстинкт — нечто сродни «преданности персоне правителя», каковая, согласно намеку мастера Мальрубия, есть и нижайшая, «ранняя», и высшая среди основ правления? Ведь, ясное дело, не мог же инстинкт возникнуть из ниоткуда, по волшебству: вот, скажем, ястребы, парящие над нашими головами, вьют гнезда, без сомнения, инстинктивно, однако в прошлом непременно должны найтись времена, когда гнезд они еще не вили, и первый ястреб, свивший таковое, не мог унаследовать данный инстинкт от родителей, поскольку те им не обладали. Не мог подобный инстинкт выработаться и постепенно — дескать, вначале тысяча поколений ястребов приносила к месту гнездовья по одному прутику, и только после некий ястреб принес два — так как ни от одного, ни от двух прутиков гнездящимся ястребам нет ни малейшего проку. Возможно, высшая и в то же время низшая меж основ правления волей есть нечто, предшествовавшее инстинкту… а может, и нет…

Кружащие в вышине птицы выписывали на

фоне неба замысловатые письмена, но предназначались они вовсе не мне.

Приближаясь к седловине, соединявшей гору с другой, куда выше, о величии коей я уже рассказывал, мы словно бы пересекали лик самой Урд вдоль линии, тянущейся от полюса до экватора, а огромная впадина, по склону которой мы с Северианом ползли, словно два муравья, вполне могла показаться поверхностью сферы мира, вывернутой наизнанку. Впереди и позади нас тянулись вдаль и вверх обширные, сверкавшие на солнце снежные поля. Под ними, точно берега скованного льдами южного моря, простирались каменистые склоны. Еще ниже зеленели поросшие жесткой травою луга в крапинках диких горных цветов, и я, прекрасно помнивший те, над которыми проходил накануне, различил сквозь голубоватую дымку их полосу, украшавшую грудь горы впереди, словно зеленый аксельбант, — залитые ярким солнцем, сосны под нею казались угольно-черными.

Седловина, куда мы спускались, оказалась совсем не такой: обширное дно ее сплошь покрывали густые заросли горного леса. Поросшие глянцевитой листвой, деревья тянули чахлые кроны на три сотни кубитов ввысь, вслед уга-

савшему солнцу. Среди них, поддерживаемые живыми, возвышались их умершие братья в колышущихся на ветру погребальных пеленах из лиан. Вблизи от небольшого ручейка, у которого мы остановились на ночлег, растительность уже утрачивала горную деликатность, приобретая некоторое сходство с пышной зеленью низменностей. Здесь получивший возможность отвлечься от ходьбы и карабканья по кручам маленький Севериан ткнул пальцем в сторону седловины и спросил, пойдем ли мы туда, вниз.

— Завтра, — ответил я. — Скоро стемнеет, а сквозь эти джунгли лучше бы идти днем.

Услышав слово «джунгли», мальчишка вытаращил глаза:

— А там опасно?

— Сказать по правде, не знаю. Судя по тому, что я слышал в Траксе, москитов там куда меньше, чем в предгорьях, да и кровососущие летучие мыши нам, скорее всего, докучать не будут — кое-кого из моих друзей такие кусали; говорят, ощущения не из приятных. Однако там живут огромные обезьяны, и хищные кошки, и так далее…

— И волки?

— И волки, конечно же. Только волки водятся и здесь, наверху. И на высоте твоего дома, и даже

гораздо выше.

Помянув дом мальчишки, я тут же прикусил язык, но было поздно: изрядная доля не так давно вернувшейся к нему жизнерадостности исчезла, как не бывало. На время он глубоко о чем-то задумался, а после сказал:

— Когда эти люди…

— Зооантропы, — поправил я.

— Когда эти зооантропы пришли и напали на маму, ты прибежал к нам на помощь сразу же, как только смог?

— Да, — подтвердил я. — Сразу же, как только… смог.

В каком-то смысле это было правдой, однако на сердце заскребли кошки.

— Ладно, — сказал мальчишка, укладываясь на краю расстеленного мной одеяла, а я прикрыл его другим краем. — А звезды ярче становятся, верно? Всегда ярче становятся, когда солнце уйдет.

Улегшись рядом, я поднял взгляд к небу.

— На самом деле оно никуда не уходит. Урд просто отворачивает от него лик, вот мы и думаем, будто солнце ушло. Если ты от меня отвернешься, я тоже никуда не исчезну, хоть для тебя и стану не виден.

— Но если солнце на своем месте, отчего звезды

светятся ярче?

Судя по тону, малыш Севериан был страшно доволен собственной находчивостью в споре, и я, чувствуя не меньшее удовольствие, понял, отчего мастер Палемон так любил разговаривать со мной в его годы.

— Под ярким солнцем, — заговорил я, — пламя свечи становится почти невидимым, вот и звезды — на самом-то деле такие же солнца — словно бы тускнеют таким же образом. Согласно картинам, написанным в древние времена, когда наше солнце светило намного ярче, звезд было не разглядеть до самых сумерек. А в старинных легендах — у меня в ташке хранится книга, где многие из них пересказаны, — полным-полно волшебных созданий, медленно исчезающих и точно так же медленно появляющихся. Несомненно, все эти сказки наши предки слагали, глядя на звезды.

— Вон Гидра, — сказал малыш Севериан, ткнув пальцем в небо.

— Думаю, ты прав, — согласился я. — А другие созвездия знаешь?

Мальчишка отыскал в небе Крест и Великого Тельца, а я показал ему Амфисбену и еще с полдюжины фигур.

— А вон там, чуть выше Единорога, — Волк. Есть еще и Малый Волк, но что-то мне его не найти.

Волчонка мы нашли вместе, у самого горизонта.

— Совсем как мы с тобой, правда? Большой Волк и Малый Волк. А мы с тобой — два Севериана, большой и маленький.

С этим я согласился, и мальчишка еще долго разглядывал звезды, жуя полученный от меня кусок вяленого мяса.

— А где та книга со сказками? — наконец спросил он.

Я показал ему книгу.

— У нас тоже книга была. Мама ее нам с Северой читала.

— Севера была тебе сестренкой, верно?

В ответ он кивнул.

— Мы были близнецы. Двойняшки. Большой Севериан, а у тебя сестры были?

— Не знаю. Вся моя семья погибла. Погибла, когда я был совсем маленьким, куда младше тебя. Тебе какие сказки больше по нраву?

Мальчишка попросил позволения посмотреть книгу, а получив ее, перевернул несколько страниц и отдал мне.

— Совсем не такая, как наша.

— Я так и полагал.

— Погляди, нет ли там сказки о мальчике, его лучшем друге и брате-близнеце. Там еще волки должны быть.

Я принялся быстро листать страницы, скользя взглядом по строчкам наперегонки с угасающим светом.

XIX. Сказка о мальчике по прозванию Лягушонок
Часть первая. Раннее Лето и ее сын

Некогда, в давние-давние времена, на вершине горы вдали от берегов Урд жила да была красавица по имени Раннее Лето. Была она королевой своей страны, но король ее был человеком суровым, немилосердным, а оттого, что Раннее Лето ревновала его, ревновал королеву тоже и казнил смертью всякого, кого ни примет за ее возлюбленного.

Однажды гуляла Раннее Лето в саду и увидала прекраснейший из цветков совершенно незнакомой ей разновидности. Был он алее и пах куда слаще любой розы на свете, однако на прочном, гладком, точно слоновая кость, стебле цветка не нашлось ни единой колючки. Сорвав цветок, королева унесла его в укромное место, улеглась на траву полюбоваться им, и мало-помалу цветок показался ей совсем не цветком, а юношей, именно таким, какого она и желала — стройным, сильным, нежным, как поцелуй. Некие соки цветка проникли в чрево ее, и сделалась королева

непраздна, однако королю сказала, что дитя зачала от него, и супруг ей поверил, поскольку стража приглядывала за королевой и день и ночь.

В положенный срок родился у нее мальчик, согласно желанию матери нареченный Вешним Ветром. Ко дню его появления на свет король собрал во дворце всех изучающих звезды — не только ученых жителей вершины горы, но и величайших волхвов Урд, — дабы те сообща составили для него гороскоп. Долго корпели они над картами, девять раз собирались на тайный, закрытый для посторонних конклав и, наконец, объявили, что в битве Вешний Ветер будет неодолим, и ни одно рожденное от него дитя не умрет, пока не вырастет взрослым, и король остался сими пророчествами весьма доволен.

Шло время, Вешний Ветер рос, и мать его с затаенной радостью отмечала, что более всего на свете сыну нравится растить цветы да фрукты. Любая былинка в его руках цвела пышным цветом, а лучшим на свете мечам он неизменно предпочитал прививочный нож. Однако, когда он вошел в силу, в стране их началась война, и юный Вешний Ветер взялся за копье и щит. Нравом он был тих, во всем повиновался королю (коего почитал отцом, а тот в своем отцовстве тоже нимало

не сомневался), и посему многим подумалось, будто пророчество окажется лживым. Не тут-то было! В самом разгаре битвы он сохранял хладнокровие, рисковал с умом, осторожничал без боязни; ни одному генералу не приходило в голову столько стратегических замыслов и военных хитростей, сколько ему, и ни один офицер не нес службы усерднее. Прекрасно вымуштрованные солдаты, ведомые им на врагов короля, казались людьми из бронзы, движимыми внутренним пламенем, а верны ему были так, что последовали бы за ним даже в Мир Теней — в земли, лежащие дальше всех прочих от солнца. Вскоре начали люди говорить: Вешний Ветер-де рушит башни, Вешний Ветер опрокидывает корабли, — хотя Раннее Лето подобного вовсе не ожидала. И так уж вышло, что по делам военным Вешнему Ветру приходилось частенько наведываться на Урд, где познакомился он с двумя братьями, королями. У старшего имелось около полудюжины сыновей, у младшего же — единственная дочь, девочка по имени Птица Лесная. Когда девочка подросла и вошла в пору зрелости, отец ее был убит, а дядюшка, дабы она никогда не родила сыновей, наследников отцовского трона, вписал ее имя в реестр жриц-девственниц. Поступок сей

вверг Вешнего Ветра в крайнее недовольство, так как принцесса была красавицей, а отец ее — его добрым другом. И вот однажды, отправившись на Урд в одиночку, увидел он там Птицу Лесную, спящую у ручья, и разбудил ее поцелуями.

Совокупившись, зачали они двоих сыновей, а прочие жрицы ордена помогли Птице Лесной скрыть от посторонних глаз рост близнецов в ее чреве от дядюшки, нового короля, однако рожденных младенцев спрятать уже не могли. Не успела Птица Лесная взглянуть на них, как жрицы уложили братьев в лукошко для веяния зерна, устланное одеялами в узорах из перьев, отнесли к тому самому ручью, где нежданно встретил ее Вешний Ветер, и пустили лукошко в воду, вниз по течению.

Часть вторая. Как Лягушонок нашел новую мать

Далеко поплыло лукошко то — и пресной водой, и соленой. Другие младенцы погибли бы в пути, но сыновья Вешнего Ветра не могли умереть, так как еще не выросли взрослыми. Морские чудища в броне панцирей плескались вокруг лукошка, огромные обезьяны швыряли в него палками

да орехами, но лукошко как ни в чем не бывало плыло себе вперед, пока, наконец, не приблизилось к берегу там, где две бедных сестры стирали белье. Увидев его, добрые женщины закричали, а когда на крик их никто не откликнулся, заткнули подолы юбок за пояс, вошли в реку и вытащили лукошко на берег.

Нарекли мальчиков, принесенных водой, Рыбкой и Лягушонком, а когда сестры показали обоих мужьям и всем сделалось очевидно, что оба они — малыши отменной силы и красоты, каждая из сестер взяла одного себе. Сестра, выбравшая Рыбку, была женой пастуха, а муж сестры, выбравшей Лягушонка, рубил лес на продажу.

Сестра та взялась заботиться о Лягушонке как о родном и кормить его собственной грудью: волею случая она недавно потеряла новорожденное дитя. Когда муж ее отправлялся рубить дрова в дикой чащобе, она несла малыша за спиной, привязанного платком; оттого-то сказители, ткачи преданий, и называют ее сильнейшей женщиной на свете, ибо она несла на спине — ни много ни мало — империю.

Так миновал год. К концу его Лягушонок выучился твердо стоять на ногах и делать по паре шагов. Однажды вечером дровосек с женой си-

дели у костерка на поляне среди дремучего леса, и, пока жена дровосека готовила ужин, нагой Лягушонок подошел к костерку и остановился погреться возле огня. Тогда лесоруб, кряжистый, добродушный силач, спросил его:

— Нравится?

А Лягушонок, хотя никогда прежде не говорил, кивнул и ответил:

— Красный Цветок.

Говорят, в тот самый миг Раннее Лето встрепенулась под одеялом на вершине горы, за пределами берегов Урд.

Дровосек с женой окаменели от изумления, но времени, чтоб обсудить друг с другом случившееся, либо вытянуть из Лягушонка еще что-нибудь, либо хоть вообразить, как да что расскажут после, при встрече, пастуху с женой, у них не оказалось. Из чащи невдалеке от поляны донесся ужасающий клич — те, кто слышал его, утверждают, будто ничего более устрашающего не услышать на всей Урд. Названия у него нет, так как из слышавших этот клич в живых остались считаные единицы, однако похож он отчасти на гудение пчел, отчасти на мяуканье кошки величиною с корову, отчасти же — на горловой гул, с коего начинают обучение чревовещанию, исходящий

словно бы разом отовсюду. То была песнь смилодона, подкравшегося вплотную к добыче, песнь, даже мастодонтов повергающая в такой ужас, что эти громады нередко пускаются бежать не в ту сторону, и враг наносит им удар со спины.

Несомненно, Вседержителю известны все тайны на свете. Вся наша вселенная есть лишь невероятно длинное слово, изреченное им, и немногое из происходящего в мире происходит не по слову сему. Волею Вседержителя невдалеке от костра воздвигся и холмик, накрывший гробницу, построенную в дни седой древности, и хотя бедный дровосек с женой о том даже не подозревали, именно там устроила себе дом пара волков. Дом у них вышел на славу: низкая кровля, толстые стены, галереи, освещенные зелеными лампами, свисающими с потолка среди разрушенных памятников и разбитых урн, — одним словом, все, что только волкам по сердцу. Там и сидел Отец Волк, обгладывая бедренную кость корифодона, а Мать Волчица, жена его, прижимала к груди волчат. Услышав невдалеке пение смилодона, прокляли они его на собственном, Сером Наречии, как могут проклясть кого-либо лишь волки, ибо никто из чтущих закон зверей не станет охотиться возле дома другого охотника,

а волки прекрасно ладят с луной.

— Что же за добычу такую Мясник, безмозглый убийца бегемотов, — заговорила Мать Волчица, покончив с проклятием, — мог отыскать здесь, в то время как ты, о муж мой, чующий даже ящериц, резвящихся на камнях гор далеко за пределами Урд, довольствуешься сухой костью?

— Я не питаюсь падалью, — коротко отвечал Отец Волк. — И не ищу червей в траве поутру, и не караулю лягушек на мелководье.

— Пожалуй, ради них и Мясник песни бы не завел, — рассудила его жена.

Тогда поднял Отец Волк голову, потянул носом воздух:

— Он охотится на сына Мешии с дочерью Мешианы. Сама знаешь, такое мясо на пользу никому не пойдет.

И Мать Волчица согласно кивнула, ибо и впрямь знала: из всех живых тварей лишь сыновья Мешии в отместку за убийство одного из своих истребляют всю стаю. Так повелось, потому что Вседержитель даровал им Урд, а они отвергли его щедрый дар. Завершив песнь, Мясник взревел так, что с деревьев посыпались листья, а затем завизжал, так как проклятия волков обладают особой силой, пока в небе светит луна.

— И что за беда с ним стряслась? — спросила Мать Волчица, вылизывая мордочку одной из дочерей.

Отец Волк вновь потянул носом воздух:

— Паленая шерсть! Горелое мясо! Он прыгнул прямиком в их костер!

Тут он и жена его рассмеялись — по-волчьи, беззвучно, обнажив все клыки до единого, а уши их поднялись торчком, точно шатры в пустыне: оба слушали, как Мясник ломится сквозь подлесок в поисках жертвы.

Дверь в волчий дом оставалась открытой, так как, когда хоть один из взрослых волков дома, им нет дела, кто к ним войдет, а выбраться после наружу из вошедших удается немногим. Из-за порога струился внутрь лунный луч (луна в волчьем доме — испокон веку желанная гостья), но вдруг в доме стало темно. В дверях остановился малыш, быть может, немного напуганный темнотой, но чуявший запах теплого молока. Отец Волк угрожающе заворчал, но Мать Волчица ласково, по-матерински окликнула мальчика:

— Входи, входи, маленький сын Мешии! Здесь и тепло, и чисто. Здесь найдется для тебя и молоко, и ясноглазые, быстроногие, лучшие во всем мире товарищи для игр.

Услышав это, мальчик переступил порог, и Мать Волчица, отодвинув в сторонку досыта насосавшихся молока волчат, прижала его к груди.

— Что проку нам в этаком создании? — удивился Отец Волк.

Мать Волчица от души рассмеялась:

— Обсасываешь кость добычи прошлого месяца и еще спрашиваешь? Разве не помнишь, как рядом бушевала война, как воинства принца Вешнего Ветра прочесывали леса? В то время ни один из сынов Мешии не охотился на нас: все они были заняты охотой друг на друга. А после их битв из дому вышли мы — ты, я, и весь Волчий Сенат, и даже Мясник, и Тот, Кто Смеется, и Черная Смерть — и долго бродили среди мертвых да умирающих, выбирая, что пожелаем.

— Твоя правда, — согласился Отец Волк, — принц Вешний Ветер сделал нам много добра. Однако этот волчонок Мешии вовсе не он.

Но Мать Волчица лишь улыбнулась и ответила так:

— Я чую дым битвы на его коже и в шерстке его головы. — (То был дым Красного Цветка.) — К тому времени, как из врат его стены выйдет маршем первая колонна, мы с тобой станем прахом, но эта первая породит еще тысячу, и наши дети,

и их дети, и дети их детей не будут знать голода.

На это Отец Волк согласно кивнул, так как знал, что Мать Волчица куда мудрее него: если он чуял все, лежащее за пределами берегов Урд, то она ясно видела, чему суждено сбыться на будущий год, после больших дождей.

— Назову его Лягушонком, — сказала Мать Волчица, — ведь Мясник в самом деле караулит лягушек на мелководье, как ты и сказал, о муж мой.

Она полагала, будто сказала так, чтобы польстить Отцу Волку, столь охотно уступившему ее желаниям, но нет, все дело было в крови народа с вершины горы, текущей в жилах мальчишки: имена тех, в ком течет эта кровь, недолго остаются тайной.

Снаружи раздался дикий, протяжный хохот и визг Того, Кто Смеется.

— Он там, господин! Там, там, там! Вот он, след, вот, вот, вот! Сюда ведет, к двери!

— Вот видишь, — заметил Отец Волк, — что выходит, когда поминаешь зло? Назвать — значит призвать. Таков закон.

С этим он, сняв со стены меч, проверил пальцем остроту лезвия. Дверь снова заслонила тень. Проем двери был узок, ибо широкие двери ведут

только в храмы да в дома глупцов, а волки были вовсе не глупы. Лягушонок закрыл собой большую часть проема, а Мясник загородил его весь, развернулся боком, чтобы войти, пригнул книзу огромную голову. Из-за толщины стен дверь казалась туннелем.

— Что ты здесь ищешь? — спросил Отец Волк, лизнув боковину клинка.

— Свое и только свое, — отвечал Мясник.

Смилодоны бьются парой кривых ножей, а этот был куда крупней Отца Волка, однако драться с ним в такой тесноте ничуть не хотел.

— Твоим оно не было никогда, — сказала Мать Волчица, опустив Лягушонка на пол и подступив к Мяснику так близко, что он мог бы ударить ее, если осмелится. Глаза Матери Волчицы сверкнули огнем: — Охотился ты не по закону, в запретном месте, на запретную дичь. Напившийся моего молока, он — волк, отныне и навсегда посвященный луне.

— Случалось мне видеть мертвых волков, — заметил Мясник.

— О да, и пожирать их трупы, хотя такой гнилью, осмелюсь предположить, погнушались бы даже мухи. Может, и мой труп сожрешь, если меня погубит упавшее дерево.

— Ты говоришь, он — волк? Тогда его полагается показать Сенату.

Мясник облизнулся, однако язык его оказался сух. Возможно, где-нибудь на просторе он и дал бы Отцу Волку бой, но затевать драку с обоими не осмеливался, да вдобавок прекрасно знал: стоит протиснуться в дверь, волки подхватят Лягушонка и унесут вниз, под землю, а там, в гробнице, в лабиринте из тесаных камней, Мать Волчица живо зайдет ему за спину.

— И какое же отношение имеешь ты к Сенату Волков? — хмыкнула Мать Волчица.

— Да уж не меньшее, чем он, — ответил Мясник и двинулся на поиски более легкой добычи.

Часть третья. Золото Черной Смерти

Волчий Сенат собирался каждое полнолуние. Являлись на него все, кто мог, так как меж волками считалось, что не явившийся замышляет измену — к примеру, намерен переметнуться к сынам Мешии и стеречь их скот в обмен на объедки с кухни. Всякого волка, пропустившего два Сената кряду, по возвращении ждал суд и смерть от рук Матерей Волчиц, если Сенат признает его виновным.

Волчатам тоже полагалось предстать перед Сенатом, дабы любой взрослый волк, кто пожелает, мог осмотреть малышей и удостовериться, что их отец вправду из настоящих волков. (Порой волчица назло супругу ложится с псом, а сыновья псов с виду очень похожи на волчат, однако на их теле хоть где-нибудь да найдется белое пятнышко, ибо белый — цвет Мешии, запомнившего чистое сияние Вседержителя, и сыновья его, точно клеймо, оставляют пятнышки сего цвета на всем, к чему ни прикоснутся.)

Посему в полнолуние предстала перед Волчьим Сенатом и Мать Волчица. Волчата играли подле нее, а Лягушонок, в самом деле похожий на лягушонка, когда падавший внутрь сквозь окно лунный луч окрашивал его кожу зеленым, стоял рядышком, уцепившись за мех ее юбки. Если сидевший выше всех, на почетном месте, Президент Стаи и удивился, увидев его, сына Мешии, представшего перед Сенатом, то не повел даже ухом, а лишь взглянул на Лягушонка и запел:

Смотрите, волки, вот пять,
Что на суд привела к нам мать!
Смотрите на них построже! АУ-У-У!
Все ли волчата гожи? АУ-У-У!

Когда волчата предстают перед Сенатом, родители не вправе заступаться за детей, если кто в них усомнится, однако в иное время любого, посмевшего покуситься на них, сочтут убийцей.

– Все ли волчата гожи?! АУ-У-У!!!

Стоило отзвукам волчьего пения, отразившись от стен, достигнуть долины, сыновья Мешии принялись запирать, загораживать двери хижин, а дочери Мешианы все как одна прижали к груди собственных чад.

И тут вперед вышел Мясник, дожидавшийся своего часа за спиною последнего волка.

— Чего же вы мешкаете? — заговорил он. — Я умом не блещу, ибо слишком силен, чтоб быть умным, как всем вам прекрасно известно, но и то вижу: вот четверо волчат, а пятый вовсе не волк. Пятый — моя добыча.

— По какому такому праву он говорит здесь? — спросил Отец Волк. — Уж он-то точно не волчьего рода.

— Свидетельствовать перед Сенатом может всякий, если волк его спросит! — откликнулась разом дюжина голосов. — Говори, Мясник!

Тогда Мать Волчица, попробовав, легко ли выскальзывает из ножен меч, приготовилась к последнему бою, если дело дойдет до схватки.

Сверкнувшие пламенем на мрачном лице, глаза ее казались глазами демона, ибо ангелы зачастую и есть всего-навсего демоны, заступающие врагу путь к нам.

— Ты говоришь, я не волк, — продолжал Мясник, — и говоришь верно. Как пахнет, как выглядит волк, как звучит волчий голос, известно всякому. Эта волчица признала волчонком, своим детенышем, сына Мешии, но все мы знаем: не каждый, чья мать — волчица, есть волк!

— Волк — тот, чей отец и мать волки! — крикнул Отец Волк. — Признаю этого детеныша сыном!

Вокруг рассмеялись, но когда общий смех стих, кое-кто продолжал хохотать взахлеб. Странным визгливым хохотом заливался Тот, Кто Смеется, явившийся, дабы помочь Мяснику советом перед лицом Сената Волков.

— Многие так говорили, хо-хо-хо! — выкрикнул он. — Многие, да только щенки их пошли на корм стае!

— А убивали их из-за белой шерсти, — добавил Мясник. — А у этого щенка и ее нет, только кожа, что должна быть под мехом. Как можно оставить это создание в живых? Отдайте его мне!

— В его пользу должны сказать слово двое, но не отец и не мать. Таков закон, — объявил Пре-

зидент. — Кто скажет слово за этого детеныша? Может ли сын Мешии быть также волком? Найдется ли у него двое заступников, кроме отца с матерью?

Тут поднялся с места Нагой, считавшийся сенатором, как наставник юных волчат.

— Учить сыновей Мешии мне еще не доводилось, — сказал он. — Обучая его, я могу научиться чему-нибудь новому. Я за детеныша.

— Нужен еще кто-нибудь, — сказал Президент. — Нужен второй заступник.

Но все безмолвствовали. Тогда из дальнего уголка зала вперед вышел Черная Смерть. Черной Смерти боялись все без исключения, так как, пусть его плащ и мягче шерстки новорожденного волчонка, глаза его горят в ночи жаркими углями.

— Двое не принадлежащих к волчьему роду здесь уже говорили, — сказал он. — Могу вставить слово и я? У меня есть золото.

С этим Черная Смерть поднял над головой увесистый кошель.

— Говори! Говори! — откликнулся хор из ста голосов.

— Закон гласит: если в Сенате начинается спор из-за нового детеныша, жизнь этого детеныша

можно выкупить, — напомнил Черная Смерть, высыпав золото в горсть.

Так за горсть золота и была куплена — ни много ни мало — империя.

Часть четвертая. Пашня Рыбки

Если рассказывать здесь обо всех приключениях Лягушонка — о том, как жил он среди волков, как учился охотиться и драться, повесть наша займет целое множество книг. Однако те, в ком течет кровь жителей горной вершины за пределами Урд, рано ли, поздно чувствуют ее зов, и в свое время Лягушонок, явившись в зал Сената Волков с огнем, сказал:

— Вот он, Красный Цветок! Его именем правлю отныне я.

Никто не дерзнул воспротивиться, и, возглавив волков, Лягушонок объявил их подданными своего королевства, а вскоре к волкам присоединились и люди. Еще мальчишка, он неизменно превосходил ростом всех остальных, ибо в жилах его струилась кровь Раннего Лета.

Однажды ночью, в то время, когда распускаются дикие розы, она явилась Лягушонку во сне и рассказала о его матери, Птице Лесной, и о ее

отце с дядюшкой, а главное, о его брате. Разыскав брата, сделавшегося пастухом, Лягушонок вместе с волками, и с Черной Смертью, и с множеством людей отправился к королю — требовать причитающееся обоим наследство. Король же был стар, сыновья его умерли, не оставив после себя сыновей, и посему он беспрекословно уступил братьям трон, а братья разделили королевство по справедливости: Рыбка взял себе стольный город и угодья, а поросшие лесами холмы отошли Лягушонку.

Однако число его подданных неуклонно росло. Похищая женщин иных народов, они растили детей, и когда не нужные более волки воротились в лесную глушь, Лягушонок рассудил, что его подданным для житья нужен город, обнесенный стенами, дабы держать оборону во время войны. Отправился он к стадам Рыбки, выбрал средь них белой масти корову с белой масти быком, запряг их в плуг и пропахал в земле борозду, отметив ею, где следует возвести стену. Когда Рыбка пришел просить вернуть ему скот, то застал приготовления к строительству. Когда же подданные Лягушонка показали ему борозду — вот-де их будущая стена, — он, рассмеявшись, перепрыгнул ее, и люди, прекрасно знавшие, что

малое, будучи осмеянным, не вырастет большим никогда, предали его смерти. Взрослым он к тому времени уже вырос, так что пророчество звездочетов, созванных к колыбели Вешнего Ветра, исполнилось в точности.

Увидев убитого Рыбку, Лягушонок похоронил его в борозде, дабы земля та верней сохраняла плодородие. Так научил его Нагой, прозывавшийся еще Дикарем, или же Скванто.

XX. Колдовской круг

С первыми лучами рассвета мы вошли в горные джунгли, словно в огромный дом. За спиной на траве, на кустах, на камне играло солнце, но, миновав завесу лиан, спутанных так, что проход пришлось прорубать мечом, мы обнаружили впереди лишь сумрак да громады толстых стволов. Ни комариного звона, ни пения птиц, ни дуновения ветра… Поначалу голая земля под ногами была почти столь же камениста, как на склонах гор, но стоило нам пройти около лиги, и путь сделался гораздо ровнее, а вскоре после этого привел нас к лесенке из десятка ступеней, несомненно, вырубленных в твердой земле лопатой.

— Гляди! — ахнул мальчишка, указывая на нечто красное, странной формы, лежащее посреди верхней ступеньки.

Я остановился и опустил взгляд. На ступеньке покоилась петушиная голова: в глаза вогнаны иглы из какого-то темного металла, в клюве зажата полоска сброшенной змеей кожи.

Глаза мальчишки сделались круглыми, словно блюдца.

— Что это?

— Думаю, амулет.

— А кто его тут оставил? Ведьма? Для чего он?

Порывшись в памяти, я вспомнил то немногое, что знал о сем лжеискусстве. Маленькой Текла была предоставлена попечению няньки, вязавшей и распускавшей узлы, дабы ускорить роды, и утверждавшей, будто видела лик будущего мужа Теклы (уж не мой ли?) в полночь, отраженным в блюде из-под свадебного торта.

— Петух, — объяснил я мальчишке, — считается провозвестником дня. С магической точки зрения его крик поутру, можно сказать, призывает солнце. Этот же ослеплен — вероятно, затем, чтоб не заметил, когда настанет рассвет. Змея, сбрасывающая кожу, означает очищение либо новую юность. А ослепленный петух удерживает старую кожу.

— Но для чего это все? — снова спросил мальчишка.

Я сказал, что не знаю, однако в душе нисколько не сомневался: амулет должен предотвратить появление Нового Солнца, — и видеть это было довольно горько. Выходит, обновление, которого я с таким нетерпением ждал в детстве, однако всерьез в него, пожалуй, не верил, не всем по нраву? Выходит, есть на свете и те, кто хочет ему

помешать? Вдобавок Коготь… Коготь при мне, а враги Нового Солнца наверняка уничтожат его, попади он им в руки!

Не успели мы пройти еще хоть сотню шагов, на ветвях деревьев появились полосы красной ткани. Одни были чисты, другие покрыты черными непонятными письменами либо — что показалось мне куда более вероятным — символами и иероглифами вроде тех, с помощью коих некоторые неучи, притворяющиеся обладателями обширнейших знаний, подражают письму астрономов.

— Придется повернуть назад, — сказал я. — Или идти в обход.

Едва я закончил фразу, за спиной раздался шорох. Поначалу я всерьез решил, будто на тропу выступили демоны — с огромными глазищами, сплошь в черных, белых, алых полосах, но тут же понял, что это всего лишь люди с разрисованными телами. Ладони их венчали стальные когти, и незнакомцы демонстративно, напоказ мне, подняли их кверху. В ответ я обнажил «Терминус Эст».

— Нет, мы тебе не препятствуем, — заверил один из них. — Ступай. Ступай своей дорогой, если угодно.

Казалось, под его раскраской прячется бледная кожа и светлые волосы рожденного в южных краях.

— Весьма благоразумно с вашей стороны. Мой клинок много длиннее, и я покончу с вами обоими, не получив ни царапины.

— Ну, так ступай, — повторил блондин. — Если согласен оставить ребенка нам.

Услышав это, я огляделся в поисках маленького Севериана. Увы, мальчишка каким-то непостижимым образом исчез, будто провалившись сквозь землю.

— Но если хочешь, чтоб его вернули тебе, отдай мне меч, и идем с нами.

С этим раскрашенный, не выказывая ни малейшего страха, подошел ближе и протянул ко мне руки. Стальные когти, торчавшие меж его пальцев, крепились к узкой полоске железа, зажатой в кулаке.

— Повторять не стану, — предупредил он.

Вложив меч в ножны, я скинул с плеча ремень перевязи и отдал ему оружие.

Незнакомец прикрыл глаза. Веки его украшали темные точки, обрамленные белым, — точно такие же отметины свойственны некоторым гусеницам, отчего птицы путают их со змеями.

— Сколько же он выпил крови…

— Верно, немало, — подтвердил я.

Открыв глаза, незнакомец устремил на меня немигающий взгляд. Его раскрашенное лицо, как и лицо второго, стоявшего чуть позади, оставалось бесстрастным, неподвижным, будто маска.

— Недавно выкованный меч был бы здесь бессилен, но этот может принести беду.

— Полагаю, он будет возвращен мне, когда мы с сыном уйдем. Что вы сделали с мальчиком?

Ответа не последовало. В молчании оба обошли меня с двух сторон и двинулись вперед, в ту самую сторону, куда направлялись мы с маленьким Северианом. Чуть поотстав, я зашагал за ними.

Место, куда меня отвели, я мог бы назвать деревней, однако на деревню в общепринятом смысле слова, такую, как Сальт, или хотя бы кучки автохтонских хижин, иногда называемые деревнями, она не походила ничуть. Деревья там были огромнее и отстояли одно от другого гораздо дальше, чем в любом лесу, где мне довелось побывать, а густая листва их крон, смыкаясь в нескольких сотнях кубитов над головой, укрывала «деревню» непроницаемым зеленым пологом. Казалось, эти громады растут здесь на протяжении многих эпох: к двери в одном из стволов

вела лестница, а кроме двери, в стволе имелись и окна. Ветви другого, соседнего дерева служили фундаментом дому о пяти, а то и шести этажах; с сучьев третьего свисало нечто вроде гнезда исполинской иволги. Открытые люки под ногами, очевидно, вели в рукотворные подземелья.

Меня подвели к одному из люков и велели спуститься вниз по грубой работы трапу, ведущему в темноту. На миг меня, сам не знаю отчего, охватили дурные предчувствия: уж не ведет ли он далеко-далеко, к глубочайшим пещерам вроде тех, что лежат под темной, как ночь, сокровищницей людей-обезьян? — но нет, все мои страхи оказались напрасны. Спустившись с высоты, превосходившей мой рост разве что вчетверо, а после, миновав нечто вроде занавеси из ветхой циновки, я оказался в тесной подземной комнатке.

Люк надо мною захлопнули, оставив меня в темноте. Ощупью обследовав комнату, я обнаружил, что она вправду невелика — примерно три на четыре шага. Стены и пол оказались земляными, потолок — из неошкуренных бревен, а никакого убранства внутри не нашлось.

Схватили нас примерно посреди утра. Еще семь страж, и наверху стемнеет. До этого меня, может

статься, отведут к кому-нибудь, облеченному властью. Если так, всеми силами постараюсь убедить его, что мы с ребенком совершенно безобидны, а значит, нас лучше всего отпустить с миром. Если нет, взберусь по трапу наверх и попробую выломать люк, а пока остается только сидеть и ждать.

Нет, сон меня не сморил, в этом я совершенно уверен. Я просто воспользовался способностью призывать к себе прошлое и с его помощью если не телом, то духом покинул мрачное подземелье. Какое-то время, как в детстве, наблюдал за живностью в некрополе за стеной Цитадели. Любовался стрелами гусиных стай в небе и кроликами да лисами, порой пробегавшими мимо. Снова резвились они передо мною, в траве, а с течением времени начали оставлять цепочки следов на снегу. Снова я, подойдя к Трискелю, лежавшему замертво среди растерзанных трупов зверей на задворках Медвежьей Башни, увидел, как он встрепенулся и поднял голову, чтобы лизнуть мою руку. Снова сидел я рядом с Теклой, в ее тесной камере, где мы столько раз читали друг другу вслух и, прерывая чтение, спорили о прочитанном.

— Весь мир утекает в небытие, будто вода в часах, — сказала она. — Предвечный мертв, и кто

же воскресит его в грядущие века? Кому такое по силам?

— Ну разумеется, — отвечал я. — Часы и должны останавливаться со смертью хозяина.

— Суеверие! — Забрав у меня книгу, Текла взяла меня за руки. Ее длинные пальцы оказались холодны, точно лед. — Когда хозяин лежит на смертном одре, подливать в часы воду некому. С его смертью сиделки смотрят на циферблат, чтобы отметить время. И только после, взглянув еще раз, замечают, что часы встали и время неизменно.

— То есть они умирают прежде смерти хозяина? Тогда, если вселенная стремится к концу, это не значит, что Предвечный мертв, — возразил я. — Это значит, что он никогда не существовал.

— Нет, он болен, серьезно болен. Оглянись вокруг, Севериан, взгляни на эти темницы, на эти башни над головой. Ты хоть понимаешь, что ни разу в жизни к ним не приглядывался?

— Если так, он еще может попросить кого-нибудь долить воды в механизм, — рассудил я, а затем, сообразив, что сказал, покраснел.

Текла расхохоталась:

— Не видела я, чтоб ты хоть раз вспомнил об этом, с тех самых пор, как впервые сняла перед

тобою платье! А потом поднесла твои ладони к грудям, и ты покраснел, будто плод кофейного дерева, помнишь? «Попросить кого-нибудь долить воды»! Ха! Где же наш прежний юный атеист?

Моя ладонь легла на ее бедро.

— Как и в тот день, смущен перед лицом божества.

— Так, значит, в меня ты тоже не веришь? Хотя, пожалуй, и правильно. Должно быть, я лишь то, о чем грезит всякий юный палач, — прекрасная пленница, еще не изувеченная пытками, призвавшая тебя, чтоб утолить похоть.

— Такие грезы, как ты, за пределами моей власти, — со всей возможной галантностью объявил я.

— А вот и неправда: я ведь сейчас в твоей власти!

И тут в камере, кроме нас с Теклой, появился кто-то еще. Я оглядел запертую дверь и лампу с серебряным отражателем, обвел взглядом все уголки. Вокруг на глазах темнело, вместе со светом исчезла и Текла, и даже я сам, но вторгшийся в мои воспоминания о нас исчезать не спешил.

— Кто ты и чего от нас хочешь? — спросил я.

— Ты прекрасно знаешь, кто мы такие, а мы знаем, кто таков ты.

Ответ прозвучал холодно, властно — пожалуй, столь властного тона я в жизни еще не слышал. Сам Автарх говорил куда мягче.

— И кто же я?

— Севериан из Несса, ликтор города Тракса.

— Да, я — Севериан из Несса, — подтвердил я. — Но я больше не ликтор города Тракса.

— Вернее, тебе очень хотелось бы, чтобы мы в это поверили.

Вновь тишина.

Спустя какое-то время я понял, что дознаватель попросту не желает снисходить до расспросов: желаешь-де на свободу, оправдывайся сам. Тут мне ужасно захотелось схватить его (более пары кубитов разделять нас никак не могло), однако я понимал, что он наверняка вооружен такими же стальными когтями, как и стражники на тропе. Кроме этого, мне уже довольно давно хотелось вынуть из ладанки Коготь, хотя большую глупость трудно себе даже представить.

— Архонт Тракса, — сказал я, — пожелал, чтоб я лишил жизни одну женщину. Вместо этого я отпустил ее, а сам был вынужден бежать из города.

— С помощью магии миновав все воинские караулы.

Я всю жизнь полагал всех самозваных чудо-

творцев мошенниками, но сейчас некие нотки в голосе дознавателя намекали, что, пытаясь обмануть других, они склонны обманываться сами. Да, в его замечании чувствовалась насмешка, но вовсе не над магией — надо мной.

— Возможно, — заявил я. — Что ты можешь знать о моих силах?

— Они не столь велики, чтоб вызволить тебя отсюда.

— Освободиться я еще даже не пробовал, однако на свободе уже побывал.

Дознаватель заметно встревожился:

— На свободе ты не был. Ты просто призвал дух этой женщины!

Я как можно тише, чтоб он не услышал вздоха, перевел дух. Как-то раз, когда мою личность на время заменила собой личность Теклы, девчонка из заключенных в аванзале Обители Абсолюта приняла меня за высокую даму, а сегодня… Неужто ожившая в памяти Текла заговорила моими устами?

— Стало быть, я — некромант, повелевающий духами мертвых. Ведь женщина эта мертва.

— Ты сказал нам, что отпустил ее.

— Отпустил я другую женщину, лишь слегка напоминавшую эту. Что вы сделали с моим сыном?

— Отцом он тебя не называет.

— Порой на него находит и не такая блажь, — отвечал я.

Отклика не последовало. Немного подождав, я поднялся и снова как следует ощупал стены подземной темницы. Нет, ничего… ничего, кроме ровной земли. Каких-либо отсветов я не разглядел, какого-либо шума не слышал, однако крышку люка вполне можно накрыть сверху каким-нибудь переносным навесом, надежно преграждающим путь свету солнца, а если крышка вдобавок умело пригнана и петли как следует смазаны, поднять ее беззвучно тоже не составит никакого труда. Однако первая же перекладина лестницы, стоило наступить на нее, звучно скрипнула.

Вторая и третья перекладины тоже поскрипывали под ногой. Стоило мне подняться на четвертую, в плечи и темя вонзилось нечто наподобие острий кинжалов, а шею защекотала струйка крови из правого уха.

Снова спустившись на третью перекладину, я осторожно пошарил над головой. То, что по пути в подземелье показалось мне рваной циновкой, оказалось парой дюжин, а то и более, тонких, заостренных стеблей бамбука, каким-то образом

закрепленных в шахте остриями вниз. Спустился я без помех, поскольку собственным телом сдвинул их в сторону, но теперь они мешали подняться, примерно как зазубрины на наконечнике остроги, не позволяющие рыбе соскользнуть. Ухватив один из стеблей, я попробовал обломить его, но не тут-то было: обеими руками, пожалуй, сломал бы, а вот одной… Нет, бессмысленно. Будь у меня время и свет, я вполне мог бы пробраться меж ними, но… Да, источник света у меня имелся, однако воспользоваться им я не рискнул и, разочарованный, спрыгнул на пол.

Еще один обход комнаты ничего нового не принес, однако поверить, будто допрашивавший меня, пусть даже зная, как преодолеть преграду из стеблей бамбука, взобрался наверх, ни разу не скрипнув ступенями лестницы, я не мог. Опустившись на четвереньки, я ощупал и пол, но и на сей раз узнал не больше, чем прежде.

Попытки сдвинуть в сторону лестницу не привели ни к чему. Тогда я, начав от ближайшего к шахте угла, подпрыгнул, коснулся стены на той высоте, до какой смог достать, сделал полшага в сторону, снова подпрыгнул, и, наконец, оказавшись примерно напротив того места, где сидел, нашел, что искал — прямоугольный проем

около кубита в высоту и двух в ширину, с нижним краем чуть выше моей головы. Сквозь него дознаватель вполне мог бы — к примеру, при помощи веревки — спуститься вниз и точно так же выбраться, а вероятнее всего, просто просунул внутрь голову и плечи, чтоб его голос звучал так, словно он вправду рядом со мной. Ухватившись за край проема покрепче, я подпрыгнул, подтянулся и нырнул в дыру.

XXI. Поединок магов

Комната по соседству с той, где меня заперли, оказалась почти такой же, только пол выше. Разумеется, здесь тоже царила непроглядная тьма, но теперь, уверенный, что за мной больше не наблюдают, я вынул из ладанки Коготь. Светился он неярко, однако вполне достаточно, чтоб оглядеться вокруг.

Здесь лестницы не было, зато в углу имелась узкая дверца, очевидно, ведущая в третью подземную комнату. Вновь спрятав Коготь, я шагнул за порог, но оказался не в комнате, а в туннеле не шире дверного проема, свернувшем вбок и раз, и еще раз, не успел я пройти хоть полдюжины маховых шагов. Поначалу мне подумалось, что это просто колено, как в дымоходе, предназначенное для того, чтоб свет снаружи не выдал проема, выходящего в комнату, куда заточили меня. Однако для этого больше трех поворотов не требовалось, а я насчитал куда больше и все еще оставался в кромешной тьме. Поразмыслив, я снова вынул из ладанки Коготь.

На сей раз (вероятно, из-за тесноты коридора) свет камня казался несколько ярче, но смотреть

вокруг было совершенно не на что: все возможное мне удалось выяснить ощупью. Вокруг — ни души. Я — в лабиринте с земляными стенами и низким (нависшим над самым теменем) потолком из неошкуренных жердей. Дальше ближайшего поворота ничего не увидеть даже при свете.

Едва я собрался сунуть Коготь в ладанку, ноздри защекотал не слишком приятный запах, едкий и в то же время будто нездешний. Нос мой, надо сказать, далеко не так чуток, как у Отца Волка из той самой сказки — остротою чутья я, если уж на то пошло, уступаю большинству из людей. Запах был вроде знакомым, однако мне далеко не сразу удалось вспомнить, что точно так же пахло в аванзале наутро перед нашим побегом, когда я вернулся к Ионе после разговора с девчонкой. Девчонка поведала мне о некоей безымянной твари, что-то вынюхивавшей среди заключенных, а пол и стена там, где лежал Иона, оказались измазаны какой-то влажной, вязкой мерзостью.

Вспомнив обо всем этом, прятать Коготь в ладанку я не стал, но хотя во время блужданий по лабиринту еще не раз натыкался на тот же зловонный след, оставившей его твари так и не увидел. Наконец, проблуждав под землей стражу,

а то и больше, я набрел на лесенку, ведущую вверх, в неглубокую открытую шахту. Квадрат дневного света над головой слепил глаза и исполнял душу радости. Какое-то время я просто стоял в его лучах, не касаясь ногой перекладины. Казалось, стоит подняться наверх, меня почти наверняка немедленно схватят вновь, однако я был так голоден и так хотел пить, что вряд ли сумел бы усидеть внизу, а вспомнив об ищущей меня мерзкой твари (несомненно, одной из «зверушек» Гефора), вовсе едва не взлетел по лестнице птицей.

В конце концов я с осторожностью взобрался наверх и выглянул из шахты. Нет, страхи мои оказались напрасны: вела она не в деревню, где я уже побывал: извилистый лабиринт привел меня к какому-то потайному выходу за ее пределы. Безмолвные громады деревьев здесь сдвинулись куда теснее, а свет, показавшийся мне таким ослепительным, был всего-навсего зеленоватым сумраком под сенью их крон. Выбравшись из шахты, я обнаружил, что покидаю нору, хитроумно укрытую меж двух корней — в двух шагах пройдешь мимо и не заметишь. Будь у меня возможность, завалил бы ее чем-нибудь потяжелее, чтобы преследующая меня тварь не выбралась

(или хотя бы не сразу выбралась) наружу, но под рукой не оказалось ни камня, ни чего-либо другого, пригодного для этой цели.

Прибегнув к старому верному трюку — то есть определив, куда клонится земля, и по возможности следуя под уклон, — я вскоре наткнулся на неширокий ручей. В просвете над руслом виднелась полоска открытого неба, судя по коей день продолжался уже восемь, а то и девять страж. Рассудив, что деревня наверняка расположена где-то неподалеку от найденного мною источника чистой, пригодной для питья воды, я в скором времени отыскал и ее. Закутанный в плащ цвета сажи, укрывшись в глубокой тени, я принялся наблюдать за деревней. Вначале поляну пересек человек, в отличие от двоих, остановивших нас на тропе, не раскрашенный с головы до ног. Еще один спустился вниз из подвешенной к ветвям дерева хижины, подошел к ручейку, напился и вернулся домой.

Вокруг на глазах темнело, а странная деревня мало-помалу пробуждалась от сна. Около дюжины человек, спустившиеся из подвешенной к сучьям хижины, начали таскать хворост на середину поляны. Из дома на дереве появились еще трое — в долгополых одеждах, с двурогими

посохами в руках. Вскоре после того, как на поляне запылал костер, из сумрака выскользнули и другие, должно быть, следившие за тропами в джунглях, а перед костром расстелили полотнище ткани.

Один из троицы в длинных одеяниях встал спиною к костру, а двое других присели на корточки у его ног. Во всех троих чувствовалась некая исключительность, однако напоминала она скорее об отстраненности экзультантов, чем об инакости иеродул, с которыми мне довелось столкнуться в садах Обители Абсолюта — такую манеру держаться придает человеку сознание собственной власти, высоко возносящей его над прочими, простыми людьми. Остальные, раскрашенные и нераскрашенные, скрестив ноги, уселись наземь, лицами к дереву. В негромкий ропот множества голосов вплелась звучная речь стоящего, но слов издали было не разобрать. Спустя какое-то время присевшие на корточки подле него поднялись. Один распахнул одежды, и из-под них, точно из шатра, шагнул вперед усыновленный мною сын Бекана. Второй в той же манере извлек из-под облачения «Терминус Эст» и вынул его из ножен, показав сошедшимся блестящий клинок и черный опал рукояти. Затем один из раскрашенных

поднялся, прошел с десяток шагов в мою сторону (отчего я, хоть и прикрыл лицо маской, всерьез испугался, как бы он меня не заметил) и поднял крышку одного из люков, ведущих под землю. Вскоре после этого он выбрался наверх из другого люка, ближе к костру, несколько быстрее прежнего подошел к главному среди троицы в длинных одеждах и заговорил.

О чем он докладывает, сомнений быть не могло. Расправив плечи, я вышел в освещенный пламенем круг.

— Там меня нет, — сказал я. — Я здесь.

Сидящие дружно ахнули, чем я, хоть и понимавший, что могу вот-вот умереть, был весьма польщен.

— Как видишь, тебе от нас не уйти, — заговорил облаченный в длинные одеяния, стоявший посередине. — Ты побывал на свободе, но нашей волей был возвращен сюда.

Голос дознавателя, допрашивавшего меня в подземной темнице, я узнал безошибочно и ответил ему в том же тоне:

— Если ты ушел по Пути далеко, то должен знать, что власти надо мной у тебя куда меньше, чем может показаться непосвященным. — (Подражать речи таких людей проще простого: ведь

они сами по-обезьяньи заимствуют манеру разговора у аскетов и жриц наподобие Пелерин.) — Вы похитили моего сына, а ведь он в то же время — сын Говорящего Зверя, о чем ты также уже должен бы знать, если удосужился расспросить его без неразумной спешки. Дабы вернуть его, я доброй волей отдал рабам твоим меч и до времени подчинился тебе сам. Теперь же мечу настало время вернуться к хозяину.

На плече человека есть определенная точка, уверенное нажатие на каковую большим пальцем парализует руку целиком. Стоило моей ладони лечь на плечо человека в длинном одеянии, державшего «Терминус Эст», тот уронил меч к моим ногам, а маленький Севериан, проявив неожиданную для своих лет твердость духа, поднял его и подал мне.

— К оружию! — подняв посох, крикнул тот из троих, что стоял посредине.

Его сподвижники все, как один, поднялись на ноги. Кулаки многих ощетинились уже описанными мною когтями, а многие другие обнажили ножи.

Я перекинул перевязь «Терминус Эст» через плечо, привычно убрал его за спину и сказал:

— Разумеется, ты не думаешь, будто сей древ-

ний меч служит мне оружием? У него более высокое предназначение, и вам лучше других следовало бы это знать.

— Именно так Абундантий нам и говорил, — поспешно вставил тот, кто выпустил из-под одежд маленького Севериана.

Третий из них все еще растирал онемевшую руку.

Я смерил взглядом стоявшего посредине: очевидно, речь шла именно о нем. Его взгляд оказался ясен и тверд, словно камень.

— Абундантий мудр, — сказал я, размышляя, каким бы образом покончить с ним, чтоб остальные нас не атаковали. — Думаю, известно ему и о проклятии, поражающем тех, кто дерзнет покуситься на особу мага.

— Так, значит, ты маг, — проговорил Абунданций.

— Я, забравший из рук архонта добычу и незамеченным прошедший сквозь скопища его воинов? Да, порой меня именуют и так.

— Докажи же нам, что ты маг, и мы восславим тебя как брата. Но если не выдержишь испытания или откажешься от него… нас много, а меч у тебя лишь один.

— Честное испытание я выдержу, — заверил

я, — пусть даже ни тебе, ни твоим сподвижникам испытывать меня не по чину.

Однако Абундантий оказался слишком умен и от пререканий на этот счет предпочел воздержаться.

— Сие испытание известно здесь каждому, кроме тебя, и каждый знает, что оно справедливо. Прошли его — либо надеются вскоре пройти — все, кого ты видишь вокруг.

Дома, куда меня отвели, я прежде не замечал. Сооруженный большей частью из бревен, он прятался среди деревьев. Окон в стенах его не имелось, и дверь внутрь вела лишь одна. Когда в дом внесли факелы, я не обнаружил в единственном его зале ни перегородок, ни какого-либо убранства, кроме сплетенного из травы ковра на полу, а длина зала по отношению к ширине оказалась такой, что выглядел он едва ли не коридором.

— Здесь ты и сойдешься в бою с Декуманом, — пояснил Абундантий, указав на товарища, которому я обездвижил руку, очевидно, чуточку удивленного этакой честью. — Ты превзошел его там, у костра. Теперь он должен одолеть тебя, если сумеет. Можешь сесть здесь, возле двери, дабы не опасаться, что мы придем ему на подмо-

гу. Он сядет в дальнем конце. Приближаться друг к другу, касаться друг друга, как ты коснулся его плеча у костра, запрещено. Творите чары, а утром мы увидим, за кем осталась победа.

Взяв маленького Севериана за руку, я отвел его в дальний, тупиковый конец полутемного зала.

— Я сяду здесь, — объявил я. — Уверен, на помощь Декуману вы не придете, а вот не прячутся ли в джунглях мои соратники, вам знать неоткуда. Ты оказал мне доверие, и посему я также доверюсь тебе.

— Дитя, — заметил Абундантий, — лучше оставь на нашем попечении.

Я покачал головой:

— Нет, он должен остаться при мне. Он мой, а разлучив нас там, на тропе, вы лишили меня половины могущества. Больше я с ним не расстанусь.

Абундантий, чуть поразмыслив, кивнул:

— Как пожелаешь. Мы всего лишь хотим, чтобы с ним не случилось беды.

— Беды с ним никакой не случится, — заверил его я.

Перед тем как уйти, четверо обнаженных воткнули факелы в железные скобы, вбитые в бревна стен. Декуман, скрестив ноги, уселся у

двери, а посох положил на колени. Я тоже сел и привлек мальчишку к себе.

— Страшно, — сознался он, уткнувшись крохотным носом в мой плащ.

— И удивляться тут нечему. Последние три дня ты много пережил.

Декуман затянул неспешный ритмичный напев.

— Маленький Севериан, расскажи для начала, что случилось с тобой на тропе. Я оглянулся — а тебя след простыл.

Утешений и уговоров потребовалось немало, но, наконец, его всхлипы стихли.

— Они ка-ак выйдут… трое раскрашенных, с когтями. Я испугался и побежал.

— И все?

— А потом еще трое раскрашенных поймали меня и заставили спуститься в нору, под землю. Темно, не видать ничего… А потом разбудили, подняли наверх, и вылез я из норы под плащом какого-то человека. А потом пришел ты и меня спас.

— Тебя кто-нибудь о чем-нибудь спрашивал?

— Какой-то человек в темноте.

— Ясно. Послушай, маленький Севериан, никогда больше не убегай, как там, на тропе,

понимаешь? Беги только следом за мной, если побегу я. Не побежал бы ты, когда нам встретились те трое раскрашенных, мы б с тобой здесь сейчас не сидели.

Мальчишка кивнул.

— Декуман! — окликнул я сидящего напротив. — Эй, Декуман, поговорить нам с тобой не запрещается?

Но Декуман меня словно не слышал — разве что невнятный напев его зазвучал чуточку громче. Голову он поднял, словно что-то высматривая среди жердей кровли, однако глаза его были закрыты.

— Что он такое делает? — спросил мальчуган.

— Чары плетет.

— А для нас они не опасны?

— Нет, — отвечал я. — Подобная магия — чаще всего жульничество, фокусы. Помнишь, как тебя сунули сквозь люк под одежды тому человеку, чтобы всем вокруг показалось, будто ты перенесен туда силой его колдовства?

Однако, успокаивая малыша, я понял: не так-то все просто. Декуман целиком сосредоточил силу мысли — недюжинную силу мысли! — на мне, отчего я уже чувствовал себя точно голый посреди огромной комнаты, залитой ярким светом, под

взорами тысячи глаз. Один из факелов замерцал, закоптил и угас. В зале стало темнее, однако тот, невидимый глазу свет словно бы засиял ярче прежнего.

На свете существует немало способов убить человека, не оставив на теле следов, и я, перебирая их в памяти, поднялся на ноги.

Но стоило мне шагнуть вперед, из стен с обеих сторон примерно на эль высунулись хищные острия пик. То были не такие пики, как у солдат, энергетическое оружие, наконечники коего бьют сгустками пламени, но попросту тонкие шесты с железными наконечниками, вроде пилетов, оружия крестьян из Сальта, однако вблизи они тоже смертельно опасны, и мне, хочешь не хочешь, пришлось сесть на место.

— Наверное, они там, снаружи, глядят на нас сквозь щели между бревнами, — сказал мальчишка.

— Да, теперь и я это знаю.

— И что же нам делать?

Я промолчал.

— Кто эти люди, отец? — не дождавшись ответа, спросил маленький Севериан.

Впервые в жизни он назвал меня отцом… Я привлек его ближе к себе, и от этого сеть Декумана,

опутавшая мой разум, словно бы дала слабину.

— Могу только догадываться, — отвечал я, — но, по-моему, у них здесь что-то вроде школы магов, сектантов, упражняющихся, как сами они полагают, в тайных искусствах. Сторонники их якобы есть повсюду, хотя мне лично в это не слишком-то верится, а еще они крайне жестоки. Слышал ли ты о Новом Солнце, маленький Севериан? О человеке, что, по словам пророков, однажды придет, оттеснит назад льды и наведет в мире должный порядок?

— И Абайю убьет, — добавил мальчишка, изрядно меня удивив.

— Да, от него ждут и этого, и еще множества самых разных деяний. Говорят, будто он уже приходил к нам однажды, в давние-давние времена. Об этом ты знаешь?

Маленький Севериан отрицательно покачал головой.

— В тот раз он приходил примирить род людской с Предвечным, отчего и был прозван Миротворцем. После него осталась прославленная святыня, самоцвет под названием Коготь.

Пока я говорил обо всем этом, рука словно сама собой потянулась к ладанке, но шнурка, стягивавшего горловину мешочка из мягкой человечьей

кожи, я не ослабил, а просто пощупал камень. Стоило мне коснуться ладанки, незримый свет, созданный Декуманом в моем сознании, угас почти без остатка. Сам не знаю, отчего я так долго предполагал, будто Коготь не действует, пока не вынешь его оттуда, где он хранится, и, лишь этой ночью обнаружив, что ошибался, расхохотался от всей души.

На миг прервав пение, Декуман поднял веки, а маленький Севериан вцепился в меня крепче прежнего.

— Тебе больше не страшно? — спросил он.

— Нет, — отвечал я. — А ты, значит, заметил мой страх?

Мальчишка без тени улыбки кивнул.

— Так вот, я собирался сказать, что существование этой святыни, похоже, навело кое-кого на мысль, будто Миротворец был вооружен когтями. Сам я в его существовании не раз сомневался, но если такой человек когда-либо существовал, то все свое оружие он обращал главным образом против себя самого. Понимаешь, о чем я?

На его понимание я не слишком рассчитывал, однако мальчишка уверенно кивнул.

— Там, на тропе, мы с тобою нашли амулет, препятствующий приходу Нового Солнца. А люди

в трехцветной раскраске — думаю, они и есть те, кто прошел испытание в этом зале, — вооружены стальными когтями. Скорее всего, они хотят отсрочить приход Нового Солнца, чтобы самим занять его место и, может быть, завладеть его силами. И если…

Снаружи донесся пронзительный крик.

XXII. У подножья великой горы

Мой смех, пусть ненадолго, нарушил сосредоточенность Декумана, а вот вопль за стеной — ни в коей мере. Сеть его чар, почти вся распавшаяся на куски, когда я схватился за Коготь, срасталась, затягивалась — медленнее, но куда туже прежнего.

Подобные ощущения всякий раз возникает соблазн назвать неописуемыми, хотя на деле это обыкновенно не так. Обнаженный, беспомощный, я словно бы парил в пустоте меж двух наделенных разумом солнц, причем откуда-то знал, что эти солнца — полушария Декуманова мозга. Заливавший меня со всех сторон свет казался заревом кузнечных горнов, всепожирающим, лишающим способности двигаться. В его сиянии все на свете казалось напрасным, тщетным, а сам я — бесконечно, ничтожно маленьким.

Таким образом, моя сосредоточенность тоже в каком-то смысле осталась ненарушенной, однако я (пусть смутно) сознавал, что этот вопль вполне мог предвещать некую новую возможность, открывшуюся, а может, готовую открыться передо мной. Много, много позже, чем следовало — быть

может, лишь после того, как пропустил сквозь ноздри не менее дюжины вдохов, — я кое-как поднялся с пола.

В дверной проем рвалось нечто… Поначалу, как абсурдно это ни прозвучит, мне подумалось, будто в зал испытаний волной течет зловонная болотная хлябь, будто Урд сотрясают конвульсии, и топкая трясина вот-вот поглотит все вокруг без остатка. Плавно, не разбирая дороги, миновала она порог двери, и в тот же миг в зале погас второй факел.

— Берегись! — крикнул я, видя, что поток подбирается к сидящему на полу Декуману.

Не знаю, что было тому причиной, прикосновение твари или мой крик, но Декуман, вздрогнув, отпрянул в сторону. Я вновь почувствовал, как развеиваются его чары, как рвутся в клочья тенета, удерживающие меня меж двух солнц. Разлетевшись в стороны, солнца померкли, исчезли, как не бывало, а я словно бы изрядно прибавил в величине и, повернувшись ни вправо ни влево, ни вверх ни вниз, снова, целый и невредимый, оказался в зале испытаний, рядом с маленьким Северианом, вцепившимся в мой плащ.

В руке Декумана сверкнули когти (а я и не подозревал, что он при оружии). Кем бы ни оказалось

это черное, почти бесформенное существо, его бок разошелся под острой сталью, словно жир под ударом плети. Кровь твари тоже оказалась черной или, может быть, темно-зеленой, а вот Декуманова — алой: казалось, волною накрывшая мага тварь растопила его кожу, как воск. Вскинув мальчишку на спину, я велел ему покрепче держаться за мои плечи, а ногами обхватить пояс, собрал все силы и прыгнул вверх. Кончики пальцев коснулись одной из потолочных жердей, но ухватиться за нее я не смог. Между тем тварь завертелась из стороны в сторону, слепо, однако вполне целеустремленно. Возможно, это создание вынюхивало, искало добычу по запаху, но мне с самого начала казалось, что чует оно не запахи, а мысли — это вполне объясняло, отчего чудовище так замешкалось, отыскивая меня среди пленников аванзалы, когда я перевоплотился в Теклу, но живо нашло здесь, в зале испытаний, когда Декуман целиком сосредоточил мысли на мне.

Я снова подпрыгнул, но на сей раз не достал до жерди по меньшей мере на целую пядь. Чтоб завладеть одним из оставшихся факелов, пришлось бежать в сторону жуткой твари. До факела я добрался благополучно, схватил его, однако, выдернутый из скобы, факел тут же угас.

Тогда я ухватился за скобу, подпрыгнул еще раз и, помогая ногам рукой, сумел ухватиться за тонкую, гладкую жердь другой рукой, левой. Под моей тяжестью жердь изрядно прогнулась, но подтянуться кверху и поставить на скобу ногу мне, даже с мальчишкой за спиной, удалось.

Бесформенная темная тварь внизу вздыбилась, опала, вновь потянулась вверх. Не выпуская жерди, я выхватил из ножен «Терминус Эст». Клинок меча рассек колышущуюся студенистую плоть без труда, но рана сомкнулась и затянулась сразу же следом за сталью. Тогда я — признаться, беззастенчиво воспользовавшись уловкой Агии — обратил оружие против кровли над головой. Листья местных деревьев, связанные прочным лыком, поддались не сразу: казалось, первые лихорадочные удары не производят на них ни малейшего впечатления, однако третий отделил от кровли кусок немалой величины. Упавшая часть кровли зацепила последний из факелов. На миг пламя факела поугасло, но тут же взвилось вверх, пожирая сухие листья, а я нырнул сквозь прорубленную брешь во мрак ночи.

Чудо, что после прыжка с крыши вниз, наобум, с обнаженным мечом в руке, мы оба остались живы. От удара о землю я выронил и «Терминус Эст»,

и мальчишку, и сам упал на колени. Багровое зарево под кровлей из листьев пылало все ярче и ярче. Услышав хныканье маленького Севериана, я крикнул ему, чтоб не вздумал бежать, поднял мальчишку на ноги, свободной рукой подхватил «Терминус Эст» и вот тут бросился наутек, прочь от горящего зала испытаний.

Остаток ночи мы наобум бежали сквозь джунгли. На бегу я старался по мере возможности двигаться в гору — и не только потому, что путь к северу вел на подъем, но и с тем, чтоб уменьшить вероятность падения с какого-нибудь обрыва, внезапно подвернувшегося под ноги. К началу утра вокруг по-прежнему простирались джунгли, а мы по-прежнему не имели никакого понятия, где очутились. Мальчишка, совсем выбившийся из сил, уснул у меня на руках.

Еще одну стражу земля под ногами, вне всяких сомнений, круто поднималась кверху, и, наконец, мы вышли к сплошной завесе из стеблей лиан, точно такой же, как та, сквозь которую я лишь позавчера прорубал путь в джунгли. Приготовившись осторожно, чтобы не разбудить, уложить мальчишку на землю и обнажить меч, я заметил пятно яркого дневного света, струящегося в прореху среди лиан чуть левее. Ускорив

шаг, я едва ли не бегом бросился к ней и, миновав ее, оказался на каменистом плато, поросшем жесткой травой и кустарником. Еще несколько шагов привели меня к прозрачному ручейку, звеневшему среди камней, — несомненно, тому самому, возле которого мы с мальчишкой заночевали два дня назад. Не зная, да и знать не желая, потеряла ли бесформенная тварь наш след или все еще преследует нас, я улегся невдалеке от воды и немедля уснул.

Снился мне лабиринт, кое в чем походивший на подземелья магов, но в то же время разительно от них отличавшийся. Здесь коридоры были заметно шире, а порой нисколько не уступали галереям Обители Абсолюта. Стены некоторых украшали ряды ростовых зеркал, отражавших меня в изорванном плаще, с изнуренным, осунувшимся лицом и полупрозрачную, облаченную в роскошное платье со шлейфом Теклу, идущую со мной рядом. Планеты со свистом неслись по длинным, пологим, извилистым тропам, невидимым ни для кого, кроме них. Голубая Урд, точно младенца, но не касаясь ее, несет с собою зеленую луну, а красная Верданди оборачивается Декуманом, кожа его словно изъедена кислотой, все тело — сплошная кровавая язва…

Пустившись бежать, я споткнулся, упал, отчаянно засучил руками и ногами. На миг в залитом солнцем небе мелькнули звезды — настоящие звезды, однако сон с неумолимостью тяготения Урд влек меня дальше и дальше. Шагая вдоль стены из стекла, я увидел за нею мальчишку, порядком испуганного, в старой, заплатанной серой рубахе, какую мне доводилось носить в дни ученичества, бегущего, очевидно, с четвертого уровня в Атриум Времени. За ним, рука об руку, улыбаясь друг дружке и даже не заметив меня, прошли Доркас с Иолентой. На смену им явилась вереница меднокожих, кривоногих автохтонов в перьях и ожерельях, пляшущих за спиною шамана под проливным дождем. За ними по небу, огромная, словно облако, затмив собой само солнце, проплыла ундина…

И я проснулся. По щекам барабанили капли дождя. Маленький Севериан спал рядом со мной мирным сном как ни в чем не бывало. Поплотнее укутав его плащом, я отнес мальчишку к прорехе в завесе лиан. За их полог, под пышные кроны деревьев, дождь почти не проникал; здесь мы улеглись и снова уснули. На сей раз спал я без сновидений, а пробудившись, обнаружил, что проспали мы день и ночь. Все вокруг озаряли

неяркие проблески рассвета.

Мальчишка, проснувшийся первым, бродил среди толстых стволов. Он показал мне кратчайший путь к ручью, я вымылся и, как уж сумел, без горячей воды, побрился, чего не делал с того самого вечера в каменной хижине под высоким утесом, а затем мы, вновь отыскав знакомую тропку, продолжили путь на север.

— А этих, разноцветных, мы не встретим? — с опаской спросил маленький Севериан.

Я велел ему не тревожиться и, если что, ни в коем случае не бежать — с «этими, в три цвета раскрашенными», я, дескать, справлюсь. Откровенно сказать, меня куда больше беспокоил Гефор с тварью, посланной им по моему следу: если она не погибла в пожаре, то вполне могла прямо сейчас приближаться к нам со спины. Конечно, с виду Гефорово чудище казалось животным ночным, из тех, что боятся солнца, однако полумрак джунглей не слишком отличался от ночных сумерек.

Из раскрашенных нам навстречу попался всего один, да и тот даже не подумал преграждать нам путь, а пал передо мною ниц. «Убить его, и делу конец», — подумалось мне. Да, разумеется, нам с малолетства строго внушали, что лишать

жизни и наносить увечья мы вправе лишь по распоряжению судей, однако чем дальше уходил я от Несса, навстречу войне и безлюдным горам, тем вернее сии внушения выветривались из головы. Кое-кто из мистиков полагает, будто порождаемые битвами испарения оказывают определенное воздействие на мозг, пусть даже находящийся далеко с подветренной стороны, и это вполне может оказаться правдой… но тем не менее я всего-навсего поднял раскрашенного с земли и велел ему отойти в сторону.

— О Великий Маг, что сделал ты с крадущейся тьмой? — спросил он.

— Отправил назад, в преисподнюю, из коей вызвал ее, — отвечал я, рассудив, что, если мы до сих пор не столкнулись с этой тварью, она либо погибла, либо Гефор отозвал ее.

— Пятеро из нас обрели перерождение, — сообщил раскрашенный.

— Что ж, если так, ваше могущество превзошло мои ожидания. Ей доводилось убивать сотни человек за ночь.

Я был далек от уверенности, что он не нападет на нас с тыла, но нападения не последовало. Тропа, которой я еще вчера шел как пленник, словно бы обезлюдела. Ни караульные, ни кто-либо дру-

гой путь нам больше не заступали; немало полос красной ткани оказались сорваны с веток и порядком истоптаны, хотя я представить себе не мог почему. Тропу также украшали следы множества ног, а ведь прежде она была ровной (возможно, ее даже регулярно выравнивали граблями).

— Что ты такое высматриваешь? — спросил мальчишка.

— Слизь того самого зверя, от которого мы бежали ночью, — вполголоса, отнюдь не уверенный, что нас не подслушивают за деревьями, объяснил я.

— И как? Видишь?

Я отрицательно покачал головой.

Мальчишка на время умолк, а поразмыслив, задал новый вопрос:

— Большой Севериан, а откуда он взялся?

— Сказку помнишь? С одной из горных вершин за пределами берегов Урд.

— Где жил Вешний Ветер?

— Нет, с той же самой — навряд ли.

— А как он сюда добрался?

— Дурной человек привез его, — отвечал я. — А теперь, маленький Севериан, будь добр, помолчи.

Возможно, ответ прозвучал резковато, но лишь

потому, что мне не давала покоя та же самая мысль. Должно быть, на борт корабля Гефор пронес своих зверушек тайком, это яснее ясного, а последовав за мною из Несса, без труда мог прятать нотул в каком-нибудь небольшом, плотно закрытом сосуде за пазухой — они хоть и ужасны, однако не толще салфетки, и Иона об этом знал.

Но что же насчет твари, которую мы видели в зале испытаний? В аванзале Обители Абсолюта она возникла после появления Гефора, но как? А по пути на север, в Тракс — что же, как собачка, следом за Гефором с Агией шла?

Припомнив все, что успел разглядеть во время гибели Декумана, я призадумался, сколько же эта тварь могла весить. Должно быть, не меньше, чем полудюжина человек. Возможно, даже не меньше дестрие. Чтоб втайне от всех перевезти ее куда-либо, нужна большая повозка. Выходит, Гефор гнал такую повозку через эти горы? В подобное мне не верилось. В то, что студенистое чудище, на наших глазах погубившее мага, мирно делило повозку с саламандрой, на моих глазах уничтоженной в Траксе, — тем более.

Деревня магов к нашему появлению словно бы обезлюдела. Над развалинами зала испытаний еще курился дымок. Тщетно искал я на пожарище

останки погибшего Декумана: среди углей нашелся лишь его наполовину сгоревший посох. Внутри он оказался полым и, судя по гладкой внутренней поверхности, со снятым навершием мог служить сарбаканом для метания отравленных игл. Несомненно, на него и рассчитывал Декуман, если я не поддамся сотворенным им чарам.

Очевидно, мальчишка заметил и выражение моего лица, и направление взгляда.

— А тот человек вправду был колдуном? — спросил он, словно прочел мои мысли. — Он чуть не заколдовал тебя, да?

— Верно, — кивнув, подтвердил я.

— А ты говорил, магия — просто жульничество.

— Кое в чем, маленький Севериан, я нисколько не мудрее тебя. Да, столкнуться с настоящей магией я вовсе не ожидал. Тем более что фокусов здесь повидал множество — и потайную дверь в подземелье, куда меня посадили, и твое «чудесное появление» под одеянием того человека возле костра. Однако всевозможных темных вещей на свете — хоть пруд пруди, и, видимо, те, кто усердно их ищет, непременно что-нибудь да находят. И после этого становятся, как ты говоришь, настоящими колдунами.

— Знали б они настоящую магию — могли бы всеми на свете командовать!

В ответ я только покачал головой, но с тех пор много об этом думал. По-моему, мальчишке можно было возразить при помощи даже не одного — двух доводов, хотя высказанные в более зрелой, «взрослой» форме они наверняка выглядят куда более убедительно.

Довод первый состоит в том, что каждое поколение магов передает следующему поколению ничтожно мало знаний. Меня с детства обучали науке, вполне достойной считаться самой фундаментальной из прикладных наук, и во время учения я понял вот что: вопреки расхожему мнению, основой прогресса науки служат не столько теоретические размышления либо систематические исследования, сколько передача достоверных сведений, полученных хоть случайно, хоть интуитивно, от исследователей преемникам. Охотникам же за темными знаниями в силу самой их натуры свойственно уносить знания с собою в могилу или передавать их далее в столь туманном, замутненном своекорыстной ложью виде, что ценность переданного становится близка к нулевой. Рассказывают порой о тех, кто учит возлюбленных или детей всему, что

умеет, без утайки, всерьез, однако подобные люди (опять же, в силу самой их натуры) крайне редко обзаводятся теми либо другими — может статься, родные и близкие даже ослабляют их дар.

Второй же довод заключается в следующем: само существование подобных сил свидетельствует о существовании сил, им противоположных. Силы первого рода мы называем темными, хотя им отнюдь не чужды и некие разновидности смертоносного света наподобие пущенного в ход Декуманом, а силы второго рода — светлыми, хотя, на мой взгляд, сие не мешает им порой прибегать к помощи темноты — ведь даже людям самым добропорядочным свойственно задергивать занавеси полога над кроватью на время сна. Тем не менее в разговорах о свете и тьме есть некая доля истины, так как эта метафора содержит явный намек на взаимосвязь, взаимообусловленность того и другого. В сказке, которую я читал маленькому Севериану, говорилось, что наша вселенная есть лишь невероятно долгое слово, изреченное Предвечным. А значит, все мы — слоги этого слова. Однако любое изреченное слово — всего-навсего пустой звук, если на свете не существует других слов, слов неизреченных. Если зверю известен лишь один крик, этот крик

никому не говорит ни о чем; даже ветер и тот обладает не одним — множеством голосов, так что сидящие дома, слыша шум ветра, сразу же понимают, хороша ли погода или за дверью ненастье. Сдается мне, силы, которые мы называем темными, и есть слова, *не изреченные* Предвечным (если он, Вседержитель, вообще существует), и квазисуществование сих слов дóлжно поддерживать, дабы другое слово, слово изреченное, не утратило смысл. Да, неизреченное может быть весьма важным, но изреченное много важнее. Именно посему одного моего знания о существовании Когтя хватило, чтоб противостоять Декумановым чарам.

А если искатели темного знания находят искомое, не могут ли и искатели светлых знаний отыскивать то, что ищут? И разве они не более склонны передавать знания преемникам? Именно так Пелерины берегли Коготь из поколения в поколение, и в эту минуту, подумав о них, я тверже прежнего укрепился в решении отыскать их и вернуть им святыню, ибо, даже не знай я этого прежде, ночное столкновение с альзабо весьма наглядно напомнило, что я — всего-навсего бренная плоть и в свое время (возможно, куда скорее, чем полагаю) неизбежно умру.

Поскольку гора, к которой мы двигались, возвышалась на севере, и, таким образом, тень ее падала в сторону седловины, покрытой джунглями, лианы сплошной завесой с той стороны не росли. Блекло-зеленые листья только поблекли еще сильнее, а число мертвых деревьев значительно увеличилось, хотя деревья и сделались много меньше, затем в пологе листьев, весь день укрывавшем нас сверху, мелькнула брешь, а спустя сотню маховых шагов — еще одна, и, наконец, он вовсе исчез.

Вблизи поднявшаяся перед нами громада горы утратила всякое сходство с образом человека, но я-то знал: морщины на склонах, что тянутся вниз из гряды облаков, — не что иное, как высеченные в камне складки его одежд. Сколь часто, должно быть, он пробуждался от сна и надевал их, даже не подозревая, что они сохранятся здесь, нисколько не изменившись, на протяжении многих эпох, настолько огромные, что человеческим глазом и не углядишь…

XXIII. Проклятый город

В следующий раз воду мы отыскали только назавтра, около полудня, а другой воды с той горы нам отведать так и не довелось. Запас вяленого мяса, оставленного мне Касдо, почти иссяк. Оставшиеся несколько полосок мы разделили поровну и запили их из крохотного, не шире длины большого пальца, горного ручейка. Видя обилие снега и на вершине, и на склонах горы, я удивился этакой скудости и лишь значительно позже узнал, что склоны ниже границы снегов, где снег с наступлением лета мог бы растаять, дочиста выметаются ветрами, а выше сверкающие сугробы могут, не тая, расти, накапливаться сотнями лет.

Одеяла, промокшие от росы, мы расстелили здесь же, на камнях, просушить. Сухие, порывистые горные ветры даже в тени высушили их в течение стражи. Я знал: следующая ночь окажется для нас примерно такой же, как та, первая, проведенная мною в горах после ухода из Тракса, однако сия перспектива отчего-то нисколько не портила настроения. Нет, дело было не в том, что опасности, с коими нам довелось столкнуться в

заросшей джунглями седловине, остались позади: вместе с ними за спиною оставалась нечто грязное, омерзительное. Казалось, я перепачкан какой-то скверной, а горная стужа непременно поможет очиститься. Некоторое время корни этих чувств оставались практически неизученными, но когда подъем сделался действительно крут, я понял: тревожит меня память о собственной лжи, о том, что я обманул магов, уподобился им, притворившись, будто повелеваю невероятными силами и посвящен в великие тайны. Да, ложь эта была вполне оправданной, так как спасла жизнь и мне, и маленькому Севериану, однако, прибегнувший к ней, я стыдился себя самого. Мастер Гюрло, к коему я перед уходом из гильдии проникся глубочайшим презрением, лгал что ни день, и теперь я никак не мог разобраться, презираю ли его из-за постоянной лжи или же не терплю криводушия, поскольку порок этот связан именно с ним.

И все же на сей счет у мастера Гюрло имелось оправдание ничуть не хуже моего, а может быть, даже лучше. Он лгал ради сохранения гильдии и увеличения ее достатка, приукрашивая в отчетах для всевозможных представителей власти наши успехи и, если потребуется, умалчивая

об оплошностях. Разумеется, поступая так, он, де-факто глава гильдии, укреплял собственные позиции, однако вместе с тем упрочивал и мое положение, и положение Дротта, и Роха, и Эаты — всех тех учеников с подмастерьями, кому в свое время предстояло ее унаследовать. Будь он тем самым грубоватым простаком, каким хотел выглядеть в глазах окружающих, я бы ни минуты не сомневался, что лжет он исключительно ради собственной выгоды, однако кем-кем, а простаком мастер Гюрло отнюдь не был и, может статься, многие годы чувствовал себя точно так же, как сейчас я.

Кроме того, я вовсе не был уверен, что действовал ради спасения маленького Севериана. Возможно, когда он удрал, а я отдал противнику меч, для него было бы куда выгоднее, если б я вступил в бой, а значит, прямую выгоду на тот момент смиренная капитуляция принесла одному мне — ведь в схватке я мог быть убит. А после, бежав из плена, я, несомненно, вернулся в деревню не только за мальчишкой, но и за мечом, как воротился за ним в руднике людей-обезьян, поскольку, утратив «Терминус Эст», стану просто бродягой без роду-племени…

В подобных раздумьях провел я около стражи,

однако, взбираясь на отвесный утес с мечом и мальчишкой на спине, по-прежнему не мог бы с уверенностью сказать, в какой мере забочусь о том и другом. По счастью, отдохнул я на славу, да и подъем оказался не из особо трудных, а одолев его, мы наткнулись на одну из древних дорог.

В жизни мне довелось повидать множество странных мест, но ни одно из них не вызывало во мне столь же сильного ощущения анормальности. Слева, не более чем в двух десятках шагов, широкое полотно дороги обрывалось: нижнюю часть ее унес в пропасть оползень. Справа же из-под наших ног змеею тянулась вверх, к каменному исполину, прячущему лик за пеленой облаков, лента сплошного черного камня, безукоризненно ровная, словно проложена только вчера.

Поставленный на ноги, мальчишка крепко вцепился в мою ладонь.

— Мать говорила, по дорогам ходить нельзя: на дорогах солдаты.

— Да, и не ошиблась, — отвечал я. — Но ведь она собиралась идти вниз, где солдат действительно хватает. Не сомневаюсь, когда-то здесь тоже имелись солдаты, однако все они умерли задолго до того, как самое большое дерево там, в

джунглях, проклюнулось из семени.

Мальчишка порядком замерз, и я, отдав ему одно из одеял, показал, как завернуться в него и придерживать, чтоб получилось нечто вроде плаща. Наверное, со стороны мы выглядели словно крохотная серая фигурка, сопровождаемая несоразмерно огромной тенью.

Вскоре путь привел нас в туман, что весьма меня удивило — откуда бы взяться туману на такой высоте? Лишь позже, поднявшись еще выше и взглянув вниз, на его верхний слой, озаренный лучами солнца, я понял, что это одно из облаков, казавшихся невероятно далекими там, в заросшей джунглями седловине.

Однако и седловина, и джунгли, оставшиеся так далеко внизу, вне всяких сомнений, возвышались над Нессом и нижним течением Гьёлля на многие тысячи кубитов. Тут мне и сделалось ясно, сколь далеко ушел я от столицы, если джунгли имеются даже на такой высоте. Выходит, мы добрались почти до самого пояса мира, где всегда лето, а разница в климате обусловлена только горами. Отправившись на запад, за пределы этих гор, я, согласно усвоенному на уроках мастера Палемона, очутился бы в джунглях настолько губительных, что рядом с ними те, недавно нами

покинутые, показались бы сущим раем — в прибрежных джунглях, в царстве жуткой жары и туч москитов, но даже в тех краях меня со всех сторон окружали бы признаки близкой гибели: да, эти джунгли получают такую же долю сил солнца, как и всякий другой уголок Урд, однако она куда меньше того, что доставалось им в прежние времена, а между тем растительность умеренных широт бежит к северу от наступающих с юга льдов, и посему деревья и травы тропиков гибнут, уступая место новоприбывшим.

Пока я любовался на облако под ногами, мальчишка изрядно ушел вперед. Теперь он с блеском в глазах оглянулся и крикнул:

— А кто сделал эту дорогу?

— Несомненно, рабочие, что превратили гору в статую. В их распоряжении наверняка имелись невообразимые силы, а также машины гораздо мощнее любых из нам известных. Однако им требовалось каким-то образом вывозить отсюда обломки камня и мусор. Наверное, когда-то по этой дороге катили тысячи повозок и колесниц.

Но все-таки кое-чего я не понимал и сам: ведь железные колеса подобных повозок оставляют следы даже на твердом булыжнике мостовых Тракса и Несса, а эта дорога была такой гладкой,

словно служила только для ритуальных процессий. «Пожалуй, — подумалось мне, — ею ходит лишь солнце да ветер».

— Гляди, Большой Севериан! Там рука!

Мальчишка указывал на острый каменный выступ высоко наверху. Задрав голову, я поначалу не нашел в нем, продолговатом отроге угрюмой серой скалы, ничего нового, но вдруг невдалеке от его оконечности что-то блеснуло на солнце. Без ошибки узнавший блеск золота, я сумел разглядеть, что золото — это кольцо, а под ним, застывший в камне, тянется вдоль скалы большой палец, наверное, в сотню шагов длиной, а над большим пальцем холмами высятся прочие.

Денег у нас не имелось, а между тем я понимал, как они нам пригодятся, когда мы, наконец, будем вынуждены вернуться в населенные земли. Если меня еще ищут, золото вполне может отвести взгляды ищущих в другую сторону. Кроме того, золотом можно заплатить за место ученика в достойной гильдии для маленького Севериана, так как продолжать странствия вместе со мной ему, ясное дело, совсем ни к чему. Вероятнее всего, огромное кольцо — лишь золотой лист поверх камня, но если и так, отодранный и скатанный в трубку, лист золота такой величины стоить будет

немало. Вдобавок, вопреки всем стараниям воздержаться от этих мыслей, я невольно задумался: а мог ли обычный лист золота продержаться на камне столь долгое время, многие сотни лет? Скорей уж давным-давно отслоился бы и упал. А если кольцо из цельного золота, денег оно стоит бешеных, однако на возведение подобного монумента не хватит даже всех состояний на Урд, и тот, кто оплатил его изготовление, должен был обладать богатствами поистине неисчислимыми. Пусть даже на ту часть кольца, что уходит под палец, золота пожалели, металла в нем все равно немало…

Поразмыслив обо всем этом, я поспешил дальше, наверх, и вскоре мои длинные ноги далеко опередили короткие ножки мальчишки. Время от времени дорога шла в гору так круто, что мне просто не верилось, будто по ней когда-то раскатывали груженные камнем повозки. Дважды нам преграждали путь трещины — одна такой ширины, что мне, прежде чем прыгать через нее самому, пришлось перебросить на ту сторону маленького Севериана. Надежды отыскать воду до остановки на ночлег не оправдались: к наступлению ночи нигде по пути не нашлось ни воды, ни укрытия хоть сколько-нибудь лучше неглубо-

кой расщелины в камне. Укутавшись одеялами и мом плащом, мы улеглись в нее и выспались, как сумели.

Наутро жажда усилилась. Сезон дождей должен был начаться лишь осенью, однако я сказал мальчишке, что нынче, по-моему, следует ждать дождя, и мы во вполне добром расположении духа двинулись дальше. Затем маленький Севериан, в свою очередь, научил меня унимать жажду, держа за щекой гладкий камешек (я этой горной хитрости прежде не знал). Ветер сделался холодней, а воздух — заметно разреженнее, чем накануне. По счастью, дорога петляла так, что время от времени нам удавалось немного погреться на солнце.

Все бы ничего, да только, петляя, лента дороги уводила нас от кольца все дальше и дальше, пока кольцо совсем не исчезло из виду, а мы не оказались в сплошной тени, невдалеке от коленей сидящей статуи. Последний крутой (как был бы я благодарен, выруби кто в нем ступени!) подъем — и тут впереди, словно парящие в прозрачном горном воздухе, показались высокие стройные островерхие башни.

— Тракс! — вскричал мальчишка.

Судя по его радости, о Траксе он слышал от ма-

тери множество сказок, а уводя их со стариком из родного дома, мать посулила туда его и отвести.

— Нет, — объяснил я, — это не Тракс. Это скорее похоже на мою Цитадель — на нашу Башню Матачинов, и Башню Ведьм, и Медвежью Башню, и Колокольную.

Мальчишка изумленно вытаращил глаза.

— Нет-нет, это, конечно же, не она. Просто… понимаешь, в Траксе я побывал, и Тракс — город каменный. А эти башни сооружены из металла, совсем как наши.

— У них глаза, — сказал маленький Севериан.

И вправду, глаза у башен имелись. Поначалу я решил, будто у меня разыгралось воображение — тем более что глазами обладали лишь некоторые из башен, — но тут осознал, что не все они стоят к нам лицом и что у башен этих, кроме глаз, есть и плечи, и руки… одним словом, что это вовсе не башни, а металлические фигуры катафрактов, воинов, с головы до пят закованных в латы.

— Это не настоящий город, — сказал я мальчишке. — Это стража Автарха, гвардейцы, стоящие на его коленях, готовые стереть в пыль любого, кто вздумает на него покуситься.

— А на нас они не набросятся?

— Страшновато, не так ли? Они вполне могли

бы затоптать нас с тобой, как мышей, но не затопчут, можешь не волноваться. Они — всего-навсего статуи, загробные стражи, поставленные здесь в память о его величии.

— Там еще и дома есть большие, — сообщил мальчишка.

Да, он снова оказался прав. Здания доставали колоссальным металлическим изваяниям разве что до пояса, оттого мы их поначалу и не заметили. В этом наша находка тоже напоминала Цитадель, где здания, не предназначенные для того, чтоб бросать вызов звездам, теряются на фоне башен. Возможно, виной тому был лишь разреженный воздух, но мне внезапно привиделось, будто металлические великаны медленно поднимаются, затем, двигаясь все быстрей и быстрей, вскидывают руки над головой и ныряют в небо, как мы с товарищами при свете факелов множество раз ныряли в темные воды резервуара.

Выметенный ветрами щебень наверняка скрипел под сапогами, но этого звука в памяти, как ни странно, не сохранилось. Вероятно, он потерялся в необъятности горной вершины, и к исполинским статуям мы подошли беззвучно, словно ступали по мху. Тени наши, в момент появления вытянувшиеся назад и влево, съежились, пре-

вратились в лужицы сумрака у самых ног, и я отметил, что прекрасно вижу глаза всех изваяний до одного. «Очевидно, некоторых сначала просто не разглядел, — подумалось мне, — а теперь они заблестели на солнце».

Наконец мы вышли к дорожке, тянувшейся среди статуй и окружавших их зданий. Я ожидал, что здания окажутся разрушенными, подобно тем, в заброшенном городе Апу-Пунчау, однако ошибся. Глухие, безмолвные, таинственные, они вполне могли быть возведены всего два-три года тому назад. Ни одной обвалившейся крыши, ни одного ползучего стебля, пробившегося сквозь щели меж квадратными серыми блоками каменной кладки… Окон в стенах не имелось, архитектура ничем не напоминала ни храмов, ни крепостей, ни усыпальниц, ни прочих построек знакомого назначения. Совершенно без прикрас, лишенные какого-либо изящества, выстроены они были великолепно, выше всяких похвал, а разница форм их, очевидно, указывала на разницу в функциях. Сверкающие фигуры возвышались над ними, словно замороженные на месте внезапным порывом студеного ветра, — обычно монументы выглядят совершенно не так.

Выбрав одно из зданий, я сказал мальчишке,

что мы проберемся туда и, если повезет, найдем внутри воду, а может, даже еду, консервы. Увы, все это оказалось пустым хвастовством. Двери не уступали прочностью стенам, кровля держалась едва ли не крепче фундамента. Будь при мне даже топор, я и тогда вряд ли сумел бы пробить нам путь в дом, а пустить в дело «Терминус Эст» не осмелился. Обшаривая дом в поисках слабых мест, мы потратили даром не одну стражу. Ни во второе, ни в третье здание проникнуть тоже не удалось.

— Вон еще дом, круглый, — сказал, наконец, мальчишка. — Пойду погляжу, что там.

Уверенный, что в этом пустынном месте никакие опасности ему не грозят, я отпустил его.

Вскоре маленький Севериан вернулся ко мне:

— Двери открыты!

XXIV. Мертвое тело

Каким целям служили прочие здания, я так никогда и не выяснил. Для чего предназначено это, круглое в плане, накрытое сверху куполом, не сумел понять тоже. Металл его стен — какой-то светлый, блестящий сплав, ничуть не похожий на лаково-темный металл башен Цитадели — с виду напоминал хорошо начищенное серебро.

Основанием сверкающему зданию служило ступенчатое подножие наподобие пьедестала, что показалось мне довольно странным: ведь исполинские изваяния катафрактов в древних доспехах стояли попросту, на мостовой. Внутрь вела не одна — целых пять дверей (прежде чем войти, мы обошли здание кругом), и все они были открыты. Заодно я внимательно осмотрел и двери, и пол возле них, однако пыли на таких высотах почти нет, а посему с уверенностью сказать, давно ли их оставили открытыми, мне не удалось. Покончив с разведкой, я велел мальчишке пропустить меня первым и переступил порог.

Нет, ничего не произошло. Даже после того, как маленький Севериан вошел за мной следом, двери не затворились, никакой враг на нас не

набросился, в воздухе не засверкали разноцветные сполохи таинственных сил, а пол под ногами остался по-прежнему тверд. Но, несмотря на это, меня никак не оставляло ощущение, будто мы сами вошли в ловушку, будто снаружи мы (как бы ни были голодны и измучены жаждой) оставались свободными, а здесь больше не вольны распоряжаться сами собой. Пожалуй, не будь со мною мальчишки, я бросился бы бежать со всех ног, но при нем не хотел выглядеть суеверным или испуганным, да к тому же чувствовал за собою обязанность отыскать воду и хоть что-нибудь съестное.

Внутри здание было битком набито самыми разными приспособлениями, которым я не знаю названий. На мебель, или на ящики, или на механизмы в моем понимании сего термина они не походили нисколько. Большинство их отличалось странным наклоном; в некоторых имелись ниши, словно бы для сидения (хотя сидеть пришлось бы в изрядной тесноте и вдобавок лицом к какой-либо части приспособления, а не к спутникам), а в некоторых других — углубления, на вид вполне позволявшие прилечь и отдохнуть.

Все эти приспособления стояли рядами вдоль широких проходов, тянувшихся к центру зда-

ния, прямых, словно спицы в колесе. Взглянув вдоль того, которым мы вошли внутрь, я смутно разглядел впереди нечто красное, а на нем еще что-то, бурого цвета и куда меньшей величины. Поначалу я ни тому ни другому особого внимания не уделил, однако, удовольствовавшись тем, что описанные выше приспособления не представляют для нас ни угрозы, ни какой-либо ценности, повел мальчишку к центру зала.

Красный предмет оказался чем-то вроде кушетки — весьма затейливой кушетки с ремнями, позволявшими надежно пристегнуть к ней пленника. Окружавшие ее механизмы, очевидно, обеспечивали питание оного и отведение нечистот. Кушетка стояла на небольшом возвышении, а на ней распростерлось мертвое тело, останки человека о двух головах. Сухой, разреженный горный воздух давным-давно вытянул из трупа всю влагу; подобно загадочным зданиям, он с равным успехом мог пребывать здесь хоть год, хоть целую тысячу лет. При жизни умерший был заметно выше меня — возможно, даже экзультантом, и мускулатурой обладал весьма впечатляющей, но сейчас я, наверное, мог бы без малейших усилий выдернуть из плеча его руку. Ни набедренной повязки, ни другой одежды на нем не имелось,

и хотя к внезапным изменениям величины детородных органов все мы привычны, ссохшиеся, они выглядели на удивление странно. На головах сохранилось немного волос, на правой — вроде бы черных, на левой — слегка желтоватых. Обе пары век были сомкнуты. В разинутых ртах белели остатки зубов. Напоследок мне бросилось в глаза, что пряжки ремней, которыми это создание могло быть привязано к кушетке, расстегнуты.

Однако в то время меня куда больше интересовал некогда кормивший его механизм. Напоминая себе самому, что древние машины нередко потрясающе долговечны, а эта, пусть даже давно оставшаяся без ухода, пребывает в самых благоприятных для сохранения работоспособности условиях, я покрутил все ручки, какие сумел отыскать, переключил все рычаги, но ничего пригодного в пищу от нее не добился. Мальчишка наблюдал за мной молча, но спустя некоторое время спросил, не умрем ли мы с голоду.

— Нет, — отвечал я. — Без пищи мы способны прожить намного дольше, чем ты мог бы подумать. Куда важнее добыть какого-нибудь питья, но если мы не найдем ничего подходящего здесь, выше на склоне горы наверняка должен быть

снег.

— А как умер он?

Сам не знаю отчего, я так и не смог заставить себя прикоснуться к мертвому телу, а вот мальчишка бестрепетно провел пухлыми пальцами вдоль иссохшей руки.

— Все люди смертны. Странно, что этакое чудовище до зрелости дожило. Обычно ему подобные умирают сразу же при рождении.

— Может, другие оставили его здесь, а сами ушли? — спросил маленький Севериан.

— То есть оставили здесь живым? А что, вполне могли. Вероятно, из-за того, что в землях, лежащих ниже, для него не нашлось бы места. А может, он сам не захотел уходить. Может, его пристегивали к этой кушетке, когда начнет безобразничать. Возможно, он был подвержен безумию либо приступам буйства… одним словом, если хоть что-то из этого правда, остаток дней он, очевидно, провел, блуждая по этой горе и возвращаясь сюда за едой и питьем, а когда то и другое иссякло, погиб.

— Тогда воды здесь не найти, — рассудительно заметил мальчишка.

— Верно. Однако мы ведь не знаем, вправду ли дело было именно так. Он мог умереть по другой

причине, еще до того, как припасы подошли к концу. Кроме того, все, о чем мы говорили, похоже, подразумевает, что для людей, превративших в изваяние гору, он был чем-то вроде ручного зверя, а может, и талисмана — видишь, какую роскошь для него здесь построили… А впрочем, все едино. Машины этой мне, видимо, не запустить.

— Я думаю, вниз идти надо, — объявил мальчишка, следом за мной выходя из круглого здания.

Я, оглянувшись назад, подумал, как глупы были все мои опасения. Двери остались открытыми, ничто внутри не шелохнулось, ничто не изменилось. Если там когда-либо и имелась ловушка, пружины ее наверняка проржавели многие сотни лет назад.

— И я так полагаю, — ответил я. — Однако день уже на исходе — видишь, как длинны наши тени? Мне очень не хотелось бы, чтоб ночь застала нас на спуске с противоположного склона, и сейчас я проверю, смогу ли добраться до кольца, которое мы видели утром. Возможно, там найдется не только золото, но и вода. Заночуем вот в этом круглом здании, укрывшись от ветра, а утром, с рассветом, пойдем вниз по северному склону.

Мальчишка кивнул в знак того, что все понял,

и довольно охотно пошел за мной искать путь к кольцу. Блестело оно на южной руке, так что мы в некотором смысле волей-неволей вернулись на тот же склон, по которому поднимались наверх, хотя и подошли к статуям катафрактов среди загадочных зданий с юго-востока. Я опасался, что подъем к руке окажется трудным, но, едва впереди показалась громада груди и плечо, заметил предмет своих прежних мечтаний — узкую лестницу, тянущуюся наверх. Однако одолеть многие сотни ступеней стоило мне изрядных усилий, а мальчишку большую часть пути нести на спине.

Каменное предплечье оказалось ровным и гладким, но, если держаться середины, падение мальчишке практически не угрожало. Велев ему взять меня за руку, я в нетерпении устремился вперед. Полы плаща развевались, звучно хлопали на ветру.

Слева от нас вдаль тянулся подъем, начатый накануне. За ним зеленели джунгли, одеялом укрывшие седловину меж гор. Еще дальше, за джунглями, окутанная дымкой, возвышалась гора, где Бекан с Касдо построили себе дом. На ходу я поискал взглядом их хижину или хотя бы ее окрестности и, наконец, разглядел вроде бы тот самый отвесный утес, с которого к ней

спускался, — цветное пятнышко на склоне той, меньшей горы, с крохотным, словно радужная пылинка, проблеском водопада посередине.

Увидев его, я остановился, обернулся и поднял взгляд к пику горы, по склону коей шли мы. Отсюда уже видна была и голова, увенчанная ледяной митрой, а несколько ниже — левое плечо, на котором могла бы упражняться в перестроениях и поворотах тысяча кавалеристов под командованием хилиарха.

Мальчишка, ушедший вперед, прокричал нечто не слишком внятное, указывая вниз, в сторону зданий и исполинских фигур металлических стражей. Приглядевшись внимательнее, я понял, что его взволновало: лица статуй были повернуты на три четверти к нам, точно так же, как утром. Выходит, их головы движутся? Тут я впервые проследил за направлением их взглядов… и обнаружил, что статуи смотрят на солнце.

— Вижу! — кивнув мальчишке, прокричал я в ответ.

Вскоре мы добрались до запястья. Впереди, словно небольшое горное плато, простиралась тыльная сторона ладони, куда шире, куда ровнее предплечья. Стоило мне ступить на нее, мальчишка со всех ног помчался вперед. Кольцо

блестело на среднем пальце, намного превосходившем величиной ствол величайшего на свете дерева. Без труда удерживая равновесие, маленький Севериан, точно по бревну, пробежал по нему, протянул вперед руки и с разбегу уперся в кольцо ладонями.

Кольцо окуталось вспышкой света — яркого, но ничуть не слепящего: окрашенный фиолетовым, в лучах предвечернего солнца этот свет казался едва ли не тьмой.

Поглощенный ею, маленький Севериан почернел, точно уголь. Какой-то миг я полагал, что он еще жив: голова мальчика запрокинулась назад, руки простерлись в стороны. Окутавшись облачком дыма, немедля унесенным прочь ветром, мальчишка судорожно, подобно дохлому жуку, поджал к животу руки и ноги, упал, покатился вниз и скрылся из виду в расщелине между средним и безымянным пальцами.

Повидавший на своем веку множество клейменний и абацинаций и даже пускавший клеймо в дело сам (среди миллиарда вещей, на всю жизнь запечатлевшихся в моей памяти, имеются и волдыри, вспухшие на щеках Морвенны), я с трудом смог заставить себя спрыгнуть вниз и взглянуть на него.

В узкой расщелине между пальцами белела россыпь костей, однако то были древние кости, захрустевшие под ногами, подобно осколкам костей на дорожках нашего некрополя, и я, не удосужившись осмотреть их, выхватил из ладанки Коготь. Когда я проклинал себя за то, что не воспользовался им у Водала на пиру, при виде поданного к столу тела Теклы, Иона велел мне не сходить с ума: ведь вернуть к жизни жареную плоть даже Когтю наверняка не по силам…

Теперь же в голове моей сама собой родилась мысль: если камень подействует, оживит маленького Севериана, я с превеликой радостью отведу его куда-нибудь в надежное место, а после перережу себе горло собственным мечом… потому что, способный на это, Коготь мог вернуть мне и Теклу, но я не прибег к нему вовремя, и Текла, ставшая частью меня самого, окончательно, бесповоротно мертва.

На миг тело мальчика словно бы окуталось мерцающей дымкой, а может, ореолом неяркого света, а после рассыпалось прахом, черным пеплом, взвихрившимся под дуновением ветра.

Я поднялся на ноги, спрятал Коготь и двинулся назад, отстраненно гадая, каким образом выбраться из расщелины на тыльную часть ладони.

(Для этого в конце концов пришлось опереться ногой на крестовину «Терминус Эст», поставленного стоймя, подтянуться, а после лечь на живот, свеситься вниз и вытащить меч, дотянувшись до яблока рукояти.) Скорее виной тому не путаница в памяти, а временное помрачение рассудка, однако образ маленького Севериана, пусть ненадолго, слился с образом другого мальчишки, Иадера, жившего в Траксе, деля убогий хакаль под отвесной скалой с умиравшей сестрой. Того из них, кто значил для меня столь многое, я спасти не сумел, другого же, не значившего почти ничего, исцелил от болезни, и вот теперь оба мальчишки казались мне одним и тем же. Несомненно, то была попросту некая защитная реакция разума, ищущего спасения, прячущегося от налетающей бури безумия, но в тот момент я нисколько не сомневался: пока жив Иадер, мальчишка, нареченный матерью Северианом, не может вправду уйти из жизни.

Выбравшись на тыльную часть ладони, я собирался остановиться и оглянуться, но не сумел — правду сказать, побоялся подойти к ее краю и броситься вниз. Остановился я лишь невдалеке от узкой лестницы из многих сотен ступеней, ведущей к просторам коленей горы. Там я усел-

ся на камень, вновь отыскал взглядом цветное пятнышко обрыва, под которым остался домик Касдо, и вспомнил бурого пса, встретившего меня лаем на пути сквозь лес к домику. Струсил он, этот пес, когда на хозяйский двор явился альзабо, но встретил смерть, впившись зубами в осквернённое тело зооантропа, пока я, тоже струсивший, держался в сторонке… Вспомнил я и усталое, миловидное лицо Касдо, и мальчишку, выглядывавшего из-за ее юбки, и старика, сидевшего, скрестив ноги, спиной к очагу и рассказывавшего о Фехине. Всех их постигла смерть — и Северу с Беканом, которых мне увидеть не довелось, и старика, и пса, и Касдо, и маленького Севериана, и даже Фехина. Все они ныне мертвы, все исчезли в тумане, заволакивающем наши дни… Сдается мне, само время есть нечто наподобие длинной-длинной ограды, бесконечного частокола из заостренных железных прутьев — лет, а мы, словно Гьёлль, течем себе мимо нее, к морю, и вернемся назад разве что в виде дождей.

Там, на предплечье каменного исполина, я понял: в сравнении с дерзновенными помыслами о покорении времени мечты о далеких солнцах — всего лишь мелкая страсть, толкающая какого-нибудь жалкого туземного царька в бусах да

перьях к порабощению соседнего племени.

Возле лестницы я просидел до тех пор, пока солнце почти не скрылось за вершинами гор на западе. Обычно спускаться по лестнице много легче, чем подниматься, однако мне страшно хотелось пить, а каждый шаг отдавался болью в коленях. День угасал, ветер сделался холоден, точно лед. Одно из одеял сгорело вместе с мальчишкой, и я, развернув второе, обмотал им плечи и грудь под плащом.

Примерно на полпути вниз я остановился передохнуть. От солнца к этому времени остался лишь тоненький красновато-бурый серпик. На глазах истончавшийся, он вскоре угас без остатка. В тот же миг огромные металлические катафракты внизу все, как один, беззвучно вскинули кверху ладони, салютуя минувшему дню, и вновь застыли недвижно, словно так, с поднятыми ладонями, и были изваяны.

Дивное зрелище на время смыло, унесло прочь все мои печали. Охваченный благоговейным восторгом, не смеющий шевельнуться, я замер, не сводя с изваяний глаз. С востока к горам стремительно мчалась ночь. Стоило ей поглотить последние отсветы дня, могучие руки воинов опустились вниз.

Не в силах опомниться, добрел я до скопления безмолвных зданий на коленях титанического монумента. Что ж, ожидаемого чуда не произошло, однако мне явлено было другое, а ведь чудеса, пусть даже с виду бессмысленные, есть неисчерпаемый кладезь надежд, так как неопровержимо доказывают: поскольку всего на свете нам не постичь, поражения наши — числом стократ превосходящие жалкую горстку ложных, пустяковых побед — вполне могут быть в той же степени ложными.

Из-за какой-то идиотской ошибки я ухитрился сбиться с пути, пытаясь вернуться к тому круглому зданию, где вместе с мальчишкой собирался заночевать, и слишком устал, чтоб искать его в темноте. Присмотрев вместо этого укромное, надежно защищенное от ветра местечко подальше от ближайшего из металлических стражей, я растер ноющие икры и поплотнее закутался в плащ. Должно быть, уснул я сразу, как только прилег, но вскоре меня разбудил звук мягких, негромких шагов.

XXV. Тифон и Пиатон

Услышав шаги, я поднялся, обнажил меч и замер в тени. Казалось, ожидание продолжается целую стражу, хотя на деле времени, несомненно, прошло куда меньше. Шаги доносились из темноты еще дважды — мягкие, быстрые, однако явно шаги человека недюжинного сложения, могучего, гибкого, легкого на ногу, спешащего куда-то едва ли не бегом.

Звезды здесь сияли во всей своей красоте — должно быть, так же ярко светят они морякам, зашедшим в их порты, когда поднимаются ввысь, рассыпаясь по небу золотистой вуалью, что накрывает от края до края целые континенты. В многокрасочном свете десяти тысяч солнц недвижные стражи и окружавшие меня здания были видны почти как днем. Мысль о студеных пустошах Дита, самого отдаленного спутника нашего солнца, повергает нас в ужас, однако для скольких солнц самым отдаленным спутником следует считать нас? Для жителей Дита (если на нем таковые имеются) вся жизнь — долгая-долгая звездная ночь.

Стоя под звездами, я несколько раз едва не

заснул и в эти минуты, на грани сна, неизменно тревожился о мальчишке, думал, что, встав, мог разбудить его, и гадал, где бы найти для него еды, когда солнце снова покажется из-за горизонта. Подобные мысли влекли за собой воспоминания о его гибели, и меня с головой накрывала волна безысходности — безысходности, черной как смоль, как ночь, накрывшая горы. Той ночью я понял, как повлияла на Доркас смерть Иоленты. Конечно, мы с мальчиком даже не думали о любовных играх вроде тех, которыми, полагаю, одно время тешились Доркас и Иолента, однако ревность во мне порождала вовсе не их плотская любовь. Глубина моих чувств к мальчишке нисколько не уступала глубине чувств Доркас к Иоленте (а уж глубину чувств Иоленты к Доркас, безусловно, намного превосходила). Зная об этом, Доркас, наверное, ревновала бы не меньше, чем порой ревновал ее я, если только любила меня так же крепко, как я ее.

В конце концов, не слыша больше шагов, я, как сумел, укрылся от посторонних глаз, лег и уснул. Засыпая, я полагал, что наутро вполне могу не проснуться или проснуться с ножом у горла, но ничего подобного не произошло. В грезах о воде я проспал рассвет, а проснулся совершенно один,

промерзший, окоченевший с головы до ног.

Сейчас меня уже нисколько не интересовали ни загадочные шаги, ни изваяния стражей, ни кольцо, ни прочие достопримечательности этого растреклятого места. Хотелось лишь одного — уйти отсюда, и как можно скорее, и, обнаружив, что по пути к северо-западному склону не нужно проходить мимо того самого круглого здания, я (хотя сам не смогу объяснить почему) обрадовался, как ребенок.

Не раз и не два мне казалось, будто я повредился умом, так как на мою долю выпало множество немыслимых приключений, а величайшие приключения в жизни сильнее всего влияют на наше сознание. Так вышло и в тот день, когда навстречу мне из-за ступней ближайшего катафракта вышел человек, заметно превосходящий меня ростом и много шире в плечах. Пожалуй, он вполне мог бы сойти за одно из фантастических созвездий, упавшее на Урд с ночного неба и облекшееся в плоть человека: плечи его венчала не одна — две головы, словно у великана в той всеми забытой сказке из «Чудес Урд и Неба».

Моя рука инстинктивно потянулась к рукояти меча за плечом. Одна из голов от души рассмеялась (чего-чего, а смеха при виде огромного

клинка, извлекаемого из ножен, мне не доводилось слышать ни до, ни после).

— Чего испугался? — окликнул меня двухголовый. — Вижу, ты снаряжен не хуже меня. Как звать твоего друга?

При всем моем изумлении, не восхититься его отвагой я просто не мог.

— Зовут его «Терминус Эст», — ответил я, повернув меч так, чтоб он смог разглядеть надпись, выгравированную на клинке.

— «Се Есть Черта Разделяющая»… Неплохо, неплохо! Просто прекрасное имя, а здесь и сейчас — вдобавок весьма подходящее к случаю, так как на сей раз меж старым и новым вправду проляжет черта, какой еще не видывал мир. Ну а моего друга зовут Пиатоном, и это, боюсь, не означает ничего особенного. Как слуга он уступает твоему мечу, но скакун из него, пожалуй, куда как лучше.

Услышав свое имя, вторая голова вытаращила глаза (прежде полузакрытые), закатила зрачки под лоб, зашевелила губами, словно бы говоря что-то, однако не произнесла ни звука. Я счел все это проявлением некоей разновидности слабоумия.

— Но сейчас оружие можешь убрать. Как ви-

дишь, я безоружен и вдобавок уже обезглавлен и в любом случае зла тебе не желаю.

С этими словами он поднял руки, повернулся ко мне одним боком, а затем и другим — будто затем, чтобы я не усомнился в его наготе, и без того достаточно очевидной.

— Не сын ли ты, случаем, тому человеку, которого я нашел мертвым вон там, в круглом здании? — спросил я, вложив «Терминус Эст» в ножны.

— Вовсе нет, — отвечал двухголовый, подступив ко мне на шаг ближе. — Я и есть этот человек.

Из глубин памяти, словно из кофейно-бурых вод Птичьего Озера, всплыла Доркас, и я снова почувствовал ее мертвую ладонь, стиснувшую мои пальцы.

— И я вернул тебя к жизни?!

Вопрос сорвался с языка сам собой.

— Вернее сказать, твое появление разбудило меня. Ты принял меня за мертвого, а я всего-навсего высох. А теперь вдоволь напился и, как видишь, живу себе дальше. Вода — это жизнь, а искупаться в воде — все равно что родиться заново.

— Если ты говоришь правду, это просто чудесно, однако я сам так нуждаюсь в воде, что сейчас

мне не до чудес. Ты сказал, что напился, а судя по разговору, настроен ко мне вполне дружески. Будь добр, докажи это делом. Я уже долгое время ничего не ел и не пил.

Говорящая голова улыбнулась:

— Знаешь, твои желания просто на диво совпадают с моими замыслами, да и выглядишь ты весьма уместно — во всем, вплоть до одежды. Я как раз собирался пригласить тебя туда, где еды и питья вдоволь. Ступай за мной.

Пожалуй, в то время я последовал бы за всяким, посулившим отвести меня к воде. С тех пор я не раз пытался внушить себе, будто пошел за двухголовым из любопытства или в надежде раскрыть тайну огромных катафрактов, но, как ни копаюсь в памяти, вспоминая пережитое, ни разу еще не нашел в ее недрах ничего, кроме отчаяния и мучительной жажды. Перед глазами неотступно маячили серебристые витые колонны водопада над домиком Касдо, и Профетический Фонтан в садах Обители Абсолюта, и бурный поток, хлынувший вниз из резервуара на вершине утеса, в Траксе, когда я открыл шлюзовые ворота, чтоб затопить Винкулу…

Двухголовый двинулся вперед, словно нисколько не сомневался, что я пойду следом и не

ударю его в спину. Стоило нам свернуть за угол, мне сделалось ясно, что ночевал я вовсе не на одной из улиц, расходящихся во все стороны от круглого здания. Круглое здание оказалось прямо перед нами. Дверь — хоть и не та, сквозь которую внутрь вошли мы с маленьким Северианом, — по-прежнему оставалась открытой, и я следом за двухголовым переступил порог.

— Вот, — объявила говорящая голова. — Полезай.

Предмет, на который он указал небрежным взмахом руки, больше всего напоминал лодку, сплошь обитую изнутри чем-то мягким, совсем как лодки-ненюфары в садах Автарха, однако плавал он не в воде — в воздухе. Когда я коснулся планшира, лодка едва заметно запрыгала, закачалась под нажимом ладони.

— Это, наверное, флайер, — сказал я. — Никогда еще их так близко не видел.

— Видишь ли, флайер — он нечто вроде ласточки, а эта посудинка… хм… даже не знаю, с чем ее лучше сравнить. Пожалуй, что с воробьем. Или с кротом. Или с той игрушечной птичкой, которую дети лупят ракетками, перебрасывая друг другу. Боюсь, законы учтивости требуют, чтоб ты поднялся на борт первым. Уверяю, ничего страшного

с тобой не случится.

Однако я не спешил. От суденышка веяло чем-то настолько таинственным, что заставить себя взойти на борт оказалось непросто.

— Знаешь, я родом из Несса, с восточного берега Гьёлля, и у нас учат, что наивысшая честь — взойти на борт любого судна последним, а сойти первым.

— Так и есть, — подтвердила говорящая голова, и не успел я опомниться, как двухголовый схватил меня за пояс и перебросил в лодку с той же легкостью, с какой я мог бы забросить в нее маленького Севериана.

Под моей тяжестью суденышко качнулась вниз, заплясало на месте и тут же угрожающе резко накренилось вбок: двухголовый прыгнул в лодку следом за мной.

— Надеюсь, ты себя выше меня не считаешь?

С этим он прошептал что-то себе под нос, и лодка пришла в движение, заскользила вперед — поначалу медленно, затем все быстрей и быстрей.

— Именоваться учтивостью, — продолжал он, — достойна только учтивость истинная. Учтивость, которая не лжет. Преклоняя колени перед монархом, плебей подставляет ему шею, а отчего?

Оттого, что знает: правитель волен лишить его жизни. Подобные простолюдины говорят — или, вернее, говаривали в прежние, лучшие времена — будто я не люблю правды. Но правда-то в том, что именно правду, открытое признание фактов, я ценю превыше всего остального.

Все это время мы лежали, вытянувшись во весь рост, не более чем в ширине ладони один от другого. Голова, пораженная слабоумием, названная другой головой Пиатоном, выпучилась на меня, зашевелила губами, забормотала, замычала что-то невнятное.

Я приподнялся, собираясь сесть, но двухголовый железной рукой ухватил меня за плечо и вновь уложил на дно лодки.

— Не стоит. Опасно, — пояснил он. — Ездят в этих штуковинах исключительно лежа. Ты ведь не хочешь остаться без головы? Поверь, это немногим лучше, чем обзавестись лишней.

Лодка клюнула носом и стремительно понеслась в темноту. На миг мне показалось, что тут-то нам и конец, однако страх смерти немедля сменился ощущением головокружительной скорости, знакомым с раннего детства, с тех зимних дней, когда мы катались со снежных склонов среди мавзолеев на пышных еловых лапах.

— Ты таким и родился? — попривыкнув к сему ощущению, спросил я. — Или Пиатона тебе, так сказать, навязали в товарищи? Приживили каким-то образом?

Думаю, в глубине души я уже понимал: чем больше сумею узнать об этом странном создании, тем вернее останусь в живых.

Говорящая голова от всего сердца расхохоталась.

— Имя мое — Тифон, так ко мне можешь и обращаться. Слыхал обо мне? Когда-то я правил и этой планетой, и многими прочими.

— Эхо молвы о твоем могуществе до сих пор гуляет по миру… Тифон, — ответил я, уверенный, что он лжет.

Двухголовый вновь разразился хохотом.

— Ты едва не назвал меня Императором или еще кем-то вроде, не так ли? Это у тебя еще впереди. Нет, я не был рожден в таком виде, да и рожден вообще — в твоем понимании этого слова. И Пиата ко мне вовсе не приживляли. Это меня приживили к нему. Что ты об этом скажешь?

Лодка неслась вниз с такой быстротой, что свистело в ушах, однако спуск казался не настолько крутым, как прежде. Пока я размышлял над ответом, суденышко почти выровнялось.

— А тебе этого хотелось?

— Я сам так повелел.

— Тогда это, по-моему, крайне странно. Зачем же такое могло понадобиться?

— Как зачем? Чтоб жить дальше, конечно же.

Вокруг сделалось так темно, что я больше не мог разглядеть ни одного из его лиц, хотя голова Тифона покоилась на дне лодки меньше чем в кубите от моей.

— Все живое стремится сохранить жизнь — таков уж, как говорится, Закон Бытия. Но, видишь ли, наши тела гибнут задолго до нас. Более того, без натяжек можно сказать, что мы умираем лишь потому, что умирают они. И вот мои врачи — а я, естественно, отобрал себе лучших из врачей многих миров — взялись предоставить мне новое тело. Первым делом им пришло на ум пересадить мой мозг в череп другой особы, однако… догадываешься, в чем тут изъян?

— Нет. Боюсь, не догадываюсь, — ответил я, не понимая, всерьез он или шутит.

— Лицо… лицо! Лицо в таком случае будет утрачено, а ведь именно этому лицу люди привыкли повиноваться! — Во мраке его пальцы клещами стиснули мое плечо. — И я сказал им: нет, так не пойдет. Тогда один предложил заменить голову

целиком. Так, дескать, даже проще, поскольку сложные нейронные связи, отвечающие за речь и зрение, останутся нетронутыми. В случае успеха я пообещал ему палатинат.

— А вот мне, — начал я, — кажется…

Тифон рассмеялся снова.

— Что начать лучше всего с удаления прежней головы? Да, я и сам думаю точно так же. Однако методика искусственного формирования нейронных связей оказалась крайне сложна, и врач тот после множества опытов — в материале я ему, разумеется, не отказывал — установил: путем хирургическим лучше всего формировать лишь те, что отвечают за сознательные, произвольные функции. Непроизвольные после этого со временем сформируются сами собой, после чего прежнюю голову можно безбоязненно удалить. Шрам, конечно, останется, но его нетрудно прикрыть рубашкой.

— Однако что-то пошло не так?

К этому времени я отодвинулся от двухголового, насколько позволяла узкая лодка.

— Время, время… главным образом в нем-то и оказалась загвоздка. — До тех пор не слабевшая, жуткая мощь его голоса пошла на убыль. — Пиатон был одним из моих рабов, не самым рослым,

однако сильнейшим — мы испытали всех. Мне даже в голову не пришло, что некто, обладающий подобной силой, способен с не меньшей силой цепляться за власть над сердечной деятельностью…

— Понимаю, — сказал я, хотя на самом деле не понимал ничего.

— К тому же то был период великой смуты. Мои астрономы утверждали, будто распад, угасание нашего солнца — процесс весьма медленный, настолько медленный, что за время человеческой жизни перемен не заметить… но ошибались. В течение каких-то нескольких лет температура нашего мира снизилась почти на две тысячных доли и на том стабилизировалась. Неурожаи, голод, бунты… эх, вот тогда бы мне и уйти…

— Отчего же ты не ушел? — спросил я.

— Чувствовал, что мир нуждается в твердой руке. А твердая рука может быть только одна, будь то рука правителя или чья-то еще. Но тут — разумеется, как же без этого — появился тот чудотворец. На самом деле смутьяном он вовсе не был, хотя кое-кто из моих министров утверждал обратное, и я, до завершения лечения пребывавший здесь, услышав, что любые хвори или уродства словно бы обходят его стороной, прика-

зал доставить его ко мне.

— Миротворец, — проговорил я и в следующий же миг готов был откусить свой болтливый язык.

— Да, именовали его и так. Ты знаешь, где он сейчас?

— Умер. Умер многие хилиады тому назад.

— Но все-таки в каком-то смысле по-прежнему здесь, с нами?

Его замечание оказалось столь неожиданным, что я поспешно опустил взгляд к ладанке на шее — проверить, не пробивается ли наружу лазоревый свет.

В это время суденышко, везшее нас, подняло кверху нос и устремилось вверх. Свист ветра в ушах обернулся ревом торнадо.

XXVI. Глаза мира

Вероятно, наша лодка управлялась при помощи света: едва вокруг нас вспыхнул свет, она тут же остановилась. На коленях горы я изрядно страдал от холода, однако сейчас все эти страдания казались сущим пустяком. Воздух был тих и спокоен, но так мерзнуть мне не доводилось даже самой суровой из зим, а стоило только подняться и сесть, голова закружилась от напряжения сил.

Тифон ловко выпрыгнул за борт.

— Давненько, давненько я здесь не бывал! Как ни крути, а приятно в кои-то веки вернуться домой…

Суденышко привезло нас в совершенно пустые покои, вытесанные в толще камня, огромные, словно бальный зал. Свет проникал внутрь сквозь пару округлых окон в их дальнем конце, каждое — примерно десяти кубитов шириной. Разделяло окна около сотни шагов. Тифон быстрым шагом направился к ним, я двинулся следом и только тут заметил, что его босые ступни оставляют на каменном полу отчетливые темные отпечатки. Из-за окон мело. Упав на колени, я зачерпнул горсть снега, сугробиком скопившегося на полу,

и поспешно набил им рот.

Никогда в жизни не пробовал я ничего вкуснее! Жар языка, вмиг растопивший снег, превратил его в сущий нектар. Казалось, я мог бы простоять здесь, на коленях, пожирая его, всю оставшуюся жизнь. Тифон, обернувшись и увидев меня, рассмеялся.

— Да я и забыл, как ты измучен жаждой! Не спеши, времени у нас полным-полно. То, что я хочу показать тебе, подождет.

Губы Пиатона тоже зашевелились, как прежде, и мне почудилось, будто на лице слабоумного мелькнула гримаса сочувствия. От этого я снова пришел в себя — хотя дело, возможно, было лишь в полудюжине глотков талого снега. Проглотив последнюю горсть, я остался на месте, принялся соскребать с пола еще одну, но между тем спросил:

— Ты рассказывал о Пиатоне. Отчего он не говорит?

— Дышать, бедняга, не может, — объяснил Тифон, нянча в ладони восставшее, налившееся кровью мужское достоинство. — Я, как уже говорил, контролирую все произвольные действия, а скоро обрету власть и над непроизвольными. Ну а бедный Пиатон пока сохраняет способность

шевелить языком и губами, но что касается речи, тут он — словно музыкант, жмущий на клапаны флейты, в которую не способен дуть. Когда насытишься снегом, скажи, и я отведу тебя туда, где ты сможешь разжиться чем-нибудь посущественнее.

Я сунул в рот еще горсть снега и проглотил его.

— Этого хватит. Да, проголодался я очень.

— Прекрасно, — сказал Тифон и, отвернувшись от окон, двинулся к одной из боковых стен.

Подойдя ближе, я обнаружил, что сооружена она не из простого камня, как думалось мне поначалу. Скорее то был какой-то кристалл либо толстое дымчатое стекло, а в толще его виднелись караваи хлеба и множество странных блюд — недвижных, безупречных, словно еда, запечатленная на полотне живописца.

— У тебя есть талисман немалой силы, — сказал Тифон. — Дай его мне, и тогда мы сможем открыть этот… буфет.

— Боюсь, я не понимаю, о чем ты. Тебе нужен мой меч?

— Мне нужно то, что ты носишь на шее, — ответил он и протянул руку к ладанке.

Я отступил назад.

— В ней никакой силы нет.

— Тогда ты ничего и не теряешь. Дай ее мне.

В тот же миг голова Пиатона легонько, едва уловимо для глаз, качнулась из стороны в сторону.

— Это всего-навсего старинная безделушка, — сказал я. — Когда-то я вправду думал, будто в ней заключена немалая сила, но когда попытался исцелить ею прекрасную девушку, лежавшую при смерти, она не подействовала, а вчера не смогла вернуть к жизни путешествовавшего со мною мальчишку. А как ты узнал о ней?

— Следил за вами, как же еще! Взобрался достаточно высоко и прекрасно вас видел. А когда мое кольцо спалило мальчишку и ты спустился к нему, увидел священный огонь. Нет, если не хочешь, давать ее мне в руки не обязательно — просто сделай, как я скажу.

— Ты мог предупредить нас загодя, — заметил я.

— С чего бы? В то время я вас знать не знал. Так ты хочешь есть или нет?

Я вынул камень из ладанки. В конце концов, его видели Доркас с Ионой, да и Пелерины, по слухам, в дни больших празднеств выставляли монстранцию с ним напоказ. На ладонь Коготь лег словно синее стеклышко: огня в нем как не бывало.

Тифон с интересом склонился над ним:

— Не слишком-то впечатляет. Теперь преклони колено.

Я опустился на колено.

— Повторяй за мной: «Клянусь всем, олицетворяемым сим талисманом, за полученную мною пищу стать послушным орудием особы, известной мне под именем Тифона, до конца дней…»

Тенета, рядом с которыми сеть Декумана казалась проще простого, примитивнее примитивного, с каждым его словом затягивались все туже и туже. Сплетенные Тифоном чары были так тонки, что я едва замечал их, но каждая нить его сети казалась холоднотянутой стальной проволокой.

— «…и отдавать ему все, что имею, и все, что буду иметь, все, чем владею и буду владеть в дни грядущего, его волею жить и его волею принять смерть».

— Нарушать обеты мне уже приходилось, — сказал я. — Если приму этот, придется нарушить и его.

— Ну так прими, и дело с концом, — откликнулся Тифон. — Это не более чем ритуал, но формальности следует соблюсти. Прими клятву, а я разрешу тебя от нее, как только ты насы-

тишься.

Однако я поднялся на ноги.

— Ты говорил, будто любишь правду. Теперь я вижу, в чем суть: речь о правде, связующей по рукам и ногам.

Не спрячь я Коготь в ладанку — расстался бы с ним в следующий же миг. Схватив меня, прижав мои руки к телу так, что я не смог выхватить из ножен «Терминус Эст», Тифон помчался к одному из окон. Сопротивлялся я изо всех сил, но… с тем же успехом трехмесячный щенок мог бы рваться из рук энергичного, крепкого человека.

Вблизи из-за огромной величины окно казалось вовсе не окном — в зал словно бы сама собой вторглась часть внешнего мира, и часть та являла собой не пустоши и леса у подножья горы (как следовало бы ожидать), а лишь бескрайний простор части неба. Каменная стена зала, меньше кубита в толщину, мелькнула мимо, точно мутная линия, граница, отделяющая воду от воздуха, какой она видится плывущему с открытыми глазами.

Так я и оказался снаружи. Тифон перехватил меня за лодыжки, но из-за толстой кожи сапог, а может, просто с перепугу мне на миг показалось, будто я лечу вниз. Спина моя обратилась к гро-

маде горы, мягкий мешочек с Когтем закачался под теменем, удерживаемый подбородком. Еще помню внезапный нелепый страх: что, если «Терминус Эст» выскользнет из ножен?

При помощи мускулов живота, подобно гимнасту, висящему на трапеции, держась за нее ступнями, я согнулся в поясе, подняв плечи и голову кверху, однако Тифон, отпустив одну из лодыжек, врезал мне по зубам. Вскрикнув, распрямившись и снова повиснув над бездной вниз головой, я принялся протирать глаза, залитые кровью из разбитых губ.

Искушение выхватить меч, вновь подтянуть тело кверху и ударить в ответ казалось неодолимым, однако Тифон вполне успел бы понять, что я затеял, и отпустить мои ноги, а в случае успеха меня все равно ждала гибель.

— Призываю тебя немедля…

В бескрайнем золотистом просторе донесшийся сверху голос Тифона звучал будто откуда-то издали.

— …немедля потребовать от твоего талисмана любой помощи, какая ему под силу.

Пауза. Каждый миг тишины — сама Вечность.

— Способен он помочь тебе?

— Нет, — кое-как выдавил я.

— Ты понимаешь, где оказался?

— Вижу. Перед лицом. Перед лицом горы-автарха.

— Это мое лицо — разве не узнаешь? Автарх этот — я, и я снова вернулся в мир. А ты сейчас перед самыми моими глазами, спиной к зрачку правого. Уразумел? Ты — лишь слезинка, одинокая черная слезинка, оброненная мной. В один миг могу я разжать руки, и ты станешь всего-навсего пятнышком на моих одеждах. Кто в силах спасти тебя, Хранителя Талисмана?

— Ты. Тифон.

— Только я?

— Только Тифон.

Двухголовый поднял меня наверх, и я, вцепившись в него, как некогда цеплялся за меня мальчишка, сумел разжать руки лишь далеко в глубине зала, черепной полости горы.

— Ну а теперь, — объявил Тифон, — попробуем снова. Ты должен вернуться со мною к глазу, и на сей раз — по собственной воле. Возможно, тебе будет проще, если мы направимся к левому глазу, не к правому.

С этим он взял меня за плечо. Пожалуй, вполне можно сказать, что к глазу я подошел по собственной воле, поскольку ноги переставлял сам,

однако идти куда-либо с большей неохотой мне в жизни еще не приходилось — только память о недавнем унижении и удерживала от отказа. Остановились мы лишь у самого краешка глаза, и тут Тифон жестом велел мне выглянуть наружу. Под нами покачивался, волновался бескрайний океан облаков, синих в тени, розовых в лучах солнца.

— Скажи, автарх, как мы очутились здесь, наверху, хотя везшая нас лодка долго мчалась вниз длинным подземным ходом? — спросил я.

Тифон слегка раздраженно повел плечом:

— С чего бы силе притяжения служить Урд, когда она может послужить Тифону? Но все-таки Урд красива. Взгляни, взгляни: перед тобой простерлась мантия этого мира! Разве она не прекрасна?

— Воистину прекрасна, — подтвердил я.

— Эта мантия может стать твоей. Я уже говорил, что некогда был автархом многих миров, и снова стану автархом, и на сей раз изрядно умножу число покоренных миров. Этот мир, самый древний из всех мне подвластных, я сделал своей столицей. И совершил ошибку, задержавшись на нем с приходом беды. К тому времени, как я решил бежать, путь к бегству оказался закрыт: те,

кому меня угораздило доверить командование кораблями, способными достигать звезд, бежали на них, а я остался здесь, на этой горе, осажденный со всех сторон. Но более я этой ошибки не повторю. Столицу устрою где-либо еще, а этот мир отдам тебе — правь им как мой вассал.

— Но я ничем не заслужил столь высокого положения, — возразил я.

— Запомни, Хранитель Талисмана: никто, даже ты, не смеет требовать от меня оправданий своим поступкам. Взгляни лучше на свою империю!

Пока я выслушивал его отповедь, далеко внизу, под нами, поднялся ветер. Всклубившиеся под его плетью облака, точно солдаты, выстроились в шеренги и плечом к плечу двинулись на восток. Еще ниже, под ними, виднелись горы и прибрежные равнины, а за равнинами — тонкая голубая линия моря.

— Гляди, гляди! — не унимался Тифон.

Взглянув, куда он указывает, я разглядел в горах на северо-востоке вспышку света — крохотную, с булавочную головку.

— Там было пущено в дело какое-то энергетическое оружие немалой мощности, — пояснил он. — Возможно, правителем этой эпохи, возможно, его врагами. Как бы там ни было, теперь его

местонахождение известно, и он будет уничтожен. Нынешние армии слабы и разлетятся под нашими цепами, как полова в пору молотьбы.

— Откуда тебе это знать? — усомнился я. — До нашего с сыном прихода ты был все равно что мертв.

— Верно, однако с тех пор я прожил почти целый день и проник мыслью в дальние дали. Сейчас в морях имеются силы, рвущиеся к власти. Они станут нашими рабами, а орды с севера уже служат им.

— А что же ждет жителей Несса?

Промерзший до самых костей, я больше не мог сдерживать дрожи в коленях.

— Несс, если хочешь, станет твоей столицей. А ты, со своего престола в Нессе, будешь присылать мне дань — прекрасных девушек и мальчиков, древние механизмы и книги и всякое иное добро, которым богата Урд.

С этим Тифон указал в другую сторону. Там, вдалеке, точно зеленая с золотом шаль, расстеленная на лужайке, виднелись сады Обители Абсолюта, за ними высилась Городская Стена, а за нею тянулся к горизонту на многие сотни лиг, так, что в бесконечной россыпи крыш и извилистых улиц терялись даже башни Цитадели, сам великий

город, Несс, Град Несокрушимый.

— На свете нет и не может быть гор такой высоты, — сказал я. — Если эту, величайшую во всем мире, водрузить на вершину второй по величине после нее, человек и тогда не смог бы видеть отсюда так далеко, как сейчас вижу я.

Тифон крепко стиснул мое плечо.

— Эта гора достигает любой величины, какая угодна мне. Или ты забыл, чей лик украшает ее?

С ответом я не нашелся — только уставился на него, не зная, что тут сказать.

— Глупец, — подытожил Тифон. — Ты же смотришь на мир сквозь мой глаз! Ну а теперь доставай талисман. Я, так и быть, выслушаю твою клятву на нем.

Не прекословя, я (как полагал, в последний раз) извлек Коготь из кожаного мешочка, сшитого для него Доркас, и в тот же миг далеко внизу что-то слегка шевельнулось, пришло в движение. Вид на мир за окном зала по-прежнему сохранял невообразимое великолепие, однако теперь в окне виднелось лишь то, что откроется всякому с вершины могучей горы, — голубой диск Урд. Сквозь тучи я различил колени горы, и множество прямоугольных строений с округлым зданием в центре, и… и катафрактов. Металлические стра-

жи медленно, но неуклонно отворачивались от солнца, поднимали головы, устремляя взгляды на нас.

— Видишь? Они приветствуют меня, — сказал Тифон.

Губы Пиатона тоже зашевелились, однако иначе, и на этот раз я понял, что он хочет сказать.

— Прежде ты подходил к другому глазу, и никаких почестей они тебе не оказывали, — возразил я Тифону. — Смотри: салютуют они не тебе — Когтю! А кстати, автарх, как примешь ты приход Нового Солнца, если оно — он — наконец-то придет? Станешь врагом и ему, как стал врагом Миротворцу?

— Клянись! Клянись, и, уж поверь мне, когда он придет, я стану его господином, а он — смиреннейшим из моих рабов!

Я нанес удар.

Удар основанием ладони позволяет проломить переносицу так, что осколки кости поразят мозг. Однако бить следует очень быстро, поскольку, заметив удар, противник инстинктивно, без размышлений, вскинет руки и прикроет лицо. Намного превосходивший меня быстротою реакции, Тифон так и сделал, но, защищаясь, закрыл поднятыми ладонями собственную переносицу.

Я же метил в Пиатона, и под ударом кость его носа подалась внутрь, издав негромкий, леденящий кровь хруст — тот самый, что возвещает мгновенную смерть.

В тот же миг сердце раба, на протяжении множества хилиад служившее его господину, остановилось, а еще миг спустя я пинком сбросил мертвое тело Тифона вниз.

XXVII. Среди горных просторов

Ждать от летучей лодки повиновения не приходилось, так как я не знал подчиняющего ее слова. (После я не раз думал, что это слово вполне могло оказаться среди всего сказанного Пиатоном, кроме совета лишить его жизни. Увы, понять его прежде мне не удалось.) В конце концов спускаться вниз пришлось из правого глаза, и то был худший, труднейший спуск в моей жизни. В сей сверх меры затянутой повести о своих приключениях я не раз поминал о том, что ничего не забываю, а вот большую часть его подробностей позабыл начисто: донельзя изнуренный, двигался я словно во сне. Лишь к ночи, кое-как дотащившись до безмолвных, накрепко запертых зданий меж ног катафрактов, я лег под стену, укрылся за нею от ледяного ветра и уснул.

Ужасающей красоты своей горы не теряют, даже готовясь лишить путника жизни — более того, на мой взгляд, как раз в это время она наиболее очевидна, а охотники, идущие в горы тепло одетыми, на сытый желудок, и покидающие их, ничуть не замерзнув, нисколько не проголодав-

шись, нечасто имеют возможность узреть ее. С горных высот весь мир кажется огромной естественной котловиной, доверху полной чистой воды — недвижной, холодной как лед.

Спустился я за тот день далеко, к высокогорным равнинам, тянущимся вперед на многие лиги, густо поросшим душистой зубровкой и цветами, каких ни за что не найти в краях низменных — мелкими, быстро отцветающими, но совершенством и чистотой неизмеримо превосходящими любую из роз.

Просторы равнин нередко обрамляли отвесные скалы. Не раз и не два мне думалось, будто дальше на север дороги нет, будто отсюда, хочешь не хочешь, придется идти назад, однако в конце концов удобный подъем или спуск среди скал находился, и я шел вперед и вперед. Солдат — хоть конных, хоть пеших — внизу было не видать. С одной стороны, это радовало, так как я все еще опасался охотящихся за мной патрулей архонта, с другой же — тревожило, поскольку означало, что маршруты снабжения армии остались далеко в стороне.

Вдобавок мне не давали покоя неотвязные воспоминания об альзабо: зверей этих в здешних горах наверняка водилось немало, да и

полной уверенности в смерти того, первого, я, признаться, не чувствовал. Как знать, насколько живучими могут быть подобные твари? Конечно, при свете дня я вполне мог забыть о них, вытеснить их, так сказать, из головы тревогами о появлении (либо отсутствии) поблизости солдат и тысячами прекраснейших видов на пики гор, водопады и покатые равнины, окружавшие меня со всех сторон, но ночью, едва я, сжавшись в комок, охваченный жаром, завернулся в одеяло и плащ, страхи вернулись, набросились на меня с новыми силами. Казалось, из темноты вот-вот донесется мягкая поступь могучих лап и скрежет когтей.

Многие утверждают, будто наш мир упорядочен согласно некоему замыслу (неважно, сложившемуся до его сотворения или складывавшемуся в течение миллиардов эонов существования мира на основании неумолимой логики развития и роста). Что ж, если так, всякая вещь на свете есть миниатюрное воплощение какого-либо высшего, величайшего великолепия и в то же время лучшее, усовершенствованное отражение явлений более мелких. Дабы отвлечь внимание от неотступных воспоминаний о страхе перед альзабо, я время от времени пробовал сосредото-

читься на той грани их естества, что позволяет им объединять собственные воспоминания, опыт и устремления с человеческими. Нащупать параллель с чем-то более мелким труда не составило. С этой точки зрения альзабо вполне могли быть уподоблены некоторым насекомым, покрывающим тело чем-то вроде панциря из прутиков и соломинок, чтобы укрыться от взора врагов. Вроде бы никакого обмана: соломинки, прутики, кусочки листьев вполне настоящие… однако внутри — насекомое! Точно так же дела обстоят и с альзабо. Говоря со мною устами зверя, Бекан сказал, что хочет взять жену и сына к себе — и искренне верил, будто описывает собственные стремления, и даже нисколько в той вере не заблуждался, однако служили его стремления исключительно наполнению брюха альзабо, таящегося внутри, прячущего за голосом Бекана собственный разум и нужды.

Проблема соотнесения альзабо с некоей истиной высшего порядка оказалась (что и неудивительно) значительно сложнее, однако в итоге я решил уподобить помянутую выше грань их естества поглощению материальным миром деяний и мыслей людей, запечатленных, пусть их самих давным-давно нет в живых, в оставленном

ими наследии, будь то здания, песни, победы в боях, результаты открытий — во всем, хранящем память о них после смерти и, так сказать, позволяющем им оставаться среди живых. Схожим образом девчонка по имени Севера надоумила альзабо передвинуть стол, чтоб добраться до чердачного люка в хижине Касдо, хотя никакой девчонки по имени Севера на свете более не существовало.

Что до меня самого, я мог прибегнуть к опыту Теклы, хотя, взывая к ней, особых надежд на помощь не питал, а она и впрямь мало что сумела мне посоветовать, однако ее много раз предупреждали о всевозможных опасностях, подстерегающих путешественника в горах, и именно Текла с первым лучом рассвета велела мне встать и погнала вперед — вниз, вниз, неизменно вниз, к теплу, к безветрию горных долин.

Голод меня больше не мучил — ведь если есть вовсе нечего, со временем голод проходит. Чувство голода сменилось слабостью, принесшей с собою первозданную чистоту разума. И вот, на исходе второго дня после жуткого спуска из зрачка правого глаза, я набрел на пастушью лачугу вроде улья, сложенного из камня, а внутри отыскал котелок и множество молотой кукурузы.

В какой-то дюжине шагов от лачуги журчал горный родник, однако хвороста нигде поблизости не нашлось. Остаток вечера я провел за собиранием опустевших птичьих гнезд на скале в полулиге от домика, а с наступлением ночи, воспользовавшись вместо кресала хвостовиком «Терминус Эст», развел огонь, сварил пресной каши (варилась она на такой высоте необычайно долго) и ею поужинал. Пожалуй, ничего вкуснее я в жизни не пробовал: кукуруза едва уловимо, но явственно отдавала медом, словно нектар растения сохранился в высушенных зернах подобно соли морей, о коих помнит одна только Урд, заключенной в сердцевине некоторых камней.

Твердо решивший расплатиться за съеденное, я принялся перебирать содержимое ташки в поисках чего-либо по крайней мере равноценного. Однако что мог бы оставить я пастуху? Расставаться с коричневой книгой Теклы мне не хотелось; пришлось успокоить совесть, напомнив себе, что пастух в любом случае вряд ли обучен грамоте. С обломком точильного камня я тоже расстаться не пожелал: во-первых, он напоминал о встрече с зеленым человеком, а во-вторых, здесь, где почти такие же камни валялись в траве, куда ни взгляни, подарок из него

вышел бы слишком уж недостойный. Денег при мне не было вовсе — прощаясь с Доркас, я отдал ей все, что имел, до последней монетки. В конце концов выбор мой пал на алую накидку, найденную в грязи посреди каменного городища задолго до того, как мы пришли в Тракс. Правда, накидка была порядком испачкана и слишком тонка, чтобы согреть человека в горах, но я понадеялся, что кисточки на концах и яркий цвет придутся накормившему меня незнакомцу по вкусу.

Как она оказалась там, где была найдена; оставил ли ее тот странный индивид, призвавший нас к себе, дабы хоть ненадолго вернуться к жизни, намеренно или обронил ненароком, когда ливень снова на долгое время развеял его в прах, — этого я так никогда и не понял. Несомненно, древняя община жриц-Пелерин обладает множеством способностей, к которым прибегает нечасто, а то и не прибегает вообще, и в предположении, будто среди них числится способность поднимать из праха умерших, нет ничего абсурдного. В таком случае поднятый вполне мог призвать их к себе, как призвал нас, а накидка — остаться забытой среди развалин случайно.

Но даже если так оно и было, возможно, все это служило целям некоей высшей власти. Именно

таким образом большинство мудрецов объясняют известный видимый парадокс: пусть даже мы вольны поступить так или этак, совершить преступление либо, благодаря беззаветному альтруизму, удостоиться священной награды от Эмпиреев, на все это — воля Предвечного, а посему ему в равной мере (то есть любыми деяниями) служат и смирные нравом, и бунтовщики.

И это еще не все. Некоторые, чьи доводы прочел я в коричневой книге и около полудюжины раз обсуждал с Теклой, отмечают, что близ Высшего, в горних сферах, обитает множество созданий, хоть и кажущихся крохотными — более того, бесконечно малыми — в сравнении с ним, но сообразно огромных в глазах людей, рядом с коими их повелитель столь колоссален, что становится вовсе невидимым. (Ничем не ограниченная величина и сообщает ему неприметность, так что по отношению к нему мы — словно путники, идущие по континенту, но видящие вокруг лишь леса, болота, песчаные дюны и тому подобное; порой они, может статься, чувствуют крохотные камешки в башмаке, однако даже не подозревают, что вместе с ними, рядышком, бок о бок, идет вперед сама земля, от веку остающаяся никем из них не замеченной.)

Немало имеется и других мудрецов, сомневающихся в существовании силы, якобы повелевающей созданиями, коих можно назвать амшаспандами, но тем не менее признающими факт существования таковых. Суждения их основаны не на свидетельствах людей — хотя подобных свидетельств имеется великое множество, и я готов добавить к ним собственное, поскольку сам видел одно из таких созданий на зеркальных страницах книги в покоях Отца Инире, — но скорее на не поддающейся опровержению теории, утверждающей: если-де мироздание не сотворено (во что они, по причинам не вполне философским, находят удобным не верить), следовательно, оно вплоть до сего дня существовало вечно. Отсюда следует, что само время тянется от сего дня вдаль, в прошлое, без конца, а в столь бескрайнем океане времени неизбежно должно было произойти, сбыться, появиться на свет все мыслимое. Создания наподобие амшаспанд вполне мыслимы, вообразимы, иначе о них и разговора бы не зашло, а если столь могущественные создания некогда появились на свет, кому же по силам их уничтожить? Разумеется, никому, а стало быть, они существуют и ныне.

Сколь же парадоксальна природа знания, поз-

воляющая усомниться в существовании Илема, первоисточника всего сущего, нисколько не сомневаясь в существовании его слуг!

Ну а поскольку подобные создания, без сомнения, существуют, не могут ли они вмешиваться (если это можно назвать вмешательством) в наши дела при помощи случайностей вроде алой накидки, оставленной мною в пастушьей лачуге? Для вмешательства в жизнь муравейника отнюдь не требуется всемогущества — разворошить его палкой по силам любому мальчишке. Мысли ужаснее этой мне неизвестны. (Мысль о собственной смерти, считающаяся среди многих ужасающей до невообразимости, меня не слишком тревожит: думать о жизни мне — вероятно, из-за безукоризненной памяти — много, много страшнее.)

Существует, однако, еще одно объяснение: может статься, все те, кто стремится служить Теофании, а возможно, даже все те, кто утверждает, будто служит ей, хоть и кажутся нам крайне различными и даже ведут друг с другом своего рода войну, на деле связаны меж собой, подобно марионеткам, кукольному мальчику и деревянному человечку, однажды пригрезившимся мне во сне, с виду бившимся насмерть, однако ж на

деле управляемыми одним и тем же невидимым кукольником, держащим в руках нити обоих. Если так, то шаман, коего нам довелось лицезреть, вполне мог оказаться другом и союзником жриц, цивилизованно несущих свет своей веры во все уголки той самой земли, где он в первобытной дикости некогда, под литургически строгий, мерный бой барабана и дробный стук кротал, приносил жертвы под сводами невеликого храма посреди каменного городища.

На исходе следующего дня после ночевки в пастушьей лачуге я вышел к озеру, называемому озером Диутурна. Думаю, это оно, а вовсе не море, виднелось на горизонте перед тем, как мой разум сковали чары Тифона — если мое столкновение с Тифоном и Пиатоном вправду было не мороком и не сном, от коего я естественным образом пробудился там же, где уснул. Впрочем, озеро Диутурна немногим уступает настоящему морю, так как просторов его не вместить разуму, а ведь в конечном-то счете именно разум и создает все отзвуки, все отголоски, порождаемые сим словом; без них, без разума, море — всего-навсего часть Урд, залитая мерзкой на вкус соленой водой. Конечно, озеро это расположено существенно выше настоящих морей, однако спуск к его берегу занял

почти половину дня.

Путь к озеру произвел на меня впечатление, которым я дорожу до сих пор. Пожалуй, ничего прекраснее я даже и не припомню, хотя ныне храню в памяти впечатления многих, самых разных людей: спускаясь вниз, мне довелось в один день миновать целый год. Поутру, когда я покинул лачугу, надо мной, позади и справа тянулись вдаль бескрайние льды и снега, а из-под снежных наносов торчали темные зубья скал студенее всякого льда. Сметенные со скал ветрами, снежинки таяли в нежной луговой траве — первой весенней траве под моими ногами. Мало-помалу стебли травы крепли, мужали, становились все жестче, все зеленей. Вскоре вокруг вновь зазвучало жужжание насекомых (обычно я замечаю его лишь изредка, если давненько не слышал). Их гул напоминал пение струн под сводами Голубого Зала, в то время как музыканты настраивают инструменты перед началом первой кантилены. Сколько же раз вслушивался я в этот гул, лежа на тюфячке возле открытого иллюминатора ученического дормитория…

Спустя еще некоторое время впереди показались кустарники, на вид цепкие, жилистые, однако не выносящие климата тех высот, где

начиналась нежная травка. Однако, осмотрев их внимательнее, я обнаружил, что это вовсе не кустарники, а старые знакомые — огромные деревья, лесные великаны, обращенные в карликов мимолетностью лета и свирепостью зим, согнутые, истончившиеся, растрескавшиеся под гнетом стихии. В ветвях одного из карликовых деревьев я отыскал дрозда, сидящего на гнезде, первую птицу помимо стервятников, кружащих над утесами, попавшуюся мне на глаза в продолжение довольно долгого времени. Еще лигой дальше услышал я и пересвист горных свинок: высовывая пестрые головы из нор среди каменных россыпей, поблескивая черными бусинками зорких глаз, зверьки предупреждали родных и друзей о моем приближении.

Еще лига — и впереди, опасаясь свиста пущенной в него астары, каковой при мне не имелось, проскакал, скрылся в траве кролик. Спускался я теперь много быстрее прежнего и наконец осознал, как много потерял сил, причем не только из-за жара и голода, но и из-за разреженного воздуха. Казалось, меня поразила еще какая-то хворь, а я о ней даже не подозревал, пока новая встреча с деревьями и настоящим кустарником не принесла исцеление.

Отсюда озеро уже не выглядело туманной синей полоской: теперь оно предстало передо мною во всей красе — необъятное, холодное, ровное, словно сталь. Посреди водной глади темнели пятнышки нескольких лодок (изготовляемых, о чем мне предстояло узнать позже, по большей части из тростника), а к оконечности бухты немного правее избранного мной направления примыкала опрятная крохотная деревушка.

Почувствовавший собственную слабость только при виде кустов и деревьев вокруг, лишь увидав вдали лодки и округлые шляпки соломенных крыш, почувствовал я, сколь одинок был с тех пор, как погиб маленький Севериан. Прежде я не сознавал и этого, и, думаю, дело было далеко не в одном одиночестве — как правило, компания мне не слишком нужна, если речь не об обществе тех, кого я мог бы назвать друзьями. Желание разговаривать с незнакомцами либо видеть вокруг незнакомые лица мне уж точно не свойственно. Скорее, оставшись один, я словно бы некоторым образом утратил собственную индивидуальность: ведь и дрозд, и кролик видели во мне вовсе не Севериана, а попросту Человека. По-моему, многие из любителей полного одиночества, особенно любящие оставаться наедине с

собою где-нибудь в диких землях, наслаждаются им именно оттого, что им по сердцу эта роль. Однако мне хотелось вновь стать самим собой, конкретной личностью, и посему меня тянуло к зеркалу других личностей, дабы, отразившись в нем, убедиться, что я не таков, как они.

XXVIII. Ужин у гетмана

Первых домов я достиг лишь с наступлением вечера. Солнце украсило озерную гладь дорожкой из красного золота, казалось, продолжившей деревенскую улицу до самого края света — так, чтоб любой, кто захочет, мог пройти ею хоть за грань Урд, на просторы вселенной… однако меня, проделавшего столь долгий путь по самым глухим, отдаленным горным краям, вполне устраивала и прибрежная деревушка, вблизи оказавшаяся и небольшой, и не из зажиточных.

Постоялого двора в деревне не имелось, и, видя, что ни один из ее жителей, таращащихся на меня сквозь щели в оконных ставнях, желанием приютить незнакомца отнюдь не горит, я спросил, где здесь дом гетмана, отодвинул с дороги толстуху, отворившую дверь, вошел и расположился как можно удобнее. К тому времени, как гетман явился взглянуть, кто тут назначил себя его гостем, я, вынув из ташки обломок точильного камня и масло, трудился над клинком «Терминус Эст», а между делом отогревался у хозяйского очага. Начал гетман с поклона, однако, кланяясь, не сумел одолеть любопытства и взгляда не опустил,

так что я лишь с немалым трудом удержался от смеха, грозившего обернуться крахом всех моих замыслов.

— Добро пожаловать! Оптимату мы рады, — заговорил гетман, важно надув изборожденные морщинами щеки. — Всем сердцем рады. Мой бедный дом — все наше бедное крохотное поселение — к его услугам.

— Я не какой-то там оптимат, — отвечал я. — Я — Северианин, гроссмейстер Ордена Взыскующих Истины и Покаяния, называемого в простонародье гильдией палачей… но ты, гетман, обращайся ко мне попросту: «мастер». Путь мой был крайне нелегок, и если ты предоставишь мне сытный ужин и сносную постель, я вряд ли обеспокою тебя или твоих людей еще чем-либо до наступления утра.

— Кровать я тебе уступлю собственную, — поспешно заверил меня гетман. — А на ужин подам лучшее, что у нас только отыщется.

— У вас тут наверняка отыщется свежая рыба и какая-нибудь водоплавающая дичь. Подай и то и другое. И дикого риса вдобавок.

Помнится, как-то раз, в разговоре о взаимоотношениях нашей гильдии с прочими гильдиями Цитадели, мастер Гюрло говорил, что один из

простейших способов подчинить себе кого-либо состоит в требовании того, чего он заведомо не сможет предоставить — этим способом я и воспользовался.

— Ну, и само собой мед, свежий хлеб, масло, а овощи и салат… на сей счет я не привередлив, так что позволю тебе меня удивить. Чем-либо вкусным, сытным и ни разу мной прежде не пробованным, дабы по возвращении в Обитель Абсолюта было что рассказать.

Во время моей тирады глаза гетмана округлялись все сильней и сильней, а при упоминании об Обители Абсолюта — о коей в его деревне, вне всяких сомнений, разве что слышали краем уха — едва вовсе не вылезли вон из глазниц. В ответ он залепетал что-то насчет коров (вероятно, пытаясь сказать, что на такой высоте коров держать невозможно, а значит, и масла взять неоткуда), но я взмахом руки отослал его прочь, однако за порогом остановил, ухватив за шкирку, так как он позабыл затворить за собою дверь.

Когда гетман ушел, я рискнул снять сапоги. Конечно, беспечный вид рядом с пленниками (а гетман со всей его деревней оказались в полной моей власти, хоть и не в заточении) до добра не доводит, но я был уверен, что войти ко мне, пока

какая-либо еда не будет готова, никто не осмелится, и посему спокойно завершил чистку и смазку «Терминус Эст», а затем при помощи точильного камня придал его лезвиям прежнюю остроту.

Покончив с этим, я извлек из мешочка на шее другое свое (хотя принадлежало оно вовсе не мне) сокровище и осмотрел его в отсветах едко дымящего очага. После бегства из Тракса Коготь больше не давил на грудь, будто железный палец, — напротив, идя по горам, я порой забывал о нем на целых полдня, а раз или два, наконец-то вспомнив о камне, в панике хватался за ладанку с мыслью, что потерял его. Здесь, в квадратной комнатке под низким потолком, среди стен, сложенных из округлых камней, словно бы греющих у огня отвисшие — совсем как у почтенных буржуа из вольного городка — животы, он не вспыхнул лазурью, как в хакале одноглазого мальчишки, но и не остался столь же безжизненным, как в тот момент, когда я показывал его Тифону. Скорее камень едва уловимо мерцал, и я вполне мог представить себе незримые токи его силы, играющие на моих щеках. Отметина в его середине казалась отчетливой, как никогда, а в глубине ее темного полумесяца сияла светлая точка не больше далекой звезды.

В конце концов, слегка устыдившись того, что забавляюсь боговдохновенной святыней, точно какой-нибудь побрякушкой, я убрал самоцвет в мешочек, вынул из ташки книгу в коричневом переплете и прочел бы что-нибудь, если б только сумел, но… Да, жар вроде бы унялся, однако устал я зверски, а мелкие, тесно прижатые одна к другой литеры старинного шрифта будто плясали в неверных, колеблющихся отсветах очага, и вскоре от танца их в глазах зарябило так, что временами сказка, которую я взялся читать, казалась полной бессмыслицей, а временами — просто-таки повестью о моих треволнениях — бесконечных странствиях, зверствах разбушевавшихся толп, ручьях, текущих кровью. Раз мне почудилось, будто в одной из строк мелькнуло имя Агии, но стоило приглядеться внимательнее, оно обернулось словом «змея».

«Вновь змея лживая прыгнула, обвилась вкруг покрытых черепашьими панцирями колонн»…

Страница белела перед глазами, однако строки казались мутными до неразличимости, словно отражение в зеркале, отраженном в тихом пруду. Захлопнув книгу, я спрятал ее в ташку, нисколько не уверенный, что вправду видел хоть одно из якобы только что прочитанных слов. Да, Агия,

вне всяких сомнений, прыгнула — с соломенной крыши домика Касдо. И лжи отнюдь не чуралась, так как неизменно именовала казнь Агила убийством. Говорят, исполинская черепаха, согласно известному мифу удерживающая на себе мир и, таким образом, воплощающая собою галактику, вне вихреподобных порядков коей Урд стала бы одинокой странницей в бескрайних просторах, некогда, во времена древности, открыла ныне утраченный Всеохватывающий Закон, позволявший всякому убедиться в правильности любого своего поступка. Свод ее панциря олицетворяет чашу небес, пластрон же — равнины всех сущих миров. Тогда колонны, служащие опорой панцирю, есть светозарные и ужасающие воинства Теологуменона…

Однако я вовсе не был уверен, что прочел в книге о чем-либо подобном, а когда вновь вынул книгу, не сумел отыскать нужной страницы. Да, я понимал: виной замешательству всего-навсего усталость, голод и пляшущий свет… но всерьез, как и во множестве иных случаев, стоило какой-нибудь мелочи показаться зачатками умопомешательства, испугался за собственный разум и замер, устремив немигающий взгляд в огонь. В голове неотвязно кружилась тревожная

мысль: вполне вероятно (куда вероятнее, чем хотелось бы думать), однажды — быть может, после удара по голове, а то и вовсе без видимой причины — мой разум и воображение возьмут да поменяются местами, словно двое друзей, изо дня в день занимающих одни и те же скамьи в публичном саду, а тут, наконец, новизны ради, решившие усесться наоборот. Тогда все фантомы, порожденные сознанием, обретут для меня реальность, а настоящие люди и прочий реальный мир станут зыбкими, призрачными, какими нам обыкновенно видятся собственные страхи и амбиции. Не сомневаюсь, все эти мысли, изложенные именно здесь, на данном этапе повествования, нетрудно принять за пророческие, и оправдать их может лишь то, что, мучимый безукоризненной памятью, я размышляю о подобных материях очень и очень часто.

Конец мрачным думам положил негромкий стук в дверь.

— Да-да! — откликнулся я, натянув сапоги.

Некто, изо всех сил постаравшийся не показываться мне на глаза (хотя я совершенно уверен, что это был сам гетман), отворил дверь, и в комнату вошла девушка с медным подносом, уставленным множеством блюд. Лишь после

того, как она опустила поднос, я заметил, что на ней нет ничего, кроме пары браслетов грубой работы… и лишь после того, как вошедшая поклонилась, на северный манер подняв руки ко лбу, обнаружил, что тускло поблескивающие полоски металла, принятые мной за браслеты, в действительности — кольца ручных кандалов из узорчатой дамасской стали, соединенные цепью изрядной длины.

— Твой ужин, гроссмейстер.

С этим она подалась назад, прижалась к двери спиной и округлыми бедрами, потянулась к щеколде, и щеколда негромко лязгнула, однако дверь не поддалась: несомненно, впустивший девушку подпер ее снаружи.

— Пахнет великолепно, — заметил я. — Ты сама все это готовила?

— Кое-что. Вот эту рыбу и пирожки.

Я поднялся и, прислонив «Терминус Эст» к грубой каменной кладке стены, чтоб не пугать девушку, подошел ближе, оценить принесенный мне ужин. Рассеченная начетверо и зажаренная на решетке молодая утка, упомянутая девушкой рыба, пирожки (как выяснилось впоследствии, из рогозовой муки, начиненные мясом съедобных моллюсков), испеченный в углях картофель,

грибной салат с зеленью…

— Ни хлеба, ни масла, ни меда, — брюзгливо протянул я. — Да уж, будет что при дворе рассказать…

— Мы, гроссмейстер, надеялись, что пирожки вместо хлеба сгодятся.

— Понимаю, понимаю, твоей вины в этом нет.

С Кириакой я ложился уже довольно давно и на девчонку-рабыню старался не смотреть, однако в этот момент перевел взгляд на нее. Ее длинные черные волосы достигали пояса, кожа была разве что самую малость светлее подноса в руках, но талия оказалась довольно стройной, что среди автохтонок встречается редко, а черты лица — пикантными, можно сказать, утонченными. Скулы той же Агии, при всей ее светлой веснушчатой коже, были гораздо шире.

— Спасибо, гроссмейстер. Он хочет, чтоб я осталась здесь и прислуживала тебе за едой. Если ты этого не желаешь, вели ему открыть дверь и выпустить меня.

— Я велю ему, — сказал я, повысив голос, — убраться от двери прочь и не подслушивать моих разговоров. Речь, полагаю, о твоем владельце? О гетмане этого селения?

— Да, о Замбде.

— Ну а как же зовут тебя?

— Пия, гроссмейстер.

— И сколько тебе лет, Пия?

Девчонка ответила, и я улыбнулся, обнаружив, что лет ей ровно столько же, сколько и мне.

— Что ж, Пия, давай послужи мне. Я сяду здесь, у огня, где сидел до твоего появления, а ты можешь подавать мне еду. Тебе приходилось прислуживать за столом?

— О да, гроссмейстер, хозяевам я всякий раз за столом прислуживаю.

— Значит, сама должна знать, что и как. Что посоветуешь для начала — рыбу?

Пия кивнула.

— Тогда давай сюда рыбу и вино и пирожки свои тоже. Ты уже ела?

Девчонка замотала головой так, что пряди ее волос заплясали в воздухе.

— О нет, но есть с тобой вместе мне не позволено.

— Однако ребер я на тебе могу сосчитать немало.

— Меня побьют за такую дерзость, гроссмейстер.

— По крайней мере, пока я здесь, не побьют. Нет, заставлять не стану, но… но хотелось бы мне

убедиться, что в еду и питье не подложено какой-нибудь дряни, которой я не дал бы и своему псу, кабы он у меня до сих пор был. Полагаю, вино подходит для этого лучше всего остального. Если оно таково же, как большинство деревенских вин, то окажется терпким, но сладким.

Налив вином до половины резной каменный кубок, я подал его рабыне.

— Пей, и если не свалишься на пол в корчах, я тоже попробую капельку.

Не без труда осушив посудину, Пия со слезящимися глазами вернула мне кубок. Я налил вина и себе, сделал глоток и нашел его нисколько не менее скверным, чем ожидал. Усадив девчонку рядом, я скормил ей одну из рыбок, которых она сама жарила в масле, а когда она съела все без остатка, тоже съел парочку. Превосходящая вино в той же мере, в коей тонкое, миловидное личико Пии превосходило красотой обрюзгшую физиономию старика гетмана, рыба, вне всяких сомнений, была поймана только сегодня, причем в водах куда холоднее и чище илистых низовий Гьёлля, где ловили ту рыбу, к которой я привык в Цитадели.

— Здесь всех рабов держат в цепях? — спросил я, пока мы делили пирожки. — Или ты, Пия, осо-

бенно непокорна?

— Я из озерных людей, — отвечала она, как будто это могло разом все объяснить (и, несомненно, могло бы, будь я знаком с положением дел в здешних краях).

— По-моему, озерные люди… это они, — сказал я, взмахом руки обозначив и гетманов дом, и всю деревушку в целом.

— О нет! Эти — люди береговые. А наш народ живет в озере, на островах. Но ветры, бывает, гонят наши острова сюда, к берегу, и Замбда боится, как бы я не увидела родной дом и не уплыла к своим. Цепь тяжела — сам видишь, какая длинная, снять ее я не могу, а такой груз непременно утащит на дно.

— Если только поблизости не найдется подходящего бревна, чтоб выдержало вес цепи, а грести можно и ногами.

Но Пия сделала вид, будто совета не слышала.

— Не угодно ли утятины, гроссмейстер?

— Угодно, но не прежде, чем ты съешь часть сама, а прежде чем ты съешь ее, расскажи-ка о ваших островах поподробнее. Говоришь, ветры порой гонят их к берегу? Признаться, об островах, плавающих по воле ветра, я в жизни ни разу не слышал.

Пия с вожделением покосилась на утку — должно быть, редкий в сей части света деликатес.

— Слышала я, что на свете есть острова, стоящие на одном месте, но никогда таких не видала. Наверное, очень неудобно. Наши острова странствуют и туда, и сюда, а бывает, мы поднимаем на ветвях деревьев паруса, чтобы плыть поскорее. Однако против ветра они идут плоховато — ведь у них нет таких ловко устроенных днищ, как у лодок. Снизу наши острова несуразны, будто днища корыт, и порой даже переворачиваются.

— Хотелось бы мне когда-нибудь поглядеть на ваши острова, Пия, — сказал я. — А еще хотелось бы вернуть тебя туда — ведь ты, вижу, не прочь вернуться домой. Я, понимаешь ли, кое в каком долгу у человека, звавшегося почти как ты, и потому постараюсь помочь тебе, прежде чем покину эту деревню… ну а покамест подкрепи-ка силы кусочком утятины.

Пия взяла утиную ножку, но, откусив пару раз, принялась отщипывать от нее волоконца мяса и руками вкладывать мне в рот. Утятина оказалась просто на славу: еще горячая, исходящая паром, отдающая тонким ароматом чего-то вроде петрушки (вероятно, какими-то из водорослей, служащими местным водоплавающим пищей),

и при том сытна, жирна, так что, съев большую часть бедра, пришлось отведать немного салата, дабы очистить нёбо.

Кажется, после этого я съел еще толику утятины, и тут взгляд мой привлекло движение в пламени очага: от одного из догоравших поленьев отвалился пышущий жаром уголек. Упав на груду золы под решеткой колосника, уголек не померк, не почернел, но словно бы выпрямился, подрос и… превратился в Роха — Роха со своеобычной копной огненно-рыжих волос, обернувшихся настоящими сполохами огня. В руке Рох держал факел, совсем как в те времена, когда мы, еще мальчишками, бегали купаться в резервуаре под Колокольной Башней.

Увидев его, представшего передо мной в обличье крохотного огненного микроморфа, я был так поражен, что повернулся к Пие и показал на него. Пия, похоже, ничего экстраординарного под колосником не заметила, но на ее плече, наполовину укрытом пышными прядями черных волос, откуда ни возьмись появился Дротт — тоже маленький, не выше большого пальца. Раскрыв рот, дабы предупредить о нем Пию, я обнаружил, что говорю на каком-то совершенно новом, неведомом языке, шипящем, гортанном, щелкающем…

однако сие обстоятельство меня нисколько не испугало — разве что слегка удивило. Да, я понимал, что человеческой речью эти звуки оказаться не могут, и взирал на искаженное ужасом лицо Пии, точно разглядывая одну из древних картин на стене галереи старого Рудезинда в родной Цитадели, но превратить странные звуки в слова или хотя бы умолкнуть не мог.

Пия пронзительно завизжала.

Дверь с грохотом распахнулась настежь. Затворена она была довольно давно, а потому я совсем позабыл, что щеколда не заперта, но вот сейчас отворилась, и в проеме показались двое. В тот миг, когда дверь распахнулась, оба были людьми — с гладким, лоснящимся наподобие спинки выдры мехом на месте лиц, но все же людьми. Спустя еще миг вошедшие стали растениями, высокими виридиановыми стеблями, ощетинившимися бритвенно-острыми, странно жесткими, иззубренными листьями аверна. Меж листьев прятались черные мягкие пауки о множестве лап. Я подобрал ноги, пытаясь подняться с кресла, и они разом прыгнули на меня, волоча за собою нити паучьего шелка, замерцавшие в отсветах очага. Едва я успел разглядеть и запечатлеть в памяти лицо Пии — и округлившиеся глаза, и

широко разинутый в безмолвном крике ужаса рот, — сокол со стальным клювом, склонившись ко мне, сорвал с моей шеи Коготь.

XXIX. Лодка гетмана

После меня заперли в темноте, где я, как выяснилось впоследствии, провел и ночь, и большую часть следующего утра. Однако пусть там, куда меня перенесли, и было темно, тьма поначалу не казалась тьмой, так как мои галлюцинации в свечах отнюдь не нуждались. Видения эти я помню до сих пор, как помню все остальное, но утомлять тебя, будущий мой читатель, полным перечнем оных не стану, хотя описать их здесь мне не составило бы никакого труда. Вот описать навеянные ими чувства — эта задача гораздо, гораздо труднее.

Сколь был бы я рад, убедившись, что все эти образы заключало в себе проглоченное мною дурманное снадобье (коим, как я в то время догадывался, а после, расспросив тех, кто пользовал раненых солдат Автарха, узнал наверное, оказались всего лишь грибы, накрошенные в мой салат), подобно тому, как частица плоти Теклы, которой мне довелось угоститься у Водала на пиру, заключала в себе ее мысли, воспоминания и черты характера, порою приятные, порой же весьма настораживающие! Однако так, разу-

меется, быть не могло: все, что я видел, все эти образы — и забавные, и повергающие в ужас, и просто гротескно причудливые — породил мой собственный разум… или же разум Теклы, так как ныне он — часть моего.

Или, скорее — как я впервые начал осознавать там, в темноте, любуясь процессией придворных дам, экзультанток невероятно высокого роста, исполненных ледяной грации дорогих фарфоровых статуэток, напудренных жемчужной, а то и алмазной пылью, с глазами не меньше глаз Теклы, увеличенными в раннем детстве при помощи микроскопических доз определенного яда — породил их новый разум, сложившийся из двух прежних, моего и ее.

Ученик палачей Севериан — тот, кем я был в прошлом, мальчишка, плескавшийся в резервуаре под Колокольной Башней, однажды едва не утонувший в Гьёлле, бездельничавший наедине с собой летними днями среди руин некрополя, а в надире отчаяния принесший шатлене Текле украденный с кухни нож — канул в небытие.

Не умер, нет. С чего он вбил себе в голову, будто каждая жизнь непременно завершается смертью, а не чем-либо другим? Не умер, но просто исчез, угас, утих, как утихает навек одинокая нота,

становясь неразличимой, неотъемлемой частью какого-нибудь музыкального экспромта. Тот юный Севериан ненавидел смерть всей душой, и милостью Предвечного, чье милосердие вправду (согласно множеству мудрых речений) способно и сбить с пути, и погубить, был от нее избавлен.

Грациозно изгибая длинные шеи, идущие мимо дамы взирали на меня сверху вниз. В выражениях лиц их — правильной формы, безупречно симметричных, невозмутимых — чувствовалось нечто порочное, и я вдруг понял, что все они не (или, по крайней мере, более не) придворные дамы Обители Абсолюта, но куртизанки из Лазурного Дома.

Вереница сих соблазнительных, нечеловечески прекрасных дам тянулась мимо меня довольно долгое (как мне казалось) время, и с каждым биением сердца — каковые я чувствовал явственнее, чем когда-либо до или после, словно бой барабана в груди, — все они, ничуть не меняясь внешне, становились то придворными, то блудницами. Во сне я, случается, точно знаю, что та или иная особа в действительности есть некто, нисколько с нею не схожий, и тогда точно знал: то эти дамы украшают собой двор Автарха, а то их продавали на ночь за пригоршню орихальков.

Все это время и все куда более долгие периоды времени, как предшествующие, так и последующие, мне пришлось провести в страшных неудобствах. От паучьих тенет, в коих я, постепенно опомнившись, узнал обычные рыбачьи сети, меня не освободили, да вдобавок связали веревками так, что одна рука оказалась крепко притянута к туловищу, а вторая, вскоре онемевшая до бесчувствия, согнута так, что пальцы едва не касались щеки. На пике действия дурманных грибов меня одолело недержание, и теперь от мокрых, холодных штанов отвратительно несло мочой. По мере того как натиск галлюцинаций слабел, а интервалы меж ними становились длиннее, я все острей и острей сознавал, в сколь жалкое угодил положение, и вскоре со страхом задумался о том, что станется со мной, когда меня наконец выведут из кладовой без окон, куда бросили связанным. Следовало полагать, к гетману прибыл нарочный с известиями обо мне, и теперь он наверняка знает, что я не тот, за кого себя выдаю, да вдобавок скрываюсь от суда архонта, иначе нипочем не осмелился бы обойтись со мной таким образом. В подобной ситуации оставалось только гадать, предаст ли он меня казни (вне всяких сомнений, через утопление, в

таких-то краях) сам, доставит ли к какому-нибудь мелкому этнарху или вернет в Тракс. Подумав обо всем этом, я твердо решил привести приговор в исполнение собственноручно, если только мне предоставят такую возможность, однако исход сей казался настолько маловероятным, что от отчаяния всерьез захотелось покончить с собой.

И вот наконец дверь кладовой отворилась. Казалось, упавший внутрь свет ослепителен, хотя за порогом находилась всего-навсего полутемная комната домика с толстыми стенами. Двое вошедших подхватили меня и, точно куль с мукой, поволокли за порог. Оба они густо обросли бородами, и посему я рассудил, что это их, ворвавшихся к нам с Пией, принял за людей со звериными шкурами вместо лиц. За дверью меня поставили на ноги, но ноги отказывались повиноваться. Хочешь не хочешь, пришлось им освободить меня и от веревок, и от сетей, превзошедших надежностью сети Тифона, а когда я снова обрел способность стоять, мне дали кружку воды и полоску соленого рыбьего мяса.

Спустя какое-то время в комнату вошел гетман. Держался он с той же важностью, с какой, несомненно, привык держаться, управляя делами деревни, однако дрожи в голосе скрыть не сумел.

Отчего он до сих пор боится меня, оставалось загадкой, но страх его был вполне очевиден. Терять мне было нечего, а выиграть в случае удачи я мог все и посему первым делом приказал ему освободить меня.

— Никак невозможно, гроссмейстер, — отвечал он. — Я действую согласно полученным указаниям.

— Любопытно. Кто же посмел дать тебе указания обойтись этаким образом с представителем твоего Автарха?

Гетман откашлялся, прочищая горло:

— Указания из замка получены. Ночью почтовый голубь отнес туда твой сапфир, а с утра прилетел другой, с распоряжением доставить в замок тебя.

Поначалу я решил, что речь идет о замке Акиэс, служащем штаб-квартирой одного из эскадронов димархиев, но, чуть поразмыслив, сообразил: а ведь живущему здесь по крайней мере в четырех десятках лиг от укреплений Тракса гетману вряд ли пришло бы в голову выразиться столь определенно!

— Что же это за замок? — спросил я. — И вправду ли полученные тобой указания предписывают представить меня туда именно в таком виде

— немытым? Дадут мне постирать одежду?

— Мытье и стирка? — не слишком уверенно пролепетал гетман. — Да, это, пожалуй, устроить можно. Что там у нас нынче с ветром? — спросил он, обращаясь к одному из своих.

На это бородач только повел плечом. Для меня его ужимки не значили совершенно ничего, однако гетман, похоже, счел ответ исчерпывающим.

— Ладно. Освободить тебя мы не можем, но и одежку выстираем, и накормим, если пожелаешь, — сказал он мне, а собравшись уйти, вдруг обернулся и взглянул на меня едва ли не виновато: — Замок, гроссмейстер, тут, рядышком, а Автарх далеко. Сам понимаешь… Раньше бывало меж нами немало всякого, но теперь-то время настало мирное.

С этим я бы поспорил, однако гетман, не предоставив мне такой возможности, шагнул за порог и затворил за собою дверь. Вскоре явилась Пия, на сей раз облаченная в рваный халат. К изрядному моему унижению, она и раздела меня, и вымыла, однако тем временем мне представился случай, пошептавшись с ней, попросить об одолжении — приглядеть, чтоб мой меч отправили в загадочный замок вместе со мной, поскольку не терял надежды вновь обрести свободу (хотя бы при-

знавшись хозяину замка во всем и предложив ему объединить силы). Девчонка снова, совсем как накануне, выслушав совет уплыть, прихватив с собой бревнышко или полено, способное удержать на плаву тяжелую цепь, сделала вид, будто ни слова не слышала, но спустя около стражи, когда меня, одетого в чистое, с помпой, в назидание всей деревне, повели к лодке, примчалась к берегу следом за нашей невеликой процессией с «Терминус Эст» в руках. Очевидно, задумавший оставить такое великолепное оружие себе гетман принялся увещевать ее, однако я, прежде чем был втащен в лодку, успел предупредить его, что по прибытии в замок непременно сообщу о существовании меча тем, кто меня примет, и в конце концов гетману пришлось уступить.

Лодок, подобных этой, мне еще не встречалось. Заостренная спереди и сзади, расширявшаяся к середине, с продолговатой, полого приподнятой над водою кормой и еще более длинным, также полого приподнятым над водой носом, она отчасти напоминала шебеку. Однако невысокий корпус ее был собран из связок легкого плавучего тростника вроде фашин. Места под обыкновенную мачту в такой ненадежной конструкции, разумеется, не нашлось, а посему мачту заменяла

треугольная рама, связанная из жердей. Узкое основание треугольника тянулось от планшира к планширу, а длинные, равной величины боковины поддерживали блок, при помощи коего, едва мы с гетманом взошли на борт, вверх подняли наклонную рею, развернув парус из плотной холстины в широкую полосу. Мой меч взялся нести гетман, но, как только отдали фалинь, Пия, зазвенев цепью, прыгнула в лодку, к нам.

Пришедший в ярость гетман наградил ее оплеухой, однако поднять парус и развернуть подобное судно при помощи весел оказалось задачей нелегкой, а посему в итоге он хоть и отправил хнычущую девчонку на нос, остаться ей разрешил. Тогда я рискнул спросить его, отчего ей так хочется отправиться с нами, хотя ответ, кажется, уже знал.

— Женка, когда я в отлучке, очень уж с ней строга, — объяснил гетман. — Бьет ее, целый день полы скрести заставляет. Оно, конечно, девчонке строгость только на пользу, да вдобавок моему возвращению она радуется от всей души, однако предпочитает ездить со мной, и винить ее в этом трудно.

— Это уж точно, — согласился я, стараясь не отворачиваться от мерзкого духа из его рта. — Да

еще на замок посмотрит — она ведь его, полагаю, еще не видела?

— Стены видела сотню раз! Родом она из безземельных, из озерного люда, а их куда только ветром не носит, так что видят они немало.

Подобно озерным людям, ветер понес вперед и нас. Едва чистый, прозрачный, как спирт, воздух наполнил полосатое полотнище паруса, неуклюжее суденышко, задрав нос кверху, помчалось вперед. Вскоре деревня исчезла вдали, за каймой горизонта, и на виду остались лишь белые шапки гор, словно бы поднимавшихся ввысь прямо из глади озера.

XXX. Натрий

Вооружены рыбаки, жители берега, были столь примитивно — куда примитивнее настоящих, живущих в первобытной дикости автохтонов, которых мне довелось встречать в окрестностях Тракса, — что мне довольно долгое время казалось, будто оружия при них не имеется вовсе. В лодку их погрузилось значительно больше, чем требовалось для управления рулем и парусом, однако я рассудил, что лишние — либо гребцы, либо взяты с собою гетманом ради престижа, дабы предстать перед своим господином из замка не только со мной, но и в сопровождении свиты. На поясах их висели ножи из тех, с узким прямым клинком, какие в ходу у рыбаков всего света, а ближе к носу лежала связка рыбацких острог с зазубренными наконечниками, но на них я особого внимания не обратил. Лишь после того, как вдали замаячил один из тех островов, которые мне так не терпелось увидеть, а в руках одного из сопровождающих появилась дубинка с шипами из звериных клыков, я сообразил, что это охрана, а стало быть, нас вправду есть от кого охранять.

На вид крохотный островок не представлял со-

бой ничего исключительного, пока не заметишь, что он действительно движется по волнам. Был он невысок, зелен, а холмик в самой его середине венчала миниатюрная хижина (сооруженная, подобно нашей лодке, из связок тростника и тростником же крытая). Вокруг хижины росло несколько ив, а возле берега, на воде, покачивалась длинная узкая лодка, опять-таки связанная из тростника. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что сам островок — тоже из тростника, только живого. Стебли тростников придавали ему характерный зеленый оттенок, а крепко переплетенные, сросшиеся меж собой корни составляли основание вроде плота. Поверх всей этой живой спутанной массы сам собою скопился, а может, был принесен обитателями слой плодородной почвы. Корни деревьев, словно щупальца спрута, тянулись вниз, в глубину, за хижиной пышно зеленел небольшой огород.

Видя, что гетман и все прочие на борту, кроме Пии, неприязненно хмурят брови, я проникся к этому крохотному клочку земли самыми теплыми чувствами — да и как было не полюбить его, представший передо мной пятнышком зелени на фоне холодной, пустынной, бескрайней синевы лика озера Диутурна и еще более глубокой,

теплой, однако воистину бескрайней лазури увенчанного солнцем, усеянного россыпью звезд неба? Взгляни я на этот пейзаж, словно на живописное полотно, картина — холст, разделенный линией горизонта ровно напополам, крупный зеленый мазок островка с зелеными деревьями и бурой хижиной — могла бы показаться мне куда более символической, чем те, над символизмом которых привыкли потешаться критики… но кто мог бы сказать, что она означает? По-моему, никто на всем свете, так как любые символы, какие мы ни отыскиваем в красотах природы, существуют лишь постольку, поскольку их видим мы. Всякий без колебаний готов заклеймить безумцами солипсистов, всерьез верящих, будто весь мир существует только потому, что наблюдаем ими, будто здания, горы и даже мы (те, с кем они минуту назад вели разговор) исчезаем бесследно, стоит им отвести взгляд. Но не безумны ли в той же степени полагающие, будто таким же образом исчезает бесследно и суть, значение всех этих объектов? Если Текла (в чем у меня теперь нет никаких сомнений) символизировала собою любовь, коей я недостоин, разве присущий ей символизм исчезал в тот же миг, как я запру за собой дверь ее камеры? Это ведь все равно что

сказать, будто повесть, изложенная в моей книге, над которой я корпел множество страж, развеется киноварно-алой дымкой, едва я в последний раз закрою ее и отошлю в вечно сущую библиотеку, под присмотр старого Ультана.

Таким образом, главный вопрос, над которым я размышлял, с тоской в глазах глядя на плавучий остров, злясь оттого, что связан, и в душе честя на все корки гетмана, пожалуй, прозвучит так: что означают эти символы сами по себе? Мы ведь — словно дети, видящие на книжной странице в предпоследней букве змея, а в последней — меч…

О чем должна была известить меня небольшая уютная хижина с зеленым огородиком позади, парившая на рубеже двух бездн? Не знаю. Сам я, увидев во всем этом вольную волю и дом, затосковал по свободе — свободе скитаться где заблагорассудится, бороздя вдоль и поперек и верхний, и нижний миры, держа под рукой все, что нужно для жизни — как никогда прежде, даже среди пленников аванзалы в Обители Абсолюта, даже когда сам стал клиентом палачей из Старой Цитадели.

И вот как раз в то время, когда мне сильнее всего хотелось освободиться, а лодка подошла

к островку совсем близко, из хижины вышли наружу двое мужчин и паренек лет пятнадцати. Остановившись у двери, они взглянули на нас, будто оценивая лодку и ее пассажиров. На борту, кроме нас с гетманом, было еще пятеро деревенских рыбаков, и справиться с нами островитяне вроде бы никак не могли, однако все трое, попрыгав в изящное, узкое суденышко, устремились за нами — мужчины гребли, а парнишка принялся поднимать парус из грубой тростниковой циновки.

То и дело оглядывавшийся назад, на преследователей, гетман с «Терминус Эст» сидел совсем рядом со мной. Мне постоянно казалось, что он вот-вот, отложив меч в сторонку, отправится на корму переговорить с рулевым или вперед, к четверым, полулежа устроившимся на носу. Руки мне связали не за спиной, впереди, а чтоб вытащить клинок из ножен хотя бы на толщину большого пальца и перерезать веревки, требовался какой-то миг… однако удобного для освобождения случая я так и не дождался.

Между тем неподалеку показался второй островок, и к преследователям присоединилась еще одна лодка, с двумя людьми на борту. Видя, что соотношение сил сделалось не столь благопри-

ятствующим, как прежде, гетман подозвал к себе одного из рыбаков и отошел на пару шагов к корме, однако меч мой из рук не выпустил. Вдвоем они открыли металлический ящик, спрятанный под возвышением для рулевого, и извлекли из него оружие, какое я прежде не видывал, — самострел, состоявший из двух тонких луков, снабженных каждый собственной тетивой и привязанных к распоркам, удерживавшим их на расстоянии полупяди один от другого. Обе тетивы также были соединены друг с дружкой посередине лоскутом кожи вроде «кармана» пращи, явно предназначенным для некоего снаряда.

Пока я дивился на столь любопытное приспособление, Пия будто бы ненароком придвинулась ближе.

— С меня глаз не сводят, — шепнула она, — и развязать тебя я не могу. Но, может быть…

Оборвав фразу, она многозначительно указала взглядом в сторону преследующих нас лодок.

— Они нападут?

— Нет, если только еще кто-то на помощь не подойдет. Все их оружие — остроги да пачо. Дубинки с клыками, — пояснила девчонка, видя мое недоумение. — У одного из этих тоже такая есть.

Тем временем рыбак, подозванный гетманом,

вынул из ящика тряпичный сверток и развернул лоскут ткани на откинутой крышке. Внутри оказалось около полудюжины маслянистых на вид, округлых слитков серебристо-серого металла.

— Пули… колдовские пули, — пробормотала Пия.

В голосе ее слышался страх.

— Как думаешь, еще кто-нибудь из ваших появится?

— Если еще острова по пути встретим. Когда за лодкой береговых идут одна-две наших, все встречные тоже пойдут, чтоб тоже получить долю того, что с нее можно взять. Только до берега уже недалеко…

Груди девчонки под рваным халатом поднялись и опали в такт негромкому аханью: насухо вытерев руку полой плаща, рыбак поднял с тряпицы одну из серебристых пуль и вложил ее в кожаный «карман» парного лука.

— Да она же все равно что увесистый камень, — начал было я, но тут рыбак натянул луки до самого уха, спустил тетиву, и пуля, миновав разделявший их промежуток, со свистом устремилась в полет.

Пия замерла, перепуганная настолько, что я ничуть не удивился бы, обернись летящая пуля

чем-то иным — к примеру, одним из приснопамятных пауков, почудившихся (хотя я вполне готов был поверить, будто видел их наяву) мне, одурманенному, изловленному рыбачьей сетью.

Нет, ничего подобного не произошло. Пуля серебряным росчерком мелькнула над волнами и с плеском врезалась в воду, не долетев до носа ближайшей лодки примерно дюжины шагов.

Едва я успел перевести дух, над водой с резким грохотом взвился огненный шар в окружении гейзера пара. Вместе с огнем и паром к небу вылетело нечто темное — очевидно, оставшийся целым и невредимым снаряд, снова упавший в воду, на сей раз между преследовавшими нас лодками. Новый взрыв оказался немногим слабее первого, одну из лодок изрядно захлестнуло волной, а вторая круто свернула в сторону. За вторым взрывом последовали и третий, и четвертый, однако пуля, какими бы иными волшебными свойствами ни обладала, отыскивать лодки противника самостоятельно, подобно нотулам Гефора, преследовавшим нас с Ионой, очевидно, не могла. С каждым взрывом она падала в озеро все дальше и дальше от лодок островитян, а на четвертом вовсе иссякла. Преследователи поотстали, держась вне пределов огня, но все же,

к немалому моему восхищению, не утратили храбрости и не повернули назад.

— Колдовские пули выбивают огонь из воды, — объяснила мне Пия.

— Вижу, — кивнул я, подбирая под себя ноги в поисках надежной опоры среди пучков тростника.

Плыть со связанными руками, даже если связаны они за спиной, дело нехитрое — мы с Дроттом, Рохом и Эатой нередко упражнялись в плавании, сцепив большие пальцы на пояснице, а когда руки связаны впереди, я вполне мог бы, если потребуется, держаться на воде довольно долгое время, однако Пие, не рассчитывая на ее способности, велел отодвинуться как можно дальше вперед.

— Но тогда я не смогу тебя развязать.

— Развязать меня у них на глазах ты не сможешь в любом случае, — прошептал я в ответ. — Ступай вперед. Если лодка развалится, хватайся за связку тростника — они-то наверняка останутся на плаву. Не спорь, делай, что говорят.

Сидевшие на носу препятствовать ей не стали, и Пия остановилась лишь там, где тростниковые борта смыкались, образуя носовую часть лодки, а я набрал в грудь побольше воздуха и выпрыгнул

за борт.

Пожелай я того — мог бы нырнуть, почти не подняв волны, однако я, дабы поднять как можно больше брызг, поджал колени к груди, и благодаря тяжести сапог сумел уйти под воду гораздо глубже, чем человек, раздевшийся и разувшийся перед купанием. Теперь предстояло пережить самый щекотливый момент во всей этой затее: когда лучник гетмана пустил пулю, я видел, что взрыв отделяла от выстрела заметная пауза. Конечно, брызги, окатившие с ног до головы обоих, наверняка намочили и пули, разложенные на тряпице, все до одной, но как знать, сработают ли они, прежде чем я вынырну на поверхность?

Чем глубже, тем холодней становилась вода. Разомкнув веки, я увидел, что окружен мириадами крохотных пузырьков, клубящихся вихрями в дивной, сгущающейся на глазах кобальтовой синеве. Охваченному паникой, мне страшно захотелось стряхнуть с ног сапоги, но в таком случае вода слишком быстро вытолкнула бы меня наверх, и дабы отвлечься от страхов, я, любуясь озерной синью, вспомнил о неподвластных тлену и времени трупах в мусорных кучах близ рудников Сальта — о мертвых телах, навеки канувших в лазурные бездны времени.

Неторопливо, без всяких усилий перевернувшись, я разглядел в синеве бурое днище гетманской лодки, нависшее над головой. Казалось, на миг мы с этим темным пятном застыли, замерли на местах: я висел под дном лодки, словно труп под брюхом стервятника, что, наполняя крылья токами ветра, парит лишь чуть ниже недвижных звезд.

Чувствуя нестерпимую резь в легких, я по-лягушачьи устремился наверх…

…и, словно мое движение послужило к тому сигналом, услышал приглушенный водой грохот взрыва. Вскоре за первым взрывом последовал второй, третий, и каждый звучал резче, отчетливей прежнего.

Подняв голову над поверхностью, я обнаружил, что корма лодки гетмана разошлась надвое — пучки тростника растопырились, точно метлы. Еще один взрыв, слева, ненадолго оглушил меня, обдал брызгами, хлестнувшими по лицу, словно град. Гетманов лучник барахтался среди волн невдалеке, но сам гетман (к великой моей радости, не выпустивший из рук «Терминус Эст»), Пия и остальные цеплялись за остатки носа, благодаря плавучести тростников державшиеся на поверхности, хотя нижние концы связок

ушли под воду. Я впился зубами в стягивавшие запястья веревки, рванул раз, другой, но тут двое островитян втащили меня к себе в лодку, а после один из них помог мне освободиться от пут.

XXXI. Озерный люд

Ночь ту мы с Пией провели на одном из плавучих островов, где я, так часто вторгавшийся в лоно Теклы, когда та была пленницей, но не в оковах, вошел в лоно Пии, свободной, однако по-прежнему скованной цепью. После, припав к моей груди, она расплакалась от радости — радуясь, полагаю, не столько близости со мной, сколько освобождению, хотя среди ее соплеменников-островитян, не имеющих никакого металла, кроме выторгованного или добытого грабежом у жителей берега, не нашлось кузнеца, который сбил бы с нее кандалы.

От людей, познавших множество женщин, я не раз слышал, что со временем за некоторыми начинаешь замечать сходство в манере любовной игры, и той ночью впервые убедился в их правоте на собственном опыте: ненасытностью губ и упругостью тела Пия весьма напоминала Доркас. Однако верным все это оказалось лишь до определенной степени, так как в любви Доркас с Пией походили одна на другую не меньше, чем лица родных сестер, и тем не менее я ни за что не спутал бы одну с другой.

Когда мы достигли острова, я выбился из сил настолько, что не сумел в полной мере оценить сего чуда, да и ночь была уже не за горами. Даже сейчас вспоминаю только, как мы втащили лодчонку на берег и вошли в хижину, где один из спасителей растопил плавником крохотный очажок, а я принялся смазывать «Терминус Эст», отнятый островитянами у пленного гетмана и возвращенный мне, но после того, как Урд вновь обратила лик к солнцу… Сколь же чудесно было, опершись ладонью на изящный ствол ивы, почувствовать, как весь островок покачивается под ногами!

Хозяева хижины приготовили нам на завтрак немного рыбы, но прежде чем мы покончили с нею, к островку подошла лодка с еще парой островитян, привезших нам еще связку рыбы и пучок каких-то съедобных кореньев, которых я никогда прежде не пробовал. Коренья мы испекли в углях и съели горячими. По-моему, вкус их больше всего напоминал каштаны. После этого к берегу причалили еще три лодки, а следом за ними — остров о четырех деревьях с туго надутыми квадратными парусами, растянутыми меж ветвей (увидев его вдали, я решил, что к нам движется целая флотилия). Капитаном — иных

вождей у островитян не бывает — острова оказался преклонных лет человек по имени Ллибио. Когда Пия представила меня ему, старик обнял меня, как отцы обнимают родных сыновей, чего мне прежде испытывать не доводилось.

После того как мы разомкнули объятия, все прочие, включая Пию, отошли как можно дальше в сторонку, дабы нам удалось поговорить без лишних ушей, если, конечно, не повышать голоса. Часть гостей (к этому времени на острове собралось около десяти человек) скрылась в хижине, а остальные отошли к дальнему берегу.

— Я слышал, ты — великий воин, истребитель людей, — начал Ллибио.

Я ответил, что истребителем людей считаться вполне могу, но до величия мне далеко.

— Это так. В сражении всякий стремится покончить с врагами, однако победу рождает не убийство других, но истребление известных черт собственной натуры.

— Должно быть, ты, — отвечал я, показывая, что понимаю его, — истребил в себе все дурное без остатка. Твой народ тебя любит.

— На это тоже полагаться нельзя. — Сделав паузу, старик устремил взгляд вдаль, к горизонту. — Мы бедны и немногочисленны, а ведь

послушай люди доброго совета в те самые годы, когда…

Оборвав фразу на полуслове, Ллибио сокрушенно покачал головой.

— Я шел сюда издалека и в странствиях не раз убеждался, что люди бедные обыкновенно куда мудрее, куда достойнее богачей.

Старик улыбнулся:

— Ты добр душой. Однако наш народ так достоин и мудр, что вплотную приблизился к грани гибели. Нас никогда не бывало много, а сколькие погибли минувшей зимой, когда озеро замерзло почти от края до края…

— Прежде я и не думал, как трудно приходится вам во время зимы без шерсти и шкур, но теперь понимаю: зимой вам не позавидуешь.

Старик покачал головой:

— Мы смазываем тела жиром, и это весьма помогает переносить холод, а из тюленьих шкур получаются плащи куда лучше, чем у жителей берега. Но когда озеро покрывается льдом, наши острова теряют возможность двигаться, а береговому люду не нужны лодки, чтобы добраться до них, и потому береговые могут выступить против нас всеми силами. Каждое лето мы бьем их, являющихся забирать нашу рыбу, однако

каждую зиму они истребляют нас, приходя по льду за рабами.

— Береговой люд, — сказал я, вспомнив о Когте, отнятом у меня гетманом и отосланном в замок, — повинуется хозяину замка. Быть может, если вы заключите с ним мир, он велит им прекратить нападения?

— Во времена моей молодости все эти распри уносили по две, много по три жизни в год. Затем явился строитель замка… Знаешь эту повесть?

Я отрицательно покачал головой.

— Пришел он с юга, откуда, как мне сказали, пришел и ты. При нем оказалось множество желанных для берегового люда вещей — к примеру, тканей, и серебра, и всевозможных инструментов превосходной работы. По его указаниям они — отцы и деды нынешних жителей берега — выстроили ему замок. Нужные для строительства инструменты береговым дал опять-таки он, а после, по окончании работ, как обещал, оставил все это им, прибавив еще много разных вещей. В то время как они трудились на стройке, отец моей матери пришел к ним и спросил: неужто они не видят, что своими руками сажают себе на шею господина? Ведь строитель замка сможет сделать с ними все, что заблагорассудится, а по-

сле спрятаться за возведенными ими прочными стенами, где его никому не достать! Но береговые посмеялись над отцом моей матери и ответили: нас, дескать, много (что было чистой правдой), а строитель замка только один (и это тоже было чистой правдой).

Я спросил, видел ли сам Ллибио строителя замка, и если да, каков он собой.

— Однажды видел. Он стоял на скале и говорил с береговыми, а я проплывал мимо в лодке. Могу сказать вот что: ростом он был невысок — случись ты там, рядом, не достал бы макушкой тебе до плеча. Совсем не из таких, кто внушает страх.

Вновь сделав паузу, Ллибио устремил потускневший взгляд вдаль — на сей раз в давнее прошлое.

— Однако без страха дело не обошлось, — продолжал он. — Закончив внешнюю стену, береговой люд вернулся к своим делам — к охоте, рыболовным заколам и вершам, стадам. Но вскоре величайший из них пришел к нам и сказал: мы-де крадем у берегового люда детишек и скот, и если не вернем покражу, они истребят нас всех до единого.

Повернувшись ко мне, Ллибио крепко сжал мою руку. Ладонь старика оказалась твердой,

как дерево. В глазах его словно бы замелькали образы ушедших лет. Должно быть, в то время они казались довольно мрачными, однако тогда он даже не подозревал, сколь мрачным станет порожденное ими будущее, то самое, в коем я, сидя напротив с мечом поперек коленей, слушал его рассказ. Впрочем, радости ему те года тоже принесли немало — ведь он был молод, силен, и пусть сам, возможно, даже не думал об этом, глаза его помнили все.

— Мы отвечали береговым, что не поедаем детей и не нуждаемся в рабах, чтоб те ловили для нас рыбу, а скотину нам просто негде пасти. Должно быть, они и сами уже понимали, что виноваты не мы, так как войной на нас не пошли, но когда наши острова приближались к берегу, мы слышали в ночной темноте плач их женщин.

— В те времена каждый день, следующий за днем полнолуния, был днем торговли — днем, когда всякий из нас, кто ни пожелает, мог сойти на берег за ножами и солью. Едва настал новый торговый день, мы увидели, что жители берега знают, куда подевались их дети и скот, и шепчутся об этом между собой. Увидели и спросили, отчего они не пойдут да не возьмут замок приступом — ведь их же много. Но вместо этого они

взяли наших детей, и мужчин, и женщин всякого возраста и посадили на цепи подле своих дверей, чтоб похититель больше не брал никого из их племени, а кое-кого даже отвели к воротам замка и связанными оставили там.

Тут я рискнул спросить, давно ли так продолжается.

— Многие годы, со времен моей молодости, как я уже говорил. Бывало, береговые противились, но чаще — нет. Дважды с юга приходили воины, посланные гордым народом из высоких домов на южном побережье. Пока они оставались здесь, раздоры прекращались, но о чем толковали в замке, мне неизвестно. С тех пор как замок был завершен, его строителя, о котором я рассказывал, никто больше не видел.

На это Ллибио умолк, ожидая, что скажу я. У меня вновь возникло то самое ощущение, которое я нередко испытывал в разговорах со стариками, будто слова, им сказанные, и слова, мной услышанные, — далеко не одно и то же, будто вся речь Ллибио полна намеков, недомолвок, околичностей, остающихся для меня невидимыми, подобно дыханию, будто само Время есть нечто вроде незримого духа, парящего между нами и стирающего широким рукавом большую часть

сказанного, прежде чем я успею ее расслышать.

— Вероятно, он умер, — отважился предположить я.

— Сейчас там обитает какой-то злой великан, но его вовсе никто ни разу не видел.

Я едва смог сдержать улыбку.

— Пожалуй, при нем береговые уж точно не рискнули бы брать замок штурмом!

— Пять лет назад они навалились на него гурьбой, будто мальки на утопленника. Замок сожгли, а всех, кого застали внутри, истребили.

— Так, значит, воевать с вами береговой люд продолжает попросту по привычке?

Ллибио покачал головой.

— В этом году, после таянья льдов, жители замка вернулись. Руки их были полны даров — всяких богатств и неведомого оружия, обращенного тобой против береговых. Время от времени приходят туда еще всякие, но как хозяева или как слуги, мы, озерные люди, не знаем.

— А откуда приходят? С севера или с юга?

— С неба, — ответил старик, указав вверх, туда, где мерцали поблекшие в великолепии солнца россыпи звезд, но я, подумав, что он имеет в виду всего лишь гостей, прилетающих в замок на флайерах, расспрашивать дальше не стал.

Озерные жители съезжались к нам целый день. Многие прибывали в таких же лодках, как те, что гнались за гетманской, но некоторые, по примеру Ллибио, явились на островах, так что какое-то время спустя мы оказались посреди плавучего континента. О походе на замок я никого напрямую не просил, но к концу дня осознал, что они сами желают битвы и понимают, что я готов их возглавить. По-моему, в книгах подобные вещи обыкновенно достигаются при помощи пламенной речи, но реальность порой совсем не такова. Островитяне наперебой восхищались и моим ростом, и моим мечом, а Пия сказала им, что я — представитель самого Автарха, а прислан затем, чтоб освободить их.

— Пострадаем мы, конечно, изрядно, — сказал Ллибио, — но ведь береговым замок взять удалось. Да, в войнах они сильнее, однако не все сожженное ими отстроено заново, а еще у них не было вождя с юга.

Расспросив его и остальных об окрестностях замка, я решил воздержаться от штурма до наступления ночи: в темноте часовым на стенах будет труднее заметить наше приближение. Еще мне (хотя об этом я вслух не упомянул) хотелось дождаться темноты, чтобы лишить противника

способности к меткой стрельбе: снабдивший гетмана «колдовскими пулями» хозяин замка наверняка приберег для себя оружие куда более грозное.

К замку я отплыл во главе около ста воинов, хотя большинство их было вооружено лишь копьями с наконечниками из заостренной лопаточной кости тюленя, дубинками-пачо да ножами. Написав, будто согласился возглавить сию невеликую армию из чувства ответственности, из сострадания их горю, я изрядно потешил бы самолюбие… но и изрядно покривил бы душой. Не послужили тому причиной и опасения за собственную судьбу в случае отказа, хотя я сильно подозревал, что не облеченный в дипломатическую форму, не приправленный хитростью вроде долгих притворных раздумий либо «внезапно пришедшей в голову» выгоды воздержания от боевых действий отказ может выйти мне боком.

Истина же состояла в том, что меня гнало в бой чувство долга сильнее, неодолимее любых двигавших островитянами чувств. Ллибио носил на шее рыбку, вырезанную из клыка какого-то зверя, а когда я спросил, что это, ответил:

— Оанн, — и, зная, что в Оанна (вне всяких сомнений — божество озерного люда), я не верю,

прикрыл фигурку ладонью, дабы взгляд мой не осквернил ее.

Действительно, в их бога-рыбу я не верил, однако чувствовал, что знаю об Оанне все хоть сколь-нибудь важное. Знал я, что живет он наверняка в самых темных глубинах озера, но во время штормов прыгает, резвится среди волн. Знал, что он — пастух подводного мира, наполняющий рыбой сети островитян, и что убийца не может бороздить его воды без боязни, не то Оанн появится рядом, откроет огромные, словно луны, глаза и опрокинет лодку.

Я в Оанна не верил и страха перед ним не испытывал, но, полагаю, знал, откуда он появился, — знал, что во вселенной есть некая всепроникающая, вездесущая сила, а все прочее — лишь ее тени. Знал я и о том, что в конечном счете моя концепция сей силы столь же смехотворна (и столь же серьезна), как и вера Ллибио в Оанна. Знал и о том, что Коготь принадлежит ей, причем сие знание исходило от самого Когтя — только от Когтя и ни от чего иного, сколько ни будь в нашем мире ризниц да алтарей. Множество раз держал я его в руках, поднимал над головою в Винкуле, касался им Автархова улана и хворой девчонки, живущей в хакале среди

трущоб Тракса… и, обладавший самой бесконечностью, почувствовавший ее мощь, более не был уверен, что сумею смиренно вернуть ее Пелеринам, если когда-либо отыщу их, но твердо знал, что кому-либо другому Когтя уж точно не уступлю.

Мало этого, теперь мне думалось, будто я — неизвестно за какие достоинства, пусть на краткое время — избран хранителем этой силы. Из-за моей (ведь это я позволил Агии подбить нашего кучера на гонку) безответственности Пелерины лишились ее, а значит, на меня возложена обязанность заботиться о ней, и пускать ее в дело, и, может статься, вернуть, и уж тем более — спасти из лап (по всему судя, злодейских лап), в каковые она угодила по моей, опять же, беспечности.

Впервые усевшись за описание собственной жизни, я даже не думал раскрывать на сих страницах секретов нашей гильдии, в каковые был посвящен мастером Палемоном и мастером Гюрло перед тем, как меня, на пиру в честь святой Катарины, возвели в звание подмастерья, но один из них сейчас вынужден буду раскрыть, так как без этого тебе, читатель мой, не понять, что двигало мною в ту ночь на озере Диутурна. Се-

крет состоит лишь в повиновении, свойственном нам, палачам. В огромной ступенчатой пирамиде, именуемой правящим классом, пирамиде из множества жизней, пирамиде неизмеримо выше любой из материальных твердынь — и Колокольной Башни, и Стены Несса, и даже горы Тифона, — объединяющей самого Автарха на Троне Феникса со скромнейшим из писарей, корпящим над счетными книгами бесчестнейшего из купцов, тварью куда ничтожнее ничтожнейшего из нищих, мы являем собою единственный надежный камень. Истинно повинуется лишь тот, кто готов, повинуясь, совершить немыслимое, а к совершению немыслимого не готов никто, кроме нас.

Ну а теперь посудите сами: как же я мог отказать Предвечному в том, что по собственной воле отдал Автарху, отсекая голову Катарины?

XXXII. К замку

В начале пути прочие островки разомкнулись, и хотя между ними скользили лодки, а на каждой ветке были подняты паруса, я никак не мог избавиться от впечатления, будто мы застыли на месте, под косматыми грядами облаков, а движение — всего лишь последняя из иллюзий уходящей под воду суши.

Большую часть плавучих островов, собравшихся вокруг нас днем, оставили в тылу, переправив на них женщин и детей. К замку пошло только полдюжины, и мне отвели самое высокое место на острове Ллибио, самом большом из всех шести. Кроме нас со стариком, он нес семерых бойцов, а остальные — по четыре-пять человек каждый. Острова сопровождала флотилия примерно из трех десятков лодок с двумя-тремя бойцами на борту.

Считать грозным воинством нашу сотню человек, вооруженных острогами и ножами, я даже не думал: горстка димархиев Абдиеса рассеяла бы их, как ветер — полову. Однако то были мои соратники, а вести людей в бой — пожалуй, этому чувству нет равных.

На воде не видно было ни огонька, ни проблеска, кроме зеленых отсветов, отражений мириадов листьев Лунного Леса в пятидесяти тысячах лиг от нас. Воды озера напоминали отполированную, на совесть смазанную сталь. Легкий ветерок не взбивал гребни волн в пену, а попросту гнал их вперед — длинные, пологие, наподобие холмов из металла.

Спустя какое-то время луна скрылась за облаком, и я ненадолго задумался, не собьется ли озерный люд с пути в темноте. Однако островитяне вели суда уверенно, точно среди бела дня, и пусть лодки с островами нередко шли совсем рядом, я за все время плавания ни разу не заметил, чтоб кто-нибудь хоть слегка зацепил соседа.

Ночное плавание при свете звезд, в окружении собственного архипелага, в тиши, нарушаемой лишь шепотом ветра да мерным, точно тиканье часов, плеском весел, когда не чувствуешь никакого движения, кроме легкой качки на волнах, навевало покой, даже убаюкивало, так как устал я изрядно, хотя немного поспал перед отплытием, однако ночная прохлада и мысли о предстоящем отгоняли сон прочь.

О внутреннем устройстве замка, который мы собирались брать приступом, ни Ллибио, ни еще

кто-либо из островитян мне ничего определенного сообщить не смогли. Главное здание, вокруг стена, вот и вся определенность. Вправду ли «главное здание» — полноценная башня, укрепленная башня, возвышающаяся над стеной, я себе просто не представлял, а уж есть ли там еще постройки, кроме главного здания (например, барбакан), укреплена ли стена башнями сторожевыми либо орудийными, сколько внутри может оказаться обороняющихся… обо всем этом оставалось только гадать. Строился замок два, самое большее, три года трудами окрестных жителей, а таким образом громады вроде замка Акиэс не возведешь, однако для нас даже крепость, вчетверо менее грозная, оказалась бы неприступной.

Вдобавок я отчетливо сознавал, сколь скверно подхожу для командования подобной экспедицией. Сражений я никогда в жизни не видел даже со стороны, не говоря уж об участии хоть в одном. Источником всех моих познаний в военной архитектуре служило воспитание в Цитадели да бессистемные, праздные шатания среди фортификаций Тракса, а все, что знал (или воображал, будто знаю) о тактике, я почерпнул из настолько же бессистемного чтения. Стоило вспомнить детские игры в некрополе, шуточные сражения

на деревянных мечах, мне едва — физически, в прямом смысле слова — не сделалось дурно. Нет, не из-за опасений за собственную жизнь, но оттого, что любая моя ошибка могла обернуться гибелью многих из этих наивных, ни в чем не повинных людей, положившихся на меня.

На фоне лунного диска, ненадолго выглянувшего из-за облаков, мелькнули темными росчерками силуэты летящих аистов. Берег на горизонте казался полосой непроглядной, самой темной вокруг темноты. Но вот луну заслонило новое скопление туч, по лбу увесисто ударила капля, и я, сам не зная отчего — несомненно, причиной тому были воспоминания о ливне за стенами домика в ночь схватки с альзабо, — воспрянул духом. Возможно, вспомнился мне в этот миг и ледяной ручей, струившийся со скалы, из пещеры, ведущей в рудник людей-обезьян.

Однако, если оставить в стороне все эти случайные ассоциации, дождь мог оказаться для нас сущим подарком судьбы. Луков у островитян не имелось, а отсыревшие тетивы вражеских луков окажутся нам только на руку, а уж воспользоваться «колдовскими пулями», которыми отстреливался от преследователей лучник гетмана, противнику не удастся наверняка. Вдобавок

дождь крайне благоприятствовал скрытному, внезапному нападению, а я давным-давно рассудил, что только во внезапности и состоит вся наша надежда на успех.

Пока я размышлял над планом атаки, в облаках вновь появилась брешь. При свете луны сделалось видно, что мы идем вдоль линии берега, мимо крутых скал, поднимавшихся к небу справа. Впереди далеко в озеро выдавался скалистый мыс еще большей высоты, и я, подойдя к «носу» островка, спросил стоявшего там островитянина, не на этом ли мысу находится замок.

— Нет, мыс обогнем, — ответил он, покачав головой.

Так мы и сделали. Спустив паруса, их подняли на других ветках, в воду с одной стороны островка опустили утяжеленные камнями шверцы, и трое островитян навалились на румпель, уводя островок в поворот. Тут меня осенило: должно быть, Ллибио весьма мудро распорядился пройти к мысу вплотную, дабы нас не заметили наблюдающие за озером часовые… но ведь, окажись на стенах караул, наш невеликий флот обнаружат немедля, как только мы пройдем оконечность мыса! Кроме того, мне пришла в голову еще одна мысль: возможно, строитель замка не стал воз-

водить его на высокой, с виду почти неодолимой скале, которую мы огибаем, лишь потому, что рядом нашлось другое, куда более неприступное место?

И вправду: едва мы обогнули оконечность мыса, впереди, от силы в четырех чейнах вдоль берега, показалась цель — скальный выступ еще круче, еще выше, с глухой стеной на вершине. Над стеною виднелась башня — башня неслыханной, невероятной формы, вроде титанического мухомора.

Увидев ее, я не поверил своим глазам. Огромную, сужавшуюся кверху центральную «колонну», вне всяких сомнений, сложенную из местного камня, венчало металлическое линзообразное сооружение вдесятеро большего диаметра, очевидно, такое же прочное, как и сама башня.

На нашем островке, и в лодках, и на других островах наперебой зашептались, тыча пальцами в сторону замка. По-видимому, невероятное зрелище оказалось для островитян не менее неожиданным, чем для меня.

На поверхности громадного диска поблескивал дымчатый свет луны, поцелуй младшей сестры на челе умирающей старшей. Под диском, в его густой тени, мерцали искорками оранжевые

огоньки. Огоньки те скользили, двигались — одни кверху, другие книзу, однако движение их было столь медленным, что мне не сразу удалось его заметить. В конце концов один подполз к самому диску и там, под диском, угас, а как раз перед тем, как мы сошли на берег, на том же месте замерцали два новых.

Крохотную бухту надежно укрывала тень скалы. Однако остров Ллибио наткнулся на мель, прежде чем достиг берега, и мне снова пришлось прыгать в воду — на сей раз удерживая «Терминус Эст» над головой. По счастью, волны прибоя оказались невысоки, а дождь, несмотря на угрожающее скопление туч в небе, еще не начался. Я принялся помогать озерному люду вытаскивать лодки на гальку, а остальные занялись креплением островов к прибрежным валунам канатами, свитыми из жил.

После странствий по горам предательски узкая, сыпучая тропка наверх показалась бы мне пустяком, если б карабкаться не пришлось в темноте. В тот момент, среди ночи, я предпочел бы еще раз одолеть спуск мимо погребенного вод горой города к домику Касдо, пусть даже он был впятеро длиннее.

Поднявшись наверх, мы все еще оставались

в некотором удалении от стены, заслоненной от нас рощицей чахлых сосен да пихт. Собрав островитян вокруг, я — больше для проформы, на всякий случай — спросил, не знает ли кто, откуда взялся небесный корабль, севший на башню. Островной люд дружно ответил «нет», и тогда я объяснил, что сам это знаю (причем ничуть не кривил душой, предупрежденный о подобных штуковинах Доркас, хотя своими глазами их ни разу не видел), а раз он здесь, мне лучше всего первым делом, перед началом приступа, разведать, что там да как.

Никто не возразил ни словом, однако островитяне заметно приуныли. Они-то думали, что им посчастливилось найти героя, который возглавит штурм замка, а теперь рисковали потерять его еще до начала сражения.

— Если получится, проберусь внутрь, — объяснил я. — Будет возможность, вернусь к вам, а все двери, какие удастся, оставлю открытыми.

— Но что, если ты не сможешь вернуться? — спросил Ллибио. — Как мы узнаем, когда настанет время пустить в дело ножи?

— Я подам вам сигнал. Знак какой-нибудь, — отвечал я и крепко задумался, какой сигнал смогу подать им, запертый в черной башне. — Такой

ночью у них наверняка топятся очаги. Если что, покажу в окно горящую головню, а по возможности выброшу ее наружу, чтоб вы разглядели огненный след. Если же я не подам знака и не вернусь, знайте: меня взяли в плен — и начинайте приступ с первым лучом зари над горами.

Недолгое время спустя я, остановившись перед воротами замка, забарабанил огромным железным молотком в форме (насколько уж удалось определить на ощупь) человеческой головы по пластине того же металла, врезанной в дубовые доски.

Отклика не последовало. Подождав примерно две дюжины вдохов, я постучал снова. Изнутри явственно донеслось эхо ударов — гулкое, трепещущее в такт сердцу, но ни единого голоса я не услышал. Живо, во всех подробностях вспомнив жуткие лица, которые мельком видел в садах Автарха. Я замер, охваченный ужасом, в ожидании выстрела, хотя прекрасно понимал: если иеродулы — а все энергетическое оружие привозят на Урд они — откроют по мне стрельбу, выстрелов я, скорее всего, не услышу. Воздух был тих, недвижим, словно вместе со мной замерла в ожидании сама атмосфера. С востока донеслись раскаты грома.

Наконец изнутри послышались приближающиеся шаги — столь быстрые, легкие, что я готов был принять их за детские, и смутно знакомый голос окликнул:

— Кто здесь? Что тебе здесь нужно?

— Я — Севериан, — отвечал я, — мастер Ордена Взыскующих Истины и Покаяния, карающая длань Автарха, чье правосудие — хлеб насущный для его подданных!

— И вправду… вот сюрприз так сюрприз! — воскликнул доктор Талос, распахнув настежь ворота.

На время утратив дар речи, я молча воззрился на доктора.

— Скажи же, чего хочет от нас Автарх? Помнится, когда мы в последний раз расставались, ты держал путь в Город Кривых Ножей, но дошел ли туда?

— Автарху угодно узнать, как твои вассалы посмели схватить одного из его слуг, — сказал я. — Иными словами, меня самого, отчего дело предстает в слегка другом свете.

— Воистину! Воистину! И на наш взгляд, сам понимаешь, тоже! Откуда мне было знать, что загадочным визитером, явившимся в Мурену невесть откуда, окажешься именно ты? И старина

Бальдандерс об этом, ручаюсь, тоже не подозревал. Входи, поговорим обо всем обстоятельно.

Я шагнул в арку ворот, миновав стену, а доктор затворил за мною тяжелые створки и запер ворота на железный засов.

— Говорить тут особенно не о чем, — заметил я, — однако мы вполне можем начать с драгоценного камня, изъятого у меня силой и, как мне сообщили, отосланного тебе.

Но не успел я закончить фразы, как мое внимание отвлекла от произносимых слов громада корабля иеродул, здесь, за стеной, нависшая прямо над головой. Взгляд, брошенный на нее снизу вверх, принес с собой то же ощущение диспропорции, дезориентации, какое я не раз испытывал, глядя в двояковыгнутое увеличительное стекло: выпуклое дно корабля казалось чем-то чуждым не только миру людей, но всему зримому миру вообще.

— А, да, — откликнулся доктор Талос. — Полагаю, безделушка твоя у Бальдандерса. Вернее, была у него, а он ее куда-то засунул. Уверен, он охотно вернет ее тебе.

И тут изнутри круглой башни, с виду (хотя на самом деле такого быть никак не могло) служившей опорой для корабля, донесся негромкий,

одинокий, повергающий в дрожь вой наподобие волчьего. Ничего подобного я с тех самых пор, как покинул Башню Матачинов, не слышал, однако узнал этот вой сразу и спросил:

— У вас тут, гляжу, содержатся заключенные?

Доктор Талос кивнул:

— Да. Боюсь, нынче я так захлопотался, что забыл покормить их, бедняг. Сам видишь, что у нас тут творится, — пояснил он, неопределенно махнув рукой в сторону корабля. — Надеюсь, ты, Северианин, против встречи с какогенами не возражаешь? Боюсь, если ты хочешь войти и спросить Бальдандерса о своем самоцвете, без этого не обойтись. Он там, беседует с ними.

Я ответил, что не возражаю, хотя, пожалуй, внутренне содрогнулся в тот миг.

Доктор заулыбался, обнажив прекрасно запомнившуюся мне ровную линию острых, белоснежных зубов над рыжей бородкой.

— Вот и чудесно. Ты всегда отличался простотаки дивной непредубежденностью. Осмелюсь предположить, избранное ремесло научило тебя принимать всякого таким, каков он есть.

XXXIII. Оссипаго, Барбат и Фамулим

Входа в башню, как и у большинства башен-пеле, на уровне земли не имелось. Прямая, крутая, узкая лестница без перил вела к столь же узкой двери кубитах в десяти над булыжной мостовой внутреннего двора. Дверь была отворена, и я с радостью отметил, что доктор Талос не стал затворять ее за нами. Пройдя коротеньким коридором — несомненно, всего лишь проемом в башенной стене, — мы вошли в комнату, с виду (как и все прочие комнаты, которые я видел внутри) занимавшую весь этаж. Вся она, от стены до стены, оказалась уставлена машинами, по меньшей мере такими же древними, как у нас, дома, в Башне Матачинов, однако их назначение осталось для меня загадкой. В одном углу виднелась столь же узкая лестница, ведущая этажом выше, а в противоположном углу темнел черной пастью лестничный проем, очевидно, открывавший путь туда, где содержался воющий пленник — снизу, из мрака, вновь зазвучал его вой.

— Он повредился умом, — сказал я, кивком указав туда.

— И не он один — большинство, — согласно

кивнув, подтвердил доктор Талос. — Пою их микстурой из геллебора, но не могу сказать, что лечение идет им на пользу.

— У нас на третьем уровне подземных темниц содержались такие же точно клиенты, так как буква закона не позволяла от них избавиться: их, видишь ли, вверили нам, и никто из облеченных властью не рискнул бы распорядиться насчет их освобождения.

Доктор повел меня к лестнице наверх.

— М-да, положение… Сочувствую всей душой.

— Со временем они умирали, — неумолимо продолжал я. — Одни — вследствие перенесенных пыток, другие по иным причинам. А на самом-то деле держать их в неволе было совершенно незачем.

— Да уж, догадываюсь. Берегись вон того механизма с крюком! Он к плащу твоему тянется.

— Так зачем же вы держите их? Вас ведь законы к этому, в отличие от нас, не обязывают.

— Думаю, на запчасти. На органы. Другого применения Бальдандерс этому отребью, как правило, не находит. — Поставив ногу на первую из ступеней, доктор Талос замешкался и обернулся ко мне: — Ну а теперь, будь добр, не забывайся. Держись как можно любезнее. Им, понимаешь

ли, не по душе, когда их зовут какогенами. Обращайся к ним лучше по именам, какими там они на сей раз ни назовутся, и ни слова о слизи. И вообще разговора ни о чем неприятном лучше не заводи. Бедняга Бальдандерс столько сил положил, чтоб помириться с ними, после того как потерял голову в Обители Абсолюта, и если ты перед самым их отбытием все испортишь, будет просто раздавлен.

Я успокоил его обещанием держаться как можно дипломатичнее.

Поскольку корабль располагался над башней, я ожидал найти Бальдандерса в обществе высоких гостей на самом верхнем из этажей, но ошибся. Не успели мы с доктором подняться на второй этаж, как сверху донеслись негромкие голоса, а после и бас великана, как обычно, казавшийся грохотом рухнувшей где-то вдали стены.

В этой комнате тоже оказалось немало машин, но на сей раз они, пусть не менее древние, чем этажом ниже, производили впечатление действующих и, мало этого, расставленных по отношению друг к другу согласно некоей (хотя и непостижимой) логике, подобно загадочным устройствам в зале Тифона. Бальдандерс с гостями расположился в дальнем углу помещения так,

что его голова — втрое крупней головы любого обычного человека — возвышалась над дебрями из хрусталя и металла, словно морда тираннозавра над верхушками леса. По пути к ним я увидел под блестящим стеклянным колпаком останки девушки, похожей на Пию, будто родная сестра. Брюшная полость ее была рассечена чем-то изрядно острым, определенная часть кишечника — извлечена и разложена вокруг тела. На теле имелись все признаки ранней стадии разложения, однако губы девушки шевелились, а веки, стоило мне пройти мимо, приподнялись и снова сомкнулись.

— У нас гость! — во весь голос известил Бальдандерса доктор. — Нипочем не догадаешься кто!

Великан неторопливо повернул голову к нам, однако меня смерил взглядом, пожалуй, столь же непонимающим, как в Нессе, в первый день знакомства, с трудом разбуженный поутру доктором Талосом.

— С Бальдандерсом ты знаком, — продолжал доктор, обращаясь ко мне, — однако я должен представить тебя прочим нашим гостям.

Трое людей — или созданий, с виду кажущихся людьми, — грациозно поднялись с мест. Один, будь он действительно человеком, был бы чело-

веком невысоким и коренастым. Двое других, выше меня на целую голову, не уступали в росте экзультантам. Маски на лицах всей троицы изображали лица мужчин — прекрасно воспитанных, сдержанных, отнюдь не глупых, но я сразу заметил, что глаза за прорезями в масках тех двоих, высокого роста, гораздо больше человеческих глаз, а у невысокого глаз нет вовсе, и в прорезях его маски видна лишь непроглядная тьма. Все трое были одеты в белое.

— Ваши Милости! Перед вами — наш большой друг, мастер Севериан из гильдии палачей. Мастер Севериан, позволь представить тебе достопочтенных иеродулов Оссипаго, Барбата и Фамулима. Работа сих благородных персон — прививать мудрость человеческой расе, представляемой здесь Бальдандерсом, а теперь и тобой.

Представленный доктором как Фамулим заговорил. Голос его вполне мог бы показаться человеческим, если б не звучал куда звонче, мелодичнее любого из настоящих человеческих голосов, какие мне доводилось слышать: казалось, ко мне обращается какой-то из струнных музыкальных инструментов, внезапно обретший жизнь.

— Приветствуем тебя, Севериан, — пропел он. — Тебя увидеть — счастие для нас. Перед тобой мы преклоним колени.

С этим и он, и двое других действительно ненадолго опустились передо мной на колено.

Никакие его слова, никакой иной поступок не мог бы поразить меня сильнее. Захваченный врасплох, я попросту не нашелся с ответом.

Наступившую тишину, точно придворный, заполняющий неловкую паузу в светской беседе, нарушил второй из какогенов высокого роста, Барбат. Голос его звучал слегка басовитее, глубже, чем у Фамулима, а в интонациях чувствовалось некоторая воинственность.

— Тебя мы здесь видеть рады — весьма, весьма рады, что явствует и из слов моего дорогого друга, и из наших поступков. Однако твоим друзьям, пока мы здесь, придется подождать там, снаружи. Впрочем, ты сам прекрасно это понимаешь. Моя просьба — всего лишь формальность.

— Пустяки все это, — невероятно низким (казалось, его не столько слышишь, сколько чувствуешь) басом пророкотал третий из какогенов и, словно опасаясь, как бы я не заметил пустоты в глазных прорезях его маски, демонстративно отвернулся к узкой бойнице окна позади.

— Возможно, так и есть, — согласился Барбат. — Уж Оссипаго-то знает…

— Так, значит, с тобой друзья? — прошептал доктор Талос.

Эту странность я замечал за ним далеко не впервые: в отличие от большинства, он крайне редко обращался разом ко всем собеседникам, но либо разговаривал с одним из них, как будто более рядом никого нет, либо ораторствовал, словно перед многотысячной аудиторией.

— Да. Кое-кто из островитян решил сопроводить меня, — старательно сохраняя хорошую мину при плохой игре, отвечал я. — Должно быть, ты о них знаешь. Они живут среди озера, на плавучих скоплениях тростника.

— Видишь, они взбунтовались против тебя! — сообщил доктор великану. — А я ведь предупреждал, что рано или поздно бунта не миновать!

С этим он бросился к окну, в которое якобы смотрел Оссипаго, отпихнул какогена плечом, устремил взгляд в ночь, а затем, повернувшись к нему, рухнул на колени и припал губами к его руке (вернее, к перчатке из какого-то упругого материала, раскрашенного под человеческую кожу, так как то, что находилось внутри, наверняка нисколько не походило на руку).

— Ты ведь поможешь нам, твоя Милость, не так ли? У вас на борту корабля наверняка есть фантассены. Всего разок выставить вдоль стены строй чудовищ — и мы в безопасности на целую сотню лет!

— Победа останется за Северианом, — проговорил Бальдандерс с обычной неспешностью. — Иначе отчего они преклоняли перед ним колени, хотя он может погибнуть, а мы с тобой — нет? Ты, доктор, их обычаи знаешь. Грабеж — тоже способ высева семян знания.

Доктор Талос в ярости повернулся к нему:

— Много он в прошлый раз посеял? Много, я тебя спрашиваю?!

— Как знать, доктор, как знать.

— Сам знаешь, ничего он среди них не посеял! Они до сих пор остаются все теми же — невежественным, суеверным скотом! — прорычал доктор и вновь обернулся к какогенам: — Высокородные иеродулы, ответьте же! Кому же знать о том, если не вам?

Фамулим повел рукой, и в этот миг я с особенной, небывалой остротой почувствовал, кто таится под маской — ведь рука человека попросту не способна на такой жест, лишенный всякого смысла, не означающий ни согласия, ни несогла-

сия, ни раздражения, ни сожаления.

— Я умолчу обо всем, известном тебе самому, — сказал он. — Напомню лишь, что те, кого ты страшишься, научились тебя побеждать. Возможно, они и просты, однако кое-что из унесенного по домам вполне может прибавить им мудрости.

Обращался он к доктору, но я, не в силах больше сдержаться, заговорил:

— Позволь узнать, сьер, о чем ты?

— Речь о тебе, Севериан, обо всех вас. Мои слова теперь не навредят.

— Если, конечно, ты не переусердствуешь, — вмешался Барбат.

— Есть мир, где после долгих странствий найдет покой наш корабль, и он отмечен особым символом: змея о двух головах — на шее и на хвосте. Одна из голов мертва, другая же пожирает ее.

— Думаю, это тот самый мир, — сказал Оссипаго, не отворачиваясь от окна.

— Не сомневаюсь, Камена могла бы открыть нам место… Но, с другой стороны, известно ли о нем тебе, совершенно неважно. Меня ты поймешь в любом случае. Живая голова символизирует разрушенье. Неживая голова — созиданье. Первая поедает вторую и, поедая ее, обогащает собственную же пищу. Какой-нибудь мальчишка

рассудил бы, что в случае гибели первой мертвое, созидательное начало восторжествует, однако на самом деле то и другое вскоре придет в упадок.

— Мой друг, — вновь подал голос Барбат, — как обычно, изъясняется крайне туманно. Тебе его мысль ясна?

— Лично мне — нет! — зло объявил доктор Талос.

Скривившись от отвращения, он отвернулся от нас и поспешил вниз.

— Это неважно, — заверил меня Барбат, — поскольку его хозяин понимает все.

Тут он сделал паузу, словно ожидая от Бальдандерса возражений, и, не дождавшись их, продолжил, по-прежнему обращаясь ко мне:

— Видишь ли, наша цель — в развитии, а не в индоктринации вашей расы.

— В развитии берегового люда? — уточнил я.

Все это время воды озера за окном тянули тоскливую, заунывную ночную песнь, и голос ответившего мне Оссипаго словно бы слился с нею:

— Всех вас…

— Так, значит, все это правда?! Все, о чем подозревали многие из мудрецов? Выходит, нас направляют! Выходит, вы, присматривающие за нами на протяжении многих эпох нашей истории

— хотя для вас-то они, должно быть, всего-навсего дни, — и вывели нас из дикости!

Охваченный восторгом, я выхватил из ташки книгу в коричневом переплете, слегка подмокшую во время купания, несмотря на обертку из промасленного шелка.

— Вот! Позвольте, я покажу, что тут сказано: «Тот, кто не мудр, все же есть объект мудрости. А если мудрость находит его подходящим объектом, разумно ли с его стороны пренебрегать собственной глупостью?» А что, очень похоже!

— Ты заблуждаешься, — возразил Барбат. — Века для нас — как эоны. Я и мой друг имеем дело с вашей расой совсем недавно — твоя жизнь длится куда дольше.

— Эти существа живут от силы пару десятков лет, будто псы, — сказал Бальдандерс.

Его тон сообщал много больше, чем здесь написано: каждое слово казалось увесистым камнем, брошенным в некий глубокий резервуар.

— Быть не может, — пробормотал я.

— Вы есть труд, смысл всей нашей жизни, — объяснил Фамулим. — Вот человек, которого ты называешь Бальдандерсом. Он живет ради нового знания. Мы видим: он копит, хранит здесь мудрость прошлых времен, непреложные факты, а

из этих фактов, как из семян, взрастают его силы. Если он погибнет от рук простецов, то его гибель принесет небольшую выгоду всем вам. Представь себе дерево, проросшее сквозь трещину в камне. Оно вбирает, накапливает и воду, и жизнетворное тепло солнца… словом, все, что нужно для жизни, ради себя самого. Со временем оно гибнет, гниет, удобряя землю, в которую его же корни превратили камень. Тени его больше нет, новые семена дают всходы, и спустя еще какое-то время на его месте поднимается целый лес.

Доктор Талос, вернувшийся снизу, неспешно, с сарказмом захлопал в ладоши.

— Но ведь все эти машины им оставили вы? — спросил я.

В этот миг мне отчетливо вспомнилась выпотрошенная девушка, шевелящая губами, бормочущая что-то под стеклянным колпаком позади. Некогда это не взволновало бы палача Севериана ни в коей мере.

— Нет, — ответил Барбат. — Эти он сам отыскал или сконструировал. Как уже говорил Фамулим, он жаждет учиться, и мы заботимся о его учении, но сами ничему его не учим. Мы никого ничему не учим, а машины вам продаем лишь самые сложные, которых людям не повторить.

— Эти монстры, эти страшилища ради нас пальцем не шевельнут, — проворчал доктор Талос. — Ты их сам видел и знаешь, кто они таковы. Когда мой несчастный пациент в помрачении разума бросился к ним со сцены в садах Обители Абсолюта, они едва не пристрелили его из этих своих пистолетов.

Великан заерзал в огромном кресле:

— Не стоит, доктор. К чему притворяться? Притворное сочувствие тебе не идет. Валять перед ними дурака… — Огромные плечи Бальдандерса приподнялись кверху и опустились вновь. — Напрасно я тогда вспылил. Лучше б сдержался. Хорошо, что они согласились забыть обо всем.

— Ты сам знаешь: в ту ночь мы могли бы покончить с твоим создателем без труда, — ответил доктору Барбат. — Могли бы, однако всего лишь опалили его, дабы унять его буйство.

Тут мне и вспомнилось, как в лесу за садами Автарха, перед расставанием, великан назвал себя господином доктора. Не успев подумать, что делаю, я схватил доктора за руку. На ощупь его кожа оказалась такой же теплой, живой, как моя собственная — разве что необычайно сухой. Замешкавшийся, доктор Талос не сразу отдернул руку.

— Что ты за существо? — спросил я, а не дождавшись ответа, обратился к созданиям, назвавшимся Фамулимом и Барбатом: — Некогда, сьеры, знавал я человека лишь отчасти из человеческой плоти…

Вместо ответа оба устремили взгляды на великана, и я, пусть даже зная, что лица их — попросту маски, почувствовал, сколь сильна их настойчивость.

— Гомункул, — пророкотал Бальдандерс.

XXXIV. Маски

В тот же миг за окном хлынул дождь — холодный ливень, замолотивший по грубо отесанным серым камням замка миллионами ледяных кулачков. Усевшись, я стиснул между коленями «Терминус Эст», чтоб унять дрожь в ногах.

— Рассказывая о маленьком человеке, заплатившем за строительство этого замка, — изо всех сил сохраняя внешнее самообладание, сказал я, — островитяне, насколько я понимаю, говорили о докторе. Однако, по их рассказам, ты, «великан», появился после.

— Маленьким человеком был я. Это доктор появился после.

В проеме окна мелькнуло и тут же исчезло кошмарное, залитое дождем лицо еще одного какогена. Возможно, он о чем-то сообщил Оссипаго, хотя я не услышал ни звука.

— У роста, — не оборачиваясь, заговорил Оссипаго, — имеются свои недостатки, однако для ваших, местных видов процесс роста — единственный способ восстановления.

Доктор Талос пружиной взвился с кресла:

— Мы одолеем их! Он сам отдался в мои руки!

— Я… вынужден был, — сказал Бальдандерс. — Другого-то не имелось, вот и пришлось самому сотворить себе лекаря.

Лихорадочно приводя в порядок мысли, я перевел взгляд с одного на другого. Нет, никаких изменений во внешности или в манерах обоих мне обнаружить не удалось.

— Но ведь он бьет тебя, — напомнил я. — Я сам видел.

— Как-то раз я подслушал, как ты откровенничал с той маленькой женщиной. О том, что погубил другую женщину, которую любил… хотя и был ее рабом.

— Я, видишь ли, должен был поднять его с постели во что бы то ни стало, — пояснил доктор Талос. — Ему нужны физические упражнения, и это одна из моих забот. Слыхал я, будто у Автарха — чье здравие есть счастье подданных — в спальне имеется изохронон, дар другого автарха, из-за рубежей мира. Возможно, господина вот этих вот благородных, не знаю. Так вот, опасаясь кинжала в горло, он воспрещает кому-либо входить к нему, пока спит, и посему ночные стражи отсчитывает для него это устройство. Оно же и будит Автарха, когда наступает рассвет. А ведь, казалось бы, как он, владыка всего Содружества,

может позволить, чтоб его сон тревожила простая машина? Да, Бальдандерс создал меня, нуждаясь в услугах врача, как он тебе и сказал. Ты, Севериан, знаком со мною не первый день… скажи, свойственен ли мне бесславный порок ложной скромности?

Я, вымученно улыбнувшись, покачал головой.

— Так знай же: все мои достоинства, какие ни есть, — отнюдь не моя заслуга. Бальдандерс весьма разумно наделил меня всем, чего не хватает ему самому, дабы я уравновешивал его недостатки. К примеру, мне совершенно неведома любовь к деньгам. Для пациента сия черта в личном враче просто бесценна. Вдобавок я верен друзьям, так как он — из них первый.

— И все же, — заметил я, — я уж который раз поражаюсь, как он не прикончил тебя до сих пор.

В комнате царил такой холод, что я поплотнее закутался в плащ, хоть и чувствовал, что все это обманчивое спокойствие продлится недолго.

— Ты должен знать, отчего я держу нрав в узде, — сказал великан, — так как видел меня потерявшим самообладание. Сидя напротив них, под их взглядами, будто медведь на цепи…

Доктор Талос коснулся его запястья. В этом жесте чувствовалось нечто женственное.

— Дело в его железах, Севериан. В эндокринной системе — особенно в щитовидке. Все это требует предельного внимания, иначе он начнет расти слишком быстро. Еще я должен присматривать, чтоб его кости не треснули под тяжестью тела, и за тысячей прочих вещей.

— Мозг, — пробасил великан. — Мозг — вот что самое скверное… и самое лучшее.

— Разве Коготь тебе не помог? — удивился я. — Если нет, быть может, в моих руках подействует. Мне в довольно короткий срок удалось добиться от него такого, чего Пелерины не добились за многие годы.

Видя, что на лице Бальдандерса не отразилось ни единого свидетельства понимания, доктор Талос пояснил:

— Он говорит о самоцвете, присланном рыбаками. Этот камень якобы обладает чудесными целительными свойствами.

Тут Оссипаго наконец-то повернулся к нам:

— Как интересно. Он у тебя здесь? Позволь взглянуть на него.

Встревоженный, доктор взглянул в сторону Бальдандерса и вновь устремил взгляд на бесстрастную маску, заменявшую какогену лицо.

— Полноте, ваши Милости, это же сущий пу-

стяк. Всего лишь осколок корунда.

С тех самых пор, как я вошел в комнату, ни один из какогенов не сдвинулся с места более чем на кубит, но в этот момент Оссипаго вперевалку, слегка косолапя, засеменил к моему креслу. Должно быть, я, сам того не заметив, подался назад, так как он сказал:

— Тебе незачем опасаться меня, хоть мы и принесли твоим собратьям немало вреда. Мне хотелось бы подробнее узнать об этом Когте — что, по словам гомункула, представляет собой лишь образчик определенного минерала.

Услышав это, я всерьез испугался, как бы он со спутниками не забрал у Бальдандерса Коготь и не увез самоцвет с собой, в родной мир, невообразимо далекий от нашего, но рассудил, что для этого им придется заставить великана достать его, а в таком случае у меня появится возможность завладеть камнем — ведь другой-то вполне может и не представиться. Посему я рассказал Оссипаго обо всех чудесах, сотворенных Когтем с тех пор, как он попал ко мне в руки, — и об улане на древней дороге, и о людях-обезьянах, и о прочих проявлениях его силы, описанных мною выше. Слушая мой рассказ, великан мрачнел на глазах, а доктор, по-видимому, тревожился все

сильней и сильней.

— Ну а теперь мы должны сами взглянуть на это чудо, — сказал Оссипаго, выслушав меня до конца. — Будь добр, принеси его.

Бальдандерс, поднявшись с кресла, побрел в противоположный угол. В сравнении с ним все его машины казались просто игрушками. Наконец, выдвинув ящик небольшого белого столика, он извлек изнутри самоцвет. Настолько тусклым я не видел Когтя еще никогда: в руках Бальдандерса он вполне мог сойти за осколок простого синего стекла.

Приняв камень, какоген взвесил его на ладони (ладони перчатки, раскрашенной под человечью кожу), поднял над головой, однако лица кверху, как поступил бы человек, не повернул. Озаренный сиянием желтых ламп, свисавших вниз с потолка, Коготь вспыхнул чистой лазурью.

— Очень красиво, — сказал какоген. — И весьма интересно, хотя приписываемых ему чудес он совершить не мог.

— Очевидно, — пропел Фамулим с еще одним жестом, живо напомнившим мне движения статуй в садах Автарха.

— Камень мой, — сообщил им я. — Жители берега отняли его силой. Могу я получить камень

назад?

— Если он твой, где ты взял его? — осведомился Барбат.

В ответ я принялся пространно описывать встречу с Агией и разрушение алтаря Пелерин, но вскоре он оборвал меня:

— Все это только домыслы. Ты ведь не видел камня на алтаре и не почувствовал, как девушка подсунула его тебе, если так все и было. *Где ты взял его?*

— Нашел в одном из отделений собственной ташки, — отвечал я, не зная, что тут еще сказать.

Барбат словно бы в разочаровании отвернулся.

— А ты… — С этим он перевел взгляд на Бальдандерса: — Сейчас самоцвет у Оссипаго, а он получил его от тебя. Где взял его ты?

— Ты сам видел, — пророкотал Бальдандерс. — В ящике вон того столика.

Какоген кивнул, качнув маску руками:

— Вот видишь, Севериан, его притязания ничем не хуже твоих.

— Но камень-то мой, не его!

— Разбирать споры меж вами — не наше дело; спор вам придется уладить самим, когда мы отбудем. Однако из чистого любопытства, терзающего даже столь странных созданий, какими нас по-

лагаете вы: Бальдандерс, ты хочешь оставить камень себе?

Великан решительно покачал головой:

— Подобного монумента суеверию я в своей лаборатории не потерплю.

— Значит, достичь согласия вам труда не составит, — объявил Барбат. — Севериан, хочешь посмотреть на взлет нашего корабля? Бальдандерс всегда выходит нас провожать, хотя он не из тех, кто будет петь оды красотам — рукотворным или природным. По-моему, это зрелище стоит внимания.

Отвернувшись, он одернул белые одеяния.

— Почтеннейшие иеродулы, — заговорил я, — на взлет корабля я посмотрю с удовольствием, но, прежде чем распрощаться, хотел бы кое о чем спросить. Когда я вошел, вы сказали, будто для вас нет радости большей, чем радость встречи со мной, и даже преклонили передо мною колени… так вот, всерьез ли вы это все? Не перепутали ли меня с кем-нибудь?

Как только какоген заговорил об отлете, Бальдандерс с доктором Талосом поднялись на ноги. Теперь же, хотя Фамулим и задержался, чтоб выслушать мой вопрос, остальные двинулись к лестнице, ведущей наверх: Барбат как раз занес

над ступенькой ногу, а Оссипаго, так и не вернувший Бальдандерсу Когтя, шел за ним по пятам.

Опасаясь потерять Коготь из виду, я устремился следом, а Фамулим пошел со мной рядом. Его голос казался пением какой-то дивной птицы из недосягаемого леса, преодолевшим бескрайнюю пустоту.

— Хоть испытания нашего ты и не выдержал, я говорил совершенно серьезно. Как часто мы держали с тобою совет, о государь! Как часто исполняли мольбы друг друга! С водяными девами ты, полагаю, знаком? Ужель и я, и Оссипаго, отважный Барбат не столь разумны, как они?

Я шумно перевел дух:

— Не понимаю, о чем ты, но отчего-то чувствую: с виду и ты, и тебе подобные ужасны, однако душой вы добры. А вот ундины — нет, хотя они столь прекрасны, и в то же время столь устрашающи, что даже смотреть на них стоит немалых трудов.

— По-твоему, весь мир — война добра и зла? Разве тебе никогда не приходило в голову, что в мире не все так просто?

Действительно, подобных мыслей мне в голову прежде не приходило, и с ответом я не нашелся.

— Да, и, будь любезен, уж потерпи мою настоящую внешность. Не прими за обиду, но… позволь

мне снять маску. Мы оба знаем, что это лишь маска, а в ней очень уж жарко. Бальдандерс ушел вперед и не увидит.

— Как пожелаешь, высокородный, — ответил я. — Но разве ты не объяснишь…

Неуловимым мановением руки, словно бы с облегчением, Фамулим сорвал маску. Лицо под нею оказалось не столько лицом, сколько одними глазами посреди сгустка гниющей плоти… однако Фамулим точно тем же движением избавился и от него. На сей раз моему взору открылся лик, исполненный той странной, безмятежной красоты, которой лучились резные лица ходячих статуй в садах Обители Абсолюта, но отличавшийся от них не меньше, чем лицо живой женщины отличается от ее прижизненной маски.

— Разве тебе, Севериан, — заговорила она, — никогда не приходило в голову, что под одной маской может оказаться еще одна? Но я, носящая две, обхожусь без третьей. Клянусь: больше меж нами нет никакой неправды. Коснись же, о государь… Коснись перстом моего лица.

Мне сделалось жутко, однако она, взяв меня за руку, поднесла ее к собственной щеке. На ощупь щека оказалась прохладной, однако живой, прямой противоположностью сухой и теплой ладони

доктора.

— А все устрашающие, чудовищные маски на наших лицах — лишь маски твоих соседей, жителей Урд. Насекомое, минога, прокаженный при смерти… все они — твои братья, хотя и могут внушать отвращение.

Приближаясь к верхнему из этажей, мы то и дело шли по обугленным доскам, следам пожара, выгнавшего из дома Бальдандерса с его доктором. Как только я опустил руку, Фамулим снова надела маску.

— Зачем же вам это нужно? — спросил я.

— Чтоб ваш народ ненавидел нас всех и боялся. В противном случае — скажи, Севериан, сколь долго простонародье терпело бы власть из тех, что не от нас? Нет, мы не станем лишать вас собственной власти: разве Автарх не держится на Троне Феникса, защищая от нас род людской?

Тут я почувствовал себя, совсем как порою в горах, пробудившись от сна, сев, удивленно оглядевшись вокруг и увидев вместо пригрезившихся во сне стен кабинета мастера Палемона, или нашей трапезной, или дверей камер вдоль коридора, где я сижу за столом дежурного возле двери камеры Теклы, зеленое блюдце луны, пришпиленное к небу сосной, и хмурые, мрачные

лики гор, увенчанных ломаными зубчатыми диадемами.

— Тогда зачем же ты показалась мне в настоящем облике? — только и смог спросить я.

— Понимаешь ли, ты нас еще увидишь, а мы тебя — больше нет. Боюсь, здесь наша дружба начинается и в то же время заканчивается. Считай это приветственным даром от навсегда уходящих друзей.

В это самое время доктор, идущий первым, настежь распахнул дверь, и перестук дождя превратился в грохот, а в мертвенный холод башни ворвался леденящий, однако исполненный жизни ветер снаружи. Чтобы протиснуться в проем двери, Бальдандерсу пришлось нагнуться и повернуться боком, и я замер, ошеломленный мыслью о том, что со временем он, несмотря на заботы доктора Талоса, не сможет пройти в нее вовсе — хочешь не хочешь, двери придется расширить, и лестницы, пожалуй, тоже: ведь, упав с лестницы, он разобьется наверняка. Тут я и понял, отчего в этой башне — его башне — такие высокие потолки и огромные комнаты, а разрешив эту загадку, задумался: каковы же выдолбленные в скале подземелья, где он держит взаперти изголодавшихся пленников?

XXXV. Сигнал

Снизу казалось, будто корабль покоится прямо на вершине здания башни, однако это было вовсе не так. В действительности корабль какогенов парил в получейне, а то и более от нас — так высоко, что почти не укрывал от проливного дождя, под плетью коего гладкая выпуклость корпуса блестела, точно черный перламутр. Разглядывая корабль, я невольно задумался: какие же паруса поднимают на этаком судне, дабы улавливать ветры, дующие меж миров, — а после, стоило мне удивиться, отчего никто из команды не выглянет полюбоваться на нас, тритонов, жителей глубины, странных, неуклюжих тварей, разгуливающих в эту минуту под днищем их корабля, один из них вправду, окруженный оранжевым ореолом, головою вперед, словно белка, спустился вниз, держась за обшивку руками и ногами, хотя та была мокра, будто камешек в русле реки, а гладкостью полировки не уступала клинку «Терминус Эст». Лицо его прикрывала одна из тех масок, которые я не раз описывал выше, но обмануть меня она уже не могла. Увидев под собой Оссипаго, Барбата и Фамулим, спускаться

ниже он не стал, и вскоре откуда-то сверху к нам сбросили тонкий линь, также мерцающий оранжевым, будто луч света.

— Что ж, нам пора, — сказал Оссипаго, передав Коготь Бальдандерсу. — Поразмысли как следует обо всем, чего мы не сказали, и запомни все, чего не показывали.

— Обязательно, — ответил Бальдандерс тоном столь мрачным, какого я от него прежде не слыхивал.

Тогда Оссипаго ухватился за линь, заскользил кверху и скрылся из виду за выпуклым брюхом корпуса. Однако с виду отчего-то казалось, будто на самом деле скользит он не вверх, а вниз, точно корабль — тоже целый мир, подобно Урд, в слепой ненасытности тянущий к себе все ему принадлежащее; а может, дело было лишь в том, что Оссипаго стал легче нашего воздуха, совсем как моряк, нырнувший с корабля в море и поднимающийся к поверхности (таким же образом я всплыл наверх, выпрыгнув из гетманской лодки).

Как бы там ни было, Барбат и Фамулим последовали за ним. Фамулим, прежде чем ее заслонило выпуклое дно корабля, помахала рукой — несомненно, Бальдандерс с доктором подумали, будто

она прощается с ними, но я-то знал: жест ее адресован мне. Хлестнувшая по лицу пелена дождя залила глаза, ослепила, несмотря на капюшон плаща.

Поначалу медленно, а затем все быстрее, быстрее корабль приподнялся и устремился прочь — ни в небеса, ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад, но в направлении, коего я ни за что не смог бы указать, едва он исчез вдали.

Бальдандерс повернулся ко мне:

— Ты слышал их.

— Верно, я говорил с ними, — ответил я, не понимая, что он имеет в виду. — Доктор Талос сам пригласил меня внутрь после того, как отворил ворота в стене.

— Они ничего не сказали мне. И не показывали ничего.

— Однако увидеть их корабль, побеседовать с ними — все это уже кое-что, — заметил я.

— Они гонят меня вперед. Вперед и вперед, неизменно вперед. Точно быка на бойню.

Подойдя к зубчатому парапету, он устремил взгляд в бескрайний простор озера, под ударами ливня казавшееся морем кипящего молока. Зубцы стены возвышались над моей головой на добрых полдюжины пядей, однако Бальдандерс

оперся о них, словно о перила, и я заметил в одном из сжатых кулаков великана лазурный свет Когтя. Доктор Талос, дернув меня за плащ, негромко забормотал, что нам лучше убраться внутрь — ливень-то вон как разгулялся, но я не сдвинулся с места.

— Началось это задолго до твоего появления на свет. Сперва они помогали мне, пусть хотя бы наталкивая на мысли да задавая вопросы. Теперь только намекают: вот, дескать, такое тоже возможно, а как — изволь догадаться сам. А сегодня даже на намек не расщедрились.

Желая внушить ему, чтоб впредь прекратил опыты над островитянами, однако не зная, как к этому подступиться, я сказал, что видел в действии его взрывчатые пули — уж точно чудесное, великое изобретение.

— Натрий, — пояснил он, повернувшись ко мне лицом и вскинув огромную голову к темному небу. — А ты — полный невежда. Натрий — просто элементарное вещество, порождаемое морем в неисчерпаемом изобилии. По-твоему, будь он не обычной игрушкой, я дал бы его рыбакам? Нет, мое величайшее деяние, причем единственное, — это я сам. Я сам!

— Оглядись вокруг, — шепнул мне доктор Та-

лос. — Неужели не видишь? Все именно так, как он говорит.

— О чем ты? — прошептал я в ответ.

— А замок? А чудовище? А ученый муж? Мне самому только что пришло в голову… Ты ведь наверняка понимаешь: тени важных событий прошлых времен накрывают целые эпохи, и в точности так же ныне, когда солнце клонится к закату, наши тени стремительно тянутся в прошлое, дабы растревожить грезы человечества.

— Ты безумец, — сказал я. — Не в своем уме либо шутишь.

— Не в своем уме? — пророкотал Бальдандерс. — Это ты, ты безумен! Влез в разговор со своими фантазиями о теургии… То-то они, должно быть, смеются сейчас над нами! Смеются и думают, будто все мы — такие же варвары… в том числе я, трудящийся вот уже третью жизнь!

С этим он вытянул вперед руку и разжал кулачище. На сей раз Коготь засиял и у него на ладони. Я потянулся за камнем, но великан внезапно швырнул его вдаль. Как же он вспыхнул во мраке, пронизанном струями ливня! Словно сама ясная Скульд пала с ночного неба…

Поодаль, снизу, раздались вопли озерного люда, ждавшего за стеной. Я никакого сигнала им

не подавал — сигналом послужил единственный поступок, кроме, пожалуй, нападения на мою собственную персону, который мог подтолкнуть меня к началу штурма. Не успел отзвучать их вопль, как «Терминус Эст» со свистом покинул ножны. Готовясь к удару, я поднял меч, но прежде чем сумел сблизиться с великаном, доктор Талос, пружиной метнувшись вперед, заступил мне путь. Оружие, поднятое им, дабы отразить удар, я полагал всего-навсего тростью, и, не разорви мое сердце утрата Когтя, расхохотался бы, рассекая ее пополам. Однако клинок меча зазвенел о сталь, и, хотя отбил трость, удар доктор выдержал, а прежде чем мне удалось вновь обрести равновесие, промчавшийся мимо Бальдандерс швырнул меня о парапет.

Увернуться от выпада доктора мне не удалось, но, видимо, плащ цвета сажи ввел его в заблуждение: острие, вскользь зацепив ребра, лязгнуло о камень. В ответ я ударил противника рукоятью меча, и тот, оглушенный, мешком рухнул с ног.

Тем временем Бальдандерс скрылся из виду. Оглядевшись, я понял, что его бесшабашный рывок вел прямиком к двери за моею спиной, а удар он нанес мимоходом, без раздумий — так человек, занятый неким делом, мог бы задуть

свечу, прежде чем выйти из комнаты.

Доктор распростерся без чувств на вымощенной булыжником крыше башни — при свете солнца, наверное, тускло-серой, однако сейчас, под струями ливня, казавшейся черной, как уголь. Рассмотрев его рыжие волосы и бородку, я обнаружил, что лежит он на животе, неестественно вывернув голову набок. Казалось бы, бил я не так уж сильно, хотя, возможно, как говорят некоторые, сам не сознаю, насколько силен… но, очевидно, при всем своем петушином задоре доктор Талос был много слабее любого из нас, а Бальдандерс о том не догадывался. В эту минуту я мог без труда покончить с ним, ударив мечом так, что уголок затупленного острия глубоко погрузился бы в череп, словно в масло.

Вместо этого я подобрал оружие доктора — узкую серебристую полоску, выпавшую из его рук. Оружие оказалось клинком с односторонней заточкой, не шире моего указательного пальца, зато весьма острым — как и положено клинку хирурга. Оглядев рукоять, я понял, что это всего лишь набалдашник трости, которую я много раз при нем видел. Выходит, доктор Талос носил в трости оружие наподобие того, что обнажил Водал в некрополе. При мысли о том, что он втайне

от меня, шагавшего рядом с «Терминус Эст» за плечом, нес его столько лиг, я улыбнулся струям проливного дождя. От предназначенного мне удара о камень острие обломилось. Я швырнул клинок через парапет, вслед за выброшенным Бальдандерсом Когтем, и двинулся в его башню, полный решимости покончить и с ним.

По пути наверх я, целиком поглощенный беседой с Фамулим, не обращал внимания на комнаты, которые мы проходили. Верхняя запомнилась мне лишь как помещение, словно бы сплошь задрапированное алой тканью. Сейчас я разглядел там алого цвета сферы, светильники, горящие без огня, совсем как серебряные цветки, свисавшие с потолка той комнаты, где я познакомился с существами, коих больше не мог называть какогенами. Шары те венчали собою подставки из слоновой кости, с виду легкие, тонкие, словно косточки птицы, высившиеся над полом — вернее, не столько над полом, сколько над целым морем всевозможных тканей, одинаково красных, но отличавшихся друг от друга оттенками и фактурой. Под потолком комнаты растянут был балдахин, поддерживаемый атлантами, тоже алый, однако расшитый тысячей серебряных пластинок, отполированных почти

столь же безукоризненно, как зеркальная броня преторианцев Автарха.

Только на нижних ступенях лестницы, почти спустившись в комнату, я понял, что передо мной всего-навсего спальня гиганта Бальдандерса, вернее — огромная, впятеро больше обычной, постель, устроенная вровень с полом и устланная малиновым ковром, по которому в беспорядке разбросаны светло-вишневые и карминовые простыни да покрывала. Еще миг, и среди скомканных простыней мелькнуло лицо. Стоило мне поднять меч, лицо исчезло, однако я, сойдя с лестницы, отбросил в сторону одно из мягких полотнищ. Прятавшийся под ней катамит (если он вправду был катамитом) поднялся и уставился на меня с отвагой, порой проявляемой маленькими детьми. Впрочем, он действительно был совсем ребенком, хотя ростом немногим уступал мне — обнаженный мальчишка, настолько пухлый, что его отвисший живот закрывал крохотные гениталии. Плечи мальчишки напоминали розовые подушки, перевитые золотыми шнурами, в ушах покачивались золотые кольца с подвешенными к ним миниатюрными колокольчиками, а волосы тоже сверкали золотом, и он глядел на меня из-под золотой челки огромными синими

глазами младенца.

Несмотря на его величину, я так никогда и не смог поверить, что Бальдандерс предавался с ним педерастии в том смысле, в каком это принято понимать, хотя, возможно, надеялся начать после, когда мальчишка еще подрастет. Но, разумеется, если собственный рост он, как мог, сдерживал, давая ему волю ровно настолько, чтобы спасти огромное тело от разрушительного воздействия прожитых лет, то рост злополучного мальчишки, наоборот, ускорял, насколько сие позволяли его познания в антропософии. Утверждаю я это, поскольку уверен, что в его руки мальчишка угодил только спустя какое-то время после того, как Бальдандерс и доктор Талос расстались со мною и Доркас.

(Мальчишку я оставил там, где нашел, и до сего дня представления не имею, что сталось с ним дальше. Весьма вероятно, он вскоре погиб, однако его вполне могли подобрать, спасти от голодной смерти те же островитяне или люди гетмана, обнаружившие ребенка несколько позже.)

Не успел я спуститься этажом ниже, как открывшееся впереди зрелище начисто стерло все мысли о мальчике из головы. Обилие тумана в следующей комнате (которого, в чем я совершен-

но уверен, по пути наверх там не было и следа) нисколько не уступало обилию красных тканей, оставшемуся за спиной. Туман клубился, кипел, словно живой — пожалуй, именно таким я мог бы представить в воображении логос, исходящий из уст Вседержителя. Пока я в изумлении взирал на него, передо мной поднялась туманная фигура человека, взмахнувшего зазубренным копьем. Прежде чем я осознал, что передо мною просто фантом, клинок «Терминус Эст» рассек его запястье, как мог бы рассечь струйку дыма. Призрак немедля съежился, точно туман, начал стремительно пожирать сам себя изнутри и вскоре едва смог бы достать макушкой мне до пояса.

Я двинулся дальше и, сойдя еще на несколько ступеней вниз, погрузился в холодную бурлящую белую пелену. Вспучившись, поверхность ее словно бы вытолкнула наружу жуткую тварь — тварь целиком из тумана, подобно человеку с копьем. У карликов, которых мне доводилось видеть прежде, голова и туловище, как правило, обычной величины, а порой даже больше, однако руки и ноги, пусть даже весьма мускулистые, остаются «детскими». Сейчас мне преградила путь полная противоположность подобного карлика — обладатель огромных, куда больше моих,

рук и ног при уродливом, недоразвитом тельце.

Вооруженный эстоком, сей антикарлик разинул рот в беззвучном крике и вонзил клинок в горло туманного человека, словно не замечая зазубренного копья, глубоко вошедшего в его собственную грудь.

Раздавшийся поблизости смех я узнал сразу, хоть и нечасто видел великана в веселье.

— Бальдандерс! — окликнул я.

Голова Бальдандерса поднялась из тумана, точно вершины гор, возвышающиеся над пеленой облаков на рассвете.

XXXVI. Бой во дворе замка

— Вот тебе настоящий противник. С настоящим оружием, — сказал я, спускаясь в туман и прокладывая путь клинком меча.

— Враги, которых ты видишь в моих туманных покоях, тоже вполне настоящие, — безмятежно пророкотал Бальдандерс. — Вот только они не здесь, а на дворе, снаружи. Первый был одним из твоих друзей, второй — одним из моих врагов.

Туман между тем рассеялся, и я обнаружил великана посреди комнаты, сидящим в массивном кресле. Стоило мне повернуть к нему, он поднялся на ноги, схватил кресло за спинку и без малейшего напряжения сил швырнул им в меня, точно корзиной, промахнувшись не более чем на какую-то пядь.

— Ну вот, теперь ты готов убить меня, — сказал он, — и все из-за какого-то дурацкого амулета. Эх, надо, надо было прикончить тебя еще той ночью, когда ты спал в моей кровати.

Я мог бы сказать то же самое, но не удостоил его ответа. Очевидно, притворяясь беспомощным, он надеялся подтолкнуть меня к безрассудной атаке, однако, хотя и казался на вид безоружным, все-

таки вдвое превосходил меня ростом и вчетверо (как я не без причин полагал) силой. Кроме того, неторопливо сходясь с ним, я отчетливо сознавал, что в эту минуту мы повторяем кукольное представление, пригрезившееся мне во сне той самой ночью, о которой он только что мне напомнил, и там, на сцене, марионеточный великан был вооружен дубинкой. В то время как я шел вперед, он отступал шаг за шагом и все же, казалось, был постоянно готов броситься на меня.

Однако, когда мы удалились от лестницы примерно на три четверти комнаты, он вдруг развернулся и пустился бежать. Пожалуй, вид бегущего дерева и то не поразил бы меня сильнее.

Вдобавок бежал великан очень и очень быстро. При всей своей неуклюжести он одним шагом покрывал два и стены — с точно такой же узкой бойницей окна, как та, сквозь которую глядел вдаль Оссипаго — достиг много раньше, чем я.

На миг я растерялся, не в силах сообразить, что у него на уме. Окно слишком узко, ему нипочем не пролезть… однако Бальдандерс просунул в бойничный проем громадные ручищи, и до меня донесся явственный скрежет камня о камень.

Вовремя догадавшись, в чем дело, я едва успел отступить на два-три шага назад. Еще миг —

и Бальдандерс, вскинув над головой тесаный камень, выломанный из стены, запустил им в меня.

Едва я отпрыгнул в сторону, великан выломал из стены еще камень и еще один. После третьего, хочешь не хочешь, пришлось откатиться прочь кубарем, с обнаженным мечом в руках, дабы увернуться от четвертого: разоренная кладка изрядно утратила прочность и новые камни летели в меня все быстрей и быстрей. Чисто случайно мой кувырок завершился возле какого-то ящичка не больше шкатулки, в каких небогатые домохозяйки хранят кольца да серьги, лежащего на полу.

Крышку ящичка украшало множество крохотных ручек, и что-то этакое в их форме сразу напомнило мне ручки регулировки, которые вертел мастер Гюрло, готовя «Революционер» к истязанию Теклы. Прежде чем Бальдандерсу удалось выломать из стены новый камень, я подхватил ящичек и повернул одну из них. Над полом сразу же вновь заклубился рассеявшийся туман. Вскоре мутная белая пелена заволокла все вокруг, накрыла меня с головой, ослепила.

— Отыскал, значит, — неспешно пророкотал Бальдандерс. — Надо было выключить эту штуку. Теперь я тебя не вижу, однако и ты не видишь

меня.

Понимая, что великан держит наготове очередной камень и швырнет им в меня, стоит мне подать голос, я промолчал и, сделав около пары дюжин вдохов, как можно тише двинулся в его сторону. Подкрасться ко мне так, чтоб я не услышал, Бальдандерс при всем его хитроумии не сумел бы — в этом сомнений быть не могло. На четвертом шаге брошенный им камень с треском разбился об пол у меня за спиной, а спереди донесся скрежет еще одного, вынимаемого из стены.

Этот-то камень и оказался пресловутой последней каплей, переполнившей чашу. Скрежет сменился оглушительным грохотом: должно быть, часть стены над окном, утратив опору, обрушилась вниз. Увы, надежды на то, что великан погиб под обвалом, тут же рассыпались в прах. Хлынувший сквозь брешь наружу, в ненастную ночь, туман сразу же начал редеть, и вскоре я увидел Бальдандерса, стоящего возле зияющего пролома как ни в чем не бывало.

Очевидно, выломанный из кладки камень он выронил во время обвала, так как руки его оказались пусты. При виде этого я рванулся к нему в надежде нанести удар, пока великан не опомнился, однако он снова сумел меня опередить.

Ухватившись за край полуразрушенной стены, Бальдандерс подпрыгнул и скрылся снаружи, а к тому времени, как я остановился возле пролома, успел довольно далеко спуститься вниз. На первый взгляд проделанное им казалось невозможным, но, приглядевшись внимательнее к наружной стене, освещенной горящими в комнате лампами, я обнаружил меж грубо отесанных, уложенных один на другой без известкового раствора камней немало изрядных щелей, да и сама башня кверху заметно сужалась, отчего стены словно бы наклонялись внутрь.

Как ни велик был соблазн, вложив в ножны «Терминус Эст», последовать за великаном, я понимал, что в таком случае окажусь совершенно беззащитным, поскольку Бальдандерс наверняка спустится вниз первым. Стоило запустить в него ящичком, враг скрылся из виду за струями ливня, а я, за неимением иного выбора, ощупью добрался до лестницы и спустился на первый этаж, который успел рассмотреть, войдя в замок.

В то время внизу царила мертвая тишина, а вокруг не было никого и ничего, кроме множества древних механизмов. Теперь комната превратилась в сущий пандемониум. Повсюду — и над, и под, и между машинами — кишмя

кишели дюжины устрашающих тварей сродни той, чей призрак я видел в комнате, названной Бальдандерсом туманными покоями. Одни, подобно Тифону, щеголяли двумя головами, другие — двумя парами рук, многих постигло проклятье несоразмерности конечностей — ног вдвое длиннее туловища, бицепсов толще бедра. Все они были вооружены и, очевидно, не в своем уме, так как разили и бившихся с ними островитян, и друг друга, не отличая своих от чужих. Тут мне и вспомнились слова Бальдандерса, сказавшего, что внизу, во дворе, полным-полно моих друзей и его врагов. Разумеется, он был целиком прав: бросавшиеся на всех без разбору, эти твари немедля напали бы и на него.

Срубив трех по пути к выходу, я сумел собрать вокруг себя ворвавшихся в башню воинов озерного люда и сказал им, что настоящий, главный наш враг ждет снаружи. Видя, какой ужас внушают им безумные чудовища, одно за другим выскакивающие из темного лестничного колодца (в коих островитяне никак не признавали тех, кем они, несомненно, были на самом деле — изувеченных братьев с сестрами и сыновей с дочерьми), я крайне удивился тому, что они вовсе отважились войти в замок. Однако сколь

же чудесно было видеть, как одно мое появление придало им твердости духа! Да, островитяне предоставили мне идти впереди, но, судя по выражению лиц, приготовились следовать за мной, куда я их ни поведу. Думаю, той ночью я впервые постиг природу удовольствия, получаемого мастером Гюрло от занимаемой должности, каковое до тех пор считал простым упоением возможностью подчинять других своей воле. Заодно понял я и причину, побудившую множество молодых придворных расстаться с суженными, моими подругами по жизни, прожитой Теклой, ради службы в каких-то заштатных полках.

Дождь мало-помалу слабел, унимался, хотя по-прежнему хлестал с неба серебряными полотнищами. На ступенях вповалку лежали убитые островитяне и куда больше созданных великаном чудовищ — нескольких пришлось пинком сбросить с лестницы, чтоб не споткнуться, ступая по трупам. Снаружи битва кипела вовсю, но ни одна из ужасных тварей, заполонивших двор, на нас не набросилась, а натиск тех, что остались внутри, озерный люд отразил без труда. Что до Бальдандерса, тот исчез, точно провалившись сквозь землю.

В который раз уже я замечаю, что бой, как он ни

увлекателен, поскольку требует от человека всего, на что тот способен, и даже большего, описать крайне трудно. Вдобавок когда он окончен, лучше всего человек — во время сражения слишком занятый, чтобы запомнить многое, — помнит вовсе не собственные удары и отражение ударов врага, но передышки меж поединками. Во дворе замка мне довелось пережить четыре отчаянных схватки с творениями Бальдандерса, однако сейчас я не могу точно сказать, в каких из них бился удачно, а в каких — из рук вон плохо.

Впрочем, темнота и ливень благоприятствовали беспорядочному, стихийному стилю боя, навязанному мне конструкцией «Терминус Эст». Правильное фехтование, да и любые забавы с клинком либо копьем, напоминающие его хоть отчасти, требуют хорошего освещения, поскольку каждый из бьющихся должен видеть оружие оппонента, а здесь света не было вовсе. Мало этого, самоубийственная отвага, присущая тварям Бальдандерса, отнюдь не шла им на пользу. Все они неизменно старались уклониться от моего удара, подпрыгнув вверх либо поднырнув под клинок, и чаще всего тут же падали, сраженные вторым ударом, наотмашь. В каждой из этих разрозненных схваток так или иначе участво-

вали и воины-островитяне. Один раз они даже расправились с врагом за меня, в других же случаях отвлекали его или ранили, прежде чем я вступал в бой. Должен сказать, удовлетворения, подобного удовлетворению после безупречно исполненной казни, ни одна из этих стычек мне не принесла.

После четвертой схватки врагов вокруг не осталось (кроме убитых и умирающих, лежавших повсюду, куда ни взгляни), и я снова созвал островитян к себе. Охваченные восторгом, сопутствующим победе, они были готовы вступить в бой с любым великаном, неважно, насколько огромным, но даже находившиеся снаружи во время обвала стены клялись, что никакого великана не видели. И вот как раз в тот миг, когда мне подумалось, будто все они разом ослепли, а озерный люд, очевидно, начал всерьез сомневаться в моем умственном здравии, на выручку нам пришла луна.

Странное дело! Знания в небе ищут все до единого — к примеру, изучая влияние созвездий на происходящее в мире, или, подобно Бальдандерсу, выпрашивая их у тех, кого невежды зовут какогенами, или же, в случае простых крестьян, рыбаков и так далее, высматривая в вышине

признаки грядущей перемены погоды, — однако никто не ждет от небес непосредственной помощи, хотя помогают они всем нам нередко, а той ночью помогли и мне.

Помощь явилась в виде самой обычной прорехи среди туч. То утихавший, то вновь набиравший силу дождь все никак не заканчивался, но тут двор замка великана на миг озарился сиянием идущей на убыль луны (поднявшейся высоко-высоко и очень яркой, хотя на виду от нее оставалась разве что половинка) — схожим образом в одеоне среди посвященного грезам яруса Обители Абсолюта на сцену внезапно падает луч одного из самых больших прожекторов. В лунном луче гладкие, мокрые камни мостовой засверкали подобно глади тихих глубоких озер, а отражение в них оказалось столь фантастическим, что мне до сих пор невдомек, как я не оцепенел в изумлении, завороженный им на всю оставшуюся жизнь — а оставалось ее, надо заметить, всего ничего.

Там, в дождевой воде, отражался Бальдандерс, падавший прямо на нас… только очень и очень медленно.

XXXVII. «Терминус Эст»

В коричневой книге имеется немало картинок с изображением ангелов, спускающихся на Урд, именно в этой позе: голова запрокинута назад, спина выгнута так, что лицо вровень с верхней частью груди… Разумеется, я вполне представляю себе, какое изумление и ужас может охватить человека при виде грандиозного существа, которое мне довелось мельком увидеть на страницах той книги во Второй Обители, спускающегося таким образом прямо к нему, однако не думаю, что сие зрелище может оказаться страшнее. Вспоминая Бальдандерса, каким он предстал передо мной в тот момент, я безоговорочно признаю за ним первенство. Нахмурившись, стиснув зубы, он сжимал в высоко поднятой руке булаву, увенчанную фосфоресцирующей сферой.

Мы бросились врассыпную, словно стая воробышков от филина, спорхнувшего к ним в вечерних сумерках. Почувствовав затылком дуновение воздуха, рассеченного булавой, я обернулся и увидел, как он, оттолкнувшись рукой от земли, перевернулся и встал на ноги — подобный кунштюк нередко проделывают уличные акроба-

ты. Брюхо великана стягивал широкий наборный пояс из соединенных одна с другой металлических призм, которого я на нем прежде не замечал. Чего мне так никогда и не удалось выяснить — каким образом он ухитрился вернуться в башню за булавой и поясом, в то время как я думал, будто он спускается вниз по стене. Возможно, где-то в башне имелось окно куда больше, шире бойниц, попадавшихся мне на глаза, а может быть, даже дверь, некогда открывавшая путь в какую-нибудь пристройку, сгоревшую без остатка в огне пожара, устроенного жителями берега… а может быть, великан просто сумел достать то и другое, запустив в окно руку.

О, как беззвучно спустился Бальдандерс вниз, как грациозно он, огромный, точно хижины множества бедняков, оперся ладонью о мостовую, сделал сальто и оказался на ногах! Разумеется, лучшее описание тишины есть молчание — но грация, грация какова!

В трепещущем на ветру плаще за спиной, как обычно, подняв меч для удара, я развернулся к нему и тут осознал, что никогда прежде не удосуживался поразмыслить, отчего судьба отправила меня в долгие странствия через полконтинента, навстречу опасностям, грозящим отовсюду — из

огня, из воды, из недр Урд, а ныне сей перечень пополнился и воздухом, — вооруженного этим огромным, на редкость тяжелым мечом, хотя биться им с человеком обычным — все равно что рубить лилии топором. Увидев меня, Бальдандерс вскинул над головой булаву, засиявшую изжелта-белым (полагаю, то был своего рода салют).

Пятеро или шестеро островитян обступили великана кольцом, ощетинились копьями и зубастыми дубинками, но в бой не спешили. Казалось, он стоит в самом центре некоего непреодолимого магического круга. Стоило нам — нам двоим — сойтись ближе, я понял, в чем дело: в тот же миг меня охватил небывалый ужас. Столь же непостижимый, сколь и неодолимый, то был не страх перед врагом, не страх смерти, нет — то был просто *страх*. От этого страха волосы на темени зашевелились, словно взъерошенные незримой рукой какого-то призрака (да, о подобном я слышал, но всякий раз считал это выражение преувеличением, фигурой речи, обернувшейся ложью), а ослабшие колени задрожали с такой силой, что я всей душой обрадовался окружавшей нас темноте — ведь в темноте их дрожь незаметна… и все же мы с великаном начали бой.

Судя по величине булавы, не говоря уж о дер-

жавшей ее руке, пережить удар ею не стоило даже надеяться, а значит, мне оставалось лишь уклоняться да отскакивать назад. Но точно так же Бальдандерс не перенес бы удара «Терминус Эст»: при своем росте и силе он вполне мог носить броню, не уступающую толщиной бардам для дестрие, однако доспехов на нем не имелось, а между тем любая рана, нанесенная необычайно тяжелым клинком исключительной остроты, без труда рассекающим обычного человека от плеча до бедра, могла оказаться для великана смертельной.

Бальдандерс понимал все это не хуже меня, и посему бились мы словно актеры на сцене — размашисто, однако держась друг от друга поодаль. Ужас не отпускал; казалось, если я немедля не пущусь в бегство, бешено бьющееся сердце, не выдержав, разорвется на части. В ушах стоял звон, и я, не сводя глаз с навершия палицы (благодаря окружавшему его палево-белому ореолу следить за ним было проще простого), понял, что звон исходит именно от него. Само оружие звенело на той же высокой, неизменной ноте, что издает стенка бокала под ударом столового ножа, будто навеки скованной хрустальными толщами времени.

Несомненно, это открытие отвлекло меня — пусть всего лишь на миг. Вместо очередного диагонального маха булава отвесно, точно молот, вбивающий в землю колышек шатра, рухнула вниз. Однако я вовремя отпрянул в сторону, и звенящее, мерцающее навершие булавы, мелькнув возле самого уха, вдребезги, точно горшок из глины, раздробило камень у моих ног. Один из осколков чиркнул по краешку лба, и щеку защекотала горячая струйка крови.

При виде этого тусклые глазки Бальдандерса засияли победным огнем. Не тратя времени даром, великан принялся крушить мостовую направо и налево, и с каждым ударом камни ее разлетались в куски. Вскоре я, вынужденный вновь и вновь отступать, уперся спиной в окружавшую замок стену, а когда двинулся дальше вдоль нее, Бальдандерс начал, вращая булаву над головой, высекать осколки из каменной кладки. Зачастую они, острые, словно кремни, летели мимо, но нередко и попадали в меня. Спустя недолгое время кровь залила глаза, а плечи и грудь сплошь окрасились алым.

В сотый, наверное, раз отскакивая от очередного удара, я обо что-то споткнулся и едва не упал. Под ноги мне подвернулась нижняя ступенька

лестницы, ведущей на стену. Устремившись наверх, я оказался в позиции несколько более выгодной, но не настолько, чтоб прекратить отступление. Вдоль верхнего края стены тянулась узкая галерея, и Бальдандерс шаг за шагом теснил меня по ней дальше. Теперь я вправду мог бы, собравшись с духом, пуститься в бегство, но вовремя вспомнил проворство великана, захваченного мною врасплох в туманных покоях, и понял, что он настигнет меня одним прыжком — совсем как сам я, еще мальчишкой, настигал крыс в подземельях под нашей башней, ломая им хребты ударом палки.

Однако сложившееся положение благоприятствовало Бальдандерсу отнюдь не во всем. Меж нами мелькнуло, свистнуло нечто белое, и в громадное плечо великана, будто ежовая игла в бычью шею, вонзилось копье с костяным наконечником. В достаточном отдалении от звенящей булавы внушаемый ею ужас более не мешал озерному люду метать во врага оружие. Слегка замешкавшись, Бальдандерс отступил на шаг, вырвал из раны копье, но тут еще одно рассекло ему щеку.

Воспрянув духом, я прыгнул вперед, поскользнулся на мокром растрескавшемся камне и

непременно рухнул бы вниз, если б в последний миг — как раз вовремя, чтоб разглядеть занесенную надо мною светящуюся булаву, — не успел ухватиться за край парапета. Отражая удар, я инстинктивно вскинул кверху клинок «Терминус Эст».

Пожалуй, подобный вопль могли бы издать разве что духи всех когда-либо казненных им, слетевшиеся на стену замка, но… еще миг — и этот вопль утонул в грохоте взрыва.

Изрядно оглушенный, подняться я смог не сразу, однако Бальдандерс тоже был оглушен, а воины озерного люда, почуявшие, что чары булавы развеяны, уже мчались к нему по галерее с обеих сторон. Возможно, неведомый механизм, сообщавший булаве великана чудесные свойства, не выдержал столкновения со сталью клинка, обладавшей собственной, природной частотой звука и, как я не раз наблюдал, издававшей весьма мелодичный звон под легким ударом ногтя. Возможно, лезвие куда острее ножа хирурга, а твердостью не уступавшее обсидиану, попросту рассекло навершие булавы. Что бы там ни случилось, булава канула в небытие, а от меча в моих руках осталась лишь рукоять с торчащим из нее обломком клинка длиной меньше кубита.

С обломка капал серебряными слезами чудесный Гидраргирум — ртуть, многие годы исправно трудившаяся внутри, в темноте.

Прежде чем я сумел встать, через меня один за другим перепрыгнули подоспевшие воины островитян. Чье-то копье вонзилось в грудь великана, а брошенная кем-то дубинка угодила ему в лицо. Взмах огромной руки — и двое озерных воинов с воплями рухнули вниз. Остальные насели на врага гурьбой, но великан стряхнул их с себя, словно щенят, и только тут я, едва ли наполовину понимающий, что происходит, с грехом пополам поднялся на ноги.

Взобравшись на парапет, Бальдандерс выпрямился, замер, а миг спустя прыгнул. Несомненно, ему изрядно помог чудо-пояс, однако и силой ног он обладал исключительной. Медленно, тяжеловесно описав дугу в воздухе, великан устремился вниз. Трое воинов, вцепившихся в него мертвой хваткой и не успевших вовремя разжать рук, разбились насмерть о камни у подножья скалистого мыса.

Наконец упал и он сам — впечатляюще, грузно, точно потерявший управление летучий корабль. Молочно-белые воды озера взвились к небу фонтаном брызг, сомкнулись над великаном, а еще

миг спустя из воды стремительно поднялось и вскоре скрылось в пелене мрачных туч нечто поблескивающее, извивающееся, словно змея — несомненно, то был его пояс. Островитяне замерли в ожидании с копьями наготове, но голова Бальдандерса среди волн так и не показалась.

XXXVIII. Коготь

Остаток ночи озерный люд посвятил разграблению замка. Я в грабеже не участвовал и спать в стенах замка не стал. Посреди рощицы, где мы держали совет, отыскалось местечко, так хорошо укрытое кронами сосен, что устилавший землю ковер из опавшей хвои остался совершенно сухим. Там я, промыв и перевязав раны, и прилег отдохнуть. Рукоять принадлежавшего мне, а до меня — мастеру Палемону меча покоилась рядом, словно мертвое тело погибшего друга, но ни к каким сновидениям сие соседство не привело.

Проснулся я, окутанный ароматом сосновой смолы, когда Урд почти целиком обратила лик к солнцу. Все тело отчаянно ныло, оставленные осколками камня раны саднили, горели огнем, однако день выдался необычайно теплым — таких теплых дней я не видывал с тех самых пор, как, покинув Тракс, углубился в горы. Стоило выйти из рощицы, передо мной раскинулась сверкающая в лучах солнца гладь озера Диутурна и свежие травы, зеленеющие среди камней.

Усевшись на каменный выступ, спиной к уходящей ввысь стене замка Бальдандерса, лицом

к синеве озера внизу, под ногами, я в последний раз освободил хвостовик сломанного клинка «Терминус Эст» от прекрасной рукояти из оникса и серебра. Меч — это клинок, а посему «Терминус Эст» на свете более не существует, но рукоять я нес с собой до самого конца путешествия, хотя ножны из человечьей кожи предал огню. Настанет день, и рукоять эта обретет новый клинок — пусть не столь совершенный и принадлежащий не мне.

Обломок клинка я, поцеловав на прощание, забросил далеко в озеро, а после принялся за поиски среди камней. В какую сторону Бальдандерс запустил Коготь, я представлял себе весьма смутно, но помнил, что бросок был направлен куда-то к озеру, и хотя видел, как камень улетел за стену, чувствовал: зашвырнуть столь небольшой предмет далеко от берега даже его ручище не хватило бы сил.

Однако вскоре мне сделалось ясно: если самоцвет упал в озеро, потерян он безвозвратно, так как глубина повсюду вокруг достигала множества элей. Тем не менее отчаиваться было рано — ведь до озера камень вполне мог не долететь, а угнездился в какой-нибудь трещине, отчего свет его и незаметен со стороны.

Посему я продолжил поиски, опасаясь просить о помощи озерный люд, но также боясь прерваться, чтоб отдохнуть или хотя бы перекусить: вдруг на него случайно наткнется кто-то другой? С приходом ночи над озером в сгустившихся сумерках зазвучали крики гагар, а озерный люд принялся зазывать меня на острова, но от приглашений я отказался. Между тем островитяне не на шутку опасались появления береговых, возможно, уже готовящихся к атаке, дабы отомстить за Бальдандерса (о собственных подозрениях, что великан не погиб, а по-прежнему живет и здравствует где-то там, под водой, я им сообщить не осмелился), и посему, уступив моим настояниям, оставили меня одного ползать среди угловатых, острых камней скалистого мыса.

В конце концов, слишком уставший, чтоб продолжать поиски в темноте, я устроился на плоском каменном выступе дожидаться нового дня. Время от времени мне чудились лазурные отсветы в какой-нибудь из трещин невдалеке или в воде у берега, но всякий раз, стоило протянуть туда руку или подняться, дабы подойти к краю выступа и взглянуть вниз, я вздрагивал, открывал глаза и понимал, что все это только сон.

Не менее сотни раз я задавался вопросом, не

нашел ли камень кто-то еще, пока я спал под соснами (за что теперь проклинал себя на чем свет стоит), и не менее сотни раз успокаивал себя тем, что для Когтя такой исход куда лучше — ведь иначе он пропадет навсегда.

Подобно мухам, слетающимся к парному мясу в летние дни, ко двору во всякое время года съезжаются всевозможные шарлатаны под личинами мудрецов, философы, акосмисты, обретающиеся при дворе, пока хватает смекалки и монет в кошельке, поначалу надеясь получить должность близ самого Автарха, а после — хотя бы местечко учителя в какой-нибудь экзультантской семье. Лет в шестнадцать или около того Теклу, как, наверное, многих юных девиц, привлекли их многословные проповеди из области теогонии, теодицеи и тому подобного, а особенно ярко запомнилась мне некая фебада, объявившая непреложной истиной древние суемудрия о существовании трех Адонаи — Адонаи города (или народа), Адонаи поэтов и Адонаи философов. Суждения ее основывались на том, что со времен начала человеческого сознания (если таковое начало когда-либо имело место) на свет родилось бессчетное множество особ, принадлежащих к этим трем категориям, пытавшихся проникнуть

в тайны божественного. Если оного не существует, сие обнаружили бы давным-давно, если же существует, сама Истина никак не может ввергать людей в заблуждение, но… Но тем не менее верования народа, озарения рапсодов и теории метафизиков так отличаются друг от друга, что лишь считаные единицы из них способны хотя бы понять, о чем толкуют другие, а человек, ничего не смыслящий в их идеях, вполне может решить, будто между ними вовсе нет никакой связи.

Так не может ли статься, спрашивала она (и я, пожалуй, поныне не знаю, смогу ли на это ответить), что все они, согласно общему мнению, идущие тремя дорогами к одной и той же цели, на деле стремятся к трем целям, весьма и весьма отличающимся одна от другой? В конце концов, встретив в обыденной жизни три дороги, расходящиеся в стороны от одного перекрестка, мы ведь не полагаем, что все они ведут к одному и тому же селению!

Идею сию я нашел (и до сих пор нахожу) предельно рациональной и в той же мере отталкивающей. На мой взгляд, она представляет собой квинтэссенцию мономании, ярчайший образчик аргументации, ткань коей сплетена так

плотно, что сквозь нее не пробьется даже самое ничтожное возражение, самый тоненький лучик света, а человеческий разум запутается в ее сетях безнадежно — как и всякий раз, когда предмет разговора не позволяет апеллировать к фактам.

Таким образом, в качестве факта Коготь был просто бесценен. Хоть немного приблизиться к нему в ценности не могли никакие богатства, никакие скопища архипелагов и даже империй: сколько ни умножай расстояние, пройденное по горизонтали, в расстояние вертикальное равной величины оно от этого не превратится. Если он, как я полагал, действительно попал к нам из-за рубежей мироздания, то его свет, обычно неяркий, но порой ослепительный, в каком-то смысле являл собою единственный имевшийся у нас свет. Будь он уничтожен — блуждать нам, спотыкаясь, в потемках до скончания века.

Я полагал, что весьма дорожил им все время, пока носил при себе, однако сейчас, сидя на плоском каменном выступе над укрытыми тьмой водами озера Диутурна, понял, как глупо, как безрассудно поступил, нося его с собою вообще, сквозь все свои передряги, сквозь все головокружительные приключения, и, наконец, потеряв. Перед самым рассветом я поклялся лишить себя

жизни, если не найду Когтя до новых сумерек.

Исполнил бы я сию клятву? Не знаю, судить не возьмусь. Жизнь я любил всем сердцем, сколько себя помню. (Полагаю, именно любви к жизни я обязан всем, на что способен в своем ремесле, ведь столь дорогой моему сердцу огонь надлежит гасить не иначе как безупречно). Разумеется, не менее прочих любил я и собственную жизнь, ныне смешанную с жизнью Теклы, а что до клятв — нарушать клятвы мне уже доводилось не раз.

Однако нужды в том не возникло. Примерно посреди утра одного из чудеснейших дней в моей жизни, в ласковых, теплых лучах солнца, под нежную музыку плещущихся о скалы волн, я отыскал самоцвет… вернее, то, что от него осталось.

Упав, Коготь разбился, раскололся о камни. Среди осколков имелись и довольно крупные, достойные украсить собою перстень тетрарха, и совсем крохотные, вроде блестящих искорок, встречающихся в пластинках слюды, но Когтя больше не существовало. Безудержно плача, собрал я его осколки по одному, а обнаружив, что все они столь же безжизненны, как самоцветы, извлекаемые горняками из копей каждый день, драгоценности, похищенные у давным-давно

умерших, отнес их к озеру и бросил в воду.

Трижды спускался я вниз, к кромке воды, с крохотной кучкой синеватых осколков, зажатых в горсти, и трижды возвращался туда, где нашел расколотый камень, на поиски новых, а после третьего раза отыскал нечто, застрявшее в щели меж двух валунов так глубоко, что в конце концов мне пришлось вернуться в сосновую рощу, наломать веток и с их помощью выудить из щели находку, совсем не лазурную, ничуть не похожую на драгоценный камень, но окруженную ярким белым ореолом наподобие света звезды.

Вынимал я ее скорее с любопытством, чем с благоговением. Находка оказалась совсем не похожей на сокровище, которое я искал (точнее сказать, на его осколки, обнаружившиеся среди камней), и посему мне, пока я не взял ее в руки, даже в голову не приходило, что между ними есть нечто общее. Не знаю, как может предмет, сам по себе черный, светиться, но вот поди ж ты… Темен он был, словно вырезанный из черного янтаря, и отшлифован безукоризненно, но испускал свет, а формой напоминал коготь длиной с последний сустав моего мизинца. Хищно изогнутый, игольно-острый, он и темнел в самом сердце чудесного самоцвета, должно быть, служившего

ему всего лишь вместилищем вроде липсанотеки или пиксиды.

Долгое время стоял я на коленях, спиной к замку, вглядываясь то в странное сияющее сокровище на ладони, то в волны озера и силясь понять, в чем его суть. Увидев его лишенным сапфирового футляра, я в полной мере почувствовал то, чего ни разу не замечал до тех самых пор, пока его не отняли у меня в доме гетмана. Стоило поглядеть на него, он словно бы стирал мысли из головы, только не как вино, не как известные одурманивающие снадобья, воздействие коих делает разум непригодным к мышлению, но заменяя мышление неким иным состоянием высшего толка, коему я не знаю названия. Снова и снова входя в это состояние, я всякий раз поднимался выше и выше, пока мне не сделалось страшно: что, если разум мой никогда больше не станет прежним — привычным, нормальным? Охваченный этими опасениями, я снова и снова отводил взгляд в сторону, и всякий раз, опомнившись, чувствовал, что постиг некую невыразимую, величайшую, абсолютную истину.

И вот, наконец, после долгой череды отважных шагов вперед и робких отступлений мне сделалось ясно, что никакого настоящего знания о

крохотной вещице в ладони мне не достичь, и с этой мыслью (да, то была мысль) я перешел в еще одно, третье, состояние, состояние радостного повиновения сам не знаю кому и чему, безоглядного, бездумного, так как раздумывать сделалось не о чем, без малейшей примеси бунтарства. В состоянии сем я пребывал целый день и большую часть дня следующего и к тому времени успел далеко углубиться в холмы.

Здесь, мой читатель, проводив тебя от крепости к крепости — от стен города Тракса, властвующих над верховьями Ациса, к замку великана, возвышающемуся над северным берегом далекого озера Диутурна, — я снова сделаю паузу. Тракс послужил мне вратами в безлюдные дикие горы. Подобно ему, одинокая башня за крепостной стеной также стала для меня вратами — вратами, ведущими к порогу войны, отголоски коей, пусть в виде единственной стычки, докатились даже сюда. С того времени и по сию пору эта война требует моего внимания практически непрестанно.

Здесь самое время вновь сделать привал. И если ты, читатель, откажешься следовать за мною в битву — что ж, я тебя не виню. Битва сия нелегка.

Цитадель Автарха

Ровно в два часа пополуночи, если есть окно
на примете,
Глянь наружу – ступает Ветер, еле слышно
к солнцу взывая.
А в ответ зашепчут деревья, заискрятся
при лунном свете.
И пусть ночь черна и бездонна, знай – проходит
пора ночная.

Редьярд Киплинг

I. Мертвый солдат

Войн я никогда в жизни не видел и даже не вел пространных бесед с кем-либо из их повидавших, однако в то время был молод, о человекоубийстве кое-что знал и посему полагал, что война — подобно, к примеру сказать, высокой должности в Траксе или бегству из Обители Абсолюта — обернется для меня всего-навсего новыми впечатлениями.

Но нет, война — это не просто новые впечатления. Война — это новый мир, и его обитатели отличаются от существ человеческих куда разительнее, чем Фамулим с друзьями. Новы здесь и законы, и даже география, так как в его географии неприметные холмы и овражки нередко приобретают значимость больших городов. Подобно знакомой, родной нам Урд, носящей на себе чудищ вроде Эреба, Абайи и Ариоха, мир войны населен чудовищами, имя коим — сражения, точно из клеток, состоящими из индивидов, но обладающими собственным разумом, живущими собственной жизнью, а приближаться к ним приходится не иначе как сквозь плотный строй недобрых знамений, множащихся на каждом

шагу.

Однажды ночью я проснулся задолго до рассвета. Казалось, вокруг все тихо — настолько тихо, что мне сделалось страшно, не объявился ли неподалеку враг, потревоживший мой сонный разум злонамеренностью мыслей. Поднявшись, я огляделся вокруг. Холмы терялись вдали, в темноте. Спал я в гнезде, вытоптанном накануне среди высокой травы. В траве стрекотали сверчки.

Внезапно мой взгляд привлекло нечто наподобие вспышки — фиолетовой вспышки вдали, на севере, у самого горизонта. Вмиг замерев, устремил я немигающий взгляд в ту сторону, в темноту, и как только решил, что все это лишь обман зрения, а может, результат остаточного воздействия дурманных грибов, которыми меня попотчевали в доме гетмана, чуть слева от того места, куда я смотрел, сверкнул еще один сполох, на сей раз пурпурный.

Так, время от времени вознаграждаемый загадочными сполохами света, я простоял на ногах около стражи, а то и больше. В конце концов, удовлетворившись тем, что полыхают они далеко-далеко отсюда и вроде бы не приближаются, и даже не меняют частоты появления (в среднем через каждые полтысячи ударов сердца), я снова

улегся спать. Улегся… но, так как сна не осталось ни в одном глазу, тут же почувствовал под собою слабую, едва уловимую дрожь земли.

Наутро, к тому времени, как я проснулся вновь, и сполохи, и дрожь прекратились. Продолжая путь, я пристально вглядывался вдаль, но ничего настораживающего не замечал.

С тех пор как мне в последний раз удалось поесть, миновало два дня, и голод успел притупиться, однако изрядно подточил силы. Дважды в тот день я набрел на полуразрушенные домики и заглянул в оба в поисках чего-либо съестного. Увы, все, что могло там остаться, растащили задолго до моего появления: внутри не оказалось даже крыс. Возле второго домика имелся колодец, однако туда давным-давно сбросили какую-то падаль, да и зачерпнуть зловонной воды в любом случае было нечем. Так и пошел я дальше, мечтая поскорее напиться, а еще отыскать посох покрепче: подворачивавшиеся под руку гнилые палки ломались одна за другой. (По пути через горы посохом мне служил «Терминус Эст», и, опираясь на него, идти было много легче.)

Около полудня я вышел к торной тропе, свернул на нее, и вскоре после этого издали донесся приближающийся грохот копыт. Поспешив спря-

таться, я принялся наблюдать за тропой. Спустя недолгое время мимо промчался верховой, галопом вылетевший из-за ближайшего холма. Судя по всему, что я успел разглядеть, латы его весьма напоминали доспехи офицеров, командовавших димархиями Абдиеса, однако реющий по ветру плащ оказался зеленым, не красным, а забрало шлема напоминало формой козырек. Еще мне удалось оценить великолепие его скакуна: пасть дестрие бородой окаймляла обильная пена, бока взмокли от пота, но летел он, словно сигнал к началу гонки подан какой-то миг тому назад.

Столкнувшись на тропе с одним проезжим, следовало ожидать новых встреч, однако больше никто поблизости не появлялся. Долгое время шел я в безмятежности, слушая пересвист птиц и видя возле обочин немало следов дичи. Затем тропа (к невыразимой моей радости) привела меня к броду через неширокий звонкий ручей. Пройдя около дюжины шагов вверх по течению, я остановился у тихой заводи с дном, устланным белой галькой. Из-под моих сапог брызнула в стороны стайка мальков — верный признак чистой воды, действительно до сих пор сохранившей в памяти холод горных вершин и сладость талого снега. Припав к ручью, я пил, пил и пил, пока не

почувствовал, что большему в желудке не поместиться, а после разделся и вымылся, хотя вода была изрядно холодной. Покончив с купанием, я воротился к тропе, к броду через ручей, и увидел на том берегу глубокие отпечатки пары лап, оставленных в изящной близости один от другого там, где хозяин их, зверь, склонился к воде. Следы смилодона — каждый не меньше тарелки, меж мягкими подушечками пальцев ни следа когтей — перекрывали отпечатки копыт офицерского скакуна. Старый Милан, служивший ловчим у дядюшки в те времена, когда я был маленькой Теклой, однажды рассказывал, что смилодоны пьют только после того, как до отвала набьют брюхо мясом, а сытые и утолившие жажду уже не опасны, если им не досаждать. Вспомнив об этом, я двинулся дальше.

Тропа, змейкой тянувшаяся вдоль лесистой долины, вела к седловине меж двух холмов. Поднявшись на нее, я заметил впереди дерево не меньше двух пядей в толщину, разорванное (именно так показалось мне с виду) напополам на высоте моих глаз. На оконечностях пня и поваленного ствола — излохмаченных, расщепленных — не нашлось ни единого гладкого затеса от топора. Пройдя еще две-три лиги, подобных

деревьев я насчитал несколько дюжин. Судя по полному отсутствию на поваленных их половинах листьев, а порой и коры, и юных побегов, выпущенных пнями, урон лесу был нанесен не меньше года назад.

Наконец тропа вывела меня к настоящей дороге — из тех, о которых я слышал, но никогда не ходил ими (не считая заброшенных, пришедших в упадок), почти такой же, как старая дорога за Несской Стеной, охранявшаяся патрулем уланов, где мне и Ионе пришлось разлучиться с доктором Талосом, Бальдандерсом, Иолентой и Доркас. К чему я вовсе не был готов — так это к клубившимся над нею тучами пыли, а еще к тому, что на ней не росло ни былинки, хотя шириной она превосходила большинство городских улиц.

Иного выбора, кроме как следовать дальше ею, мне не представилось: по бокам от дороги плотной стеной высился лес, а меж деревьев все сплошь заросло густыми кустами. Поначалу я, вспомнив пламенеющие пики уланов, не на шутку перепугался, однако закон, запрещающий пользование дорогами, здесь, вполне возможно, утрачивал силу, иначе откуда на этой дороге столько следов и прочих признаков оживленного движения? Рассудив так, я двинулся дальше, а

вскоре, услышав позади голоса и мерный топот множества ног, всего-навсего отступил на шажок-другой в лес и, даже не думая прятаться, принялся разглядывать проходящую мимо колонну.

Первым следовал офицер верхом на великолепном, иссиня-пепельной масти дестрие с длинными, неподрезанными клыками, инкрустированными бирюзой — в цвет собственного барда и рукояти эстока хозяина. За офицером пешим порядком следовали антепиланы тяжелой пехоты, широкоплечие, тонкие в талии, с безучастными лицами, покрытыми бронзой загара. Вооружены они были кто трезубой корсекой, кто бердышом-демилюном, кто вульжем с тяжелым клинком. Столь разношерстное оружие вкупе с определенными расхождениями в знаках различия и амуниции, на мой взгляд, свидетельствовало, что их мора сформирована на скорую руку из остатков прочих воинских частей. Но если и так, пережитые сражения, очевидно, ничуть не нарушили их флегматического расположения духа. Шли они — общим счетом около четырех тысяч человек — без малейшего волнения, без неохоты, без каких-либо признаков усталости, непринужденно, но не расхлябанно, и в ногу шагали легко, привычно.

За пехотой двигались фургоны обоза, запряженные фыркающими, трубящими трилофодонами. Увидев их, я шагнул ближе к обочине, так как большую часть места внутри, ясное дело, занимал провиант, однако среди фургонов ехали конные, и один из них окликнул меня, спросив, из какого я подразделения, а затем приказав подойти к нему. Вместо этого я пустился наутек, и хотя был совершенно уверен, что верхом он сквозь заросли не пробьется, а бросать дестрие у дороги, чтоб преследовать меня пешим, не пожелает, бежал, пока не запыхался.

Остановившись, я обнаружил, что занесло меня в тихую рощицу, озаренную зеленоватыми лучами солнца, сочащимися вниз сквозь кроны чахлых деревьев. Мох здесь покрывал землю так густо, что ступал я словно по ворсистому ковру потайной комнаты в виде картины, где нежданно столкнулся с владыкой Обители Абсолюта. На время я, привалившись спиной к стволу дерева, замер, прислушался, однако вокруг не слышалось ничего — ни звука, кроме моего собственного сбившегося дыхания да оглушительного шума крови в ушах.

Со временем к этим нотам прибавилась третья — негромкое жужжание мухи. Я утер залитое

потом лицо полой гильдейского плаща. За время странствий плащ изрядно поистрепался и выцвел, и мне вдруг подумалось, что в этом самом плаще, накинутом на мои плечи мастером Гюрло в момент возведения в звание подмастерья, я, по всей видимости, и умру. Впитанный тканью пот казался холодным, точно роса, в воздухе явственно веяло сырой землей.

Жужжание мухи смолкло, но вскоре возобновилось — возможно, вправду сделавшись слегка назойливее, а может, так просто казалось, оттого что я успел отдышаться. Рассеянно оглядевшись, я обнаружил муху кружащей в луче солнца неподалеку, среди густых зарослей, но вскоре она уселась на нечто бурое, торчащее из-за дерева.

Сапог…

Какого-либо оружия при мне не имелось. В иное время я без особой опаски вышел бы против единственного противника и безоружным — тем более в таком месте, где с мечом не развернешься, но сейчас понимал, насколько ослаб, да еще обнаружил, что постничество, кроме сил, изрядно подтачивает храбрость, а может, просто, отвлекая ее на себя, оставляет для прочих надобностей куда меньше прежнего.

Как бы там ни было, к лежавшему я двинулся с

осторожностью, стороной, крадучись и, наконец, сумел разглядеть его целиком. Лежал он ничком, подогнув под себя ногу, а другую ногу вытянув во всю длину. Возле правой его руки поблескивал фальшион с кожаным темляком, захлестнутым на запястье; простой барбют, слетев с головы, откатился на шаг-другой в сторону. Проползшая вдоль сапога муха добралась до обнаженной кожи под коленом и снова взлетела, жужжа, словно крохотная пила.

Разумеется, я сразу же понял, что он мертв, и вздохнул было с облегчением, но тут меня вновь с головою накрыло ощущение одиночества, хотя до этого я даже не сознавал, что оно отступило. Ухватив мертвого за плечо, я перевернул его навзничь. Тело еще не вспухло, однако мертвечиной, если принюхаться, уже попахивало, лицо обмякло, точно восковая маска, оставленная у огня, — поди разбери, с каким выражением покойный принял смерть. При жизни он был молод, светловолос, вполне симпатичен с виду. Ран на теле я, как ни приглядывался, не нашел.

Ремни его вещмешка оказались затянуты так туго, что ни отстегнуть их, ни даже хоть немного ослабить не удалось. В конце концов я, сняв с его пояса кутель, перерезал их, а клинок вогнал

в ствол ближайшего дерева. Внутри нашлось одеяло, клочок бумаги, закопченная походная сковорода со съемной ручкой, две пары плотных носков (а вот это просто чудесно) и, что самое главное, луковица, полкаравая черного хлеба в чистой тряпице, а еще пять полосок вяленого мяса и головка сыра в другой.

Для начала я принялся за хлеб и сыр, но, обнаружив, что медленно есть не могу, строго-настрого велел себе, откусив трижды, подниматься и прохаживаться из стороны в сторону. Впрочем, тут отчасти помог и хлеб, жевавшийся с великим трудом: на вкус он оказался точно таким же, как те сухари, которыми у нас, в Башне Матачинов, кормили клиентов, а я — больше из озорства, чем от голода, — раз или два стащил попробовать. Зато сухой, пахучий, изрядно соленый сыр тем не менее был просто великолепен: думаю, прежде я никогда такого не пробовал, а уж после не пробовал наверняка. Казалось, во рту у меня — сама жизнь. После сыра мне страшно захотелось пить, и тут я выяснил на собственном опыте, как хорошо утоляет жажду сырой лук, стимулирующий слюнные железы.

К тому времени, как дело дошло до мяса, тоже круто посоленного, насытился я настолько, что

начал подумывать, не сберечь ли его на ужин, и, наконец, решил съесть одну полоску, а четыре других отложить в запас.

С раннего утра повсюду вокруг царило безветрие, но тут в листве зашелестел легкий бриз, обдавший прохладой щеки. Подхваченный ветерком, клочок бумаги из вещмешка мертвого солдата с негромким шуршанием скользнул по моховому ковру и угнездился у подножия ближайшего дерева. Не прекращая жевать, я догнал его и поднял. Клочок бумаги оказался письмом — очевидно, незавершенным, а может, покойному попросту не представилось возможности отправить его адресату. Писал он не слишком ровно и куда мельче, чем я ожидал, хотя, возможно, мельчить ему пришлось только затем, чтоб уместить на небольшом листке — похоже, последнем из имеющихся — как можно больше слов.

Возлюбленная моя!

Сейчас мы в сотне лиг к северу от того места, откуда я писал в прошлый раз, и переход дался нам нелегко. Кормят нас досыта, днем тут тепло, а вот по ночам порой зябнем. Макар, о котором я тебе уже рассказывал, серьезно занедужил и получил позволение остаться в тылу. После этого многие решили сказаться больными,

однако их погнали впереди колонны, безоружными, с двойной поклажей и под охраной. Асциан мы за все это время не видели даже издали, и, по словам лохага, идти нам до них еще чуть ли не неделю. Крамольники три ночи кряду резали наших, наряженных в караул, пока мы не начали выставлять на каждый пост по три человека, а за периметром лагеря не пустили добавочные патрули. Назначенный в один из таких патрулей первой же ночью, я до самой смены чувствовал себя весьма неуютно, поскольку всерьез опасался, как бы один из товарищей не заколол меня в темноте. Так и патрулировал — в страхе, спотыкаясь о корни да слушая пение, доносившееся от костра:

Нынче, братцы, нам опять
На земле холодной спать,
Передай по кругу флягу,
Пей, дружище, пей, бродяга,
Пей, пей, здравиц не жалей!
Пусть фортуна нас с тобою
Снова выведет из боя,
Да при том отвалит пусть
Пожирней добычи кус!

Пей, дружище, пей, бродяга,
Передай по кругу флягу:
Нынче нам с тобой опять
На земле холодной спать.
Пей, пей, косточки согрей!

Естественно, за время дежурства мы так никого и не заметили. Говорят, крамольники, зовущиеся в честь предводителя водалариями, — бойцы отменные, все как на подбор, и денег у них, благодаря асцианской помощи, предостаточно…

II. Живой солдат

Отложив в сторону недочитанное письмо, я изумленно уставился на человека, его написавшего. Фортуна из боя его не вывела, от гибели не уберегла, и теперь он лежал на земле, устремив потускневший взгляд к солнцу — один глаз словно подмигивает, другой открыт во всю ширь.

О Когте мне следовало бы вспомнить задолго до этой минуты, но нет, не тут-то было… а может, я просто бессознательно, не рассчитывая, что он сам поделится со спасителем, вернувшим его к жизни из мертвых, едой, отверг эту мысль в стремлении разжиться провизией из вещмешка мертвого. Теперь же, обнаружив в его письме упоминание о Водале со сподвижниками (которые, как я полагал, наверняка должны были прийти мне на помощь, суметь бы только их отыскать), я вмиг вспомнил о Когте и сразу полез за ним. Столь ярко, как сейчас, в лучах летнего солнца, он на моей памяти не сиял еще никогда — с тех самых пор, как лишился сапфировой оболочки. Поразмыслив, я коснулся солдата Когтем, а затем (сам не знаю, что меня к сему подтолкнуло) вложил Коготь ему в рот.

Когда и из этого ничего не вышло, я, зажав Коготь в щепоти, между большим и указательным пальцами, вонзил острие в нежную кожу посреди его лба. Солдат не шелохнулся, не сделал ни вдоха, однако пальцы мои обагрила капелька крови — свежей, клейкой, точно живая кровь, набухшая в месте укола.

Убрав руку, я отер пальцы палыми листьями и вернулся бы к чтению его письма… если б не треск валежины, донесшийся откуда-то издали. Какое-то время я колебался: что делать? Прятаться? Бежать? Драться? Шансы на успех первого казались ничтожными, вторым я уже был сыт по горло, а посему, подобрав с земли фальшион мертвеца, завернулся в плащ и приготовился к схватке.

Однако поблизости так никто и не появился — по крайней мере, я никого разглядеть не сумел. В кронах деревьев негромко шелестел ветерок. Муха куда-то исчезла. Возможно, валежник треснул всего-навсего под копытом оленя, скрывшегося в тени? Долгое время странствовавшему без оружия, пригодного для охоты, такое мне даже в голову не пришло, теперь же, глядя на фальшион в руке, я от души жалел, что это не лук.

Вдруг за спиной что-то встрепенулось, зашур-

шало, и я оглянулся.

Да, то был найденный мною солдат. Все тело его сотрясали мелкие судороги (если б я своими глазами не видел его мертвым, нисколько не усомнился бы, что передо мной умирающий), руки дрожали, в горле клокотало. Склонившись над ним, я коснулся его щеки. Она оказалась такой же холодной, как прежде, и мне отчаянно захотелось развести рядом костер.

Кресала с кремнем в его вещмешке не нашлось, однако я знал, что такие вещи должен носить при себе каждый солдат. Действительно, в карманах его, кроме нескольких аэсов да цепочки с круговой шкалой для определения времени, отыскалось и огниво. Растопки под деревьями имелось с избытком — не запалить бы всю сразу. Расчистив ладонями круг на земле, я сгреб палые листья в его середину, высек искру, развел огонь и подбросил в костерок наломанного валежника.

Свет пламени оказался неожиданно ярким: день подходил к концу и скоро должно было стемнеть. Я снова взглянул на мертвого. Лежал он тихо, руки его больше не тряслись, щека вроде бы сделалась чуть теплее… но это, вне всяких сомнений, просто от жара костра. Капелька крови посреди его лба подсохла, почти запеклась, одна-

ко в лучах угасавшего солнца сверкала, словно какой-то алый самоцвет, кроваво-красный рубин, скатившийся с груды сокровищ. Костер наш почти не дымил; его легкий дымок казался мне ароматным, точно дым благовонных курений, и поднимался вверх точно так же — прямой тонкой струйкой, терявшейся в сгущавшемся сумраке, напоминавшей о чем-то… только я никак не мог вспомнить о чем. Встряхнувшись, я наломал еще хвороста и еще, пока не решил, что собранной кучи хватит до самого утра.

Вечера здесь, в Орифии, далеко не так холодны, как высоко в горах и даже в ближайших окрестностях озера Диутурна, и я, пусть даже прекрасно помнивший об одеяле, найденном в вещмешке мертвого, никакой надобности в нем не чувствовал. Работа меня разогрела, еда прибавила сил, и какое-то время я расхаживал в сумерках туда-сюда, размахивая фальшионом, когда мысли, рождающиеся в голове, соответствовали этаким воинственным жестам, однако не забывая держаться так, чтоб пламя костра заслоняло меня от мертвого.

Воспоминаниям моим, как я не раз уж писал на страницах сей хроники, свойственна яркость, сравнимая с яркостью галлюцинаций. Той ночью

они угрожали поглотить меня с головой, превратить жизнь мою из прямой линии в замкнутое кольцо, и я — в кои-то веки, разнообразия для — не стал противиться соблазну, а с радостью отдался на их волю. В тот же миг все, описанное мною выше, и еще тысячи всевозможных образов захлестнули меня, неудержимым потоком увлекли за собой. Снова увидел я лицо и веснушчатую руку Эаты, пытающегося протиснуться сквозь решетку ворот некрополя, и давнюю грозу, что, зацепившись за островерхие башни Цитадели, бурлит, хлещет во все стороны плетями молний, брызжет в лицо дождем куда холоднее, куда свежей молока, подаваемого к завтраку в трапезной.

— Сидела я у окна… подносы, шкатулки, распятия… А что ты со мною сделаешь? Эриний по мою душу призовешь? — прошелестел в ушах голос Доркас.

Да. Да, в самом деле, призвал бы, если бы мог. Будь я Гефором, непременно извлек бы их, птиц с головами старух и гадючьими жалами, из какой-нибудь жуткой бездны за гранью мира. По моему повелению их исполинские крылья смели бы леса, словно серпы пшеницу, сровняли с землей города… однако я, кабы смог, явился б в

последний момент ей на помощь — но не затем, чтобы после, с презрением отвернувшись, уйти, как все мы детьми мечтаем спасти и устыдить якобы пренебрегших нами любимых; нет, Доркас я обнял бы, подхватил на руки и унес с собой.

Пожалуй, только сейчас я понял, какой ужас довелось пережить ей, в час смерти едва-едва вышедшей из детского возраста, когда ее, давным-давно умершую, вернули к жизни.

Эти мысли заставили вспомнить о мертвом солдате, чью провизию я съел, а оружие прибрал к рукам, и остановиться, прислушаться, не дышит ли он, не шевелится ли, однако… Однако, безнадежно заплутавшему в мире воспоминаний, податливая лесная почва казалась мне рыхлой землей из осквернённой Хильдегрином-Барсуком по приказанию Водала могилы, шорох листвы обернулся шелестом кипарисов да изукрашенных пурпуром розовых кустов посреди некрополя, а я тщетно вслушивался в него, ожидая услышать вздох умершей в белом саване, поднятой Водалом наверх на веревке, петлею продетой под мышки.

Наконец хриплый крик козодоя привел меня в чувство. Обращенное ко мне лицо солдата белело в сгустившихся сумерках. Обойдя костер, я отыскал одеяло и укрыл им мертвое тело.

Теперь я понимал, что Доркас принадлежала к той самой, весьма многочисленной группе женщин (вполне возможно, включающей в себя всех женщин на свете), что предают нас, причем к особой, довольно редкой их разновидности — к тем, кто предает нас не ради какого-нибудь нынешнего соперника, но ради собственного же прошлого. Подобно Морвенне, казненной мной в Сальте, возможно, отравившей ребенка и мужа, как раз оттого, что вспомнила те времена, когда была свободной и, может статься, даже девственной, Доркас ушла от меня, поскольку меня не существовало (что она, должно быть, подсознательно ставила мне в вину) в ее прежней, предшествовавшей гибели жизни.

(Мне это время тоже кажется золотым. Наверное, я дорожила памятью о неотесанном, но добросердечном мальчишке, таскавшем мне в камеру цветы и книги, в основном оттого, что знала: он станет моей последней любовью перед неминуемой смертью, — как выяснилось в заточении, явившейся за мною отнюдь не в тот момент, когда меня, дабы заглушить крики, завернули в гобелен, и не во время прибытия в Старую Цитадель в Нессе, и не с лязгом захлопнувшейся за спиной решетчатой двери, и даже

не в ту минуту, когда я, озаренная светом, подобного коему вовеки не знала Урд, почувствовала, как против меня поднимает бунт собственное тело, но в тот самый миг, когда провела по горлу засаленным, холодным, однако благословенно острым лезвием принесенного им кухонного ножа. Возможно, такое время наступает для каждой из нас, и волей Чайтаньи каждая проклинает себя за содеянное. Но можно ли так сильно ненавидеть нас? Можно ли ненавидеть нас вообще? Нет, ведь я по сию пору помню, как целовал он мои груди, словно бы не затем, чтоб вдохнуть аромат моей плоти — подобно Афродизию и тому юноше, племяннику хилиарха Компаний, — но будто вправду алкал моей плоти. Уж не следил ли за нами в то время кто-нибудь незримый? Ну а теперь он вправду съел меня. Пробужденная к жизни сими воспоминаниями, я поднимаю руку, запускаю пальцы в его волосы…)

Закутавшись в плащ, я уснул, а проснулся на удивление поздно. Такова плата Природы тем, кому приходится нелегко: меньшие трудности, пусть непременно вызвавшие бы множество сетований со стороны людей, которым живется не в пример легче, человеку усталому донельзя кажутся сущим благословением. Прежде чем

окончательно пробудиться и встать, я около полудюжины раз просыпался и радовался тому, как легко, беззаботно провел ночь в сравнении с теми, что пережил по пути через горы.

Наконец солнечный свет и пение птиц привели меня в чувство. Солдат по ту сторону угасшего костерка шевельнулся и, кажется, что-то пробормотал. Я разом сел. Одеяло он отшвырнул в сторону и лежал на спине, лицом к небу. Лицо его побледнело, страшно осунулось, под глазами темнели круги, от крыльев носа к уголкам губ тянулись глубокие морщины, однако то было лицо живого: веки действительно сомкнуты, ноздри слегка подрагивают в такт вдохам…

На миг меня охватил соблазн улизнуть, пока он не пробудился. Его фальшион по-прежнему оставался при мне, и я решил было вернуть солдату оружие, но из опасений, как бы он не напал на меня, почел за лучшее не играть в благородство. Торчавший из ствола дерева кутель живо напомнил мне кривой кинжал Агии в ставне домика Касдо. Поразмыслив, я сунул его в ножны на поясе солдата — большей частью оттого, что устыдился собственных страхов: мне ли, вооруженному фальшионом, бояться человека с ножом?

Веки солдата затрепетали, и я, вспомнив, как

перепугал Доркас, склонившись над нею в момент пробуждения, поспешил отодвинуться, а дабы не выглядеть в его глазах непонятной темной фигурой, распахнул плащ, обнажив грудь и плечи, изрядно загоревшие в многодневных странствиях под открытым небом. Впрочем, стоял я так близко, что явственно слышал его дыхание, и когда ритм вздохов переменился, свидетельствуя о пробуждении, это показалось мне чудом не меньшим, чем переход от смерти к жизни.

Недоуменно, словно ребенок, захлопав глазами, солдат сел, огляделся вокруг, раскрыл было рот, но ничего осмысленного произнести не сумел. Тогда я, стараясь выдержать тон как можно более дружеский, заговорил сам. Солдат прислушался, однако, похоже, ни слова не понял, и тут я вспомнил, как ошеломлен был улан, оживленный мной по пути к Обители Абсолюта.

Дать бы ему напиться… но воды при мне, к сожалению, не имелось. С этой мыслью я вынул из тряпицы и разделил с ним полоску вяленого мяса, найденного в его вещмешке.

Прожевав мясо, солдат, кажется, почувствовал себя несколько лучше.

— Вставай, — сказал я. — Воды нужно найти.

Взяв меня за руку, он кое-как поднялся, но едва

устоял на ногах. Поначалу спокойный до безмятежности, взгляд его становился все более диким, настороженным. Казалось, ему всерьез страшно, как бы деревья не бросились на нас на манер стаи львов, однако за кутель он не схватился и даже не подумал требовать назад фальшион.

Стоило нам сделать три-четыре шага, солдат споткнулся и едва не упал. Тогда я велел ему опереться на мое плечо и вместе с ним не торопясь двинулся сквозь заросли назад, к дороге.

III. По пыльной дороге

Дойдя до дороги, я призадумался, куда свернуть, на север или на юг. Где-то на севере находилась асцианская армия, и, слишком приблизившись к линии фронта, мы рисковали угодить в самую гущу какого-нибудь стремительного маневра. Однако чем дальше на юг, тем меньшей казалась мне вероятность отыскать кого-либо, способного нам помочь, и тем большей — вероятность оказаться схваченными как дезертиры. В конце концов я (очевидно, в основном по привычке) свернул к северу и в верности этого выбора сомневаюсь до сих пор.

Роса на дороге уже подсохла, а отпечатков подошв в покрывавшей ее пыли не нашлось. Растительность на три шага от нее, а то и больше, также оказалась сплошь серой. Вскоре мы миновали лес, спустились с холма, а после дорога привела нас к мосту через речушку, журчавшую на дне каменистой долины.

Здесь мы сошли с дороги, спустились к воде, напились и ополоснули лица. Не брился я с тех самых пор, как оставил за спиной озеро Диутурна, и хотя, шаря по карманам солдата в поисках

огнива, ничего подобного не нашел, отважился спросить, нет ли у него с собой бритвы.

О сем пустяке я упоминаю лишь потому, что именно в этот момент солдат впервые понял сказанное. Кивнув, он вынул из-за ворота хауберга одно из тех крохотных лезвий, какими бреются сельские жители, — подобные бритвы деревенские кузнецы вытачивают из сношенных воловьих подков. Я придал ей остроты обломком точильного камня, до сих пор хранившимся в ташке, направил на голенище сапога, а после спросил, не найдется ли у солдата и мыла. Если мыло у него и имелось, вопроса он явно не понял, а недолгое время спустя, усевшись на камень возле самого берега, уставился в воду и в таком виде сделался очень похож на Доркас. Как же мне не терпелось расспросить его о полях Смерти, разузнать все, что он сумеет вспомнить о проведенном там времени, вполне возможно, мрачном только на наш взгляд… но вместо этого я умылся холодной речной водой и с грехом пополам соскреб со щек и подбородка щетину. Когда же я спрятал бритву в чехол и протянул солдату, тот воззрился на нее, точно не понимая, что с нею делать, и мне пришлось оставить ее при себе.

Большую часть того дня мы шли вперед. С

полдюжины раз нас останавливали и расспрашивали, но куда чаще мы останавливали и расспрашивали тех, кто попадался навстречу. Мало-помалу в моей голове сложилась вполне правдоподобная ложь: я — ликтор гражданского судьи из сопровождения Автарха, солдата мы встретили на дороге, и господин приказал мне присмотреть, чтобы о нем позаботились, а поскольку говорить он не способен, узнать, из какой он части, нам не удалось (последнее было практически правдой).

В пути мы не раз пересекали другие дороги, а порой сворачивали на них. Дважды эти дороги приводили нас к огромным полевым лагерям, целым городам из шатров и палаток, вмещавшим десятки тысяч солдат. В обоих ухаживавшие за недужными ответили, что непременно перевязали бы моего спутника, будь он ранен, однако принять его на свое попечение в таком состоянии не могут. Говоря с лекарями во второй раз, я уже не спрашивал, как отыскать Пелерин, — просил лишь указать путь до ближайшего места, где мы могли бы устроиться на ночлег: дело шло к ночи.

— В трех лигах отсюда большой лазарет. Может, там вас и приютят, — отвечал собеседник, оглядев нас обоих и, кажется, проникшись ко мне не

меньшим сочувствием, чем к бессловесному, сбитому с толку солдату. — Идите на северо-запад, пока не увидите справа, между двумя большущими деревьями, дорогу вдвое у□же той, которой пришли сюда. Вот на нее и сверните. Оружие у вас есть?

Я отрицательно покачал головой, так как фальшион счел за лучшее вернуть солдату, вложив в ножны на его поясе.

— Ликторский меч я был вынужден оставить слугам моего господина — уж очень он мешал управляться с подопечным.

— Тогда гляди в оба, зверья берегись. Тут бы стрелковое что-нибудь… но я вам ничего такого выделить не могу.

Я отвернулся, собираясь уйти, однако лекарь придержал меня за плечо.

— В случае чего брось его, — посоветовал он. — И, коли придется бросить, слишком-то не жалей. Я таких случаев уже навидался. Вряд ли оправится. Вряд ли.

— Он уже оправился, — возразил я.

В итоге при себе лекарь нас не оставил, оружия мне не одолжил, зато дал на дорогу кое-какой еды, и путь я продолжил, заметно воспрянув духом. Шли мы долиной, так что холмы с западной

ее стороны, поднявшись, заслонили солнце около стражи, а то и более тому назад. Шагая рядом с солдатом, я обнаружил, что поддерживать его за плечо уже ни к чему: отпустишь — идет себе дальше, со мною, словно любой из друзей. Лицом — широким, с квадратной челюстью — он не походил на узколицего Иону ничуть, но как-то раз, взглянув искоса в его сторону, я вдруг обнаружил в нем нечто напоминающее Иону, словно мне привиделся призрак.

В свете луны серая дорога сделалась зеленовато-белой; кусты и деревья по обочинам казались черными. На ходу я заговорил — признаться, отчасти от неизбывного одиночества, однако имелись для этого и другие причины. Несомненно, на свете существуют звери вроде альзабо, охотящиеся на людей, будто лисы на кур, но мне рассказывали, что многие прочие, заметив приближение человека вовремя, предпочтут сбежать. Вдобавок я рассудил, что, услышав мой разговор с солдатом, любые встречные недоброжелатели с куда меньшей вероятностью догадаются о его неспособности к обороне.

— Помнишь вчерашнюю ночь? — начал я. — Спал ты на удивление крепко.

Ответа не последовало.

— Об этом я тебе, кажется, не рассказывал, но есть у меня одно свойство — способность запоминать все, любую мелочь. Правда, вспомнить все, что пожелаю, удается не всегда, но из памяти ничего не стирается. Просто некоторые воспоминания — они, понимаешь ли, вроде беглых клиентов в подземных темницах нашей башни: пускай представить их начальству по первому требованию невозможно, однако каждый на месте, наружу из подземелий им пути нет.

Хотя, если вдуматься, это не совсем так. Нижний, четвертый, ярус наших подземных темниц давненько пустует — клиентов даже для заполнения первых трех ярусов никогда не хватает, так что со временем мастер Гюрло, возможно, откажется и от третьего. Сейчас мы держим его открытым только ради умалишенных, которых не навещает никто из чиновников: размести их на верхних уровнях — остальным не будет ни сна, ни покоя. Но, конечно, не все они так уж шумны: имеются и молчуны не хуже тебя.

Ответа вновь не последовало. В лунном свете трудно было сказать, слушает ли он меня, однако я прекрасно помнил о выпрошенной у него бритве.

— Однажды я сам прошел этим путем. То есть

через четвертый ярус. В то время у меня был пес, и я держал его там, но как-то раз он сбежал. Отправился я искать его и обнаружил коридор, ведущий из наших подземелий наружу. В конце концов этот коридор вывел меня наверх, прямо на разбитый, покосившийся пьедестал с гномонами посреди сада под названием Атриум Времени. Действительно, солнечных часов в том саду великое множество, а еще я познакомился там с девушкой куда красивее всех, каких только встречал с тех пор, — пожалуй, даже красивее Иоленты, хоть и совсем по-другому.

Солдат по-прежнему хранил молчание, однако что-то — возможно, всего-навсего легкий наклон головы, замеченный краем глаза, — подсказывало: он меня слышит.

— Звалась она Валерией и, думаю, годами была младше меня, хотя с виду казалась гораздо старше. Волосы темные, вьющиеся, как у Теклы, но и глаза тоже темные, карие, а у Теклы были фиалковые. А вот такой прекрасной кожи, как у нее, я в жизни никогда больше не видел — будто густое молоко, смешанное с соком граната и земляники.

Однако рассказать-то я собирался не о Валерии, а о Доркас. Доркас тоже красива, хоть и

очень худа, крохотна, словно ребенок. Лицо ее — лицо пери, щеки покрыты веснушками, точно крупицами золота. Волосы она обычно носила длинные, только напоследок остриглась коротко, и постоянно втыкала в них цветы.

Тут мне снова пришлось сделать паузу. Разговор о девушках я продолжал, потому что этот предмет вроде бы привлек внимание солдата, однако больше не мог сказать, слушает он меня или нет.

— С Доркас я виделся перед уходом из Тракса. В ее комнате над трактиром под названием «Утиное Гнездо». Доркас лежала в кровати, нагая, но все время куталась в простыню, как будто мы с нею ни разу не спали вместе — это мы-то, прошедшие и проехавшие многие лиги, не раз ночевавшие в глуши, не слыхавшей ничьих голосов с тех самых пор, как земля была призвана со дна моря, взбиравшиеся на вершины холмов, которых прежде касались лишь стопы самого солнца! Она готова была покинуть меня, а я — ее, и ни ей, ни мне не хотелось ничего иного, хоть под конец она, испугавшись, и звала меня пойти с нею.

Доркас, по ее же словам, полагала, будто Коготь обладает той же властью над временем, какой зеркала Отца Инире будто бы обладают над рас-

стоянием. В то время я над ее замечанием не задумался — что касается философских материй, мыслитель из меня, правду сказать, неважный, — но сейчас нахожу его весьма, весьма интересным. А еще Доркас сказала вот что: «Того улана ты, Севериан, вернул к жизни, потому что Коготь искривил для него время, отправив его в тот момент, когда он еще был жив. А наполовину заживил раны друга, потому что камень приблизил момент их заживления». Интересно же получается, разве нет? Вскоре после того, как я кольнул тебя Когтем в лоб, ты издал этакий странный звук… может, то был предсмертный хрип?

С этим я выжидающе умолк. Солдат по-прежнему не отозвался ни словом, но вдруг его пальцы крепко стиснули мое плечо. Говорил я небрежно, на грани легкомыслия, однако его прикосновение заставило меня осознать всю серьезность собственных слов. Если все это правда или хоть самую чуточку близко к истине, выходит, я наобум, без оглядки, забавляюсь с совершенно неведомыми мне силами — в точности как усыновленный мною сынишка Касдо, бездумно схватившийся за кольцо исполинского изваяния и погибший на месте.

— Если так, твое замешательство нисколько

не удивительно. Должно быть, путешествия в прошлое, сквозь само время — штука страшная, особенно если путь ведет через собственную же гибель. Я как раз собирался заметить, что это — будто второе рождение, но дело, пожалуй, намного хуже: ведь младенец в материнской утробе, как ни крути, уже жив.

Тут я слегка замялся.

— Правда, мне… то есть Текле… носить под сердцем младенца ни разу в жизни не довелось.

Наверное, только почувствовав его замешательство, я осознал, что и сам совершенно сбит с толку — вот, пожалуйста, даже от Теклы себя отличить не могу, — и, наконец, смущенно сказал:

— Прости. Прости. Усталый, почти засыпающий, я порой словно бы становлюсь кем-то другим. — (Не знаю, в чем тут причина, но в этот момент пальцы солдата стиснули мое плечо крепче прежнего.) — Отчего? История эта изрядно длинна и к тебе ни малейшего отношения не имеет. А сказать я хотел о другом: когда тот пьедестал в Атриуме Времени раскололся, просел, циферблаты солнечных часов накренились, и гномоны их больше не указывали верное время, а я слышал, когда это происходит, дневные стражи останавливают ход либо каждый день в течение

какого-то времени идут вспять. Ты носишь с собою карманные солнечные часы и, стало быть, должен знать: чтоб верно определить время, их гномон нужно направить на солнце. Как известно, положение солнца на небе неизменно, а Урд ходит, танцует вокруг него, и благодаря ее танцу мы можем вести счет времени — точно так же глухой вполне может отстучать ритм тарантеллы, наблюдая за пляской танцовщиков… но что, если солнцу тоже вздумается поплясать? В этом случае время также может устремиться вспять.

— Не знаю, веришь ли ты в того, кого называют Новым Солнцем, — и за себя ничего определенного на сей счет сказать не могу. Но если Новое Солнце вправду когда-либо явится к нам, то не иначе как вернувшимся Миротворцем, а следовательно, *Миротворец* и *Новое Солнце* — всего лишь два имени одного и того же индивидуума, и тогда возникает закономерный вопрос: как ты думаешь, отчего этого индивидуума надлежит называть Новым Солнцем? Уж не из-за способности ли управлять ходом времени?

Тут мне и вправду почудилось, будто само время остановило ход. Вокруг, с обеих сторон, высился темный, безмолвный лес, с приходом ночи стало свежее. Что еще сказать, я не знал,

а болтать чушь, чувствуя, с каким вниманием солдат слушает все мною сказанное, стыдился. Между тем впереди показалась пара сосен намного толще всех прочих деревьев, что росли вдоль обочин, в обхвате, а между ними виднелась зеленовато-белая тропка, отходящая в сторону.

— Вон, вон они! — воскликнул я.

Однако, когда мы поравнялись с соснами, солдата пришлось придержать и развернуть в нужную сторону силой. Заметив в пыли темные кляксы, я наклонился, пощупал их.

Кляксы оказались запекшейся кровью.

— Да, мы на верном пути, — сказал я солдату. — Туда несут раненых.

IV. Лихорадка

Не знаю, долго ли еще пришлось нам идти в темноте, свернув с главной дороги. Помнится, какое-то время спустя я начал спотыкаться, и это немедля превратилось для меня в нечто сродни болезни: к примеру, одних занедуживших одолевает неудержимый кашель, других — дрожь в руках, а я вот споткнулся — раз, а через пару шагов еще раз, и еще, и еще… Стоило подумать о чем-либо другом, носок левого сапога тут же цеплялся за каблук правого, а сосредоточиться не удавалось — с каждым сделанным шагом мысли ускользали, разбегались прочь.

Среди деревьев по обе стороны от тропы мерцали светлячки, и долгое время я, полагая огоньки впереди всего лишь такими же насекомыми, не ускорял шага. Но вдруг (совершенно, как показалось мне, неожиданно) мы оказались в полутьме под какой-то крышей, среди длинных рядов накрытых простынями коек, между которыми расхаживали взад-вперед люди с желтыми светильниками в руках. Одна из них, женщина, облаченная (как мне опять-таки показалось на первый взгляд) в черное, взяла нас под опеку и

увела куда-то еще, где усадила в кресла из кожи и рога, поближе к пылавшему в жаровне огню. Там я сумел разглядеть, что и платье, и накидка ее вовсе не черны, а алы, и даже решил, будто передо мной Кириака, однако ошибся.

— Твой друг очень болен, — сказала она. — Ты знаешь, что с ним стряслось?

И тут солдат, покачав головою, ответил:

— Нет. Я даже не знаю, кто он таков.

Ошеломленный, я утратил дар речи. Тем временем женщина в алом взяла меня за руку, пощупала запястье, а после проделала то же самое с рукой солдата.

— У него сильный жар. Лихорадка. У тебя тоже. С приходом лета у нас все больше и больше больных. А все дело в том, что воду для питья нужно кипятить и от вшей избавляться как можно тщательнее.

Вздохнув, она обратилась ко мне:

— Вдобавок у тебя множество неглубоких царапин, и некоторые из них воспалились от грязи. Осколками камня посекло?

— Да это не я болен, — едва ворочая языком, отвечал я. — Я друга сюда привел.

— Вы оба серьезно больны и, по-моему, вели к нам один другого. В одиночку любой из вас

сюда бы, скорее всего, не дошел. Так чем это тебя? Осколками камня? Под вражеский удар угодил?

— Верно, осколками камня… только бил не враг — друг.

— Да, попасть под огонь со своей стороны — это, я слышала, хуже всего. Но главная наша забота — жар. — Призадумавшись, женщина в алом перевела взгляд на солдата и вновь повернулась ко мне: — Вас бы сейчас же уложить по кроватям, но прежде придется вам вымыться.

Хлопнув в ладоши, она призвала к себе бритоголового здоровяка. Бритоголовый, подхватил нас под руки, повел за собой, но тут же остановился, поднял меня и понес — точно так же, как я в свое время носил на руках маленького Севериана.

Вскоре мы, раздетые донага, были усажены в небольшой бассейн, полный воды, подогретой раскаленными камнями. Бритоголовый вылил на нас еще пару бадеек теплой воды, затем велел нам поочередно выбраться из бассейна, дабы остричь обоих при помощи пары ножниц, а после на время оставил в покое, отмокать.

— Значит, ты уже можешь говорить? — спросил я солдата и в свете ламп сумел разглядеть его кивок. — А отчего же тогда молчал по дороге сюда?

Солдат, поразмыслив, слегка пожал плечами:

— Думал о множестве всяких вещей, да и ты тоже молчал. И выглядел зверски усталым. Как-то раз я спросил, не остановиться ли нам, однако ты не ответил.

— А по-моему, все было наоборот, — сказал я, — но, возможно, мы оба правы. Ты помнишь, что случилось с тобой до нашей встречи?

И снова пауза.

— Я даже встречи с тобой не припоминаю. Помню, идем мы какой-то темной тропой — вдвоем, рядом…

— А перед этим?

— Не знаю. Вроде бы музыку помню… и еще долгий путь. Сначала под солнцем, а после и в темноте.

— Этот путь мы тоже проделали вместе, — пояснил я. — А больше ничего не помнишь?

— Помню полет в темноте… да, и мы с тобой были вместе, и вместе пришли куда-то, где солнце висело прямо над головой. Потом еще — вроде как свет впереди, но стоило мне выйти туда, на свет, он стал чем-то наподобие темноты.

Я понимающе кивнул:

— Видишь ли, у тебя временно помутился рассудок. В теплый день иногда действительно с виду кажется, будто солнце висит прямо над

головой, а когда оно опускается за горы — что его свет превращается в темноту. А свое имя ты помнишь?

Над этим солдат надолго задумался и, наконец, с невеселой улыбкой ответил:

— Похоже, я потерял его где-то в пути… как сказал ягуар, вызвавшийся проводить до дому козла.

Тут к бассейну, никем из нас не замеченный, вернулся бритоголовый здоровяк. Первым делом он помог мне выбраться из воды, дал полотенце, чтоб досуха вытереться, накинул на плечи длинный халат, а напоследок вручил холщовый мешок с моими пожитками, насквозь пропахшими дымом обеззараживающих курений. Всего днем раньше я, расставшись с Когтем всего на миг, извелся бы до умоисступления, однако той ночью даже не замечал его отсутствия, пока мне его не вернули, и даже не удосужился убедиться, что он действительно снова при мне, пока не улегся на койку, накрытую сетчатым пологом. На сей раз Коготь засиял в горсти нежно, словно луна, да и формой весьма напоминал луну, какой та порой выглядит с Урд. Вспомнив, что ее бледно-зеленый свет — отраженный свет солнца, я улыбнулся и закрыл глаза.

Пробуждению после первой ночевки в Сальте сопутствовало впечатление, будто я просыпаюсь в ученическом дормитории нашей башни. Теперь все те же самые впечатления словно бы вывернулись наизнанку: уснув, я обнаружил, что полутемный лазарет и безмолвные люди со светильниками, расхаживающие между койками, — всего лишь своего рода дневные галлюцинации.

Подняв голову с подушки, я сел и огляделся вокруг. Чувствовал я себя превосходно — правду сказать, лучше, чем когда-либо прежде, только от всего тела веяло жаром. Казалось, я вот-вот засвечусь изнутри. Рох спал на боку — рыжая шевелюра взъерошена, рот слегка приоткрыт, лицо, освобожденное от власти спящего разума, обмякло, сделалось совсем детским. За иллюминатором, на Старом Подворье, белели снега — свежие, только что выпавшие, без единого следа, хоть звериного, хоть человеческого, однако просторы некрополя, очевидно, были испещрены отпечатками лап невеликих созданий, нашедших приют среди склепов: ручные зверушки, закадычные друзья усопших, они наверняка уже выбрались из нор в поисках пищи и, разумеется, чтоб порезвиться вволю на новой пушистой

подстилке, пожалованной им Природой. Быстро, беззвучно одевшись, приложив к губам палец, когда один из прочих учеников встрепенулся и захлопал глазами, я поспешил вниз по крутой лестнице, спиралью вьющейся от вершины до основания башни.

Лестница словно бы сделалась много длиннее обычного: вскоре я обнаружил, что каждый шаг со ступеньки на ступеньку стоит мне изрядных трудов. Поднимаясь наверх, мы неизменно чувствуем препоны, чинимые нам силой тяготения, однако ее помощь при спуске принимаем как должное — теперь же она мне практически не помогала. Чтобы поставить ногу на очередную ступеньку, требовалось вложить в шаг всю силу мускулов, но касаться ее ступней с осторожностью: топнешь — тут же взовьешься вверх. Благодаря сверхъестественному всеведению, нередко свойственному нам во сне, я понял, что все башни Цитадели наконец поднялись и отправились в путь, далеко за пределы круга, описываемого в пространстве Дитом. Конечно, меня это очень обрадовало, однако желания сбегать в некрополь, последить за коати и лисами, отнюдь не лишило. Со всех ног спеша вниз, я услышал донесшийся спереди стон. Лестница

уже не спускалась вниз серпантином, но вела прямо, вдоль стены, в одну из кают, совсем как лестницы в замке Бальдандерса.

Каюта оказалась чем-то наподобие госпиталя для единственного больного — мастера Мальрубия. Жилье мастеров, сообразно высоте положения, просторно, однако эта каюта намного превосходила размерами любую из настоящих. Иллюминаторы в ней (числом, как мне и помнилось, два), также невероятно огромные, не уступали в величине глазам Горы Тифона. На фоне всех этих необъятных просторов кровать мастера Мальрубия, ложе изрядной величины, казалась крохотной до неприметности. Над нею, склонившись к больному, стояли двое, однако мне тут же бросилось в глаза, что темный цвет их одежд — вовсе не свойственный нашей гильдии цвет сажи. Едва я, приблизившись к ним, сумел расслышать хриплое, стесненное дыхание больного, неизвестные выпрямились и повернулись ко мне. То были кумеянка и ее причетница Меррин — ведьмы, которых мы встретили на крыше гробницы среди развалин каменного городища.

— А-а, вот, наконец, и ты, сестра, — сказала Меррин.

В тот же миг мне сделалось ясно, что я — вовсе

не ученик палачей Севериан, каковым полагал себя до сих пор. Я, Севериан, оказался Теклой, но Теклой одного с ним роста — иными словами, лет в тринадцать-четырнадцать, и не на шутку смутившейся, только вовсе не из-за девичьего тела и не из-за мужской одежды (которой, говоря откровенно, была только рада), а оттого, что не заметила этого раньше. Еще слова Меррин показались мне деянием колдовским — ведь мы с Северианом шли сюда вместе, а она взяла да каким-то образом отодвинула его на задний план. Кумеянка же поцеловала меня в лоб, а когда поцелуй завершился, утерла с губ кровь, и, хоть не сказала ни слова, мне сделалось ясно: это знак, символ, означающий, что отныне я в каком-то смысле тоже числюсь на воинской службе.

— Засыпая, — сказала мне Меррин, — мы переходим из тока времени в вечность.

— Пробуждаясь, — шепнула и кумеянка, — мы теряем способность заглядывать за грань настоящего.

— И потому она не пробуждается никогда, — похвастала Меррин.

Мастер Мальрубий заворочался, застонал, и кумеянка, взявши с прикроватного столика графин, налила в кружку немного воды, а когда

поставила графин на место, внутри него встрепенулось нечто живое. Я, отчего-то решив, будто это ундина, отпрянул назад, однако то была вовсе не ундина, а Гефор — маленький, не выше моей ладони, прижавший к стеклу серое, поросшее неопрятной щетиной лицо.

Голос его звучал тоненько, словно мышиный писк:

— Порой, выброшенные на мель фотонными бурями, водоворотами галактик, кружащими то по часовой стрелке, то против, мчащие с токами света вдоль темных путей морских, под серебром парусов, одержимых сонмами демонов зеркальных полотнищ, во множестве поднятых на мачтах по сту лиг высотой, однако ж тонких, как нити, как серебряные иглы, в ушки коих вдевают шелк звездного света, расшивая узорами звезд черный бархат, увлажненный ветрами Времени, стремящими мимо свой лёт! Кость в его зубах! Пена, легкая пена Времени, выброшенная на берега, где мореходу не спрятать уж старых костей от неугомонной, буйной вселенной! Куда же ушла она, госпожа моя, подруга моего сердца? Где скрылась — в быстрых волнах Водолея, Овна или Рыб? Ушла, ушла прочь в утлой, крохотной — сосцы крепко прижаты крышкой черного бархата

— лодке, ушла, навеки покинув омытые звездами берега, пересохшие отмели пригодных для жизни миров, сама себе и корабль, и его носовая фигура, и капитан! Эй, боцман, боцман, командуй пуск! Шкотовые, поднять паруса! Она ушла от нас. Мы ушли от нее. Ныне она в прошлом, для нас неведомом, и в будущем, коего нам не увидеть. Не жалей парусов, капитан, ибо сама вселенная оставляет нас за кормой…

На столике рядом с графином лежал колокольчик. Меррин встряхнула им, будто затем, чтоб заглушить причитания Гефора, а когда мастер Мальрубий смочил губы, забрала у кумеянки кружку и, выплеснув под ноги остатки воды, надела ее кверху дном на горлышко графина. Гефора стало не слышно, однако лужа воды на полу забурлила, точно питаемая невидимым родником. Вода оказалась холодной как лед, а мне вдруг подумалось, что гувернантка наверняка рассердится — ведь теперь туфли насквозь мокры.

На звон колокольчика явилась служанка — служанка Теклы, та самая, чью ногу после снятия кожи «сапогом», по колено, мне довелось осмотреть на следующий день после спасения Водала. Сейчас она выглядела заметно моложе (именно такой ей и надлежало быть во время девичества

Теклы), однако нога ее, уже лишенная кожи, слегка кровоточила.

— Прости, — заговорил я. — Прости меня, Гунна. Это не я — это мастер Гюрло с кем-то из подмастерьев…

Тут мастер Мальрубий поднял голову, сел, и я впервые заметил, что ложем ему на самом деле служит женская длань: пальцы длиннее моей руки, ногти — что когти исполинского зверя.

— Да ты, вижу, вполне здоров! — воскликнул он, словно это я совсем недавно лежал при смерти. — Или, по крайней мере, почти здоров!

Пальцы огромной ладони начали было смыкаться, однако мастер Мальрубий спрыгнул с кровати и, по колено в воде, подошел ко мне.

Очевидно, пес — мой старина Трискель — прятался под кроватью, а может, попросту тихо, никем не замеченный, лежал за ней, на полу. Теперь он, поднимая фонтаны брызг единственной передней лапой, рассекая воду широкой грудью, с радостным лаем подбежал к нам, а мастер Мальрубий с кумеянкой подхватили меня под руки и повели к одному из огромных зрачков горы-изваяния.

Снаружи меня ожидал тот же вид, что открылся мне, подведенному к проему глаза Тифоном, —

наш мир, огромным ковром простершийся вдаль, различимый во всех подробностях… но на сей раз много, много великолепнее прежнего. Солнце светило сзади, лучи его словно бы стали изрядно ярче обычного, тени внизу обернулись золотом, вся зелень, куда ни взгляни, сделалась темнее, насыщеннее. Увидел я и зреющие в полях хлеба, и даже бессчетные косяки морских рыб, множащихся на глазах по мере того, как множатся в верхних слоях воды крохотные водоросли, служащие им пищей. Вода, заливавшая комнату за нашими спинами, хлынула вниз, заиграв в свете солнца радугой красок…

И тут я проснулся.

Пока я спал, кто-то обернул меня простынями, набитыми снегом (как выяснилось позже, доставленным с горных вершин крепкими на ногу, привычными к крутым склонам вьючными мулами). Охваченному дрожью, мне отчаянно захотелось вернуться назад, в сновидение, хотя умом я уже понимал, сколь оно далеко. Рот мой был полон горечи лечебных снадобий, парусина койки подо мною казалась жесткой, как пол, а меж рядами коек, пользуя хворых и раненых, стонущих в темноте, расхаживали взад-вперед Пелерины со светильниками в руках.

V. Лазарет

По-моему, той ночью я так больше и не уснул — разве что время от времени забывался в дремоте. К рассвету снег растаял. Две сестры-Пелерины освободили меня от мокрых простыней, дали полотенце, чтоб вытереться, а после принесли и сухое постельное белье. Тут бы и отдать им Коготь — ведь мешок с моими вещами лежал рядом, под койкой, — однако момент показался мне неподходящим.

Улегшись, я наконец-то, пусть и при свете дня, сумел уснуть, а проснулся только около полудня. В лазарете царило необычайное безмолвие: двое где-то вдали о чем-то беседовали, еще кто-то вскрикнул, однако их голоса лишь подчеркивали тишину. Приподнявшись и сев, я огляделся вокруг в надежде отыскать солдата. При виде необычайно короткой стрижки лежавшего по соседству справа я принял его за одного из рабов Пелерин и окликнул, но, стоило ему повернуться ко мне, понял, что обознался.

Такой пустоты в человеческом взгляде мне еще не встречалось: казалось, он не сводит глаз с неких призраков, духов, видимых только ему

одному.

— Слава Группе Семнадцати! — отозвался он.

— Доброго утра. Скажи, ты о здешних порядках что-нибудь знаешь?

Лицо его помрачнело: очевидно, вопрос пробудил в нем какие-то подозрения.

— Любые порядки хороши либо плохи ровно в той мере, в какой совпадают с Верным Мышлением, — отвечал он.

— В одно время со мной сюда привели еще одного человека, и я хотел бы переговорить с ним. Он мне, можно сказать, друг.

— Друзья наши — те, кто исполняет Волю Народа, пусть даже мы не обменялись с ними ни единым словом. Те же, кто не исполняет Волю Народа, — враги, пусть даже мы знаем их со школьной скамьи.

— Не добьешься от него толку, — вступил в разговор человек, лежавший от меня слева. — Это же пленный.

Я повернулся к нему. Его лицо, хоть и осунувшееся, исхудавшее, точно череп, лучилось весельем, а жесткие черные волосы выглядели так, будто который уж месяц не видели гребня.

— Он постоянно так разговаривает. Только так, и никак иначе. *Эй, слышишь?!* Скоро мы вас

разобьем!

— Для Армии Народа, — отвечал мой сосед справа, — поражение есть трамплин, ведущий к победе, а победа — лестница к дальнейшим новым победам.

— И этот еще выражается куда осмысленней большинства, — сказал мне сосед слева.

— Пленник? Что же он натворил?

— Натворил? Ну как что — остался в живых.

— Боюсь, я тебя не понимаю. Его послали на смерть?

Пациентка, лежавшая за моим соседом слева, девушка с крохотным, но миловидным личиком, села и тоже присоединилась к разговору.

— Их всех шлют на смерть, — сказала она. — По крайней мере, домой не отпустят до полной победы в войне, однако все они понимают, что этой войны им не выиграть.

— Победа во внешней борьбе уже одержана, если внутренняя борьба ведется согласно Верному Мышлению.

— Так, значит, он — асцианин, — сообразил я. — Вот что ты имел в виду. Живых асциан я никогда еще не видал.

— Правильно, а я что говорил? Обычно они в бою гибнут, — пояснил черноволосый.

— Я и не знал, что асциане по-нашему говорят.

— Они и не говорят. Офицеры, приходившие сюда разговаривать с ним, считают, что он был переводчиком. Видимо, наших, попавших к ним в плен, допрашивал, только проштрафился чем-то, вот и отправили его на передовую.

— По-моему, на самом деле он вовсе не помешанный. В отличие от большинства, — сказала девушка. — Тебя как звать?

— Прошу прощения, мне следовало представиться без напоминаний. Я — Севериан.

Тут я едва не упомянул и о былом ликторстве, но вовремя вспомнил, что в таком случае все разговоры со мной немедленно прекратятся.

— А я — Фойла, а это — Мелитон. Я служила в Синих гуззарах, а он — в гоплитах.

— Не болтай чушь, — буркнул Мелитон. — Я и служу в гоплитах, а ты — в гуззарах.

Тут мне подумалось, что он подошел к грани смерти куда ближе нее.

— Я всего лишь надеюсь, что нас уволят от службы, когда придем в себя настолько, чтоб выйти отсюда, — ответила Фойла.

— И что мы тогда делать будем? Доить чужих коров? Свиней чужих пасти? Ты, Севериан, ее болтовни не слушай, — пояснил Мелитон, повер-

нувшись ко мне. — Мы — добровольцы, оба. Перед ранением меня как раз собирались повысить, а получив повышение, я и жену смогу содержать.

— Я за тебя замуж выйти не обещала! — огрызнулась Фойла.

— Да женись ты на ней поскорее, и дело с концом, а то от нее только об этом и слышно! — во весь голос сказал кто-то в нескольких койках от нас.

Услышав это, пациент позади Фойлы тоже встрепенулся и сел.

— Она за меня замуж выйдет. — Рослый, плечистый, светлокожий, светловолосый, говорил он с неспешной вдумчивостью, свойственной уроженцам ледяных островов юга. — Я — Гальвард.

— Объединившись, мужчины и женщины становятся сильнее, но женщине храброй угодны дети, а не мужья, — к немалому моему удивлению, объявил пленный асцианин.

— Бьются даже беременные, — добавила Фойла. — Сколько я таких мертвыми на поле боя видела…

— Народ — корни дерева. Листва опадает, но дерево стоит.

Я спросил Мелитона с Фойлой, слагает ли асцианин сии речения сам или цитирует некий

литературный источник, доселе мне незнакомый.

— Хочешь сказать, не выдумывает ли? — уточнила Фойла. — Нет. Из головы они никогда ничего не выдумывают. Все сказанное должно быть взято из писаний, одобренных свыше. Поэтому некоторые асциане не разговаривают вообще. Другие заучивают на память тысячи — наверное, десятки, а то и сотни тысяч таких вот готовых фраз.

— Не может быть, — усомнился я.

Мелитон пожал плечами и с трудом приподнялся, опершись на локоть:

— А вот поди ж ты, как-то справляются… если люди не врут. Фойла про них куда больше моего знает.

Фйола кивнула:

— Нас, легкую кавалерию, то и дело отправляют в разведку, иногда — специально за пленными. Из разговоров с ними обычно ничего не узнать, но все же штабным многое удается понять, взглянув на их экипировку и состояние здоровья. На Северном континенте, откуда они к нам явились, только дети разговаривают в привычной нам манере.

Мне тут же представился мастер Гюрло, управ-

ляющий делами гильдии.

— А как им удается сказать что-нибудь вроде: «Возьми троих учеников, и разгрузите вот эту повозку»?

— Подобного они не говорят вообще: довольно схватить этих троих за плечо, указать на повозку и подтолкнуть. Возьмутся за дело — прекрасно. А если нет, главный процитирует что-нибудь насчет необходимости трудиться ради победы, да при свидетелях. Если тот, к кому он обращается, и после этого не приступит к работе, начальник велит прикончить его — полагаю, просто ткнув в него пальцем и процитировав еще что-нибудь подходящее к случаю, насчет беспощадности к врагам народа.

— Крики детей, — изрек асцианин, — есть клич победы, но и победам до́лжно учиться мудрости.

— А это, — растолковала Фойла, — значит, что без детей, конечно, никуда, но их разговоры лишены смысла. Большинство асциан и нас за немых посчитает, даже если мы выучимся их языку: любой набор слов, взятый не из одобренных свыше писаний, для них ничего не значит. Признавшись хотя бы себе самому, что в подобной болтовне есть смысл, асцианин получит возможность слышать крамольные речи и даже

произносить их, а это крайне опасно. Ну а пока он понимает и цитирует только одобренные писания, его никто ни в чем не сможет обвинить.

Я повернулся лицом к пленному асцианину. Тот явно слушал наш разговор со всем вниманием, но что еще могло означать выражение его лица, оставалось загадкой.

— Те, кто пишет одобренные свыше писания, — сказал я ему, — сами при этом цитировать одобренных писаний не могут. Следовательно, даже одобренные писания могут содержать элементы крамолы.

— Верное Мышление есть мышление Народа. Народ не способен на измену Народу либо Группе Семнадцати.

— Только не вздумай хулить народ либо Группу Семнадцати, — предостерегла меня Фойла, — иначе он может покончить с жизнью. Порой с ними и такое случается.

— Ну а нормальным он когда-нибудь станет?

— Я слышала, некоторые спустя какое-то время начинают разговаривать более-менее как мы, если ты об этом.

С ответом я не нашелся, и разговор сам собою утих. Как выяснилось, в подобных местах, где все больны, молчание может затянуться надолго. Все

мы понимали, что нам предстоит лежать здесь без дела еще многие-многие стражи, что, если не высказать какой-то мысли сейчас, днем, ее ничто не помешает высказать вечером или на следующее утро. Пожалуй, в такой обстановке любой, разговаривающий как обычные люди — к примеру, после еды, — показался бы невыносимым.

Однако наша беседа заставила меня задуматься о северных землях, и тут я обнаружил, что не знаю о них практически ничего. Когда я, еще в мальчишестве, мыл полы да бегал по Цитадели с различными поручениями, война казалась чем-то бесконечно далеким. Конечно, я знал, что матросы из расчетов крупнокалиберных батарей в ней участвовали, но знал о том точно так же, как знал, что свет, упавший на ладонь, исходит от солнца. Мне предстояло стать палачом, а будущему палачу не было причин поступать на армейскую службу или опасаться, как бы меня не забрили в солдаты насильно. Увидеть войну у врат Несса (правду сказать, для меня и врата эти были чем-то сродни легенде) я тоже вовсе не ожидал и даже не думал когда-нибудь покинуть пределы города или хотя бы городского квартала, где расположена Цитадель.

Север, Асция… в те времена все это казалось

невообразимо далеким, столь же далеким, как самая дальняя из галактик, поскольку ни того ни другого мне было никогда не достичь. Мысленно я даже путал их с поясом гибнущих тропических лесов, отделяющим наши земли от земель асциан, хотя без труда ответил бы, где что, спроси мастер Палемон о том в классе.

Да, ответить — ответил бы, но о самой Асции не имел никакого понятия. Не знал, есть ли там большие города. Не знал, что там за земли — гористые, как в северной и восточной части Содружества, или ровные, как у нас в пампе. Имелось у меня впечатление (хотя не знаю, насколько верное), будто это сплошная масса суши, а не гряда островов наподобие нашего юга, и еще одно, куда более определенное, будто жителей в Асции бессчетное множество, будто народ ее — неиссякающий рой, едва ли не единое существо сам в себе, наподобие колонии муравьев. Представить себе многие миллионы лишенных дара речи вообще либо, как попугаи, ограниченных набором провербиальных фраз, наверняка давным-давно утративших большую часть смысла… казалось, человеческий разум такого не вынесет.

— Нет, — проговорил я, обращаясь скорее к себе самому, чем к кому-либо еще, — должно быть, это

какая-то уловка или обман, а может, ошибка. Подобного народа просто не может существовать.

Но асцианин, нисколько не громче, чем я, а может быть, еще тише, ответил:

— Когда государство наиболее жизнеспособно? Государство наиболее жизнеспособно, когда в нем нет конфликтов. Когда же в нем нет конфликтов? Когда нет несогласия. Как же избавиться от несогласия? Избавившись от четырех его первопричин: *лжи*, похвальбы, сумасбродных речей и речей, служащих лишь разжиганию ссор. Как же избавиться от сих четырех его первопричин? Высказываясь лишь сообразное Верному Мышлению. Тогда государство избавится от несогласия, а избыв несогласие, избавится и от конфликтов, а избавленное от конфликтов, обретет силу, стойкость и жизнеспособность.

Так я и получил ответ на свой вопрос, причем дважды.

VI. Милес, Фойла, Мелитон и Гальвард

В тот вечер я вновь пал жертвой страхов, на некоторое время выброшенных из головы. Конечно, чудовищ, привезенных Гефором из-за далеких звезд, мне не встречалось с тех самых пор, как мы с маленьким Северианом сбежали из поселения волшебников, однако о том, что он меня ищет, я отнюдь не забыл. Путешествуя по безлюдной глуши и по водам озера Диутурна, я не слишком боялся погони, но теперь путешествия кончились, а сил в руках и ногах, несмотря на все съеденное, оставалось гораздо меньше, чем во время странствий через высокогорья, без воды и пищи.

Однако куда больше всех Гефоровых нотул, саламандр и слизней боялся я Агии. При ее-то отваге, хитроумии и коварстве любая из облаченных в алое жриц-Пелерин, расхаживавших между койками, могла оказаться ею, с отравленным стилетом под платьем. Спалось мне в ту ночь хуже некуда, и снов я видел немало, но все они были так смутны, что излагать их здесь ни к чему.

Проснулся я вовсе не отдохнувшим — скорее,

напротив, совершенно разбитым. Лихорадка, которой я, явившись в лазарет, почти не замечал, накануне вроде бы заметно унявшаяся, взялась за меня с новой силой. Жар чувствовался в каждом пальце: казалось, будто я весь свечусь изнутри, будто даже льды юга растают, объявись я среди них. Вынув из мешка Коготь, я прижал его к груди, а какое-то время подержал и во рту, и горячка вновь унялась, сменившись слабостью да мутью в голове.

Тем утром со мною пришел повидаться солдат. Одетый в белый халат, полученный от Пелерин взамен брони, выглядел он, однако ж, совершенно здоровым и сказал, что надеется выйти из лазарета уже на следующий день. Я ответил, что хотел бы представить его соседям по койкам, с которыми успел познакомиться, и спросил, не вспомнил ли он своего имени.

Солдат покачал головой:

— Мне вообще мало что удалось вспомнить. Одна надежда: вернувшись в строй, отыскать кого-нибудь из тех, кто меня знает.

Несмотря на это, соседям я его представил, а назвал Милесом, так как ничего лучшего придумать не смог. Имени асцианина я также не знал и обнаружил, что никто из остальных, даже Фойла,

не знает его тоже. Когда мы спросили, как его звать, он ответил всего лишь:

— Я — Верный Группе Семнадцати.

Какое-то время Фойла, Мелитон, солдат и я болтали промеж собой. Мелитону солдат пришелся весьма по душе, хотя, возможно, лишь из-за сходства выдуманного мною имени с его собственным. Затем солдат помог мне сесть, понизил голос и сказал:

— Ну а теперь мне нужно поговорить с тобой без лишних ушей. Как я уже сказал, утром меня, скорее всего, здесь уже не будет. А вот тебя, по всей видимости, не отпустят еще несколько дней, а то и пару недель. Возможно, больше мы не увидимся.

— Будем надеяться, дело обернется иначе.

— Вот и я на это надеюсь. Но если мне удастся разыскать свой легион, то к твоему выздоровлению меня вполне могут убить. А если не удастся, придется, наверное, пристать к другому, чтоб не арестовали как дезертира.

Тут он сделал паузу.

— А я вполне могу умереть здесь от горячки, — с улыбкой сказал я. — Только тебе не хочется об этом говорить. Неужто я выгляжу не лучше бедняги Мелитона?

Солдат покачал головой:

— Нет, нет, не настолько все скверно. Держись, не сдавайся, жив будешь…

— Как прочирикал дрозд, когда рысь гнала зайца вокруг лаврового дерева.

Тут и солдат, в свою очередь, заулыбался:

— Верно, именно так я и собирался сказать.

— А это, часом, не расхожая шутка в той части Содружества, откуда ты родом?

Улыбка солдата разом померкла.

— Не знаю. Где моя родина, я тоже не помню — отчасти поэтому мне и нужно с тобой поговорить. Помнится, мы шли по дороге ночью, а после пришли сюда, и это все, что сохранилось в памяти. Где ты меня нашел?

— В лесу. За пять, а может, за все десять лиг отсюда. Помнишь, что я по пути о Когте рассказывал?

Солдат покачал головой:

— Кажется, помню, как ты упоминал об этой штуке, но что говорил…

— А еще что ты помнишь? Рассказывай все, а я расскажу все, что сам знаю, и все, о чем смогу догадаться.

— Идем с тобой… Тьма вокруг без конца и без края… А я то ли падаю, то ли куда-то лечу

в темноте и вижу вроде бы собственное лицо, повторяющееся снова и снова, много-много раз. А еще девушку с огромными глазами и волосами будто красное золото.

— Красивую?

— Первую красавицу на весь мир, — кивнув, подтвердил солдат.

Я в полный голос спросил, нет ли у кого рядом зеркала. Зеркало нашлось у Фойлы, в мешке под койкой, а я поднес его к носу солдата:

— Лицо — то самое?

— Наверное, да, — не без колебаний ответил он.

— Ну хоть глаза те, синие?

— Даже не знаю…

Я вернул зеркальце Фойле.

— Ладно. Расскажу снова, о чем рассказывал по дороге — жаль только, место тут не самое подходящее. Некоторое время назад в мои руки попал один талисман. Вышло это не по моей воле, однако принадлежит он не мне и при том весьма ценен, а иногда — не всегда, но случается — может исцелять хворых и даже оживлять умерших. И вот два дня назад, по пути на север, я наткнулся на мертвого солдата. Было это в лесу, в стороне от дороги. Умер он меньше дня тому назад — на мой

взгляд, минувшей ночью. Я в то время был жутко голоден, а потому разрезал ремни его вещмешка и съел большую часть нашедшейся внутри провизии. А после, устыдившись, достал талисман и попробовал вернуть мертвого к жизни. До этого талисман частенько меня подводил, и на сей раз довольно долго казалось, будто я зря стараюсь, однако не тут-то было. Вот только к жизни солдат возвращался очень и очень медленно, а после еще долгое время не мог понять, где находится и что с ним стряслось.

— И этим солдатом был я?

Я кивнул, глядя прямо в его синие, ясные, без тени лукавства глаза.

— А поглядеть на твой талисман можно?

Я выложил Коготь на раскрытую ладонь. Солдат взял его, не без опаски осмотрел со всех сторон, попробовал острие пальцем.

— На вид — никакой магии, — заметил он.

— Знаешь, по-моему, «магия» — слово неподходящее. Встречался я с магами, но их проделки на действие Когтя не походили ничуть. Иногда он сам собой светится — вот и сейчас тоже, только слабо совсем; ты, думаю, даже не замечаешь.

— Верно, света не вижу. И никаких надписей на нем вроде бы нет.

— То есть молитв или заклинаний? Нет, надписей я на нем тоже ни разу не замечал, хотя носил с собой долго. На самом деле я о нем почти ничего не знаю. Знаю одно: случается, он действует… а еще думаю, что он из тех вещей, которым молитвы да заклинания ни к чему. Из тех, которые сами придают молитвам и заклинаниям силу.

— А еще ты сказал, что он тебе не принадлежит.

Я снова кивнул:

— Да, принадлежит он вот этим жрицам. Ордену Пелерин.

— Но ты же пришел сюда совсем недавно. Две ночи назад, как и я.

— Я пришел сюда, потому что искал их, а искал затем, чтобы вернуть его. Он был украден у них — не мной, разумеется, — довольно давно, в Нессе.

— И ты собираешься вернуть его?

Судя по выражению лица, солдату в это не слишком-то верилось.

— Да. Со временем.

Солдат поднялся и оправил халат.

— Вижу, ты мне не веришь? — спросил я. — Ни единому слову?

— Когда я пришел к тебе, ты познакомил меня с соседями, с которыми разговорился, пока лежал

здесь, — неспешно, словно бы взвешивая каждое слово, ответил он. — Ясное дело, я там, куда положили меня, тоже успел кое с кем познакомиться. Есть среди них один, не так уж серьезно раненный. Мальчишка еще, юнец из какого-то очень далекого отсюда поместья. Целыми днями сидит на койке, уткнувшись взглядом в пол.

— По дому тоскует? — догадался я.

Но солдат отрицательно покачал головой:

— У него было энергетическое оружие… Кто-то из соседей сказал — корсек. Ты с таким знаком?

— Не особенно.

— Корсеки одним лучом бьют вперед по прямой и в то же время еще двумя наискось, вправо и влево. Не так уж далеко, но, говорят, против массированных атак они очень хороши, и я в это вполне верю.

Умолкнув, он огляделся вокруг, не слушает ли кто нашей беседы, но в любом лазарете почитается делом чести не обращать никакого внимания на чужой разговор, иначе пациенты давным-давно перегрызлись бы меж собой насмерть.

— Вот его сотня под такую атаку и угодила. Большинство остальных дрогнули, побежали, но он остался на месте и позицию отстоял. Еще один человек рассказывал, что перед ним три стены

трупов оказалось навалено. Должно быть, косил асциан, когда те взбирались наверх и прыгали на него, а потом отходил немного и начинал заново.

— Так его, наверное, медалью наградили и в звании повысили, — сказал я.

Возможно, горячка взялась за меня с новыми силами, а может, просто день выдался жарким, однако все тело сделалось липким от пота, да и дышать отчего-то стало тяжеловато.

— Нет, его отправили сюда. Я же сказал: он всего-навсего деревенский мальчишка. И в тот день убил больше народу, чем когда-либо видел — пока месяца два назад не отправился на военную службу. И до сих пор никак от этого не отойдет, а может, вообще никогда не оправится.

— Вот оно как… А к чему это ты?

— Сдается мне, с тобой случилось нечто похожее.

— Не понимаю, — признался я.

— Ты говоришь, будто только что пришел сюда с юга — ну да, а что еще скажешь, если оставил свой легион? Однако любому с первого взгляда видно, что это неправда: где человека посечет, как тебя, если не в бою? Тебя посекло осколками камня, вот что с тобой стряслось, и Пелерина,

говорившая с нами той, первой ночью, заметила это сразу. Потому я и думаю: на севере ты пробыл куда как дольше. Возможно, дольше, чем думаешь сам. Наверное, тому, кто уложил кучу народа, отчего-то хочется верить, будто он в силах их оживить. Настолько хочется верить, что…

— Ну а с тобой тогда как же? — вымученно усмехнулся я.

— Вот так. Нет, я вовсе не говорю, что ничем тебе не обязан. Ты ведь в горячке меня отыскал. Возможно, в бреду, но скорее просто без сознания, отчего и принял за мертвого. Если б не привел сюда, там бы мне и конец.

С этим солдат оперся ладонью о койку, собираясь подняться, но я придержал его за плечо.

— Подожди. Прежде чем уйдешь, я должен кое-что рассказать. О тебе, — пояснил я.

— Но ты говорил, что не знаешь, кто я такой.

Я покачал головой:

— Нет, на самом деле такого я не говорил. Сказал я, что наткнулся на тебя в лесу два дня назад. Допустим, в том смысле, который имеешь в виду ты, мне вправду неизвестно, кто ты такой… однако в кое-каком другом смысле я вполне могу кое-что знать о тебе. По-моему, ты — два человека в одном теле, и один из этих двоих мне знаком.

— Два человека в одном теле? Такого уж точно не бывает.

— Бывает, и еще как — взять хоть меня самого. Возможно, таких куда больше, чем мы с тобой думаем. Однако первое, о чем я хотел рассказать, много проще. Слушай, не перебивай.

Далее я подробно объяснил ему, как отыскать ту самую рощицу, а убедившись, что объяснения он понял, продолжил:

— Твой вещмешок, вполне вероятно, все еще там, с перерезанными ремнями, так что, если найдешь нужное место, ни с чем другим его не перепутаешь. В мешке лежало письмо. Я его вынул и прочел какую-то часть. Имени той особы, которой оно адресовано, там не значилось, но если ты дописал его до конца и только ждал случая отправить, в конце должна быть подпись, твоя — возможно, даже полное имя. Письмо я отложил в сторону, на землю, а ветер отнес его к ближайшему дереву. Может статься, оно так до сих пор там и лежит.

Лицо солдата окаменело:

— Не стоило тебе ни читать его, ни выбрасывать.

— Я же думал, ты мертв, помнишь? Да и в голове столько смешалось всякого… может, горячка уже

началась — не знаю, точно сказать не могу. Ну а теперь о втором. Тут ты мне наверняка не поверишь, но выслушай до конца: возможно, тебе это очень и очень пригодится. Как, выслушаешь?

Солдат согласно кивнул.

— Вот и хорошо. Слышал ли ты о зеркалах Отца Инире? Знаешь ли, как они действуют?

— О зеркале Отца Инире слыхал, да, но где — хоть убей, не припомню. В него вроде как можно войти, будто в дверь. Войдешь и окажешься на далекой звезде. По-моему, сказки все это.

— Нет, зеркала вовсе не сказка, я собственными глазами их видел. И до сих пор думал, как ты — будто они наподобие корабля, только гораздо быстрее, однако теперь в этом совсем не уверен. Как бы там ни было, один мой друг встал среди них и исчез без следа. У меня на глазах. И дело не в фокусе либо в моих суевериях: он вправду отправился туда, куда зеркала переносят, а поступил так, потому что любил одну девушку, но сам… не был полностью целым человеком. Понимаешь?

— То есть его несчастный случай постиг?

— Скорее он сам этот случай устроил, однако дело совсем не в том. Он обещал вернуться. Так и сказал: «Я непременно вернусь за ней, как только отремонтируюсь. В здравом уме и в собственном

теле». Услышав это, я не знал, что и думать, но теперь вижу: он вправду вернулся. Это ведь я оживил тебя, а мне хотелось снова с ним повидаться, ну и… возможно, одно с другим как-то связано.

Солдат опустил взгляд к утоптанной земле, на которой рядами стояли койки, помолчал и вновь повернулся ко мне:

— Возможно, когда человек, потеряв друга, обзаводится новым, ему кажется, что старый друг снова с ним.

— Видишь ли, у Ионы — так его звали — имелась кое-какая привычка, характерная особенность речи. Вынужденный завести разговор о чем-либо неприятном, он всякий раз сводил дело к шутке, увязывал сказанное с какой-нибудь смешной ситуацией. В первую нашу ночь здесь, когда я спросил, помнишь ли ты свое имя, ты ответил: «Похоже, я потерял его где-то в пути… как сказал ягуар, вызвавшийся проводить до дому козла». Помнишь?

Солдат покачал головой:

— Я много всяких глупостей говорю.

— Меня это весьма удивило, потому что подобное мог бы сказать Иона, но только в том случае, если имеет в виду нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Иначе он бы, наверное, прибавил:

«Та же история вышла и с корзиной, в которую налили воду», — или еще что-то вроде.

Тут я умолк, ожидая ответа, однако солдат молчал.

— Ну, понимаешь, козла-то ягуар, разумеется, съел где-то в дороге. Мясо сожрал, кости разгрыз.

— А тебе не приходило в голову, что все это может оказаться попросту отличительной чертой уроженцев какого-нибудь городка? Твой друг ведь вполне мог родиться в одном со мной месте.

— По-моему, — возразил я, — дело не в месте — во времени. Некогда, давным-давно, кому-то пришлось задуматься, как избавить обычных людей, людей из плоти и крови, от возможного страха при виде лица из стекла и стали… Иона, я знаю, ты меня слышишь, и ни в чем тебя не виню. Человек тот был мертв, а ты — жив. Я все понимаю. Однако, Иона, Иоленты в живых больше нет. Иолента умерла у меня на глазах, и оживить ее с помощью Когтя я, как ни пробовал, не сумел. Возможно, в ней оказалось слишком много искусственного — не знаю, судить не берусь, но… одним словом, придется тебе подыскать другую возлюбленную.

Солдат поднялся. Огонь возмущения в его глазах угас, сменившись пустотой, свойственной

разве что сомнамбулам. Ни слова не говоря, он отвернулся и двинулся прочь.

Около стражи лежал я на койке, заложив руки за голову и размышляя о множестве самых разных вещей. Гальвард и Мелитон с Фойлой о чем-то разговаривали между собой, но к их разговорам я не прислушивался. В полдень, когда одна из Пелерин принесла нам обед, Мелитон, привлекая мое внимание, постучал о край миски вилкой и объявил:

— Севериан, будь любезен, окажи нам услугу.

Отвлечься от раздумий да предположений я был только рад и ответил, что готов помочь всем, чем сумею.

Обладательница особой лучезарной улыбки, дарованной некоторым девушкам от Природы, Фойла одарила ею меня.

— Дело вот в чем. Эти двое все утро грызутся из-за меня. Будь оба здоровы, решили бы спор поединком, но до выздоровления им еще далеко, а я так долго, пожалуй, не выдержу. И вот сегодня мне вспомнилось, как мать с отцом коротали долгие зимние вечера, сидя у очага. «Если я выйду замуж за Гальварда или за Мелитона, когда-нибудь нам тоже придется точно так же коротать вечера», — подумала я и решила выбрать в мужья

того, кто окажется лучшим рассказчиком. И не смотри на меня, будто на сумасшедшую: это единственное благоразумное решение, пришедшее мне в голову за всю жизнь. Оба они хотят взять меня в жены, оба очень собой недурны, у обоих — ни кола ни двора, и если мы не достигнем согласия, они, чего доброго, поубивают друг друга… или я сама обоих их придушу. Ты человек образованный, это по разговору видно, а значит, кому, как не тебе, послушать и рассудить? Гальварду выпало рассказывать первым, и истории чтоб были собственные, а не из книг.

Сохранявший кое-какую способность ходить, Гальвард поднялся с койки, подошел ближе и уселся в ногах у Мелитона.

VII. Рассказ Гальварда. История о двух зверобоях

— Случилось это на самом деле. Историй я помню много. Часть их — явные выдумки, хотя и могли, наверное, произойти на самом деле в какие-нибудь давние, всеми забытые времена. Однако историй правдивых мне тоже известно немало, потому как у нас, на южных островах, нередко случается такое, что вам, северянам, даже во сне не приснится. Эту я выбрал, поскольку сам к ней имею касательство, и видел, и слышал не меньше любого другого.

Родом я с самого восточного из гряды южных островов, а называется он Гляциэс. Так вот, жили на нашем острове муж с женой, мои дед да бабка, и было у них три сына — Анскар, Гальвард и Гундульф. Гальвард и был мне отцом. Когда я подрос настолько, чтоб помогать ему, он больше уж не рыбачил и не охотился с братьями, а стали мы ходить в море вдвоем, чтоб привозить все добытое домой — матери, сестрам и младшему брату.

Ну а дядья мои остались холостяками и потому делили лодку на двоих. Все, что ни наловят, съе-

дали сами либо отдавали деду с бабкой, изрядно уже одряхлевшим, а в летнее время возделывали дедову землю. Угодья деду принадлежали лучшие на всем острове — в единственной долине, куда никогда не задували студеные ветры, и росло там такое, что на Гляциэсе обычно не вызревало, потому как урожайный сезон в той долине продолжался на две недели дольше.

Когда у меня начала проклевываться борода, дед созвал к себе всех мужчин нашей фамилии — то бишь отца, дядьев и меня. Пришли мы в его дом и увидели, что бабка мертва и жрец с большого острова уже здесь, готовится захоронить ее тело. Сыновья ее заплакали, я тоже не сдержал слез.

В тот вечер сели мы за дедов стол — сам он на одном конце, жрец на другом, — и сказал нам дед так:

— Настала, — говорит, — пора распорядиться всем, мною нажитым. Бе́га оставила нас. Родные ее на мое имущество прав больше не имеют, а сам я вскоре уйду за ней вслед. Гальвард женат, у него есть принесенное женою приданое, и семью свою всем нужным он обеспечивает. Верно, лишнего у них нет, однако никто в его доме не остается голодным. А вот ты, Анскар, и ты, Гундульф… вы жениться намерены?

Дядья дружно покачали головами.

— Тогда, — говорит дед, — вот вам моя воля. Да будет сему свидетелем и Всемогущий, и служитель Его. Когда умру я, пусть все, мною нажитое, отойдет Анскару с Гундульфом. Если из них кто умрет, все остается второму. Когда же оба умрут, им пусть наследует Гальвард, а если Гальварда постигнет смерть, наследство разделят между собой его сыновья. Теперь скажите: есть ли средь вас четверых полагающие, будто распорядился я не по совести?

Никто из нас не сказал ни слова, а посему тем дело и кончилось.

Миновал год. Раз из-за синих туманов явился с разбойным набегом один из кораблей Эреба, дважды к берегам острова приставали купцы, промышляющие скупкой шкур, моржовой кости и соленой рыбы. Дед за этот год умер, а у сестры моей, Фаусты, родилась дочь. После сбора урожая дядья вместе с прочими отправились на рыбный промысел.

С приходом весны у нас, на юге, сеяться рановато, потому как до лета еще немало студеных ночей. Однако увидев, что дни быстро прибавляют в длине, наши зверобои отправляются на поиски лежбищ, где плодятся котики. Лежбища

они выбирают на скалах, вдали от любых берегов; туманов там множество, а дни, хоть и становятся все длинней, в ту пору еще коротки. Нередко случается так, что гибнут не котики, а зверобои.

Так и случилось с моим дядюшкой Анскаром: дядюшка Гундульф вернулся на остров в их лодке один.

Тут вам нужно знать вот что: уходя в море — бить котиков, ловить рыбу, охотиться на иную морскую дичь, — наши зверобои привязывают себя к лодкам. Спасательный канат сплетен из полосок моржовой кожи и достаточно длинен, чтоб зверобой мог передвигаться вдоль лодки, от носа к корме, насколько потребуется, но не длиннее. Морская вода холодна и вскоре погубит всякого, кто в ней окажется, однако наши промышленники одеты в непромокаемые тюленьи шкуры, а потому упавшего за борт нередко успевают вытащить и тем спасти его жизнь.

Но дядюшка Гундульф рассказал вот что. Ушли они далеко, искать лежбище, никем еще не потревоженное, и тут Анскар увидел плывущего рядом, в волнах, котика, самца. Метнул он гарпун, котик нырнул в глубину, а линь гарпуна захлестнул Анскара за лодыжку и уволок в море. Он, Гундульф, бросился вытаскивать брата и вытащил

бы, потому как человеком был исключительной силы. Рванул он к себе спасательный канат, а котик рванул к себе линь гарпуна, привязанный к основанию мачты, и лодка их опрокинулась, но Гундульфу удалось спастись, добравшись до нее при помощи спасательного каната, а гарпунный линь перерезав ножом. Выровняв лодку, он принялся вытаскивать Анскара, но спасательный канат не выдержал, лопнул (и вправду, все мы видели перетертый обрывок каната). Так и погиб мой дядюшка Анскар.

У нас, на островах, женщины испокон веку встречают смерть на берегу, а мужчины в море — оттого-то могилы, устроенные по вашим обычаям, и называются бабьими лодками. Когда же кто-то из зверобоев гибнет на промысле, как дядюшка Анскар, в его честь расписывают растянутую на раме из жердей шкуру котика, вешают ее на стену дома, где мужчины собираются для общего разговора, и не снимают, пока хоть один из живущих помнит, кто на ней изображен. Такую же шкуру приготовили для дядюшки Анскара, и рисовальщики взялись за работу.

Но вот однажды, ясным, солнечным утром, когда мы с отцом готовились к вспашке земли под посевы — и это утро я не забуду до самой

смерти, — в деревню со всех ног примчалась детвора, отправленная собирать птичьи яйца. Прибежали детишки и говорят: там, дескать, на галечном берегу южной бухты, котик лежит! Как всем известно, к суше, где живут люди, котики даже близко не подплывают, но иногда волны выносят на берег зверя, умершего в море либо серьезно раненного. Помня об этом, и мы с отцом, и многие другие поспешили к южному берегу — ведь котик-то достанется тому, кто первым вонзит в него оружие.

Я оказался проворнее всех, но с собой успел прихватить только вилы. Вил, разумеется, как следует не метнешь, однако за мной по пятам бежало еще с полдюжины наших парней, и, подбежав к котику этак на сотню маховых шагов, швырнул я их в цель. Бросок оказался верен, острия вил вонзились глубоко в спину зверя… а вот подобного тому, что произошло дальше, я всей душой надеюсь не увидеть до самой смерти. Увлекаемый собственной тяжестью, длинный черенок вил упал на землю, перевернул тушу на бок, и…

Тут я и узнал в «котике» мертвого дядюшку Анскара. Ледяные соленые воды уберегли его лицо от тления, в бороде запутались темно-зеленые

стебли морской травы, а спасательный канат, свитый из прочной кожи моржа, был перерезан ножом всего в двух-трех пядях от тела.

Дядюшка Гундульф ничего этого не видел, потому как в тот самый день отлучился на большой остров по делам. Мой отец поднял дядюшку Анскара, я пришел ему на подмогу; вдвоем отнесли мы тело в дом Гундульфа, конец каната пристроили на груди, чтоб Гундульф сразу его увидел, и еще с несколькими из наших гляциэсских зверобоев уселись дожидаться хозяина.

При виде брата он закричал во весь голос, однако то был не горестный вопль вроде женского — скорее уж рев, каким вожак стаи котиков отгоняет от самок других самцов. С криком умчался он в темноту, а мы приставили к лодкам караульных и до самого утра охотились за ним по всему острову. В небе всю ночь полыхали огни, зажигаемые духами крайнего юга, и мы знали: вместе с нами за ним охотится Анскар. Ярче всего огни засияли перед тем, как погаснуть, — в тот самый миг, когда мы настигли беглеца среди скал, на Рэдбодс Энд.

Гальвард умолк. Повсюду вокруг тоже царила мертвая тишина: пациенты, лежавшие неподалеку, во все уши слушали его рассказ.

— И что же вы? Покончили с ним? — спросил, наконец, Мелитон, и Гальвард продолжил рассказ:

— В дни старины — да, казнили бы смертью, но нынче так не годится. Нынче виновного в кровопролитии по закону карают власти с материка, и этот обычай гораздо лучше. Мы просто связали его по рукам и ногам да домой отнесли, а я оставался при нем, пока зверобои из старших готовили лодки. Там он рассказал мне, что полюбил одну женщину с большого острова. Сам я ее никогда в жизни не видел, но, по словам дядюшки, звалась она Неннок, была на редкость красива собой и, опять же, моложе него, но брать ее в жены никто не желал, потому как при ней имелся ребенок, рожденный от зверобоя, погибшего прошлой зимой. На промысле, в лодке, он сказал Анскару, что приведет Неннок в свой дом, а Анскар назвал его клятвопреступником. Дядюшка Гундульф был на редкость силен. Схватил он Анскара, за борт швырнул, а спасательный канат его, намотав на ладони, разорвал руками, как женщины за шитьем рвут нити.

Тогда Гундульф, по собственным же словам, по-мужски оперся рукою о мачту, глядя, как брат барахтается в волнах. Как сверкнул нож, он тоже

заметил, но решил, будто Анскар всего лишь грозит ему напоследок, а может, хочет метнуть в него нож…

На этом Гальвард снова умолк, и я, видя, что продолжать он не собирается, нарушил молчание:

— Я, однако ж, не понял, при чем тут нож. Что Анскар такого сделал?

Губы под пышными, светлыми усами Гальварда дрогнули, складываясь в легкую, едва различимую глазом улыбку. От этой улыбки повеяло жгучим холодом южных морей, намертво скованных студеными синими льдами.

— Обрезал спасательный канат, разорванный Гундульфом. И таким образом дал знать тем, кто найдет его тело, что был злодейски убит. Понимаешь?

Тут я все понял и на долгое время умолк.

— Вот так-то, — проворчал Мелитон, повернувшись к Фойле, — земли чудесной долины и отошли отцу Гальварда, а Гальвард, рассказав обо всем этом, умудрился поведать тебе, что, хоть сейчас неимущ, со временем рассчитывает на наследство. А заодно, конечно, признался, что происходит из семьи душегубов.

— Мелитон полагает меня куда хитрей, чем я

есть, — пророкотал светловолосый южанин. — Нет, у меня ничего подобного и в мыслях не было. Сейчас суть не в земле, не в шкурах, не в золоте, а в том, чья история окажется лучше. И я, знающий их целую уйму, рассказал лучшую из мне известных. Верно, доля фамильного имущества мне, как он и говорит, со смертью отца отойдет… однако мои незамужние сестры тоже получат долю, на приданое, а уж то, что останется, разделим мы с братом. Но все это пустяки, пустяки, потому как на юг, к нашей нелегкой жизни, я Фойлу не поведу. Таская на плече пику, я повидал множество мест куда лучше.

— Должно быть, твой дядюшка Гундульф крепко любил Неннок, — заметила Фойла.

— Да, — кивнул в ответ Гальвард, — он мне так и сказал, пока лежал связанный. Но у нас, на юге, все мужья жен любят крепко. Ради кого, если не ради них, наши зверобои идут зимой на морской промысел, навстречу штормам и студеным туманам? Говорят, когда зверобой вытаскивает лодку на галечный берег, дно ее, скрежеща о камни, приговаривает: «Жена… детишки… жена… детишки…»

Я спросил Мелитона, не хочет ли он начать свой рассказ, но он покачал головой и ответил: нет,

сейчас все только об истории Гальварда и думают, так что лучше ему подождать с рассказом до завтра. Тогда все принялись расспрашивать Гальварда о жизни на юге и сравнивать услышанное с житьем в родных краях. Один только асцианин упорно молчал. Я, вспомнив плавучие острова на озере Диутурна, рассказал о них Гальварду и остальным (умолчал только о сражении в замке Бальдандерса). За всеми этими разговорами мы даже не заметили, как пришло время ужинать.

VIII. Пелерина

Когда мы покончили с ужином, вокруг начинало смеркаться. В такое время у нас всякий раз становилось спокойнее, тише, и не только потому, что все мы изрядно устали. Каждый здесь, в лазарете, помнил: лежащие при смерти раненые куда чаще расстаются с жизнью после захода солнца, а особенно — посреди ночи, так как именно глубокой ночью отгремевшие битвы являются собирать долги.

Однако ночь напоминала о войне и иными способами. Порой — а той ночью они запомнились мне особенно ярко — разряды тяжелой энергетической артиллерии полыхали в небе, словно жаркие молнии. Вдобавок до нас доносились шаги часовых, расходящихся по постам, отчего слово «стража», столь часто означающее в наших устах не более чем десятую часть ночи, приобретает особый смысл, становится необычайно веским, подкрепленное чеканным грохотом сапог и неразборчивыми командами.

В такую пору все надолго умолкают, и продолжительное затишье нарушает лишь негромкая речь здоровых — Пелерин и их рабов-мужчин,

приходящих справиться о самочувствии то одного, то другого из пациентов. Одна из облаченных в алое жриц подошла и ко мне, села у моей койки, а я, полусонный, утративший остроту разума, даже не сразу сообразил, что табурет ей пришлось принести с собой.

— Ты — Севериан, друг Милеса? — спросила она.

— Да, так и есть.

— Он вспомнил свое имя, и я подумала, что ты будешь рад этой новости.

Я спросил, как же его зовут.

— Что значит «как»? Милес, конечно же, — я ведь сказала.

— Думаю, со временем он вспомнит не только это.

Пелерина кивнула. На вид она казалась довольно пожилой; взгляд ее был исполнен аскетической строгости и в то же время недюжинного добросердечия.

— Конечно, вспомнит, не сомневаюсь. И дом, и родных.

— Если они у него имеются.

— Да, круглых сирот на свете немало. А некоторым даже подыскать себе дом не под силу.

— Это ты обо мне?

— Нет, вовсе нет. И, как бы там ни было, сего недостатка человеку не преодолеть. Однако иметь дом гораздо лучше для всякого — особенно для мужчины. Чаще всего мужчины, подобно тому человеку, о котором рассказывал твой друг, думают, будто строят дома для семьи, но на самом деле и дом, и семью заводят лишь для самих себя.

— Значит, ты тоже слушала Гальварда?

— Да, и не я одна. Замечательную историю он рассказал. Одна из сестер привела меня как раз на том месте, когда его дед распоряжался нажитым имуществом, а остальное я выслушала до конца. Знаешь, в чем заключалась беда преступного дядюшки, Гундульфа?

— Наверное, в том, что влюбился.

— Ну нет, это-то не беда! Видишь ли, всякий человек подобен растению. Одна его половина прекрасна, зелена, нередко цветет, плодоносит, тянется к солнцу, к Предвечному. Другая же половина, напротив, стремится от солнца прочь, зарывается глубоко в землю, куда свет никогда не проникнет…

— Конечно, с писаниями ваших адептов я незнаком, — заметил я, — но о сосуществовании добра и зла в сердце каждого известно даже мне.

— Разве я хоть словом упомянула о добре и зле? Именно корни придают растению силы, чтобы тянуться к солнцу, хотя сами о том даже не подозревают. Или, допустим, чья-то коса, со свистом пройдясь по земле, отсечет стебелек от корней. Да, стебелек упадет и погибнет, однако корни могут породить новый.

— А сейчас ты говоришь, что зло есть добро.

— Нет. Я говорю, что черты натуры, которые ценим мы в окружающих, которыми восхищаемся в самих себе, растут из иных ее черт — из тех, которых мы не видим, а посему крайне редко о них задумываемся. Гундульфом, как и всеми мужчинами на свете, двигал инстинкт, называемый волей к власти. Обычно он проявляется в создании семьи — схожий инстинкт имеется также у женщин. У Гундульфа же этот инстинкт долгое время оставался подавленным, неудовлетворенным, как и у многих солдат здесь, вокруг нас. Если у офицеров есть подчиненные, то солдаты — им-то командовать некем — страдают, терзаются, сами не ведая отчего. Разумеется, многих из них что-либо с кем-либо связывает и на службе. Порой полдюжины человек делят меж собой одну женщину или мужчину, подобного женщине. Другие заводят ручных зверей, третьи

— друзей из числа детей, оставленных войной без опеки и крова…

— Да, — рассудил я, вспомнив сынишку Касдо, — пожалуй, я понимаю, отчего вы порицаете подобные вещи.

— О нет, мы вовсе не порицаем — ни этого, ни даже вещей куда более противоестественных. Я веду речь лишь об инстинкте власти. Преступного дядюшку инстинкт сей побудил полюбить женщину, причем не какую-нибудь, но женщину, уже имеющую ребенка, дабы его семья, стоит им стать семьей, вмиг увеличилась даже не вдвое, а втрое. Таким образом, он наверстывал часть упущенного времени, понимаешь?

Тут Пелерина сделала паузу, и я кивнул.

— Увы, времени он упустил непозволительно много. Инстинкт власти нашел иную лазейку, заставив Гундульфа счесть себя полноправным, полновластным хозяином земельных угодий, которыми он владел всего лишь на паях с братом, а заодно и хозяином чужой жизни. Коварная иллюзия, не так ли?

— Пожалуй, да.

— Вот и другими вполне могут овладевать иллюзии не менее коварные, хотя и не настолько опасные, — с улыбкой подытожила Пелерина. —

Скажи, не считаешь ли ты себя наделенным некоей особой властью?

— Я — подмастерье Ордена Взыскующих Истины и Покаяния, но никакой власти это звание не подразумевает. Мы, члены гильдии, — всего лишь исполнители воли судей.

— Но я полагала, что гильдия палачей давным-давно упразднена и более не существует. Выходит, она превратилась в некое подобие братства ликторов?

— Нет, гильдия существует поныне, — ответил я.

— Несомненно, однако сотни лет назад она была настоящей гильдией, вроде гильдии серебряных дел мастеров. По крайней мере, так говорится в ряде исторических хроник, сохранившихся в библиотеке нашего Ордена.

Услышав это, я замер, охваченный буйным восторгом. Нет, хоть в чем-либо правой я собеседницу не считал. Возможно, в некоторых отношениях я и безумен, однако с этой стороны знаю себя прекрасно, и склонности к столь явному самообману среди моих ненормальностей вовсе не числится. Однако же очутиться — пусть ненадолго, на миг, — в мире, где возможны такие вот убеждения… о, это казалось подлинным

чудом!

Только сейчас, в этот самый момент, я впервые за всю свою жизнь осознал, что в границах Содружества живут миллионы людей, ни сном ни духом не ведающих ни о высших мерах наказания, применяемых нашими судьями, ни о многослойных хитросплетениях интриг вокруг трона Автарха, и вызванный сим восторг пьянил не хуже вина — нет, даже не хуже бренди, — исполнив сердце небывалой, кружащей голову радости.

— Но, может быть, ты считаешь, что наделен какой-либо другой властью особого рода? — ничего этого не заметив, спросила Пелерина.

Я отрицательно покачал головой.

— А вот Милес говорит, что ты уверен, будто владеешь Когтем Миротворца, и даже показывал ему небольшой черный коготь наподобие когтя оцелота или каракары, с помощью коего якобы вернул к жизни множество умерших.

Вот оно… вот с Когтем и пришло время расстаться. С тех самых пор, как мы добрались до лазарета, я ни на миг не забывал, что вскоре должен буду вернуть его, однако надеялся потянуть с этим до выздоровления. В последний, как полагал, раз вынув Коготь из мешка с пожитками, я вложил

его в ладонь Пелерины и сказал:

— С его помощью ты спасешь от смерти многих и многих. Не думай, я его не украл и все это время стремился вернуть вашему Ордену.

— А между делом, — мягко переспросила она, — оживил им немало мертвых?

— Без него я сам был бы мертв уже многие месяцы, — ответил я и начал рассказ о поединке с Агилом.

— Подожди. Оставь его при себе, — прервала меня Пелерина, возвращая мне Коготь. — Как видишь, я уже немолода. На будущий год отпраздную тридцатую годовщину полноправного членства в Ордене. И в день каждого из пяти величайших праздников года, вплоть до минувшей весны, своими глазами видела Коготь Миротворца, выставляемый на видное место для всеобщего обозрения и преклонения. То был небывало огромный сапфир, не меньше орихалька в поперечнике. Должно быть, стоил он дороже множества вилл… несомненно, по этой самой причине воры его и похитили.

Я раскрыл было рот, но Пелерина жестом велела мне помолчать.

— Что до чудесных исцелений и даже возвращения к жизни умерших… как ты думаешь,

нашлась бы в рядах нашего ордена хоть одна хворая, будь это правдой? Нас мало, безнадежно мало для той работы, которую нам необходимо проделать, но если б ни одна из нас не ушла из жизни до прошлой весны, сестер-Пелерин было бы гораздо больше. Многие из тех, кого я любила всем сердцем, мои наставницы и подруги, все еще пребывали бы среди живых. Люди невежественные жаждут чудес настолько, что ради чуда готовы слизывать да глотать пыль с башмаков какого-нибудь эпопта. Если он, как все мы надеемся, еще существует, а не распилен на несколько самоцветов помельче, то Коготь Миротворца — последнее, что осталось нам от величайшего из добрых людей, и дорожим мы сей реликвией, потому что поныне дорожим его памятью. Обладай Коготь теми свойствами, какие ты ему приписываешь, он был бы драгоценен для каждого… и давным-давно отнят у нас автархами.

— Но это же тот самый Коготь… — начал я.

— То был всего лишь изъян, трещина в сердце самоцвета. Вспомни, ликтор Севериан: Миротворец был человеком, а не котом и не птицей.

С этим она поднялась на ноги.

— Понимаешь, самоцвет раскололся о камни, когда великан швырнул его вниз, за стену

замка…

— Я надеялась успокоить тебя, но вижу, что только сильней взволновала. — Неожиданно улыбнувшись, Пелерина склонилась над моей койкой и поцеловала меня в щеку. — Здесь, в лазарете, нам что ни день приходится сталкиваться с людьми, свято верящими в вещи несуществующие, и чаще всего их вера, в отличие от твоей, отнюдь не делает им чести. Мы непременно продолжим этот разговор в более подходящее время.

Я провожал ее взглядом, пока она, хрупкая, облаченная в алое, не скрылась во мраке и безмолвии среди длинных рядов коек. Пока мы разговаривали, большинство хворых и раненых успели уснуть. Кто-то негромко стонал. Вскоре поблизости появились трое рабов: двое несли на носилках раненого, а третий освещал им путь лампой. Покрытые бисером пота, их бритые головы поблескивали в отсветах пламени. Уложив раненого на койку, а руки и ноги его пристроив так, точно он мертв, рабы удалились.

Я снова взглянул на Коготь. Пока его рассматривала Пелерина, он оставался безжизненно черен, но теперь к его острию от основания бежали одна за другой неяркие искорки белого пламени. Чувствовал я себя превосходно — даже удивился,

как сумел вылежать целый день на узком матрасе, однако, попробовав встать, обнаружил, что едва держусь на ногах. Опасаясь в любой момент рухнуть на кого-нибудь из раненых, я кое-как проковылял около двух десятков шагов и остановился возле только что принесенного новичка.

То был Эмилиан, придворный щеголь, знакомый мне со времен житья в Обители Абсолюта. В изумлении от этакой встречи я, не сдержавшись, окликнул его по имени.

— Текла? — пробормотал он в ответ. — Текла…

— Да, Текла. Помнишь меня, Эмилиан? Что ж, поправляйся, — сказал я и коснулся его Когтем.

Эмилиан открыл глаза… и пронзительно завопил.

Я бросился прочь, но на полпути к своей койке упал. Ослабшему, мне вряд ли удалось бы проползти оставшееся расстояние, однако убрать Коготь, откатиться под койку Гальварда и спрятаться я успел.

К возвращению рабов Эмилиан сумел сесть и даже заговорил — хотя втолковать рабам, в чем дело, по-моему, так и не смог. Рабы дали ему каких-то трав, и, пока он жевал, один из троицы оставался при нем, а после бесшумно ушел вслед за двумя другими.

Тогда я выбрался из-под койки, оперся на ее край и с трудом поднялся.

Вокруг вновь воцарился покой, но я понимал: многие из раненых наверняка разглядели меня до падения. Эмилиан, вопреки моим ожиданиям, не заснул, однако с виду казался изрядно растерянным.

— Текла, — снова пробормотал он. — Я слышал Теклу, но ведь она, мне говорили, мертва… Чьи же еще голоса доносятся сюда из земель мертвых?

— Ничьи. С голосами покончено, — заверил его я. — Ты прихворнул, но вскоре будешь здоров как бык.

Подняв Коготь над головой, я мысленно сосредоточился и на Эмилиане, и на Мелитоне с Фойлой — на всех, лежащих вокруг. Коготь моргнул и угас.

IX. Рассказ Мелитона. История о петухе, ангеле и орле

— Когда-то, не так уж давно и, кстати, не слишком далеко от моих родных мест, была на свете прекрасная ферма. Особенно она славилась всякой домашней птицей — множеством белоснежных уток, стадами гусей величиной почти с лебедя, да таких жирных, что едва-едва ходят, и курами, разноцветными, как попугаи. Крестьянин, устроивший эту ферму, с ведением хозяйства постоянно чудил: то одна блажь ему придет в голову то другая, то третья, — однако ж дела у него при всех этих чудачествах шли настолько лучше, чем у соседей, хозяйствовавших по уму, по старинке, лишнего не мудря, что немногим хватало смелости называть его дураком.

Одна из его причуд касалась разведения кур. Казалось бы, всякому известно: цыплят-петушков надобно холостить — в курятнике ведь только один петух требуется, а двое драться между собой станут.

Но этот крестьянин решил, что лишние хлопоты ему ни к чему.

— Пускай, — объясняет, — растут. Пускай дерутся, и вот что я тебе, сосед, по секрету скажу. Победа останется за лучшим, за самым прытким из петухов. Ему-то и топтать наших курочек, ему-то и увеличивать поголовье! Мало этого, его потомство выносливым будет на удивление, никакие хвори его цыплят не возьмут — вот выкосит твоих кур зараза какая-нибудь, приходи ко мне, так и быть, продам дюжину на развод, но уж цену назначу сам. Что до побитых петухов, их мы с домашними съедим за милую душу. Убитый в драке петух нежнее всякого каплуна: известно же, что самый сочный бифштекс получается из быка, погибшего на арене, а лучшее жаркое — из оленя, целый день удиравшего по лесу от гончих. А кроме того, мясо каплунов подтачивает мужскую силу.

Еще этот странный крестьянин почитал долгом отбирать для ужина худшую птицу во всем курятнике.

— Грешно это, — объяснял, — лучших себе забирать. Лучшие пусть живут, хорошеют, радуют взор Вседержителя, творца всего сущего — и мужчин, и женщин, и петухов да несушек.

Может быть, из-за подобных-то взглядов на жизнь его птицы и удавались такими, что худ-

ших в курятнике еще поди поищи.

Из всего, что я рассказал, вам наверняка уже ясно: петух у него был — просто загляденье. Молод, силен, отважен, с роскошным, пышным, точно фазаний, хвостом, да и гребень выглядел бы ничуть не хуже, кабы его не располосовали на ленты во множестве отчаянных схваток — без них, сами понимаете, высокого положения не завоевать. Грудь его была огненно-алой, совсем как одежды всех этих Пелерин, однако среди гусей ходили упорные слухи, будто когда-то, не обагренные его собственной кровью, перья ее сверкали ослепительной белизной. Обладавший также исключительно сильными крыльями, летал тот петух лучше всякой из белых уток, шпоры его не уступали длиной среднему пальцу взрослого человека, а уж клюв был остр, как острие моей шпаги.

Имелась у этого превосходного петуха целая тысяча жен, но больше всех остальных пришлась ему по сердцу несушка благородных кровей, прекрасная под стать ему самому, общепризнанная королева всех кур на многие лиги вокруг. Как гордо расхаживали они меж углом амбара и гладью утиного пруда! Ничего прекраснее увидеть и не надейтесь, нет, попадись вам на глаза хоть

сам Автарх, разгуливающий с фавориткой по Кладезю Орхидей — тем более что Автарх наш, как я слышал, из каплунов.

Одним словом, вся жизнь была для этой счастливой пары лишь жирными червячками на завтрак, но вот однажды, посреди ночи, петуха разбудил ужасный переполох. Открыл он глаза и видит: огромный ушастый филин, невесть как пробравшийся в курятник, неторопливо прохаживается вдоль шестков с рассевшимся несушками, будто выбирая на ужин самую аппетитную. Конечно же, схватил он не кого-нибудь — любимую несушку нашего петуха и с нею в когтях расправил во всю ширину огромные крылья, собравшись беззвучно улететь прочь, но… В темноте совы да филины видят просто чудесно, и потому филин наверняка разглядел петуха, летящего на него, будто пернатая фурия. Кто хоть раз в жизни видел изумление на морде филина? Никто? Это вас там, в курятнике, той ночью не было! Шпоры петуха замелькали в воздухе проворнее башмачков танцовщицы, нацеленный прямо в круглые, блестящие глаза филина клюв заработал с той же быстротой, с какой дятел долбит ствол дерева. Бросил филин несушку, стремглав вылетел из курятника, и больше его даже близко

к той ферме не видели.

Несомненно, петух имел полное право гордиться собой, но тут возгордился сверх меры. Победив филина среди темной ночи, решил, что ему по силам одолеть всякую птицу — когда угодно и где угодно. Начал поговаривать и о спасении жертв ястребов, и даже о наведении страха на тераторнисов, самых больших, самых грозных из летающих птиц. Окружи он себя мудрыми советниками, особенно ламой и свинкой, теми, кому доверяют ведение дел многие принцы, уверен, его причудам в скором времени, со всею любезностью, но наверняка положили бы конец. Увы, петух этого не сделал. Слушал он только несушек, поголовно ослепленных его великолепием, да гусей с утками, полагавших, что некоторая толика его славы, благодаря соседству по птичьему двору, достается и им. И вот в один прекрасный день петух наш, как всегда происходит с теми, кого обуяла гордыня, зашел слишком далеко.

Произошло все на рассвете, в час, испокон веку самый опасный для сумасбродств. Помчался петух ввысь — выше и выше, того и гляди пронзит насквозь небосвод — и, наконец, в апогее полета, уселся на флюгер, венчавший конек крыши курятника. Оттуда, с самого высокого места на

всем птичьем дворе, он, едва алые с золотом плети солнца разогнали прочь сумрак, принялся кричать на весь свет, объявляя себя повелителем всех пернатых созданий. Семь раз прокричал он о том и вполне мог бы остаться безнаказанным, так как семь — число счастливое… однако петух этим не удовольствовался. В восьмой раз прокричал он свою похвальбу и только после спорхнул вниз.

Не успел он опуститься на землю среди прочих птиц, как высоко в небе, прямо над птичьим двором, началось нечто доселе невиданное и неслыханное. Казалось, сотня лучей солнца перепутались меж собой, будто пряжа в лапах котенка, смешались, срослись друг с дружкой, точно тесто, разминаемое кухаркой в квашне. Отрастившее ноги, руки и голову и, наконец, крылья, чудесное зарево обернулось ангелом и круто спустилось вниз, прямо на птичий двор. Крылья ангела сверкали багрянцем и синью, изумрудом и золотом, и хотя величиной он не превосходил петуха, повелитель курятника, едва взглянув в глаза ангела, понял: изнутри тот намного, намного больше него.

— Ну а теперь, — заговорил ангел, — слушай свой приговор. Ты похваляешься, будто ни одному из пернатых созданий перед тобою не выстоять.

Что ж, я — создание очевидно пернатое, непобедимого воинства света во всеоружии с собой не привел и готов выйти против тебя один на один.

На это петух широко развел крыльями, поклонился так низко, что испачкал излохмаченный гребень в пыли, и сказал:

— Удостоенный вызова, какого прежде не получала ни одна из птиц, я буду горд этим до конца дней своих, но, к глубочайшему моему сожалению, принять его не могу. Отчего? Тому есть три причины. Первая из таковых состоит в том, что, хоть крылья твои в самом деле оперены, в схватке мне предстоит бить не по крыльям, а в грудь и в голову. Таким образом, применительно к поединку пернатым созданием тебя счесть нельзя.

Закрыл тогда ангел глаза, провел руками вдоль тела, а когда опустил их, волосы на его темени сделались перьями ярче оперения прекраснейшей из канареек, а полотно его одеяний — перьями ослепительней оперения белоснежнейшего из голубей.

— Вторая из таковых, — ничуть не смутившись, продолжил петух, — заключается в том, что, со всей очевидностью обладающий способностью к превращениям, во время нашего боя ты можешь принять обличье какое-либо создания, не наде-

ленного перьями, — к примеру, большой змеи. Таким образом, я, выходя с тобою на бой, не имею уверенности в его честности.

Тогда ангел, рывком распахнув собственную же грудь, показал собравшимся птицам все способности, таящиеся внутри, вынул способность менять облик и отдал ее на хранение до конца состязания жирнейшему из гусей. Гусь сразу же обернулся диким серым гусем из тех, что летают от полюса к полюсу, однако никуда не улетел и способность ангела сберег честь по чести.

— Третья же из таковых, — в отчаянии продолжил петух, — заключается в том, что ты — явно немалого ранга чиновник на службе у Вседержителя и, правя суд надо мной, исполняешь служебный долг. Следовательно, выйдя с тобою на бой, как ты просишь, я совершу тяжкое преступление против единственного повелителя, чью власть признают над собою отважные петухи.

— Что ж, хорошо, — сказал ангел. — С точки зрения крючкотворства к тебе не придраться, и ты, надо полагать, уже думаешь, будто одержал победу без боя. На деле же ты, затеяв со мною спор, сам вымостил себе путь к гибели. Я, правду сказать, собирался всего-навсего слегка загнуть

тебе крылья назад да перья из хвоста повыщипать, но теперь…

Запрокинув голову, ангел испустил дикий, пронзительный клич. В ответ с неба тут же стремительно, молнией, пал, приземлился посреди птичьего двора орел.

Бились они и вокруг курятника, и возле утиного пруда, и выгон истоптали от края до края — ведь орел был очень силен, а петух проворен и храбр. Возле курятника, прислоненная к стенке, стояла телега со сломанным колесом. Под нею, там, где орлу не налететь на него сверху, а сам он сможет немного охладиться в тени, петух и решил дать противнику последний бой. Однако он так истек кровью, что не успел орел, израненный не меньше него, броситься вперед, петух покачнулся, упал, попробовал было подняться, но снова не устоял на ногах.

— Вот так, — сказал ангел, обращаясь ко всем собравшимся птицам. — Все вы видели, как был свершен правый суд. Запомните: не поддавайтесь гордыне! Не будьте хвастливы, ибо возмездие не заставит себя ждать. Вы думали, будто защитник ваш непобедим, но вот он, лежит перед вами, побитый, растоптанный, павший жертвой — нет, не орла, а собственной гордости.

Но тут петух, которого все сочли было мертвым, поднял голову из пыли.

— Несомненно, ты, ангел, очень и очень мудр, — сказал он, — но в петушиных обычаях ничего не смыслишь. Петух не побит, покуда не поднимет хвост и не покажет всем белого пуха под хвостовыми перьями. Да, силы, накопленные в полетах, в беге и во множестве битв, меня подвели, однако дух мой, полученный из рук самого Вседержителя, твердости не утратил. Пощады я у тебя, орел, не прошу. Иди же сюда, покончи со мной поскорее, но, если дорожишь собственной честью, не смей говорить, будто смог меня победить.

Услышав слова петуха, орел взглянул на ангела, а ангел взглянул на орла.

— Вседержитель от нас бесконечно далек, — сказал ангел, — и, таким образом, бесконечно далек от меня, пусть даже я парю куда выше, чем ты. О его воле мне, как и всем остальным, остается только догадываться.

Вновь распахнув свою грудь, вложил он на место способность, отданную на сохранение гусю, и вместе с орлом полетел прочь, а дикий гусь долго летел за ними следом. На том и сказке конец.

Во время рассказа Мелитон лежал навзничь, не сводя глаз с парусинового навеса, натянутого

над головой. Казалось, ему не хватает силы хотя бы приподняться на локте. Все прочие раненые слушали его историю в молчании, с тем же вниманием, что и историю Гальварда.

— Превосходная сказка, — наконец сказал я. — Пожалуй, выбрать из вас двоих победителя — дело нелегкое, и если ни ты, ни Гальвард, ни Фойла не возражаете, я бы еще поразмыслил какое-то время, чья история лучше.

— Не торопись с решением, — во весь голос откликнулась Фойла, сидевшая на койке, поджав к подбородку колени. — Состязанию еще не конец.

Все вокруг изумленно уставились на нее.

— Завтра все объясню, — пообещала она. — Ты, Севериан, просто повремени с приговором. Скажите лучше, что вы думаете об этой истории?

— Я скажу, что думаю обо всем этом вообще, — пророкотал Гальвард. — А думаю я, что Мелитон, в хитрости меня давеча уличивший, на самом деле оказался куда как хитрей. Он не настолько здоров, не настолько силен, как я, и этой сказкой пробудил в ее женском сердце сочувствие. Хитро, петушок, хитро!

— Эта сказка — худшая из мне известных.

Казалось, рассказ о птичьем сражении лишил Мелитона последних сил: ответ его прозвучал

много тише прежнего.

— Худшая? — переспросил я, да и остальные были изрядно удивлены.

— Именно, худшая. Дурацкая сказка из тех, что у нас рассказывают малым детям, не видевшим в жизни ничего, кроме пыли, домашней скотины да неба над головой. Это ведь ясно из каждого слова.

— Но разве тебе, Мелитон, не хочется победить? — спросил Гальвард.

— Конечно же, хочется. Я люблю Фойлу куда сильнее, чем ты, и ради того, чтоб она стала моей, готов хоть на смерть… однако скорее умру, чем разочарую ее. И если рассказанная только что сказка принесет мне победу, выходит, Фойла не разочаруется во мне никогда… по крайней мере, в моих-то сказках уж точно: ведь я знаю целую тысячу куда лучших.

Гальвард поднялся на ноги, подошел ближе и, как накануне, присел на уголок моей койки, а я, перекинув через край ноги, сел рядом с ним.

— Да, в хитроумии Мелитону не откажешь, — сказал мне южанин. — Что он ни говорит, во всем, в каждом слове подвох. И все же судить ты должен по историям, нами рассказанным, а не по тем, которые мы вроде как знаем, однако ж

не рассказали. Я ведь тоже знаю немало других. У нас, на юге, зимние вечера — самые долгие во всем Содружестве.

В ответ я напомнил, что по желанию Фойлы, затеявшей их состязание и объявившей себя первым призом, с суждением должен повременить.

— Всякая речь, сообразная Верному Мышлению, хороша в равной степени с прочими, — внезапно заговорил асцианин. — В чем же тогда превосходство одних учеников над другими? В умении говорить. Смышленые ученики излагают Верное Мышление разумно, и слушающие чувствуют их разумение по интонациям голоса. Так, силою разума лучших учеников Верное Мышление передается от одного к другому, словно пламя от дерева к дереву.

Давно позабывшие о нем, все мы вздрогнули от неожиданности.

— Похоже, он, — поразмыслив, сказала Фойла, — советует судить не по содержанию истории, а по искусству рассказчика. Не знаю, согласна ли с этим я… Но нечто здравое в его совете определенно есть.

— Я не согласен, — проворчал Гальвард. — Краснобайство рассказчика в скором времени надоедает до смерти. По-моему, чем проще речь,

чем меньше фокусов, тем лучше.

Спор увлек всех вокруг, и разговоры об этом, а также о петухе из сказки Мелитона затянулись до самого ужина.

X. Ава

Во время болезни я почти не обращал внимания на тех, кто приносил нам еду, хотя, задавшись сей целью, мог явственно, как и все остальное, припомнить каждого. Однажды кормила нас Пелерина — та самая, что разговаривала со мной вечером накануне. В других случаях еду разносили то бритоголовые рабы-мужчины, то послушницы, одетые в коричневое. Этим вечером, вечером того дня, когда Мелитон рассказывал сказку, ужин нам принесла послушница, которой я прежде не видел — стройная, сероглазая, совсем молодая. Поднявшись на ноги, я помог ей раздать пациентам подносы.

Когда мы закончили, послушница поблагодарила меня и сказала:

— Ну что ж, ты здесь надолго не задержишься.

В ответ я объяснил, что у меня здесь еще дела, а податься мне больше некуда.

— А как же твой легион? Если он уничтожен, тебя припишут к другому.

— Я не солдат. Да, на север я шел с мыслями завербоваться в армию, но захворал, прежде чем возможность представилась.

— Но ты ведь мог подождать в родном городке. Я слышала, вербовщики обходят все поселения самое меньшее по два раза в году.

— Видишь ли, мой родной городок — Несс, — пояснил я. Послушница улыбнулась. — Однако ушел я оттуда довольно давно, а сидеть да ждать целых полгода где-то еще, наверное, не захотел бы. Впрочем, мне таких мыслей все равно даже в голову не пришло. А ты тоже из Несса?

— Ты на ногах с трудом держишься.

— Нет, со мной все в порядке.

Послушница несмело коснулась моего плеча, робостью жеста отчего-то напомнив ручного оленя из садов Автарха.

— Качаешься. Жар, может, и унялся, но подолгу стоять на ногах ты отвык, не забывай об этом. Ты ведь провел в постели не один день. Давай-ка, приляг снова.

— Если лягу, мне не с кем будет поговорить, кроме тех, с кем я и так разговариваю целыми днями. Мой сосед справа — пленный асцианин, а сосед слева родился в какой-то деревне, о которой ни ты, ни я в жизни не слышали.

— Ладно, ладно, если ты ляжешь, я посижу рядом и поговорю с тобой. Все равно дел у меня больше нет, пока не настанет время ноктюрна.

Ты из какого квартала столицы?

Пока послушница препровождала меня к койке, я объяснил, что хотел бы не столько говорить, сколько слушать, и спросил, какой из кварталов Несса зовет родным домом она.

— Для ушедших с Пелеринами родной дом — это орден, где бы мы ни раскинули шатры. Орден становится и семьей, и подругами, как будто все подруги твои вдруг сделались тебе сестрами. Но прежде чем оказаться здесь, я жила далеко к северо-западу от центра города, прямо в виду Стены.

— Невдалеке от Кровавого Поля?

— Да, совсем рядом. Ты там бывал?

— Однажды я на нем даже бился.

Послушница высоко подняла брови:

— Бился? Правда? Мы туда часто ходили смотреть. Конечно, нам запрещали, но мы все равно… И что же? Ты победил?

Об этом я прежде никогда не задумывался, так что над ответом пришлось поразмыслить.

— Нет, — помолчав, сказал я. — Я проиграл.

— Однако остался в живых. Конечно, проиграть и остаться в живых куда лучше, чем лишить жизни другого!

Я, распахнув халат, показал ей шрам, оставленный на груди листом аверна Агила.

— Твое счастье. К нам часто приносят солдат, вот так же раненных в грудь, но нам почти никогда не удается спасти их.

С этим послушница нерешительно коснулась моей груди. Во взгляде ее отразилась нежность, какой я ни разу не видел в глазах других женщин. Легонько погладив рубец, она поспешно отдернула руку.

— Должно быть, рана оказалась неглубока.

— Да, так и вышло, — подтвердил я.

— Однажды я видела бой офицера с каким-то экзультантом, скрывавшим лицо под маской. Оружие им заменяли ядовитые растения — наверное, потому, что мечом или шпагой офицер владел лучше, а значит, поединок вышел бы несправедливым. Экзультант погиб, и я отправилась было домой, но тут позади поднялась страшная суматоха. Пришедший в неистовство, офицер промчался мимо меня, хлеща цветком направо и налево, но кто-то метнул ему под ноги дубинку, и он, споткнувшись, упал. Наверное, это был самый захватывающий бой из всех, что я когда-либо видела.

— И храбро ли они бились?

— Правду сказать, вовсе нет. Для начала затеяли долгий крючкотворский спор — сам знаешь,

с мужчинами всегда так, когда никому начинать неохота.

— «Удостоенный вызова, какого прежде не получала ни одна из птиц, я буду горд этим до конца дней своих, но, к глубочайшему моему сожалению, принять его не могу. Отчего? Тому есть три причины. Первая из таковых состоит в том, что хоть крылья твои в самом деле оперены, в схватке мне предстоит бить не по крыльям, а в грудь и в голову. Таким образом, применительно к поединку пернатым созданием тебя счесть нельзя». Знаешь эту сказку?

Послушница с улыбкой покачала головой.

— Хорошая сказка. Непременно как-нибудь тебе расскажу. Но если вы жили так близко к Кровавому Полю, должно быть, ты не из простой семьи? Из армигеров, наверное?

— Здесь почти все — армигерки или экзультантки. Боюсь, Орден у нас в основном аристократический. Дочерей оптиматов вроде меня тоже порой принимают, если отец — давний друг Ордена, но нас таких всего три. Я слышала, многие оптиматы считают, будто довольно пожертвовать Ордену круглую сумму, и послушание их дочерям обеспечено, однако на самом деле это не так. Для этого приходится помогать Ордену мно-

гими способами, не только деньгами, и в течение долгого времени. Видишь, в действительности наш мир не так развращен и продажен, как хочется верить людям.

— А как по-твоему, правильно ли ограничивать членство в Ордене таким образом? — спросил я. — Вы ведь служите Миротворцу. Разве он спрашивал тех, кого возвращал из мертвых, принадлежат ли они к армигерам или экзультантам?

Послушница вновь улыбнулась.

— Об этом в Ордене спорили множество раз. Однако на свете немало других орденов, открытых и для оптиматов, и даже для выходцев из низших классов, а мы, оставаясь такими, как есть, получаем огромные суммы на благое дело и пользуемся значительным влиянием в обществе. Если бы мы выхаживали и кормили только принадлежащих к определенным сословиям, я бы немедля признала твою правоту, но мы помогаем всем — при возможности даже животным. Конэкса Эпихарида не раз говорила, что мы только с насекомыми еще не нянчились, пока не застала одну из нас — то есть послушниц — за попытками выправить сломанное крылышко бабочки.

— А вас не смущает, что эти солдаты всеми

силами старались погубить как можно больше асциан?

От ожидаемого ответ оказался весьма и весьма далек:

— Асциане — не люди.

— Но я ведь уже говорил, что пациент, лежащий рядом со мной, асцианин. И вы заботитесь о нем не хуже, чем о любом из нас, если глаза меня не подводят.

— А *я* уже говорила, что мы по возможности заботимся и о животных. Разве ты никогда не слышал о человеческих существах, утративших человеческую природу?

— Ты о зооантропах? Да, встречал я таких.

— Конечно, и о них тоже. Эти отказываются от человеческой природы сознательно. Но есть и другие, теряющие ее ненамеренно, нередко — полагая, будто совершенствуют ее, либо поднимаются на ступень выше того состояния, в котором все мы рождены. А есть еще третьи, наподобие асциан: у этих она отнята силой.

Мне вспомнился Бальдандерс, прыгающий со стены замка в волны озера Диутурна.

— Разумеется, эти… создания достойны сочувствия.

— Да. Животные вполне достойны сочувствия.

Оттого Орден наш о них и заботится. Однако человек, убивший животное, не считается убийцей.

Едва сдерживая охватившее меня возбуждение, я сел и схватил ее за плечо.

— А как ты думаешь, если нечто — скажем, десница Миротворца — способна исцелять человеческие существа, то может ли ее целительная сила не действовать на тех, кто… больше не человек?

— Это ты о Когте? Закрой, пожалуйста, рот: с отвисшей челюстью у тебя такой смешной вид, а смеяться в присутствии не принадлежащих к Ордену нам запрещено.

— Так ты знаешь о нем?

— Да. Сестра, присматривающая за твоим лечением, мне обо всем рассказала. Предупредила, что ты повредился умом, но для окружающих не опасен — наоборот, скорее даже мил. Я принялась расспрашивать, как это так, а она отвечает: тебе в руки, дескать, попал Коготь, и ты порой можешь исцелять недужных и даже оживлять умерших.

— И ты веришь, будто я не в себе?

Послушница, по-прежнему улыбаясь, кивнула.

— Но почему? Мало ли что говорила та Пелерина! Разве сегодня вечером я сказал хоть что-нибудь, наводящее на этакие мысли?

— А может, не повредился умом, а одержим… Дело совсем не в том, что ты говоришь. Разговоры — пустяк. Ты… словно бы не один человек.

Тут она сделала паузу, возможно, ожидая от меня возражений, но я не ответил ни словом.

— И выражение лица, и манера двигаться… а я ведь, учти, даже не знаю твоего имени. Она не называла.

— Севериан.

— А я — Ава. А Севериан — это же одно из «парных» имен, для брата с сестрой, не так ли? Севериан и Севера. У тебя сестра есть?

— Не знаю. Если и есть, она — ведьма.

Этого Ава словно бы не услышала.

— Ладно, а та, вторая? Есть у нее имя?

— То есть тебе известно, что она — женщина?

— Ага. За раздачей ужина мне на миг показалось, будто одна из сестер-экзультанток тоже пришла помочь. Я оглянулась, а это ты. Вначале такое случалось, только если смотреть на тебя искоса, краем глаза, но теперь я вижу ее, даже глядя прямо, вот как сейчас. Порой, особенно отводя взгляд, ты исчезаешь, а передо мной появляется высокая бледнокожая женщина с твоим лицом. И, будь любезен, не говори, будто я с постничеством переусердствовала. Мне все так говорят,

но это неправда, а если б и было правдой, дело совсем не в том.

— Ее зовут Теклой. Помнишь, что ты совсем недавно говорила об утрате человеческой природы? Это о ней?

Но Ава отрицательно покачала головой:

— Нет, вряд ли… Однако я хотела тебя кое о чем спросить. У нас был еще пациент наподобие тебя, и мне сказали, что пришел он вместе с тобой.

— А-а, Милес. Нет, наши случаи ничем один на другой не похожи, и рассказывать о нем я не стану. Захочет — расскажет сам, а другим в это соваться незачем. Я лучше о себе расскажу. Ты слышала о пожирателях трупов?

— Ты не из них, нет. Пару недель назад к нам приводили троих пленных повстанцев. Каковы они, мне известно.

— Чем я от них отличаюсь?

— У них… — Ава запнулась, подыскивая нужные выражения. — По ним сразу все видно. То и дело разговаривают сами с собой — хотя это, конечно, свойственно многим, смотрят так, будто видят то, чего рядом нет… этакое одиночество пополам с себялюбием… Нет, ты не из них. Не из них.

— Ошибаешься, — возразил я и рассказал ей,

не вдаваясь в излишние подробности, о пире у Водала.

— Так тебя вынудили, — сказала Ава, выслушав все до конца. — А не скрой ты истинных чувств, лишили бы жизни.

— Это неважно. Аналептик альзабо я выпил и плоть ее съел. И поначалу чувствовал себя в точности так же мерзко, как эти, о которых ты помянула, хотя любил ее. Текла как бы вселилась в меня, вся ее жизнь сделалась и моей, однако она ведь была мертва… я нутром чувствовал ее разложение! Однако первой же ночью привиделся мне сон — чудесный сон про Теклу, и память о нем я ценю превыше всех прочих воспоминаний. После… конечно, без всяких ужасов не обошлось, а порой я вроде как грезил наяву — наверное, это и были те самые разговоры с самим собой да взгляды в пустоту, которые ты описывала. Однако теперь, и уже довольно давно, Текла будто бы снова жива, только живет во мне.

— По-моему, с теми, другими, дела обстоят не так.

— По-моему, тоже, судя по всему, что я о них слышал, — согласился я. — Во всей этой истории я очень, очень многого не понимаю, а то, о чем рассказал, — одна из главных загадок.

На протяжении двух, а то и трех вздохов Ава хранила молчание и вдруг в изумлении округлила глаза:

— А Коготь — вещица, в которую ты веришь, — в то время был при тебе?

— Да, но я ведь не знал, на что он способен. До этого он не действовал… вернее, действовал, да еще как, поднял из мертвых девушку по имени Доркас, однако я не понял, что произошло, не понял, откуда она взялась рядом. А если б понял, мог бы спасти и Теклу. Мог бы вернуть ее к жизни.

— Однако эта вещь была при тебе? Была, верно?

В ответ я молча кивнул.

— Ну так что же тут непонятного? Она и *вернула* ее к жизни! Ты только что говорил, что она может действовать вовсе без твоего ведома. Вещь при тебе, ты «нутром чувствуешь», как разлагается Текла, вот и…

— Возвращение к жизни без тела…

— Вижу, вижу: ты, как и все невежды, материалист. Однако твои материалистические воззрения отнюдь не превращают материализм в истину, понимаешь? В конечном счете важнее всего дух, мечта, мысль, любовь и поступок.

Ошеломленный роем нахлынувших мыслей, я

надолго умолк, призадумался, а опомнившись, обнаружил, что Ава по-прежнему сидит рядом, и принялся благодарить ее.

— Посидеть здесь, в покое, я только рада, — отвечала она. — А если б сюда пришла одна из сестер, могла бы сказать, что приглядываю за пациентами, жду, не попросит ли кто о помощи.

— А я все еще не понимаю, как отнестись к сказанному тобою о Текле. Похоже, думать над этим придется немало — возможно, не один и не два дня. Люди нередко говорили, что я малость наивен.

Ава заулыбалась, причем улыбка ее — по крайней мере, отчасти — была вызвана моими словами, хотя я вовсе не шутил.

— Нет, это вряд ли. Скорее уж ты педантичен.

— Как бы там ни было, у меня есть еще вопрос. Нередко, засыпая либо проснувшись посреди ночи, я пытался нащупать закономерность в череде неудач и успехов. То есть тех случаев, когда мне удавалось, прибегнув к помощи Когтя, кого-либо оживить, и других, когда жизнь, при всех моих стараниях, к умершим не возвращалась. Сдается мне, все это не просто игра случая, хотя взаимосвязь вполне может оказаться для меня непостижимой.

— И ты полагаешь, будто сегодня нащупал ее?

— То, что ты говорила о людях, утративших человеческую природу, вполне может оказаться одним из ее звеньев. К примеру, та девушка, наша спутница… возможно, она как раз из таких и была, при всей ее красоте. И еще человек, друг мой, исцеленный только отчасти, не до конца. Ведь если некто может утратить человеческую природу, то создание, прежде ею не обладавшее, наверняка может ее обрести. Одни теряют, другие находят — так в жизни всегда, на каждом шагу. Думаю, именно это с ним и произошло. А еще кажется мне, что воздействие Когтя заметно слабеет в случае смерти насильственной…

— По-моему, этого и следовало ожидать, — негромко заметила Ава.

— Однако он исцелил обезьяночеловека с отсеченной кистью руки. Возможно, потому, что я сам же ее и отсек. И Ионе помог, но ведь плеть держал в руках я… То есть Текла…

— Умение исцелять защищает нас от Природы. Зачем Предвечному беречь нас от самих же себя? От самих себя мы и сами уберечься способны. Возможно, он готов помогать нам лишь в тех случаях, когда мы искренне сожалеем о содеянном.

По-прежнему поглощенный раздумьями, я

согласно кивнул.

— Ну, а теперь мне пора в часовню. Полагаю, недолгий путь тебе вполне по силам. Пойдешь со мной?

Под огромным парусиновым навесом у меня создалось впечатление, будто из него и состоит весь лазарет. Теперь же, пусть смутно, в вечернем сумраке я разглядел вокруг множество других шатров и навесов. Стенки многих из них, как и у нас, были для пущей прохлады подобраны кверху, сложены складками и закреплены, словно паруса судна на якоре. Мы ни в один из них не вошли, но довольно долго (на мой взгляд) петляли меж ними, и, наконец, путь привел нас к шатру с опущенными стенками. Шелковый, не из парусины, шатер этот ярко алел в темноте, освещенный огнями свечей изнутри.

— Прежде, — сказала мне Ава, — у нас был огромный собор. Десять тысяч молящихся мог вместить, а сам помещался в одной повозке. Но как раз перед моим вступлением в Орден наши домницеллы велели сжечь его.

— Знаю, — откликнулся я. — Я сам видел, как он горел.

Войдя в шелковый шатер, мы преклонили колени перед незатейливым алтарем, завален-

ным грудой цветов. Ава начала молиться, а я, ни единой молитвы не знавший, завел безмолвный разговор с кем-то, порой словно живущим прямо во мне, порой же, как выразился ангел из сказки о петухе, казавшимся бесконечно далеким.

XI. Рассказ Верного Группе Семнадцати. История о честном человеке

На следующее утро, когда все мы проснулись и покончили с завтраком, я отважился спросить Фойлу, не пора ли рассудить спор Гальварда с Мелитоном. В ответ Фойла отрицательно качнула головой, но прежде чем ей удалось сказать хотя бы слово, мой сосед-асцианин объявил:

— Всяк должен служить Народу по мере сил. Вол тянет плуг, пес стережет овец, кот ловит в амбаре мышей. Таким же образом могут служить Народу и мужчины, и женщины, и даже дети.

Фойла одарила нас ослепительной белозубой улыбкой:

— Наш друг тоже хочет историю рассказать!

— Что?! — На миг мне показалось, что Мелитону вправду хватит сил сесть. — И ты собираешься позволить ему… одному из этих… помня о том, что…

Фойла вскинула руку, и Мелитон, в очередной раз запнувшись, умолк.

— Отчего бы нет? — Уголки губ ее озорно дрогнули. — Да, отчего бы нет? Только мне, конечно,

придется для вас все переводить. Севериан, ты не против?

— Как пожелаешь, — ответил я.

— В нашем уговоре ничего подобного не было, — пророкотал Гальвард. — Я его помню от слова до слова.

— Я тоже, — сказала Фойла. — Однако противоречия уговору тут тоже никакого нет. Все очень даже в духе изначальной договоренности — договоренности о *состязании* среди претендующих на мою, боюсь, не слишком-то нежную и не слишком-то белую, хотя пока я торчу здесь, к этому все и идет, руку. Пусть асцианин тоже будет моим поклонником, если думает, что сумеет: вы разве не видели, как он в мою сторону смотрит?

— Объединившись, мужчины и женщины становятся сильнее, но женщине храброй угодны дети, а не мужья, — процитировал асцианин.

— То есть он рад был бы взять меня в жены, но сомневается, что его знаки внимания будут приняты… а зря. — Тут Фойла перевела взгляд с Гальварда на Мелитона, и улыбка на ее губах преобразилась в усмешку. — Неужто вы оба так опасаетесь его в состязании рассказчиков? А если на поле боя асцианина встретите, небось вовсе, как зайцы, удерете в кусты?

Ни тот ни другой не откликнулся, и асцианин, подождав некоторое время, заговорил:

— Некогда, в прошлом, верность делу Народа проявлялась во всем и повсюду. Воля Группы Семнадцати была волей каждого.

– Давным-давно, в незапамятные времена… — «перевела» Фойла.

— Пусть никто не пребывает в праздности. Если кто живет праздно, пусть, объединившись с прочими праздноживущими, идет на поиски свободной земли, а все ими встреченные пусть направляют их путь. Лучше пройти тысячу лиг, чем до конца дней пребывать в Обители Глада.

– … была в дальних-дальних краях ферма, а возделывали ее заодно люди, не состоявшие друг с другом в родстве.

— Один силен, другой прекрасен собою, третий искусен в ремеслах. Кто лучший из них? Тот, кто служит Народу.

– Жил на той ферме честный, добрый душой человек.

— Пусть труд распределен будет мудрым распределителем труда. Пусть будет пища распределена справедливым распределителем пищи. Пусть свиньи жиреют, крысы же пусть мрут с голоду.

– И начали остальные его обманывать, обделять.

— Люди, что собрались на совет, вправе судить, однако более сотни ударов да не назначено будет ни одному.

– Пожаловался он на несправедливость, а его еще и побили.

— Что дает силу рабочим рукам? Кровь. Как кровь достигает рук? Струясь по артериям. Перетяни их — рабочие руки скоро отомрут.

– Оставил он ферму и отправился в путь-дорогу.

— Где сбирается Группа Семнадцати, там вершится высшее правосудие.

– Пришел он в столичный город и пожаловался на то, как с ним обошлись.

— Да будет ключевая вода тем, кто усердно трудится. Да будет им и горячая пища, и мягкое, чистое ложе.

– Вернулся он назад, на ферму, усталый, изголодавшийся в долгих скитаниях.

— Более сотни ударов да не назначено будет ни одному.

– Но там его снова побили.

— За всякой вещью имеется нечто еще, так было, так есть и так будет вовеки: за птицею

— дерево, за почвой — камень, за твердью Урд — солнце. Пусть же и за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд.

– Однако честный человек и не подумал сдаваться. Снова покинул он ферму, снова в столицу пошел.

— Можно ли выслушать всех челобитчиков? Нет, ведь все они кричат заодно. Кого же тогда слушать — тех, чей крик громче? Нет, ибо каждый из них кричит во весь голос. Слушать следует тех, что кричат дольше прочих — им-то и до́лжно воздать по справедливости.

– Придя в столицу, примостился он прямо у порога дверей, ведущих к Группе Семнадцати, принялся молить всякого, кто ни пройдет мимо, его выслушать, и по истечении долгого времени принят был во дворце, где власть предержащие выслушали его жалобы с сочувствием.

— Так говорит Группа Семнадцати: у тех, кто пойман на воровстве, отними все имущество, ибо ничто из имеющегося у них им не принадлежит.

– А выслушав, сказали: ступай-де обратно на ферму да вели злодеям — от нашего имени — убраться оттуда прочь.

— Как доброе дитя — матери, так и всякий из граждан послушен Группе Семнадцати.

– Так он и сделал.

— Что есть неразумные речи? Ветер. Ветер, входящий в уши и выходящий из уст. Более сотни ударов да не назначено будет ни одному.

– Но остальные посмеялись над ним и снова побили.

— Пусть же за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд.

– Однако честный человек и не подумал сдаваться. Снова покинул он ферму, вернулся в столицу опять.

— Каждый из граждан отдает Народу то, что принадлежит Народу. Что же принадлежит Народу? Все сущее.

– В пути он изрядно устал. Одежда его превратилась в лохмотья, башмаки истоптались до дыр. Не было у него ни пищи, ни хоть какой-нибудь мелочи на продажу.

— Лучше быть справедливым, чем мягким душой, но лишь хорошие судьи могут быть справедливы — так пусть же те, кто не в силах быть справедливым, будут мягки душой.

– В столице пришлось ему жить подаянием.

Уж тут-то я просто не мог не вмешаться и сказал Фойле, что изумлен ее способностью так хорошо понимать смысл затверженных асцианином

речений, из которых он слагает рассказ, однако для меня до сих пор остается загадкой, как ей это удается — к примеру, каким образом из фразы о справедливости и мягкости души следует, что герой сказки принялся нищенствовать?

— А вот каким. Допустим, кто-то другой — скажем, Мелитон — сказку рассказывает и в нужном месте тянет руку вперед, будто за милостыней. Ты ведь сразу поймешь, что это значит, верно я говорю?

Я согласился: да, дескать, верно.

— И тут то же самое. Иногда мы натыкаемся на солдат-асциан, ослабших от голода либо болезни и потому отставших от своих, и всякий, едва сообразив, что убивать его не собираются, первым делом заводит вот эту самую песню, насчет справедливости с мягкосердечием. По-асциански, конечно, но все же. Так в Асции нищие подаяния просят.

— Слушать следует тех, что кричат дольше прочих — им-то и до́лжно воздать по справедливости.

– На сей раз ему пришлось ждать еще дольше, гораздо дольше, но наконец-то он снова принят был во дворце и его жалобы выслушали.

— Те, кто не служит Народу, будут служить

Народу.

– Выслушали и сказали, что злодеев отправят в тюрьму.

— Да будет ключевая вода тем, кто усердно трудится. Да будет им и горячая пища, и мягкое, чистое ложе.

– Отправился он домой.

— Более сотни ударов да не назначено будет ни одному.

– Но там его снова побили.

— Пусть же за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд.

– Однако честный человек и не подумал сдаваться. Снова пошел он в столицу с жалобой на несправедливость.

— Сердце каждого, сражающегося за Народ, исполнено мужества тысячи сердец. В сердцах тех, кто бьется против Народа, мужества нет вовсе.

– Вот тут стало злодеям не по себе.

— Пусть же никто не воспротивится решениям Группы Семнадцати!

– Каждый подумал: «Снова и снова ходит он во дворец, и, очевидно, всякий раз сообщает властям, что мы не исполнили прежних их указаний. Уж теперь-то по наши души наверняка пришлют солдат и предадут всех нас смерти».

— Если раны в их спинах, кто остановит им кровь?

– Подумали так злодеи и пустились в бега.

— Где те, кто во времена оны противился воле Группы Семнадцати?

– Сбежали и больше не возвращались.

— Да будет ключевая вода тем, кто усердно трудится. Да будет им и горячая пища, и мягкое, чистое ложе. Тогда запоют они за работой, и труд будет легок для них. Тогда запоют они, снимая жатву с полей, и урожай их будет тяжел, изобилен.

– А человек честный вернулся домой и жил с тех пор счастливо до конца своих дней.

Этой сказке аплодировали все вокруг, восторгаясь и самой сказкой, и смекалкой пленного асцианина, и мимолетным знакомством с неведомой, чужой асцианской жизнью, но больше всего, на мой взгляд, изяществом и остроумием перевода Фойлы.

Любишь ли сказки ты, тот, кто когда-нибудь прочтет сии мемуары, мне знать, разумеется, неоткуда. Если нет, ты, вне всяких сомнений, пролистал предыдущие страницы, не уделив им внимания. Я же, признаться, сказки люблю. Люблю и, скажу более, нередко думаю, что из

всего хорошего в мире мы, человечество, можем поставить себе в заслугу лишь сказки да музыку, а все остальное — милосердие, красота, сон, ключевая вода и горячая пища (как выразился бы асцианин) — все это дело рук Предвечного. Таким образом, роль сказок в мироустройстве невелика, но как, как можно не любить собственного же творения? Я себе этого, честно признаться, не представляю.

Самая краткая, самая незатейливая из включенных мной в сию книгу сказка, рассказанная асцианином, преподала мне сразу несколько важных уроков. Прежде всего, на ее примере я понял, сколь велика в нашей речи, будто бы свежей, с иголочки новенькой, слетающей с языка, доля затверженных загодя оборотов. Слушая асцианина, мы сразу же понимали, что изъясняется он исключительно готовыми, заученными назубок фразами, хотя ни одной из них никогда прежде не слышали. Фойла же говорила, как обычно говорят женщины, и спроси меня кто, много ли в ее речи подобных расхожих оборотов, я бы ответил, что не заметил ни одного… однако как часто мы могли предсказать, чем кончится ее фраза, еще в самом начале!

Во-вторых, мне стало ясно, насколько трудно

одолеть человеческое стремление к самовыражению. Казалось бы, асцианский народ с давних пор приучен говорить только голосом повелителей, но асциане создали из их речений новый язык, и, выслушав рассказ пленного, я вполне убедился в его способности выразить этим языком любую мысль, какая ни придет в голову.

В-третьих, я снова, в который уж раз, подивился, сколь многогранной становится любая сказка в устах очередного рассказчика. Да, историю проще рассказанной асцианином трудно себе представить, но какой смысл он вложил в нее? Хвалу в адрес Группы Семнадцати? Вроде бы да: убоявшись одного их имени, злодеи обратились в бегство. А может, вовсе не хвалу — обличение? Тоже возможно: в конце концов, они трижды выслушали жалобы честного человека, но, кроме как на словах, ничем ему не помогли, а сделали бы нечто большее или нет — о том в сказке не говорилось ни слова.

Не узнал я, слушая асцианина с Фойлой, только самого для меня интересного: с какой целью Фойла позволила асцианину участвовать в состязании? Просто из озорства? Судя по проказливым искоркам в ее глазах, в это нетрудно было поверить. А может, он вправду чем-то привлек ее?

В это поверить оказалось гораздо труднее, но ничего невозможного я в подобном обороте не находил. Кто из нас не видал, как привлекают женщин мужчины, напрочь лишенные каких-либо привлекательных черт? Вдобавок Фойла явно многое знает об асцианах, а этот — отнюдь не из простых солдат, раз уж обучен нашему языку… Может, она у него какой-то секрет хочет выведать?

А что могло двигать им самим? Мелитон с Гальвардом обвиняли друг друга в том, что каждый вложил в историю некий подспудный смысл. Может, и асцианин поступил так же? Если да, то наверняка с тем, чтобы сказать Фойле — да и нам, остальным, — что умрет, но не сдастся.

XII. Виннок

В тот вечер ко мне заглянул еще один визитер — один из бритоголовых рабов ордена. Я, сидя на койке, пытался завести разговор с асцианином, а он, подойдя, присел рядом.

— Ты помнишь меня, ликтор? — спросил он. — Меня зовут Виннок.

Я отрицательно покачал головой.

— Это я мыл тебя и заботился о тебе в ночь твоего появления, — пояснил он. — И ждал, когда ты окрепнешь, чтобы поговорить. Пришел бы еще вчера вечером, но ты был с головой погружен в разговор с одной из наших послушниц.

Я спросил, о чем ему хочется поговорить со мной.

— Я только что назвал тебя ликтором, и ты не стал возражать. Ты вправду ликтор? Той ночью ты был одет как один из них.

— Я был ликтором, — ответил я. — Просто другой одежды у меня нет.

— Был, но больше в ликторах не служишь?

— Нет, — подтвердил я, покачав головой. — А сюда шел, чтоб поступить на армейскую службу.

— А-а, — протянул раб и на время отвел взгляд

в сторону.

— Не сомневаюсь, так делают и другие.

— Да, изредка. Большинство вербуют или силой забривают в солдаты на юге. На север, как ты, за этим идут немногие — те, кому хочется в определенную часть, где служит друг или родственник. Солдатская жизнь — она…

Запнувшись, Виннок умолк. Я тоже молчал, ожидая продолжения.

— По-моему, солдатская жизнь очень похожа на рабскую. Правда, сам я в солдатах никогда не служил, но разговаривал со многими.

— Неужто твоя жизнь так тяжела? Я думал, Пелерины — хозяйки добросердечные. Тебя здесь бьют?

Раб улыбнулся и повернулся ко мне спиной:

— Ты был ликтором. Что скажешь об этих шрамах?

В сумерках я едва мог разглядеть их и потому, не полагаясь на зрение, легонько ощупал рубцы.

— Скажу лишь, что оставлены они плетью, причем очень давно.

— Да, в то время мне не исполнилось и двадцати, а теперь уж почти пятьдесят. А плетью орудовал человек в таких же черных одеждах, как у тебя. Долго ли ты пробыл ликтором?

— Нет. Можно сказать, всего ничего.

— Стало быть, мало что знаешь об этом занятии?

— Вполне достаточно, чтоб исполнять обязанности.

— И это все? Человек, бичевавший меня, сказал, будто он из гильдии палачей. Я-то думал, ты, может быть, о них слышал…

— Да, слышал.

— Так это не выдумки? Мне говорили, будто они давным-давно повывелись. Но палач, бичевавший меня, утверждал иное.

— Насколько известно мне, они существуют и по сей день, — сказал я. — Не помнишь ли ты случайно, как звали палача, что тебя высек?

— Назвался он подмастерьем Палемоном… А-а, вижу, ты его знаешь?!

— Знаю. Одно время он был моим наставником. Сейчас уже совсем стар.

— Выходит, он до сих пор жив? А ты с ним еще увидишься?

— Вряд ли.

— Мне б самому его повидать… ну, может, когда-нибудь свидимся. В конце концов, на все воля Предвечного. Вы, молодые, живете, ни о чем не задумываясь, — уж я-то знаю, сам в твои годы

такой же был. Ты уже понимаешь, что это им продиктованы все наши поступки?

— Возможно.

— Поверь, не «возможно», а так и есть. Я ведь куда больше твоего повидал. Ну а поскольку это так, может статься, с подмастерьем Палемоном мне встретиться не суждено, но ты был приведен сюда, чтоб передать ему от меня кое-что.

На этом-то месте, едва я приготовился выслушать, что ему хочется со мной передать, раб и умолк. Пациенты, со всем вниманием слушавшие рассказ асцианина, завели разговоры между собой, однако негромкий лязг грязной миски в стопке посуды, собранной старым рабом, я расслышал отчетливо.

— Что ты знаешь о законах насчет рабского состояния? — наконец спросил он. — То есть о способах законного обращения людей — мужчин, женщин — в рабство?

— Почти ничего, — честно признался я. — Одного из моих друзей, — (это я вспомнил зеленого человека), — называли рабом, но на самом деле он был всего лишь незадачливым иноземцем, попавшим в руки нечистоплотных людей. В рабство его обратили не по закону.

Виннок согласно кивнул.

— А кожей он был темен?

— Да. Можно сказать, темен.

— Я слышал, в былые времена рабами становились по цвету кожи. Чем темней кожа, тем вернее человек попадал в рабство. Знаю, верится в такое с трудом, однако была у нас в Ордене одна шатлена, историю знавшая назубок, — вот она мне о том и рассказывала. Правдивая была дама, серьезная.

— Очевидно, так повелось оттого, что рабам приходилось целыми днями трудиться на солнце, — заметил я. — Сейчас нам многие обычаи прошлого кажутся блажью, но…

Тут раб слегка разозлился:

— Поверь мне, юноша. Я жил и в прежние времена, и до сих пор жив — так кому из нас судить, когда было лучше?

— То же самое обычно говорил наш мастер Палемон.

Как я и надеялся, напоминание о мастере Палемоне вернуло ход мыслей раба в прежнюю колею.

— В рабство можно попасть только тремя способами, — заговорил он. — С женщинами, правда, иначе — тут и замужество, и прочее в том же роде, но… ладно. Если человек рабом привезен в

Содружество из заграничных краев, привезший раба хозяин может продать его здесь, если захочет. Это у нас способ первый. Военнопленные наподобие этого асцианина — рабы Автарха, Господина Господ и Раба Рабов. Автарх волен продать любого из них, если захочет. Нередко он так и делает, а поскольку большинство асциан не годны ни на что, кроме однообразной тяжелой работы, их часто можно встретить среди гребцов в верховьях рек. Это — способ второй. А способ третий заключается в том, что человек может сам себя продать кому-либо в услужение, так как человек вольный сам собственному телу хозяин — от рождения, так сказать, сам себе раб.

— Однако рабов, — заметил я, — нечасто секут палачи. Какая в этом нужда, если высечь раба хозяин вполне может сам?

— В то время я не был рабом. Так, стало быть, вот о чем я подмастерье Палемона хотел расспросить. Был я всего лишь юнцом, попавшимся на краже. Наутро, перед тем как высечь меня, подмастерье Палемон пришел со мною поговорить. По-моему, поступок добрый… хотя именно тогда я и узнал от него, что он из гильдии палачей.

— Мы всегда загодя подготавливаем клиента к наказанию, если возможность есть, — пояснил я.

— Он присоветовал мне не сдерживать крика — объяснил, что боль не так сильна, если кричишь как раз в тот момент, когда плеть падает на спину. Пообещал не превысить числа ударов, назначенного судьей: если желаю, дескать, могу сам считать и глядеть, далеко ли еще до конца. И добавил, что бить будет не в полную силу — только чтоб кожу рассечь, а костей не сломать.

Я кивнул.

— Тогда я спросил, не окажет ли он мне услугу, и он ответил, что, если сумеет, окажет. А хотел я, чтоб после он снова пришел со мною поговорить, и он обещал попробовать, когда я немного оправлюсь. Ну а после явился калогер, молитву читать.

Стало быть, вывели меня, привязали к столбу — вот так, руки над головой, а повыше рук пригвоздили лист с приговором… да ты, надо думать, сам подобное проделывал много раз?

— Случалось, — подтвердил я.

— Ну и со мной вряд ли обошлись как-то иначе, чем с остальными. Шрамы — вон, до сих пор видны, хотя сгладились, заплыли, конечно, со временем. Видал я много людей со шрамами куда страшнее. Тюремщики, по обычаю, отволокли меня в камеру, но я бы, наверное, вполне дошел

сам. Больно, конечно, однако остаться без руки или ноги гораздо хуже. Сколько раз я здесь, в лазарете, хирургам с ампутациями помогал…

— Наверное, в те времена ты был тощим? — спросил я.

— Тощим? Не то слово! На мне, наверное, все ребра можно было пересчитать.

— Вот с этим тебе очень повезло. Спину толстяка плеть рассекает намного глубже, так что он истекает кровью, будто свинья. В народе говорят: слишком мягко-де у нас карают купцов за обвес покупателей и тому подобное… но те, кто так говорит, просто не знают, как скверно им приходится под плетьми.

На это Виннок согласно кивнул.

— А я уже на следующий день чувствовал себя почти не хуже обычного, и подмастерье Палемон пришел ко мне, как обещал. Я рассказал ему о себе — как жил до этого, чем жил, и о его житье расспросил немного. Чудно́, наверное, вести такие беседы с тем, кто тебе накануне порку задал?

— Нет. Я о подобных вещах много раз слышал.

— Он рассказал, что чем-то проштрафился перед гильдией. Чем именно, рассказывать не пожелал, но в наказание из гильдии на время был изгнан; в красках описывал, как скверно ему

было, как одиноко, как он пытался утешиться мыслями о жизни других людей, вовсе не принадлежащих ни к какой гильдии, но только жалел их, а вскоре начинал жалеть и себя самого. А напоследок еще посоветовал, если хочу жить в радости и порке больше не подвергаться, подыскать себе братство по душе и вступить в него.

— И что же ты? — спросил я.

— Подумал я и решил сделать, как он советует. И когда меня выпустили, поговорил с мастерами из множества гильдий, приглядываясь да выбирая, а после обратился с просьбами к тем, кто, по моему разумению, мог бы меня принять — к мясникам, например, к свечникам. Только никто меня к себе брать не захотел. Одни — потому что староват уже для ученичества, другие — так как денег на вступительный взнос не имею, третьи, на спину глядя, думали, что от поротого только и жди беды…

Тогда начал я было размышлять о вербовке на какой-нибудь корабль, или, может, в солдаты, и с тех пор часто жалел, что так и не поступил — хотя, кабы завербовался на службу, наверное, сейчас жалел бы не меньше, а может, вовсе давным-давно лежал бы в земле и не жалел ни о чем. Но вскоре мне, сам не знаю с чего, пришло в

голову вступить в какой-нибудь духовный орден. Немало я их обошел, и в двух меня согласились принять, несмотря на безденежье и драную спину. Однако чем больше я узнавал о заведенных у них порядках, тем сильней сомневался, что уживусь с ними: я ведь и пил немало, и с девицами развлекаться любил, и меняться, сказать откровенно, мне ничуть не хотелось.

И вот однажды, болтаясь без дела на углу, приметил я прохожего — вроде бы из какого-то ордена, с которым был еще незнаком. К тому времени я уже подыскал себе корабль, но отплывал он только через неделю, а один из матросов сказал мне, что перед отходом работы на борту — хоть отбавляй, и присоветовал подождать, пока корабль не будет готов сняться с якоря. Врал все, конечно, но я-то в то время об этом не знал.

Двинулся я, стало быть, следом за этим прохожим, а когда он остановился — его, понимаешь ли, за овощами на рынок отправили, — подошел к нему и спросил, из какого он ордена. В ответ рассказал он, что числится в рабстве у Пелерин и это-де почти как членство в Ордене, только гораздо лучше. К примеру, выпьешь стаканчик-другой — никто тебе слова худого не скажет: главное, чтобы работал в трезвом уме. С девицами забав-

ляться тоже не запрещается, и даже искать их особо не нужно, так как девчонки их почитают чуть ли не за святых, а Орден где только не странствует.

Тогда я спросил, как он думает, примут ли и меня, а еще усомнился, что житье у них вправду настолько радужное. А он ответил, что примут, наверняка примут, и хотя насчет девиц ему прямо сейчас, не сходя с места, своей правоты не доказать, бутылочку красного в доказательство правоты насчет выпивки со мной разделить — дело вполне возможное.

Отправились мы в таверну возле рынка, сели за стол, и убедился я, что насчет выпивки он не соврал. За кружкой вина рассказал он, что жизнь у рабов Пелерин — вроде матросской, потому как тоже позволяет повидать немало всевозможных земель. И на солдатскую тоже отчасти похожа, поскольку во время походов по диким местам рабы ордена вооружены. А кроме всего этого, примкнувшему к Пелеринам платят. В других орденах от всякого, принимающего их обеты, требуется даяние, а если вступивший в орден вдруг захочет уйти, часть денег ему возвращают — смотря как долго он пробыл в ордене. Ну а для рабов Пелерин, дескать, все устроено наоборот:

вступающий в Орден раб получает за это плату. Чтобы уйти, должен, конечно, выкупиться, но пока остается с Орденом, все деньги принадлежат ему.

— А у меня была мать, и я, хотя давным-давно носу к ней не казал, знал, что у нее за душой нет ни аэса. Вдобавок, раздумывая о духовных орденах, я сам сделался изрядно религиозен и рассудил, что служить Предвечному, когда перед матерью грешен, вроде бы не годится. Подписал я бумагу — а Гослин, раб, приведший меня, естественно, получил за то вознаграждение — и отнес деньги матери.

Виннок ненадолго умолк.

— Уверен, ее это очень обрадовало, да и тебя тоже, — вставил я.

— Мать заподозрила, что тут дело нечисто, но я все равно оставил ей деньги и ушел. Мне ведь, естественно, сразу же в Орден следовало вернуться, одного меня к ней не отпустили… и вот я уж тридцать лет как здесь.

— С чем тебя, надеюсь, можно поздравить?

— Даже не знаю… Житье в Ордене оказалось нелегким, но, судя по всему, что я повидал, легкой жизни на свете вообще не бывает.

— Согласен, — кивнул я. Сказать правду, меня

изрядно клонило в сон, и я с нетерпением ждал, когда же он, наконец, уйдет. — Благодарю за рассказ. По-моему, все это весьма интересно.

— Хочу спросить тебя кое о чем, — сказал Винок. — А еще — будь добр, спроси от меня кое о чем подмастерье Палемона, если когда-нибудь встретишь его.

Я снова кивнул в ожидании продолжения.

— Ты говорил, что Пелерины, по-твоему, хозяйки добросердечные, и, наверное, нисколько в том не ошибся. От некоторых из них доброты я видел немало, и не секли меня здесь ни разу — так, самое большее, отвесят пару пощечин… однако у них тут вот как заведено. Если кто из рабов ведет себя ненадлежаще, его продают, и дело с концом. Вижу, ты не понимаешь, в чем тут подвох?

— Пожалуй, да. Не понимаю.

— Куча народу продается Ордену в рабство, как я в свое время, надеясь на легкую жизнь и множество приключений. Верно, чаще всего так и выходит, и вдобавок, помогая лечить хворых да раненых, уважать себя начинаешь. Вот только тех, кто не угодит Пелеринам, перепродают, причем цену берут куда выше, чем им самим заплатили. Теперь понимаешь? Зачем им при этаких-то порядках кого-то бить? Тяжелейшее

из наказаний — если выгребные ямы чистить пошлют. Но если навлечешь на себя их недовольство, в два счета окажешься где-нибудь в рудниках. Так вот, о чем я все эти годы хотел подмастерье Палемона спросить… — Виннок, запнувшись, закусил губу. — Он ведь был палачом, верно? И сам так сказал, и ты подтвердил.

— Да, был. И до сих пор состоит в палачах.

— Тогда мне вот что интересно знать. Совет тот он дал для чего? Смеху ради, в издевку? Или вправду присоветовал лучшее, что пришло ему в голову? — С этими словами Виннок отвернулся, так что выражения его лица я в тот момент не видел. — Спроси его от меня, хорошо? А после — как знать, может быть, мы с тобой еще свидимся.

— Уверен, он дал тебе лучший совет, какой смог, — сказал я. — Продолжив жить по-прежнему, ты давным-давно был бы казнен либо им самим, либо другим палачом. Тебе случалось когда-нибудь видеть смертную казнь? Ну а насчет остального — палачи, видишь ли, не всеведущи.

— И рабы тоже, — добавил Виннок, поднявшись на ноги. — Благодарю тебя, юноша.

Однако я придержал его за плечо:

— Позволь, я тебя тоже кое о чем спрошу. Мне ведь тоже долгое время довелось провести в па-

лачах. Если ты столько лет опасался, что мастер Палемон дал тот совет только в издевку, откуда тебе знать — может, и я сейчас следую его примеру?

— Тогда ты ответил бы наоборот, — пояснил раб. — Доброй тебе ночи, юноша.

Какое-то время я размышлял над рассказом Виннока и над советом, полученным им от мастера Палемона многие годы назад. Выходит, в те времена — возможно, лет за десять до моего рождения — мастер Палемон тоже скитался по свету, однако вернулся в Цитадель и стал мастером гильдии… Тут мне вспомнилось, как Абдиес (также преданный мною) хотел возвысить до мастера и меня. Разумеется, что бы ни совершил мастер Палемон, его проступок гильдейские братья впоследствии решили скрыть, а его провозгласить мастером, и я, с малолетства привыкший к сему положению вещей, даже ни разу не задался вопросом, отчего делами гильдии заправляет не он, а мастер Гюрло, хотя мастер Палемон куда старше годами…

Снаружи посвистывали в растяжках навеса теплые ветры северного лета, но мне казалось, будто я вновь поднимаюсь наверх по крутой лестнице Башни Матачинов, а в ушах моих от-

дается песнь студеных ветров среди твердынь Цитадели. Наконец, в надежде занять голову не столь грустными мыслями, я поднялся, потянулся и подошел к койке Фойлы. Фойла еще не спала, и я, перебросившись с ней полудюжиной фраз, спросил, не пора ли выбрать среди рассказчиков лучшего, однако она ответила, что с этим придется подождать по крайней мере еще денек.

XIII. Рассказ Фойлы. История об армигерской дочери

— У Гальварда, и у Мелитона, и даже у асцианина шанс проявить себя уже был. Не приходило ли вам в головы, что я его тоже достойна? Ведь даже у тех, кто ухаживает за девушкой в уверенности, будто соперников у них нет, один соперник все же имеется, и это — она сама. Захочет — поддастся на его ухаживания, а не захочет — останется сама по себе. Ему еще предстоит убедить ее, что с ним ей жить будет радостнее, чем одной, и мужчины нередко убеждают в этом девиц, хотя на поверку дело оборачивается совсем иначе. Вот и я решила поучаствовать в состязании, и если сумею выиграть, останусь сама по себе. Если уж выходить замуж за лучшего из рассказчиков, то пусть-ка жених превзойдет в искусстве рассказчика и меня, иначе какой во всем этом смысл?

Каждый из них троих рассказывал о родных краях. Я поступлю так же. Моя родная земля — земля далеких горизонтов и необъятного неба, земля пышных трав, вольных ветров и частого, бешеного стука копыт. В летние дни ветры стано-

вятся жаркими, словно дыхание кухонной печи, а когда пампа горит, полоса дыма тянется вширь на целую сотню лиг, и львы, удирающие от пожара верхом на спинах наших коров, кажутся полчищем демонов. Мужчины в наших краях отважны, точно быки, а женщины неистовы, точно ястребы.

В дни юности моей бабки была в краях наших вилла, столь отдаленная, что никто не ездил к хозяевам в гости. Принадлежала она одному армигеру, леннику сьера Паскуа. Земля там славилась плодородием, и особняк владелец выстроил превосходный, хотя бревна для потолочных балок пришлось таскать издалека, упряжками волов, целое лето, до осени. Стены же особняка, не меньше трех шагов толщиной, были глинобитными, как и стены всех домов в моей родной стороне. Жители лесистых земель на такие стены смотрят с пренебрежением, однако в стенах наших домов всегда прохладно, и выглядят они, насвежо выбеленные, просто на славу, да еще не горят. Имелась на вилле и башня, и просторный обеденный зал, и хитроумное устройство из множества канатов, колес да ведер, при помощи коего два мерихипа, идущих по кругу, поливали разбитый на крыше сад.

Сам армигер был человеком весьма обходительным, жена его — настоящей красавицей, вот только все дети их, кроме одной-единственной дочери, умерли во младенчестве, не прожив даже года. Была дочь хозяев высока ростом, телом смугла, как дубленая кожа, однако нежна, словно масло; волосы цвета вина светлейшего сорта, глаза темнее грозовых туч — одним словом, со всех сторон собой хороша. Одна беда: жили они в такой глуши, что никто об этом не знал и свататься к ней даже не думал. Нередко уезжала она в пампу на целый день, совсем одна, поохотиться с ручным соколом либо погоняться со сворой пятнистых гончих за вспугнутой антилопой. Нередко просиживала она наедине с собой в собственной спальне, слушая пение жаворонка в клетке да листая страницы старинных книг, привезенных из родительского дома матерью.

И вот, наконец, решил отец выдать ее замуж, так как до двадцатилетия ей оставалось всего ничего, а после мало кому захочется взять ее в жены. Разослал он слуг всюду, на три сотни лиг вокруг, славить ее красоту и сулить, что после его смерти все им нажитое мужу дочери отойдет. Тогда съехалось на их виллу много великолепных всадников — седла отделаны серебром, «яблоки»

мечей из кораллов. Устроил для них хозяин всевозможные развлечения, а его дочь, убрав волосы под мужскую шляпу, с длинным кинжалом за мужским кушаком, расхаживала среди съехавшихся. Так, притворяясь одним из гостей, она слышала, кто хвастает множеством любовных интриг, замечала, кто не упустит случая что-либо прикарманить, полагая, будто его никто не видит, а каждый вечер приходила к отцу и называла их имена. Когда же она уходила спать, хозяин призывал к себе названных, рассказывал им, как умирают под жарким солнцем, на кольях, вбитых в землю в безлюдных местах, люди, зашитые в сыромятные кожи, а они на следующее же утро седлали дестрие и — только их там и видели.

Вскоре осталось женихов всего трое. Теперь уж армигерская дочь не могла по-прежнему держаться среди гостей: ведь ее наверняка бы узнали. Пошла она к себе в спальню, распустила волосы, причесалась, сняла охотничьи одежды и вымылась в ароматной воде, а после надела на пальцы кольца, на запястья — браслеты, в уши также продела золотые кольца немалой величины, а голову увенчала тонким, изящным обручем чистого золота, знаком достоинства девицы из армигерского сословия… короче говоря, сделала

все, что могла и умела, дабы предстать перед гостями настоящей красавицей, а поскольку и сердцем была храбра, может статься, девицы прекраснее не сыскалось бы на всем белом свете.

Нарядившись, как пожелала, отправила она служанку за отцом с женихами.

— Взгляните на меня, — сказала она. — Вот золотой обруч у меня на челе, а кольца размером поменьше продеты в уши. Руки, которые обнимут одного из вас, объяты кольцами еще меньшими, а еще меньшие кольца надеты на пальцы. Мой ларчик с драгоценным убранством — вот, открыт перед вами, и в нем колец больше нет, однако здесь, в этой комнате, имеется еще одно кольцо, надетое не на меня. Сумеет ли кто из вас отыскать его и подать мне?

Взялись все трое женихов за поиски, заглянули и под кровать, и за гобелены на стенах. Наконец самый юный из троицы, сняв с крюка жаворонка в клетке, принес его армигерской дочери — и вправду, на правой лапке птицы блеснуло золотом крохотное колечко.

— Слушайте же меня, — сказала дочь армигера. — Мужем моим станет тот, кто вернет мне эту бурую птичку.

С этими словами отперла она клетку, сунула

руку внутрь, с жаворонком на пальце подошла к окну и бросила его в небо. Подняли женихи глаза, проводив взглядами искорку золотого колечка в лучах жаркого солнца, а жаворонок, устремившийся ввысь, вмиг превратился в темное пятнышко на фоне небесной лазури.

Бросились женихи со всех ног вниз по лестнице, выбежали на двор, свистнули скакунов, быстроногих товарищей, что принесли их сюда, преодолев многие лиги пустынной пампы. Накинули они на спины скакунов отделанные серебром седла, помчались вдаль и вскоре исчезли из виду, скрывшись и от армигера, и от армигеровой дочери, и друг от друга, так как один поскакал на север, в сторону джунглей, другой на восток, к высоким горам, а третий, самый юный, на запад, к берегу бурного моря.

Спустя несколько дней тому, кто поехал на север, преградила дорогу река, да такая быстрая, что не переплывешь. Погнал он скакуна вдоль берега, на каждом шагу вслушиваясь в щебет обитавших поблизости птиц, и вскоре отыскал брод. Видит: стоит посреди брода всадник в бурой одежде, верхом на дестрие бурой масти; лицо закрыто бурым шейным платком, и плащ его, и шляпа, и вся иная одежда — сплошь бурого цве-

та, а на правом сапоге бурой кожи, возле самой щиколотки, поблескивает золотое кольцо.

— Ты кто таков? — окликнул его жених.

Одетый в бурое не ответил ни слова.

— Был среди нас, съехавшихся в дом армигера, некий юноша, исчезнувший без следа накануне последнего дня, — вспомнил жених, — и, сдается мне, это ты. Познавший каким-то образом о моих поисках и решивший мне помешать. Что ж, прочь с моего пути, не то умрешь на месте!

С этими словами выхватил он из ножен меч, пришпорил дестрие и направил его в воду. Долгое время бились они, как бьются мужчины моей родной земли — меч в правой руке, длинный нож в левой, поскольку жених был силен и отважен, а всадник в буром проворен и лихо управлялся с клинком. Но вот, наконец, последний пал, окрасив кровью речные воды.

— Скакуна я тебе оставляю на случай, если сумеешь подняться в седло, ибо я милосерден! — провозгласил жених и поскакал дальше.

Жених, отправившийся в сторону гор, спустя несколько дней пути достиг моста из тех, что строят жители гор, — узкого сооружения из связанных веревкой стволов бамбука, протянутого от края до края пропасти, словно паучья нить.

Ехать верхом по подобному мосту отважился бы только круглый дурак, а потому он спешился и повел скакуна в поводу.

В начале переправы мост перед ним казался свободным, но стоило жениху одолеть около четверти пути, посреди моста, откуда ни возьмись, появился некто странный — с виду вроде бы человек, однако сплошь бурый, не считая единственного белого проблеска, а за спиной словно бы сложены бурые крылья. Подойдя еще чуть ближе, второй жених разглядел, что голенище его сапога возле щиколотки украшено золотым кольцом, а бурые крылья, сложенные за спиной, — всего-навсего бурого цвета плащ.

Тогда начертал он перед собой в воздухе Знак, оберегающий от духов, позабывших творца своего, и окликнул заступившего путь:

— Кто ты таков? Назовись!

— Взгляни на меня, — отвечал незнакомец. — Догадайся сам, и твои желания станут моими.

— Сдается мне, ты — дух жаворонка, отправленного в полет армигерской дочерью, — сказал второй из женихов. — Обличье ты можешь менять, но кольцо тебя выдает.

Незнакомец в бурых одеждах обнажил меч и подал его второму из женихов рукоятью вперед.

— Догадка твоя верна, — признал он. — Что же тебе угодно?

— Вернись со мной в дом армигера, — велел жених, — чтоб я смог представить тебя армигерской дочери и взять ее в жены.

— Вернусь я с тобою охотно, если таково твое пожелание, — отвечал незнакомец в буром, — но знай: увидев меня, она не узнает во мне того, кого узнал ты.

— Как бы там ни было, идем со мной, — решил жених, не зная, что еще тут сказать.

На мосту из тех, какие строят жители гор, человек может развернуться без особого труда, однако для твари четвероногой это почти невозможно. Пришлось им идти дальше, на ту сторону пропасти, дабы второй жених сумел повернуть скакуна к особняку армигера.

«Как же все это скучно, — думал он, шагая по бесконечно длинному, прогибающемуся под ногами настилу моста, — но в то же время нелегко и опасно! Однако нельзя ли воспользоваться положением к собственной выгоде?»

— Мне, — поразмыслив, сказал он одетому в бурое незнакомцу, — нужно пройти этим мостом на тот край ущелья, а после вернуться назад, но тебе-то зачем утруждаться? Не проще ли переле-

теть вон на ту сторону и подождать меня там?

Одетый в бурое откликнулся звонким, на диво переливчатым смехом.

— Неужели ты не видишь, что крыло мое перевязано? Недавно случилось мне пролететь слишком близко от одного из твоих соперников, и он ударил меня мечом.

— Выходит, далеко тебе не улететь? — спросил второй из женихов.

— Верно, не улететь. В то время как ты приблизился к мосту, я отдыхал, сидя вон на том буром карнизе, а услышав твои шаги, еле нашел в себе силы подняться сюда.

— Понятно… — протянул второй из женихов.

Больше он не сказал ничего, но про себя подумал: «Если мост обрубить, жаворонку, хочешь не хочешь, придется снова принять птичий облик, однако улететь прочь он не сможет. Тогда я наверняка убью его, отвезу назад, и армигерская дочь ни в чем не усомнится».

Достигнув дальнего края пропасти, потрепал он скакуна по холке и развернул назад, понимая, что им придется пожертвовать, но даже лучший из ему подобных — невеликая плата за собственное поместье с бесчисленными стадами коров.

— Следуй за нами, — велел он одетому в бурое

и снова повел дестрие по мосту, так что над головокружительной, продуваемой всеми ветрами пропастью оказался первым, за ним в поводу шел скакун, а жаворонок в облике человека шагал последним.

«Когда мост рухнет, дестрие отпрянет назад, — думал жених, — и духу жаворонка не удастся проскочить мимо, а значит, он либо вновь обернется птицей, либо погибнет на дне ущелья». Понимаете, на подобные мысли его навели поверья наших краев: у нас всякий верящий в оборотней подтвердит, что оборотни, подобно мыслям, не желают менять обличья, оказавшись в неволе.

Вновь одолев длинный, покачивающийся под ногами мост через пропасть, вернулись они на ту сторону, откуда пришел второй из женихов, и, едва поставив ногу на твердый камень, выхватил жених из ножен отточенный острее острого меч. Настил моста держался на паре пеньковых канатов, а по бокам был огражден веревочными перилами. С канатов и следовало бы начать, однако жених замешкался, перерубая перила, а незнакомец в буром оседлал дестрие, вскочив ему на спину сзади, вонзил шпоры в бока скакуна и направил его вперед. Так и погиб второй из

женихов, стоптанный собственным скакуном.

Самый юный из женихов, поехавший к морю, спустя несколько дней пути достиг его берегов. Там, у кромки воды, невдалеке от беспокойных волн, ждал его некто — незнакомец в бурого цвета шляпе, в буром шейном платке, прикрывающем нос и рот, и с золотым кольцом вокруг голенища бурого сапога, возле самой щиколотки.

— Взгляни на меня, — окликнул его незнакомец. — Догадайся, кто я, и твои желания станут моими.

— Ты — ангел, — отвечал младший из женихов, — посланный указать мне, где искать жаворонка с золотым колечком на лапе.

Ангел в бурых одеждах обнажил меч и подал его младшему из женихов рукоятью вперед.

— Догадка твоя верна, — признал он. — Что же тебе угодно?

— Перечить воле сьера всех ангелов мне бы и в голову не пришло, — отвечал самый юный из женихов. — Раз уж послан ты указать мне путь к жаворонку, ничего иного я от тебя не хочу.

— Значит, так тому и быть, — подытожил ангел. — Скажи только, какой путь предпочтешь: кратчайший или же лучший?

«А вот тут наверняка кроется какой-то под-

вох, — подумал про себя младший из женихов. — Вечно эти силы небесные попрекают людей человеческим нетерпением — самим-то им, бессмертным, время не дорого. Можно не сомневаться, кратчайший путь наверняка ведет через какие-нибудь жуткие подземелья или еще что-то вроде».

И, рассудив так, ответил он ангелу:

— Лучшим. Разве любой другой не станет бесчестьем для моей суженой?

— Одни одно говорят, другие — другое, — пояснил ангел. — Ну что ж, тогда позволь-ка сесть на дестрие позади тебя. Неподалеку отсюда есть оживленный порт, где я совсем недавно продал двух скакунов не хуже, а то и лучше, чем твой. Там мы продадим и твоего, и золотое кольцо с моего сапога: деньги нам пригодятся.

В порту они так и сделали, а на вырученные деньги купили корабль, небольшой, однако прочный и быстрый, и наняли команду из трех знающих мореходов.

На третий день плавания, ночью, самому юному из женихов приснился сон из тех, какие нередко снятся юношам. Проснувшись, он коснулся подушки возле головы и обнаружил, что подушка тепла, а опустив голову и снова собрав-

шись заснуть, почувствовал тонкий, изысканный аромат, очень похожий на ароматы цветущих трав — тех самых, которые женщины в наших краях сушат весной, чтоб вплетать в волосы.

Приплыли они к острову, куда прежде не ступала нога человека, и самый юный из женихов отправился на берег искать жаворонка. Нет, жаворонка он не нашел, но на закате избавился от одежды и нырнул в прохладные морские волны. Когда же звезды сделались ярче, к нему присоединился еще кое-кто, и, искупавшись, долго лежали они на песке, рассказывая друг другу были и небылицы.

И вот однажды, когда оба, стоя на носу корабля, вглядывались вдаль в поисках встречного судна (ведь в море случалось им и торговать, и драться), неожиданный порыв ветра, сорвав с «ангела» шляпу, унес ее в ненасытное, всепоглощающее море, а вскоре за нею последовал и прикрывавший лицо бурый платок.

Наконец беспокойное море им надоело, и вспомнили они о моих родных землях, где львы по осени, когда горит пампа, спасаются от огня верхом на спинах наших коров, где мужчины отважны, точно быки, а женщины неистовы, точно ястребы. Корабль свой они нарекли «Жаво-

ронком», и вот «Жаворонок» полетел, помчался над синими волнами, каждое утро пронзая бушпритом алое солнце. В том же порту, где он был куплен, корабль продали, получив за него втрое большие деньги, поскольку «Жаворонок» успел так прославиться, что о нем начали слагать сказки да песни, и все приходившие в порт дивились, насколько мало это изящное, бурого цвета суденышко — едва ли две дюжины шагов от форштевня до рудерпоста. Трофеи и выменянные товары распродали тоже. Конечно, лучших из выросших в их табунах дестрие мои земляки оставляют себе, но в тот самый порт гонят лучших из тех, что предназначены на продажу, и там младший из женихов с «ангелом» купили себе пару прекрасных скакунов, наполнили седельные сумки золотом и самоцветами и отправились в путь — к вилле армигера, столь отдаленной, что никто не ездил к хозяевам в гости.

Многие передряги пришлось пережить им в дороге, множество раз довелось обагрить кровью мечи, уже повидавшие немало очищающих морских купаний да протирки то горстью песка, то лоскутом парусины, но вот, наконец, добрались они благополучно до цели. Там «ангел», встреченный радостным воплем хозяина-армигера,

слезами его жены и гомоном сбежавшихся слуг, избавился от одежд бурого цвета и вновь обернулся армигерской дочерью.

Начали в доме армигера готовиться к пышной свадьбе. В наших краях к таким празднествам готовятся подолгу: ведь нужно же и заново выкопать ямы для запекания туш, и забить в достатке коров да быков, и разослать гонцов, которым предстоит скакать верхом не один день, дабы пригласить на свадьбу гостей, которым также предстоит проделать немалый путь… На третий день ожидания армигерская дочь прислала к самому юному из женихов служанку с известием:

— Сегодня госпожа не поедет охотиться. Сегодня она приглашает тебя к себе в спальню, побеседовать о былых приключениях на море и на суше.

Самый юный из женихов нарядился в лучшие одежды, купленные по возвращении в порт, и вскоре явился к армигерской дочери на порог.

Невесту он обнаружил сидящей на подоконнике, листающей страницы одной из старинных книг, привезенных из родительского дома ее матерью, и слушающей пение жаворонка в клетке. Подошел он к той клетке, увидел на лапке жаворонка золотое колечко и перевел удивленный,

вопросительный взгляд на армигерскую дочь.

— Разве ангел, встреченный тобою у берега моря, не обещал указать тебе путь к этому жаворонку? — пояснила она. — Причем путь не какой-нибудь — лучший? Каждое утро я отпираю клетку и бросаю жаворонка ввысь, чтоб размял крылья. Вскоре он возвращается ко мне — туда, где его ждут корм, чистая вода и уютный дом, туда, где ему нечего опасаться.

Говорят, празднества роскошнее свадьбы самого юного из женихов с армигерской дочерью в наших краях не бывало от начала времен.

XIV. Маннея

В тот вечер все вокруг только и говорили, что об истории Фойлы, и на сей раз решение, кому из рассказчиков присудить победу, отложил я сам. Сказать правду, к этому времени мной овладело нечто наподобие страха перед вынесением приговора — возможно, следствие воспитания среди палачей, с малолетства учивших нас точному исполнению указаний судей, в отличие от нас, уполномоченных выносить приговоры властями Содружества.

Вдобавок мысли мои были заняты материями куда более насущными. Я надеялся, что в тот вечер ужин нам будет разносить Ава, однако, когда надежды не оправдались, все равно поднялся, переоделся в собственное и украдкой выскользнул из-под навеса в сгущавшиеся сумерки.

К немалому — и весьма, надо заметить, приятному — моему удивлению, ноги оказались упруги, сильны, совсем как в прежние времена. Горячка унялась уже несколько дней назад, но я, привыкший считать себя больным (как прежде, в силу привычки, полагал, будто вполне здоров), лежал на койке, не прекословя. Наверное, многие

из тех, кто остается на ногах и не бросает работы, в действительности, сами того не ведая, медленно умирают, а многие, целыми днями лежащие в постели, куда здоровее тех, кто кормит и моет их.

Петляя тропинками, вытоптанными меж шатров, я попытался припомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько же хорошо. Разумеется, не в горах и не на озере — пережитые в тех краях тяготы как раз и подтачивали мои силы, пока я не пал жертвой горячки. И не во время бегства из Тракса: к тому моменту меня уже изрядно утомили хлопоты, сопряженные с должностью ликтора. И не по прибытии в Тракс: лишения, пережитые нами с Доркас в странствиях по бездорожью, немногим уступали тем, которые мне пришлось вынести в одиночку, в горах. И даже не в Обители Абсолюта (во времена, ныне казавшиеся столь же далекими, как и правление Имара), так как в то время я еще не оправился от воздействия альзабо и поглощения мертвых воспоминаний Теклы.

Наконец меня осенило: чувствовал я себя, словно тем памятным утром, когда мы с Агией отправились в Ботанические Сады, на следующий день после ухода из Цитадели. Именно в то утро я, сам о том даже не подозревая, заполу-

чил в руки Коготь… и сейчас впервые задался вопросом: а может, обладание им — не только благословение, но и проклятие? Или, возможно, все минувшие с тех пор месяцы потребовались для того, чтоб исцелиться от раны, нанесенной в тот самый вечер листом аверна?

Вынув Коготь, я долго вглядывался в его серебристое мерцание, а подняв взгляд, увидел перед собой, в сумерках, сияющую алым часовню Пелерин. Со стороны шелкового шатра доносилось монотонное пение, и я понял, что опустеет часовня еще не скоро, но все равно двинулся к ней, тихонько проскользнул внутрь и занял место в задних рядах.

О литургии Пелерин я здесь умолчу. Подобные вещи не всегда удается описать подобающим образом, а если и удается, по-моему, есть в этом нечто против приличий. У гильдии, зовущейся Орденом Взыскующих Истины и Покаяния, к которой некогда принадлежал и я, тоже имеются собственные ритуалы (один из них я довольно подробно описывал выше). Разумеется, подобные церемонии свойственны исключительно палачам, а церемонии Пелерин, надо думать, также свойственны исключительно им, однако некогда они вполне могли быть для всех общими.

Пожалуй, я бы как наблюдатель более-менее непредвзятый сказал, что церемонии Пелерин красивее наших, но куда менее напыщенны и, следовательно, в конечном счете не так западают в душу. Одеяния участниц — вне всяких сомнений, очень и очень древние — поражали воображение, а песнопения обладали странной, причудливой притягательностью, какой мне до тех пор не встречалось в любой другой музыке. Наши церемонии предназначались главным образом для того, чтоб запечатлеть роль гильдии в умах младших из ее членов. Возможно, той же цели были подчинены и ритуалы Пелерин, а если нет, то создавались они наверняка затем, чтобы привлечь особое внимание Всевидящего, но привлекают ли и как часто, о том я судить не могу. В данном случае Орден никакого особого покровительства вроде бы не удостоился.

По завершении службы, когда облаченные в алое жрицы гуськом устремились к выходу, я склонил голову и притворился, будто целиком поглощен молитвой. Вскоре притворство неожиданно для меня самого обернулось правдой. О собственном коленопреклоненном теле я, конечно, не забывал ни на миг, однако оно казалось всего лишь неким далеким-далеким бременем.

Разум же мой парил среди бескрайних межзвездных пустынь, вдали и от Урд, и от окружавшего ее архипелага островных миров, но тот, к кому я обращался, словно бы пребывал еще дальше — как будто я подошел к стенам, ограждающим само мироздание, и теперь, задрав голову, что есть сил стараюсь докричаться до того, кто ждет за ними, снаружи.

«Докричаться»… Нет, пожалуй, к случаю это слово совсем не подходит. Скорее уж я шептал, как, может статься, Барнох, замурованный в собственном доме, приникнув губами к какой-нибудь щели, шептал что-то сострадательному прохожему. Говорил я о самом себе — каким был, когда носил заплатанную рубашку и наблюдал за зверьми да птицами сквозь узкое окошко полуразрушенного мавзолея, и каким стал ныне. Говорил и… Нет, не о Водале с его борьбой против Автарха, но о побуждениях, которые некогда, по неразумию, ему приписал. Мыслями, будто способен повести за собой миллионы, я отнюдь не обманывался — просил лишь о способности указать путь себе самому, и вскоре начал все яснее, яснее различать сквозь щелку, ведущую из нашего мироздания в мироздание новое, озаренное золотистым сиянием, собеседника, слушающего

меня, преклонив колени. Мало-помалу трещина в ткани мира раздалась вширь, так что я смог разглядеть и лицо, и сложенные перед грудью ладони, и проем вроде туннеля, ведущего в глубину человеческой головы, на какое-то время показавшейся мне куда больше головы Тифона, высеченной из вершины огромной горы. Да-да, шептал я в собственное же ухо, а осознав это, влетел внутрь, точно пчела, и поднялся на ноги.

Вокруг не осталось ни единой живой души; казалось, абсолютная, ни звуком не нарушаемая тишина витает в воздухе вместе с дымком благовонных курений. Прямо передо мной возвышался озаренный огнями свечей алтарь, по сравнению с тем, разнесенным мною и Агией в щепки, весьма скромный, но тем не менее прекрасный во всем — и строгостью очертаний, и отделкой из солнечного камня пополам с лазуритом.

Пройдя вперед, я преклонил перед ним колени. Конечно, тут и без подсказок ученых книжников было ясно, что Теологуменон от этого нисколько ко мне не ближе, однако он отчего-то казался значительно ближе, и это весьма помогло — в последний раз — взять в руки Коготь (хотя прежде я всерьез опасался не совладать с собой).

— Я, — слагая слова лишь в уме, заговорил я, —

пронес тебя через высокие горы, через бурные реки и через бескрайнюю пампу. Ты даровал жизнь Текле, живущей ныне во мне. Ты даровал мне Доркас, ты вернул в этот мир Иону. Разумеется, мне упрекнуть тебя не в чем, а вот у тебя, должно быть, накопилось немало упреков в мой адрес. Но, по крайней мере, одного упрека я не заслуживаю. Никто не сможет сказать, будто я не сделал всего возможного, дабы исправить невольно содеянное мною зло.

Однако я понимал: если просто оставить Коготь на алтаре, его смахнут прочь и не заметят. Поднявшись на возвышение, я принялся искать в убранстве алтаря надежное потайное местечко, откуда он наверняка не вывалится ни при каких обстоятельствах, и, наконец, обнаружил, что алтарный камень крепится к дощатому возвышению четырьмя винтовыми зажимами, которых наверняка ни разу не ослабляли с момента сооружения алтаря и не тронут, пока алтарь цел. Пальцы у меня крепки, и отвинтить зажимы мне удалось, хотя, пожалуй, большинству на подобное не хватило бы сил. Под камнем, в досках, оказалась неглубокая выемка, выструганная так, чтоб он опирался на доски только краями и не качался — и это уже превзошло самые смелые

мои надежды. Бритвой Ионы отрезал я от края изрядно потрепанного плаща лоскуток, уложил завернутый в него Коготь под камень и вновь затянул зажимы, причем так крепко (вдруг да ослабнут случайно?), что разодрал до крови себе пальцы.

Стоило отступить от алтаря, меня охватила неописуемая печаль, однако уже на полпути к выходу печаль сменилась безудержной радостью. Избавленный от тяжкого бремени жизни и смерти, я вновь стал всего лишь обычным, простым человеком и от восторга пополам с облегчением едва не повредился умом. Точно так же на душе становилось в детстве, по завершении долгих уроков мастера Мальрубия, когда я обретал свободу поиграть на Старом Подворье или, перебравшись через развалины межбашенной стены, побегать среди деревьев и мавзолеев нашего некрополя. Изгой, обесчещенный и бездомный, без единого друга, без аэса денег, я только что расстался с величайшей ценностью в мире — возможно, единственной чего-либо стоящей вещью на весь белый свет… но тем не менее знал: теперь все будет хорошо. Спустившись на самое дно жизни, пощупав его руками, я убедился, что это *действительно* дно, а значит, отныне путь неизбежно

ведет наверх и только наверх. С этими мыслями я лихо закинул на плечо полу плаща, как в то время, когда был актером, ибо тогда точно знал, что я актер, а не палач, хотя на деле был не актером, а палачом. С этими мыслями я заплясал, заскакал на месте, точно дикий козел на склоне горного пика, ибо точно знал, что сейчас я — словно малый ребенок, а кто хоть отчасти не остается ребенком в зрелые годы, тот не может, не способен быть человеком взрослым.

Казалось, свежий прохладный воздух снаружи сотворен только что, специально для меня, взамен древней атмосферы Урд. Упиваясь им, я распахнул плащ, воздел руки к звездам и вдохнул его полной грудью, жадно, словно новорожденное дитя, едва-едва не захлебнувшееся соками материнской утробы.

Все эти события заняли куда меньше времени, чем потребовалось для их описания, и едва повернув назад, к лазарету под огромным навесом, я заметил неподалеку, в тени другого навеса, недвижный силуэт незнакомца, пристально наблюдающего за мной. Новой встречи с кем-либо из прислужников Гефора я опасался с тех самых пор, как чудом спасся сам и спас маленького Севериана от незрячего чудища, в поисках нас

уничтожившего деревню магов, и приготовился к бегству… однако выступивший из тени на тропку, озаренную лунным светом, «незнакомец» оказался всего-навсего одной из Пелерин.

— Постой, — окликнула она меня, подойдя ближе. — Боюсь, я тебя напугала.

Безупречно овальное лицо ее казалось едва ли не бесполым. Пожалуй, была она довольно молодой, однако не столь юной, как Ава, да еще выше нее на целых две головы. Сомнений не оставалось: передо мною стояла истинная экзультантка, не уступавшая ростом Текле.

— Когда долго живешь бок о бок с опасностями… — начал я.

— Понимаю. Разумеется, о войне мне ничего не известно, однако людей, с ней знакомых, я повидала немало.

— Чем я могу служить тебе, шатлена?

— Прежде всего, скажи: в добром ли ты здоровье?

— Да, — отвечал я, — и завтра поутру отсюда уйду.

— Выходит, в часовне ты возносил благодарения за исцеление.

Тут я слегка запнулся.

— Мне многое нужно было сказать, шатлена. И

благодарения, конечно же, вознести тоже.

— Позволь, я пройдусь с тобой.

— Разумеется, шатлена.

От людей мне не раз доводилось слышать, что рослая женщина с виду кажется выше любого мужчины, и, судя по всему, это так. Шедшая рядом со мной намного уступала в высоте роста великану Бальдандерсу, однако возле нее я чувствовал себя едва ли не карликом. Еще мне живо вспомнилось, как Текла склонялась ко мне, чтобы обнять меня, и как я целовал ее груди.

— Ну что ж, — подытожила Пелерина после того, как мы прошли около пяти дюжин шагов, — идешь ты вполне уверенно. Вдобавок ноги твои длинны и, надо полагать, одолели многие лиги. Ты не из кавалеристов?

— Ездить верхом мне доводилось, но не на кавалерийской службе. Сюда, через горы, я прошел пешим, если ты, шатлена, именно это имеешь в виду.

— Вот и прекрасно, поскольку дестрие для тебя у меня нет. Однако… Я, кажется, не представилась. Я — Маннея, старшая над послушницами, а сейчас, пока Домницелла в отлучке, временно возглавляю также всех остальных.

— А я — Севериан из Несса, странник. Хотелось

бы мне пожертвовать вам, в помощь благому делу, тысячу хризосов, однако сейчас я могу лишь от всего сердца поблагодарить вас за проявленную ко мне доброту.

— Помянув о дестрие, я, Севериан из Несса, не собиралась ни предлагать его тебе на продажу, ни предлагать одарить тебя скакуном в надежде тем самым снискать твою благодарность. Если ты не испытываешь к нам благодарности уже сейчас, нам ею не заручиться.

— Я благодарен вам всей душой, как и сказал, — отвечал я. — И еще, о чем также упоминал, не задержусь здесь дольше необходимого, злоупотребляя вашей добротой.

Маннея пристально взглянула на меня сверху вниз:

— Я тебя в том и не подозревала. С утра одна из послушниц рассказала мне об одном из недужных, ходившем с нею в часовню два дня тому назад, и описала его. Сейчас, увидев, что ты задержался после того, как все разошлись, я поняла, что это и был ты. Видишь ли, есть у меня одно дело, а поручить его некому. Во времена поспокойнее я просто отправила бы куда требуется отряд рабов, однако рабы, обученные уходу за больными, все до единого нужны здесь — и то рук не хватает. Но

недаром же сказано: «Нищему Он ниспосылает посох, охотнику же — копье».

— Не сочти за обиду, шатлена, но если ты доверяешь мне только из-за походов в часовню, то, по-моему, зря. Откуда тебе знать: вдруг я задумал поживиться самоцветами с вашего алтаря?

— Иными словами, за молитвой нередко застанешь и лжеца, и вора… Да, попущением Миротворца так оно и есть. Поверь, Севериан, странник из Несса, чаще этих за молитвой не застать никого — хоть из нашего ордена, хоть из мирян, однако ты ничего дурного не совершил. Конечно, мы не обладаем и половиной необычайных сил, приписываемых нам невеждами, но те, кто полагает нас вовсе бессильными, невежественны вдвойне. Так примешь ли ты мое поручение? Я выпишу тебе охранный лист, дабы тебя не арестовали как дезертира.

— Разумеется, шатлена, если оно мне по силам.

Маннея коснулась моего плеча. Первое ее прикосновение оказалось столь неожиданным, что я невольно вздрогнул, будто задетый крылом пролетевшей совсем рядом птицы.

— Примерно в двадцати лигах отсюда, — заговорила она, — находится пустынь одного мудрого, праведной жизни анахорета. Прежде ему ничто

не угрожало, однако с начала лета войска Автарха неуклонно отступают под вражеским натиском, и вскоре война во всей своей ярости докатится до его обители. Его нужно уговорить перебраться к нам — а если уговоры не подействуют, привести сюда силой. По-моему, сам Миротворец указывает, что гонцом должен стать ты. Удастся ли тебе исполнить сие поручение?

— Что ж, — отвечал я, — в дипломатии я не силен, но применению силы, скажу не хвастая, обучен с детства.

XV. Последний приют

В дорогу Маннея дала мне грубо вычерченную карту, указывавшую дорогу к обители анахорета, особо подчеркнув, что, хоть немного отклонившись от указанного пути, я почти наверняка не смогу ее отыскать.

В какой стороне от лазарета находилась обитель, сказать не могу: расстояния на карте были указаны сообразно сложности их преодоления, а повороты обозначены в соответствии с размерами листа бумаги. Вначале я направился на восток, но вскоре обнаружил, что далее путь ведет к северу, затем, свернув в узкий каньон с быстрым ручьем на дне, двинулся на запад, а в конце концов и вовсе на юг.

Поначалу, на первом отрезке пути, на глаза мне то и дело попадались солдаты — как-то раз целых две колонны, вытянувшиеся вдоль обочин, тогда как посредине, в обратную сторону, тащилась нескончаемая вереница мулов, везших в тыл раненых. Дважды меня останавливали, но оба раза по предъявлении охранного листа отпускали с миром. На кремовом, лучшем из всех, какие мне до тех пор доводилось видеть, пергаменте с

оттиснутым золотом нарфиком, печатью ордена, значилось:

Ко всем, состоящим на службе Содружеству.

Сие письмо удостоверяет личность служителя нашего, Севериана из Несса, юноши кареглазого, волосом темного, лицом бледного, сложением худощавого, а ростом изрядно выше среднего. Нижайше просим вас, чтящих хранимую нами память (ведь и вам в свое время может потребоваться помощь лекарей, а может статься, даже почетное погребение), препятствий в исполнении доверенного Орденом дела означенному Севериану отнюдь не чинить, но оказать ему всяческую посильную помощь, буде в том возникнет нужда.

Подписано от имени Ордена Странствующих Схимниц, посвятивших себя Миротворцу и зовущихся «Пелеринами»:

— шатлена Маннея,

наставница над девицами, принявшими послушание.

Однако, едва я свернул в узкий каньон, все армии мира будто бы провалились сквозь землю. Солдат я больше не видел, а отдаленный грохот фальконетов и кулеврин Автарха, если вообще доносился туда, оказался начисто заглушен шу-

мом быстрой воды.

Дом анахорета мне описали довольно подробно, подкрепив описание рисунком в уголке карты и вдобавок уточнив, что путь к нему займет ровным счетом два дня. Памятуя об этом, я был весьма удивлен, когда на исходе дня поднял взгляд кверху и увидел его совсем рядом, на вершине утеса, возвышавшегося прямо передо мной.

Ошибки тут быть не могло: легкость и прочность островерхого конька крыши рисунок Маннеи изображал на удивление точно. В единственном оконце уже мерцал огонек лампы.

В горах я одолел немало подъемов гораздо выше и — по крайней мере, на вид — гораздо круче, чем этот, желанием ночевать среди голых камней отнюдь не горел, а посему, едва увидев домик анахорета, твердо решил провести ночь под его кровом.

Первая треть подъема далась мне проще простого. Карабкаясь по склону скалы, словно кот, я сумел проделать больше половины пути еще до наступления темноты.

В темноте я неплохо видел с самого детства, и, напомнив себе о луне, что вскоре выглянет из-за горизонта, полез дальше… однако с луной

промахнулся. Пока я лежал в лазарете, луна состарилась и угасла, а до рождения новой луны оставалось еще несколько дней. Скудный, неверный свет звезд — в то время, когда их не заслоняли полосы поспешающих к горизонту туч, — казался хуже кромешной тьмы. Вдобавок тут мне невольно вспомнилась Агия, дожидавшаяся моего появления из подземного царства людей-обезьян в компании наемных убийц, и моя спина вмиг покрылась гусиной кожей, словно бы в предвкушении свиста огненной арбалетной стрелы.

Вскоре меня постигла еще одна напасть, много худшая — утрата чувства равновесия. Нет, я не то чтобы оказался целиком во власти головокружения и в общих чертах понимал: «низ» вон там, под ногами, а «верх» там, где звезды, но этим дело и ограничивалось, отчего рассудить, сколь далеко можно наклониться в поисках очередной опоры, стало весьма затруднительно.

И вот в тот самый момент, как напасть сия вошла в полную силу, спешащие по небу тучи сомкнули ряды, и все вокруг окутала непроглядная тьма. Порой мне казалось, что утес становится куда менее крут: еще немного — и хоть вставай да иди в полный рост. Порой скала, наоборот,

будто клонилась наружу, в мою сторону — льни всем телом к «подбрюшью», не то упадешь. Нередко я словно бы вовсе не поднимался наверх, а подолгу двигался влево либо вправо, а как-то раз даже обнаружил, что незаметно для себя самого перевернулся едва ли не вниз головой.

Наконец, выбравшись на какой-то уступ, я решил остановиться и переждать на нем до рассвета, закутался поплотней в плащ, улегся, поерзал, придвигаясь спиною вплотную к скале… но никакой скалы за спиною не оказалось. Тогда я подвинулся еще чуть дальше и снова не встретил ни малейшего сопротивления. Как же так? Быть может, вместе с чувством равновесия я утратил и чувство направления, улегся не лицом, а спиной к краю и вот-вот упаду? Охваченный страхом, я ощупал камень уступа справа и слева, перевернулся на спину и широко развел руки в стороны.

В тот же миг брюхо каждой из туч озарилось вспышкой ядовитого, зеленовато-желтого света: где-то неподалеку одна из огромных бомбард отправила в полет свой смертоносный груз. В зловещем, будоражащем душу зареве выстрела я сумел разглядеть, что добрался до самой вершины утеса, однако домика, видневшегося снизу, нигде поблизости не нашел. По голой скале

вокруг, по щекам, по лбу забарабанили первые капли собравшегося дождя.

Наутро, изрядно продрогший, невыспавшийся, я съел часть прихваченной из лазарета в дорогу провизии и двинулся дальше, вниз, по противоположному склону холма, частью которого оказался тот самый утес. Спуск был далеко не так крут, и я решил вернуться к указанной на карте узкой долине, обогнув холм кругом.

Увы, из этого ничего не вышло. Нет, путь оказался нетруден (разве что изрядно долог), однако вывел меня совсем в другую, куда более мелкую долину с куда более широким ручьем на дне. Впустую потратив на поиски несколько страж, я нашел то самое место, откуда (вроде бы) видел домик анахорета на вершине утеса, но… Стоит ли говорить, что теперь никакого домика там не обнаружилось, да и утес выглядел вовсе не столь крутым и высоким, каким запомнился мне со вчерашнего дня?

Тогда я вновь развернул карту и, изучая ее, заметил под изображением обители анахорета слова, выведенные Маннеей с изяществом, на мой взгляд, просто невероятным, если вспомнить, каким она писала пером. «Последний Приют»… Отчего-то эти слова и нарисованный

домик на краю отвесной скалы напомнили мне о хижине, попавшейся нам с Агией на глаза в Саду Джунглей, где муж с женой слушали рассказ обнаженного человека по имени Исангома. Изучившая Ботанические Сады вдоль и поперек, Агия утверждала, будто уйдя, а затем вернувшись той же тропинкой назад, хижины я вновь отыскать не смогу. Поразмыслив о том странном случае, я обнаружил, что сейчас ей не верю, но в тот день поверил. Разумеется, нынешняя недоверчивость могла оказаться всего лишь реакцией на ее двоедушие, примеров коего я насмотрелся в избытке, а может, я, только вчера ушедший из Цитадели, из-под опеки гильдии, в то время попросту был гораздо наивнее… однако еще я, по нынешнему своему разумению, вполне мог поверить Агии, так как только что своими глазами видел в небесах нечто небывалое, причем не один: люди в хижине явно видели то же, и это само по себе придавало достоверности рассказам о любых иных чудесах.

Строительство Ботанических Садов приписывалось Отцу Инире. Не мог ли он поделиться с анахоретом толикой собственных знаний? Отец Инире тоже устроил в Обители Абсолюта потайную комнату, с виду казавшуюся картиной. Да,

я наткнулся на нее случайно, но только потому, что следовал указаниям старого чистильщика картин, исподволь направлявшего меня к ней. Теперь же я отступил от указаний Маннеи, и…

Вновь обогнув холм кругом, я поднялся по пологому склону наверх и остановился. Передо мной круто обрывался книзу тот самый, запомнившийся накануне утес, а у его подножия шумел, оглашая пением знакомую узкую долину, знакомый бурный ручей. Судя по положению солнца, до темноты оставалось не больше двух страж, однако спуск вниз, да еще при свете, оказался намного легче вчерашнего ночного подъема. Не прошло и стражи, как я спустился на дно тесной долины, к ручью, оставшемуся позади минувшим вечером. На сей раз огонек лампы ни за какими оконцами не мерцал, однако Последний Приют стоял себе на прежнем месте, венчая тот самый утес, который я весь день впустую топтал сапогами. Помотав головой, я отвернулся от него и в меркнущем свете солнца развернул карту, начерченную для меня Маннеей.

Прежде чем продолжить повествование, хотелось бы уточнить: нет, в сверхъестественной природе описанных выше событий я отнюдь не уверен. Последний Приют на вершине утеса

я видел дважды, в обоих случаях при схожем освещении, первый раз — незадолго до темноты, второй же — в самом начале сумерек. Таким образом, стены и крыша домика вполне могли оказаться попросту игрою теней на камне, а освещенное лампой оконце — одинокой звездой.

Что же до «исчезновения» тесной долины, когда я пытался выйти к ней с другой стороны, географических особенностей местности, исчезающих из виду с той же легкостью, как подобные впадины, не найти на всем белом свете. Любой, самый неприметный бугорок заслоняет их напрочь. Дабы уберечься от шаек грабителей, некоторые автохтонные народы пампы строят таким образом целые поселения: вначале роют в земле котлован с узким, пологим спуском ко дну, а после выкапывают в его стенках дома и конюшни. Как только вынутая земля порастает травой (что после зимних дождей происходит очень и очень быстро), поселения и не заметишь, даже проехав мимо в каком-нибудь получейне.

Да, может статься, дело всего-навсего в моей глупости, однако я лично в это не верю. Мастер Палемон не раз говорил, что сверхъестественное существует на свете лишь для того, чтоб мы не стеснялись, испугавшись воя полночного ветра,

но мне больше нравится верить, будто домик анахорета действительно обладал некими необычайными свойствами, и сейчас я уверен в этом еще тверже прежнего.

Как бы там ни было, впредь я не отклонялся от обозначенного на карте пути ни на шаг и спустя не более пары страж после начала ночи отыскал тропку, ведущую прямо к порогу Последнего Приюта, преспокойно стоявшего на вершине того самого приснопамятного утеса. Путь, как и сказала Маннея, занял ровным счетом два дня.

XVI. Анахорет

Прежде всего внимание мое привлекло крыльцо. Возвышавшееся над скалой разве что самую малость, оно опоясывало домик и спереди, и по бокам, подобно просторным верандам, украшающим лучшие из загородных домов в тех краях, где нечего опасаться, а посему хозяева нередко коротают вечера на свежем воздухе, глядя, как Урд спускается ниже и ниже под Луну. На стук в дверь никто не откликнулся, и я обошел дом кругом, заглядывая в окна.

Внутри царила непроглядная тьма, а крыльцо, окружавшее дом со всех четырех сторон, достигало самого края обрыва и только там, ничем от него не отгороженное, заканчивалось. Вновь постучавшись в двери и вновь не дождавшись ответа, я улегся на настил и приготовился ко сну (над крыльцом как-никак имелся навес, и лучшего места для ночлега среди голых камней, скорее всего, не нашлось бы), но тут изнутри донеслись негромкие, едва уловимые ухом шаги.

Где-то наверху, под самой крышей домика на вершине утеса, расхаживал человек. Поначалу ступал он неторопливо, так что мне показалось,

будто он изрядно стар либо болен, однако шаги, по мере их приближения, становились все быстрее, все тверже, и возле самой двери обернулись обычной поступью человека решительного, целеустремленного, пожалуй, вполне способного командовать манипулой или, скажем, кавалерийской илой.

Поднявшись с настила, я отряхнул плащ от пыли и вообще постарался придать себе по возможности презентабельный вид, однако, увидев перед собой хозяина, отворившего дверь, несколько оторопел. В руке он держал свечу толщиною с мое запястье, и огонек ее озарял лицо наподобие лиц иеродул, с которыми мне довелось познакомиться в замке Бальдандерса, только вполне человеческое — если лики статуй в садах Обители Абсолюта имитировали лица созданий, подобных Барбату, Фамулим и Оссипаго, то лица последних, в свою очередь, являли собою лишь созданные некоей чуждой нашему миру рукой имитации лиц, одно из коих предстало перед моим взором. В сей повести я не раз говорил, что помню прежнюю жизнь во всех подробностях, и это сущая правда, однако, попробовав нарисовать лицо хозяина дома на полях рукописи, потерпел неудачу. Ни один из моих рисунков не

имеет с ним ни малейшего сходства. Могу лишь сказать, что брови его были густыми, прямыми, а глубоко посаженные глаза фиалково-синими, как глаза Теклы, а кожа нежной, словно женская, однако ничего женственного в его внешности я не нашел. Пышная, как смоль черная, борода его достигала пояса, длинные одеяния на первый взгляд казались белыми, однако в отсветах пламени переливались всеми цветами радуги.

Поклонившись ему, как был выучен в Башне Матачинов, я назвался, сообщил, кем прислан, и спросил:

— А ты, сьер, и есть анахорет из Последнего Приюта?

Хозяин дома кивнул:

— Да, это и есть Последний Приют, а я, живущий в нем, — последний из людей. Называть меня можешь… Аск.

С этим он отступил вбок, давая понять, что мне следует войти, и отвел меня в заднюю часть дома, в комнату с широким окном, обращенным к долине, со дна которой я карабкался на утес прошлой ночью. Посреди комнаты стоял дощатый стол в окружении деревянных кресел, а по углам и вдоль стен тускло поблескивали боками, отражая пламя свечи, металлические сундуки.

— Прошу прощения за бедность обстановки, — сказал Аск. — Здесь я обычно принимаю гостей, но гостей у меня так мало, что я устроил из этой комнаты кладовую.

— Живущему в одиночестве в столь уединенных местах, мастер Аск, видимая бедность только на пользу, но эта комната бедной вовсе не выглядит.

Я и не думал, что анахорет способен улыбаться, однако на лице его засияла улыбка:

— Хочешь взглянуть на мои сокровища? Гляди.

Поднявшись на ноги, он откинул крышку ближайшего сундука и поднес поближе свечу. Внутри оказались стопки квадратных ковриг изрядно черствого хлеба и лепешки спрессованных сушеных смокв.

— Есть хочешь? — спросил отшельник, заметив, как я изменился в лице. — Никаких чар на всем этом нет, колдовства можешь не опасаться.

Устыдившись, так как провизией в дорогу меня снабдили и на обратный путь от нее кое-что еще оставалось, я, однако ж, ответил:

— Да, немного хлеба, если ты можешь им поделиться, пришлось бы очень кстати.

Хозяин выложил на стол половину ковриги хлеба (уже нарезанного, и весьма острым ножом),

прибавив к ней сыр в свертке из серебристой бумаги и бутылку сухого желтого вина.

— Маннея — добрая женщина, — сказал он, — и ты, по-моему, человек добрый, причем из тех, кто не подозревает о собственной доброте… а кое-кто полагает, будто это и есть настоящая, подлинная доброта. Стало быть, она думает, что я сумею помочь тебе?

— Скорее считает, что я могу помочь тебе, мастер Аск. Видишь ли, войска Содружества отступают, и вскоре сражения захлестнут все вокруг, а по их завершении сюда явятся асциане.

Анахорет снова заулыбался:

— Люди без тени… одно из множества названий, ошибочных, но в то же время исключительно точных. Что бы подумал ты, услышав от асцианина, будто он вправду не отбрасывает тени?

— Не знаю, — ответил я. — Никогда о подобном не слышал.

— Это из старой сказки. Ты старые сказки любишь? А-а, вижу блеск в глазах, вижу… одна беда — рассказчик из меня не ахти. Вы называете врагов асцианами, хотя сами себя они, конечно же, так не зовут, поскольку отцы ваши считали их родиной пояс Урд, края, где в полдень солнце стоит прямо над головой. На самом же деле их

земли лежат куда дальше к северу, и тем не менее они действительно асциане. В сказке, сложенной на заре нашей расы, один человек продал собственную тень, и его начали гнать прочь отовсюду, куда бы он ни пошел. Никто не верил, что он человек.

Глотнув вина, я вспомнил о пленном асцианине с соседней койки.

— И что же, мастер Аск? Сумел этот человек вернуть себе тень?

— Нет. Но одно время странствовал в компании с человеком без отражения.

Умолкнув, мастер Аск поразмыслил о чем-то и снова заговорил:

— Маннея — женщина добрая, да… однако, как ни хотелось бы мне сделать вам одолжение, уйти отсюда я не могу. А война меня здесь не застигнет, куда бы ни двигались войска.

— Но, может, ты согласишься хотя бы пойти со мной и успокоить шатлену? — спросил я.

— Увы, но нет. Тоже не выйдет.

Мне сделалось ясно, что уводить анахорета отсюда придется силой, однако прибегать к ней немедля было вроде бы незачем — ведь с этим ничто не мешало подождать до утра, и я, в притворном разочаровании пожав плечами,

спросил:

— Нельзя ли в таком случае хотя бы переночевать здесь? Конечно, я должен вернуться и доложить о твоем решении, но до лазарета больше пятнадцати лиг, а сейчас мне уже далеко не уйти.

Мастер Аск снова слегка, едва заметно улыбнулся — пожалуй, так могла бы улыбнуться резная маска из кости в неверных отсветах факела, когда дрожащая тень немного иначе ляжет на ее губы.

— Я надеялся услышать от тебя, что в мире новенького, — сказал он, — но ты, вижу, порядком устал. Поешь и идем со мной. Кровать для тебя найдется.

— Нет, мастер, изысканными манерами я, конечно, похвастаться не могу, но не настолько же скверно воспитан, чтобы улечься спать, когда хозяин дома желает со мной побеседовать… Вот только, боюсь, новостей у меня маловато. Раненые, соседи по лазарету, рассказывают, что война продолжается и с каждым днем дело становится все жарче и жарче. Нам в подкрепление шлют легионы и полулегионы, а к ним на подмогу с севера присылают целые армии. Немало у них и артиллерии, отчего нам приходится по большей части полагаться на пики кавалеристов — они в

атаке быстры и могут связать противника боем, прежде чем его артиллеристы наведут тяжелые орудия на цель. Флайеров у них тоже больше, чем было выставлено в прошлом году, хотя мы многие сбили. Сам Автарх прибыл возглавить войска и привел с собой гвардию из Обители Абсолюта, но…

Снова пожав плечами, я умолк и вгрызся в хлеб с сыром.

— Военные науки всегда казались мне наименее интересной частью истории. Однако любая война подчиняется определенным закономерностям. Если одна из сторон в затяжной войне неожиданно проявляет силу, возможных причин этому имеется три. Первая: новый союзник. Скажи, новые солдаты чем-либо отличаются от прежних?

— Да, — подтвердил я. — Я слышал, они гораздо моложе и в целом не так сильны. И женщин среди них куда больше.

— А нет ли отличий в языке или обмундировании?

Я отрицательно покачал головой.

— Если так, новых союзников, по крайней мере пока что, со счетов можно сбросить. Вторая из возможных причин — завершение военных

действий в других местах. В таком случае подкрепления должны состоять из солдат опытных, но, по твоим словам, это не так, а следовательно, у нас остается только третья причина. Ваш противник отчего-то крайне нуждается в немедленной победе и ради нее готов напрячь все силы.

К этому времени я покончил с хлебом и сыром, однако, охваченный искренним любопытством, позабыл об усталости.

— Но отчего?

— Не зная большего, точно сказать не могу. Возможно, их правители боятся своего народа, уставшего от войны. Возможно, асциане — лишь слуги, а теперь их хозяева грозятся действовать самостоятельно.

— Ты даришь надежду и тут же ее отнимаешь.

— Не я, не я — такова уж наука истории. Ты сам был на фронте?

Я покачал головой.

— Вот и хорошо. Во многих отношениях чем ближе человек видит войну, тем меньше в ней понимает. Что творится в умах народа вашего Содружества? Сплотились ли люди за спиной Автарха или, изнуренные войной, во весь голос требуют заключения мира?

На это я с горечью расхохотался, вмиг вспомнив

все былые обиды, все возмущение несовершенством Содружества, толкнувшее меня к Водалу.

— Сплотились? Требуют? Я понимаю, мастер, ты отдалился от мира, дабы сосредоточить помыслы на высших материях, но даже не думал, что кто-либо из людей может столь мало знать о собственной же стране. Воевать идут разве что карьеристы, наемники да юные искатели приключений. В сотне лиг к югу отсюда те, кто живет вне пределов Обители Абсолюта, о войне разве что слышат время от времени.

Мастер Аск задумчиво поджал губы.

— Тогда ваше Содружество гораздо сильнее, крепче, чем я полагал. Неудивительно, что враг в отчаянии.

— Если это называется силой, да сохранит нас Всемилостивый от слабости! Мастер Аск, фронт в любой момент может рухнуть. Одумайся, пойдем со мной. Здесь оставаться опасно.

Но мастер Аск меня словно не слышал.

— Если Эреб с Абайей и прочими выйдут на поле боя сами, противоборство обернется совершенно по-новому. Если… когда… интересно, интересно. Однако ты утомлен. Идем. Покажу тебе и кровать, и высшие материи, для изучения коих я, как ты изволил выразиться, отдалился от мира.

Поднявшись на пару лестничных пролетов, мы оказались в комнате — должно быть, той самой, в окне которой накануне мерцал огонек, просторной, о множестве окон, занимавшей целый этаж. Повсюду вокруг, совсем как в замке Бальдандерса, расставлены были машины, только не столь большие и не в таком изобилии; между ними стояли столы, заваленные бумагами, и полки с множеством книг, а посредине скромно ютилась узенькая кровать.

— На ней я могу прикорнуть, когда работа не позволяет отлучиться, — пояснил мастер Аск. — Невелика, конечно, для человека твоего сложения, но, думаю, ты сочтешь ее вполне удобной.

Прошлую ночь я провел на голых камнях, и кровать вправду казалась мне весьма и весьма привлекательной.

Показав, где можно умыться и справить нужду, хозяин ушел. Прежде чем он погасил свечу, на его лице вновь мелькнула все та же безупречная улыбка.

Однако мгновением позже, когда глаза привыкли к темноте, я напрочь забыл о ней: снаружи, за множеством окон, тянулось вдаль, к самому горизонту, безбрежное перламутровое сияние.

— Да мы же над облаками, — сказал я себе самому, также слегка улыбнувшись, — или, вернее, над нижним их слоем, окутавшим вершину холма. В темноте я их появления не заметил, а он, видимо, знал о нем заранее. Надо же… и вправду «высшие материи», не хуже вершин облаков, которыми мне довелось полюбоваться из глаз Тифона…

С этим я и улегся спать.

XVII. Рагнарёк, или Последняя зима

Просыпаться, чувствуя себя безоружным, оказалось весьма непривычно, хотя тем утром я, сам не могу сказать, по какой причине, почувствовал себя безоружным впервые. После гибели «Терминус Эст» я проспал разорение замка Бальдандерса без малейшего страха, а после без страха шел сюда, к северу. Мало этого, всего ночь тому назад я, безоружный, спал на голой скале, на вершине утеса, и тоже ничего не опасался — хотя, возможно, лишь потому, что смертельно устал. Сейчас мне думается, что на протяжении всех этих дней, и даже дней, минувших со времени бегства из Тракса, я мало-помалу расстался с гильдейским прошлым и искренне начал считать себя тем, за кого меня принимали встречные — одним из юных искателей приключений, о коих поминал накануне, в разговоре с мастером Аском. Будучи палачом, я полагал свой меч не столько оружием, сколько рабочим инструментом, символом должности и ремесла, а после, задним числом, он стал для меня оружием — а я, таким образом, безоружным.

Обо всем этом я размышлял, вольготно рас-

тянувшись на удобном матрасе мастера Аска и заложив руки за голову. Пожалуй, оставшись в разоренных войною землях, мне следовало обзавестись мечом снова, да и если даже я поверну назад, к югу, меч тоже вовсе не помешает. Неясным было одно: стоит ли возвращаться на юг? Сидя на месте, я рисковал оказаться втянутым в битву, а в битве вполне мог погибнуть, однако возвращение на юг могло стать для меня еще опаснее. Архонт Тракса, Абдиес, несомненно, назначил награду за мою поимку, а гильдейские братья, прознав о моем появлении где-либо в окрестностях Несса, наверняка пошлют по мою душу наемных убийц.

Так я, подобно многим, не успевшим очнуться от полудремы, какое-то время колебался, не в силах принять решение, и вспомнил рассказы Виннока о рабстве у Пелерин. Смерть клиента под пыткой для казнедея позор, а посему мастерству врачевания в гильдии обучали на совесть, и я имел все основания полагать, что разбираюсь в нем по крайней мере не хуже бритоголовых. Вдобавок, исцелив от болезни девчонку в убогом хакале, я изрядно воспрянул духом, и у шатлены Маннеи обо мне уже сложилось благоприятное мнение, а возвращение с мастером Аском еще

упрочит мою репутацию, так что…

Незадолго до этого тревожившемуся из-за собственной безоружности, мне показалось, будто я снова вооружен: четкие планы на будущее нередко лучше любого меча, так как на них человек оттачивает клинок решимости. Откинув в сторону одеяла (и, кажется, впервые отметив, как они мягки), я сел. В огромной комнате было довольно прохладно, однако яркий солнечный свет заливал ее от края до края, как будто дом окружен солнцами со всех четырех сторон или же все четыре стены обращены на восток. Обнаженный, я подошел к ближайшему окну. Снаружи простиралось все то же самое холмистое поле сплошной белизны, которое я мельком видел вечером, перед сном.

Вот только то, что я принял за слой облаков, оказалось бескрайней ледяной равниной. Окно не открывалось, а если и открывалось, разгадать загадку запора я не сумел и взглянул вниз, прижавшись носом к стеклу. Последний Приют по-прежнему возвышался над вершиной высокой скалы, однако, кроме нее, все вокруг укрывали льды. Обойдя комнату, я выглянул в каждое из окон и за каждым окном видел одно и то же. Тогда я вернулся к кровати, еще недавно при-

надлежавшей мне, натянул штаны с сапогами и накинул на плечи плащ, почти не соображая, что, собственно, делаю.

Едва я оделся, в комнату поднялся мастер Аск.

— Надеюсь, не помешал? — спросил он. — Услышал шаги наверху, и…

Я отрицательно покачал головой.

— Я вовсе не хотел тебя потревожить.

Тут я невольно провел ладонями по подбородку и, как это ни глупо, только теперь вспомнил об отросшей щетине.

— Вот растяпа, — проговорил я. — Побриться ведь собирался, прежде чем плащ надевать… а то не брился с тех самых пор, как из лазарета ушел…

Казалось, мой разум бредет к горизонту сквозь льды, предоставив языку и губам справляться самим, как сумеют.

— В доме есть и горячая вода, и мыло.

— Это хорошо, — отрешенно откликнулся я. — Скажи, а если я спущусь вниз, то…

Губы хозяина дрогнули, складываясь во все ту же легкую улыбку.

— Увидишь ли за окном те же самые льды? Нет. И догадался ты об этом первым, только, позволь узнать, как?

— Когда-то, в давние времена… нет, на самом-то деле всего несколько месяцев тому назад, хотя сейчас те дни кажутся далеким прошлым, в Нессе мне довелось побывать в Ботанических Садах. Видел я там одно место, называвшееся Птичьим Озером, где тела умерших будто бы вечно остаются нетленными. Мне объяснили, что это из-за какого-то особого свойства воды, но я уже тогда усомнился, способна ли обычная вода обладать такой силой. А еще было там место под названием Сад Джунглей, где листва куда зеленее обычного — я даже не думал, что такое бывает. Каждый листок, каждый стебелек не ярко зелен, а почти черен от зелени, будто растениям не по силам усваивать всю энергию, излучаемую солнцем. И люди там… казалось, они не из нашего времени, хотя не могу сказать из какого — из прошлого или из будущего, а может, из какого-то третьего, не относящегося ни к тому, ни к другому. Жили они в небольшой хижине, гораздо меньше твоего дома, но чем-то очень с ним схожей. После этой прогулки я много раз размышлял о Ботанических Садах и порой задавался вопросом: быть может, их секрет состоит в том, что на Птичьем Озере ход времени остановлен, а идущий по тропинке Сада Джунглей — уж не знаю, как этого можно

достичь, — движется либо в будущее, либо в прошлое? Хотя я, наверное, слишком много болтаю не по существу…

Мастер Аск покачал головой.

— Так вот, придя сюда, я увидел твой дом на вершине холма. Но когда взобрался наверх, дом куда-то исчез, а долина внизу оказалась совсем не такой, какой мне запомнилась…

Что тут еще можно сказать, я не знал и в растерянности умолк.

— Ты совершенно прав, — подтвердил мастер Аск. — Меня поселили здесь для наблюдений за тем, что ты сейчас видишь вокруг. Однако нижние этажи дома уходят в более древние времена, а ваш период среди них древнейший.

— По-моему, это великое чудо.

Хозяин вновь отрицательно покачал головой:

— Куда чудеснее, что ледник до сих пор обходит эту скалу стороной. Вершины гор много выше уже подо льдом. Нас бережет только редчайшее сочетание множества географических условий, столь хитроумное, что… да, подобное совпадение — вот настоящее чудо!

— Однако со временем ее тоже накроет? — спросил я.

— Да.

— И что же тогда?

— Тогда мне придется уйти. Вернее сказать, уходить придется несколько раньше.

Меня охватила беспричинная злость — та же, какую я порой испытывал в детстве, когда не мог растолковать мастеру Мальрубию очередной вопрос.

— Я имею в виду, что же тогда станется с Урд?

— Ничего, — пожав плечами, отвечал мастер Аск. — То, что ты видишь, — последнее оледенение. Поверхность солнца совсем тускла и вскоре ярко вспыхнет от жара, однако само солнце сожмется, так что будет отдавать окрестным мирам еще меньше энергии. В итоге, если на Урд появится кто-то живой, с поверхности льда солнце покажется ему попросту яркой звездой. А лед, на который он встанет, будет уже не ледником, который ты видишь за окнами, а замерзшей атмосферой этого мира. Под этим льдом Урд и останется на долгие-долгие времена. Возможно, до завершения дня мироздания.

Я, отойдя к другому окну, снова окинул взглядом бескрайние льды.

— И скоро ли это случится?

— Сейчас ты смотришь в будущее, на многие тысячи лет вперед.

— Но ведь льды-то пришли сюда с юга?

— И с горных вершин, — кивнув, подтвердил мастер Аск. — Идем-ка со мной.

Вдвоем мы спустились на второй этаж, которого я, поднимаясь наверх накануне, практически не заметил. Здесь окон оказалось гораздо меньше, однако мастер Аск, придвинув к одному из них пару кресел, кивком пригласил меня сесть и выглянуть наружу. Да, все оказалось, как он и говорил, — великолепные в своей чистоте льды ползли с горных склонов книзу, в бой с соснами. На вопрос, верно ли я понимаю, что и это — далекое будущее, он ответил новым кивком и добавил:

— При жизни ты этого более не увидишь.

— Однако осталось совсем недолго? Чуть больше человеческой жизни?

Мастер Аск, пожав плечами, усмехнулся в бороду:

— Скажем так, все зависит от точки зрения. Ты этого не увидишь, и дети твои, и их дети — тоже. И все-таки процесс уже начался. Начался задолго до твоего рождения.

Ничего не знавший о юге, я невольно задумался о жителях островов из истории Гальварда — о немногочисленных укромных долинах, где

вызревает хоть что-нибудь, об охоте на котиков и тюленей. Выходит, еще немного, и южные острова уже не прокормят охотников с семьями, и лодки их в последний раз проскрежещут о галечный берег: «Жена… детишки… жена… детишки»…

— К этому времени, — продолжал мастер Аск, — многие из твоих соотечественников уже покинули Урд. Те, кого они прозвали какогенами, из сострадания отвезли их в другие, лучшие миры. Еще многие уйдут в преддверии окончательной победы льдов. Я, видишь ли, сам — потомок этих последних беженцев.

Я спросил, всем ли удастся спастись.

— Нет, далеко не всем, — ответил он, покачав головой. — Кое-кто не захочет никуда уходить, кое-кого не сумеют найти… а кое для кого не отыщется нового дома.

Долгое время молчал я, глядя на осажденную льдами долину и безуспешно пытаясь собраться с мыслями, и, наконец, сказал:

— Сколько мне помнится, люди религиозные неизменно лгут в утешение, а ужасные истины излагают люди науки. Шатлена Маннея называла тебя святым анахоретом, однако, по всему судя, ты — человек науки и, как говоришь, прислан

своим народом для изучения льдов мертвой Урд.

— Упомянутая тобою разница давным-давно устарела. И религия, и наука с самого начала основывались на вере в нечто, причем не в разное «нечто» — в одно и то же. Ты сам, согласно собственному выражению, есть человек науки, вот я и говорю с тобой на ее языке. А будь здесь Маннея со своими жрицами, говорил бы иначе.

Память моя хранит такое множество воспоминаний, что я нередко путаюсь, теряюсь в их мешанине. Вот и в этот момент, глядя на сосны, раскачивающиеся под натиском неощутимого ветра, которого не мог чувствовать, я словно бы вновь услышал громкий, назойливый бой барабана.

— Некогда, — сказал я, — довелось мне свести знакомство с еще одним человеком, говорившим, будто он из будущего. Кожа его была зелена — почти так же, как вон те деревья, и он рассказывал, что в его время солнце светило гораздо ярче.

— Несомненно, он говорил сущую правду, — кивнув, откликнулся мастер Аск.

— Однако ты говоришь, что до этой картины за окном остается всего несколько человеческих жизней, что это часть процесса, начатого в давние времена, и что это оледенение станет для Урд

последним. Выходит, кто-то из вас лжепророк — либо ты, либо он.

— Я вообще не пророк, — отвечал мастер Аск, — и он тоже не был пророком. Будущего не знает никто, а говорим мы с тобой только о прошлом.

Меня вновь охватила злость:

— Но ты же сказал, что до этой картины осталось всего несколько человеческих жизней?

— Сказал. Однако и ты, и эта картина для меня давнее прошлое.

— Я не какой-то пришелец из прошлого! Я в настоящем живу!

— С собственной точки зрения, ты, разумеется, прав. Только вот забываешь, что я, с твоей точки зрения, видеть тебя не могу. Дом этот — мой. Смотришь ты за мои окна. Мой дом уходит корнями в прошлое. Без этого я бы вскоре сошел здесь с ума, а так — живу себе, читаю минувшие столетия, словно книги, слушаю речи давно умерших, в том числе и твои. Ты полагаешь время единственной нитью, однако на самом деле время — скорее ткань, гобелен, простирающийся во всех направлениях без конца. Я следую нити, ведущей назад. Тебе предстоит следовать цветом, ведущим вперед, но откуда мне знать, что это будет за цвет? Белый может привести ко мне,

зеленый — к твоему зеленому знакомцу.

Не зная, как на это ответить, я лишь промямлил, что всю жизнь представлял себе время в виде реки.

— Да… ты ведь родом из Несса, верно? А Несс был великим городом, выстроенным на речных берегах. Но некогда, еще раньше, стоял он у берега моря, вот и ты лучше представь себе время как море. Волны, приливы, отливы, течения в глубине…

— Знаешь, пора мне, пожалуй, вниз, — перебил его я. — Пора в свое время вернуться.

— Понимаю, — откликнулся мастер Аск.

— А я вот в том не уверен. Твое время, если я не ослышался, — время верхнего этажа этого дома, там у тебя и кровать, и прочие необходимые вещи. Однако, когда позволяет работа, ночуешь ты, согласно собственным же словам, здесь, а ведь — опять же, по собственным твоим словам — время этого этажа ближе к моему, чем к твоему.

Мастер Аск поднялся на ноги:

— Дело лишь в том, что сам я тоже бегу от льдов. Идем? Путь назад, к Маннее, неблизок — подкрепись на дорогу перед уходом.

— К Маннее мы пойдем вместе, — сказал я.

Прежде чем двинуться к лестнице, мастер Аск

обернулся и взглянул на меня:

— Я же ответил, что пойти с тобой не могу. Ты сам убедился, как надежно укрыт этот дом. Для всякого, кто отклонится от верного пути, даже нижний этаж находится в будущем.

Я без лишних слов заломил ему руки за спину, крепко стиснул в захвате оба запястья, а свободной рукой обыскал его. Нет, никакого оружия при нем не нашлось, и одолеть меня силой он, хотя и оказался довольно силен, вопреки всем моим опасениям, не сумел.

— Если не ошибаюсь, ты решил утащить меня к Маннее во что бы то ни стало?

— Да, мастер, и обоим нам будет намного проще, если ты пойдешь сам. Скажи, где здесь можно найти веревку? Не хотелось бы вязать тебя твоим же поясом.

— Веревок в доме нет, — отрезал он.

Тогда я связал ему руки его собственной опояской, как с самого начала и замышлял.

— Когда отойдем подальше, развяжу, — пообещал я, — дай только слово вести себя смирно.

— Я принял тебя как дорогого гостя… Не сделал тебе ничего дурного…

— Сделал, и не так уж мало, но это неважно. Я глубоко уважаю тебя, мастер Аск. Ты пришелся

мне по душе и, надеюсь, не обидишься на меня сильнее, чем сам я обижен тобой. Однако Пелерины поручили мне доставить тебя к ним, и я, по всей видимости, подхожу для этого как нельзя лучше, если ты понимаешь, о чем речь. Ступай вниз, да шагай не спеша. Если споткнешься, за перила ухватиться не сможешь.

Отведя его в комнату, где он кормил меня ужином, я вынул из сундука пару черствых хлебов и лепешку сушеных смокв.

— Сам я себя таковым больше не числю, — продолжал я, — но с детства рос и воспитывался…

С языка едва не сорвалось «палачом», однако мне вовремя (и, кажется, впервые в жизни) пришло в голову, что для того, чем занимается гильдия, это слово подходит не слишком-то хорошо, и я заменил его официальным названием:

— …рос и воспитывался одним из Взыскующих Истины и Покаяния, а мы держим данное слово.

— Я тоже должен исполнить кое-какие дела — там, наверху, где ты провел ночь.

— Боюсь, их придется оставить невыполненными.

В молчании мы вышли за дверь, на вершину скалы, и тут мастер Аск снова заговорил:

— Ладно. Пойду я с тобой, если получится.

Сколько раз мне хотелось выйти за дверь да пойти куда ноги несут…

Я сказал, что сразу же развяжу его, если он поклянется в том честью, но мастер Аск покачал головой:

— Ты можешь счесть, что я обманул твое доверие.

Что это могло значить, я понять не сумел.

— Возможно, где-нибудь там живет и она, женщина, которую я звал Эмблой… однако твой мир — это твой мир. В твоем мире я могу существовать, только если вероятность моего существования достаточно высока.

— Но я же существовал в твоем доме, разве не так? — заметил я.

— Да, поскольку вероятность твоего существования — дело решенное. Ты неотъемлемая часть прошлого, моего прошлого и прошлого этого дома, а вот являюсь ли я частью будущего, к которому ты следуешь, — это еще вопрос…

Тут мне вновь вспомнился зеленый человек из балагана посреди ярмарки в Сальте. Его осязаемость сомнений вроде бы не вызывала.

— А если нет, ты что же — лопнешь, как мыльный пузырь, или развеешься, словно дым? — спросил я.

— Не знаю, — отвечал мастер Аск. — Откуда мне знать, как это выйдет и где я после этого окажусь? Возможно, меня не станет вообще, ни в одном из времен. Оттого я и не вышел бы из дому по собственной воле.

Я подхватил его под руку — наверное, оттого, что подумал, будто таким образом смогу удержать при себе, — и потянул за собой. От вычерченного Маннеей маршрута я не отклонялся ни на шаг, и Последний Приют высился позади, незыблемый, как любой другой дом. Голову переполняли мысли обо всем услышанном и увиденном, и посему какое-то время — шагов двадцать, а может, и тридцать — назад, на пленника, я не оглядывался. Наконец его замечание насчет гобелена напомнило мне о Валерии. Комната, где мы с Валерией угощались печеньем, была увешана гобеленами сверху донизу, а слова мастера Аска о следовании различными нитями будто бы намекали на хитросплетения коридоров, которыми я бежал, прежде чем встретился с ней. Я раскрыл было рот, собираясь рассказать об этом, но обнаружил, что мастер Аск исчез. Мои пальцы сжимали пустоту. Казалось, Последний Приют позади покачнулся, словно корабль на волнах океана льдов… и тут же слился с темной вершиной скалы, на которой сто-

ял, а льды обернулись тем самым, за что я принял их поначалу, — всего-навсего грядой облаков.

XVIII. Просьба Фойлы

Еще шагов сто, а то и больше, мастер Аск окончательно не исчезал, витал рядом. Все это время я чувствовал его поблизости, а порой, если только не пробовал смотреть на него прямо, даже мельком, искоса, видел его, идущего за мной на полшага позади. Каким образом мне удавалось его разглядеть, каким образом ему удавалось вроде бы оставаться со мной, но в то же время отсутствовать, — сие мне неведомо. В наши глаза, подобно многим миллиардам солнц, ливнем струятся потоки фотонов, мельчайших частиц, лишенных заряда и массы, — так объяснял на уроках почти ослепший мастер Палемон. Для нас эти ливни фотонов складываются в образ человека, но иногда человек, которого мы якобы видим, вполне может оказаться не менее (если не более) иллюзорным, чем мастер Аск.

Мудрость его также осталась при мне. Печальная то была мудрость… зато настоящая. Ах, как мне хотелось, чтобы он смог пойти со мной дальше, пусть даже это и значило бы, что приход льдов неотвратим!

— Одиноко мне, мастер Аск, — заговорил я, не

смея оглянуться назад. — Только сейчас сознаю, насколько мне одиноко. Наверное, ты тоже о ком-нибудь да тосковал. Кем была та женщина, которую ты называл Эмблой?

– *Первой женщиной*, — отвечал он, хотя, возможно, его ответ мне только почудился.

— Мешианой? Да, я ее знаю, и она просто прекрасна. Моей Мешианой была Доркас. Я так скучаю о ней… но и об остальных тоже. Когда Текла сделалась частью моего существа, я думал, что впредь не останусь в одиночестве ни на миг, но теперь, когда из наших личностей сложилась новая, нередко тоскую — о Доркас, о Пие с плавучих островов, о маленьком Северианe, о Дротте с Рохом… а будь здесь Эата, обнял бы его что есть сил!

Но знаешь, больше всего хотелось бы мне повидаться с Валерией. Возможно, Иолента и превосходила красотой всех женщин, которых я видел в жизни, однако в лице Валерии имелось нечто такое… такое… просто сердце вон из груди. А я, наверное, был тогда всего лишь мальчишкой, хотя в то время так не считал. Выкарабкался из мрака и оказался в саду, называвшемся Атриумом Времени. Сад ограждали со всех сторон башни — башни семейства Валерии, а посредине

возвышался над землей пьедестал с множеством солнечных часов, и хотя я прекрасно помню его тень на снегу, солнце заглядывало туда разве что на две, самое большее, на три стражи в день: большую часть времени его заслоняли стены да башни. Твои познания, мастер Аск, куда обширней моих — может, ты объяснишь, кому и зачем он мог там, в таком месте, понадобиться?

Порыв ветра, резвившегося среди скал, подхватил, вскинул кверху мой плащ, едва не сорвав его с плеч. Пришлось запахнуться плотнее и натянуть на голову капюшон.

— А занесло меня туда в поисках пса. Я звал его Трискелем и всерьез считал своим, хотя завести собаку прав не имел. Нашел я его среди зимы. В тот день мы занимались стиркой — стирали постельное белье для клиентов, — и сток начисто засорился тряпьем да нитками. Я от работы отлынивал, и Дротт выгнал меня наружу, пробить засор бельевой подпоркой. А на дворе ветер, мороз ужасный… О наступающих льдах я в то время не знал, но чувствовал, что зимы с каждым годом становятся хоть немного, да холодней. И, конечно же, стоило мне открыть сток, руки чуть не по локоть обдало выплеснувшейся наружу грязной водой.

Злился я здорово: я как-никак самый старший из учеников после Дротта с Рохом, и для грязной работы Дротт мог бы найти кого-нибудь помладше. И вот ковыряю я палкой в засорившемся стоке, гляжу — вон он, на том краю Старого Подворья. Должно быть, накануне вечером блюстители Медвежьей Башни устраивали бои для узкого круга избранных, а трупы погибших зверей свалили у крыльца, ждать живодера. Был среди них арсинойтерий, и смилодон, и с полдюжины диких волков, а пес лежал на самом верху. Наверное, погиб последним — судя по ранам, задранный одним из волков. Конечно, на самом деле он был жив, но с виду выглядел мертвей мертвого.

Я подошел поглядеть на него — не столько из любопытства, сколько затем, чтоб ненадолго бросить работу и подышать на окоченевшие пальцы. Пес тоже совсем окоченел и холоден оказался, как… да как все вокруг. Однажды мне довелось зарубить мечом быка, так тот бык, даже мертвый, в луже собственной крови выглядел живее, чем мой Трискель. Однако я потянулся к нему и погладил его по темени. Голова у него была огромной, словно медвежья, уши обрезаны под самый корень — только пара острых кончиков кверху торчит. Погладил я его, смотрю, а он

глаза приоткрыл. Тогда я со всех ног поспешил назад, через двор, и, опасаясь, как бы Дротт не послал Роха проверить, чем я здесь занят, заработал палкой с таким усердием, что тут же сломал ее пополам.

Сейчас, задним числом вспоминая тот день, я никак не могу отделаться от ощущения, будто Коготь уже был у меня в руках, хотя попал он ко мне только через год с лишним. И даже описать, как выглядел Трискель, взглянув на меня, не смогу. Его взгляд проникал в самое сердце. Правда, зверей я, пока Коготь оставался при мне, ни разу не оживлял, но ведь ни разу и не пробовал… наоборот, если они случались поблизости, жалел, что не в силах убить хоть одного — очень голоден был, а вот сейчас задаюсь вопросом: достойно ли губить животных ради еды? Помнится, у тебя среди съестных припасов не нашлось ничего мясного — только хлеб, сыр, вино да сушеные смоквы. Не значит ли это, что в том мире, где живут люди твоего времени, держатся тех же воззрений?

В надежде получить ответ я сделал паузу, однако ответа не последовало. К этому времени вершины самых высоких гор опустились куда ниже солнца, и я больше не понимал, что там,

у меня за спиной, — едва различимый призрак мастера Аска или всего-навсего моя тень.

— В моих руках, — продолжал я, — Коготь не возвращал к жизни людей, убитых людьми, хотя вроде бы исцелил человека-обезьяну, которому я отсек руку по запястье. Доркас считала, будто причина в том, что сделано это мною самим, а я даже не знаю, как это объяснить. По-моему, Коготь не сознавал, кто им владеет… хотя, наверное, вполне мог и сознавать.

— Эй! Счастья и радости в новом году!

Голос окликнувшего меня нисколько не походил на голос мастера Аска и вообще оказался совершенно мне незнаком. Подняв взгляд, я обнаружил шагах в сорока впереди улана — точно такого же, как тот, убитый нотулами Гефора на зеленой дороге к Обители Абсолюта.

Не зная, что тут еще предпринять, я помахал ему и крикнул в ответ:

— Сегодня что ж, Новый год?

Улан, тронув шпорами бока дестрие, галопом подъехал ближе.

— Ну да! День летнего солнцестояния, начало нового года вящей славы Автарха!

Я покопался в памяти, припоминая любимые присказки Иоленты.

— Чье сердце — священный храм для подданных.

— Ловко запущено! Я — Ибар из Семьдесят восьмой ксенагии, и нынче мне — вот невезение! — выпало патрулировать эту дорогу до самого вечера.

— Но пользоваться дорогами в этих краях законом, надеюсь, не запрещено?

— Ни в коей мере. Если ты, конечно, удостоверение личности готов предъявить.

— Да. Да, разумеется, — ответил я и подал улану выписанный Маннеей охранный лист, о котором уже успел позабыть.

Когда меня останавливали по пути к Последнему Приюту, я оба раза ни на миг не усомнился в том, что допрашивающие меня солдаты неграмотны. Каждый глядел на пергамент, глубокомысленно хмуря брови, но, скорее всего, из написанного не понимал ни слова, а попросту любовался печатью Ордена да ровным, энергичным, хотя и несколько необычным, почерком шатлены Маннеи. Улан же читать, безусловно, умел: взгляд его заскользил вдоль строк и даже, кажется, чуть задержался на словах «почетное погребение».

Наконец он аккуратно свернул пергамент, од-

нако оставил его при себе.

— Итак, ты — слуга Пелерин.

— Имею честь быть таковым.

— Значит, ты просто молился… а я поначалу подумал, будто разговариваешь с самим собой. Сам я всей этой религиозной чепухи не приветствую. Над нами штандарт ксенагии, за нашей спиной Автарх, а таинства да моления нам ни к чему… однако, я слышал, женщины они были добрые.

— Веры и во мне не намного больше, — кивнул я, — но в последнем ты совершенно прав.

— И ты был послан ими с поручением. Давно?

— Три дня назад.

— А теперь возвращаешься в их лазарет, что в Медиа Парс?

— Да, — вновь кивнув, подтвердил я, — и надеюсь добраться туда до темноты.

Улан покачал головой:

— Не доберешься. И не спеши туда, вот тебе мой совет.

С этими словами он вернул мне сложенный пергамент, а я спрятал охранный лист в ташку.

— Шел я не один, со спутником, но в дороге мы разминулись. Может быть, ты его видел?

Выслушав описание мастера Аска, улан отрицательно покачал головой:

— Буду поглядывать. Если встречу его, объясню, куда ты пошел. А пока… не ответишь ли на кое-какой вопрос? Вопрос не по службе, так что, если захочешь, можешь просто сказать: не твое, дескать, дело.

— Отчего же, отвечу, если смогу.

— Что ты намерен делать, когда уйдешь от Пелерин?

— Да я пока не думаю от них уходить, — слегка опешив, ответил я. — Может, когда-нибудь, в будущем, но…

— Тогда подумай о службе в легкой кавалерии. Парень ты, вижу, здоровый и исполнительный, таким мы рады всегда. Проживешь вдвое меньше, чем в пехоте, зато служить у нас вдвое веселей.

С этим улан пришпорил дестрие и умчался, оставив меня размышлять над услышанным. Заночевать у дороги он явно советовал не в шутку, всерьез, однако эта-то серьезность и заставила меня поспешить дальше. По счастью, ноги у меня длинные, так что в случае надобности идти я могу с той скоростью, с какой человек обычный бежит рысцой. Стремительно шагая вперед, я выкинул из головы все мысли о мастере Аске и о собственном бурном прошлом. Возможно, дух мастера Аска по-прежнему следовал за мной, а

может, витает рядом даже сейчас, но, если и так, об этом я по сей день остаюсь в неведении.

Не успела Урд отвратить лик от солнца, как я добрался до той самой неширокой дороги, которой мы с мертвым солдатом шли к лазарету чуть больше недели назад. В пыли ее, как и прежде, темнели пятна запекшейся крови, причем куда больше, чем в прошлый раз. После разговора с уланом я всерьез опасался, не обвинили ли Пелерин в каком-либо злодеянии, но теперь понял, что дело лишь в небывалом наплыве раненых, нуждающихся в заботе, а улан просто решил подарить мне ночь отдыха, прежде чем меня снова займут работой. От этих мыслей на душе стало гораздо легче. Великое множество раненых — весьма удобный случай показать, на что я способен, а значит, и Маннея с куда большей вероятностью примет мое предложение продать себя в рабство Ордену… если только мне хватит ума сочинить правдоподобное объяснение неудачи с Последним Приютом.

Однако за последним поворотом дороги меня ожидала совсем иная картина.

Казалось, земля на прогалине, приютившей лазарет, перепахана целой ордой безумцев, и не просто перепахана, а вдобавок разбросана

в стороны: на дне углубления, окаймленного кольцом расщепленных деревьев, уже скопилось неглубокая лужа воды.

До темноты я истоптал прогалину от края до края в поисках хоть каких-нибудь следов друзей, а еще остатков алтаря со спрятанным внутри Когтем. Увы, отыскать мне удалось лишь человеческую ладонь, оторванную от тела у самого запястья. Мужская, принадлежать она с равным успехом могла и Мелитону, и Гальварду, и пленному асцианину, и Винноку.

Ночь я провел у дороги, а с наступлением утра возобновил поиски и ближе к вечеру отыскал уцелевших примерно в полудюжине лиг от прежнего места. Там я обошел все койки, одну за другой, но большинство раненых пребывали в забытьи и забинтованы были так, что лиц не разглядеть. Вполне возможно, среди них находились и Ава, и Маннея, и Пелерина, приносившая к моей койке табурет, но я их попросту не узнал.

Узнать я сумел только Фойлу, и то лишь потому, что она узнала меня, бродившего среди раненых и умирающих, первой, и окликнула:

— Севериан!

Я подошел к ней и принялся расспрашивать ее о случившемся, но Фойла ослабла настолько,

что рассказать почти ничего не смогла. Удар был нанесен неожиданно, лазарет разнесло, будто молнией, и запомнились ей только крики, на которые долгое время никто не отзывался, да появление мало что смысливших в лекарском деле солдат, оттащивших выживших в тыл. Я, как сумел, поцеловал ее на прощание и пообещал непременно вернуться и повидать ее — хотя, наверное, оба мы понимали, что этого обещания мне не исполнить.

— Помнишь, как мы по очереди сказки рассказывали? — спросила она. — Я о них много думала…

Я ответил, что нисколько в этом не сомневаюсь.

— То есть пока нас несли сюда. Мелитон, и Гальвард, и остальные, наверное, погибли. А если так, память о наших историях сохранишь один только ты, Севериан.

Я ответил, что помнить о них буду всю жизнь.

— Хотелось бы мне, чтоб ты порой пересказывал их другим. Зимними днями или по вечерам, когда больше нечего делать. Сами сказки ты помнишь?

— «Моя родная земля — земля далеких горизонтов и необъятного неба, земля пышных трав,

вольных ветров и частого, бешеного стука копыт…»

— Да, так и есть, — подтвердила Фила, и тут ее, кажется, сморил сон.

Второе обещание я сдержал, вначале записав все четыре истории на чистых страницах книги в коричневом переплете, а после изложив здесь — слово в слово, какими сам слышал их в те долгие погожие дни.

XIX. Гуасахт

Два следующих дня прошли в бесцельных скитаниях. Не стану рассказывать о них в подробностях, так как тут и рассказать-то особо нечего. Наверное, я мог бы завербоваться в любое из целой полудюжины подразделений на выбор, однако впрягаться в солдатскую лямку совсем не хотел. Привлекательнее всего казалось возвращение в Последний Приют, но гордость не позволяла положиться на милосердие мастера Аска, если, конечно, мастер Аск обнаружится на прежнем месте. Еще я не раз думал, что с радостью вернулся бы к должности ликтора Тракса, однако, располагая такой возможностью, скорее всего, побрезговал бы ею воспользоваться. Спал я под деревьями, будто зверь лесной, ел что придется, и то не досыта.

На третий день мне посчастливилось углядеть в траве заржавленный фальшион, очевидно, оброненный кем-то в одном из прошлогодних сражений. Вынув фляжку с маслом и обломок точильного камня (то и другое я вместе с рукоятью «Терминус Эст» сохранил при себе после того, как забросил обломки клинка в воду), я целую

стражу с радостью отчищал и точил находку, а покончив с этим, двинулся дальше и вскоре набрел на дорогу.

На охранный лист Маннеи рассчитывать явно больше не стоило, а посему шел я уже не столь беспечно, как по пути от мастера Аска, избегая ненужных встреч. Однако возвращенный Когтем к жизни мертвый солдат, ныне звавшийся Милесом (хотя я-то быстро заметил в нем множество черт Ионы), уже наверняка подыскал себе новое подразделение. Если так и если его еще не отправили в бой, искать его следовало на дорогах либо поблизости от дорог, а мне очень хотелось поговорить с ним — ведь он, подобно Доркас, тоже провел какое-то время в землях мертвых. Конечно, Доркас обитала там куда дольше, но я надеялся, сумев расспросить его поскорее, пока время не стерло воспоминаний, узнать нечто новое, а с помощью узнанного если не вернуть ее, то хотя бы примириться с ее утратой.

Отчего? Оттого, что сейчас я любил ее куда крепче, чем в то время, когда мы шли по бездорожью в Тракс. Тогда, в пути, все мои мысли занимала Текла, и я постоянно тянулся к ней, живущей во мне. Ныне — хотя бы уже потому, что я давным-давно успел с нею свыкнуться, — близость

наша казалась теснее любых объятий, интимнее любого совокупления: подобно мужскому семени, проникающему в лоно женщины, дабы (если будет на то воля Апейрона) произвести на свет новое человеческое существо, Текла, войдя в уста мои, моею волей слилась с человеком по имени Севериан, породив иного, нового человека, меня, по-прежнему зовущегося Северианом, но вполне сознающего свою, если можно так выразиться, двойственность.

Удалось бы мне добиться от Милеса-Ионы желаемого, нет ли — не знаю, судить не могу, поскольку так и не нашел его, хотя продолжаю искать по сей день. Ближе к вечеру поиски привели меня в бескрайние заросли изломанных, расщепленных деревьев, а под ноги время от времени начали попадаться трупы в различных стадиях разложения. Несколько я, подобно телу Милеса-Ионы, обшарил в надежде разжиться чем-либо полезным, однако тут меня опередили более расторопные мародеры, не говоря уж об маленьких острозубых фенеках, являвшихся на поле боя по ночам за своей долей добычи — человеческой плотью.

Спустя еще какое-то время, изрядно утративший силы, я остановился у дымящегося остова

пустой обозной повозки. Здесь же, в дорожной пыли, по обе стороны от лежавшего ничком погонщика, покоилась пара упряжных мулов, очевидно, убитых не так уж давно, и я рассудил, что не совершу большого греха, если, срезав с их туш побольше мяса, унесу его в какое-нибудь укромное место, где смогу развести костерок. Однако, стоило мне вонзить острие фальшиона в филейную часть одного из мулов, издали донесся частый цокот копыт, и я, решив, что копыта принадлежат дестрие конного нарочного, отошел к обочине, чтоб пропустить его.

Но нет, всадником оказался невысокий, коренастый, энергичный на вид человек верхом на рослом, плохо ухоженном скакуне. Увидев меня, он натянул поводья, но, судя по выражению его лица, готовиться к бою или к бегству не стоило. (В противном случае мой выбор пал бы на бой: от дестрие среди пней да поваленных стволов толку мало, и, несмотря на хауберг и обшитый бронзовыми кольцами шлем из яловой кожи, я, пожалуй, совладал бы с незнакомцем без особого труда.)

— Кто ты таков? — крикнул он, а услышав ответ, добавил: — Севериан из Несса, стало быть, а? Цивилизованный, стало быть, человек, а если

и дикий, так разве что наполовину… но, вижу, с кормежкой у тебя нынче не очень.

— Напротив, — не желая показаться ослабшим, возразил я, — в последнее время я привык к много худшему.

— Однако добавка не помешала бы — не асцианская же кровь у тебя на клинке. Ты кто, скьявони? Из иррегулярных?

— Да, регулярной мою жизнь сейчас определенно не назовешь.

— То есть к определенной части ты не приписан?

С неожиданной ловкостью спешившись, незнакомец бросил наземь поводья и твердым, уверенным шагом подошел ко мне. Был он слегка кривоног, а его голову словно бы вылепили из глины и сплюснули, смяли перед тем, как обжечь, так что лоб и подбородок, сделавшись ниже обычного, раздались в ширину, глаза превратились в щелки, рот — в жабью пасть. Несмотря на все это, их обладатель сразу пришелся мне по душе живостью нрава и тем, что даже не пробовал спрятать под маской напускной благообразности жуликоватость натуры.

— Нет, — отвечал я, — не приписан. Ни к кому, ни к чему, кроме собственных воспоминаний.

— А-а! — вздохнул он, на миг подняв глаза к небу. — Понятно, понятно. У всех у нас жизнь не без горестей, у всех до единого. В женщине дело или с законом, может быть, нелады?

Собственных бед я до сих пор в этаком свете не рассматривал, но, поразмыслив немного, признался, что дело и в том, и в другом.

— Ну, коли так, считай, ты пришел куда следовало и встретил как раз кого нужно. Как тебе нравится сытный ужин нынче же вечером, целая куча новых друзей и горсть орихальков назавтра, прямо с утра? Неплохо ведь, а? По-моему, просто прекрасно!

С этим он отошел назад, к дестрие, рука его мелькнула в воздухе, точно клинок умелого фехтовальщика, и скакун оказался схвачен под уздцы, не успев отпрянуть прочь. Завладев поводьями, мой новоявленный благодетель с тем же проворством, с каким спешивался, взлетел в седло.

— Садись позади! — велел он. — Ехать недалеко, и моя скотинка свезет двоих без труда.

Я так и сделал, хотя с куда большим трудом, так как вынужден был обойтись без помощи стремени. Стоило мне усесться, дестрие, изогнувшись подобно бушмейстеру, едва не тяпнул меня

за колено, однако его хозяин, очевидно заранее ждавший чего-либо в этом роде, так приложил его меж ушей бронзовой рукоятью кинжала, что скакун споткнулся и чуть не упал.

— Не обращай внимания, — пояснил незнакомец. Короткая шея не позволяла ему оглянуться, и оттого говорил он левым углом рта, дабы я не сомневался, что слова его адресованы мне. — Скотинка у меня превосходная, в бою — просто зверь. Это он так, для порядку, чтоб ты знал ему цену. Вроде инициации, понимаешь ли. Знаешь такое слово?

Я ответил, что со значением сего слова, пожалуй, знаком.

— Без подобных вещей ни одно стоящее сообщество не обходится, вот увидишь — я сам в этом на опыте убедился. И еще ни разу в жизни не видал испытаний, с которыми парень хваткий, смышленый не смог бы справиться, а после посмеяться над ними от всей души.

С этим загадочным ободрением он вонзил шпоры невероятной длины в бока дестрие, будто вознамерился выпотрошить его на месте, и мы помчались, полетели вдоль дороги, волоча за собою шлейф пыли.

Проехавшись на скакуне Водала по окрестно-

стям Сальта, я в силу невежества рассудил, что все дестрие, сколько ни есть их в мире, делятся на два сорта: животных породистых, резвых и вялых, медлительных скакунов не столь благородных кровей. Лучшие, полагал я, бегут легко, грациозно, словно гончие коты, а те, что похуже, движутся настолько неторопливо, что легкость поступи уже не важна. Однако излюбленная максима одного из наставников Теклы гласила: любое бинарное суждение заведомо ложно, — и во время этой поездки я проникся к нему нешуточным уважением. Скакун моего благодетеля принадлежал к еще одному, третьему (и, как я с тех пор убедился, весьма распространенному) сорту, охватывающему животных, способных обогнать летящую птицу, но при этом бегущих словно по каменной мостовой на ногах из железа. Вдобавок мужчины, как всем известно, обладают множеством преимуществ над женщинами и в силу сего обстоятельства испокон веку служат им защитой и опорой, однако женщины также могут похвастать кое-каким немалым преимуществом над мужчинами: от начала времен ни одной из них ни разу не довелось защемить органов размножения меж собственным тазом и костлявым хребтом подобной скотины, идущей галопом. Ме-

ня же, прежде чем мы остановились, сия напасть постигла раз двадцать, если не тридцать, отчего я по приезде на место, наконец-то соскользнув с крупа дестрие и едва увернувшись от удара задним копытом, пребывал не в самом радужном расположении духа.

Остановились мы на одном из небольших укромных лужков, порой встречающихся среди холмов севера, — на более-менее ровном клочке земли около ста маховых шагов в ширину.

Посреди лужка возвышался шатер величиной с добрый крестьянский дом, а перед шатром трепетал на ветру полинялый, черный с зеленым флаг. На травке вольготно паслись несколько дюжин стреноженных дестрие, а среди них столь же вольготно расположилось на отдых примерно столько же оборванцев да горстка весьма неопрятного вида женщин: одни спали, другие чистили доспехи, третьи целиком отдались азартной игре.

— Глядите сюда! У нас новый рекрут! — заорал мой благодетель, спешившись и встав со мной рядом, а затем обернулся ко мне: — Ты, Севериан из Несса, прибыл в расположение Восемнадцатой бакелы иррегулярных контариев, и каждый из нас — боец отчаянной храбрости, если дело пах-

нет деньжатами!

Оборванцы со своими дамами начали подниматься с земли и неспешно, вразброд, не пряча ухмылок, потянулись к нам. Первым шел некто высокий, однако невероятно худой.

— Вот вам, ребята, Севериан из Несса — прошу любить и жаловать! — продолжал мой благодетель. — Севериан, я — твой кондотьер, зовут меня Гуасахт. А эта жердина, что даже длиннее тебя, — Эрблон, первый мой заместитель. Остальные, не сомневаюсь, представятся сами. Эрблон, у меня к тебе дело. Насчет завтрашних патрулей.

С этим он подхватил длинного под локоть и потащил к шатру, оставив меня в окружении толпы прочих бойцов. Один из самых дюжих — медвежьего телосложения, почти моего роста, но вдвое меня тяжелей — кивком указал на мой фальшион:

— А ножен для него у тебя нет? Дай-ка взглянуть.

Я отдал оружие без возражений: что бы ни произошло дальше, поводом для смертоубийства оно наверняка не послужит.

— Выходит, ты кавалерист, верно?

— Нет, — отвечал я. — В седле, конечно, держусь, однако мастером себя не считаю.

— Но управляться-то с дестрие обучен?

— Я куда лучше управляюсь с людьми, чем со скакунами. Как с мужчинами, так и с женщинами.

Все в один голос расхохотались.

— Тоже сгодится, — сказал дюжий малый. — Верхом ездить все равно придется нечасто, а вот знание женщин — и дестрие — будет тебе хорошим подспорьем.

В слова его вплелся звучный топот копыт. Двое бойцов подвели к нам пегого дестрие, мускулистого, с диким огнем в глазах. Поводья его были разделены надвое и наращены, так что коноводы могли вести его, держась справа и слева, шагах в трех от головы. В седле, насмешливо скалясь, непринужденно восседала растрепанная рыжая, точно лиса, девица, взамен уздечки державшая в руках по хлысту. Бойцы и их дамы радостно завопили, захлопали в ладоши, и пегий, испуганный этаким шумом, вихрем взвился на дыбы, молотя воздух перед собою передней парой копыт — точнее, трезубых роговых наростов, называемых нами копытами, хотя это скорее уж не копыта, а когти, вонзающиеся в тело врага не хуже, чем в землю. Мелькали они с такой быстротой, что глазом не уследить.

Дюжий малый хлопнул меня по спине:

— Этот — не лучший из тех, что у меня имелись, однако вполне неплох, и объезжал я его сам. Сейчас Месроп с Лактаном отдадут тебе поводья, а ты просто сядь на него верхом. Сумеешь оседлать его, не столкнув Дарию, — делай с ней что пожелаешь, пока мы тебя не настигнем. *Эй, там, давай!* — взревел он, возвысив голос.

Я ожидал, что мне передадут поводья из рук в руки, однако оба разом швырнули ремни мне в лицо, а я, инстинктивно вскинув руки, не поймал ни того, ни другого. В тот же миг кто-то подхлестнул пегого сзади, а дюжий малый издал странный, режущий уши свист. Между тем пегий, подобно дестрие из Медвежьей Башни, был явно обучен бою, а его клыки, пусть даже не окованные металлом, оставшиеся теми же, какими сотворены природой, торчали из пасти, точно кинжалы.

Увернувшись от мелькнувшего у виска копыта, я ухватил пегого за узду, но тут лоб и щеку обожгло ударом хлыста, а пегий, рванувшись вперед, сбил меня с ног.

Должно быть, наемники придержали его, иначе не миновать бы мне гибели под копытами. Возможно, кто-то из них поднял на ноги и меня

— я этого не заметил. В горле першило от пыли, глаза заливала кровь из рассеченного лба.

Обогнув дестрие справа, чтоб не попасть под удары копыт, я вновь бросился к нему, однако он развернулся куда быстрее, а девица по имени Дария щелкнула хлыстами у меня перед носом. Скорее от злости, чем следуя некоему замыслу, я перехватил один из них. Темляк хлыста обвивал запястье рыжеволосой, и посему, рванув хлыст на себя, я сдернул ее с седла, а упала она прямо в мои объятья. Упала и чувствительно укусила меня за ухо, однако я поймал ее за загривок, развернул спиной к себе, крепко стиснул свободной рукой упругую ягодицу и поднял рыжеволосую в воздух. Испугавшийся ее отчаянно взбрыкнувших в воздухе ног, пегий шарахнулся прочь, и я двинулся вперед, тесня его на толпу, а когда кто-то из его мучителей кольнул дестрие сзади, подгоняя его ко мне, наступил на поводья каблуком сапога.

Далее дело пошло куда проще. Бросив девицу, я подхватил пегого под уздцы, развернул мордой книзу и пинком вышиб из-под него переднюю ногу (так нас учили усмирять непокорных клиентов). Пегий с пронзительным животным ржанием рухнул наземь. Не успел он подняться, как я оказался в седле, хлестнул его по бокам

концами поводьев, стрелой пронесся сквозь раздавшуюся толпу, развернул укрощенного дестрие и снова помчался на зрителей.

В жизни я много раз слышал о возбуждении, вселяемом в душу подобными скачками, но сам никогда прежде его не испытывал и в тот момент обнаружил, что все это сущая правда. Наемники и их дамы с воплями бросились кто куда, несколькие обнажили мечи, но с тем же успехом могли бы бряцать оружием перед надвигающейся грозой: я одним махом разметал в стороны более полудюжины. Рыжие волосы девицы, тоже пустившейся в бегство, развевались за ее спиной, словно знамя, но кому из людей по силам уйти от этакого скакуна? Проносясь мимо, я ухватил ее за пламенеющее знамя волос, вздернул кверху и перекинул через переднюю луку седла.

Извилистая тропа привела нас к темной лощине, а та лощина — к другой. Впереди брызнула в стороны стая вспугнутых оленей, и мой дестрие, тремя скачками нагнав одного, в нежной бархатной шерстке, плечом оттер его в сторону. Будучи ликтором Тракса, я слышал, как тамошние эклектики охотятся на оленей, настигая добычу верхом, спрыгивая с седла и перерезая ей горло, однако поверил этим рассказам только

теперь, поскольку сам легко перерезал бы этому оленю горло на всем скаку обычным мясницким ножом.

Оставив оленя позади, мы взлетели на гребень холма и стремглав помчались вниз, к безмолвной, поросшей лесом долине. Когда пегий выбился из сил, я позволил ему самому отыскивать путь меж деревьев (таких больших, кряжистых я не видел с тех самых пор, как покинул Сальт), а стоило ему остановиться, чтоб пощипать редкой, нежной травы, растущей среди корней, по примеру Гуасахта швырнул наземь поводья, спешился и снял с седла рыжеволосую девицу.

— Спасибо, — сказала она. — Надо же, смог. Я думала, не сумеешь.

— Иначе не согласилась бы на эту затею? Признаться, я полагал, что тебя заставили.

— Хлыстом тебя так бить было незачем. Ты ведь теперь поквитаться захочешь? Поводьями, да?

— Отчего ты вдруг так решила?

Изрядно уставший, я опустился на землю. Среди травы желтели цветы — крохотные, не больше капли дождя. Сорвав пару, я обнаружил, что пахнут они каламбаном.

— Не похож ты на тех, кто прощает обиды. К тому же и вез меня кверху задницей, а делают так

те, кому хочется хлестнуть по ней побольнее.

— Не знал. Интересное наблюдение.

— Я таких повидала целую уйму. — Проворно, грациозно усевшись рядом со мной, она положила руку мне на колено. — Послушай, это же посвящение, всего-навсего посвящение. Проделываем мы это по очереди, и сегодня как раз моя очередь подошла, а что хлыстом тебя — просто обычай такой. Теперь-то все позади.

— Понимаю.

— Значит, не станешь бить меня? Вот и славно. Мы с тобой тут неплохо можем развлечься. Все, что захочешь и сколько захочешь: назад до ужина можно не возвращаться.

— Разве я обещал не трогать тебя?

Все это время старательно, вымученно улыбавшаяся, рыжая вмиг помрачнела и опустила взгляд. Казалось, она готова пуститься в бегство.

— Ладно, так тебе будет только веселее. Делай что пожелаешь. — Ладонь ее скользнула по моему бедру кверху. — А знаешь, с виду ты очень мил. Высокий такой… — Склонившись, она уткнулась лицом мне в колени, одарила меня дразнящим поцелуем и тут же выпрямилась. — Неплохо ведь может выйти, очень даже неплохо…

— А еще ты вполне можешь покончить с собой.

Нож у тебя имеется?

На миг рот рыжеволосой сделался безупречно круглым, точно ровное, старательно выведенное «О».

— Ты не в своем уме?! Как же я раньше-то…

С этим она вскочила на ноги, но, пойманная за лодыжку, ничком распростерлась в мягкой траве. Рубашка ее, истлевшая до полной ветхости, расползлась надвое, стоило лишь потянуть.

— А говорила, бежать не собираешься.

Рыжеволосая оглянулась, во все глаза уставилась на меня.

— Ни ты, ни они надо мной не властны, — сказал я. — Я не боюсь ни боли, ни смерти. Из женщин, ныне живущих на свете, мне нужна только одна, а из мужчин — ни один, кроме меня самого.

XX. Патруль

Рубеж для обороны нам достался небольшой, не более пары сотен шагов в ширину, а враги в большинстве своем вооружены были только ножами да топорами (вражеские топоры и оборванный вид пробуждали в памяти воспоминания о добровольцах, от которых я спас Водала в нашем некрополе), однако исчислялись они многими сотнями, и число их неуклонно росло.

Перед самым рассветом наша бакела, оседлав дестрие, оставила лагерь и отправилась патрулировать тылы вдоль постоянно колеблющейся линии фронта. Не успели тени укоротиться, как один из разведчиков показал Гуасахту глубокие колеи — следы повозки, движущейся на север. Еще добрых три стражи мы гнались за ней.

Захвативший ее отряд асциан дрался великолепно. Вначале они, к изрядному нашему удивлению, устремились на юг, затем свернули к западу, а после снова, точно судорожно извивающаяся змея, помчались на север, но на каждом шагу оставляли за собою убитых, угодивших под перекрестный огонь — наш и солдат из охраны повозки, стрелявших по врагу изнутри, сквозь

амбразуры. Других охотников мы заметили только ближе к концу, когда асцианам некуда стало бежать.

К полудню они окружили ту небольшую долину со всех сторон. Блестящая сталью повозка с убитыми и умирающими, запертыми внутри, увязла в земле по ступицы. Перед ней, под охраной наших бойцов, получивших ранения, сидели на корточках взятые в плен асциане. Асцианский офицер понимал наш язык, и стражей ранее Гуасахт велел ему высвободить повозку, а когда у пленных ничего не вышло, пристрелил около полудюжины, после чего их осталось человек этак тридцать — практически голых, ко всему равнодушных, с пустыми, остекленевшими взглядами. Оружие асциан свалили грудой в сторонке, там же, где ждали на привязи дестрие.

В очередной раз обходя позиции, Гуасахт задержался возле пенька, служившего укрытием моему соседу. Из-за кустов невдалеке, несколько выше по склону, высунула голову одна из врагов, женщина. Мой контос немедля поразил ее сгустком пламени. Рефлекторно вскинувшись, женщина скорчилась, съежилась, будто паук, брошенный в угли костра. Лицо ее ниже красного головного платка было измазано чем-то вроде

белил, и я вдруг понял, что из укрытия она высунулась не по собственной воле — возможно, те, кто прятался в тех же кустах вместе с ней, за что-то ее невзлюбили, а может, просто не дорожили ею и посему заставили вызвать огонь на себя. Подумав об этом, я выстрелил снова. Сгусток огня полоснул зеленый подлесок, облачко едкого дыма поплыло ко мне, точно призрак убитой.

— Боеприпасы впустую не трать, — проворчал Гуасахт, думаю, скорее по привычке, чем от страха, припавший к самой земле возле моего локтя.

Я спросил, не кончатся ли боеприпасы до наступления ночи, если стрелять по шесть раз каждую стражу.

Гуасахт молча пожал плечами, а затем покачал головой:

— Именно с такой частотой я, судя по солнцу, стрелял из этой штуки до сих пор. Ну а когда придет ночь…

Сделав паузу, я взглянул на Гуасахта, однако он только снова пожал плечами.

— Ночью, — продолжал я, — их будет не разглядеть, пока не подойдут вплотную. Стрелять придется, можно сказать, наугад. Дюжин пять-шесть так положим, а после — только мечи обнажить, встать спиною к спине и биться, пока

не сомнут.

— Подмога прибудет раньше, — возразил Гуасахт, а увидев, что я ему не поверил, сплюнул на сторону. — Эх, век бы не видеть этого треклятого следа… век бы о нем не слышать…

Я, в свою очередь, тоже пожал плечами:

— Так, может, оставить повозку асцианам, а самим на прорыв?

— Там деньги, точно тебе говорю! Золото для наших ребят. Сам видишь: вон тяжесть какая.

— Броня тоже весит немало.

— Не столько же! Мне такие повозки знакомы прекрасно. Возят в них золото из самого Несса, а может, даже из Обители Абсолюта. Вот только эти твари внутри… Кто подобных когда-нибудь видывал?

— Я, например.

Гуасахт в изумлении вытаращил глаза:

— Где бы это?!

— Проходя сквозь Ворота Сострадания, что в Несской Стене. Все это — зверолюди, созданные при помощи тех самых утраченных знаний, благодаря которым наши дестрие скачут быстрее дорожных машин древности, — пояснил я и, попытавшись припомнить, что еще рассказывал о них Иона, закончил не так уж впечатляюще: —

Автарх поручает им службу, слишком трудную для людей, или такую, которой людям лучше не доверять.

— Ну тут он, наверное, прав. Денег им наверняка не украсть: куда они после с краденым денутся? Послушай, я все это время к тебе приглядывался…

— Знаю, — подтвердил я. — Чувствовал.

— Приглядывался я к тебе, говорю. Особенно после того, как ты сумел погнать этого пегого на того, кто его объезжал. Понимаешь, людей сильных и храбрых мы здесь, в Орифии, видели множество — по большей части перешагивая через их трупы. Умников тут тоже немало встречается, да только девятнадцать из двух десятков слишком умны, чтоб хоть кому-нибудь, считая их же самих, от них польза была. А люди самые ценные — среди таких даже женщины встречаются иногда — те, в ком есть особая сила, умение внушать другим охоту им подчиняться. Скажу не хвастаясь, во мне она есть. И в тебе тоже.

— Интересно. Где ж она раньше, в прежней жизни, была?

— Случается, она только на войне себя и оказывает. Таково одно из достоинств войны, а поскольку у войны их — по пальцам пересчитать,

имеющиеся дорого стоят. Я, Севериан, вот что хочу тебе поручить: сходи-ка к повозке, попробуй поладить с этими зверолюдьми, раз уж хоть что-то в них смыслишь. Уговори их выйти и помочь нам отбиться. В конце концов, мы с ними вроде как заодно.

— А деньги, если мне удастся уговорить их отпереть дверцы, можно на всех поделить, — кивнул я. — Не все же полягут здесь: кто-нибудь наверняка уцелеет.

Гуасахт, с досадой скривившись, покачал головой:

— Я тебе что говорил насчет шибко умных? Был бы ты в самом деле умен, не пропустил бы этого мимо ушей. Нет, скажи им: пусть даже их всего трое-четверо, у нас каждый боец на счету. Вдобавок есть шанс, что эти треклятые грабители от одного их вида зайцами разбегутся. Давай контос, я тут до твоего возвращения позицию подержу.

Я подал ему свой длинный контос.

— А что это, кстати, за толпа?

— Эти-то? Сброд, шатающийся вокруг воинских лагерей. Маркитанты, шлюхи обоих полов. Дезертиры. Время от времени Автарх или кто-нибудь из его генералов приказывает переловить их и к делу приставить, так они удирают сразу же.

Удирать тайком — на это они мастера. Их извести бы под корень, и дело с концом.

— Значит, я уполномочен говорить с пленниками в повозке от твоего имени? Ты, если что, готов меня поддержать?

— Они вовсе не пленники… хотя ты, наверное, прав. Передай им, что я сказал, и постарайся выторговать условия как можно лучше. Я тебя поддержу.

Я задержал на нем взгляд, гадая, всерьез ли он это все. Как и во многих людях средних лет, в нем уже поселился старик, коим ему лишь предстояло стать — раздраженный, озлобленный на весь мир, заранее бормочущий колкости да ругательства, приготовленные для последней схватки.

— Слово даю: поддержу. Ступай.

— Что ж, ладно.

Я поднялся на ноги.

Бронированная повозка весьма напоминала кареты, в которых к нам, в Цитадель, привозили клиентов особой важности: узкие окна забраны решетками, задние колеса — в человеческий рост высотой. Гладкая сталь боковых стенок наводила на мысли о тех самых утраченных знаниях, о которых я поминал в разговоре с Гуасахтом, а зверолюди, запершиеся внутри, несомненно,

располагали оружием куда лучше нашего. Держа руки перед собой, дабы показать, что сам не вооружен, стараясь шагать как можно увереннее, я двинулся к повозке, и вскоре за одной из оконных решеток показалось лицо.

Воображение слышащих о подобных созданиях обычно создает образ чего-то неизменного, среднего между зверем и человеком, но всякий видящий их воочию — подобно мне, увидевшему зверочеловека в окне повозки, и повидавшему людей-обезьян, обитающих в руднике неподалеку от Сальта, — обнаруживает, что они вовсе не таковы. Пожалуй (более подходящих сравнений мне в голову не приходит), зверочеловека уместнее всего сравнить с белой березой, трепещущей на ветру: едва на виду окажется изнанка листвы, обычное дерево вмиг оборачивается неким небывалым, сверхъестественным существом. В точности так же обстоит дело и со зверолюдьми. Поначалу мне показалось, будто сквозь решетку на меня смотрит пес, мастиф, но затем взору моему предстал скорее не пес, человек — благородный в своем уродстве, янтарноглазый, изжелта-смуглый лицом. Вспомнив Трискеля, я поднял руки к решетке, чтобы он верней уловил и запомнил мой запах.

— Что тебе нужно?

Голос его оказался резким, однако не раздражающим.

— Хочу спасти ваши жизни, — ответил я, но, едва закрыв рот, понял, что начал разговор совсем не с того, с чего следовало.

— А нам нужно спасти свою честь.

— Честь есть высшее в жизни, — кивнув, согласился я.

— Если знаешь, как нам спасти свою честь, говори. Мы тебя выслушаем. Но вверенного нам не отдадим ни за что.

— Вы его уже отдали, — сказал я.

«Ветер» утих, и за решеткой вновь появился, сверкнул клыками, полоснул меня огненным взглядом мастиф.

— Вас посадили в эту повозку не для охраны золота от асциан, но затем, чтобы сберечь груз от своих, от наших же нечистых на руку соотечественников. Асциане разбиты — вон, поглядите на них. Мы — люди, верные Автарху, но те, от кого вам поручено охранять золото, нас вскоре сомнут.

— Чтобы добраться до золота, им придется покончить со мной и моими товарищами.

Выходит, в повозке *действительно* золото…

— Так они и сделают, — подтвердил я. — Выходите и помогите нам отразить нападение, пока у нас еще есть шанс на победу.

Зверочеловек призадумался, и это внушало надежду: возможно, я не так уж ошибся, начав разговор со спасения его жизни.

— Нет, — поразмыслив, ответил он. — Нельзя. Никак нельзя. Может быть, ты предлагаешь разумное — не знаю, судить не берусь. Наш закон — не рассудок. Наш закон — честь и повиновение. Мы остаемся внутри.

— Но вы понимаете, что мы вам не враги?

— Любой, покушающийся на охраняемый нами груз, нам враг.

— Мы тоже охраняем ваш груз. Если эти шлюхи с дезертирами подойдут на расстояние выстрела, вы откроете по ним огонь?

— Да, разумеется.

Подойдя к кучке упавших духом асциан, я спросил, кто ими командует. Поднявшийся оказался только чуть выше ростом, чем прочие. В глазах его поблескивали искорки разума — разума того сорта, что свойственен самым изобретательным из пораженных безумием. Я сказал ему, что послан Гуасахтом для переговоров от его имени, так как немало общался с пленными асциана-

ми и знаком с их обычаями. Все это, как и было задумано, слышали также трое охранников из раненых, видевшие, что Гуасахт заменил меня на позиции.

— Приветствую тебя именем Группы Семнадцати, — откликнулся асцианин.

— Именем Группы Семнадцати.

Изрядно удивленный, асцианин кивнул.

— Нас окружили неблагонадежные подданные Автарха Содружества, враждебные не только Автарху, но и Группе Семнадцати. Однако у нашего командира, Гуасахта, есть план, сулящий всем нам и жизнь, и свободу.

— Число служащих Группе Семнадцати недопустимо уменьшать без цели.

— Вот именно. План таков. Наших дестрие запряжем в стальную повозку — всех, сколько потребуется, чтоб ее вытащить. Тебе со своими людьми тоже придется ее подтолкнуть. Высвободив повозку, мы вернем вам оружие и поможем вырваться из окружения, а после вместе с твоими солдатами пойдем на север. Повозку с деньгами забирайте, ведите к начальству, как и рассчитывали, когда захватили ее.

— Свет Верного Мышления проникает сквозь любой мрак.

— Нет, мы на сторону Группы Семнадцати переходить не намерены. Взамен нам нужна ваша помощь. Во-первых, помогите нам вытащить из грязи повозку. Во-вторых, помогите нам вырваться из окружения. В-третьих, проводите нас через ваши позиции на ту сторону фронта и назад, к своим.

Асцианский офицер бросил взгляд в сторону сверкающей сталью повозки.

— Всякое поражение преходяще, но неизбежный успех может требовать новых планов и бóльших сил.

— Значит, ты с моим новым планом согласен?

До этого я не замечал, что весь покрылся испариной, но тут от пота защипало в глазах, и я утер взмокший лоб краем плаща — совсем как мастер Гюрло.

Офицер-асцианин кивнул:

— Изучение Верного Мышления со временем открывает каждому путь к успеху.

— Да, — согласился я. — Что ж, я кое-что изучил. Пусть же за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд.

Вернувшись к повозке, я обнаружил внутри, за решеткой окна, все того же зверочеловека, но на сей раз он встретил меня вовсе не столь

враждебно, как прежде.

— Асциане согласны еще раз попробовать вытолкнуть вашу повозку из грязи, — сообщил я. — Только сначала придется ее разгрузить.

— Это невозможно.

— Иначе золото будет потеряно сразу же после захода солнца. Я не прошу передать его нам — просто выгрузите и возьмите под охрану. Ваше оружие останется при вас, и если кто из людей приблизится к вам вооруженным, вы вправе убить его. Я буду с вами, без оружия. Меня можете убить тоже.

Переговоры затянулись надолго, но в конце концов зверолюди уступили. Тогда я велел раненым, карауливших пленных, отложив контосы, запрячь в повозку четыре пары наших дестрие, а асциане облепили ее со всех сторон, приготовившись тянуть и толкать. Тут дверца в стальном боку повозки отворилась, и зверолюди принялись выносить наружу небольшие металлические сундучки — пока двое трудились, третий, тот, с кем я говорил, стоял возле них на страже. Оказавшиеся куда выше ростом, чем я ожидал, все они были вооружены фузеями, и вдобавок на поясе каждого висел пистолет (а пистолетов мне, кстати заметить, не доводилось видеть с тех самых пор,

как иеродулы на моих глазах отстреливались из них от разбушевавшегося Бальдандерса в садах Обители Абсолюта).

Когда все сундучки оказались снаружи, а трое зверолюдей встали вокруг них с оружием наготове, я крикнул:

— Давай!

Раненые контарии хлестнули бичами запряженных в повозку дестрие, асциане напрягли силы так, что все жилы их вздулись, а глаза едва не вылезли вон из глазниц… и как раз в тот момент, когда все мы утратили надежду на успех, стальная повозка, вырванная из объятий размокшей земли, покатилась вперед и грузно проехала не менее получейна, прежде чем раненым удалось ее остановить. Тут Гуасахт, оставивший пост и со всех ног бросившийся к нам, размахивая моим контусом, едва не погубил и себя, и меня, но, к счастью, зверолюди вовремя сообразили, что он не опасен, а попросту в диком восторге.

Однако стоило ему увидеть, как зверолюди тащат сундучки с золотом обратно в повозку, и услышать, что я пообещал асцианам, восторг его изрядно увял. Пришлось напомнить, что он сам дал мне позволение действовать от его имени на свое усмотрение.

— Но я-то, когда берусь действовать, к победе стремлюсь, — с возмущением прошипел он.

Охотно признав за собою нехватку военного опыта, я заметил, что, на мой взгляд, победа нередко заключается в том, чтоб развязать себе руки.

— Это точно, но все-таки я надеялся, что тебе придет в голову лучший выход.

Неумолимо вздымавшиеся кверху, хотя мы и не замечали их движения, горные пики на западе уже впились остриями в нижнюю кромку солнца, на что я и указал Гуасахту.

Внезапно Гуасахт улыбнулся:

— Ладно. В конце концов, один раз мы у этих самых асциан добычу уже отбили.

Подозвав асцианского офицера, он сообщил новоявленному союзнику, что наши контарии возглавят атаку верхом, а его солдаты могут идти за стальной повозкой пешими. Асцианин ответил согласием, но после того, как его солдаты разобрали отнятое оружие, настоял на том, чтоб разместить полдюжины человек на крыше повозки, а сам вместе с остальными вызвался пойти на прорыв в первых рядах. На это Гуасахт согласился с явной неохотой, показавшейся мне сущим притворством. Затем мы посадили верхом

на каждого из дестрие в новой упряжке по вооруженному бойцу, и я заметил, как Гуасахт что-то негромко втолковывает их корнету.

Я обещал асцианину прорывать заслон дезертиров в северном направлении, однако земля в той стороне для стальной повозки оказалась неподходящей, и в конце концов северное направление с общего согласия заменили северо-западным. Асцианская пехота, паля на бегу, со всех ног устремилась вперед. Следом за асцианами двинулась повозка. Толпу оборванцев, хлынувшую к ней с флангов, встретил плотный огонь наших контариев и фиолетовые разряды аркебуз асциан, засевших на крыше, а фузеи зверолюдей, устроившихся за решетками окон, каждым выстрелом укладывали наземь разом по полдюжины человек.

Основная часть нашей бакелы (а с нею и я) следовала за повозкой, прикрывая тылы — до тех пор, пока вражеская атака не захлебнулась. Дабы сберечь драгоценные боеприпасы, многие вдели контосы в седельные кольца, обнажили мечи и устремились вперед, добивать тех, кто уцелел под ударом возглавивших прорыв асциан.

Вскоре кольцо врагов было прорвано, и путь стал гораздо ровнее. Контарии, сидевшие вер-

хом на дестрие, впряженных в повозку, немедля пришпорили скакунов, а залп Гуасахта, Эрблона и еще нескольких, державшихся прямо за ней, смел с ее крыши асциан, обернувшихся облаком алого пламени пополам с едким, вонючим дымом. Пешие асциане бросились врассыпную, развернулись навстречу нам и открыли огонь.

Участвовать в этом бою мне было вовсе не по душе. Я осадил дестрие, поотстал от прочих и посему — полагаю, прежде всех остальных, — увидел первую анпиэль, подобно ангелу из Мелитоновой сказки, несущуюся вниз, в нашу сторону, из-за окрашенной солнцем гряды облаков. На вид все они — обнаженные, стройные юные девушки — были просто прекрасны, однако ширине размаха их радужных крыльев мог позавидовать любой тераторнис, а в обеих руках каждой из анпиэлей грозно поблескивали пистолеты.

Вечером, после того как мы вернулись в лагерь и позаботились о раненых, я спросил Гуасахта, решился бы он проделать то же самое снова или нет.

Гуасахт на время задумался.

— Заранее знать о появлении этих крылатых девиц я, сам понимаешь, никак не мог. Конечно, если вдуматься, это вполне естественно — ведь

золота там, в повозке, хватило бы на выплату жалованья половине армии, и власти без колебаний отправили на поиски отборные подразделения… но ты сам бы об этом загодя смог догадаться?

Я отрицательно покачал головой.

— Послушай, Севериан, не следовало мне так с тобой разговаривать. Ты сделал все что мог, и такого пройдохи, как ты, еще поискать. И вообще, кончилось все замечательно, верно? Ты сам видел, как дружелюбно их серафима держалась. Ведь она что увидела? Ловких парней, защищающих повозку с золотом от асциан. Мы, надо думать, еще благодарности удостоимся. А может, даже награды.

— Ты мог перебить и зверолюдей, и асциан, когда золото вынесли из повозки, — напомнил я. — Мог, но не стал, поскольку вместе с ними погиб бы и я. Так что благодарности ты вполне заслуживаешь. По крайней мере, моей.

Гуасахт с силой растер ладонями осунувшееся лицо.

— Что ж, я рад не меньше твоего. Уберегла судьба Восемнадцатую… еще стража — и наши наверняка вцепились бы друг другу в глотки из-за этого золота.

XXI. Расстановка сил

До большого сражения мы еще не раз ездили в патрули и не один день провели в безделье, а асциан чаще всего не видели вообще либо видели только мертвыми. Нам полагалось арестовывать дезертиров да гнать с вверенной территории бродячих торговцев и прочих проходимцев, кормящихся при армии, но если пойманные казались похожими на тех оборванцев, их убивали на месте — без церемоний, без каких-либо формальностей, рубили с седла, и дело с концом.

За это время молодая луна подросла, округлилась, словно парящее в небе зеленое яблоко. Опытные бойцы говорили, что самые жаркие битвы случаются как раз в полнолуние либо где-нибудь около, так как полная луна поражает людей безумием. По-моему, на самом деле причина сему состоит в том, что яркость лунного света позволяет полководцам приводить к месту боя подкрепления и среди ночи.

В день битвы резкий рев гресля поднял нас с одеял на рассвете. Проклиная туман, мы выстроились неровной двойной колонной, возглавленной Гуасахтом и Эрблоном с флагом в руках.

Я полагал, что женщины, как и в те дни, когда нас отправляли патрулировать окрестности, останутся в лагере, однако добрая половина их, вооружившись контосами, присоединилась к нам. Те, у кого имелись шлемы, спрятали под них волосы, а многие облачились в довольно тесные, плоские корслеты, надежно скрывавшие груди. Недоумением по сему поводу я поделился с Месропом, вставшим в строй рядом.

— Это чтоб насчет платы недоразумений не возникало, — пояснил он. — Кто-нибудь остроглазый наверняка будет считать нас, а по уговору мужчины обычно требуются.

— Гуасахт говорил, денег сегодня заплатят гораздо больше, — напомнил я.

Месроп, звучно прочистив горло, сплюнул на землю. Белый сгусток слюны канул в туман, словно проглоченный самой Урд.

— Пока бой не кончится, никто нам ничего не заплатит. Расчет после дела, как всегда.

Гуасахт, издав громкий вопль, указал вперед, Эрблон взмахнул флагом, и колонна тронулась в путь. Земля под копытами дестрие загремела, будто сотня барабанов, набитых ватой.

— Это, надо думать, затем, чтоб не платить погибшим? — спросил я.

— Нет, семье погибшего платят втрое: за бой, за гибель кормильца и увольнительное пособие, как положено.

— А семье погибшей, наверное, тоже?

Месроп вновь сплюнул наземь.

Спустя какое-то время колонна остановилась в некоем месте, с виду ничем не отличавшемся от любого другого. Едва топот стих, я услышал какой-то гул, а может, ропот, доносящийся из-за окрестных холмов, разом со всех сторон. Части огромной армии, прежде рассредоточенной по множеству лагерей — из санитарных соображений, а еще, несомненно, с тем, чтобы лишить артиллерию врагов-асциан заманчиво крупных целей, — собирались воедино, словно прах вновь вызванных к жизни танцовщиков среди развалин каменного городища.

Разумеется, все это отнюдь не осталось незамеченным. Подобно стервятникам, преследовавшим нас по дороге к каменному городищу, высоко в небе, по-над россыпью потускневших, растворяющихся в ровном багряном свете утренней зари облаков, навстречу колонне устремились какие-то странные штуковины о пяти лучах, вращавшиеся на лету, словно колеса. Поначалу, в высшей точке, они выглядели попросту серыми,

но, нырнув вниз, приблизившись, обрели оттенок, коему я не могу подобрать названия, однако отличающийся от бесцветного в той же мере, в какой золотой цвет отличается от желтого, а серебряный — от белого. Рассекаемый их лучами, воздух пронзительно, жалобно застонал.

Еще одна такая же, которой мы прежде не замечали, пересекла наш путь, едва не касаясь верхушек деревьев. Вдоль каждого из «лучей» величиной с высокую башню тянулись ряды казематов с орудийными портами. Летела она плашмя, но при этом словно шагала по воздуху. Казалось, поднятый ею ветер вот-вот сдует, унесет прочь окруживший нас лес. Мой пегий, заржав, шарахнулся в сторону, многие прочие дестрие попадали, не устояв на ногах под неожиданным натиском жуткого ветра.

Один удар сердца — и все было кончено. Вихрем кружившая над нашими головами листва осела на землю. Гуасахт что-то крикнул, Эрблон, взмахнув флагом, затрубил в гресль. Совладав с пегим, я направил его вдоль колонны, хватая за ноздри одного дестрие за другим и помогая товарищам привести перепуганных скакунов в повиновение.

Таким образом выручил я и Дарию, неожидан-

но для меня обнаружившуюся среди остальных. Снаряженная к бою, по-мальчишечьи стройная, с контусом, с тонкой саблей у луки седла, выглядела она просто красавицей. Глядя на нее, я невольно принялся представлять себе в схожем положении всех женщин, которых знал: Тею в образе театральной воительницы, прекрасной, внушительной, но, по сути, годящейся только для красоты; Теклу (ныне — частицу меня самого) в роли мстительной мималлоны, вооруженной отравленными клинками; Агию верхом на тонконогом гнедом скакуне, в выкованной по фигуре кирасе, с вплетенной в бешено вьющиеся по ветру волосы тетивой; Иоленту, королеву в цветочном убранстве, в латах, усеянных шипами, словно терновник, столь пышногрудую, пышнобедрую, что любой аллюр, кроме неспешного шага, покажется просто нелепым, сонно улыбающуюся во время каждой остановки, то и дело пытающуюся развалиться в седле полулежа; Доркас на спине поднявшейся дыбом наяды, сверкающей, будто струи фонтана в лучах восходящего солнца… ну а Валерия, всего вероятнее, сделалась бы той же Дарией, внезапно обернувшейся девицей из древнего рода.

Видя смятение в наших рядах, я полагал, что

вновь собрать колонну воедино — задача из разряда невыполнимых, однако вскоре после того, как кружащий в вышине пентадактиль скрылся из виду, бакела сомкнула строй. Галопом промчались мы около лиги, а то и более (вероятно, затем, чтоб дестрие несколько успокоились, выпустив пар и позабыв об испуге), после чего остановились у небольшого ручья, где позволили скакунам утолить жажду — ровно настолько, чтоб смочить глотки, не утратив резвости. Оттащив пегого от воды, я выехал на прогалинку и поднял взгляд к небу. Вскоре ко мне рысцой подъехал Гуасахт.

— Еще одну высматриваешь? — с легкой насмешкой спросил он.

Я кивнул и признался, что подобных летательных аппаратов ни разу прежде не видел.

— И не увидел бы, если б не оказался у самого фронта. Дальше к югу они не суются: там им верная гибель.

— Но ведь солдатам вроде нас их не остановить.

Вмиг посерьезневший, Гуасахт сощурился так, что его крохотные глазки превратились в узкие щели на смуглом от солнца лице.

— Это точно. Зато хваткие ребята вроде нас

не дают асцианам устраивать рейды по нашим тылам. Ни артиллерии, ни воздушным галерам такое не под силу.

Пегий встрепенулся, в нетерпении топнул оземь копытом.

— Я родом из той части столицы, о которой ты, вероятно, даже не слышал, — из Цитадели, — сказал я. — Там есть пушки, прикрывающие весь квартал целиком, но на моей памяти из них стреляли разве что символически.

Не сводя взгляда с неба, я представил себе рой пентадактилей, кружащихся над Нессом, и тысячи выстрелов, гремящих не только с барбакана и Башни Величия, но со всех башен разом, и помимо собственной воли задался вопросом: из каких же орудий пентадактили ответят на их огонь?

— Едем, — велел Гуасахт. — Знаю, небеса караулить — дело заманчивое, однако толку от этого никакого.

Устремившись за ним, я вернулся к ручью, где Эрблон строил бакелу в колонну.

— Они даже не стреляли по нам. Неужели в этих чудных флайерах пушек нет?

— Мы для них — рыбешка слишком уж мелкая, — пояснил Гуасахт, явно желавший, чтоб я вернулся в строй, но с прямым приказанием

отчего-то не торопившийся.

Что до меня, мной овладел страх, точно призрак, вцепившийся в ноги, запустивший холодные щупальца в низ живота, коснувшийся самого сердца. Мне и хотелось бы замолчать, но слова рвались с языка неудержимо:

— Когда мы выйдем на поле боя…

(Кажется, «поле боя» я представлял себе чем-то вроде стриженого газона Кровавого Поля, где дрался с Агилом.)

Гуасахт расхохотался:

— Когда мы вступим в бой, наши пушкари будут рады взглянуть, как они за нами погонятся.

Не успел я сообразить, что он намерен делать, Гуасахт плашмя подхлестнул пегого клинком, и тот сорвался с места в легкий галоп.

Страх очень похож на одну из хворей, уродующих лицо гнойными язвами. Боясь показаться кому-либо на глаза куда сильней порождающей их заразы, занедуживший вскоре начинает чувствовать себя не просто опозоренным — осквернённым. Стоило пегому замедлить бег, я пришпорил его каблуками и присоединился к общему строю в самом хвосте колонны.

Совсем недавно едва не заменивший Эрблона, я был разжалован — не Гуасахтом, самим собой

— и занял самую низкую должность. Однако когда я помог навести порядок в рассеянном пентадактилями строю, то, чего я опасался, уже миновало, так что вся драма моего возвышения разыгралась уже после ее унизительного финала. Представьте себе, что юношу, праздно гуляющего в городском саду, на глазах зрителя режут, а после зрители видят, как он, ни о чем не подозревая, сводит знакомство со сластолюбивой супругой убийцы и, наконец, утвердившись в мысли, будто ее муж отлучился куда-то в другую часть города, сжимает ее в объятиях, но она вскрикивает от боли, причиненной рукоятью кинжала, торчащего из его груди!

Когда колонна вновь снялась с места, Дария покинула строй, дождалась меня и поехала рядом.

— Боишься, — сказала она.

То был не вопрос — утверждение, не укоризна, но нечто сродни паролю наподобие нелепых фраз, коим я был научен у Водала на пиру.

— Да. А ты собираешься напомнить о моей похвальбе там, в лесу. Могу сказать лишь одно: в тот момент я не знал и не думал, что она окажется похвальбой. Некогда один весьма мудрый человек, мой наставник, пытался втолковать мне, что клиент, свыкшийся с пыткой, выучившийся

не думать о ней, пусть даже вопя и корчась от боли, подвергнутый другой, новой пытке, вполне может сломаться легко, точно малый ребенок. Я научился объяснять все это, будучи спрошен им, однако не применял этих знаний к собственной жизни вплоть до сего дня, а напрасно. Но если я здесь клиент, кто же тогда палач?

— Все мы сейчас боимся — кто сильней, кто не слишком, — отвечала Дария. — Потому-то — да, я заметила — Гуасахт и отослал тебя прочь. Чтоб, на тебя глядя, самому хуже прежнего не испугаться: поддавшись страху, он не сможет вести нас в бой. Когда придет время, ты сделаешь все, что нужно, а больше ни от кого и не требуется.

— Не поспешить ли нам? — спохватился я, заметив, что мы отстаем, а хвост колонны, колеблющийся из стороны в сторону подобно концу любой вереницы людей, вот-вот скроется в зарослях.

— Если догнать остальных сейчас, куча народу догадается, что поотстали мы от испуга. А если еще чуть-чуть подождать, многие из тех, кто видел, как ты говорил с Гуасахтом, подумают, что он отправил тебя поторопить отстающих, а я решила помочь.

— Хорошо, — согласился я.

Влажная от пота, тонкая, словно ладошка Доркас, рука Дарии скользнула в мою ладонь.

До сих пор я не сомневался, что в боях ей бывать уже доводилось, но тут спросил:

— Для тебя этот бой тоже первый?

— Я могу драться куда лучше многих из них, — объявила она, — и не желаю больше слышать, как меня зовут шлюхой.

Так, рука об руку, мы рысцой двинулись вслед за колонной.

XXII. Сражение

Поначалу вольтижеры, мельтешившие на дальнем склоне широкой долины, точно пузырьки, пляшущие на поверхности в кружке с сидром, показались мне всего-навсего россыпью разноцветных пятнышек. Мы ехали рысью сквозь рощу, среди разнесенных огнем неприятеля в щепки деревьев, белизной обнажившейся древесины напоминавших осколки кости, торчащие из раны после сложного открытого перелома. Наша колонна сделалась намного больше, чем прежде — возможно, в пути к нам присоединились все иррегулярные контарии. Кроме этого, нас угораздило угодить под довольно вялый артиллерийский обстрел, продолжавшийся около половины стражи. Некоторых ранило (одного, моего соседа, весьма серьезно), около полудюжины человек погибло. Раненые, в меру сил помогая друг другу, заботились о себе сами: если при нас и имелись какие-либо санитарные подразделения, отстали они настолько, что я их присутствия не заметил.

Время от времени нам на глаза попадались трупы, покоившиеся среди деревьев небольшими

— обычно по два-три тела — кучками, а порой и поодиночке. Один из погибших, умирая, ухитрился зацепиться воротом бригандины за острую щепку, торчащую кверху из переломленного ствола, и я был до глубины души поражен — вначале ужасом положения безвестного солдата, умершего, но даже в посмертии не сумевшего обрести покой, а после мыслью о том, что та же участь постигла все эти сотни, тысячи деревьев, погубленных, но неспособных упасть.

Примерно в то же время, как впереди показался враг, я впервые заметил, что по обе стороны от нас в бой идут и другие части нашей собственной армии. Справа виднелись кавалеристы вперемежку с пехотой — без шлемов, по пояс нагие, если не брать в расчет красно-синих одеял, перекинутых скатками через бронзово-смуглые плечи, зато скакуны их, по-моему, намного превосходили статями наших. Из оружия при них имелись лансегаи слегка длиннее человеческого роста, чаще всего уложенные поперек луки седла, а к плечу каждого несколько выше локтя был пристегнут небольшой бронзовый щит. Из какой части Содружества они происходят, я не мог себе даже представить, но по какой-то причине (вероятно, всего лишь из-за длинных волос да

обнаженных тел) с первого же взгляда причислил их к дикарям.

Ошибся я в том или нет, шедшие среди них пехотинцы — темнокожие, сгорбленные, невероятно лохматые — казались еще более дикими. Частокол сломанных деревьев не позволял разглядеть их как следует, но, по-моему, время от времени они опускались на четвереньки. Случалось, то один то другой — совсем как я, странствуя в компании ехавшего на мерихипе Ионы, — хватался за стремя кого-либо из всадников, но всадники неизменно лупили таких по рукам древками лансегаев.

Слева от нас, несколько ниже по склону, тянулась дорога, а вдоль нее и по ее обочинам двигались силы куда многочисленнее и нашей колонны, и дикого вида всадников, и сопровождавших их пехотинцев, вместе взятых, — батальоны пельтастов с пылающими копьями и прозрачными ростовыми щитами; хобилеры на низкорослых, но горделивых скакунах, с луками и колчанами стрел за спиной; легкодоспешные черкаджи, ряды коих казались целым морем плюмажей и флагов.

Сколь мужественны все эти странные солдаты, в одночасье ставшие мне товарищами, я даже не

подозревал, но подсознательно рассудил, что они ничуть не храбрее меня самого, и в сравнении с массой цветных пятнышек, заполонивших противоположный склон, ряды их выглядели откровенно жалко. Вдобавок обстрел, под которым мы шли вперед, заметно усилился, а по противнику, насколько я мог видеть, с нашей стороны не стреляли вовсе.

Считаные недели (хотя сейчас они казались по меньшей мере годом) тому назад я пришел бы в ужас, только представив себе, как в меня стреляют из оружия сродни пистолету, пущенному Водалом в дело посреди нашего некрополя туманной ночью, с которой начинается моя повесть. Теперь, в сравнении со снарядами, разившими все живое вокруг, та лиловая молния казалась такой же детской забавой, как и блестящие «колдовские» пули из парного лука лучника гетмана.

Я представления не имел, что за машины стреляют по нам и что представляют собой их снаряды — лучи чистой энергии или нечто вроде ракет, но, падая среди нас, каждый снаряд разрывался и порождал струю пламени, удлиненную наподобие розги. Разглядеть их до взрыва не удавалось, однако на подлете они издавали особого рода свист, и по тону этого свиста,

продолжавшегося не больше мгновения ока, я вскоре выучился предсказывать, как близко к нам разорвется снаряд и сколь мощную выпустит струю пламени. Если тон, не меняясь, напоминал протяжную ноту, извлекаемую корифеем из дудки, снаряд разрывался в некотором отдалении; если же свист стремительно возвышался, как будто нота, задаваемая дудкой-камертоном мужчинам, превращалась в ноту для женщин, разрыва следовало ожидать где-то поблизости. Из первых, «монотонных», опасными были лишь самые громкие, однако каждый второй, «возвышающийся», предвещал гибель по крайней мере одному из нас, а чаще всего — полудюжине.

Движение вперед на рысях, колонной, казалось сущим безумием. Тут бы рассыпаться, рассредоточиться, либо спешиться и укрыться среди деревьев, и если б один из нас так и сделал, думаю, его примеру без раздумий последовали бы все остальные. С каждым разорвавшимся неподалеку снарядом этим одним готов был стать я, однако память о проявленном ранее страхе, словно незримая короткая цепь, снова и снова удерживала меня на месте. «Вот побегут остальные, — думалось мне, — тогда побегу и я, а первым в бегство не брошусь».

Вскоре, как рано или поздно и должно было произойти, очередной снаряд ударил прямо по ходу, навстречу колонне. Шестеро контариев разлетелись на части, словно в теле каждого обнаружилось по небольшой бомбе: струя пламени обратила в облако кровавых брызг голову первого, шею и плечи второго, грудь третьего, животы четвертого с пятым и, наконец, пах (а может, только седло и круп дестрие) шестого, и только после выбила из земли фонтан пыли пополам со щебенкой. Ехавшие рядом с убитыми и их дестрие тоже пали, пораженные мощью взрывной волны, а также конечностями и обломками лат соседей.

Труднее всего оказалось сдерживать пегого, ехать неспешной рысью, нередко переходя на шаг: лишенному возможности к бегству, мне отчаянно захотелось на всем скаку помчаться вперед, ввязаться в бой, погибнуть, если уж так суждено, и попадание в колонну предоставило мне кое-какой шанс выпустить пар. Махнув рукой Дарии, я пришпорил пегого, обогнал горстку выживших, отделявшую нас от последнего из убитых бойцов, и занял место погибших. Взглянув на меня, Месроп, подоспевший к прорехе в колонне первым, понимающе усмехнулся:

— Соображаешь! Новый снаряд в то же самое место не скоро теперь попадет.

Разубеждать его я не стал.

Какое-то время казалось, будто он прав. Накрыв нашу колонну, вражеские артиллеристы перенесли огонь на дикарей справа. Под градом снарядов неуклюжие пехотинцы, сопровождавшие их, разразились визгом и воплями, однако всадники — так уж все выглядело со стороны — в ответ прибегли к охранительной магии. Колдовские напевы нередко звучали настолько отчетливо, что мне удавалось расслышать отдельные слова, хотя с этим наречием мне прежде сталкиваться не приходилось. Один из всадников даже встал в седле во весь рост, словно конный акробат, выступающий перед публикой, поднял руку к солнцу, а другую простер в сторону асциан. Похоже, чары у каждого всадника имелись свои, личные, и, глядя, как ряды дикарей редеют под артиллерийским огнем, несложно было понять, откуда в их примитивных умах берется вера в действенность колдовских сил: уцелевшие нимало не сомневались, что спасены тавматургией, а прочие пожаловаться на неудачу уже не могли.

Ехали мы в основном рысью, однако с врагом схватились не первыми. Следовавшие левее и

ниже черкаджи, пересекши долину, ударили по каре пехотинцев, словно волна огня.

До этого я смутно подозревал, что враг располагает оружием, намного превосходящим все, чем вооружены мы, контарии (возможно, пистолетами и фузеями, подобно зверолюдям из стальной повозки), и сотня бойцов с этаким вооружением без труда уничтожит любое количество кавалерии, но ничего подобного не произошло. Около полудюжины шеренг в каре дрогнули, раздались в стороны, а я, подъехавший к месту стычки довольно близко, смог разобрать отдаленные, однако вполне отчетливые боевые кличи всадников и разглядеть каждого из обратившихся в бегство пеших солдат. Некоторые швыряли наземь огромные — куда больше прозрачных ростовых щитов наших пельтастов — сверкающие металлом щиты, а наступательным их оружием оказались короткие, не более трех кубитов в длину, копья с расширяющимися наружу, вперед, наконечниками, испускавшие пламя широким веером, однако бившие недалеко.

Позади первого пехотного каре появилось второе, а далее, чуть в стороне, еще одно и еще. Едва я подумал, что сейчас мы помчимся на помощь черкаджи, нам передали приказ остановиться.

Взглянув направо, я обнаружил, что дикари тоже остановились несколько позади нас и гонят косматых спутников на дальний от нас фланг.

— Держим позицию! — крикнул Гуасахт. — Спокойно, ребята!

Я вопросительно взглянул на Дарию, но она лишь с тем же недоумением подняла брови.

Месроп махнул рукой в сторону восточной оконечности долины.

— С фланга своих прикрываем, — пояснил он. — Если оттуда никто не заявится, можно считать, нынче нам всем повезло.

— Кроме тех, кто уже мертв, — уточнил я.

Шедший на убыль артиллерийский огонь окончательно стих, но тишина, воцарившаяся вокруг, казалась едва ли не страшней свиста вражьих снарядов.

Тем временем черкаджи отхлынули назад, под защиту хобилеров, осыпавших градом стрел передние ряды асцианских каре, в шахматном порядке движущихся на них. Большая часть вроде бы отскочила от огромных щитов, но несколько глубоко вонзились в металл, и подожженные ими щиты, окутавшись клубами белесого дыма, вспыхнули пламенем не менее ярким, чем их наконечники.

Едва град стрел ослаб, квадраты шахматной доски вновь, механически дрогнув, двинулись вперед. Продолжившие отступление черкаджи укрылись за строем пельтастов, чуть впереди нас, и я явственно разглядел их смуглые лица. Числом около двух тысяч, все они оказались мужчинами, каждый щеголял густой бородой, однако среди них обнаружилась примерно дюжина юных девиц в драгоценном убранстве, облаченных в сверкающие хаудахи, верхом на покрытых попонами арсинойтериях.

Кареглазые, смуглые, подобно мужчинам, эти красавицы пышностью форм и томными взглядами тут же напомнили мне Иоленту. Указав на них, я спросил Дарию, чем они вооружены, так как никакого оружия при них не заметил.

— А что, хочешь такую или, может, двух сразу? Бьюсь об заклад, ты их уже оценил, даже издали.

— Я бы и сам против парочки не возражал, — подмигнув мне, сознался Месроп.

Дария расхохоталась.

— Попробуете хоть пальцем к ним прикоснуться — драться будут, что твои альрауны. Это же Дщери Войны, священные и запретные. Ты зверей, на которых они верхом ездят, когда-нибудь вблизи видел?

Я отрицательно покачал головой.

— Чуть что — рвутся в атаку, любые преграды им нипочем, но на хитрости небогаты: всякий раз бегут прямо к тому, кто их раздразнил, а промахнувшись, пробегают еще чейн-другой, останавливаются, разворачиваются и снова в атаку бегут.

Я вновь взглянул в сторону черкаджи. Арсинойтерии наделены от природы парой изрядной величины рогов, но не торчащих в стороны, подобно бычьим, а расходящихся наподобие растопыренных человеческих пальцев, указательного и среднего. Как мне вскоре довелось убедиться, на врага они мчатся, склонив голову и опустив рога чуть не вровень с землей, а в остальном все вполне совпадало с рассказом Дарии. Черкаджи сплотили ряды и вновь с быстротой молнии хлынули вперед, изготовив к бою тонкие копья и мечи с раздвоенными лезвиями. Следом за ними, далеко отстав от их быстрых скакунов, склонив темно-серые головы, подняв кверху хвосты, грузно двинулись арсинойтерии, а полногрудые, смуглолицые девушки встали под балдахинами на спинах огромных зверей во весь рост, держась за их сверкающие золотом опоры. Судя по позам, бедра их не уступали пышностью

вымени дойной коровы, а округлостью — стволу дерева.

Атака увлекла их сквозь гущу боя и далее — но не слишком далеко — в глубину шахматной доски. Асцианские пехотинцы обдавали бока арсинойтериев струями пламени (должно быть, с тем же успехом они могли бы прожечь роговой панцирь или кирасу из кюрболи), взлетали в воздух, пытаясь вскарабкаться на их массивные головы, цеплялись за темно-серую шкуру, но все напрасно. На выручку Дщерям Войны устремились черкаджи, и вскоре шахматная доска, дрогнув, качнувшись взад-вперед, утратила одну из клеток.

Наблюдая за полем боя издалека, я вспомнил, как представлял себе битвы чем-то наподобие шахматных партий, и, кажется, кто-то неведомый где-то в ином месте, строя планы на будущее, неосознанно поддался влиянию схожих мыслей.

— Ну не красавицы ли? — поддразнивая меня, продолжила Дария. — Их отбирают в двенадцать лет, кормят медом и чистым маслом. Я слышала, их тела так нежны, что им на землю не лечь, не оставшись сплошь в синяках. Поэтому спят они только на мешках с пухом да перьями, которые всюду возят с собой. Если мешки теряются, этим

девицам приходится спать в жидкой грязи, повторяющей формы тела, а приглядывающие за ними евнухи подливают в грязь подогретое на огне вино, чтоб подопечные не зябли во сне.

— Спешиться нужно, — заметил Месроп. — Дестрие поберечь.

Однако мне так хотелось поглядеть на сражение, что спешиваться я не стал, хотя в скором времени из всей бакелы в седле не осталось никого, кроме нас с Гуасахтом.

Снова отброшенные назад, черкаджи угодили под беспощадный огонь невидимой вражеской артиллерии. Пельтасты припали к земле, прикрывшись сверху щитами, а из лесу на северном склоне долины выдвинулись новые каре асцианской пехоты. Казалось, им не будет конца, как будто ряды врага пополняются по волшебству, сколько его ни бей.

Едва черкаджи устремились в третью атаку, это ощущение только усилилось. Один из снарядов поразил арсинойтерия, превратив и его, и прекрасную наездницу в кровавое месиво. Пехотинцы тоже принялись стрелять по девицам: одна из них рухнула с ног, а ее хаудах и полог над нею исчезли в облаке пламени. Каре пехотинцев неумолимо шагали вперед — по трупам в ярких

одеждах, по тушам убитых дестрие.

Однако любой военный успех на каждом шагу может обернуться поражением. Выдвинувшись вперед, шахматная доска подставила нам фланг первого из наступавших каре, и мы, к совершеннейшему моему изумлению, получили приказ сесть в седла, выстроиться в шеренгу и мчаться наперехват, вначале рысью, затем кентером и, наконец, под дружный рев медных глоток греслей — галопом столь быстрым, что встречный ветер едва не срывал со щек кожу.

Если черкаджи считались легковооруженными, то мы были вооружены куда легче, но наш удар оказался колдовством гораздо более могущественным, чем песнопения союзных нам дикарей. Ураганный огонь наш прошелся по отдаленным рядам врага, словно коса по пшеничному полю. Слыша грохот копыт за спиной, я, дабы меня не опередили, подхлестнул пегого поводом, но тщетно: спустя какой-то миг мимо — огненно-рыжие волосы развеваются за спиной, в одной руке контос, в другой сабля, щеки белее пены на боках дестрие — промчалась Дария. Тут я и понял, что положило начало обычаям черкаджи, и еще быстрей погнал вперед пегого, чтоб уберечь ее от гибели, хотя Теклу мысль эта

рассмешила до слез, затуманивших мой взгляд.

Бег дестрие не таков, как бег обычных зверей, — они скользят, стелются по-над землей, словно пущенные из лука стрелы. На миг огонь асцианской пехоты в полулиге от нас встал перед нами стеной, однако еще миг — и вот мы среди них, а ноги скакунов по колено в крови. Казавшееся монолитным, словно каменная плита, каре обернулось всего лишь толпой коротко стриженных солдат с огромными щитами в руках, нередко, стремясь поскорее покончить с нами, паливших в своих же товарищей.

Подобные схватки — занятие в лучшем случае глупое, но и в бою без кое-каких знаний не обойтись. Первая, главная премудрость боя гласит: численность сказывается далеко не сразу. Начало боя всегда есть противостояние индивидуума одному-двум противникам. Тут нам помогли одержать верх дестрие — не только благодаря росту и весу, но и потому, что обучены были кусаться и бить врага передними копытами, а удара столь сокрушительной силы ни одному человеку, кроме Бальдандерса, не нанести даже булавой.

Мой контус рассекла надвое струя пламени, но, бросив его, я продолжил разить врага, рубя фальшионом — налево, направо, налево, направо

— и даже не замечая, что вражеский выстрел располосовал мне бедро.

Наверное, лишь зарубив около полудюжины асциан, я заметил, что на вид они все одинаковы — не то чтоб на одно лицо (подобно солдатам из некоторых частей нашей армии, которые вправду друг другу роднее братьев), но будто бы любые различия между ними случайны и незначительны. То же самое я наблюдал и среди пленных, когда мы отбили у асциан захваченную ими стальную повозку, однако тогда на меня это отчего-то особого впечатления не произвело — не произвело, но весьма впечатлило теперь, среди безумия битвы, показавшись неотъемлемой его частью. Обезумевшую толпу врагов составляли и мужчины, и женщины, отличавшиеся от мужчин только маленькими, но изрядно обвисшими книзу грудями да ростом на полголовы ниже, а больше решительно ничем. Куда ни взгляни, всюду одно и то же — огромные, сверкающие диким огнем глаза, едва ли не наголо остриженные головы, изнуренные голодом лица, разинутые в отчаянном крике рты да жуткий оскал неожиданно крупных, далеко выступающих вперед зубов.

Подобно черкаджи, мы с боем откатились назад, оставив каре изрядно потрепанным, но

несокрушенным. Пока наши скакуны переводили дух, асциане сомкнули ряды, прикрывшись стеной сомкнутых, блестящих металлом щитов. Внезапно один из копейщиков рванулся вперед, покинул строй и, размахивая оружием, со всех ног побежал в нашу сторону. Поначалу я счел его выходку обычным бахвальством, а когда он приблизился (ибо обычный человек бежит много медленнее, чем дестрие), решил, что асцианин вознамерился сдаться. Наконец, подбежав к нашему строю почти вплотную, он выстрелил, но тут же пал, срезанный ответным выстрелом одного из контариев. В конвульсиях асцианин метнул вверх пылающее копье, и в моей памяти навеки запечатлелась дуга, описанная им на фоне темно-лазурного неба.

Тут ко мне рысью подъехал Гуасахт.

— Глянь-ка, здорово тебя зацепило. Еще атаку выдержать сможешь?

Чувствовавший себя крепким, как никогда в жизни, я так ему и ответил.

— И все-таки ногу лучше перевяжи.

Обожженная кожа растрескалась, из раны обильно сочилась кровь. Не получившая ни царапины, Дария помогла мне перевязать ногу.

Атаки, к которой я приготовился, так и не со-

стоялось. Вскоре мы совершенно неожиданно (по крайней мере, для меня) получили приказ развернуться кругом и рысью направились на северо-восток, к просторной, покатой равнине, поросшей жесткими, полными шорохов травами.

Дикари куда-то исчезли, а их место на фланге, ставшем теперь для нас фронтом, заняли новые силы. Поначалу я принял их за кавалерию верхом на кентаврах — созданиях, изображения коих не раз попадались мне на страницах книги в коричневом переплете: над человеческими головами скакунов возвышались плечи и головы всадников, у тех и других имелось по паре рук. Однако, когда они придвинулись ближе, я разглядел, что все далеко не столь романтично. Вблизи кавалеристы оказались попросту очень маленькими людьми — по сути, карликами, восседавшими на плечах товарищей, людей, как на подбор, изрядно высокого роста.

Двигались мы почти параллельно, но малопомалу сходились. Карлики не сводили с нас угрюмых пристальных взглядов, а люди рослые не смотрели на нас вообще. Наконец, когда расстояние, разделявшее наши колонны, сократилось до пары чейнов, мы остановились,

развернулись к ним, и тут я, охваченный небывалым ужасом, осознал, что эти странные всадники на еще более странных скакунах — асциане. Маневр наш должен был помешать им ударить во фланг пельтастам и вполне удался, в том смысле, что теперь для атаки им требовалось, если сумеют, пробиться сквозь наши ряды… вот только насчитывалось их, на глазок, тысяч около пяти — куда больше, чем нам по силам сдержать.

Однако удара не последовало. Остановившись, мы выстроились плотной, стремя к стремени, шеренгой, а карлики, несмотря на всю их многочисленность, занервничали, качнулись из стороны в сторону, словно вначале решив обойти нас справа, а потом слева, а после вновь справа. Но с первого же взгляда было ясно, что мимо им не пройти, если только часть их сил не свяжет нас боем с фронта, мешая ударить остальным в спину.

Огня мы, словно надеясь оттянуть начало боя, не открывали и вскоре стали свидетелями повторения выходки одинокого копейщика, покинувшего каре, чтобы напасть на нас. Один из рослых внезапно ринулся вперед. В одной руке он держал тонкий прут вроде хлыста, в другой — меч из тех, что называются «шотель», с доволь-

но длинным, обоюдоострым, кривым, словно серп, клинком. Приблизившись к нашему строю, рослый замедлил шаг, и я обнаружил, что его взгляд устремлен в никуда, что он, собственно говоря, слеп. Сидевший на его плечах карлик наложил стрелу на тетиву короткого лука с круто изогнутыми вперед плечами.

Когда до этой пары осталось около получейна, Эрблон отрядил двух человек отогнать их, но прежде чем им удалось сблизиться со слепцом, тот сорвался с места и с резвостью дестрие, однако зловеще беззвучно понесся на нас. Восемь, а то и целый десяток контариев выстрелили, и тут я воочию убедился, сколь трудно поразить цель, движущуюся с такой быстротой. Стрела, выпущенная карликом, вспыхнула оранжевым пламенем, кто-то из наших отбил контусом хлыст слепца — и кривой клинок шотеля, блеснув в воздухе, раскроил контарию череп.

Тем временем от вражьей толпы отделились разом трое слепцов с всадниками на плечах. Не успели они добраться до нас, как следом за ними устремились вперед еще несколько групп по пять-шесть человек в каждой. Далеко-далеко в конце нашего строя взметнулась кверху рука гиппарха, Гуасахт взмахом руки указал нам вперед,

и Эрблон затрубил атаку. В реве его гресля, эхом подхваченном справа и слева, слышались ноты сродни басовитому, низкому звону огромных колоколов.

В то время я об этом еще не знал, однако премудрость сия самоочевидна: чисто кавалерийские стычки очень быстро перерастают во всеобщую свалку без какого-либо порядка. Так получилось и с нашей. Поскакав на врага, мы потеряли в пути два-три десятка бойцов, промчались сквозь вражеский строй и немедля развернулись кругом, дабы асциане не ударили во фланг пельтастам, а нас не отрезали от своих. Разумеется, асциане развернулись навстречу, и вскоре обе стороны утратили всякую правильность строя, а от тактики, кроме той, какую каждый из бьющихся выбрал для себя сам, не осталось даже воспоминаний.

Моя личная тактика заключалась в том, чтоб огибать стороной всякого карлика, готового к выстрелу, а прочих бить, заходя незамеченным со спины либо сбоку. Действовало все это, когда могло быть пущено в ход, довольно-таки неплохо, но в скором времени я обнаружил, что карлики, оставшиеся без незрячего скакуна, практически беспомощны, однако рослые слепцы, лишив-

шись всадника, впадают в буйство, исступленно бросаются на любого, кто попадется навстречу, и, таким образом, становятся куда опаснее прежнего.

Вскоре стрелы карликов и наши контосы подожгли траву во многих местах. Удушливый дым пожаров изрядно усугубил неразбериху боя. В дыму я потерял из виду и Дарию, и Гуасахта, и вообще всех, с кем был знаком. Сквозь едкую серую пелену едва виднелся силуэт всадника верхом на бешено пляшущем дестрие, бьющегося разом с четырьмя асцианами. Я устремился к нему и, хотя один из карликов, развернув незрячего скакуна, послал в меня стрелу, свистнувшую у самого уха, сшиб с ног обоих, услышав, как кости слепца хрустнули под копытами пегого. Позади другой пары из курящейся дымом травы поднялся некто, обросший буйными космами, и срубил обоих, будто пеон — дерево: три-четыре удара топором в одну и ту же точку, и слепец рухнул наземь.

Всадник, которому я пришел на выручку, оказался не нашим контарием, а одним из дикарей, еще недавно стоявших справа от нас. В бою он был ранен, и вид крови на его теле напомнил мне о собственной ране. Нога к этому времени онемела, силы почти иссякли, так что я немедля поехал

бы к южному склону долины, к нашим позициям, да только не мог понять, в какой они стороне. Вспомнив, как слышал, что, предоставленные сами себе, дестрие нередко возвращаются туда, где им в последний раз довелось отдохнуть и напиться, я ослабил поводья и подхлестнул пегого. Пегий сорвался с места, пошел легким кентером, а вскоре, почуяв волю, перешел на галоп. Как-то раз он на всем скаку прыгнул, едва не сбросив меня с седла. Опустив взгляд, я увидел в горящей траве труп дестрие, а рядом — тело убитого Эрблона, и медный гресль, и черный с зеленым флаг. Разумеется, и то и другое следовало подобрать, но, совладав с пегим и развернувшись, я понял, что дороги назад уже не найду. Справа в дыму темнела шеренга всадников, почти бесформенных, похожих на зубья пилы. Далеко позади них, точно ходячая башня, возвышалась машина, озаренная вспышками пламени.

Почти неразличимые, в следующий же миг всадники лавиной хлынули на меня. Кем они были, на каких ехали скакунах, я сказать не могу, и не из-за забывчивости (ибо не забываю я ничего), но потому, что просто не смог ничего разглядеть. О схватке с ними не могло быть и речи — счастье, если удастся уйти живым. Стоило

мне отразить удар каким-то кривым оружием, не походившим ни на топор, ни на меч, пегий взвился на дыбы. Опустив взгляд, я увидел стрелу, огненным шипом торчащую из его груди, а затем в нас с разгону, на всем скаку, врезался кто-то из всадников, и все вокруг окутала тьма.

XXIII. Океанический странник увидел землю

Придя в сознание, я прежде всего остального почувствовал боль в ноге. Ногу мою прижало к земле телом пегого, и я принялся высвобождать ее едва ли не до того, как вспомнил, кто я таков и каким образом здесь оказался. Ладони, лицо, сама земля подо мной — все сплошь покрывала тонкая корка запекшейся крови.

Вдобавок вокруг царила необычайная, непривычная тишина. Прислушиваясь, я ожидал услышать барабанную дробь, выбиваемую копытами множества дестрие из недр самой Урд, однако не тут-то было. Стихли и крики черкаджи, и пронзительные, дикие вопли, испускаемые шахматными клетками асцианской пехоты, — все вокруг словно вымерло.

Приподняв голову, я попробовал повернуться, упереться в седло, но из этого ничего не вышло.

Где-то вдали — вне всяких сомнений, на одном из хребтов, окаймлявших долину, — поднял морду к Луне один из волков. Этот-то нечеловеческий вой (Текле доводилось слышать его раз или два,

когда двор выезжал на охоту в окрестности Сильвы) и подсказал мне, что взор мой затуманен не дымом травы, подожженной во время дневного сражения, и, вопреки опасениям, не ранением в голову. Поле боя окутали сумерки — вопрос только, предрассветные или вечерние.

Какое-то время я собирался с силами — возможно, даже уснул — и вновь встрепенулся, услышав чьи-то шаги. Окружавшая меня темнота заметно сгустилась. Мягкий, неторопливый, тяжеловесный — куда тяжелей, куда медленней поступи Бальдандерса — шаг идущего не походил ни на стук копыт кавалерии, ни на мерный, ритмичный топот пехоты. Я раскрыл было рот, чтобы позвать на помощь, но тут же крепко сжал зубы, опасаясь привлечь к себе кого-либо еще страшнее неведомого существа, однажды разбуженного мною в руднике людей-обезьян, и рванулся из-под туши убитого пегого так, что едва не вывихнул ногу. Где-то неподалеку, не менее устрашающе, значительно ближе первого, завыл на островок зелени в небесах еще один волк.

В детские годы я часто слышал, что мне не хватает воображения. Если это и было правдой, очевидно, слияние с Теклой исправило дело, так как в этот момент перед моим мысленным взо-

ром возникла целая стая волков — безмолвные черные силуэты, каждый не меньше онагра, волной спускающиеся в долину, хрустящие ребрами павших… Сам не сознавая, что делаю, я вскрикнул — раз, другой, третий.

Тяжелая поступь утихла, но тут же возобновилась. Теперь идущий, куда бы ни шел раньше, определенно, направлялся ко мне. В траве зашуршало, и из ее зарослей выпрыгнул перепуганный кем-то невидимым крохотный фенакодус с полосатой, как дыня, спинкой. При виде меня зверек перепугался сильнее прежнего, шарахнулся прочь и исчез.

Как я упоминал выше, гресль Эрблона умолк навсегда, но тут сумерки огласились иным трубным зовом, да таким низким, протяжным, диким, какого я в жизни не слышал, и на фоне мрачного неба черной змеей изогнулся силуэт воздетого кверху офиклеида. Едва его музыка стихла, офиклеид опустился вниз, а еще миг спустя я сумел разглядеть на высоте втрое выше шлема кавалериста в седле и голову музыканта — массивную, обрамленную прядями косматых волос, лобастую голову, заслонившую яркий диск луны в небесах.

Выдержав паузу, офиклеид заревел вновь,

мощно, как водопад, и на сей раз я, увидев и его подъем, и пару кривых, загнутых кверху бивней, ограждавших его по бокам, понял, что лежу на пути — ни много ни мало — символа всемогущества, зверя, имя коему Мамонт.

По словам Гуасахта, я, пусть даже без Когтя, обладал над животными некоей властью и изо всех сил постарался ею воспользоваться — зашептал невесть что, до ломоты в висках напряг мысли. Хобот мамонта (кончик — почти кубит в поперечнике) вопрошающе потянулся ко мне, легонько, словно ладонь ребенка, коснулся лица, обдал меня влажным, жарким дыханием, пахнущим свежим сеном… и туша пегого, поднятая с моей ноги, исчезла в траве. Я поднялся на ноги, но сразу же снова упал. Тогда мамонт подхватил меня, обвив хоботом вокруг пояса, и поднял высоко над собственной головой.

Первым, что я увидел после, оказалось дуло трильхёна с темными, выпуклыми линзами величиной с суповую тарелку. Орудие было снабжено сиденьем для стрелка, однако оно пустовало. Стрелок, спустившийся вниз, стоял на шее мамонта, будто моряк на палубе корабля, держась за ствол, чтоб не упасть. Направленный в лицо луч света на миг ослепил меня.

— Ты? Жизнь осыпает нас чудесами.

Этот голос, не принадлежавший ни мужчине, ни женщине, скорее уж больше всего походил на мальчишеский.

— Вижу, ты ранен, — продолжал говорящий, едва я был уложен к его ногам. — Встать сможешь?

Я, еле ворочая языком, ответил, что вряд ли.

— Понимаешь ли, лежать здесь не слишком удобно, а вот упасть отсюда проще простого. Там, дальше к крупу, есть гондола, но, боюсь, хобот Мамиллиана до нее не дотянется. Придется тебе посидеть здесь, спиной к вертлюгу.

Его ладони — небольшие, мягкие, довольно влажные, — скользнув под мышки, подхватили меня, потянули кверху, и, вероятно, именно их прикосновение подсказало мне, кто он таков. То был тот самый андрогин, с которым я некогда встретился в стенах укрытого снегом Лазурного Дома, а после — в потайной комнате, хитроумно замаскированной под картину на стене одного из бесчисленных коридоров Обители Абсолюта.

«Автарх?!»

Из глубин памяти Теклы всплыл его образ в драгоценном убранстве. Да, он сказал, что узнал меня, однако я, ошеломленный, не в силах в это поверить, откликнулся условной фразой, некогда

услышанной от него самого:

— Океанический странник увидел землю.

— Именно так, именно так и есть. Но если ты сейчас упадешь за борт, боюсь, Мамиллиан не успеет поймать тебя… несмотря на его несомненную сообразительность. Помоги ему, насколько сможешь. Я вовсе не так силен, как кажется с виду.

Ухватившись за какой-то выступ на лафете трильхёна, я подтянулся, придвинулся ближе к орудию и вновь опустился на мягкую, изрядно отдающую кислой шерстью шкуру мамонта.

— Честно признаться, — сказал я, — мне ты сильным не кажешься и никогда не казался.

— Твой взгляд — взгляд профессионала, тебе положено разбираться в подобных вещах, однако мои силы переоцениваешь даже ты. А вот ты сам, кстати заметить, неизменно производил на меня впечатление некоего существа из рога пополам с вываренной кожей, и, видимо, это действительно так, иначе тебе не дожить бы до сего дня. С ногой что?

— Ожог, по-моему.

— Насчет этого нужно поскорее что-нибудь предпринять, — пробормотал он и слегка возвысил голос: — *Домой! Домой, Мамиллиан, домой!*

— Позволь узнать, что ты здесь делаешь?

— Осматриваю поле сражения. Насколько я понимаю, сегодня ты бился здесь, в наших рядах.

Я кивнул, хотя всерьез опасался, как бы от этого голова не скатилась с плеч.

— А я — нет… точнее сказать, да, бился, однако не собственными руками. К примеру, направил кое-кого из легковооруженных ауксилариев на помощь легиону пельтастов. Должно быть, среди этих ауксилариев был и ты. Не погиб ли в бою кто-либо из твоих друзей?

— Друзей… Подруга среди контариев у меня имелась только одна, и когда я в последний раз видел ее, с ней все было в порядке.

Зубы собеседника блеснули в свете луны.

— Стало быть, интереса к женщинам ты не утратил. Полагаю, речь тут о Доркас, о коей я от тебя уже слышал?

— Нет. Но это неважно.

Тут я замялся, не зная, в какие слова облечь то, о чем собирался спросить (ведь, как известно, откровенно признаться в раскрытии чужого инкогнито — одно из страшнейших прегрешений против приличий), и, наконец, промямлил:

— Я вижу, ты занимаешь один из высших постов в Содружестве. Нельзя ли — если, ко-

нечно, излишнее любопытство не доведет меня до падения со спины сего благородного зверя — узнать, зачем тому, кто командует легионами, заправлять тем самым заведением в Квартале Мучительных Страстей?

Пока я раздумывал да выговаривал все это, ночь на глазах темнела — даже звезды гасли одна за другой, словно свечи под сводами огромного бального зала, когда бал завершен и от люстры к люстре идут лакеи с тонкими длинными шестами, увенчанными колпачками для гашения пламени, точно золочеными митрами. Казалось, ответ андрогина доносится откуда-то из невообразимой дали:

— Ты знаешь, кто мы такие. Мы и есть первое лицо Содружества, его истинный и самодержавный правитель, Автарх. Но нам известно большее. Мы знаем, кто ты такой.

Сейчас я понимаю, что перед смертью мастер Мальрубий весьма серьезно хворал, а в те времена ни о чем подобном попросту не задумывался: сами мысли о хворях были мне чужды. По крайней мере половина из наших учеников, а может быть, даже больше, умирала, не дожив до возведения в звание подмастерьев, однако мне даже в голову не приходило, что жизнь в нашей башне

подрывает здоровье, а низовья Гьёлля, где мы так часто купались, немногим чище выгребной ямы. Ученики умирали во множестве с давних пор: копая для покойных могилы, мы, оставшиеся в живых, новое поколение учеников, постоянно натыкались на крохотного размера тазовые кости да черепа и хоронили их снова и снова, пока кости предшественников, искрошенные лопатой, не обратятся в мелоподобную пыль, не затеряются в черной, как деготь, почве. Сам я, однако ж, отроду не страдал ничем опаснее насморка и воспаленного горла — недугов, всего лишь внушающих здоровым людям ложную уверенность, будто им известно, что такое болезнь. А вот мастер Мальрубий был действительно болен — можно сказать, видел смерть в каждой тени.

Стоило ему встать перед нами, у небольшого столика, сразу же чувствовалось: он знает о той, кто стоит позади. Смотрел он прямо вперед, головой никогда не вертел, почти не шевелил плечами, а обращался не столько к нам, сколько к ней, к неведомой слушательнице.

— Я приложил все усилия, дабы вложить в ваши мальчишечьи головы основы науки учиться. Из этих семян в умах ваших вырастут, расцветут могучие деревья. Взгляни на свою «*Q*», Севериан.

Сия буква должна быть округла, полна, словно лицо счастливого, довольного жизнью мальчишки, а тут одна щека ввалилась, подобно твоим собственным. Мальчики! Всем вам не раз доводилось видеть, как мозг спинной, стремясь ввысь, к кульминационному завершению, становится шире и распускается мириадами извилин головного мозга, а здесь у нас что? Одна щека кругла, другая съежилась, ссохлась, как от ожога!

Дрожащие пальцы наставника потянулись к грифельному карандашу, но карандаш, ускользнув, откатился к краю столика и с дробным сухим стуком упал на пол. Наклоняться за ним мастер Мальрубий не стал — думаю, из опасений, нагнувшись, мельком увидеть незримую спутницу.

— В стараниях укоренить сии семена в головах учеников нашей гильдии я, мальчики, провел большую часть жизни и некоторых успехов добился, однако счет им весьма невелик. Был тут у нас один мальчик, но он… он…

Шагнув к иллюминатору, мастер Мальрубий сплюнул наружу, а я, сидевший совсем рядом, сумел разглядеть в слюне наставника причудливые вкрапления свежей крови. Тут мне и сделалось ясно, отчего я не вижу мрачной (ибо смерть, как известно, цветом темнее сажи) спутницы престa-

релого мастера: обреталась она в его собственном теле, в груди.

Чуть раньше я обнаружил, что смерть в новом виде, приняв облик войны, вполне способна внушить мне ужас, хотя прежние ее обличья меня давно не пугали, а сейчас на собственной шкуре прочувствовал способность телесной немощи порождать в душе страх и безысходность, несомненно, терзавшие в свое время дряхлеющего учителя. Сознание то пробуждалось, то угасало…

Сознание то угасало, то пробуждалось, подобно капризным весенним ветрам, и я, столь часто с трудом засыпавший под натиском теней-воспоминаний, что осаждали меня, не давая уснуть, ныне изо всех сил, будто мальчишка, до последнего старающийся удержать в воздухе то и дело клюющий носом бумажный змей, боролся со сном. Порой я забывал обо всем, кроме израненного тела. Рана в ноге, которую я в момент получения не почувствовал и без труда терпел боль от ожога после того, как ее перевязала Дария, пульсировала подобно рокоту Барабанной Башни в день солнцестояния, неотвязно сопутствовала всем моим мыслям. Полагая, будто, как ни повернусь, лежу на поврежденной ноге, я то и дело ворочался с боку на бок.

Порой я слышал, не видя, а порой видел, не слыша. Поднятая со свалявшейся шкуры Мамиллиана, щека легла на подушку, искусно сотканную из мельчайших пушистых перышек колибри.

Внезапно вокруг заплясали алые с золотом огни факелов в руках огромных, весьма внушительных обезьян. Надо мною склонился человек — рогатый, с продолговатой бычьей мордой вместо лица, одно из созвездий, облекшееся в плоть. Заговорив с ним, я сказал, что не знаю точно, в какой день родился, но если жизнью моей правил он, благосклонный дух бескрайних лугов и истинной силы, благодарю его от всего сердца… однако тут же обнаружил, что день своего рождения прекрасно помню, что появился на свет под знаком Лебедя, и в этот день отец каждый год, до самой смерти, устраивал бал. Склонившийся надо мной слушал со всем вниманием, повернув в сторону массивную голову, ни на миг не сводя с меня выпуклого карего глаза.

XXIV. Флайер

Солнечный свет в лицо.

Приподнявшись, попробовав сесть, я в самом деле сумел опереться на локоть. Со всех сторон вокруг мерцала, переливалась всевозможными красками — пурпуром, изумрудом, рубином, лазурью — невесть откуда взявшаяся сфера, а аурпигмент солнца, пронизывавший сей сказочный ореол клинком шпаги, бил мне прямо в глаза. Спустя еще миг он, заслоненный чем-то, угас, и тогда я смог разглядеть, что затмевало его великолепие. Надо мной возвышался купол пестрого шелкового шатра с откинутым входным пологом.

От входа ко мне шел всадник, правивший мамонтом. Как всегда, облаченный в шафрановые одежды, в руках он держал жезл из черного дерева, слишком легкий, чтобы служить оружием.

— Идешь на поправку, — отметил он.

— Охотно ответил бы «да», но боюсь не пережить этакого напряжения сил.

Собеседник улыбнулся шутке — мимолетно, одними губами.

— Уж тебе-то лучше всех прочих следовало бы

знать: именно страдания, претерпеваемые нами в сей жизни, открывают возможности к свершению множества замечательных преступлений и восхитительных мерзостей в жизни следующей… Неужели тебе не хочется поскорей получить заслуженное?

Я отрицательно покачал головой и вновь опустился на ложе. От мягких подушек едва уловимо пахло мускусом.

— Оно и к лучшему, поскольку с этим придется еще подождать.

— Так говорит твой лекарь?

— Я сам себе лекарь и о тебе позаботился сам. Главной проблемой оказался шок… Несомненно, тебе он сейчас кажется недугом, присущим разве что женщинам преклонных лет, однако именно шок губит великое множество раненых. Если б все мои люди, погибшие по данной причине, остались в живых, я охотно смирился бы с гибелью тех, кто получил удар в сердце.

— А скажи, будучи собственным — и моим тоже — лекарем… ты правду говорил?

На сей раз собеседник улыбнулся гораздо шире:

— Я всегда говорю правду. Положение, видишь ли, обязывает говорить так много, что в нераз-

берихе лжи проще простого запутаться. Однако пойми: обычная правда… то есть те незначительные, ординарные истины, о которых ведут речь крестьянские женки… не всеобъемлюща и не универсальна. Правда же окончательная, изрекать каковую я способен не больше, чем ты… эта правда очень, очень обманчива.

— Прежде чем лишиться сознания, я слышал, как ты назвался Автархом.

Собеседник мой, словно ребенок, звучно плюхнулся на кучу ковров со мной рядом.

— Назвался. И ни в коей мере не покривил душой. Ты поражен?

— Я был бы поражен куда сильнее, — ответил я, — если б не яркие воспоминания о встрече в Лазурном Доме.

(Под куполом шелкового шатра немедля возник призрачный образ того самого крыльца, плотно укрытого снегом, заглушавшим наши шаги. В то время как Автарх не сводил с меня синих глаз, рядом со мной, по щиколотку в снегу, вновь стоял Рох в такой же непривычной, не слишком ловко сидящей одежде, как у меня самого, а за дверьми превращалась в Теклу девица, не имевшая с Теклой ничего общего — совсем как я несколько позже превращался в Мешию, первого из людей.

Кто может сказать наверное, сколь глубоко актер проникается духом изображаемой им персоны? Играя роль Фамильяра, я оставался самим собой, поскольку точно таким же был — или, по крайней мере, полагал себя — в жизни, однако в роли Мешии меня порой посещали мысли, ни за что не пришедшие бы на ум в любых иных обстоятельствах, равно чуждые и Северианову, и Текле, мысли о началах всего сущего, о заре нашего мира.)

— Я, если помнишь, ни разу не утверждал, будто являюсь Автархом *и только* Автархом.

— При встрече в Обители Абсолюта ты выглядел одним из придворных чиновников низшего ранга. Действительно, ничего подобного ты не утверждал, и, мало этого, я уже тогда понял, с кем имею дело. Но ведь те самые деньги доктору Талосу вручил тоже ты, верно?

— В этом я признался бы, не краснея. Да, так и есть. Сказать правду, я исправляю обязанности около полудюжины мелких придворных чиновников… и отчего бы нет? Имея полное право жаловать должности при дворе кому пожелаю, я волен жаловать их и себе самому. Приказы Автарха, видишь ли, инструмент зачастую слишком громоздкий. Ты, полагаю, тоже не стал бы вскрывать прыщ на носу огромным мечом для

усекновения головы. Указу Автарха — свое время, письму третьего казначея — свое, а я — и тот и другой, и не только.

— А тот дом в Квартале Мучительных Страстей…

— Да, вдобавок я и преступник… совсем такой же, как ты.

Глупости нет границ. Говорят, будто даже пространство ограничено собственной кривизной, но глупость простирается вдаль за пределы самой бесконечности. Я, всю жизнь полагавший себя человеком если не слишком большого ума, то хотя бы рассудительным, с ходу усваивающим простые вещи, а во время странствий с Ионой и Доркас гордившийся собственной сметкой и прозорливостью, до сего времени ни разу не связывал положение Автарха на самой вершине пирамиды законной власти с его несомненной осведомленностью о том, что я проник в Обитель Абсолюта по поручению Водала. В этот момент я готов был вскочить и со всех ног броситься прочь из шатра, да только не мог: ноги сделались точно вода.

— И таковы мы все — все, кто обязан блюсти закон и порядок. Как полагаешь, обошлись бы братья по гильдии с тобой столь же сурово —

агент мой докладывал, что многие настаивали на твоей смерти, — не опасаясь сами провиниться в чем-то подобном? Не понесший ужасной кары, ты представлял бы для них нешуточную опасность: ведь тогда любой из них в один прекрасный день мог бы поддаться схожим соблазнам. Судья либо тюремщик, не числящий за собой никаких преступлений, есть сущее чудовище, в одних случаях самочинно присваивающее право на всепрощение, позволительное для одного лишь Предвечного, в других же проявляющее убийственную строгость, непозволительную ни для кого.

Мой собеседник умолк, вздохнул и продолжил:

— Посему преступником стал и я. Однако преступления, связанные с кровопролитием, противоречат моей любви к людям, а воровство требует куда большей ловкости рук и сообразительности. Довольно долгое время провел я в сомнениях и раздумьях, но вот — думаю, как раз в год твоего рождения — отыскал свое истинное ремесло. Ремесло, удовлетворяющее кое-какие эмоциональные нужды, коих мне уже не удовлетворить иным способом… и позволяющее в полной мере применить к делу мое недюжинное — без преувеличений недюжинное — умение разбираться в

людях. Благодаря ему я точно знаю, кому, когда и в каком размере всучить взятку, и, что самое важное, в каких случаях о взятке не может быть даже речи. Знаю, как внушить работающим на меня девицам искреннее желание продолжать сию карьеру и в то же время должное недовольство своей судьбой… Разумеется, все это — хайбиты, выращенные из клеток тел экзультанток, дабы продлять их юность путем переливания крови. У клиентов же я умею создавать впечатление, будто устраиваемые мною встречи есть нечто особое, уникальное, а вовсе не что-то среднее между сентиментальной любовной историей и случайным грешком. У тебя ведь создалось впечатление уникальности пережитого?

— «Клиенты»… мы тоже так их зовем, — сказал я.

Внимательно вслушивавшийся не только в его слова, но и в тон, я отметил, что этот разговор доставляет ему куда большую радость, чем прежние: казалось, со мной говорит не человек, а ученый дрозд. Похоже, сам сознававший это, он поднял кверху лицо, вытянул шею, так что «Р» в «устраиваемых» и во «встречах» подрагивали, трепетали, возносясь к солнцу.

— Вдобавок и пользы сие ремесло приносит

немало. Позволяет не терять связи с изнанкой общества, а стало быть, мне точно известно, вправду ли подданные исправно платят налоги, считают ли их справедливыми, какие настроения преобладают, а какие идут на спад, кто чем, так сказать, дышит…

В последних его словах я почувствовал намек на меня, но что он имеет в виду, понять не сумел и спросил:

— А все эти «придворные дамы»… отчего ты не возьмешь в помощницы настоящих? Одна из них притворялась Теклой, а настоящая Текла сидела в темнице под нашей башней.

В ответ он поднял брови, словно я сказал нечто особо глупое (как, несомненно, и было на самом деле).

— Ну разумеется, оттого, что не могу доверять им. Подобные вещи надлежит держать в строгом секрете… Одни возможности для покушения чего стоят! Думаешь, низко кланяясь, улыбаясь, шепча на ухо невинные остроты пополам с непристойными предложеньицами, все эти раззолоченные особы, дочери древних родов, питают ко мне хоть какую-то преданность? Что ж, если так, вскоре сам убедишься, сколь глубоко заблуждаешься. Доверять при дворе можно считаным единицам,

и экзультантов среди таковых не найдется ни одного.

— «Убедишься»? То есть предавать меня казни ты не намерен?

Чувствуя биение жилки на горле, я живо представил, как из нее фонтаном хлещет алая кровь.

— За то, что теперь ты посвящен в мою тайну? Нет. Как я уже говорил во время прошлой беседы, в комнате за картиной, для тебя у нас найдется иное, лучшее применение.

— За то, что я поклялся в верности Водалу.

Вот тут веселье взяло над ним верх. Запрокинув голову, мой собеседник захохотал, словно пухлый, не знающий горя ребенок, только что разгадавший загадку некоей хитрой головоломки.

Когда же хохот его наконец перешел в развеселое бульканье, он хлопнул в ладоши — с виду мягкие, нежные, однако хлопок вышел на удивление громким.

В шатер вошла пара странных созданий — женщин с кошачьими головами. Огромные, точно сливы, их глаза отстояли один от другого на целую пядь. Шли они на носках, как порой ходят танцовщицы, но куда грациознее любых танцовщиц, каких мне когда-либо доводилось видеть,

и, судя по легкой походке, подобный шаг был свойственен им от природы. Вдобавок, назвав их тела женскими, я кое в чем ошибся: в их мягких коротких пальцах прятались кончики острых когтей. Заметив это, едва они принялись одевать меня, я в изумлении легонько сжал руку одной из них, как сжимал порой лапу дружески расположенной ко мне кошки. При виде обнажившихся когтей в глазах защипало от слез: формой они в точности повторяли Коготь, когда-то хранившийся внутри самоцвета, который я по невежеству долгое время называл Когтем Миротворца.

Увидев слезы на моих глазах, Автарх решил, что женщины-кошки сделали мне больно, и велел им уложить меня на ковры. Тут я вовсе почувствовал себя подобно младенцу, нежданно-негаданно навсегда разлученному с матерью.

— Мы не сделали ему больно, Легион, — возразила одна.

Подобного голоса я в жизни еще не слышал.

— Уложите его, я сказал!

— Они меня даже не оцарапали, сьер, — заверил его и я.

Поддерживаемый женщинами-кошками, я сумел встать и покинуть шатер. Снаружи нас встретило раннее утро: как раз в эту пору те-

ни, завидев солнце, разбегаются прочь, а луч, разбудивший меня, несомненно, был первым предвестником нового дня. Свежесть утра наполнила грудь; жесткие травы, по которым мы шли, пятнали росой мои старые, истертые до рыжины сапоги; едва уловимый, словно свет меркнущих звезд, ветерок легонько ерошил волосы.

Шатер Автарха стоял на вершине холма. Вокруг во все стороны простирался основной бивак его армии, россыпи серых, черных, бурых, словно сухие листья, шатров поменьше, землянок, ходов в подземные укрытия. Из-под земли вереницами серебристых муравьев тянулись наружу солдаты.

— Осторожность нужна, понимаешь ли, — пояснил Автарх. — От передовой мы, конечно, далековато, однако, устроив лагерь проще, на виду, рискуем накликать атаку с воздуха.

— Кажется, я понимаю, отчего Обитель Абсолюта устроена под дворцовыми садами, сьер.

— Да. Теперь-то надобности в этом нет, но было время, когда они сеяли разорение даже в Нессе.

Снизу, со всех сторон, донеслось серебристое, звонкое пение труб.

— Прошла всего ночь или я спал целый день? — спросил я.

— Нет, проспал ты одну только ночь. Я дал тебе кое-какие снадобья, дабы унять боль и уберечь от инфекции рану, и не стал бы будить тебя поутру, однако, войдя, обнаружил, что ты проснулся… а времени у нас, считай, нет.

Что он имел в виду, я не понял, но, не успев задать новый вопрос, увидел невдалеке полдюжины человек, почти голых, дружно вцепившихся в длинный канат. Казалось, они тянут к земле огромный воздушный шар, однако то был вовсе не шар, а флайер, и блеск его черного днища извлек из глубин моей памяти множество ярких воспоминаний о дворе Автарха.

— Я думал, ты позовешь… э-э… как, бишь, его… Мамиллиана.

— Сегодня нам не до зверушек. Мамиллиан — отличный товарищ, умен, молчалив, способен вести бой по собственному разумению, не нуждаясь в моем, однако на нем я езжу больше для развлечения. Сегодня мы, так сказать, похитим тетиву асцианского лука и воспользуемся машиной. Они у нас крадут многое, так что…

— А правда ли, что при приземлении расходуется энергия? Кажется, так говорил один из твоих аэронавтов.

— В бытность твою шатленой Теклой — то есть

исключительно Теклой?

— Да, Автарх, разумеется. Кстати, не будет ли неучтивостью с моей стороны спросить, отчего ты велел предать меня смерти и как смог узнать сейчас?

— Узнаю я тебя, поскольку вижу твое лицо в лице моего юного друга, а в его голосе слышу твой. Вот и няньки твои тоже тебя узнают. Взгляни на них.

Действительно, покосившись на женщин-кошек, я обнаружил, что клыки их оскалены, а морды искажены гримасами страха и изумления.

— Что касается твоей смерти, об этом я расскажу — ему, не тебе — на борту флайера… в свое время. А ты ступай-ка назад. Конечно, проявляться тебе нетрудно, так как он болен и слаб, но сейчас мне нужен он, а не ты. Добром не уйдешь — есть, знаешь ли, способы…

— Сьер?

— Да, Севериан? Что, страшно? Прежде в подобных устройствах летать не приходилось?

— Нет, — подтвердил я. — Однако я не боюсь.

— Помнишь вопрос по поводу их энергии? В каком-то смысле так оно и есть. Подъемную силу им сообщает антиматериальный эквивалент

железа, удерживаемый магнитными полями в так называемой ловушке Пеннинга. Поскольку магнитная структура антижелеза обратна обыкновенной, магниты обычные, проматериальные, не притягивают его, а отталкивают. Строители этого флайера окружили антижелезо магнитами, так что, стоит ему сместиться куда-либо от центра ловушки, магнитное поле большего напряжения теснит его назад. В родном, антиматериальном мире это железо весило бы не меньше огромного валуна, а здесь, на Урд, уравновешивает тяжесть проматерии, из которой построен флайер. Логику понимаешь?

— По-моему, да, сьер.

— Одна беда: наши технологии не позволяют герметично закупорить ловушку. Хоть часть атмосферного воздуха, хоть пара молекул да просочится внутрь — к примеру, сквозь поры в сварных швах или сквозь изоляцию магнитной проволоки. Каждая из этих молекул нейтрализует эквивалентный ей объем антижелеза, порождая тепло, и всякий раз, как это происходит, флайер теряет микроскопически малую долю подъемной силы. Как же с этим бороться? До сих пор решение найдено только одно: держать флайеры на такой высоте, где давления воздуха практически нет.

Наклонившийся носом к земле, флайер опустился так низко, что я в полной мере сумел оценить красоту его безупречно плавных обводов. Формой он в точности повторял вишневый лист.

— Я далеко не все понял, — признался я, — но, по-моему, чтоб удержать флайер на достаточной высоте, требуются канаты необычайной длины, и если асцианские пентадактили, явившись сюда ночью, рассекут их, флайер унесет неизвестно куда.

Губы женщин-кошек дрогнули, сложившись в едва заметные постороннему взгляду улыбки.

— Канат нужен только для приземления. Без него флайеру пришлось бы преодолеть немалое расстояние, чтоб погасить скорость спуска. Зная, что мы здесь, внизу, он сбрасывает нам канат — совсем как человек в пруду мог бы протянуть руку тому, кто его вытащит. Флайер, видишь ли, тоже наделен разумом. Не таким, разумеется, как у Мамиллиана, не естественным, а сотворенным для него нами, однако этого разума вполне довольно, чтоб огибать препятствия и снижаться, получив наш сигнал.

Нижняя часть флайера поблескивала матово-черным металлом, верхняя же представляла

собою купол — прозрачный, почти невидимый, вероятно, из того же материала, что и крыши Ботанических Садов. Над кормой его возвышалось примерно такое же орудие, как на спине мамонта, а еще одно, вдвое большее, венчало нос.

Автарх поднес к губам руку и прошептал что-то в сложенную горстью ладонь. В прозрачном куполе (как будто дыра на боку мыльного пузыря) отворился проем, а из проема прямо нам под ноги соскользнул изящный серебристый трап, на вид невесомый, тоненький, словно паутина. Шестеро гологрудых, оставив канат в покое, перевели дух.

— Взгляни-ка: подняться сумеешь? — спросил Автарх.

— Разве что с помощью рук, — отвечал я.

Автарх поднялся на борт первым, а я с позором, волоча за собой поврежденную ногу, вскарабкался следом за ним. Сиденья — пара длинных скамей, повторявших изгибы бортов, — несмотря на меховую обивку, на ощупь казались холоднее любого льда. Проем за моею спиной, стремительно сузившись, исчез без следа.

— Давление воздуха здесь останется прежним, привычным, как бы высоко мы ни забрались, — заверил меня Автарх, — так что удушья не бойся.

— К сожалению, для подобных страхов я слиш-

ком невежественен, сьер.

— Хочешь взглянуть на свою бывшую бакелу? Они сейчас далеко справа, но, если желаешь, я постараюсь их отыскать.

С этими словами Автарх сел за штурвал.

Машины мне прежде доводилось видеть только у Тифона с Бальдандерсом, да еще те, которыми у нас, в Башне Матачинов, заведовал мастер Гюрло. Вот их-то, машин, а вовсе не удушья, я и боялся, однако страх этот сумел одолеть.

— Выручая меня накануне, ты, помнится, не знал о том, что я здесь, в твоей армии.

— Пока ты спал, я навел справки.

— И именно ты приказал нам идти в атаку?

— В каком-то смысле… Я отдал приказ, результатом которого стала ваша атака, хотя непосредственно твоей бакеле никаких приказаний не отдавал. Уж не возмущен ли ты тем, что я сделал? Неужто, вербуясь в армию, ты полагал, будто тебе никогда не придется сражаться?

Флайер взмыл вверх. Рухнул, как я некогда и опасался, прямиком в небо. Однако стоило мне вспомнить пелену дыма, медный рев гресля, посвист снарядов, тела солдат, разнесенные ими в кровавую кашу, — и ужас мой обернулся гневом.

— Я ничего не знал о войне. А много ли знаешь о

ней ты? Бывал ли ты хоть раз в настоящем бою?

Автарх, оглянувшись, сверкнул голубыми глазами:

— Бывал, и не раз — тысячу. Вот ты, по обычному счету, не один человек, а два. Как думаешь, сколькими людьми исчисляюсь я?

Ответил ему я лишь долгое, долгое время спустя.

XXV. Милосердие Агии

Поначалу мне думалось, будто на свете нет и не может быть зрелища удивительнее, чем армия, исполинской гирляндой вытянувшаяся перед нами вдоль поверхности Урд, разноцветная, сверкающая оружием и доспехами, сопровождаемая анпиэлями, парящими над нею почти так же высоко, как и мы, кружащими, вьющимися в токах утренних ветров.

Однако спустя недолгое время передо мною предстало зрелище еще более удивительное. То была развернутая к северному горизонту армия асциан, водянисто-белая, тускло-черная, закостенелая, неподвижная в той же мере, в какой наша казалась зыбкой, текучей. Придвинувшись ближе к носу, я во все глаза уставился на нее.

— Могу показать их поближе, — сказал Автарх. — Однако ты не увидишь ничего, кроме человеческих лиц.

Очевидно, он вознамерился испытать меня, только я не мог понять как.

— И все же позволь взглянуть на них, — сказал я.

В строю скьявони, глядя на наши войска,

идущие в бой, я был поражен откровенной хрупкостью, эфемерностью их масс: сорвавшись с места, кавалерия мчалась вперед, будто всесокрушающая волна… и откатывалась назад, подобно обычной воде, не способной удержать на поверхности хотя бы мышь, той самой прозрачной субстанции, которую без труда зачерпнет горстью любой ребенок. Даже пельтасты, ощетинившиеся копьями, укрывшиеся за стеной хрустальных щитов, выглядели не более грозно, чем игрушечные солдатики на столе.

Теперь я смог оценить в полной мере, сколь непоколебимо выглядят вражьи ряды — прямоугольники из сотен тысяч солдат плечом к плечу, с огромными, будто крепости, машинами посередине.

Но как только экран в самом центре приборной панели позволил мне заглянуть под забрала их шлемов, вся сила, вся непоколебимая твердость противника исчезла, растаяла, сменившись весьма жутким зрелищем. В рядах пехоты оказалось немало и стариков, и детей, и даже слабоумных. Лицо каждого как две капли воды походило на те, что мне довелось повидать накануне: те же ввалившиеся от голода щеки, тот же безумный, лихорадочный блеск в глазах…

Вспомнив солдата, вырвавшегося из каре и, погибая, швырнувшего в небо копье, я отвел взгляд от экрана и отвернулся прочь.

Автарх рассмеялся. На сей раз в его смехе не чувствовалось никакого веселья: звучал он бездушно, сухо, словно хлопанье флага, трепещущего на ветру.

— Видел, как кто-нибудь покончил с собой?

— Нет, — отвечал я.

— Твое счастье. Я, глядя на них, вижу подобное часто. Им разрешается брать в руки оружие только перед самым началом боя, вот многие и пользуются случаем. Копейщики обычно вгоняют древко оружия в рыхлую землю и выстрелом разносят себе головы. А однажды на моих глазах два мечника, мужчина с женщиной, сговорившись между собой, вонзили клинки друг другу в живот. Я видел, как они считали, рубя воздух левой ладонью: раз… два… три — и оба мертвы.

— Кто они таковы? — спросил я.

Автарх вновь оглянулся на меня, но истолковать его взгляда мне не удалось.

— Что ты сказал?

— Спросил, кто они таковы, сьер. Да, мне известно, что они нам враги, живут на севере, в жарких странах, и, по слухам, состоят в рабстве у

Эреба… но кто они таковы?

— А ведь я до сих пор не знаю, сознаешь ли ты глубину собственного невежества. Скажи, сознаешь?

У меня пересохло во рту, хотя отчего, я себе даже не представлял.

— Наверное, нет. Асциан я в глаза не видел, пока не попал в лазарет к Пелеринам. На юге война кажется чем-то невообразимо далеким.

Автарх согласно кивнул:

— Да, мы — то есть автархи — отбросили их назад, к северу, примерно на половину расстояния, на которое они некогда оттеснили нас к югу. Кто они таковы, ты в свое время узнаешь… сейчас важнее всего то, что ты хочешь это узнать.

Тут он сделал паузу и, поразмыслив о чем-то, продолжил:

— И те и другие могли бы быть нашими. Обе вот эти армии, не только та, что на юге… Скажи, вот ты посоветовал бы мне взять под свою руку их обе?

С этими словами он щелкнул каким-то рычажком, и флайер резко накренился вперед, задрав корму к небу, а носом нацелившись на зеленый луг, как будто Автарху вздумалось размазать нас обоих по ничейной земле.

— Не понимаю, о чем ты, — признался я.

— Половина того, что ты сказал о них, неверна. Явились они не из жарких северных стран, а с континента, находящегося за экватором. Однако, назвав их рабами Эреба, ты нисколько не погрешил против истины. Они полагают себя союзниками тех, кто ждет в глубине. На самом же деле Эреб со товарищи охотно отдали бы их мне, если я отдам им наш юг. Наш юг вместе с тобой и всеми прочими.

Чтоб не упасть на него, мне пришлось ухватиться за спинку скамьи.

— Зачем ты мне об этом рассказываешь?

Флайер выровнялся, закачался с боку на бок, словно детский кораблик в луже.

— Чтоб ты, когда возникнет нужда, знал, что не одинок в своих чувствах. Что и другим доводилось чувствовать то же самое.

Я между тем никак не мог облечь в слова вопрос, который дерзнул задать, и, наконец, решился:

— Ты обещал здесь, на борту флайера, объяснить, отчего лишил жизни Теклу.

— Но разве она не живет в Севериане?

Стена без окон в голове рухнула, обратившись в развалины.

— Я умерла! *Умерла!* — выкрикнул я, сам не

успев понять, что говорю, пока крик не сорвался с языка.

Автарх, вынув откуда-то из-под приборной панели пистолет, положил его на колени и повернулся ко мне.

— Он тебе ни к чему, сьер, — сказал я. — Я слишком слаб.

— Но крепнешь на удивление быстро… в чем я уже убедился. Да, шатлены Теклы более нет, если не считать вот этой жизни в тебе, и хотя вы постоянно вместе, каждый из вас одинок. Ты ведь все еще ищешь Доркас? О которой, если помнишь, рассказывал мне при встрече в Тайной Обители…

— Отчего ты лишил жизни Теклу?

— На моей совести ничего подобного нет. Твоя ошибка заключается в убежденности, будто на мне держится, мне повинуется весь белый свет. Однако это не так. Подобным не могу похвастать ни я, ни Эреб, ни кто-либо другой. А что до шатлены, ты и есть она. Арестовали тебя гласно, в открытую?

Воспоминания об аресте оказались необычайно, невероятно яркими — прежде я даже не думал, что такое возможно. Миновав коридор с вереницами печальных серебряных масок вдоль

стен, я раздвинул затхлые древние портьеры и вошел в одну из заброшенных комнат с высоким сводчатым потолком. Курьер, с которым я должен был встретиться, еще не появился. Понимая, что пропыленные диваны безнадежно испачкают платье, я сел в хрупкое с виду резное кресло из позолоченной слоновой кости. Сорванный со стены гобелен накрыл меня со спины: оглянувшись на шорох, я успел разглядеть, как на голову мне падают вышитые крашеной шерстью Участь, увенчанная цепями оков, и Недовольство с посохом и склянкой песочных часов в руках.

— Схватили тебя, — не дождавшись ответа, продолжил Автарх, — некие офицеры, узнавшие, что ты втайне передаешь любовнику единокровной сестры определенные сведения. Схватили втайне, так как семья твоя пользуется немалым влиянием в северных землях, и поместили во всеми забытую тюрьму. К тому времени, как весть о случившемся дошла до меня, тебя уже не было в живых. Заслуживали ли офицеры, самочинно распорядившиеся твоей судьбой в мое отсутствие, наказания? Они — патриоты, а ты оказалась изменницей.

— Я, то есть Севериан, тоже изменник, — сознался я и впервые рассказал ему во всех подроб-

ностях о том, как однажды спас Водала, а после разделил с ним трапезу.

Дослушав рассказ до конца, Автарх глубокомысленно кивнул:

— Да, большая часть твоей верности Водалу — разумеется, от шатлены. Кое-что она внушила тебе еще при жизни, а остальное передала после смерти. Уверен, при всей своей наивности ты оказался отнюдь не настолько простодушен, чтобы подумать, будто пожиратели трупов угостили тебя именно ее плотью чисто случайно.

— Но если б он даже знал о моей связи с ней, то все равно никак не успел бы доставить из Несса ее тело, — возразил я.

Автарх улыбнулся:

— Неужели ты позабыл, как совсем недавно рассказал мне, что, спасенный тобою, он скрылся на точно таком же флайере? Из того леса, едва ли в дюжине лиг от Городской Стены, он мог долететь до самого центра Несса, выкопать труп, прекрасно сохранившийся в мерзлой земле до весны, и вернуться назад в течение одной-единственной стражи. Мало этого, ему вовсе не требовалось ни так много знать, ни куда-либо спешить. О гибели шатлены Теклы, сохранившей верность ему до конца жизни, он вполне мог узнать, пока ты си-

дел взаперти, под охраной собратьев по гильдии. Потчуя ее плотью соратников, он рассчитывал укрепить их преданность своему делу и в других соображениях, побуждающих к похищению ее тела, совсем не нуждался. По похищении Водал, скорее всего, перезахоронил труп до поры — например, в погребе, загодя набитом снегом, или в каком-нибудь руднике, благо рудников в тех краях предостаточно. А после, когда появился ты, решил покрепче привязать тебя к себе и велел пустить запас в дело.

Тут что-то с невероятной быстротой промелькнуло мимо самого носа нашего флайера. Флайер встряхнуло, на экране посреди приборной панели заплясали искры.

Прежде чем Автарх успел совладать с машиной, нас отшвырнуло назад. Парализованный оглушительным грохотом, я замер, глядя на желтую вспышку пламени, расцветающую в содрогнувшемся небе. Однажды Эата при мне подстрелил из пращи воробья. Подобно той самой птахе, подбитой на лету камнем, наш флайер качнулся, завалился набок и, кувыркаясь в воздухе, рухнул вниз.

Очнулся я в темноте, окутанный едким дымом с примесью запаха сырой земли. Какой-то

миг, а может, и целую стражу мне, забывшему о вчерашнем спасении, казалось, будто лежу я на том самом поле, где вместе с Дарией, Гуасахтом, Эрблоном и остальными бил асциан.

Поблизости лежал кто-то еще. Я слышал его дыхание, скрип, шорохи, но поначалу не уделил им внимания, а после, вообразив, будто где-то рядом возятся ищущие пропитания звери, не на шутку перепугался, однако еще некоторое время спустя вспомнил, что произошло, и понял: все эти звуки издает Автарх, переживший падение вместе со мной.

— Стало быть, ты все-таки жив, — отозвался он на мой оклик. Казалось, эти слова стоят ему последних сил. — А я уж боялся, что ты умрешь… хотя о твоих способностях помнил прекрасно. Привести тебя в чувство не удалось, да и пульс почти не прощупывался.

— Я забыл, *забыл!* Помнишь, как мы пролетали над армиями? Так вот, я на время забыл об этом! И теперь знаю, каково это — забывать!

Автарха невесело, едва слышно рассмеялся:

— Знаешь и не забудешь до конца дней?

— Хотелось бы, только память об этом меркнет с каждым сказанным словом. Рассеивается, словно туман… а это, наверное, тоже забвение. Из

чего нас сбили?

— Понятия не имею. Однако слушай. То, что я скажу сейчас, — самые важные слова в моей жизни. Слушай внимательно. Ты служил Водалу, его мечтам о возрожденной империи. Тебе все еще хочется, чтоб человечество снова отправилось к звездам?

— Люди Урд, странствующие меж звезд, из галактики в галактику, повелители дочерей солнца, — проговорил я, припомнив услышанное от Водала в лесной чаще.

— Когда-то так все и было… да только люди прихватили туда с собой старые войны, начатые на Урд, и там, под юными солнцами, затеяли немало новых. Даже они, — (видеть его я не мог, но, судя по тону, в этот момент он кивком указал в сторону асциан), — понимают, что так больше быть не должно. Им хочется свести человечество к единственной личности… одной и той же, повторенной бессчетное множество раз. Мы же хотим, чтобы каждый заключал в себе все человечество, все его чаяния и устремления. Скажи, видел ли ты флакончик, который я ношу на груди?

— Да, и не раз.

— Внутри — фармакон, подобный альзабо, загодя смешанный, хранимый в виде суспензии.

Ниже пояса я уже холоден и скоро умру. Прежде чем я умру… ты должен им воспользоваться.

— Но я не вижу тебя, — сказал я, — и двигаюсь еле-еле.

— Тем не менее найди способ, найди. Ты ничего не забываешь, а стало быть, должен помнить тот вечер, когда явился ко мне, в Лазурный Дом. Тем же вечером у меня побывал еще кое-кто. Когда-то я был слугой, лакеем в Обители Абсолюта… поэтому они меня и ненавидят. И с тем же пылом возненавидят тебя за то, кем ты был прежде. А Пеан, мой наставник, пятьдесят лет ведавший пасеками… однако я знал, кто он на самом деле, ибо встречался с ним до того… сказал, что ты — тот самый… следующий. Только не думал я, что случится это так скоро…

Голос его оборвался на полуслове. Цепляясь за все, что ни подвернется под руку, я подполз к нему ближе, нащупал его ладонь, и он прошептал:

— Ножом… нож в дело пусти… Мы в асцианском тылу, но я призвал Водала тебе на помощь… и слышу стук копыт его дестрие.

Говорил он так тихо, что я едва разбирал слова, хотя мое ухо находилось в какой-то пяди от его губ. Прекрасно помнивший, как Водал ненавидит его, как стремится его уничтожить, я счел все это

горячечным бредом.

— Постой. Передохни, — сказал я.

— Я его соглядатай… такова еще одна из моих… должностей. Он привлекает к себе изменников… а я узнаю, кто они таковы, что поделывают, о чем думают. Такова одна из его должностей. Теперь я сообщил ему, что Автарх здесь, в разбившемся флайере, и место указал точно. А прежде он… служил при мне… телохранителем…

Тут я тоже услышал донесшиеся снаружи шаги, поднял руку в поисках чего-либо пригодного, чтобы подать подошедшим какой-нибудь знак, нащупал меховую обивку скамьи и понял: флайер перевернулся вверх дном, накрыв нас, будто пару лягушек.

Резкий удар, скрежет рвущегося металла — и внутрь, сквозь на глазах ширящуюся брешь в корпусе, хлынул яркий, как солнечный луч, зеленый, словно листья ив, свет луны.

Автарх лежал прямо передо мной. Редкие светлые его волосы потемнели от запекшейся крови. Над ним — вернее, над брешью в обшивке — маячили темно-зеленые, почти черные силуэты нескольких человек. Лиц было не разглядеть, однако я сразу же понял, что эти блестящие глаза и суженные головы никак не могут принадлежать

сподвижникам Водала, и принялся лихорадочно шарить вокруг в поисках пистолета Автарха. Меня немедля схватили за руки, потянули кверху, и, оказавшись снаружи, я, сам того не желая, вспомнил о мертвой женщине, на моих глазах поднятой из могилы среди укрытого туманом некрополя, так как рухнувший с неба флайер наполовину ушел в рыхлую землю. Асцианский снаряд вспорол его борт, сорвав большую часть обшивки. Из пробоины торчали наружу обрывки спутанных проводов, искореженный металл вокруг почернел от копоти.

Однако долго разглядывать все это мне не пришлось. Пленители принялись вертеть меня из стороны в сторону, поочередно, один за другим, ощупывая мое лицо. Плащ мой они тоже ощупали, да так дотошно, будто никогда в жизни не видели ткани. Огромные глаза, впалые щеки… одним словом, эти эвзоны почти ничем не отличались от пехотинцев, с которыми мы дрались накануне, и среди них также имелись женщины, однако не оказалось ни стариков, ни детей. Доспехи им заменяли серебристые рубахи и шапочки, а вооружены они были странной формы джезайлями со стволами такой длины, что дула их значительно возвышались над головами

владельцев, даже если хозяин упирал приклад в землю.

— Похоже, сьер, твое сообщение перехватили, — сказал я извлеченному из флайера Автарху.

— И все-таки до адресата оно добралось.

Ослабший, указать рукой в небо он не сумел, но, проследив за направлением его взгляда, я вскоре увидел на фоне луны темные силуэты, спускавшиеся к земле.

Спускались они с такой быстротой, так прямо, словно скользили к нам по лунному лучу. Округлые, белые, увенчанные костяными митрами, их головы напоминали женские черепа, челюсти далеко выступали вперед и плавно сужались, образуя кривые клювы, оснащенные двумя рядами остроконечных зубов. Имелись у них и крылья — крылья столь огромной величины, что со стороны казалось, будто существа эти вовсе лишены тел. Размах этих крыльев от кончика до кончика достигал по крайней мере двадцати кубитов, и хотя на лету они не издавали ни малейшего шума, поднятый ими ветер я почувствовал издалека.

(Некогда, в воображении, я представлял себе подобные создания сметающими с лица Урд леса, обращающими города в руины… Уж не эти ли са-

мые мысли помогли им отыскать нас в ту ночь?)

Асцианские эвзоны словно бы довольно долго не замечали их приближения. Затем двое-трое выстрелили разом, и росчерки выстрелов, сошедшись на одном из крылатых созданий, разнесли в клочья и его, и еще одно, и еще. На миг свет луны померк; нечто холодное, дряблое, угодив прямо в лицо, сбило меня с ног.

К тому времени, как в глазах моих вновь прояснилось, полдюжины асциан куда-то исчезли, а остальные палили в воздух, по целям, едва различимым на фоне темного неба. В ответ сверху на нас рухнуло нечто белесое, и я, решив, что, упав, оно взорвется, поспешил опустить пониже голову, но под ударом обшивка разбитого флайера всего-навсего зазвенела — звонко, чисто, точно кимвал. «Нечто белесое» оказалось телом — человеческим телом, обмякшим, безжизненным, подобно кукле, однако крови я на нем не заметил.

Один из эвзонов ткнул меня в спину дулом джезайля, подталкивая вперед. Еще двое, совсем как женщины-кошки — меня, подхватили, подняли на ноги Автарха. Тут я обнаружил, что совершенно утратил способность к ориентированию. Луна сияла по-прежнему ярко, но большая

часть звезд скрылась за пеленой облаков. Тщетно искал я в небе крест и те три постоянно парящие над южными льдами звезды, что в силу никому не известных причин называются «Восемью». Некоторые эвзоны продолжали стрельбу, и вдруг среди нас взорвалось, рассыпалось снопом ослепительно-белых искр что-то вроде стрелы или дротика.

— Ага. Так-то лучше, — шепнул мне Автарх.

Я, протирая глаза, кое-как, ощупью, ковылявший вперед, едва сумел спросить, что его обнадеживает.

— Ты хорошо видишь? Нет? Вот и они тоже. Наши друзья наверху… наверное, Водал не знал… что взявшие нас в плен так хорошо вооружены. Теперь их стрельбы можно не опасаться, и как только вон то облако доползет до диска Луны…

Меня зазнобило, словно в ночную прохладу ворвался поток студеного горного ветра. Совсем недавно, оказавшись среди этих исхудавших солдат, я пришел в отчаяние, теперь же отдал бы все, только б наверняка остаться с ними.

Автарх (двое эвзонов, закинувших длинноствольные джезайли за спины, волокли его рядом, слева) бессильно обмяк, уронил набок голову, и я понял: он лишился сознания либо мертв.

«Легион»… так назвала его одна из женщин-кошек, а чтобы связать это имя с услышанным от него в разбившемся флайере, отнюдь не требовалось выдающегося ума. Если во мне соединились Текла и Севериан, то в нем, несомненно, обреталось множество личностей. Всю сложность, всю многогранность его мышления я почувствовал еще при первом знакомстве, тем самым вечером, приведенный Рохом в Лазурный Дом (суть странного названия коего, кажется, начинал понимать), подобно тому, как всякий даже при плохом освещении чувствует многогранность мозаики из мириадов ничтожно малых частиц, составляющих в совокупности лучезарный лик и всевидящие очи Нового Солнца.

Да, он сказал, что мне суждено стать его преемником… но на сколь долгий срок? Как ни нелепо выглядело сие со стороны пленника, да еще раненого, ослабшего так, что единственная стража отдыха на жесткой траве кажется сущим раем, во мне взыграло неудержимое честолюбие. По словам Автарха, отведать его плоти и проглотить снадобье следовало, пока он еще жив, и из любви к нему я — если б хватило сил — вырвал бы из рук пленителей то, что принадлежит мне по праву, немедля, лишь бы как можно скорей завладеть

всей сопряженной с этим роскошью, почетом и властью. В то время я был совокупностью Севериана и Теклы, и, вероятно, оборванный ученик палачей вожделел всего этого куда сильнее, чем юная экзультантка, на правах пленницы содержавшаяся при дворе. Теперь я понимал, что чувствовала злосчастная Кириака в садах архонта, но если б ей довелось пережить охватившие меня чувства, пожалуй, ее сердце не выдержало бы, разорвалось.

Однако еще миг спустя все мои амбиции развеялись без остатка: в глубине души я весьма дорожил той частью собственной жизни, куда не было ходу даже Доркас. Там, далеко в закоулках сознания, наши с Теклой молекулы навеки слились в объятиях, а все прочие — дюжины, а может, и тысячи человек, составлявших личность Автарха, — поглощенные мною, нарушат наше уединение, ворвутся к нам, словно толпа с базара в беседку. Крепко прижав к себе подругу сердца, я тут же почувствовал, как она прижимает к себе меня. Крепко прижав к себе друга сердца, я почувствовала, как крепко прижимает меня к себе он.

Луна померкла, словно потайной фонарь, когда нажмешь на рычаг, смыкающий его шторки, так

что испускаемый им луч света, истончившись, исчезает во тьме. Сиреневые, светло-лиловые лучи, разряды джезайлей асцианских эвзонов, сверкнули веером в вышине, точно разноцветные булавки, вонзились в подушечки облаков, но все напрасно. Внезапный порыв жаркого ветра принес с собой вспышку мрака (иного названия этому я подобрать не могу), Автарх бесследно исчез, а на меня стремительно ринулось сверху нечто громадное, и я бросился наземь.

Должно быть, удар о землю оказался изрядно силен, но мне не запомнился. Спустя еще миг я словно бы взмыл в воздух, развернулся, уверенно понесся ввысь. Мир внизу обернулся непроглядной ночной темнотой. Вокруг моего пояса крепко сомкнулась жесткая, точно камень, ладонь — костлявая, огромная, в три раза больше человеческой.

Нырок, поворот, крен, скольжение боком вниз, словно с горки — и мы, подхваченные током восходящего воздуха, вновь устремились в небо, поднимаясь все выше и выше, пока обожженное холодом тело не онемело с головы до ног. Изогнув шею и подняв взгляд, я сумел разглядеть над собой жуткую белизну челюстей несущего меня существа. Казалось, тварь эта явилась прямиком

из кошмарного сна, привидевшегося мне той ночью, когда я делил с Бальдандерсом койку в захудалой гостинице, хотя во сне я летел на ней верхом. Что могло оказаться причиной сей разницы меж сном и явью — об этом мне неизвестно. Помню, как закричал (сам не ведая что), жуткая тварь, разинув клюв-скимитар, зашипела, а сверху на крик мой откликнулся женский голос:

— Вот я и в расчете с тобой за ту ночь возле рудника — ты до сих пор жив!

XXVI. Над джунглями

Приземление при свете звезд оказалось весьма сродни пробуждению, как будто позади оставалось вовсе не небо, а некое царство кошмаров. Подобно падающему листу, исполинская тварь, сужая круги, устремилась вниз, с каждым новым витком вокруг становилось теплее, и, наконец, мои ноздри защекотали запахи Сада Джунглей — буйной зелени пополам с древесной гнилью и сладкими ароматами огромных, бледных, как воск, безымянных цветов.

Над деревьями возвышалась темная голова зиккурата, казалось, несущего окрестные заросли на плечах: деревья облепили его полуразрушенные стены, будто грибы — ствол мертвого дерева. Стоило нам легко, невесомо опуститься на его верхушку, вокруг вспыхнули факелы, зазвучали оживленные крики. Едва не лишившийся чувств, дыша ледяным разреженным воздухом, я не сразу смог перевести дух.

Чьи-то руки разомкнули долгое время сжимавшие мое тело когти, меня повели вниз, и, наконец, одолев череду каменных ярусов и изрядно выщербленных лестниц, остановившись

перед костром, я увидел по ту сторону пламени чеканное, без тени улыбки, лицо Водала, а рядом — сердцевидное личико его неизменной спутницы, нашей единокровной сестры Теи.

— Кто это? — спросил Водал.

Я хотел было поднять руки, однако держали меня крепко.

— Сьер, — заговорил я, — ты должен меня знать.

— Тот самый, ради кого я — и мой слуга Гефор — согласились служить тебе, — раздался за моею спиной тот же голос, который я слышал в полете. — Убийца моего брата. Цена нашей службы.

— Тогда зачем ты доставила его ко мне? — в недоумении хмыкнул Водал. — Он твой. Или ты думаешь, что, взглянув на него, я пожалею о нашем уговоре?

Возможно, я преувеличивал собственную слабость. Возможно, тот, что держал меня справа, просто на время забылся и слегка разжал пальцы. Так или иначе, я, высвободившись, толкнул его прямо в костер. Из-под сапог его брызнули в стороны алые головни.

Позади меня, до пояса обнаженная, стояла Агия, а за ее плечом, сжимая в ладонях ее груди, плотоядно скалил источенные гнилью зубы Гефор.

Сорвавшись с места, я бросился было прочь, и тут она хлестнула меня по щеке раскрытой ладонью. Щеку рвануло, пронзило болью, на подбородок хлынула теплая кровь.

Как выяснилось позднее, оружие это называется «люсэве», а у Агии оказалось, потому что Водал запретил появляться рядом с ним вооруженными всем, кроме собственных телохранителей. Представляет оно собой всего-навсего брусочек с кольцами для большого и безымянного пальцев да четырьмя-пятью кривыми лезвиями, которые легко спрятать в кулаке, однако удар им пережили немногие.

Оказавшийся среди этих немногих счастливцев, я поднялся на ноги уже через два дня, но обнаружил, что заперт в комнате с голыми стенами. Пожалуй, изучить какую-либо комнату лучше любой другой в жизни доводится каждому, и для заключенных таковой неизменно становится камера. Так я, немало потрудившийся снаружи великого множества тюремных камер, разнося пищу изувеченным и обезумевшим, вновь угодил в камеру сам. Для чего строился зиккурат изначально, я так и не догадался. Возможно, действительно под тюрьму, а может, когда-то в нем размещался храм или мастерские для занятий

неким давно позабытым искусством. Камера моя примерно вдвое превосходила размерами ту, что отвели мне под башней палачей: шесть шагов в ширину, десять в длину. Дверь из блестящего древнего сплава стояла без дела, прислоненная к стене, не принося тюремщикам Водала никакой пользы, поскольку никто из них не знал, как ее запереть, а вход закрывала другая, новая, наскоро сбитая из грубо оструганных, прочных, точно железо, досок (по-видимому, на доски пошло некое местное дерево). Окно заменял округлый проем немногим шире локтя, пробитый в поблекшей стене под самым потолком. На мой взгляд, для сей цели он отроду не предназначался, но только сквозь него в камеру проникал дневной свет.

Спустя еще три дня я окреп настолько, чтобы, подпрыгнув, уцепившись за его нижний край и подтянувшись на одной руке, выглянуть наружу. Когда тот знаменательный день наконец наступил, за оконцем передо мною открылся холмистый зеленый простор, усеянный множеством бабочек, — зрелище столь непохожее на ожидаемое, что мне показалось, будто я повредился умом. Ошеломленный, я разжал пальцы и рухнул вниз и лишь впоследствии понял, что все это — царство верхушек деревьев, густая листва

великанов высотой в десять чейнов, не меньше, отчего ее обыкновенно и не видит никто, кроме птиц.

Некий старик с исполненным мудрости, однако недобрым взглядом перевязал мне щеку и сменил бинты на ноге. Спустя какое-то время он привел ко мне в камеру паренька лет тринадцати и принялся перекачивать его кровь в мою вену, пока губы мальчишки не посерели, точно свинец. Я спросил престарелого лекаря, откуда он, и он, очевидно приняв меня за одного из местных жителей, ответил:

— Из великого города к югу отсюда, в долине реки, текущей из холодных стран. Река эта гораздо длиннее ваших, а называется Гьёллем, хотя воды ее и не столь бурны.

— Ты большой мастер своего дела, — заметил я. — О врачевателях, способных на такое, я в жизни не слышал. Однако мне уже много лучше, а посему — довольно. Остановись, пока этот мальчишка не расстался с жизнью.

Старик ущипнул мальчишку за щеку.

— Ничего, поправится он в два счета — как раз успеет согреть мне на ночь постель. Мальчишкам в его годы любые хвори нипочем. Нет, речь не о том, что у тебя на уме. Я сплю рядом с ним лишь

потому, что ночное дыхание юных на людей моих лет действует лучше любых укрепляющих снадобий. Юность, видишь ли, тоже болезнь, и заразная, так что у нас есть надежда подхватить ее — хотя бы в легкой форме. Как рана твоя поживает?

Ничто — даже признание моей правоты, порожденное неким извращенным желанием притвориться, будто он еще полон мужской силы, — не могло бы вернее убедить меня в его откровенности.

В ответ я честно признался, что правой щеки не чувствую вовсе, если не брать в расчет легкого жжения, досаждающего, словно зуд, а сам ненадолго задумался, гадая, какие из возлагаемых на злополучного мальчишку поручений ему больше всего не по сердцу.

Старик, разрезав бинты, заново смазал мои раны все той же вонючей, бурого цвета мазью, что и прежде.

— Загляну завтра, — сказал он, — хотя Мамант тебе тут, думаю, более не понадобится. На поправку ты идешь — лучше некуда. Ее высочество, — (тут он мотнул головой, давая понять, что в сем титуле заключена ирония насчет высоты положения Агии), — будет весьма довольна.

— Надеюсь, другие твои пациенты чувствуют себя не хуже, — словно бы невзначай, к слову, заметил я.

— Ты про того доносчика, которого вместе с тобой привезли? Ну что о нем можно сказать — пока держится… в меру возможного, — отвечал старый лекарь, отвернувшись, чтобы я не заметил страха на его лице.

Рассудив, что симпатии старика могут дать мне шанс хоть чем-нибудь да помочь Автарху, я расхвалил его познания в лекарском ремесле до небес, а напоследок вслух удивился: чего, дескать, ради столь выдающийся врач мог связаться с крамольниками?

Старик, повернувшись ко мне, сощурился, вмиг посерьезнел:

— Ради знаний. Научиться тому, чему я учусь здесь, человеку моего рода занятий больше негде.

— То есть ты учишься, поедая умерших? Да, мне довелось испытать это на себе, хотя тебе об этом, возможно, никто не сказал.

— Нет, нет. К этому-то люди ученые — особенно изучающие мое ремесло — прибегают повсюду, и обычно с куда лучшим эффектом, чем кто бы то ни было, так как мы тщательней прочих под-

ходим к выбору объекта и ограничиваемся лишь наиболее ретентными… сиречь «памятливыми» мышечными тканями. Однако нужных мне знаний таким образом не получить, поскольку ими не обладает никто из недавно умерших, а возможно, не обладал никто из людей вообще.

Ненадолго умолкнув, он прислонился к стене и, словно обращаясь не столько ко мне, сколько к кому-то невидимому, продолжил:

— Бесплодная наука прошлых времен не привела человечество ни к чему, кроме истощения ресурсов нашей планеты и гибели населяющих оную рас. В основе ее лежало простое желание извлекать выгоду из всех видов энергии и форм материи во вселенной без оглядки на их симпатии, антипатии и вероятные судьбы. Взгляни! — С этим он ткнул пальцем в солнечный луч, падающий внутрь сквозь округлое оконце под потолком. — Вот это — свет. Ты скажешь, он не относится к живым существам, но даже не подумаешь, что он может быть чем-то большим, не меньшим! А между тем свет, не занимая места в пространстве, заполняет собой всю вселенную, питает собой все живое, однако сам черпает силы в разрушении. Мы полагаем, будто властны над ним, но что, если он попросту взращивает

нас как источник пищи? Что, если все деревья в мире растут только затем, чтоб сгореть, а люди родятся, чтоб поджигать леса? Что, если наши претензии на власть над светом столь же нелепы, как претензии пшеницы на власть над нами, подготавливающими для нее почву, приглядывающими за ее… совокуплением с Урд?

— Великолепно сказано, — заметил я, — да только речь-то совсем не о том. Что побуждает тебя служить Водалу?

— Подобные знания не даются в руки без экспериментов.

Улыбнувшись, старик-лекарь коснулся плеча мальчишки, и перед моим мысленным взором немедля возникли образы горящих в огне детей. Оставалось только надеяться, что я ошибаюсь.

Случилось это за два дня до того, как я сумел подтянуться и выглянуть в окно. Старый лекарь больше не появлялся: возможно, выпал из фавора, возможно, был отправлен куда-то в другие места, а может, просто решил, что лечения больше не требуется — узнать об этом мне было неоткуда.

Один раз меня навестила Агия. Сопровождаемая двумя из женщин-воинов Водала при оружии, она плюнула мне в лицо, а после долго описывала всевозможные пытки, изобретенные

для меня ею с Гефором к тому времени, как я окрепну и смогу их выдержать. Дослушав рассказ до конца, я без утайки признался, что большую часть жизни ассистировал при исполнении процедур гораздо более жутких, и посоветовал подыскать обученного ремеслу помощника, с чем она и убралась восвояси.

С того времени меня несколько дней не тревожил никто. Просыпаясь, я всякий раз чувствовал себя чуть ли не совершенно другим человеком: одиночества вкупе с угасанием мыслей в темные периоды сна вполне хватало, чтобы утратить ощущение собственной индивидуальности… однако все эти Северианы с Теклами упорно рвались на волю.

Проще всего было отступить в прошлое, укрыться в глубинах воспоминаний. Так мы зачастую и делали, вновь переживая идиллию тех дней, когда вместе с Доркас шли в Тракс; снова играя в лабиринте из живой изгороди на задах виллы отца либо на Старом Подворье; опять и опять повторяя долгий спуск по Адамнианской Лестнице вдвоем с Агией, когда я еще не видел, не чувствовал в ней врага.

Однако нередко я, оставляя воспоминания, принуждал себя мыслить — порой хромая из угла

в угол, а порой просто поджидая, пока в оконце не влетит муха, чтоб ради забавы поймать ее на лету. В такие периоды я строил планы побега, хотя пути к бегству в сложившихся обстоятельствах не находил, или подолгу размышлял над пассажами из книги в коричневом переплете, стремясь сопоставить их с пережитым мною самим, дабы, насколько удастся, свести все это в некую общую теорию человеческих действий — ведь таковая наверняка весьма пригодится в будущем, если, конечно, мне суждено когда-нибудь освободиться.

В конце концов, если уж этот лекарь, глубокий старик, даже на пороге неминуемой смерти не утратил интереса к познанию, отчего бы мне — тому, кто, вполне может статься, умрет еще прежде него, — не поискать утешения в мысли, что моя смерть вовсе не столь неминуема?

В поисках ключика, отпирающего любое сердце, я всесторонне обдумывал действия магов, и человека, привязавшегося ко мне возле хакаля умиравшей девчонки, и многих других, с кем успел познакомиться.

Увы, ничего, умещающегося в несколько слов, в голову не приходило. «Поступками людей руководит то-то и то-то, а значит...» Ни один из

бесформенных кусочков металла — жажда власти, любовная страсть, нужда в ободрении, тяга к романтике — в этот шаблон не укладывался, и все же один общий принцип, нареченный со временем «Принципом Примитивности», мне отыскать удалось. На мой взгляд, применим он весьма широко, и если не руководит человеческими поступками, то, по крайней мере, заметно влияет на принимаемые оными формы, а сформулирован может быть так: «Просуществовавшие множество хилиад, доисторические культуры сформировали в людях ряд черт, побуждающих человека сегодняшнего поступать так, будто условия жизни с тех пор не изменились».

К примеру, технология, с помощью коей Бальдандерс некогда мог бы наблюдать каждый шаг гетмана из деревушки на берегу озера, тысячи лет назад обратилась в прах, однако, существовавшая на протяжении многих эпох, словно бы наложила на Бальдандерса своего рода чары, благодаря которым сохранила действенность, даже больше не существуя.

Точно таким же образом в каждом из нас живут призраки давным-давно прекративших существование вещей, павших городов, небывалых, чудесных машин. Сказка, которую я читал Ионе

во время нашего заточения (куда менее тревожного, куда менее одинокого), демонстрировала это весьма наглядно, и здесь, в зиккурате, я перечел ее заново. Перенося в декорации мифа морское чудовище вроде Эреба или Абайи, автор наделил его головой, подобной кораблю — единственной видимой частью тела, так как все прочее скрывалось под водой, — то есть, повинуясь подспудным велениям разума, отказал ему в принадлежности к миру протоплазмы, превратил в машину.

Развлекаясь подобными умопостроениями, я все отчетливее осознавал, что это древнее здание занято Водалом лишь на недолгое время. Лекарь меня, как уже было сказано, больше не навещал, и Агия тоже, однако я часто слышал за дверью какую-то беготню, а порой — немногословные выкрики.

Услышав подобные звуки, я всякий раз прижимался к дощатой двери свободным от бинтов ухом, а нередко даже ждал их, подолгу сидя возле порога, в надежде подслушать обрывок беседы, так или иначе касающейся планов Водала на будущее, но ничего полезного узнать не сумел. Мало этого, тщетно вслушиваясь в тишину, я против воли вспоминал о сотнях заключенных в подземельях под нашей башней, наверняка

точно так же вслушивавшихся в мои шаги, когда я приносил Дротту еду для них. Как же они, должно быть, старались подслушать обрывки наших с Теклой бесед, сквозь решетку дверей сочившиеся в коридор, достигая их камер, когда я навещал ее!

А мертвые? Признаться, временами я сам считал себя почти мертвецом. Разве мертвые, миллионы миллионов умерших, не заперты под землей, в камерах куда меньше, теснее моей? Раздели людей по какому угодно признаку — число мертвых в любой категории многократно превысит число живых. Большинство миловидных детишек мертвы. Мертво большинство солдат и большинство трусов. Прекраснейшие из женщин, мудрейшие из ученых мужей — все они также мертвы. Тела их — в гробах, в саркофагах, под арочными сводами из грубо отесанного камня — покоятся под землею повсюду, где ни копни, а духи обитают в нашем сознании, под куполом черепа, приникнув изнутри ухом к лобной кости. Кто знает, сколь внимательно вслушиваются они в наши беседы, каких ожидают слов?

XXVII. Аудиенция с Водалом

На шестой день, с утра, за мной явились две женщины. Спал я ночью сквернее некуда: один из кровососущих нетопырей, во множестве обитающих в северных джунглях, пробрался ко мне в камеру через окно. Выгнать его и унять кровотечение мне в конце концов удалось, однако нетопырь — очевидно, привлекаемый запахом ран — вновь и вновь возвращался назад. При виде тускло-зеленого мрака (другими словами, рассеянного света луны) я до сих пор всякий раз вздрагиваю, вспоминая летучую мышь, вползающую в оконный проем, словно огромный паук, а после с громким хлопаньем крыльев взвивающуюся к потолку.

Обнаружив, что я не сплю, стражницы удивились не меньше, чем удивили меня, войдя в камеру: снаружи едва-едва занялся рассвет. Меня заставили встать, и одна из них связала мне руки, пока другая держала у самого горла острие дирка. Впрочем, первая между делом поинтересовалась, как заживает моя щека, и добавила, что слышала от других, будто, доставленный к ним, выглядел я малым вполне миловидным.

— В то время я был почти так же близок к смерти, как и сейчас, — ответил я.

Сказать по правде, сотрясение мозга, полученное в момент падения флайера, меня более не тревожило, а вот нога со щекой изрядно побаливали до сих пор.

Стражницы отвели меня к Водалу, вопреки моим ожиданиям, обнаружившемуся не в одной из комнат зиккурата и не на том его ярусе, где величественно восседал рядом с Теей в ночь моего прибытия, но на прогалине, с трех сторон окруженной зеленоватыми водами спокойной, никуда не спешащей реки. Спустя недолгое время (для начала мне пришлось подождать в стороне, пока Водал не покончит с другими делами) я осознал, что река эта определенно течет на северо-восток, а ведь водоемов, текущих в северо-восточном направлении, мне еще ни разу не попадалось: все реки и ручейки, встречавшиеся по пути, стремились к югу либо к юго-западу, дабы в конце концов слиться с текущим на юго-запад Гьёллем.

Наконец Водал кивнул в мою сторону, и меня подвели к нему. Увидев, что стою я с трудом, он велел стражницам усадить меня у его ног и взмахом руки отослал их прочь — туда, откуда

им было нас не услышать.

— На сей раз твое появление не столь внушительно, как предыдущее, в лесу близ Несса, — заметил он.

С этим нельзя было не согласиться.

— Однако, сьер, — добавил я, — я по-прежнему твой слуга, как и в ночь нашей первой встречи, когда спас твою шею от топора. И если сегодня мне довелось предстать перед тобой в окровавленном тряпье, со связанными рукам, то лишь потому, что так ты обходишься со слугами.

— Согласен, согласен, связывать руки человеку в твоем состоянии — это слегка чересчур, — сказал Водал с легкой улыбкой. — Больно?

— Нет. Руки уже онемели.

— Однако веревки тут ни к чему.

Поднявшись, Водал обнажил узкое лезвие, склонился надо мной и чиркнул острием клинка по веревкам. Я напряг плечи, и уцелевшие пряди расползлись в клочья, а ладони словно пронзило тысячами иголок.

Неторопливо усевшись на место, Водал спросил, не собираюсь ли я поблагодарить его.

— Ты ведь, сьер, не поблагодарил меня. Вместо этого ты дал мне монету. Кажется, у меня где-то тут были…

С этими словами я полез в ташку, за деньгами, полученными от Гуасахта.

— Монету можешь оставить себе. Я попрошу от тебя много большего. Готов ли ты рассказать, кто ты такой?

— К этому я, сьер, был готов всегда. Я — Северианан, бывший подмастерье гильдии палачей.

— Всего-навсего бывший подмастерье той самой гильдии… и никто более?

— Именно так.

Водал вздохнул, улыбнулся, откинулся на спинку кресла и улыбнулся вновь:

— Мой слуга, Хильдегрин, с самого начала утверждал, будто ты — особа очень и очень важная, но когда я спросил, в чем твоя важность, вывалил на меня множество домыслов, ни один из которых не показался мне убедительным. Я думал, он просто пытается выманить у меня толику серебра за пустяковый соглядатайский труд… а он оказался прав.

— Сколь-либо важную услугу я оказал тебе всего раз, сьер.

— Однако о том, что однажды спас мою жизнь, напоминаешь при каждой встрече. А знаешь ли ты, что Хильдегрин тоже однажды спас тебя от смерти? Это он крикнул твоему противнику

«беги», когда ты дрался на поединке в столице. Ты ведь упал, и противник вполне мог заколоть тебя.

— Нет ли поблизости Агии? — спросил я. — Она ведь непременно попытается покончить с тобой, если услышит это.

— Нашего разговора не слышит никто, кроме нас двоих. Но если хочешь, можешь после ей рассказать. Она тебе все равно не поверит.

— Я бы на это не полагался.

На сей раз Водал улыбнулся чуть шире:

— Прекрасно. Вот отдам тебя ей, тогда и проверишь на опыте, кто из нас прав.

— Как тебе будет угодно.

Однако мою покорность он отмел в сторону изящным взмахом руки.

— Думаешь, будто готовностью к смерти сумеешь поставить меня в тупик? На самом деле сейчас ты предлагаешь мне простое решение нешуточной дилеммы. Твоя Агия явилась ко мне с весьма знающим тавматургом в услужении и в награду за его и свою собственную службу попросила лишь передать в ее руки тебя, Севериана из Ордена Взыскующих Истины и Покаяния. Теперь же ты утверждаешь, будто ты и есть тот самый казнедей Севериан и никто более, отчего

мне весьма затруднительно воспротивиться ее требованиям.

— И кто же я, по-твоему, таков? — спросил я.

— В Обители Абсолюта у меня есть… вернее сказать, был превосходный слуга. Ты, разумеется, с ним знаком, так как именно ему передал мое сообщение. — Сделав паузу, Водал вновь улыбнулся. — Около недели тому назад мы получили от него весть. Несомненно, адресованную не прямо мне, однако недавно я позаботился известить его о нашем местонахождении, и находились мы с ним совсем рядом. И знаешь, что он сообщил?

Я отрицательно покачал головой.

— Странно: ведь в это время ты должен был быть с ним вместе. Сообщил он, что находится в разбившемся флайере и что с ним, в том же флайере, — сам Автарх. Послать такое известие в обычном порядке, обозначив в нем собственное местонахождение, мог бы разве что полный идиот, так как его флайер разбился в нашем тылу, о чем он наверняка знал прекрасно.

— Так, значит, вы — часть асцианской армии?

— Да, и порой ведем для них разведку. Вижу, ты насторожен тем, что Агия со своим тавматургом прикончили нескольких их солдат, чтоб захватить тебя. На этот счет не тревожься: их господа

дорожат ими еще меньше, чем я, а в переговоры вступать было некогда.

— Но ведь они не захватили Автарха.

Вообще-то лжец из меня неважный, однако я, очевидно, был так изможден, что фальши Водал не заметил. Едва услышав мои слова, он подался вперед, и глаза его замерцали в глубинах глазниц, будто пара свечей.

— Чудесно. Значит, он был там. И ты его видел. И даже летел с ним, в его личном флайере.

Я молча кивнул.

— Видишь ли, я, как сие ни абсурдно, всерьез опасался, что он — это ты. Тут ведь ничего не известно наверняка. Один Автарх умирает, на смену ему приходит другой, и поди разбери, сколько он просидел на троне — полвека или пару недель. Значит, вас там было трое? Не больше?

— Нет.

— Как Автарх выглядел? Рассказывай во всех подробностях.

Я так и сделал, подробно описав доктора Талоса в данной роли.

— Значит, он ускользнул и от тварей тавматурга, и от асциан? Или все-таки угодил к асцианам? Или, может, эта бабенка с любовником решили оставить его себе?

— Я же сказал, что асцианами он не захвачен.

Водал вновь улыбнулся, однако эта улыбка чуть ниже мерцающих глаз казалась скорее гримасой боли.

— Видишь ли, — повторил он, — одно время я думал, думал, что им можешь оказаться ты. Слуга мой здесь, но у него серьезно повреждена голова, и в сознание он приходит разве что ненадолго. Боюсь, в скором времени он умрет. Однако он ни разу мне не солгал, а по словам Агии, во флайере, кроме вас двоих, не было ни души.

— Ты думаешь, Автарх — это я? Нет, вовсе нет.

— Однако со времени наших прошлых встреч ты весьма изменился.

— Ты же сам дал мне альзабо, а с ним и жизнь шатлены Теклы. А я любил ее. Неужели ты полагаешь, будто поглощение ее сущности могло пройти для меня бесследно? Теперь она всегда со мной, так что в этом единственном теле нас двое, однако я не Автарх, чье тело вмещает целую тысячу душ.

Водал надолго умолк и наполовину прикрыл глаза, словно опасаясь, как бы я не заметил мерцающий в них огонь. Теперь тишину нарушал только негромкий плеск речных волн да приглушенные голоса кучки воинов, вооруженных

мужчин и женщин, беседовавших меж собой этак в сотне шагов от нас и время от времени поглядывавших в нашу сторону. Невдалеке, издав пронзительный крик, перепорхнул с дерева на дерево красный ара.

— Если позволишь, я готов по-прежнему служить тебе, — сказал я Водалу.

Ложь это или правда, я не мог понять до тех самых пор, пока слова не сорвались с языка, а после не на шутку удивился, не в силах постичь, каким образом они, некогда совершенно правдивые и для Теклы, и для Севериана, в моих устах оказались ложью.

— «Автарх, чье тело вмещает целую тысячу душ», — повторил за мной Водал. — Да, так и есть, но сколь же мало нас, знающих это…

XXVIII. На марше

Сегодня, накануне отбытия из Обители Абсолюта, мне довелось участвовать в торжественной религиозной церемонии. Подобные ритуалы, в соответствии со степенью важности (или, как говорят гептархи, «трансцендентности») оных, делятся на семь чинов — о чем я во время, описанное чуть выше, по невежеству даже не подозревал. К низшему чину, чину Аспирации, относится все, что касается личного благочестия, включая моления наедине с самим собой, возложение камней на вершину кайрна и так далее. Разнообразные собрания и публичные моления (в мальчишестве я полагал, будто ими и ограничена вся культовая деятельность религиозных общин) принадлежат ко второму, именуемому чином Интеграции. То же, в чем мы участвовали сегодня, относится к седьмому, наивысшему — к чину Ассимиляции.

Согласно принципу цикличности, большей части наносного, внешнего — всего, чем обрастают религиозные службы по пути наверх, от первого чина к шестому, — в подобных церемониях не место. Не слышалось в базилике ни

музыки, ни песнопений; роскошные облачения, свойственные чину Твердости в Вере, сменились крахмальными одеждами, скульптурные складки коих придавали нашим фигурам иконописную монументальность. Да, ныне мы лишены возможности провести сию церемонию, как некогда, в прошлом, опоясанные сверкающей спиралью галактики, но, дабы добиться эффекта как можно более схожего, из стен базилики изгнали силы притяжения Урд. Ощущение это я испытал впервые, и хоть и не испугался, живо вспомнил ту ночь в горах, когда почувствовал, будто вот-вот упаду с тверди нашего мира (что, впрочем, во вполне буквальном смысле этих слов, ожидало меня назавтра). Порой потолок казался мне полом, а порой (что меня лично волновало гораздо сильнее) потолком становилась стена, так что, подняв взгляд вверх, к одному из открытых окон, любой из нас видел за ним травянистый луг, горным склоном без конца и без края тянувшийся вверх, в небеса. Поражавшее до глубины души, это зрелище было столь же настоящим, как все, что окружает нас каждый день.

Каждый из нас стал солнцем в окружении хоровода планет — резных черепов из слоновой кости. Выше я говорил, что церемония не со-

провождалась ни музыкой, ни песнопениями, но это не совсем так: воздух в глазницах и меж зубов вращавшихся вокруг нас черепов негромко гудел, посвистывал, и те из них, что неслись по орбитам, близким к циркулярным, издавали звук ровный, варьировавшийся лишь самую малость, по мере вращения черепа вокруг собственной оси, а пение находившихся на эллиптических орбитах набирало силу, когда череп приближался ко мне, и превращалось в негромкий стон, когда он от меня удалялся.

Сколь же глупы мы, видящие в глубинах их темных глазниц под беломраморными калоттами одну лишь смерть! Сколь много среди них друзей! Книгу в коричневом переплете, хранимую мной до сих пор, все, что осталось от скудных пожитков, с которыми я покидал Башню Матачинов, сшили, отпечатали и сочинили люди, чьи лица теперь в точности таковы же, и под их песнь мы — от имени тех, кто ныне стал прошлым, — приносили в жертву слепящему свету Нового Солнца самих себя, настоящее.

И все-таки даже в этот момент, в окружении самых глубоких, самых великолепных символов из существующих, я невольно думал о том, насколько иной была окружающая меня дей-

ствительность, когда мы (то есть я под охраной шестерки стражниц, время от времени вынужденных нести меня на руках) на следующий же день после аудиенции с Водалом покинули зиккурат, а затем неделю, и даже более, шли маршем сквозь смертоносные джунгли. От кого нам пришлось бежать — от армии ли Содружества или от союзников Водала, асциан, — я в то время не знал и до сих пор не имею никакого понятия. Возможно, мы просто шли на соединение с главными силами бунтовщиков. Стражницы мои то и дело сетовали — на влагу, сочившуюся с деревьев, разъедавшую их оружие и доспехи, будто кислота, на удушливую жару, — а я не чувствовал ни того, ни другого. Помню, как раз, взглянув на собственное бедро, с удивлением обнаружил, что с него начисто, обнажив упругие плети мускулов, слезла кожа, и в прорехе виден даже коленный сустав — во всех подробностях, движущийся, словно шестерни да шатуны мельницы.

Старый лекарь, отправившийся с нами тоже, теперь навещал меня по два-три раза на дню. Поначалу он изо всех сил старался держать бинты на моей щеке в сухости, но со временем, убедившись, что старания его тщетны, снял бинты вовсе и попросту заменил их толстым слоем все

той же бурой вонючей мази. После этого некоторые из стражниц наотрез отказались смотреть на меня, а если им требовалось поговорить со мной, разговор вели, глядя под ноги. Другие, напротив, кичились способностью без содрогания смотреть мне прямо в истерзанное лицо, пошире расставив ноги (очевидно, сия поза считалась у них воинственной), а левую руку с заученной небрежностью опустив на эфес оружия.

Я разговаривал с ними при всяком удобном случае. Нет, не потому, что желал их — сопутствовавший ранам недуг напрочь лишил меня подобных желаний, — но оттого, что в разрозненном, как попало бредущем вперед строю чувствовал себя куда более одиноким, чем оставшись один посреди разоренных войной земель севера и даже сидя взаперти в заплесневелой комнатке древнего зиккурата, и вдобавок в глубине души не оставлял отчаянных, абсурдных надежд на побег. Расспрашивая стражниц решительно обо всем, о чем они в принципе могли знать, я не уставал удивляться, сколь мало меж нами общего: наши мнения совпадали разве что изредка. К примеру, в рядах Водала все они оказались вовсе не оттого, что предпочли застою Содружества проповедуемый вождем мятежников возврат к

прогрессу. Три из шести просто последовали за кем-либо из его соратников-мужчин, еще две явились к нему в надежде поквитаться за какие-то личные обиды, а последняя — сбежав от ненавистного отчима (теперь о принятом решении не жалела только она одна). Где мы находились, куда направляемся, никто из них себе даже не представлял.

Проводниками нашей колонне служили трое дикарей — пара юношей (возможно, родные братья, а то и близнецы) и еще один, куда старше годами и, на мой взгляд, изуродованный отнюдь не только старостью, день и ночь не снимавший зловещего вида маски. Хотя двое из них были юнцами, а третий — преклонных лет, вся троица в равной мере напоминала того самого обнаженного человека, которого я некогда видел в Саду Джунглей. Все они тоже ходили нагими, и волосы их отличались той же прямизной, а темная кожа точно так же отливала металлом. Юноши носили при себе серботаны длиннее раскинутых в стороны рук и мешочки для дротиков, вручную связанные из дикого хлопчатника, выкрашенного, надо думать, соком некоего растения в цвет жженой умбры. Старик был вооружен кривым, как его собственная спина, посохом, увенчанным

высушенной головой небольшой обезьянки.

Автарха несли в крытом паланкине, занимавшем в наших рядах место куда почетнее моего. Старик-лекарь дал мне понять, что он еще жив, и как-то ночью, когда мои стражницы о чем-то болтали меж собой, а я просто сидел, склонившись над крохотным костерком, старший из дикарей (спутать его еще с кем-либо, благодаря согбенной спине и маске, издали очень похожей на несоразмерно огромную голову, было бы невозможно), украдкой приблизившись к паланкину, скользнул под него и далеко не сразу улизнул прочь. Поговаривали, будто этот старый дикарь — «утурунку», шаман, умеющий принимать облик тигра.

Через несколько дней после ухода из зиккурата, ни разу не встретив в пути чего-либо достойного звания дороги или хотя бы тропы, мы наткнулись на нескончаемые россыпи трупов. Все это были асциане, раздетые догола, не говоря уж об отсутствии всякого снаряжения. Казалось, тела их сброшены с воздуха, а погибли они, на мой взгляд, около недели назад, хотя жара с сыростью наверняка изрядно ускорили разложение и в действительности смерть настигла их много раньше. Что до причин гибели — о таковых чаще

всего оставалось только гадать.

Какой-либо живности крупнее причудливых, жутковатого вида жуков, жужжавших у костров по ночам, нам до тех пор на глаза почти не попадалось. Птицы, перекликавшиеся в кронах деревьев, обычно прятались за густой листвой, а если в гости к нам, испить нашей крови, заявлялись пресловутые нетопыри, их черные, словно тушь, крылья совершенно терялись на фоне глухой, непроглядной тьмы. Теперь мы шли сквозь целую армию всевозможного зверья, привлеченного россыпью тел, точно мухи — тушей павшего мула. Стражи не проходило, чтоб до наших ушей не донесся хруст перемалываемых мощными челюстями костей, а по ночам в темноте, окружавшей наши жалкие костерки, то и дело мерцали глаза — изумрудные, алые, порой отстоявшие один от другого на добрых две пяди. Конечно, ждать неприятностей со стороны обожравшихся падалью хищников было просто нелепо, однако мои охранницы удвоили караулы, а спали, не снимая корслетов, с кортелазо в руках.

С каждым днем трупы становились все свежей и свежей, и, наконец, среди мертвых начали попадаться живые. Однажды из зарослей чуть

впереди наперерез нам, спотыкаясь, вышла женщина, остриженная наголо. Устремив неподвижный, остекленевший взгляд в никуда, безумная прокричала нечто для нас непонятное и поспешила скрыться среди деревьев. Нередко до нас доносились крики о помощи, дикие вопли, бессвязное лопотание, однако Водал настрого запретил кому-либо сворачивать с пути, и в тот же день, ближе к вечеру, мы — подобно тому, как могли бы войти в джунгли или, к примеру, в реку, — вошли в самую гущу асцианской орды.

Нашу колонну составляли женщины, вьючные мулы с припасами, сам Водал, его двор и несколько адъютантов с собственной свитой. Все они вместе не превышали пятой доли его сил, но, окажись там хоть все мятежники, которых он мог призвать под знамя, стань каждый из них хоть целой сотней бойцов, по сравнению с бессчетными толпами асциан воинство Водала все равно выглядело бы словно чашка воды, выплеснутая в Гьёлль.

Те, с кем мы столкнулись первыми, оказались пехотой. Мне сразу же вспомнилось, как Автарх рассказывал, будто оружия им до начала сражения не дают, но если он не ошибся, их офицеры, должно быть, считали, что начало сражения не

за горами. Тысячи асциан вокруг несли на плечах рунки, и я довольно долго считал, что именно так вооружены все их пехотные части, однако к началу ночи мы обогнали еще многие тысячи солдат, вооруженных демилюнами.

Шли мы быстрее них и посему все дальше углублялись в их скопище, однако на ночлег остановились раньше (возможно, они для ночлега не останавливались вообще) и всю ночь напролет, пока я наконец не заснул, слышали их хриплые возгласы вперемежку с шарканьем ног. Поутру мы вновь оказались среди их мертвых и умирающих, а бредущих вперед живых догнали только не менее стражи спустя.

Асцианские солдаты все как один отличались особой бездумной, непоколебимой приверженностью к строю, к порядку, какой я не видел больше нигде, причем в основе ее, очевидно, лежал вовсе не боевой дух и не дисциплина в моем понимании этих слов. Казалось, они повинуются просто потому, что не могут постичь какого-либо иного образа действий. Наши солдаты почти никогда не ограничиваются одним только энергетическим оружием и вдобавок к нему носят при себе хотя бы длинный нож (среди скьявони такого ножа в дополнение к фальшиону не имел только я). У ас-

циан же я ни разу не видел более одного предмета вооружения на каждого, а большинство их офицеров не носили оружия вовсе, как будто считали личное участие в бою ниже своего достоинства.

XXIX. Автарх Содружества

К середине дня мы, вновь миновав всех тех, кого обошли накануне вечером, догнали асцианский обоз. Думаю, обнаружив, что несметные силы, окружавшие нашу колонну до сих пор, — всего лишь арьергард непостижимо большей армии, каждый из нас был поражен до глубины души.

Вьючным скотом асцианам служили уинтатерии и платибелодоны. Попадались среди них также машины о шести ногах, очевидно, предназначенные для той же цели. Насколько я мог судить, возничие относились к животным и к механизмам с одинаковым равнодушием: если один из зверей, улегшись, более не вставал, либо машина, упав, не поднималась сама собой, груз их распределяли среди ближайших, оказавшихся под рукой, а зверей и машины просто бросали. Ни забить зверя на мясо, ни починить или разобрать машину на запасные части не пытался никто.

На исходе дня вдоль нашей колонны прокатилась волна необычайного оживления, однако в чем дело, ни я, ни мои стражницы понять не смогли. Вскоре к ее источнику поспешил сам Водал в сопровождении полудюжины приближенных,

что положило начало множеству беготни от головы к хвосту колонны и от хвоста к голове. С наступлением темноты мы не остановились на ночлег, а вместе с асцианами двинулись дальше сквозь ночь. Откуда-то спереди нам передали связку факелов, и я, поскольку был безоружен и вдобавок заметно окреп, взялся нести их, отчего сразу почувствовал себя словно бы во главе окружавших меня шести мечниц.

Около полуночи (насколько я мог судить) мы, наконец, остановились. Мои стражницы принесли хвороста, разложили костер и разожгли его от одного из факелов. Едва мы собрались улечься, подбежавший к расположившимися чуть впереди носильщикам паланкина гонец поднял их и, спотыкающихся, погнал дальше, во тьму. Стоило им скрыться из виду, гонец воротился к нам и зашептал что-то на ухо старшей из моих стражниц. Мне тут же связали руки (о чем с тех пор, как сам Водал рассек мои путы, даже не помышляли), а затем все мы поспешили следом за паланкином. Без остановки миновав голову колонны, украшенную небольшим, но роскошным шатром шатлены Теи, мы оказались среди мириадов асцианских солдат, в расположении основных сил вражеской армии.

Штаб ее располагался под металлическим куполом. Наверное, в случае надобности он должен был каким-то образом разбираться или сворачиваться, подобно шатру, однако с виду казался незыблемым, основательным, словно любое обычное здание. Черный снаружи, изнутри его озарял неяркий, исходящий неизвестно откуда свет, хлынувший мне навстречу из отворившегося перед нами проема в боку. За порогом, у самого входа, замер в почтительной позе Водал, а возле него стоял паланкин с откинутыми занавесями и неподвижным телом Автарха внутри. Посреди купола, вокруг невысокого стола, сидели три женщины. Ни на Водала, ни на Автарха в паланкине, ни на меня, вытолкнутого вперед, они ни в тот момент, ни позднее почти не смотрели — разве что поглядывали искоса, словно бы ненароком. На столе перед ними были разложены стопки бумаг, однако в бумаги они не заглядывали тоже, а глядели лишь друг на дружку. С виду все три ничем не отличались от прочих асциан, если не брать в расчет несколько более осмысленных взглядов да не столь устрашающей худобы.

— Вот он, — объявил Водал. — Теперь перед вами оба.

Одна из асцианок заговорила с двумя другими

на собственном языке. Обе согласно кивнули, и говорившая изрекла:

— Прятать лицо нужно только тому, кто действует во вред народу.

За сим последовала долгая пауза.

— Отвечай! — прошипел Водал, повернувшись ко мне.

— Что отвечать? Она ни о чем не спрашивает.

— Кто друг народу? — продолжила асцианка. — Тот, кто помогает народу. Кто враг народу?

— Отвечай откровенно, как на духу, — зачастил Водал, — являешься ли ты или человек, лежащий без чувств в паланкине, верховным правителем народов, населяющих южную половину этого полушария?

— Нет, — ответил я.

Обман этот дался мне легче легкого: судя по всему, что я видел, из жителей Содружества Автарху подчинялись считаные единицы.

— Что все это за глупости? — вполголоса добавил я, повернувшись к Водалу. — Неужто они вправду думают, будто я, кабы действительно был Автархом, признался бы в этом так запросто?

— Все нами сказанное передается на север.

Одна из асцианок, прежде хранивших молчание, разразилась пространной речью, причем

один раз махнула рукой в нашу сторону. Стоило ей умолкнуть, вся троица за столом замерла, словно оцепенев. У меня создалось впечатление, будто они слушают кого-то еще, чей голос мне не слышен, да так внимательно, что даже глазом не смеют моргнуть, пока он говорит, однако все это могло оказаться только моими собственными фантазиями. Водал беспокойно поежился, я тоже переступил с ноги на ногу, чтоб не так ныла рана в бедре, узкая грудь Автарха вздымалась и опадала в такт неровному ритму дыхания, но асцианки оставались неподвижными, словно фигуры на картине.

Наконец та, что заговорила первой, сказала:

— Всякий человек принадлежит народу.

Услышав это, две других вроде бы слегка расслабились.

— Этот человек болен, — откликнулся Водал, указав взглядом на Автарха, — и, служа мне, принес немало пользы, хотя теперь полезность его, полагаю, исчерпана. Другой же обещан мною одной из моих соратниц.

— Хвалы достоин лишь жертвователь, возлагающий на алтарь служения народу все, что имеет, не помышляя о собственном благе.

Дальнейших пререканий тон асцианки явно

не предусматривал. Взглянув на меня, Водал пожал плечами, развернулся кругом и едва ли не строевым шагом вышел из купола. На смену ему внутрь немедля вбежала рысцой дюжина асцианских офицеров с хлыстами в руках.

Нас заперли в одном из асцианских шатров примерно вдвое просторнее моей камеры под сводами древнего зиккурата. Внутри обнаружился горящий очаг, но не нашлось ничего, хоть отдаленно напоминающего постели, и офицеры, внесшие внутрь Автарха, попросту бросили его на землю у очага. Освободившись от пут, я постарался устроить его поудобнее — перевернул на спину, как он лежал в паланкине, а руки уложил по бокам, вдоль тела.

Вокруг, в лагере асциан, царила тишина для армейского лагеря, можно сказать, просто-таки гробовая. Время от времени вдалеке кто-то вскрикивал — похоже, во сне, однако чаще всего до нас не доносилось ни звука, кроме мерных, неспешных шагов караульных снаружи. Не могу описать всего ужаса, охватившего меня при мысли об отправке на север, в Асцию. До конца жизни видеть повсюду одни только безумные, источенные недоеданием асцианские лица, и самому жить в окружении, лишающем их разума, — сия участь

казалась гораздо страшнее судьбы любого клиента из подземелий Башни Матачинов. Рассудив, что караульные в самом худшем случае сумеют всего лишь лишить меня жизни, я попытался поднять нижний край шатра, однако края его оказались каким-то непостижимым для меня способом спаяны с землей намертво. Разорвать скользкий, прочный материал стен мне тоже не удалось, а бритву Милеса у меня давным-давно отняла одна из шести стражниц. Оставалось только с разбегу таранить закрывавший вход полог… но тут до меня донесся знакомый голос Автарха.

— Постой, — прошептал он.

Внезапно испугавшийся, как бы нас не подслушали, я рухнул возле него на колени.

— Я думал, ты… спишь.

— Полагаю, большую часть этого времени я провел в коме, но, приходя в себя, притворялся, будто по-прежнему без сознания, чтоб Водал не приставал с расспросами. Ты собрался бежать?

— Да, но передумал. Без тебя, сьер, я никуда не побегу. Я ведь думал, ты мертв.

— И не слишком ошибся… меньше чем на день, можешь не сомневаться. Да, я полагаю, тебе лучше всего бежать. Среди мятежников находится Отец Инире. Он должен был принести тебе все

необходимое, а после помочь с побегом… но мы ведь уже не у них, верно? Если так, возможно, прийти тебе на помощь ему не удастся. Распахни мой халат. Первое, что тебе нужно, ищи в кушаке.

Я так и сделал. На ощупь тело Автарха казалось холодным, как труп. Из складок кушака у его левого бедра торчала серебристая металлическая рукоять не шире женского пальца. Клинок извлеченного мною ножа не достигал в длину и полупяди, но оказался на удивление толстым и прочным и отличался той самой смертоносной остротой, равной коей мне не встречалось с тех самых пор, как булава Бальдандерса разбила вдребезги «Терминус Эст».

— Но уходить еще рано, — шепнул Автарх.

— Пока ты жив, я от тебя не уйду, — заверил его я. — Или ты во мне сомневаешься?

Пальцы Автарха сомкнулись на моей ладони.

— Мы оба останемся живы и оба уйдем отсюда. С этой мерзостью… с поеданием трупов и поглощением жизней умерших ты уже знаком. Но есть еще один способ, тебе неизвестный, одно снадобье… Приняв его, ты должен будешь съесть толику живых клеток моего прозэнцефалона. Передней части головного мозга.

Должно быть, я отшатнулся: его рука стиснула мою сильней прежнего.

— Ложась с женщиной, ты вливаешь в ее жизнь свою, дабы их слияние могло породить новую жизнь. Когда же ты выполнишь мой приказ, в тебе продолжится и моя жизнь, и жизни всех, живущих во мне. Проникнув в твою нервную систему, клетки мозга размножатся. Снадобье — во флакончике, который я ношу на груди, а этот клинок рассечет лобную кость, как сосновую плашку. Мне случалось им пользоваться, так что за это могу поручиться. Не ты ли клялся служить мне, когда я закрыл ту книгу? Давай же, бери нож, действуй, а после беги, и как можно скорее.

Согласно кивнув, я пообещал так и сделать.

— Снадобье куда действеннее любого из тебе известных, и хотя ни один разум, кроме моего, не проявится в полную силу, будь готов: личностей во мне сотни… жизней у нас немало…

— Я понимаю, — подтвердил я.

— Асциане двинутся дальше с рассветом. Осталась ли до конца ночи еще хоть стража?

— Надеюсь, ты, сьер, переживешь и эту ночь, и множество следующих. Надеюсь, с тобой все будет в порядке.

— Ты должен покончить со мною сейчас,

прежде чем Урд обратит лик к солнцу. Тогда я продолжу жить в тебе… и не умру вовеки. Сейчас я живу на одной силе воли, и жизнь покидает меня с каждым сказанным словом.

К безмерному моему удивлению, из моих глаз ручьем хлынули слезы.

— А ведь я, сьер, ненавидел тебя с малолетства… правда, не сделал тебе ничего дурного, но только потому, что не мог… и как же мне сейчас стыдно…

Утративший силу, голос Автарха зазвучал не громче стрекота сверчка.

— Ты был совершенно прав, ненавидя меня, Севериан… Я ведь… как предстоит и тебе… держу сторону множества скверных вещей.

— Но отчего? *Отчего?* — спросил я, по-прежнему стоя возле него на коленях.

— Оттого, что все остальное намного хуже. Пока не придет Новое Солнце, иного выбора, кроме выбора одного из нескольких зол, у нас нет. Многое мы испробовали, но все впустую. Общая собственность, общедоступные блага, народовластие… все, все. Хочешь прогресса? Так вот тебе Асция. Оглушенные им, сведенные с ума гибелью самой Природы, асциане готовы поклоняться Эребу и прочим, словно богам. Мы сдерживаем человече-

ство на месте… в варварстве. Автарх защищает подданных от экзультантов, а экзультанты… берегут их от Автарха. А духовное сословие заботится об их утешении. Дабы парализовать развитие общества, мы перекрыли дороги…

Веки Автарха сомкнулись. Приложив ладонь к его груди, я едва смог нащупать биение сердца.

— Пока Новое Солнце не…

От этого-то я и стремился бежать. Не от Агии, не от Водала, не от асциан…

Как можно бережнее сняв с шеи Автарха цепочку, я откупорил флакончик, проглотил снадобье, окинул взглядом короткий острый клинок и сделал что надлежало.

Исполнив все как приказано, я с головы до пят укрыл его тело его же собственным шафрановым халатом, а опустевший флакончик повесил себе на шею. Воздействие снадобья, как он и предупреждал, оказалось просто-таки сокрушительным. Ты, мой читатель, вероятнее всего, проживший всю жизнь только с одним сознанием, наверняка не сумеешь даже вообразить, каково приходится обладателю двух или трех, а уж тем более — сотен. Продолжив жизнь во мне, все они радовались новой жизни каждый на свой лад. Вновь ожил и мертвый Автарх, чье лицо я только что своими

руками обратил в алое месиво. Отныне глаза и руки мои принадлежали ему, а я постиг уклад жизни пчел в ульях дворцовой пасеки — всю божественность этих созданий, по повелению солнца летящих каждое утро за златом, в изобилии порождаемым Урд. Известен мне стал и его путь к Трону Феникса, и путь к звездам, и дорога назад. Сделавшийся моим, его разум переполнил мой сокровенными знаниями, о существовании коих я прежде даже не подозревал, а также всем, что привнесли в его разум другие. Явленный мир, мир объективных явлений, выцвел, поблек, словно рисунок на песке, над которым со стоном пронесся залетный ветер. Пожалуй, сосредоточиться на нем я не смог бы даже при всем желании, а мне этого ничуть не хотелось.

Ткань шатра, ставшего нам тюрьмой, тоже поблекла, из черной сделалась сизой, сходящиеся к вершине углы закружились, замелькали, словно призмы в калейдоскопе, а я, сам того не сознавая, упал, рухнул рядом с телом предшественника, и все мои попытки подняться обернулись не более чем хлопками ладоней оземь.

Долго ли я пролежал так? Даже не знаю. Нож — ныне (по-прежнему) принадлежащий мне — я вытер и спрятал точно так же, как он. В этот

момент я словно воочию увидел себя самого — многие дюжины образов, силуэтов, наложенных один на другой, одновременно рассекающих стену шатра и ускользающих в ночь. И Севериан, и Текла, и мириады других — из плена бежали все. Картина оказалась столь яркой, что мне то и дело чудилось, будто все это происходит взаправду, но вместо того, чтоб бежать меж деревьев, огибая усталых, спящих без просыпу асциан, я снова и снова оказывался в знакомом шатре, на земле, рядом с безжизненным телом под шафраново-желтым халатом.

Чьи-то руки крепко сжали мои. Заподозрив, что за мною вернулись офицеры с хлыстами, я кое-как разлепил веки и попытался подняться, прежде чем меня начнут бить. Увы, перед глазами чередой, словно картины, сменяющие одна другую в руках хозяина дешевой галереи, замелькали сотни разрозненных образов, всплывших из недр памяти: состязание бегунов, уходящие ввысь трубы органа, чертеж из множества линий с метками на пересечениях, дама в карете…

— Что с тобой? — спросил кто-то. — Что с тобою стряслось?

Явственно чувствовавший, как с губ стекает на подбородок слюна, ответить я тем не менее

не сумел.

XXX. Коридоры Времени

Хлесткий удар обжег щеку.

— Что здесь произошло? Он мертв, а ты… одурманен?

– *Да. Одурманен.*

Сказал это кто-то другой, и вскоре я понял кто — юный палач, Севериан.

Но кто же тогда я сам?

— Вставай. Вставай, уходим.

– *Караульный.*

— Караульные, — поправил нас тот же голос. — Их было трое, но мы со всеми покончили.

Я шел вниз по лестнице белой, как соль — вниз, к ненюфарам в затхлой стоячей воде.

Рядом со мною шла смуглая от солнца девчонка с продолговатыми, слегка раскосыми глазами. Из-за ее плеча выглядывал один из каменных эпонимов. Воплощенное в нефрите, лицо изваяния вышло из-под резца скульптора зеленым, словно трава.

— Может, он умирает?

— Он уже видит нас. Взгляни на его глаза.

Теперь я понял, где нахожусь.

Вскоре к нам в шатер заглянет балаганщик и

велит мне проваливать поскорее.

— Над землей, — проговорил я. — Ты ответил, что я отыщу ее над землей. Так и вышло. Вот она, здесь.

— Идем. Мешкать больше нельзя.

С этим они — зеленый человек слева, Агия справа — подхватили меня под руки и вывели наружу.

Долгое время — именно таким долгим и представлялось мне бегство в воображении — шли мы по лагерю, переступая порой через спящих асцианских солдат.

— Караулов они почти не выставляют, — шепнула мне Агия. — Водал рассказывал, будто их предводители так привыкли к беспрекословному послушанию, что вероломного нападения даже представить себе не могут. Отчего нашим солдатам нередко удается застать асциан врасплох.

— Наши солдаты… — ничего не поняв, повторил я, словно малый ребенок.

— За этих мы с Гефором больше не воюем, — пояснила Агия. — Налюбовались на них — одного раза хватило. У меня счет к тебе, а они тут ни при чем.

Тем временем составлявшие мой разум разумы встали по местам, притерлись друг к другу, и я бо-

лее-менее пришел в себя. Когда-то мне объясняли, что слово «автарх» означает «самодержец», и, кажется, теперь я понял, откуда взялся сей титул.

— Помнится, ты желала мне смерти, а теперь помогаешь бежать. А ведь могла бы просто зарезать, — заметил я, вспомнив кривой тракссский нож, подрагивающий в дощатом ставне Касдо.

— Прикончить тебя я могла бы еще того проще. Зеркала Гефора изловили мне замечательного червячка, небольшого, не длиннее твоей ладони, зато пышущего белым огнем. Метнешь его в цель — убивает и сам приползает назад. Так я поочередно расправилась с караульными, но отправить следом за ними тебя вот этот, зеленый, не позволил бы ни за что, да мне и самой неохота. Водал обещал, что твои муки продлятся не одну неделю, и на меньшее я не согласна.

— Стало быть, ты ведешь меня к нему?

Агия отрицательно покачала головой. В неярких, блекло-серых отсветах раннего утра, сочившихся сверху сквозь густую листву, ее темно-русые локоны заплясали над плечами совсем как в тот день, когда я любовался ею у входа в лавку тряпичника, поднимающей жалюзи.

— Водал мертв. Думаешь, разжившись таким замечательным червячком, я позволила бы ему

обмануть меня и остаться в живых? Нет. Тебя собирались увезти отсюда, а я отпущу. Куда ты отправишься, я примерно догадываюсь и не сомневаюсь, что со временем ты снова сам придешь ко мне в руки — как в прошлый раз, когда наши птериопы унесли тебя от эвзонов.

— Выходит, ты спасаешь меня из ненависти, — сказал я.

Агия кивнула.

Следовало полагать, схожим образом Водал ненавидел ту часть моего существа, что прежде была Автархом… хотя, скорее, ненависть в нем порождал не Автарх, а некий образ Автарха, им же самим и созданный, так как настоящему Автарху, которого считал своим слугой, он хранил верность — в той мере, в какой был на это способен. Еще мальчишкой, служа при кухнях в Обители Абсолюта, знавал я одного повара, не выносившего армигеров и экзультантов, для которых готовил, настолько, что, дабы не терпеть унижения, снося их упреки, в любом деле маниакально стремился достичь наивысшего совершенства. Со временем сия одержимость возвела его к должности старшего над поварами всего крыла. Поспешая вперед и вспоминая о нем, я не сразу заметил, что больше не чувствую прикосновения

пальцев Агии, к коему успел попривыкнуть за время пути, а взглянув в ее сторону, рядом ее не обнаружил. Агия исчезла, как не бывало, и мы с зеленым человеком остались одни.

— Как ты здесь оказался? Зачем? — спросил я. — Ведь нынешняя эпоха едва не погубила тебя — я помню, под нашим солнцем ты чахнешь.

В ответ он улыбнулся. Губы его были зелены, однако зубы блеснули в неярких отсветах утра безукоризненной белизной.

— Мы, ваши дети, не менее справедливы, чем вы, хоть и не убиваем никого ради пищи. Ты поделился со мной половинкой камешка, перегрызшей железо оков и открывшей мне путь к свободе. Что я, по-твоему, сделал, освободившись от цепи?

— Я полагал, ты вернулся назад, в свои дни, — отвечал я.

Воздействие снадобья ослабло настолько, что я начал опасаться, как бы наш разговор не разбудил асцианских солдат, однако поблизости не было ни души — только бескрайние джунгли, только темные кроны деревьев.

— Мы всегда воздаем добром за добро. Освободившись, я помчался по коридорам Времени, искать момент, когда ты тоже окажешься в нево-

ле, чтобы в свою очередь освободить тебя.

Услышав это, с ответом я не нашелся и, наконец, сказал:

— Ты и представить себе не можешь, как странно, как непривычно я себя чувствую, узнав, что кто-то взял на себя труд изучить мое будущее ради возможности помочь мне. Однако теперь-то, теперь, когда мы с тобой квиты… ты ведь наверняка понимаешь, что я помог тебе вовсе не из расчета на ответную помощь? Признаться, я даже не думал, что ты сумеешь чем-то помочь мне.

— Думал, и еще как. Ты хотел, чтобы я помог тебе в поисках девушки, которая только что нас покинула, и с тех пор отыскал ее не один раз. Однако знай: поиски я вел не один и двух из моих товарищей непременно пришлю к тебе. Вдобавок мы с тобою еще не в расчете — хоть ты и оказался в плену, эта девушка отыскала тебя вместе со мной и вполне могла освободить тебя без моего участия. Одним словом, мы еще встретимся.

С этим он отпустил мою руку и шагнул в направлении, коего я ни разу в жизни не замечал, пока не увидел, как в ту же сторону уходит корабль, отчаливший от вершины башни Бальдандерса — в направлении, надо думать, недоступном нашему пониманию, когда там ничего нет. Стремительно

развернувшись, зеленый человек со всех ног помчался прочь, и я, несмотря на тьму предутреннего неба, еще долго мог видеть его силуэт, озаряемый кратковременными, но регулярными вспышками света. Наконец он превратился в темную точку вдали, но едва я подумал, что сейчас эта точка вовсе исчезнет из виду, она вновь начала расти. Казалось, тем же причудливым, извилистым коридором ко мне стремглав несется нечто громадной величины.

Этот корабль оказался не тем, который я уже видел, — другим, куда меньшим, но все же был так велик, что, целиком войдя в нашу сферу сознания, задел ганвейлами разом полдюжины окружавших меня деревьев. Обшивка его борта разъехалась в стороны, и из отворившегося проема к земле скользнул трап гораздо короче того, что вел на борт флайера Автарха.

По трапу ко мне спустились мастер Мальрубий и мой пес, Трискель.

К этому времени я обрел над собственной личностью власть, подобной коей не обладал с тех самых пор, как на пиру у Водала, выпив альзабо, вкусил плоти Теклы. Нет, Текла никуда не исчезла (да я и не желал расставаться с ней, хотя прекрасно знал, что порой она довольно жестока

и неумна), и мой предшественник, и сотни разумов, обретавшихся в его теле, также остались со мной. От прежней, незамысловатой структуры моей единственной личности не осталось даже следа, однако новая, неимоверно сложная, более не кружила голову, не приводила меня в замешательство. Разумеется, она являла собою весьма хитроумный лабиринт, но полновластным его хозяином — даже строителем — был я сам, и отпечаток моего большого пальца украшал стены каждого коридора.

Коснувшись моего плеча, мастер Мальрубий взял меня за руку, нежно прижал мою ладонь к прохладной коже собственной щеки.

— Значит, ты настоящий? — спросил я.

— Нет. Мы — практически те, за кого ты нас принимаешь, силы, место коих над сценой… но не вполне божества. Ты же, полагаю, актер.

Я покачал головой.

— Разве ты не узнаешь меня, мастер? Ты учил меня, когда я был мал, а после я стал подмастерьем гильдии.

— Однако в то же время ты и актер. Прав считать себя таковым у тебя нисколько не меньше. Ты выступал на подмостках в день нашего разговора посреди поля невдалеке от Стены, а при

следующей нашей встрече, в Обители Абсолюта, вновь выходил на подмостки. Славная была пьеса… жаль только, финала увидеть мне не довелось.

— Ты тоже приходил посмотреть на нас?

Мастер Мальрубий кивнул.

— И как актер ты, Севериан, несомненно, помнишь расхожее выражение, на которое я только что намекал. В нем поминается некая сверхъестественная сила, персонифицированная и опускаемая на сцену сверху, в последнем акте, дабы пьеса обрела счастливый конец. Говорят, сим приемом пользуются лишь самые бесталанные из драматургов, однако те, кто говорит так, забывают, что сверхъестественная сила, спущенная на подмостки при помощи каната, и пьеса, завершенная счастливым финалом, куда лучше пьесы с неизбежно скверным концом. Что ж, вот наш канат — множество канатов — и надежный корабль к ним в придачу. Поднимешься на борт?

— Для этого ты и явился в таком виде? Чтоб я поверил тебе? — спросил я.

— Да, если тебе так угодно.

Мастер Мальрубий кивнул, а Трискель, все это время сидевший у моих ног, глядя мне в лицо, отбежал валким трехлапым галопом в сторо-

ну трапа, остановился на полпути, обернулся, завилял обрубком хвоста и устремил на меня пресловутый умоляющий взгляд, свойственный одним только собакам.

— Но я ведь знаю, что ты не можешь оказаться тем, кем выглядишь, мастер. Трискель — еще ладно, однако твои похороны я видел собственными глазами. Да, твое лицо — не маска, и все же без маски тут не обошлось, и под маской этой скрывается один из тех, кого в простонародье зовут какогенами, хотя доктор Талос объяснял мне, что вы предпочитаете зваться иеродулами.

Мастер Мальрубий вновь накрыл мою руку ладонью:

— Мы и не подумали бы вводить тебя в заблуждение, если б могли сего избежать. Но я надеюсь, что ради блага собственного и всей Урд ты обманешься сам. Сейчас разум твой притуплен, затуманен каким-то снадобьем, причем сильней, чем ты думаешь — в той же мере, в какой он был затуманен сном, когда мы разговаривали с тобой на том самом лугу близ Стены. Будь голова твоя ясной, возможно, тебе не хватило бы храбрости отправиться с нами, несмотря ни на наш вид, ни на все доводы собственного рассудка.

— Пока что ни то ни другое ни в чем меня не

убедило, — заметил я. — Куда вы собираетесь меня отвезти, а главное, ради чего? И кто ты все же такой — мастер Мальрубий или один из иеродул?

За разговором я внимательней пригляделся к деревьям, стоявшим вокруг навытяжку, словно солдаты, окружившие штабных офицеров, обсуждающих некие стратегические тонкости. Ночь еще не сменилась утром, однако тьма поредела даже здесь, под пологом джунглей.

— А известно ли тебе, что означает слово «иеродул», которым ты сам же пользуешься? Да, я — Мальрубий, а не один из иеродул. Скорее я служу тем же, кому служат иеродулы. «Иеродулия» дословно означает «священное рабство». Как потвоему, могут ли быть на свете рабы без хозяев?

— Стало быть, вы собираетесь отвезти меня…

— К Океану, дабы спасти твою жизнь. Нет, — продолжал он, словно прочитав мои мысли, — вовсе не к одалискам Абайи, щадившим, оберегавшим тебя, так как ты был палачом, а должен был стать Автархом. Однако опасаться тебе в любом случае следует гораздо худшего. Вскоре рабы Эреба, державшие тебя здесь в плену, обнаружат твое исчезновение, и вот тогда Эреб бросит в бездну всю эту армию и много других ей подобных,

лишь бы схватить тебя снова. Идем.

С этим он потянул меня к трапу.

XXXI. Песчаный сад

Правили кораблем тем матросы, которых я так и не увидел. Я думал, сейчас мы взлетим, словно флайер, или, подобно зеленому человеку, скроемся в одном из коридоров времени, но вместо этого корабль — под оглушительный треск ломающихся сучьев — взмыл вверх с такой скоростью, что к горлу подступила тошнота.

— Теперь ты — Автарх, — сказал Мальрубий. — Известно тебе об этом?

Казалось, его голосу вторит свист ветра в снастях.

— Да. Мой предшественник, чей разум теперь — один из моих, пришел к власти точно таким же образом. Теперь мне известны все тайны, все слова власти, хотя у меня пока не было времени поразмыслить о них. Мы возвращаемся в Обитель Абсолюта?

Мальрубий покачал головой:

— К этому ты еще не готов. Ты полагаешь, будто тебе доступно все, что знал прежний Автарх, и нисколько не ошибаешься, но власти над этими знаниями у тебя пока нет. А ведь когда придет время испытаний, тебе придется столкнуться со

многими, готовыми лишить тебя жизни при первом же колебании. Ты был воспитан и вскормлен в Несской Цитадели — какие слова надлежит сказать ее кастеляну? Как подчинить себе людей-обезьян, стерегущих рудник с сокровищами? Какие фразы отпирают двери хранилищ в Тайной Обители? Нет, мне их называть ни к чему: все это — тайны, необходимые в твоем положении, я знаю их и без тебя, а вот ты сам сумеешь ли вспомнить без долгих раздумий?

Необходимые фразы память хранила исправно, однако, попробовав произнести про себя хоть одну, я потерпел неудачу. Слова ускользали в стороны, словно рыбешки из рук, и в конце концов я лишь недоуменно пожал плечами.

— Вот так-то. Вдобавок у вод Океана тебя ждет еще одно дело. Еще одно приключение.

— Какое же?

— Если скажу заранее, все пойдет прахом. Не тревожься, дело несложное — управишься в один миг. Однако прежде я должен многое тебе объяснить, а времени на это у нас очень и очень мало. Скажи, веруешь ли ты в явление Нового Солнца?

Примерно так же, как искал в памяти слова власти, я принялся искать в сердце веру, но и на этот раз ничего не нашел.

— Меня воспитывали в этой вере всю жизнь, — сказал я, — только, сдается мне, наставники, одним из коих, к слову, был настоящий Мальрубий, не веровали ни во что подобное, и сейчас я сам не могу сказать, верую или нет.

— Что есть Новое Солнце? Человек? Если да, каким образом его явление вновь сделает все зеленое темно-зеленым и доверху наполнит житницы?

Возвращаться к тому, что без особого интереса слушал даже мальчишкой, сейчас, едва почувствовав себя наследником трона Содружества, мне было совсем не в радость.

— Под явлением Нового Солнца имеется в виду возвращение Миротворца. Вернувшийся в новом воплощении, он принесет нам справедливость и мир. На картинах его лик изображают сияющим, подобно солнцу. Большего я, выученик палачей, а не церковный причетник, сказать на сей счет не могу.

Спасаясь от ледяного ветра, я плотнее закутался в плащ. Трискель, свернувшись клубком, жался к моим ногам.

— А в чем человечество нуждается больше? В мире и справедливости или же в Новом Солнце?

Пожалуй, я улыбнулся бы, если б не онемевшие

губы.

— Конечно, оказаться моим покойным наставником ты не можешь никак, но, кажется, слился с ним не хуже, чем я — с шатленой Теклой, а в таком случае ответ мой уже знаешь. Доведенный до крайности, клиент думает только о том, как бы согреться, насытиться да унять боль, а о мире со справедливостью вспоминает лишь после. Дождь символизирует благодать, а солнечный свет — любовь, однако дождь и солнечный свет лучше благодати с любовью, иначе обесценивали бы то, что символизируют.

— По большому счету, ты прав. Тот мастер Мальрубий, которого ты знал в детстве, действительно жив во мне, а твой прежний Трискель — в этом Трискеле. Однако это сейчас неважно. Потерпи, вскоре во всем разберешься, еще прежде, чем мы уйдем. — Смежив веки, Мальрубий почесал поросшую седым волосом грудь, совсем как в те времена, когда я числился среди младших из учеников. — Ты боялся взойти на этот кораблик даже после того, как я объяснил, что он не унесет тебя ни с Урд, ни хотя бы на другой континент. Допустим, я скажу — заметь, я этого *не говорю*, но, допустим, скажу, — что он вправду унесет тебя с Урд, за орбиту Фалека, называемого вами «Вер-

данди», мимо Бетора с Аратроном, во внешнюю тьму и далее, в совсем другие края. Испугаешься ты сего после плавания с нами?

— Сознаваться в боязни не в радость никому, но… да, подобного я испугался бы.

— А согласился бы, хоть испугавшись, хоть нет, отправиться туда, если таким образом можно привести в сей мир Новое Солнце?

Казалось, в тот миг некий дух жутких бездн за пределами Урд уже сжал мое сердце ледяными ладонями. Насчет «допустим» я нисколько не заблуждался — да и Мальрубий, думаю, вовсе не собирался вводить меня в заблуждение. Ответить «да» означало действительно согласиться на подобное путешествие.

Одолеваемый сомнениями, я надолго умолк. Воцарившуюся тишину нарушал лишь оглушительный грохот моей собственной крови в ушах.

— Если не можешь ответить, немедля отвечать ни к чему. Мы спросим о том же еще раз. Вот только, не получив ответа, я ничего больше рассказать не смогу.

Долгое время стоял я на палубе странного корабля, порой принимаясь расхаживать взад-вперед, согревая дыханием окоченевшие от холода пальцы, а всевозможные мысли толпи-

лись, толпились вокруг гурьбой. Сверху на нас бесстрастно взирали звезды, и глаза мастера Мальрубия тоже казались всего-навсего парой точно таких же звезд.

Наконец я, вернувшись к нему, сказал:

— Знаешь, я ведь давно мечтал о… Словом, если полет мой вправду приведет к нам Новое Солнце, я согласился бы.

— Нет, за исход поручиться я не могу. Если бы это дало лишь *возможность* привести в сей мир Новое Солнце, согласился бы тогда? Справедливость, мир — да, однако Новое Солнце… тепло, свет, энергия в таком изобилии, какого Урд не знала с тех давних времен, когда на ней не родились еще первые люди?

Тут-то и произошло самое странное из событий, описанных мной в сей и без того уже сверх всякой меры затянувшейся повести, причем с ним никоим образом не связано ни звука, ни образа, ни говорящего зверя, ни исполинской женщины. Слушая мастера Мальрубия, я всего лишь почувствовал нечто вроде тычка пальцем в грудь, точно такого же, как в Траксе, когда понял, что должен идти с Когтем на север.

— Да, — отвечал я, вспомнив девчонку из убогого хакаля. — Если бы это дало возможность

привести в мир Новое Солнце, я соглашусь.

— А что, если там тебе придется предстать перед судом? Пройти испытание? С предыдущим автархом ты знаком, а под конец даже полюбил его. Теперь он живет в тебе. Был ли он мужчиной?

— Да, он был человеком — к коим ты, мастер, по-моему, не принадлежишь.

— Вопрос не в том, и ты понимаешь это не хуже меня. Был ли он полноценным мужчиной, таким же, как ты — половинка диады «мужчина — женщина»?

Я отрицательно покачал головой.

— Таким же станешь и ты, если не пройдешь испытания. Что скажешь теперь?

Посол всех увечных созданий — Автарха, таскавшего подносы с кухонь в столовые Обители Абсолюта, а после парализованным лежавшего в паланкине, дожидаясь случая передать мне гудящие в голове голоса; и Теклы, корчащейся на «Революционере»; и истекающей кровью, умирающей в подземельях нашей башни служанки, о которой едва не позабыл даже я, много раз похвалявшийся безукоризненной памятью — Трискель положил исполосованную шрамами морду мне на колено. Может статься, именно обретение Трискеля, хоть я и говорил, что оно ровным сче-

том ничего не изменило, в итоге изменило все. Отвечать мне на сей раз не потребовалось: ответ мастер Мальрубий прочел в моем взгляде.

— О существовании в пространстве расселин, порой называемых Черными Дырами, из коих вовеки не возвращается ни грана материи, ни проблеска света, тебе известно давно. Однако до сего времени ты даже не подозревал вот о чем: у этих расселин имеются противоположности, так называемые Белые Истоки, из каковых в нашу вселенную бесконечным потоком струится материя и энергия, отвергаемая иной, высшей вселенной. Если ты выдержишь испытание, если нашу расу сочтут готовой к возвращению в бескрайние моря межмировых пространств, подобный Белый Исток отворится в сердце нашего солнца.

— А если не выдержу?

— Если не выдержишь, тебя лишат мужской силы, дабы ты не сумел завещать Трон Феникса потомкам. Твой предшественник согласился рискнуть.

— Но выдержать испытания, судя по сказанному тобою, не смог.

— Да. Однако оказался храбрее большинства тех, кого называли героями, первым из многих ав-

тархов, отважившимся предстать перед высшим судом. Последним до него был Имар, о котором ты, может статься, кое-что слышал.

— Но Имара, очевидно, тоже сочли недостойным. Мы уже отправляемся? За бортом видны только звезды.

Мастер Мальрубий покачал головой:

— Ты просто смотришь не столь внимательно, как полагаешь. Нет, летим мы туда, куда и собирались, и уже почти прибыли.

Покачиваясь на ходу, я подошел к борту. Одной из причин неуверенной поступи, думаю, послужило движение корабля, но и воздействие снадобья сказывалось до сих пор.

Урд все еще укрывала ночь, так как мы быстро мчались на запад, и первые проблески утра, застигшие асцианскую армию в джунглях, сюда пока что не добрались. Вскоре я разглядел, что звезды за бортом словно бы покачиваются, волнуются в небесах, будто их, словно ветер — пшеницу, колышет ток некоей силы. «Так это же… море», — подумалось мне, и в тот же миг мастер Мальрубий сказал:

— Вот оно, великое море, называющееся Океаном.

— Как же я мечтал повидать его…

— И в скором времени ступишь на его берег. Итак, ты хотел знать, когда должен будешь покинуть эту планету. Не раньше, чем упрочишь власть здесь. Не раньше, чем приведешь к повиновению Несс с Обителью Абсолюта, а твои армии отобьют нападение рабов Эреба. Возможно, на это хватит нескольких лет, а может, не хватит и нескольких десятилетий. Когда настанет время, мы оба придем за тобой.

— Нынче ночью ты уже второй, кто обещает снова со мною встретиться, — заметил я.

Стоило мне это сказать, корабль слегка покачнулся, словно лодка, подведенная к пристани умелым кормчим, и остановился. Сойдя вниз по трапу, я шагнул на песок, а мастер Мальрубий с Трискелем последовали за мной.

Я спросил, не останутся ли они на время со мной, не помогут ли хоть несколькими советами.

— Разве что ненадолго. Если у тебя есть еще вопросы, спрашивай поскорее.

Серебристый язык трапа уже мало-помалу втягивался в обшивку. Казалось, не успел он исчезнуть из виду, а корабль уже поднялся и помчался прочь, нырнув в ту самую брешь в ткани мироздания, где скрылся зеленый человек.

— Ты говорил о покое и справедливости, что принесет в наш мир Новое Солнце. Но справедливо ли с его стороны звать меня в такую даль? Что за испытание мне предстоит пройти там?

— Зовет тебя вовсе не Новое Солнце. Зовут тебя те, кто надеется призвать Новое Солнце к себе, — ответил мастер Мальрубий, однако ответа я понять не сумел.

Затем он вкратце пересказал мне тайную историю Времени, величайшую из тайн мироздания, но все это я изложу после, в подобающем месте. Когда он умолк, в голове у меня помутилось, и я не на шутку испугался позабыть его рассказ. Казалось, столь великих знаний недостоин никто из живущих… а еще я наконец осознал, что пресловутые туманы забвения могут заволакивать мою память не хуже чьей-либо еще.

— Не бойся, уж кто-кто, а ты не забудешь! У Водала на пиру ты говорил, что наверняка не запомнишь дурацких паролей, придуманных им в подражание словам власти, однако запомнил все слово в слово. Твоя память сохранит все, и в нужный момент ты вспомнишь все, что потребуется. Возможно, эпическая епитимья, наложенная на род человеческий, подошла к концу. Прежний Автарх сказал тебе сущую правду: человек вновь

отправится к звездам, лишь став божеством, но, может быть, до этого уже недалеко. Может статься, в тебе все разнонаправленные стремления нашей расы достигли синтеза.

Трискель, как обычно, ненадолго поднялся на задние лапы, развернулся кругом и галопом помчался вдаль, вдоль кромки поблескивавшей в звездном свете воды. С каждым прыжком от каждой из трех его лап по воде разбегалась кругами легкая рябь. Примерно в сотне маховых шагов от нас он остановился и оглянулся, словно приглашая меня за собой.

Я двинулся за ним следом, но мастер Мальрубий сказал:

— Нет, Севериан, туда, куда он уходит, тебе пути нет. Знаю, ты считаешь нас кем-то из какогенов, и развеивать твои заблуждения мне до сих пор казалось не слишком разумным, но сейчас без этого не обойтись. На самом деле мы — аквасторы, существа, сотворенные и питаемые силой воображения, сосредоточением мысли.

— Да, о подобных вещах я слыхал, — подтвердил я. — Но я же пощупал тебя, и…

— Это ничего не значит. Мы столь же осязаемы, как и большинство вещей, на деле лишь кажущихся, порождений пляски частиц в про-

странстве. Но ты уже должен понять: настоящим может быть только то, чего не пощупаешь. Некогда ты встретился с женщиной по имени Кириака, рассказавшей тебе предание об огромных мыслящих машинах древних времен. Точно такая же машина имеется на борту корабля, доставившего нас сюда, и ей под силу заглянуть в твой разум.

На сердце вмиг сделалось одиноко, пусто, и в пустоте этой зашевелились смутные страхи.

— Так ты и есть эта машина? — спросил я.

— Я — это мастер Мальрубий, а Трискель — это Трискель. Покопавшись в твоих воспоминаниях, машина отыскала среди них нас. Конечно, наши жизни в твоем сознании не столь полны, как жизнь Теклы или прежнего Автарха, однако мы тоже живем там и будем жить, пока жив ты. Но здесь, в материальном мире, мы существуем только за счет энергий той самой машины, а передается она не далее чем на две-три тысячи лет.

Не успел он закончить, как тело его распалось, рассыпалось в серебристую пыль. Блеснув в холодном сиянии звезд, облачко пыли развеялось без следа, а еще пару вздохов спустя меня оставил и Трискель. В тот миг, как желтая шкура трехногого пса тоже обернулась серебристой пыльцой, тут же подхваченной легким бризом, над берегом

в последний раз зазвенел его лай.

Оставшись один у самого края моря, о котором так часто мечтал, я, несмотря на одиночество, почувствовал небывалый душевный подъем и, полной грудью вдохнув неповторимый морской воздух, улыбнулся негромко поющим волнам. К востоку от меня простиралась суша вместе с Нессом, Обителью Абсолюта и всем остальным, к западу — Океан, и я, не желая так скоро с ним расставаться, а еще потому, что в ту сторону убежал Трискель, пошел на север вдоль кромки воды. Может быть, там, в глубине, и плескался со своими девицами исполинский Абайя, однако море было много древнее, мудрее него; некогда море породило на свет и людей, и всю прочую жизнь на земле и, так как мы не сумели его покорить, навеки осталось нашим. Поднявшееся в небо справа, старое алое солнце осияло морские волны своей вянущей красотой, и издали донеслись крики морских птиц, бессчетного множества чаек.

К тому времени, как тени укоротились, я изрядно устал. Щека и нога ныли не переставая; со вчерашнего полудня я ничего не ел, ночь провел без сна, если не считать недолгого забвения у очага в асцианском шатре, и охотно остановился бы передохнуть, однако солнце палило нещадно,

а череда утесов поодаль от берега не отбрасывала ни клочка тени. Наконец, держась следа двухколесной повозки, я набрел на куст диких роз, угнездившийся на склоне дюны. Укрывшись в его тени, я сбросил прохудившиеся сапоги и принялся вытряхивать скопившийся внутри песок.

Невзначай задетый предплечьем, один из шипов, отломившись от ветки, вонзился в руку, и вокруг его острия набухла малиново-алая капелька крови не больше просяного зерна. С досадой выдернул я шип из ранки… и пал на колени.

То был он, Коготь.

Коготь… безукоризненно гладкий, поблескивающий черным глянцем — точно такой же, как тот, спрятанный мною под алтарем Пелерин. Весь куст сверху донизу, все кусты по соседству с ним были усыпаны белоснежными цветами роз и столь же безупречными Когтями. Еще миг, и Коготь в моей ладони замерцал, окруженный великолепным неземным ореолом.

Тот, прежний Коготь я вернул владелицам, но кожаную ладанку, сшитую для него Доркас, сохранил при себе. Теперь она, вынутая из ташки, по-прежнему, как встарь, повисла на шее с Когтем внутри. Пряча в нее Коготь, я вспомнил, что видел точно такой же куст в Ботанических

Садах, в самом начале странствий.

Подобных вещей не под силу объяснить никому. Вернувшись в Обитель Абсолюта, я обсуждал это и с гептархом, и со всевозможными ачарьями, но ни один из них не объяснил мне почти ничего — кроме того, что некогда, в прошлом, Предвечному было угодно явить себя людям в виде этих растений.

В то время я, преисполненный удивления, об этом даже не помышлял, но… быть может, в незавершенный Песчаный Сад мы забрели не случайно? Ведь Коготь, пусть даже я об этом не знал, уже был при мне, тайком сунутый Агией под клапан моей ташки. Быть может, в незавершенный сад мы пришли для того, чтобы он, летящий против ветра Времени, смог попрощаться? Идея, конечно, абсурдная… но, впрочем, все идеи на его счет абсурдны не менее.

Что поразило меня там, на морском берегу (действительно поразило, настолько, что я пошатнулся, словно от крепкого удара), так это следующее: если Непреложный Принцип был заключен в тот искривленный шип, который я столько лиг нес на груди, а ныне заключен в новом (а может быть, том же самом) шипе, со-

всем недавно спрятанном мною в ладанку, то он вполне может заключаться (а возможно, действительно заключается) во всем на свете вообще — в каждой колючке на каждом кусте, в каждой капле воды в море… Что, если шип этот — священный Коготь, оттого что все шипы — священные Когти, а песок, набившийся в сапоги сквозь прорехи в швах, священен, поскольку другого, лишенного святости, не сыщешь на всем берегу? Киновиты, словно сокровища, хранят мощи саньясинов, так как саньясинам посчастливилось приблизиться к Вседержителю, однако все на свете и приближалось, и даже касалось Вседержителя, так как обронено с горних высот его дланью! Выходит, каждая вещь на свете — все равно что мощи саньясина? Выходит, священен весь мир?

Стащив сапоги, я зашвырнул их в волны прибоя, чтоб не ходить обутым по священной земле.

XXXII. «Самру»

Так я и шел вперед, словно могучее войско — ведь со мной шли все те, кто ныне жил во мне. Окруженный множеством стражников, я сам также был стражем, охранявшим особу монарха. Имелись в моих рядах и женщины — одни улыбчивы, другие мрачны, и детишки, со смехом резвившиеся вокруг, на страх Эребу с Абайей швыряя в море осколки раковин.

В какие-то полдня я достиг устья Гьёлля, столь широкого, что противоположный берег терялся где-то вдали. Над водой возвышались треугольники островов, а между ними, словно облака среди горных пиков, лавировали, сновали из стороны в сторону корабли под вздувшимися на ветру парусами. Помахав одному из них, идущему мимо, близ берега, я попросил довезти меня до Несса.

Выглядел я наверняка страшней некуда: щека располосована, плащ изодран в лохмотья, а отощал так, что все ребра можно пересчитать. Невзирая на это, капитан корабля выслал за мною шлюпку, и доброты его я отнюдь не забыл. При виде меня взгляды гребцов исполнились страха пополам с восхищением. Возможно, причиной

тому были всего лишь мои еще не зажившие раны, однако ран этим людям на своем веку довелось повидать в избытке, и мне сразу вспомнились чувства, охватившие меня самого, когда я впервые увидел лицо Автарха в стенах Лазурного Дома, хотя человеком он был невысоким и вдобавок ни мужчиной, ни женщиной.

Двадцать дней и ночей «Самру» шел вверх по Гьёллю, при возможности — под парусами, а в остальное время — на веслах, по дюжине с каждого борта. Морякам переход дался нелегко, поскольку течение, пусть медленное, едва ощутимое, не знает отдыха ни днем ни ночью, а рукава дельты настолько длинны и широки, что к вечеру гребец зачастую еще может видеть то самое место, с которого начал дневные труды, когда бой барабана поднял его на вахту.

Для меня же плавание оказалось приятным, точно яхтенная прогулка. Конечно, я предлагал помочь остальным в управлении парусами или на веслах, однако помощь мою решительно отвергли. Тогда я посулил капитану, весьма продувного вида субъекту, похоже, жившему не столько мореходством, сколько торговлей, хорошо заплатить за проезд, как только мы достигнем Несса, но он даже слушать об этом не пожелал, и,

крутя ус (как делал всякий раз, стремясь убедить собеседника в полной собственной искренности), заверил меня в том, что мое присутствие на борту — награда вполне достаточная и для него, и для всей команды. О том, что я — их Автарх, они, на мой взгляд, не догадывались, и, опасаясь таких, как Водал, я старательно избегал даже намеков на сие обстоятельство, однако мой взгляд и манера держаться, очевидно, выдавали во мне особу отнюдь не из простых.

Их суеверный страх передо мной изрядно упрочило происшествие с капитанской саблей. То бы кракемарт, тяжелейшая из абордажных сабель, с круто изогнутым клинком шириною в мою ладонь, украшенным чеканными звездами, солнцами и прочими символами, в которых сам капитан не понимал ни аза. Опоясывался он ею, когда мы приближались к какому-нибудь прибрежному поселению или к встречному кораблю — одним словом, чувствуя надобность блюсти достоинство, однако обычно попросту оставлял оружие на шканцах. Обнаружив его там и не имея иного занятия, кроме пристальных наблюдений за ветками да шкурками апельсинов, пляшущими на зеленоватых волнах за бортом, я вынул из ташки половинку точильного камня и заточил

клинок. Вскоре, увидев, как я пробую большим пальцем остроту лезвия, капитан принялся похваляться успехами в фехтовальном искусстве. Поскольку кракемарт, при короткой-то рукояти, весил от силы в полтора раза меньше, чем «Терминус Эст», хвастовство капитана показалось мне довольно забавным, и я добрых полстражи слушал его рассказы с подлинным наслаждением. Затем на глаза мне попалась бухта пенькового каната толщиною в мое запястье, и когда интерес капитана к собственным выдумкам пошел на убыль, я велел ему со старшим помощником растянуть канат меж собою, встав друг от друга кубитах в трех. Кракемарт рассек канат, словно волос, а затем, прежде чем хоть один из них успел перевести дух, я подбросил саблю к самому солнцу и ловко поймал за рукоять.

Боюсь, инцидент этот сверх меры наглядно демонстрирует, что мне сделалось много лучше. Конечно, в отдыхе, свежем воздухе и простой пище для читателя не найдется ничего увлекательного, но когда речь идет об исцелении раненых и изможденных, они способны творить подлинные чудеса.

Позволь я, капитан отдал бы мне собственную каюту, однако я предпочел спать на палубе, ку-

таясь в плащ, а единственную дождливую ночь провел под шлюпкой, подвешенной вверх дном возле борта. Во время плавания я обнаружил, что ветры обычно стихают, когда Урд поворачивается к солнцу спиной, и чаще всего спать ложился под мерный напев гребцов, а по утрам просыпался от лязга якорной цепи.

Однако случалось мне просыпаться и до наступления утра, в ту пору, когда корабль еще стоял возле берега, а наверху не было ни души, кроме клюющего носом дозорного. Бывало также, что просыпался я, разбуженный лунным лучом, а корабль тихо скользил вперед под зарифленными парусами, с помощником капитана у руля, с вахтой, спящей у фалов. Одной из подобных ночей, вскоре после того, как мы миновали Стену, я поднялся на корму и, глядя на фосфорический след, тянущийся за нами по темной воде, словно холодное пламя, на миг принял его за толпу людей-обезьян из сальтусского рудника, явившихся, дабы исцелиться силою Когтя, или поквитаться со мной за былые обиды. Разумеется, ничего странного в этом нет: дурацкие шутки затуманенного сном разума — дело вполне житейское, однако в том, что случилось на следующее утро, тоже не было ничего странного, но поразил меня

этот случай до глубины души.

Гребцы неспешно, мерно работали веслами, гоня корабль к далекой, не в одной лиге от нас, излучине, за которой паруса мог бы наполнить какой-никакой ветерок. Думаю, бой барабана и плеск воды, рассекаемой длинными, широкими лопастями, действуют столь завораживающе оттого, что очень напоминают биение сердца во сне и шум крови, струящейся мимо внутреннего уха по пути к мозгу.

Стоя у леера, я любовался берегом, изрядно топким в этих местах, в краю древних равнин, залитых водами обмелевшего, закупоренного илом Гьёлля, и вдруг мне почудилось, что холмы и пригорки у края воды наделены некоей правильностью очертаний, как будто за всей этой бескрайней болотистой глухоманью кроется общий геометрический дух, исчезающий из виду, если смотреть на нее прямо, и вновь проявляющийся, стоит лишь отвести взгляд (очень похожее впечатление производят некоторые картины). Тут ко мне подошел капитан, и я, сказав ему, что слыхал, будто развалины Несса тянутся далеко вниз по реке, спросил, скоро ли мы увидим их. Капитан, рассмеявшись, ответил, что мимо развалин мы идем уже третий день,

одолжил мне подзорную трубу, и с ее помощью я сумел разглядеть в неприметном с виду пеньке покосившийся, обомшелый обломок колонны.

В тот же миг все вокруг — стены, улицы, монументы — словно бы разом выскочило из укрытий, подобно каменному городищу, возрождение коего мы с двумя ведьмами наблюдали с крыши гробницы. Нет, никаких перемен вне пределов моего разума не произошло, однако мыслью я словно бы — куда быстрей, чем на корабле мастера Мальрубия, — перенесся из безлюдных болот в самое сердце бескрайних древних руин.

Я и по сей день не устаю удивляться, сколь многое каждый из нас прекрасно видит, однако не осознает. Многие недели мой друг Иона казался мне всего-навсего человеком с протезом вместо руки, а странствуя с Бальдандерсом и доктором Талосом, я проглядел не менее сотни мелочей, весьма красноречиво свидетельствовавших, что Бальдандерс не раб — господин. Вспомнить хотя бы, как изумил он меня за Воротами Сострадания, не сбежав от доктора, хотя имел к тому все возможности…

С течением дня развалины становились видны все ясней и ясней. За каждой речной излучиной позеленевшие стены поднимались выше,

земля становилась тверже. На следующее утро, проснувшись, я обнаружил, что некоторые, самые стойкие здания до сих пор сохраняют верхние этажи, а вскоре после заметил у древнего пирса небольшой, с иголочки новенький ялик и указал на него капитану.

— На свете есть уйма семей, поколениями, от дедов к внукам, живущих тем, что отыщут в этих развалинах, — улыбнувшись моей наивности, пояснил он в ответ.

— Об этом я слышал, но ведь им подобная лодка не подойдет ни за что. Слишком мала; много ли на ней увезешь?

— Монет или драгоценностей — очень даже. А больше в этих местах к берегу не пристает никто. Закона здесь нет, так что мародеры режут почем зря и друг дружку, и вообще всех, кто ни сойдет на сушу.

— Мне нужно там побывать. Подождешь меня?

Капитан уставился на меня, будто на умалишенного:

— Долго ждать?

— До полудня, не дольше.

— Гляди, — сказал он, указывая вверх по течению. — Вон там, впереди, — последняя большая излучина. Сойдешь здесь, а нас догонишь за ней,

у следующего поворота русла. Раньше обеда мы всяко туда не дойдем.

Я согласился, и капитан отрядил четверых матросов, спустив с борта «Самру» шлюпку, доставить меня на берег. Как только мы собрались отойти от корабля, он расстегнул пояс с кракемартом в ножнах и подал его мне, без тени улыбки сказав:

— Он верно служил мне во множестве кровавых стычек. Цель в голову, только гляди, острие о бляху ремня не обломи.

Я, с благодарностью приняв саблю, заверил его, что всегда предпочитал шею.

— Тоже неплохо, если рядом товарищей нет и горизонтальным махом никого из своих не зацепишь, — сказал капитан, крутя ус.

Устроившись на корме, я получил прекрасную возможность приглядеться к лицам гребцов. Очевидно, берега матросы с «Самру» боялись в той же мере, что и меня. Подойдя к пристани рядом с яликом, они поспешили убраться восвояси и впопыхах едва не перевернули шлюпку. Убедившись, что на единственной банке ялика вправду покоится увядший алый мак, замеченный мной с корабля, я проводил взглядом шлюпку, и едва ее подняли на борт, гребцы «Самру» немедля спу-

стили на воду весла, хотя легкий бриз исправно наполнял грот. Очевидно, капитан решил миновать излучину русла как можно быстрее и, если я не появлюсь вовремя в условленном месте, отправиться дальше без меня, с чистой совестью посчитав (и объяснив другим, буде у кого-либо возникнут вопросы), что виноват в опоздании только я сам. Должно быть, и кракемартом он пожертвовал лишь затем, чтоб окончательно успокоить совесть.

По бокам от пирса тянулись кверху каменные ступени — почти такие же, с каких я мальчишкой нырял в Гьёлль. Наверху не оказалось ни души; все вокруг густо заросло травой, пробивавшейся к солнцу сквозь трещины между плитами мостовой. Передо мною безмолвно покоился разрушенный город, мой родной Несс, хоть то и был Несс давно минувших времен. Несколько птиц, круживших над головой, в вышине, хранили молчание, достойное померкших в солнечном свете звезд. Гьёлль, что-то шептавший себе под нос на стрежне, уже казался далеким, отстраненным, как и остовы зданий, мимо которых, прихрамывая, брел я. Как только берег скрылся из виду, он вовсе стих, словно робкий, неуверенный в себе гость, умолкающий, вслед за хозяином пройдя в

соседнюю комнату.

Казалось, квартал этот вряд ли окажется именно тем, откуда (по словам Доркас) в Тракс везли мебель и прочую домашнюю утварь. Поначалу я то и дело заглядывал в окна и двери, но не находил внутри ничего, кроме всякого сора да желтой листвы, мало-помалу облетавшей с юных деревьев, успевших взломать булыжную мостовую. Нигде не нашел я и следов людей-мародеров, хотя звериного помета, птичьих перьев и обглоданных косточек вокруг хватало.

Далеко ли я углубился в развалины, мне неизвестно. Наверное, где-то на лигу, но, может быть, и куда меньше. Возможное расставание с «Самру» меня не слишком-то беспокоило: в конце концов, я прошел пешком большую часть пути от Несса до охваченных войной гор, и хотя на ногах держался еще нетвердо, босые подошвы изрядно окрепли на палубе корабля. До сих пор не привыкший носить оружие у пояса, я обнажил кракемарт и вскинул его на плечо, как часто носил «Терминус Эст». Летнее солнце лучилось тем самым неповторимым, особо приятным теплом, которое обретает с появлением в утреннем воздухе первых намеков на осенние заморозки. Наслаждаясь им наряду с одиночеством и тиши-

ной, я был бы просто счастлив, кабы не раздумья о том, что я скажу Доркас, если найду ее, и что она может сказать в ответ.

Знай я, как все обернется, вполне мог бы избавить себя от подобных тревог. Вопреки всем разумным предположениям, поиски не затянулись надолго, и я не сказал ей ни слова — а она не заговорила со мной и даже, насколько я мог судить, не заметила моего появления.

К тому времени высокие прочные дома, окаймлявшие берега реки, давным-давно уступили место постройкам намного меньшим — обветшавшим, полуразрушенным особнячкам и лавкам. Что привело меня к Доркас? Даже не знаю. Плача я не услышал. Возможно, то был некий негромкий, не отложившийся в памяти шум вроде скрипа дверной петли или шарканья туфель. Возможно, дело было лишь в аромате цветка, воткнутого ею в волосы, так как, когда я увидел ее, прическу Доркас украшал аронник — белоснежный, веснушчатый, милый, как и она сама. Несомненно, именно ради этого она и принесла его с собой, а увядший мак вынула из-за уха и бросила, привязав ялик к пирсу… однако тут я уже забегаю вперед.

Вначале я попытался войти в дом сквозь па-

радную дверь, однако сгнившие половицы во многих местах — особенно там, где опоры под ними также прогнили насквозь, — провалились вниз, в погреб. Кладовые на задах не сулили успеха тоже: некогда тихая, заросшая папоротниками аллейка, ведущая к ним, была городским переулком из тех, куда не стоит совать нос даже днем, а в подобных местах лавочники обычно не оставляют в стенах окон вообще либо довольствуются оконцами совсем маленькими. Однако там, на задах, отыскалась узкая дверца, укрытая густым плющом, — железо запоров и петель давным-давно, словно сахар, съели дожди, дуб досок распался в труху, зато лестница, ведущая на второй этаж, оказалась практически целой.

Доркас стояла на коленях, спиною ко мне. Если прежде она была просто очень хрупка, то в тот момент я едва не принял ее за кресло с наброшенной на спинку женской кофтой. Одни только волосы — самого светлого из золотистых оттенков на свете — остались прежними, нисколько не изменившимися с тех самых пор, когда я впервые встретился с нею в Саду Непробудного Сна. Перед ней, на погребальных дрогах, лежало тело старика, бороздившего Птичье Озеро на таком же крохотном ялике, как у пристани, — спина пря-

ма, лицо в посмертии сделалось столь юным, что я едва сумел его узнать. На полу рядом с Доркас стояла корзина, не слишком маленькая, но и не очень большая, и заткнутый пробкой узкогорлый кувшин-водонос.

Не проронив ни слова, а просто какое-то время поглядев на нее, я развернулся и двинулся прочь. Пробудь она здесь подольше, я непременно окликнул бы, обнял ее, однако пришла Доркас только что, и посему ни о чем подобном не могло быть и речи. Все время, проведенное мною в пути от Тракса к озеру Диутурна и от озера на войну, а после в плену у Водала и в плавании по Гьёллю, ушло у нее на дорогу домой, туда, где она жила сорок (если не более) лет тому назад, пусть даже дом ее давным-давно изветшал…

Как и я сам — древний старец, нашпигованный стариной, будто труп личинками мух. Нет, нет, состарил меня отнюдь не разум Теклы, и не разум Автарха, и не сотня других, унаследованных от него. В старика меня превратили не их — мои собственные воспоминания, память о Доркас, дрожащей от холода рядом со мной, на бурой плавучей тропке из стеблей осоки, о нас обоих, продрогших, промокших до нитки, по очереди подносящих к губам Хильдегринову фляжку,

жмущихся друг к другу, будто пара младенцев… каковыми, по сути, мы оба в то время и были.

Дальше я двинулся, не разбирая дороги, сам не зная куда. Прошел изрядно длинной, переполненной безмолвием улицей, а когда она кончилась, свернул наугад, какое-то время спустя вышел к Гьёллю и, взглянув вниз по течению, увидел «Самру», стоящий на якоре в условленном месте. Пожалуй, сильнее удивить меня не смог бы даже базилозавр, заплывший сюда прямиком из открытого моря.

Вскоре меня окружила толпа улыбающихся моряков.

— А я уж боялся, что вовремя не поспеем, — сказал капитан, изо всех сил стиснув мою ладонь. — Идем, а перед глазами то и дело маячит картина, будто ты бьешься не на жизнь, а на смерть в виду берега, а нам до тебя еще добрых пол-лиги пути.

А его первый помощник, человек столь беспросветно глупый, что всерьез почитал капитана за главного, хлопнув меня по спине, заорал:

— Но он задал им добрую трепку!

XXXIII. Цитадель Автарха

Каждая лига, отделявшая меня от Доркас, рвала сердце на части, но возвращение на «Самру» после свидания с пустынным, безмолвным югом обрадовало меня так, что словами не описать.

Палубы его, собранные из рябоватых, однако ослепляющих белизной почти новеньких досок, каждый день драили внушительной величины матом, отчего-то называемым мишкой — своего рода мочалкой, сплетенной из каболок пенькового троса, утяжеляемой немалым весом пары корабельных коков, каковых вахтенным и полагалось до завтрака протащить на ней вдоль каждой досточки. Щели между досками были заделаны варом, придававшим палубам сходство с причудливо вымощенными террасами.

Нос корабля высоко поднимался кверху, заостренная корма плавно изгибалась вперед, пара глаз величиной с блюдо, нарисованных по бокам от форштевня небесно-голубой, ярчайшей из синих красок, день и ночь взирали на зеленые воды, дабы «Самру» не сбился с пути, а из левого слезой свисал якорь.

Над носом, удерживаемая треугольной дере-

вянной подставкой, также резной, расписной, позолоченной, выдаваясь вперед, возвышалась носовая фигура, птица бессмертия — птица с головой женщины. Ее бесстрастное, аристократически удлиненное лицо и крохотные черные глазки великолепно подчеркивали суровую безмятежность созданий, не ведающих смерти, а обрамляли его искусно раскрашенные резные перья, растущие из темени вместо волос, ниспадающие на плечи, прикрывая полусферы деревянных грудей. Кончики распростертых в стороны, слегка отведенных назад крыльев превосходили высотой оконечность форштевня, а алые с золотом маховые перья отчасти закрывали треугольник подставки. Несомненно, моряки полагали сие создание сказочным, вымышленным, и я сам подумал бы точно так же, если б не видел своими глазами анпиэлей Автарха.

Справа от форштевня, между крыльями птицы самру, тянулся вперед бушприт, немногим уступавший в длине фок-мачте, возвышавшейся над баковой надстройкой. Казалось, туго натянутый фока-стаксель вот-вот вырвет ее, слегка наклоненную прямо по курсу, дабы обеспечить простор фоковым парусам, из гнезда в прочном корпусе. Грот-мачта стояла столь же прямо, как

некогда пущенная на нее сосна, однако бизань-мачта клонилась назад, так что топы всех трех мачт располагались друг от друга значительно дальше, чем шпоры. На каждой мачте имелся гафель — наклонный рей, связанный из пары утончающихся к концу цельных стволов молодых деревьев, и каждый из этих гафелей был оснащен единственным треугольным парусом цвета красно-бурой ржавчины.

Корпус корабля под водою был выкрашен белым, а над водой — черным, если не принимать в расчет уже упомянутых мною носовой фигуры и глаз, да еще лееров на шканцах, красный цвет коих символизировал разом и высоту положения капитана, и его кровавое прошлое. В действительности шканцы занимали не более одной шестой длины «Самру», однако именно там находились и штурвал, и нактоуз, и именно оттуда открывался наилучший обзор, уступавший разве что виду с вант. Там же располагалось и самое серьезное вооружение «Самру» — вертлюжная пушка немногим больше той, что носил на спине Мамиллиан, в любое время готовая хоть к отражению пиратского нападения, хоть к подавлению мятежа на борту. Чуть позади гакаборта, на двух изящных, изогнутых плавно, словно усы сверчка,

железных штоках, красовалась пара кормовых фонарей — один бледно-розовый, другой изумрудно-зеленый, как лунный свет.

К концу следующего дня, стоя возле этих фонарей, вслушиваясь в бой барабана, негромкий плеск весел и напев гребцов, я увидел на берегу первые огоньки. То были медленно умирающие окраины города, жилища беднейших из самых злосчастных среди бедняков, но это значило лишь, что именно здесь, в столице, начинается жизнь, а царство смерти заканчивается. Здесь человеческие существа готовились отойти ко сну, а может статься, все еще делили меж собой трапезу, знаменовавшую завершение дня. За каждым из этих огней я видел тысячи проявлений добросердечия, слышал тысячи сказок, рассказанных у очага. В каком-то смысле я возвращался домой, и привел меня сюда тот же самый напев, что по весне провожал, гнал в дорогу:

Вдарь, братцы, вдарь!
Теченье против нас,
Вдарь, братцы, вдарь,
Однако ж Бог за нас!

Вдарь, братцы, вдарь!

И ветер против нас,
Вдарь, братцы, вдарь,
Однако ж Бог за нас!

Тут и не захочешь, а призадумаешься: кому-то сей ночью суждено отправиться в дальний путь?

Во всякой длинной истории, если рассказывать ее со всей откровенностью, отыщутся все элементы, все составляющие, присущие человеческой драме с тех давних пор, как первый, простейший из кораблей достиг брега Луны: не только благородные поступки да нежные чувства, но и гротеск, и внезапные смены возвышенного вульгарным, и прочее в том же роде. На сих страницах я неизменно старался изложить все как было, без прикрас, нимало не беспокоясь о том, что ты, мой читатель, сочтешь кое-что невероятным, а кое-что малоинтересным, и если война в горах являла собою изображение славных подвигов (совершенных скорее другими, чем мной), а плен у Водала и у асциан — картины ужаса и безысходности, а плавание на «Самру» — умиротворяющую интерлюдию, то сейчас наступает время комедии.

К той части города, где находится Цитадель — к южным, однако не самым южным кварталам

Несса, — мы подошли под парусом, средь бела дня. Не сводивший пристального взгляда с озаренного солнцем восточного берега, я попросил капитана высадить меня на тех самых скользких ступенях, где столько раз купался в реке и дрался с окрестными мальчишками. В Цитадель я надеялся, пройдя через ворота некрополя, попасть сквозь брешь в межбашенной стене, невдалеке от Башни Матачинов, но ворота оказались закрытыми и запертыми на замок, и отряд добровольцев, дабы впустить меня, вовремя возле них, увы, не появился. Хочешь не хочешь, пришлось мне проделать неблизкий путь в обход некрополя, а после пройти еще с полдюжины чейнов вдоль крепостной стены, к барбакану.

Там меня, встреченного множеством стражников, отвели к их офицеру, и тот, когда я назвался бывшим палачом, разумеется, заподозрил во мне одного из оборванцев, то и дело (чаще всего — в преддверии зимы) являющихся проситься к нам в гильдию. Рассудив так, офицер (и вполне по заслугам, окажись он прав) велел меня высечь, и, дабы предотвратить порку, мне поневоле пришлось сломать двоим из его подчиненных большие пальцы, а после, удерживая его самого в захвате, именуемом «котенок с клубком», потре-

бовать встречи с его начальником, с кастеляном.

Признаться, личность чиновника, распоряжавшегося всей Цитаделью, которого я за годы ученичества и видел-то всего раз-другой, внушала мне нешуточное почтение, но на поверку он оказался старым солдатом, среброволосым, таким же хромым, как и я. Остановившись рядом со мной, офицер принялся, запинаясь, перечислять мои прегрешения: я-де нанес ему оскорбление словом (неправда) и действием, изувечил двоих его подчиненных и так далее и тому подобное. Когда он умолк, кастелян перевел взгляд с меня на него, затем вновь оглядел меня, отослал офицера прочь и предложил мне сесть.

— Ты безоружен, — сказал он.

Голос его оказался хриплым, однако негромким, словно в свое время, выкрикивая команды, кастелян надорвал горло.

Я сознался, что так оно и есть.

— Однако в боях побывал, а еще успел повидать джунгли к северу от гор, где не было ни единой баталии с тех самых пор, как асциане перескли Уроборос и обошли нас с фланга.

— Все верно, — подтвердил я, — но как ты об этом узнал?

— Рана в бедре нанесена одним из их копий. Я

таких повидал предостаточно и ни с какими другими не перепутаю. Мышцы рассечены лучом, отраженным костью. Ты в этот момент, полагаю, мог находиться на дереве, а гастат стрелял снизу, с земли, но скорее сидел ты не на суку, а в седле, и шел в бой против пехоты. Служил явно не в катафрактах, иначе так просто тебя не подловили бы. Стало быть, из демилансеров?

— Всего лишь из легких иррегулярных.

— Тогда позже непременно расскажешь обо всем в подробностях: ты, судя по говору, уроженец столицы, а в иррегулярные части обычно идут эклектики и прочий подобный сброд. Еще у тебя двойной шрам вон там, на ступне, — белый, ровный, отметины в полупяди одна от другой. Это укус нетопыря, а такие крупные нетопыри водятся только в настоящих джунглях, у самого пояса мира. Как тебя туда занесло?

— Наш флайер разбился, а я был взят в плен.

— И бежал?

Еще немного, и дело неизбежно дошло бы до рассказа об Агии, и о зеленом человеке, и о моем путешествии из джунглей к устью Гьёлля, а вот так, походя, предавать огласке материи столь высокие мне ничуть не хотелось. Вместо ответа я произнес слова власти, предназначенные для

Цитадели и ее кастеляна.

Поскольку кастелян был хром, я, если б мог, позволил бы ему остаться в кресле, однако он немедля вскочил на ноги, отсалютовал, а после, пав на колени, поцеловал мою руку. Таким образом, он, сам того не зная, первым воздал мне должные почести, а сия заслуга предоставляет право на ежегодную личную аудиенцию — каковой он, впрочем, ни разу еще не испрашивал и, может статься, не испросит вообще.

Что до меня, оставаться в прежнем виде я больше не мог. Потребуй я этого, старика-кастеляна наверняка хватил бы удар, а о безопасности моей особы он волновался так, что сохранять инкогнито мне пришлось бы в сопровождении по крайней мере взвода алебардщиков, крадущихся следом. Вскоре меня облачили в лазуритовый жазеран, котурны и стефан, дополнив сие убранство посохом черного дерева и просторной дамассиновой накидкой, расшитой тусклым жемчугом. Неописуемо древние, все эти вещи отыскались в одной из кладовых, сохранившихся с тех времен, когда Цитадель служила резиденцией автархам.

Таким образом, вместо того чтоб войти в нашу башню, как собирался, в том же самом плаще, в котором покинул ее, я вернулся туда неким

неузнаваемым существом в роскошном церемониальном облачении, тощим, точно скелет, хромым, с обезображенной жутким шрамом щекой. Войдя в таком виде в кабинет мастера Палемона, я, несомненно, перепугал его до полусмерти: о том, что прибывший в Цитадель Автарх желает беседовать с ним, он был извещен только в самый последний момент.

Казалось, со времени моего ухода он изрядно состарился, но, вероятно, дело было лишь в том, что я запомнил его не таким, как в день изгнания, а таким, каким еще мальчишкой привык видеть в крохотной классной комнате. Тем не менее мне очень хотелось бы думать, что он беспокоился о моей судьбе, и это не так уж маловероятно — ведь я с малых лет числился его лучшим, любимым учеником; несомненно, именно его голос, перевесивший мнение мастера Гюрло, спас мне жизнь, и именно он подарил мне собственный меч.

Однако сколь сильны или слабы ни были его треволнения, морщины, избороздившие лицо наставника, сделались много глубже, а редкие волосы, запомнившиеся мне серыми от седин, приобрели желтоватый оттенок, свойственный древней слоновой кости. Преклонив колени, он поцеловал мои пальцы и весьма удивился, когда

я помог ему подняться и велел вновь занять место за столом.

— Вы слишком добры ко мне, Автарх. Ваше милосердие простирается от солнца к Солнцу, — сказал он, прибегнув к старинной формуле величания.

— Разве ты не узнаешь нас?

— Вы были заточены здесь?

С этими словами он пригляделся ко мне сквозь любопытное приспособление в виде пары линз на носу (только оно и позволяло ему хоть что-либо видеть), и я решил, что его зрение, задолго до моего рождения ослабленное выцветшими чернилами на страницах гильдейских хроник, ухудшилось сильнее прежнего.

— Вижу, вы претерпели пытки, — продолжал он, — однако работа настолько груба… Надеюсь, исполнена она не нами?

— Нет, здесь ваша гильдия совсем ни при чем, — заверил его я, коснувшись изуродованной щеки. — Но тем не менее провести какое-то время в подземельях этой башни нам довелось.

Негромко, по-стариковски вздохнув, мастер Палемон опустил взгляд к россыпи серых бумаг на столе. Когда же он заговорил, я не расслышал ни слова и попросил его повторить сказанное.

— Вот этот день и настал, — сказал он. — Я знал, что настанет он непременно, однако надеялся не дожить до него, пусть даже в чьей-либо памяти. Вы упраздните нас вовсе, Автарх, или приставите к какому-либо иному делу?

— Как поступить с тобой и с гильдией, которой ты служишь, мы еще не решили.

— Не выйдет из этого проку, Автарх. Простите старика, не прогневайтесь… но не выйдет из этого проку. Со временем вы обнаружите, что вам нужны люди для исполнения той же самой работы, какую сейчас исполняем мы. Можете, если угодно, объявить ее исцелением. Так делалось неоднократно. Или ритуалом — бывало в старину и такое. Но вскоре вы сами увидите, что, кроющееся под маской, сие явление становится много страшнее прежнего. Лишая свободы тех, кто не заслуживает смерти, вы сами не заметите, как окажетесь лицом к лицу с несметным воинством в кандалах. Вы обнаружите, что держите в неволе немало тех, чей побег обернется катастрофой, и что вам необходимы слуги, вершащие правосудие над теми, кто предал мучительной смерти многие дюжины ни в чем не повинных людей. Кто, кроме нас, возьмется за это?

— Вершить правосудие так, как вы, не будет

никто. По твоим словам, милосердие наше простирается от солнца до Солнца, и мы надеемся, что это правда. И в милосердии своем даруем быструю смерть даже отъявленнейшим из мерзавцев. Нет, не из жалости к ним, но лишь оттого, что добрым людям не пристало посвящать жизнь причинению мук.

Мастер Палемон вскинул голову, сверкнув линзами на носу. Единственный раз за многие годы наставник предстал передо мною таким, каким был в юности.

— Но кому же еще поручить сие, если не добрым людям? Вы введены в заблуждение, Автарх! Людям скверным — вот кому доверять наше дело нельзя ни за что!

Я улыбнулся. В этот момент лицо мастера Палемона напомнило мне кое о чем, выброшенном из головы не один месяц тому назад: о том, что гильдия — моя семья, единственный мой родной дом, о том, что, не сумев обрести друзей здесь, я не найду друзей на всем белом свете.

— Между нами, мастер, — пояснил я, — мы решили, что этого не следует делать вообще.

Мастер Палемон не ответил ни словом. Судя по взгляду, он даже не слышал моих слов, прислушивался только к голосу, и недоверие на его

усталом, источенном временем лице сменилось искренней радостью, словно сумрак, разогнанный отсветами огня.

— Да, — подтвердил я, — перед тобой Северианин.

Пока мастер Палемон с великим трудом приходил в себя, я подошел к двери и велел подать мне ташку, на время вверенную попечению одного из офицеров охраны, завернутую в остатки гильдийского плаща цвета сажи, ныне вылинявшего, сделавшегося попросту черным, а кое-где и истершегося до рыжины. Расстелив плащ на столе мастера Палемона, я открыл ташку и вывалил на него ее содержимое.

— Вот все, что мы принесли назад, — пояснил я.

Мастер Палемон улыбнулся — совсем как в классе, застигнув меня за какой-нибудь мелкой шалостью.

— И трон в придачу? Не откажешь ли в любезности рассказать обо всем по порядку?

Так я и сделал. Рассказ затянулся надолго, так что мои охранники не раз стучались в двери, дабы убедиться, что я жив и здоров, и, наконец, я велел принести нам обед, однако, когда от фазана остались лишь косточки, а пирожные и вино

подошли к концу, разговор все еще продолжался. Тогда-то мне и пришла в голову идея, со временем воплотившаяся в сих мемуарах. Изначально я намеревался начать их со дня ухода из нашей башни, а завершить днем возвращения, но вскоре понял, что симметрию, столь ценимую многими из художников, этакая структура, конечно, обеспечит, однако без кое-каких сведений о моем отрочестве в моих приключениях никто ничего не поймет. Равным образом кое-какие нити повествования остались бы незавершенными, не дополни я повествование (как предполагаю сделать) описанием еще нескольких дней, последовавших за возвращением. Возможно, для кого-то мое сочинение станет «Золотой Книгой». Мало этого: быть может, первопричина всех моих странствий заключается лишь в заговоре библиотекарей, нуждающихся в новом орудии для пополнения своих рядов… но, может, и эти надежды чрезмерно смелы.

XXXIV. Ключ к Мирозданию

Дослушав рассказ до конца, мастер Палемон подошел к невеликой кучке моих пожитков и отыскал в ней ониксовую рукоять с опаловым «яблоком» и серебряной крестовиной — все, что осталось от «Терминус Эст».

— Добрый был меч, — сказал он. — Да, выходит, мой дар едва не погубил тебя, но мечом он был великолепным.

— Мы неизменно носили его с гордостью и ни разу не нашли повода в чем-либо упрекнуть.

Мастер Палемон вздохнул — прерывисто, словно вздох застрял в горле.

— Но теперь он безвозвратно утрачен. Меч — это ведь клинок, а не его обрамление. Гильдия сохранит все это вместе с твоим плащом и ташкой, поскольку они принадлежали тебе. Спустя столетия после нашей с тобою смерти старики вроде меня будут показывать их ученикам. Ну а клинка жаль, жаль… Я пользовался им многие годы, а получил задолго до того, как в гильдии появился ты, но даже не думал, что его погубит удар какого-то бесовского оружия.

Положив на стол венчавший рукоять опал, он

взглянул на меня и нахмурился:

— Что тебя беспокоит? Видывал я людей, куда меньше дергавшихся, когда им вырывали глаза.

— Всевозможного бесовского, как ты выражаешься, оружия, против которого не устоит даже сталь, на свете великое множество. Пребывая в Орифии, мы кое-что повидали. А еще повидали десятки тысяч наших солдат, бьющих врага лучевыми копьями, дротиками и мечами куда худшей ковки, чем «Терминус Эст». Держатся они до сих пор, потому что энергетического оружия у асциан не слишком-то много, а причина этому в нехватке источников энергии для его производства. Что же произойдет, если Урд будет пожаловано Новое Солнце? Не сумеют ли асциане распорядиться его энергией лучше нашего?

— Может статься, сумеют, — признал мастер Палемон.

— Мы размышляли об этом вместе с автархами, правившими до нас, — с собратьями, так сказать, по новой гильдии. Мастер Мальрубий сказал, что в недавние времена пройти испытание отважился один только наш предшественник. Касаясь разумов остальных, мы нередко обнаруживаем, что отказались они лишь из опасений, как бы наши враги, до сих пор сохранившие много больше

познаний в древних науках, не получили большее преимущество. Возможно, они были правы?

— Не знаю, — ответил мастер Палемон после долгих раздумий. — Ты полагаешь меня человеком недюжинной мудрости, так как некогда учился у меня, но ведь мне, в отличие от тебя, побывать там, на севере, не довелось. Ты видел целые армии асциан, а я в жизни не видывал ни одного. Интересуясь моим мнением, ты весьма льстишь мне… однако, судя по твоим рассказам, они слишком косны, слишком строго держатся заведенных порядков. Рискну предположить, к мышлению самостоятельному из них способны немногие.

— Это справедливо для любой общности, мастер, — пожав плечами, сказал я. — Но, пожалуй, ты прав: среди них это справедливо вдвойне. А «косность» их, как ты выразился, просто ужасна — на деле она оборачивается бесцветностью, равнодушием, намного превосходящим пределы воображения. Взятый в отдельности, каждый вроде бы человек, но вместе они — словно машина из бревен да камня.

Поднявшись на ноги, мастер Палемон подошел к иллюминатору, обвел взглядом башни, теснящиеся вокруг.

— Мы сами тоже изрядно косны, — сказал он. — Чрезмерно косны — и в гильдии, и во всей Цитадели. Если уж асциан счел закосневшими ты, воспитанный в этих стенах, должно быть, они действительно негибки умом. И вот что мне думается: возможно, несмотря на всю их науку — она ведь вполне может представлять собою не столь значительное преимущество, как ты полагаешь, — народ Содружества вернее сможет обернуть новые обстоятельства к собственной выгоде.

— Мы вовсе не гибки либо негибки, — возразил я. — Если не считать необычайно хорошей памяти, мы — всего-навсего обыкновенный, заурядный человек.

— Нет, нет! — Мастер Палемон, грохнув кулаком по столу, вновь сверкнул линзами. — Ты — незаурядный человек в заурядные времена! Когда ты был маленьким, учеником, я раз-другой тебя выпорол — знаю, знаю, ты не забыл. Но, даже наказывая тебя, я нисколько не сомневался, что ты станешь незаурядной личностью, великим мастером, равных коему в гильдии нет и не будет! А мастером ты станешь, пусть даже погубишь гильдию, — в сие звание мы тебя возведем!

— Мы ведь уже говорили, что намерены ре-

формировать гильдию, а не губить. И даже не уверены, достаточно ли компетентны для этого. Ты уважаешь нас, так как мы достигли высочайшего положения… но ведь достигли мы его волею случая и вполне это понимаем. Наш предшественник тоже достиг его чисто случайно, а разумы, перешедшие от него к нам, хотя мы до сих пор едва-едва прикоснулись к ним, гениальностью — за одним-двумя исключениями — отнюдь не блещут. Большинство их — самые обыкновенные люди, мужчины, женщины, моряки, ремесленники, крестьянские жены, а то и распутницы, а большинство остальных — чудаковатые второразрядные книжники из тех, над кем так часто смеялась Текла.

— Нет, — возразил мастер Палемон, — ты не просто достиг вершины, ты стал ею сам. Ты и есть государство.

— Вовсе нет. Государство — это все прочие: ты, кастелян, офицеры, что ждут снаружи, а мы… мы — народ. Содружество, — сказал я и лишь после этого осознал: да, так и есть.

Вздохнув, я взял со стола книгу в коричневом переплете.

— Ее мы оставим себе. Добрая вещь, в той же степени, что и твой меч. Думаю, написание книг

вновь нужно всячески поощрять. Карманов в этом облачении нет, но, может статься, если ее увидят в наших руках, когда мы уйдем, это пойдет только на пользу.

— Куда же ты унесешь ее? — спросил мастер Палемон, точно старый ворон, склонив голову набок.

— В Обитель Абсолюта. Ведь мы — или, если угодно, Автарх — уже больше месяца не давали знать о себе. Нужно выяснить, что происходит на фронте, возможно, направить на передовую подкрепления… да и другие дела у нас там тоже имеются, — добавил я, вспомнив о Ломере с Никаретой.

Мастер Палемон задумчиво поскреб подбородок.

— Северианн… Автарх… не угодно ли тебе, в память о былом, обойти камеры? Этим малым, что ждут в коридоре, вряд ли известно о двери, ведущей к западной лестнице.

Западная лестница — самая редко используемая и, вероятно, самая старая во всей башне и уж точно лучше всех прочих сохранившая первоначальный вид. Крутые узкие ступени ее вьются спиралью вокруг центральной колонны, источенной ржавчиной до черноты. Дверь в пы-

точную, где меня (то есть Теклу) подвергли пытке устройством под названием «Революционер», оказалась наполовину отворена, так что, хотя туда мы и не зашли, я все же сумел разглядеть древние механизмы внутри — устрашающие, однако, по-моему, вовсе не столь ужасные, как блестящие, но куда более древние машины в замке Бальдандерса.

Визит в подземелья стал для меня возвращением к тому, что я со дня ухода из Тракса считал безвозвратно канувшим в прошлое. Однако с тех пор металлические стены коридоров с длинными вереницами дверей нисколько не изменились, а заглядывая в крохотные смотровые оконца, проделанные в дверях, я увидел немало знакомых лиц — лиц тех самых людей, заключенных, которых кормил и стерег, будучи подмастерьем.

— Ты побледнел, Автарх, и рука твоя, чувствуется, дрожит, — заметил мастер Палемон, легонько поддерживаемый мною под локоть.

— Как тебе известно, наши воспоминания с годами не меркнут, — пояснил я. — Для нас в одной из этих камер по-прежнему сидит шатлена Текла, а в другой — подмастерье Севериан.

— Да, я и позабыл… Должно быть, тебя все это повергает в ужас. Я собирался отвести тебя к

камере шатлены, но, вероятно, тебе лучше туда не ходить.

Тем не менее я настоял на ее посещении, но, когда мы подошли к нужной двери, в камере обнаружился новый клиент, а дверь оказалась заперта. Велев мастеру Палемону вызвать брата, стоящего в карауле, дабы тот впустил нас внутрь, я остановился сразу же за порогом, оглядел смятую постель и крохотный столик и лишь после этого заметил клиента. Сидевший в единственном кресле, он таращился на меня с неописуемой смесью изумления и надежды во взгляде. Я спросил, знает ли он меня.

— Нет, экзультант.

— Мы — не экзультант. Мы — твой Автарх. За что ты здесь?

Клиент, вскочив с кресла, пал на колени:

— Я невиновен! Невиновен, поверь!

— Прекрасно, — сказал я. — Мы тебе верим. Однако нам угодно послушать, в чем ты обвиняешься и каким образом был осужден.

Повизгивая от возбуждения, клиент принялся излагать одну из самых сложных и бестолковых историй, какие мне доводилось выслушивать. Против него сговорились свояченица и ее мать. Обе сказали, будто он избил жену, будто держал

больную жену в небрежении, будто похитил у нее некую сумму, доверенную ей отцом с целью, насчет которой наветчицы в согласие не пришли. Объясняя все это (и еще многое), он через слово хвастал собственной прозорливостью и возмущался напраслиной, возведенной на него родней, из-за которой угодил в подземелья. По его словам, золота, о коем шла речь, не существовало вовсе, но в то же время добрую половину оного золота его теща пустила на подкуп судьи, а о недуге жены он-де знать не знал, но при том лекаря ей подыскал самого лучшего, какого только смог себе позволить.

Оставив его, я заглянул в соседнюю камеру и выслушал клиента, заточенного в ней, а после еще одного и еще — общим счетом четырнадцать человек. Одиннадцать из них убеждали меня в собственной невиновности — одни успешнее первого, другие еще неудачнее, но ни одно из их оправданий не показалось мне убедительным. Трое признали себя виновными (хотя один — и, по-моему, ничуть не кривя душой — клялся, что, хоть и совершил большую часть вменяемых ему в вину преступлений, обвинен также в полудюжине тех, которых не совершал). Двое из этих троих истово зареклись впредь ввязываться во

что-либо, достойное возвращения в подземелья, только бы я их помиловал, и я велел выпустить их на свободу. Третья же, женщина, похищавшая детей и заставлявшая их служить предметами мебели в особой, специально для этого отведенной комнате, а в одном случае прибившая гвоздями ладони маленькой девочки к небольшой столешнице, дабы из малышки вышло нечто вроде подставки для оной, с той же откровенностью призналась мне, что, оказавшись на воле, наверняка вернется к прежним, как она выразилась, забавам, поскольку только они ей, по сути, и интересны. Впрочем, об освобождении она не обмолвилась ни словом — просила лишь заменить ей приговор простым заключением. Я, разумеется, счел эту женщину душевнобольной, однако ни ее речи, ни ясный взгляд синих глаз на умопомешательство не указывали, и вдобавок она сообщила мне, что перед судом была освидетельствована и признана находящейся в здравом рассудке. Тогда я коснулся ее лба Новым Когтем, однако Коготь остался столь же безжизненным, как и прежний, когда я пытался, воспользовавшись им, помочь Иоленте и Бальдандерсу.

Меня никак не оставляет мысль, что чудотворные силы обоих Когтей рождаются во мне самом,

и именно по сей причине их сияние, на взгляд других, теплое, мне неизменно казалось холодным. Мысль эта — психологический эквивалент той самой зияющей в небе бездны, куда я боялся упасть, ночуя в горах. Я отвергаю, боюсь ее, так как всем сердцем желаю, чтоб сие было правдой, и чувствую, что, отыщись в ней хоть отголосок истины, непременно заметил бы эту силу в себе… однако не замечаю.

Вдобавок, помимо отсутствия внутреннего резонанса, этой мысли противоречат другие весьма основательные доводы, а главный из них, самый убедительный и, очевидно, неопровержимый, состоит в том, что Коготь, вне всяких сомнений, оживил Доркас, умершую многие десятилетия тому назад — причем без моего ведома. В то время я еще даже не знал, что он у меня.

Казалось бы, довод решающий, но все же я сомневаюсь, что это так. Вправду ли я не знал о нем? И кстати, что в действительности означает «знать»? Предположительно, Агия сунула Коготь мне в ташку, пока я лежал без сознания, но что, если в действительности я был попросту слегка оглушен? А если и нет, многие с давних пор полагают, будто люди в бессознательном состоянии вполне способны воспринимать окружающую

действительность — к примеру, внутренне реагировать на речь и музыку, иначе как объяснить сновидения, обусловленные внешними звуками? В конце концов, какая часть мозга теряет сознание? Не весь же целиком — не то и сердце прекратило бы биться, а легкие дышать. Большая часть памяти основана на химии. Все полученное мною от Теклы с прежним Автархом в основном таково — дурманные снадобья нужны лишь затем, чтоб помочь сложным химическим соединениям мысли проникнуть в мой мозг в виде информации. Не может ли определенная информация, извлекаемая из феноменов внешних, химически запечатлеваться в нашем мозгу даже в то время, как его электрическая активность, от коей зависит сознательное мышление, приостановлена?

Кроме того, если источник чудотворных сил во мне, то для их действия мне совершенно незачем знать, со мною Коготь или же нет, а если они заключены в самом Когте, такой необходимости не возникает тем более. С тем же успехом их могут привести в действие некие чрезвычайные обстоятельства иного рода, и наше катастрофическое вторжение в святая святых Пелерин (причем мы с Агией в итоге остались целы и невредимы, хотя

оба онагра разбились насмерть), уж конечно, вполне можно счесть обстоятельствами весьма серьезными. Далее, из собора мы отправились в Ботанические Сады, и там, прежде чем войти в Сад Непробудного Сна, мне на глаза попался куст, усеянный Когтями сплошь. В то время я полагал Коготь самоцветом, но не они ли исподволь призвали меня к себе? Подобные неразрешимые каламбуры наш собственный разум подбрасывает нам едва ли не на каждом шагу. Взять хоть троих из желтой хижины в Саду Джунглей, посчитавших нас некими сверхъестественными существами… С чего бы, спрашивается?

А если сверхъестественная сила заключена во мне (при том, что это явно не так), откуда она у меня могла взяться? Этому я измыслил два объяснения, и оба они безнадежно неправдоподобны. Как-то раз мы с Доркас беседовали о символическом значении материальных вещей, согласно наставлениям философов, символизирующих нечто высшее и, в свою очередь, символизируемых вещами низшего порядка. В качестве до абсурда простого примера представьте себе художника в собственной мансарде, пишущего с натуры, допустим, персик. Поставив безденежного художника на место Предвечного, можно

сказать, что его натюрморт символизирует персик и, таким образом, все изобилие плодов земли, тогда как глянцевитая округлость самого персика есть символ зрелой женской красоты. Войди подобная женщина в мансарду художника (сколь это ни маловероятно, без сего допущения нам не обойтись), она, несомненно, даже не заподозрит, что вон в той корзинке на столике у окна покоится отражение полноты ее бедер и твердости сердца, хотя художник, может статься, ни о чем ином не в силах будет даже помыслить.

Но если Предвечный действительно подобен помянутому художнику, разве не могут подобные взаимосвязи, многие из которых наверняка вовеки останутся непостижимыми для рода людского, весьма серьезно влиять на мироустройство, в точности так же, как одержимость художника правит игрою красок на полотне? А если я — вправду тот, кому суждено вернуть солнцу юность, отворив в его сердце пресловутый Белый Исток, разве не может оказаться, что мне, самому этого (если сие выражение здесь уместно) даже не сознававшему, была дарована присущая обновленному солнцу способность нести миру свет и жизнь?

Второе из упомянутых мной объяснений — ско-

рее всего, просто досужие домыслы. Но если, как предостерегал мастер Мальрубий, те, кто станет судить меня там, среди звезд, не выдержи я их испытания, лишат меня мужской силы, разве не могут они, оправдай я их ожидания, наделить меня, представителя всего Человечества, неким равноценным ей даром? Сдается мне, так оно вышло бы по справедливости. А если так, разве не может сей дар оказаться способностью, подобно им самим, переступать через границы времени? Иеродулы, с которыми я свел знакомство в замке Бальдандерса, сказали, что я интересен им, так как взойду на трон, однако был бы их интерес столь же велик, если мне предстоит стать лишь всеми хулимым, всем ненавистным правителем некоей части нашего континента, одним из множества всеми хулимых и всем ненавистных правителей в долгой истории Урд?

В общем и целом первое объяснение представляется мне наиболее вероятным, но и второе отнюдь не так уж неправдоподобно. Вдобавок оба они вроде бы указывают на то, что дело мне по плечу, и к звездам я отправлюсь с легким сердцем.

Вот только, кроме первых двух объяснений, существует и третье. Ни одному существу, чело-

веческому либо человекоподобному, не постичь хода мыслей созданий вроде Эреба, Абайи и остальных. Их мощь далеко превышает пределы нашего понимания, и теперь мне известно, что они вполне могли бы покончить с нами в один день, если б не полагали победой только порабощение, но не уничтожение. Исполинская ундина, являвшаяся ко мне, была их творением, причем даже не рабыней — игрушкой. Вполне возможно, чудотворная сила Когтя — Когтя, сломленного с куста, что растет столь близко к их морю, в конечном счете исходит от них. Судьба моя им известна не хуже, чем Барбату с Оссипаго и Фамулим, и в детстве они спасли мне жизнь, чтоб я исполнил ее до конца, а по уходе из Цитадели вновь отыскали меня, после чего путь мой был искривлен, исковеркан Когтем. Что, если они надеются восторжествовать, возведя палача в автархи, а то и к вершинам власти, о коей не смеет мечтать сам Автарх?

Ну а теперь, думаю, самое время изложить здесь то, что объяснил мне мастер Мальрубий. Поручиться за истинность всего им сказанного я не могу, но сам ему верю безоговорочно и в любом случае знаю не более, чем написано ниже.

Подобно цветам, расцветающим, разбрасы-

вающим по ветру семена, гибнущим, а после прорастающим из семян, чтоб расцвести вновь, известная нам вселенная со временем распадается на мельчайшие частицы, рассеивается в бесконечном пространстве, но затем частицы ее (благодаря кривизне пространства в конце концов собирающиеся на прежнем месте) сливаются воедино, и из сего семени снова взрастает цветок. Каждый из этих циклов, смена расцвета распадом, составляет один Год Всевышнего.

Если новый цветок подобен тому, от коего произошел, то и новая вселенная всякий раз повторяет ту, в руинах коей берет начало, и это истинно как для мельчайших ее отличительных черт, так и для самых крупных. Весьма схожие с мирами, канувшими в небытие, новорожденные миры населяются расами, схожими с прежними, однако каждый цветок в чем-то меняется, развивается от лета к лету, и точно так же, шажок за шажком, развивается все существующее.

В один из подобных Годов Всевышнего (срок, воистину непостижимый нашим умом, хотя тот цикл коловращения мирозданий был всего лишь одним из бесконечного множества) на свет появилась раса, настолько схожая с нашей, что мастер Мальрубий без колебаний назвал ее человече-

ской. Разросшись, она заселила галактики своей вселенной, совсем как мы в далеком-далеком прошлом, когда Урд, пусть не навсегда, сделалась центром — или, по крайней мере, прародиной, символом — великой империи.

Заселяя иные миры, эти люди столкнулись с множеством живых существ, в какой-то степени наделенных разумом либо зачатками разума, и — дабы не остаться в одиночестве, без товарищей и союзников, в межгалактической пустоте, среди сонмов чужих миров — преобразили их на собственный лад.

Разумеется, двигалось дело не быстро и не легко. Бессчетные миллиарды страдали, гибли под указующей дланью людей, учиненные ими беды и кровопролитие запомнились уцелевшим навеки. Когда же вселенная их состарилась, а галактики удалились одна от другой настолько, что даже звезд соседней, ближайшей, не разглядеть, отчего путь к ним корабельщикам приходилось отыскивать только по древним хроникам, труд сей был наконец завершен. Доведенное до конца, преображение превзошло самые смелые мечты его начинателей. В результате на свет появилась не новая раса, подобная Человечеству, но раса, какой люди только хотели бы стать — сплочен-

ная, сердобольная, справедливая.

Что сталось с самим Человечеством того цикла, мастер Мальрубий мне не рассказал. Возможно, род людской дожил до сжатия вселенной и погиб вместе с ней, а может быть, изменился до полной неузнаваемости. Однако созданиям, преображенным Человечеством в расу собственной мечты, удалось спастись, отыскав путь в Йесод, во вселенную высшего порядка, и сотворив там подходящие для себя миры.

С этих высот им открывается вид и вперед, и назад, и таким образом они обнаружили нас. Возможно, мы — всего-навсего раса, похожая на ту, что преобразила их. Возможно, преобразили их именно мы, или дети наши, или отцы. Мастер Мальрубий сказал, что ему это неизвестно, и, по-моему, не солгал. Как бы там ни было, сейчас они тем же манером, каким были преображены сами, преображают нас, воздавая добром за добро, и в то же время — в отместку.

Отыскали они и иеродул, и теперь те, приведенные к должному образу куда быстрее нас, служат им в нашей вселенной. Следуя их указаниям, иеродулы строят корабли вроде того, что перенес меня из джунглей к морю, дабы аквасторы наподобие Мальрубия с Трискелем также служили

им. Этими-то клещами нас и удерживают на наковальне.

Молотом же им служит способность оттаскивать слуг назад, выдергивая их из коридоров времени, и, точно мячики, швырять вперед, в будущее. (По сути, эта способность весьма сродни той, что позволила им сбежать из гибнущей вселенной — войдя в коридоры времени, вселенную покидаешь.) Что же до наковальни, по крайней мере, на Урд ею является естественная жизненная потребность нашей эпохи, необходимость бороться со все более и более враждебным к нам миром, располагая лишь скудными ресурсами его истощенных континентов. Да, это столь же жестоко, как и те способы, с помощью коих были преображены они сами, так что тут все по справедливости, однако явление Нового Солнца станет сигналом, означающим завершение как минимум ранних, начальных стадий преображения.

XXXV. Письмо Отца Инире

Отведенные мне покои располагались в самой древней части Цитадели. Комнаты эти пустовали так долго, что старик-кастелян с экономом, которому надлежало за ними присматривать, заподозрили, будто ключи от них давным-давно потеряны, и со множеством извинений при множестве умолчаний предложили взломать замки. От любования гримасами на их лицах я воздержался, однако прекрасно слышал, как оба негромко ахнули, стоило мне произнести простые слова, управлявшие запорами дверей.

В тот вечер я не уставал удивляться, глядя, насколько наши современные моды отличаются от мод тех времен, когда мои покои обставляли мебелью. Вместо привычных кресел в прошлом для сидения предназначались лишь вычурные подушки, а столам явно недоставало выдвижных ящиков и той симметрии, которую мы полагаем их непременным свойством. Вдобавок, по нашим меркам, вся эта мебель отличалась явным избытком тканей при явной нехватке дерева, кожи, камня и кости, отчего мне показалась и сибаритской, и неудобной.

Однако занять какие-либо иные покои, помимо тех, что отведены автархам с древних времен, или распорядиться, чтоб их обустроили заново, и навлечь на себя хулу со стороны предшественников — нет, об этом, конечно же, не могло быть и речи. Но если мебель куда лучше подходила для ума, чем для тела, какую же радость принесли мне другие находки, сокровища, оставшиеся от тех самых предшественников! Документы, касавшиеся государственных дел, ныне давным-давно позабытых, порой выцветшие до неразборчивости; хитроумные механизмы загадочного назначения; пробужденный к жизни теплом ладоней микрокосм, населенный крохотными обитателями, с течением времени словно бы растущими, обретающими все большее и большее сходство с людьми; и, наконец, лаборатория с легендарным «изумрудным столом» посредине и множеством прочих диковин, самой занятной из коих оказалась мандрагора в спирту.

Хранилась она в реторте высотой около семи пядей и вполовину меньшей ширины, а высота самого гомункула не превышала двух пядей. Стоило мне постучать по стеклу, мутные бусины его глаз, с виду совсем слепых — куда там глазам мастера Палемона, — дрогнули, взгляд обратился ко

мне. Когда губы его зашевелились, я не услышал ни звука, однако сразу же понял, в какие слова складываются их движения… и неким необъяснимым образом почувствовал, что прозрачная жидкость, которой залита мандрагора, обернулась моей собственной мочой с примесью крови.

– *Чего ради, Автарх, оторвал ты меня от раздумий о твоем мире?*

— А он вправду мой? — спросил я. — Как мне теперь известно, континентов на свете семь, но сокровенным речениям повинуется только часть одного, этого.

– *Так ты — наследник…*

С этим иссохшее, сморщенное создание — уж не знаю, случайно или намеренно, — отвернулось от меня прочь.

Я вновь постучал по стеклу реторты:

— А кто таков ты?

– *Существо без родителей, сызмала погруженное в кровь с головы до пят.*

— Вот как! То же самое можно сказать обо мне! Выходит, раз уж у нас схожее прошлое, нам с тобой следует подружиться.

– *Глумишься?*

— Вовсе нет. Я в самом деле тебе сочувствую и полагаю, что сходства между нами куда больше,

чем тебе кажется.

Крохотная фигурка вновь повернулась ко мне, подняла на меня взгляд:

– *Хотелось бы мне в это верить, Автарх.*

— Я совершенно серьезен. Разумеется, в излишней честности меня никто еще не обвинял, и врать, считая, что ложь мне на руку, мне доводилось нередко, но сейчас я вполне искренен. И если могу для тебя что-либо сделать, скажи, что именно.

– *Разбей сосуд.*

Я призадумался.

— Разве ты не погибнешь?

– *Я никогда и не жил. Я просто прекращу мыслить. Разбей сосуд.*

— Но ты же жив.

– *Я не расту, не двигаюсь и на любые стимулы реагирую только мыслью, каковая реакцией не считается. Я не способствую приумножению ни своего рода, ни чьего-либо еще. Разбей сосуд.*

— Если ты вправду неживой, я лучше поищу способ пробудить тебя к жизни.

– *Вот тебе и братское сочувствие! Сама-то ты, Текла, сидя здесь, взаперти, отчего-то не стремилась пожить подольше, когда тот мальчишка принес тебе нож.*

Кровь прилила к щекам, рука сама собой вскинула кверху посох черного дерева, однако удара я не нанес.

— Живой ты или мертвый, твой ум на удивление проницателен. Из всех моих составляющих Текла наиболее склонна поддаться гневу.

– Кабы ты унаследовал ее железы вместе с памятью, все вышло бы по-моему.

— Тебе и это известно. Откуда ты, слепой, так много знаешь?

– Ничтожные вибрации, создаваемые деяниями грубых умов, тревожат жидкость в этом сосуде. Я слышу твои мысли.

— А я, очевидно, слышу твои. Но отчего мне тогда не слышны еще чьи-либо?

Глядя прямо в сморщенное личико гомункула, озаренное последним лучом заходящего солнца, проникшим внутрь сквозь пыльный иллюминатор, я уже не замечал движения его губ.

– Ты, как всегда, слышишь себя самого. А слышать других не можешь, так как твой разум постоянно вопит, будто младенец, плачущий в корзине… О-о, вижу, ты это помнишь.

— Я помню, как в давние-давние времена, замерзший, проголодавшийся, лежал на спине, в окружении бурых стен, и слышал собственный

крик. Да, должно быть, тогда я был младенцем, еще не выучившимся даже ползать. Ты очень, очень умен. О чем же я теперь думаю?

– Что я — всего лишь бессознательное проявление твоей собственной чудесной силы, наряду с Когтем. И это, разумеется, правда. Увечный, я умер еще не рожденным и с тех пор хранюсь здесь, в сосуде с белым бренди. Разбей сосуд.

— Вначале я хотел бы спросить кой о чем, — ответил я.

– Брат, там, за дверьми, старик с каким-то письмом.

Я навострил уши. Как странно было, долгое время не слыша ничего, кроме слов гомункула в голове, снова услышать настоящие звуки — перекличку полусонных дроздов среди башен и дробный стук в дверь…

Гонцом оказался старый Рудезинд, провожавший меня до комнаты-картины в Обители Абсолюта. Увидев его за порогом, я (к немалому, полагаю, удивлению караульных) жестом пригласил его внутрь, так как захотел поговорить с ним и знал, что при нем нет нужды сохранять царственный вид.

— Сколько живу на свете, а здесь еще не бывал, — сказал он. — Чем я могу услужить вам,

Автарх?

— Уже услужил — одним тем, что мы снова видим тебя. Тебе известно, кто мы такие, не так ли? При прошлой встрече ты нас узнал.

— Если б я даже не знал вас, Автарх, в лицо, о том, кто вы таков, мне бы уже сообщили три дюжины раз. Наслышан, наслышан… похоже, здесь только и разговоров, что о вас. Как вас прямо здесь, в двух шагах, пороли, вгоняя ума через зад. Как вас видели то там, то сям, каковы вы были с виду и что кому говорили. На кухне не найти ни единого повара, который бы частенько не баловал вас в детстве печеньем, а солдаты, все как один, вас байками потчевали, а женщин, не целовавших вас и не штопавших дырок в ваших штанах, я давненько уже не видал. Был у вас и пес…

— Это правда, — подтвердил я, — пес у нас был.

— И кошка, и птичка, и коати, воровавший яблоки. А еще вы облазили все стены вокруг. А после спрыгивали вниз, а не то — по веревке спускались или прятались, притворяясь, будто бы спрыгнули. Можно сказать, вы — каждый мальчишка, когда-либо здесь воспитывавшийся, а кое-что из историй, рассказываемых о вас, я еще в детстве слышал про тех, кого едва успел застать

в живых глубокими стариками, а кое-какие из якобы ваших проказ вовсе учинил сам, семьдесят лет назад.

— Да, нам уже известно, что лик Автарха постоянно сокрыт под маской, сотканной для него людьми, и это, вне всяких сомнений, к лучшему. Понимая, насколько в действительности отличаешься от того, кому все они кланяются, нелегко возгордиться сверх меры. Однако нам хотелось бы узнать кое-что о тебе. Прежний Автарх сообщил нам, что ты был его тайным стражем в Обители Абсолюта, а теперь нам известно, что ты служишь Отцу Инире.

— Так и есть, — подтвердил старик. — И, имея честь состоять при нем в слугах, пришел к вам с письмом от него.

С этим он показал мне небольшой, слегка грязноватый конверт.

— А мы — господин Отца Инире.

— Знаю, Автарх, а как же, — поклонившись на деревенский манер, отвечал старый чистильщик картин.

— Если так, мы велим тебе сесть и устроиться поудобнее. У нас есть к тебе вопросы, а держать на ногах человека столь преклонного возраста мы совсем не хотим. Когда мы были тем самым

мальчишкой, о котором, по твоим словам, говорят все вокруг, или немногим старше, ты указал нам путь к книжным полкам мастера Ультана. Отчего ты так поступил?

— Не оттого, что знал о вас больше других. И не по приказу господина, если вы вдруг так думаете. Но разве вы письма его не прочтете?

— Вскоре прочту. Сразу же, как только получу честный, немногословный ответ.

Поникнув головой, старик стиснул в ладони жидкую бороду, так что иссохшая кожа на подбородке, словно бы потянувшаяся за поседевшими волосами, покрылась множеством крохотных островерхих бугорков.

— Автарх, вы полагаете, будто я в те времена уже о чем-то догадывался. Что ж, может быть, кто-нибудь и догадывался. К примеру, мой господин… а может, и нет. Не знаю. — Сверкнув слезящимися глазами, старик взглянул на меня из-под бровей и вновь опустил взгляд. — Вы были юны, мальчишкой казались подходящим, вот я и решил показать вам…

— Что показать?

— Я, сами видите, стар. И в то время был стариком, и сейчас стар. Вы с тех пор выросли, возмужали, по лицу вижу. А я почти не состарил-

ся, так как минувшее время для меня — пустяки. Сосчитайте, сколько времени я потратил, только карабкаясь на стремянку да спускаясь с нее, и то больше выйдет. И вот мне захотелось, чтоб вы поняли, сколько всякого произошло до вас. Что тысячи тысяч человек жили и умерли, пока вас даже в мыслях еще не существовало, и среди них немало тех, кто много лучше, чем вы, Автарх… то есть чем вы в те дни, разумеется. Казалось бы, всякий, выросший здесь, в старой Цитадели, должен знать это с рождения, однако не тут-то было. Каждый день рядом ходят, но ничего подобного не замечают. А вот побывав там, у мастера Ультана, самые смышленые начинают кое-что соображать.

— Другими словами, ты — заступник умерших.

— Да, так и есть, — кивнув, подтвердил старик. — Люди вечно толкуют о справедливости к тому да сему, но о справедливости в их отношении я не слыхал еще ни от одного. Мы забираем все, что они имели, и это в порядке вещей. На мнения их чаще всего плюем, но и в этом, по-моему, нет ничего страшного. Однако нам следует хоть время от времени вспоминать, как много из того, что имеем, получено нами от них… вот я и решил, пользуясь случаем, замолвить за мертвых

словечко. Ну а теперь, если вы, Автарх, не возражаете, оставлю-ка я письмо на этом вот чудном столике и…

— Рудезинд…

— Да, Автарх?

— Ты собираешься продолжить чистку картин?

Старик кивнул снова.

— Это одна из причин того, что мне не терпится поскорее уйти, Автарх. Я ведь был в Обители Абсолюта, пока господин мой… — Тут он сделал паузу и словно бы сглотнул, как делает всякий, заподозривший, что сболтнул лишку. — Пока господин мой не отбыл на север. Фехин давно нуждается в чистке, а у меня все никак руки до него не дойдут.

— Рудезинд, ответы на вопросы, которые мы, по-твоему, собираемся задать, нам уже известны. Известно нам, что твой господин — из тех, кого люди зовут какогенами, и что он — неважно, по какой причине — решил навсегда связать судьбу с человеческим родом, живя на Урд под видом человека. Еще одна из таких — кумеянка, хотя, возможно, этого ты не знаешь. Нам даже известно, что твой господин был с нами в северных джунглях, где до последней возможности

пытался спасти моего предшественника. Мы только хотели сказать вот что: если мимо тебя, примостившегося на стремянке, снова пройдет мальчишка, посланный куда-либо с поручением, направь его к мастеру Ультану. Таков наш приказ.

Дождавшись его ухода, я разорвал конверт. Листок внутри оказался не слишком большим, но сплошь испещренным мелкими, убористыми письменами, словно на нем раздавили множество крохотных паучков.

Верный слуга ваш, Инире, приветствует Суженого Урд, Владыку Несса и Обители Абсолюта, Главу Расы, Злато Подданных, Посланца Зари, Гелиоса, Гипериона, Сурью, Савитара и Автарха!

Спешу со всех ног и буду с вами не позже чем через два дня.

О происшедшем мне стало известно лишь позавчера к вечеру. Большая часть сих сведений получена мной от девицы по имени Агия, согласно собственным словам, сыгравшей ключевую роль в вашем освобождении. Поведала она и о некоторых ваших прежних делах, поскольку способы получения сведений у меня, как вам известно, имеются.

От той же Агии тебе уже известно о смерти ею же и погубленного экзультанта по имени

Водал. Поначалу подчинить себе мирмидонян, случившихся рядом в момент его смерти, пыталась возлюбленная Водала, шатлена Тея, но поскольку возглавить их, а тем более удержать в узде оставшихся на юге она не способна ни в коей мере, мне пришлось, изловчившись, заменить ее все той же Агией. Судя по милосердию, проявленному вами к ней, решение это вы, надо полагать, одобрите. Во всяком случае, движение, принесшее столько пользы в прошлом, весьма желательно сохранить на будущее, а пока зеркала ее слуги, призывателя Гефора, не дадут трещины, власть над движением ей удержать удастся.

Возможно, вы (как, кстати сказать, и я сам) сочтете корабль, присланный мною на помощь моему господину, автарху своего времени, непригодным для данной задачи, но подыскать что-либо лучшее не представлялось возможным — да и этот удалось раздобыть лишь с великим трудом. Я же вынужден следовать на юг иным способом, много более медленным: может статься, в скором времени мои кузены будут готовы объединить силы не просто с человечеством — с нами, однако ныне Урд в их глазах по-прежнему значительно уступает в важности множеству колонизированных миров, а мы

ничем не отличаемся от асциан, да и, кстати сказать, ксантодермов и многих других.

Может статься, вы уже располагаете новостями гораздо свежее и точнее моих. На случай же, если нет, сообщаю: военные наши дела и хороши, и плохи. Окруженные ни в одном месте не продвинулись далеко, а прорыв в южном направлении стоил им стольких потерь, что данную группу войск смело можно считать уничтоженной. Знаю, гибель такого множества жалких рабов Эреба не принесет вам радости, но, по крайней мере, сулит нашим армиям передышку.

Передышку, необходимую им как воздух. Среди паралиев зреет смута, нуждающаяся в незамедлительном искоренении, а тарентинцы, твои антрустионы и легионы столицы — три группы, принявшие на себя основную тяжесть вражеского удара, — понесли потери почти столь же страшные, как и противник. В некоторых когортах не сыщется даже сотни боеспособных солдат.

Не мне бы напоминать вам, что нам следует приобрести побольше стрелкового оружия, а особенно артиллерии — только бы кузены согласились уступить их по приемлемым ценам. Ну а до тех пор нужно предпринять все возможное для формирования свежих частей, и вовремя, дабы

рекруты успели пройти подготовку к весне. Прежде всего — уже в данный момент — необходимы легкие подразделения, способные держать удар, не рассеиваясь, но если асциане продержатся в окружении до будущего года, нам потребуются сотни тысяч пикинеров с антепиланами, и по крайней мере часть их неплохо бы привести в боевую готовность немедля.

Ну а любые имеющиеся у вас новости о посягательствах Абайи, несомненно, окажутся свежее моих: я таковых не получал с тех пор, как оставил расположение наших войск. Гормизд, полагаю, сейчас далеко на юге, а вот Олагуэр вполне сможет вам что-либо сообщить.

Второпях, но с величайшим почтением,
ИНИРЕ.

XXXVI. О поддельном золоте и об огне

Ну что ж, вот повесть моя и подходит к концу. Через несколько дней мне предстояло покинуть столицу, а стало быть все, что я надеялся сделать там, надлежало проделать как можно скорей. Надежных друзей в гильдии, кроме мастера Палемона, у меня не имелось, а он для моих замыслов не подходил совершенно. Поразмыслив, я вызвал к себе Роха: уж он-то не сможет долгое время врать мне в глаза. (До встречи с ним я ожидал увидеть человека значительно старше меня, однако рыжеволосый подмастерье, явившийся по моему приказу, выглядел едва ли не мальчишкой, и после его ухода я долго изучал собственное лицо перед зеркалом, чего прежде сроду не делал.)

Рох рассказал, что вместе с еще полудюжиной более-менее близких моих друзей возражал против моей казни, тогда как большая часть гильдии высказывалась в ее пользу, и этому я поверил вполне. Кроме того, он непринужденно признался, что предлагал изувечить меня и изгнать (хотя, согласно тому же признанию, лишь посчитав, что иначе мою жизнь не спасти). Думаю, он ждал какой-либо кары: лоб и щеки его, обычно изрядно

румяные, побледнели настолько, что россыпь веснушек казалась брызгами краски. Однако его голос ни разу не дрогнул, и ничто из им сказанного, на мой взгляд, не подразумевало намерения свалить вину на кого-то другого.

Конечно же, я в самом деле приготовил для него кару, и для всех прочих членов гильдии тоже. Нет, вовсе не из-за затаенного на них зла: просто, на мой взгляд, какое-то время, проведенное взаперти, в темницах под башней, должно было великолепно способствовать усвоению тех самых принципов справедливости, о которых говорил мастер Палемон, и гарантировать исполнение моего будущего указа о запрете на пытки. Тот, кто провел два-три месяца в страхе перед сим искусством, вряд ли станет жалеть о его упразднении.

Однако Роху я об этом ничего не сказал — лишь попросил его к вечеру раздобыть для меня облачение подмастерья, а наутро вместе с Эатой и Дроттом быть готовым помочь мне.

Одежду он принес как раз после вечерни. С неописуемым наслаждением я сбросил жесткий, тяжелый, вяжущий по рукам и ногам старинный костюм и вновь облачился в плащ цвета сажи. Ночью его темные объятия укрывают человека от посторонних глаз лучше любой другой известной

мне одежды. Покинув покои правителя одним из потайных выходов, я, словно тень, двинулся от башни к башне и вскоре, никем не замеченный, достиг пролома в межбашенной стене.

День выдался теплым, погожим, но к ночи похолодало, и некрополь заволокло туманом, совсем как в ту давнюю ночь, когда я, вовремя выступив из-за монумента, спас жизнь Водала. Мавзолей, где я играл мальчишкой, тоже остался точно таким же, каким я видел его в последний раз: разбухшая, покоробившаяся дверь затворялась не более чем на три четверти.

Войдя в мавзолей, я зажег прихваченную с собой свечу. Некогда тщательно мною отполированный бронзовый саркофаг снова позеленел, устилавших пол сухих листьев не касалась ничья нога, сквозь зарешеченное оконце тянуло внутрь тонкую ветку росшее рядом деревце.

Здесь лежи.
Кто ни придет,
Стань прозрачен, будто лед;
Взгляд чужой да не падет
На тебя.

Здесь лежи, не уходи,

Избегай чужой руки,
Пусть дивятся чужаки,
Но не я.

Тот самый камень оказался куда меньше и легче, чем мне запомнилось. Монета под ним потускнела от сырости, но никуда не исчезла, и вскоре я с нею в руках, вспоминая себя тем самым, прежним мальчишкой, охваченный дрожью, направился сквозь туман назад, к пролому в стене.

Ну а сейчас я должен нижайше просить тебя, читатель, — тебя, проявившего снисхождение к столь многим моим отклонениям и отступлениям в сторону, — снести еще одно. Это уж точно последнее.

Несколько дней назад (другими словами, спустя долгое-долгое время после действительного завершения событий, о которых я взялся рассказывать) мне доложили, что в Обитель Абсолюта явился какой-то проходимец, утверждающий, будто должен мне денег, однако наотрез отказавшийся передать их через кого-либо еще. В предвкушении новой встречи с кем-то из старых знакомых я велел камергеру привести его ко мне.

Нежданный гость оказался доктором Талосом.

Очевидно, дела его шли неплохо: по случаю визита он разоделся в капот алого бархата и шашию из той же материи. Лицо его по-прежнему напоминало мордочку лисьего чучела, но порой казалось самую малость живее, словно из-за этих стеклянных глаз на меня нет-нет да поглядывает украдкой некто другой.

— Вы превзошли самого себя, — сказал он с таким низким поклоном, что кисть, венчавшая его шапочку, коснулась ковра. — А ведь я, если помните, предсказывал что-то подобное с первого дня знакомства. Честность, ум и достоинство там, внизу, не удержишь.

— Мы с тобой оба прекрасно знаем, что именно их удержать внизу проще простого, — возразил я. — Моя прежняя гильдия держит их, так сказать, «там, внизу» испокон веку. Однако встрече я рад, даже если ты послан хозяином.

На миг в глазах доктора отразилось недоумение.

— А-а, ты о Бальдандерсе. Нет, боюсь, он дал мне вольную. После того самого боя. После того, как нырнул в озеро.

— То есть, по-твоему, Бальдандерс остался в живых?

— О, в этом я даже не сомневаюсь. Просто вы,

Севериан, знаете его куда хуже. Дышать под водой для него — сущий пустяк. Проще простого! Умен он был поразительно. Он был гением, непревзойденным гением уникального рода, неизменно обращенным внутрь, замкнутым на себя. Сочетавшим объективность ученого с эгоцентризмом мистика.

— Иными словами, он ставил опыты на себе? — уточнил я.

— О нет, вовсе нет! Как раз наоборот! Другие ставят опыты на себе, дабы вывести из результатов некий закон, применимый для всего мира. Бальдандерс же экспериментировал с миром, а прибыль, прошу извинить мою прямоту, тратил на собственную персону. Говорят…

Осекшись, он беспокойно огляделся по сторонам, удостоверился, что, кроме меня, его никто не услышит, и продолжал:

— Говорят, будто я — чудовище, и это действительно так. Однако Бальдандерс был чудовищем много страшнее меня. Если мне он в определенном смысле доводился отцом, то себя создал сам. Закон природы — и даже того, что превыше самой природы, — гласит: у всякого творения должен быть творец. А вот Бальдандерс сотворил себя сам; сам, стоя за собственной же спиной,

отсек себя от нити, соединяющей нас, остальных, с Предвечным… Однако что-то я отклонился от темы.

На поясе доктора покачивался кошелек малиновой кожи. Распустив завязки, он принялся шарить внутри. Ушей моих достиг звон металла.

— Теперь ты носишь деньги сам? — спросил я. — Прежде обычно все отдавал ему.

Голос доктора сделался еле слышен.

— Разве ты в моем нынешнем положении поступил бы иначе? Теперь я оставляю монеты, небольшие стопки аэсов и орихальков, возле воды. Вреда это, — несколько громче пояснил он, — никому не приносит, а мне напоминает о славных прежних деньках. Но я, сам видите, честен! Честности он от меня требовал неизменно, да и сам был честен на собственный лад. Как бы там ни было, помните то утро, когда мы собирались двинуться в путь, за ворота? Я раздавал сборы, сделанные накануне вечером, однако нам помешали, и при мне осталась монета из вашей доли. Я ее, конечно, сберег, дабы отдать после, но позабыл, а затем, когда вы пришли в замок…

Склонив голову, он искоса взглянул на меня:

— Однако, как говорится, долг платежом красен, а займы — отдачей. Вот она.

Монета оказалась точно такой же, как та, которую я прятал под камнем.

— Теперь понимаете, отчего я не мог передать ее через вашего слугу? Он же наверняка счел бы меня полоумным.

Щелчком подбросив монету, я ловко поймал ее на лету. На ощупь она казалась слегка сальной.

— Правду сказать, доктор, нет. Этого мы не понимаем.

— Да оттого, что монета фальшивая! Я же еще тем утром об этом предупреждал. Как мог я сказать ему, что пришел вернуть долг Автарху, а после сунуть в руки подделку? Они ведь боятся вас до смерти и в поисках настоящей выпустили бы мне потроха! Вправду ли, кстати, у вас есть особая, «медленная» взрывчатка, разносящая людей в куски по два-три дня?

Но я не сводил взгляда с пары монет. Обе они одинаково явственно отливали медью и, очевидно, вышли из-под одного чекана.

Однако, как я уже говорил, наша недолгая беседа состоялась лишь спустя долгое время после действительного завершения моей повести. Вернувшись в покои под сводами Флаговой Башни тем же путем, каким покинул их, я поспешил сбросить промокший плащ. Мастер Гюрло неред-

ко говаривал, что самое тяжкое испытание для членов гильдии — запрет на рубашки, и хотя это следовало понимать в ироническом смысле, от истины его шутка отстояла не так уж далеко. С голой грудью прошедший горы, за несколько дней в плотных, тяжелых одеждах Автарха я так разнежился, что до дрожи промерз туманной осенней ночью.

В каждой из комнат имелся камин, и возле каждого лежала целая куча дров, столь древних, сухих — того и гляди рассыплются прахом, стоит только коснуться поленьями андирона. Каминов этих я прежде не разжигал, но сейчас решил затопить хоть один, чтоб согреться, а принесенную Рохом одежду развесил сушиться на спинке кресла. Однако, принявшись искать огниво, я обнаружил, что впопыхах оставил его в мавзолее вместе со свечой. Рассудив, что Автарх, обитавший в этих комнатах до меня (другими словами, правивший Содружеством в незапамятной древности) наверняка держал что-нибудь для разведения огня во всех этих многочисленных каминах где-нибудь под рукой, я принялся шарить в ящиках шкафов.

В основном содержимое ящиков оказалось бумагами, документами, буквально заворо-

жившими меня поначалу, но вместо того, чтоб прервать поиски и углубиться в чтение, как при первом знакомстве с покоями, я начал вынимать из ящиков стопки бумаг, проверяя, нет ли под ними кресала, кремня или, к примеру, поршневой зажигалки с амаду.

Нет, ничего подобного в шкафах не нашлось, однако в самом большом ящике самого большого шкафа, под филигранным пеналом, отыскался маленький пистолет.

Конечно, такое оружие я видел и раньше, впервые — как раз когда получил от Водала фальшивую монету, только что забранную из мавзолея, но только в чужих руках, и теперь обнаружил, что в руках собственных оно внушает совсем иные ощущения. Однажды, когда мы с Доркас ехали верхом на север, к Траксу, случилось нам пристать к попутному каравану жестянщиков с коробейниками. Большая часть денег, полученных от доктора Талоса при встрече в лесу, чуть севернее Обители Абсолюта, у нас еще сохранилась, однако надолго ли ее хватит и далеко ли нам еще ехать, мы не знали, и посему я наравне с остальными старался при всяком удобном случае заработать кое-что своим ремеслом, справляясь в каждом из небольших городков, не

требуется ли покарать какого-нибудь лиходея усекновением руки либо головы. Вскоре бродячие ремесленники сочли нас за своих, и хотя некоторые признавали за нами несколько более высокое положение, так как я принимал работу только от законных властей, другие делали вид, будто гнушаются нами, прислужниками тирании.

Как-то под вечер точильщик, державшийся с нами дружелюбнее многих и оказавший нам несколько пустяковых услуг, предложил мне наточить «Терминус Эст». В ответ я объяснил, что сам содержу его в остроте, вполне достаточной для работы, и предложил попробовать лезвие пальцем. Слегка порезавшись (в чем я был уверен заранее), точильщик пришел в немалое восхищение, рассыпался в похвалах не только клинку, но и мягким ножнам, и резной крестовине, и так далее, и так далее. После того как я ответил на бесчисленные вопросы касательно изготовления, истории и манеры использования меча, он спросил, не позволю ли я подержать его. Предупредив точильщика о тяжести клинка и об опасности повредить кромку лезвия обо что-нибудь твердое, я вручил ему «Терминус Эст». С улыбкой ухватившись, согласно моим наставлениям, за рукоять,

он поднял длинное сверкающее орудие смерти над головой, но в тот же миг лицо его побледнело, а руки затряслись так, что меч у него пришлось выхватить, пока не уронил с непривычки. После точильщик долгое время только и делал, что вновь и вновь повторял:

— Солдатских-то сабель я вон сколько переточил…

Теперь его чувства понял и я. Спеша положить пистолет на стол, я чудом не выронил его из рук, а после с опаской, словно змею, приготовившуюся к атаке, несколько раз обошел кругом.

Совсем маленький, короче моей ладони, пистолет был красив, словно вышел из рук ювелира, однако каждая его черта, каждая линия свидетельствовала, что изготовлен он даже не возле ближайших звезд. Серебро его, нисколько не пожелтевшее от времени, словно бы только что рассталось с полировальным кругом. Вдобавок пистолет сплошь покрывали узоры, а может, и письмена — об этом оставалось только гадать, тем более что мне, привыкшему к упорядоченным чередованиям прямых и кривых, все они порой казались лишь замысловатыми либо подернутыми рябью отражениями, причем отражениями того, чего рядом нет. Накладки рукояти украшала

инкрустация из черных камешков, название коих мне неизвестно — самоцветов наподобие турмалинов, но гораздо ярче. Некоторое время спустя я заметил, что один, самый мелкий, будто бы исчезает, стоит только отвести взгляд чуть в сторону, а если смотреть в упор, вспыхивает звездой о четырех лучах. Присмотревшись к нему внимательнее, я обнаружил, что это вовсе не самоцвет, а крохотная линза с неким внутренним огоньком позади. Стало быть, пистолет до сих пор, спустя много веков, сохранил заряд?

Последнее обстоятельство — возможно, вопреки всякой логике — весьма меня обнадежило. Чего следует опасаться в обращении с любым оружием? Либо случайной раны, нанесенной себе самому, либо отказа в самый неподходящий момент, и если о первом не следовало забывать до сих пор, то насчет второго я, оценив яркость огонька под линзой, тревожиться сразу же перестал.

Под стволом пистолета обнаружилась пуговка ползунка, по всей видимости, регулировавшего мощность разряда. Вначале мне подумалось, что тот, кто последним стрелял из него, вероятнее всего, переключил оружие на максимальную мощность, и, сдвинув ползунок в обратную сторо-

ну, я смогу испытать пистолет без особого риска. Но нет, не тут-то было: пуговка оказалась ровнехонько посередине. Поразмыслив, я решил, что пистолет наименее опасен, когда пуговка сдвинута до предела вперед, по аналогии с тетивой лука, сдвинул ее туда, направил дуло в камин и нажал на спуск.

Звук выстрела — самый ужасный звук на всем белом свете. По-моему, в нем слышен вопль самой материи. На сей раз он оказался негромким, но грозным, вроде раската грома вдали. На миг — столь краткий, что я вполне мог бы поверить, будто мне это только чудится, — между дулом пистолета и кучей дров в камине возник, фиолетовым пламенем вспыхнул тонкий, слегка конический луч. Едва он угас, дрова запылали жарким огнем, от задней стенки камина со звоном треснувших колоколов отвалились, рухнули на решетку закопченные, искореженные пластины стали, а серебристый ручеек, вытекший из камина наружу, опалив ковер, наполнил комнату клубами тошнотворного дыма.

Моргнув, я спрятал пистолет в ташку нового облачения подмастерья.

XXXVII. Вновь за реку

С первым лучом рассвета Рох вместе с Эатой и Дроттом ждал меня у дверей. Дротт был из нас старшим, однако, благодаря выражению на лице и блеску глаз, выглядел младше Роха. В остальном он по-прежнему казался живым воплощением силы и гибкости, но я невольно отметил, что за время отсутствия перерос его на добрых два пальца. Несомненно, таким высоким я стал уже ко времени ухода из Цитадели, только сам этого тогда не сознавал. Эата, так и оставшийся среди нас самым маленьким, еще даже не удостоился звания подмастерья — а стало быть, в отлучке я пребывал всего-навсего одно лето. Приветствовал он меня с легким недоумением: похоже, ему, увидевшему старого товарища после долгой разлуки только сейчас, снова переодевшимся в гильдейское платье, с трудом верилось, что я теперь Автарх.

Накануне я через Роха велел всем троим быть при оружии, и Рох с Дроттом вооружились мечами такой же формы, как «Терминус Эст» (хотя куда худшей работы), а Эата — увесистым посохом, сколь мне помнилось, служившим деталью

одного из костюмов на праздничных представлениях в день возложения масок. Не повидавший сражений на севере, я счел бы их вооруженными весьма неплохо… теперь же не только Эата, все трое казались мне мальчишками, нагрузившимися палками да запасами сосновых шишек, готовясь к игре в войну.

В последний раз выбрались мы наружу сквозь пролом в стене и двинулись дальше усыпанными костяной крошкой дорожками, причудливо вьющимися средь кипарисов и гробниц. На кустах роз смерти, которые я не без сомнений рвал здесь для Теклы, еще красовалось несколько фиолетовых, почти черных цветков, не успевших облететь к осени. При виде них мне тут же вспомнились Морвенна, единственная женщина, лишенная мною жизни, и ее ненавистница, Евсевия.

Стоило нам, миновав ворота некрополя, углубиться в невзрачные, грязные улицы, мои спутники заметно утратили прежнюю настороженность. Возможно, в глубине души они опасались попасться на глаза мастеру Гюрло и понести наказание за то, что подчинились Автарху, а вдали от Цитадели страхи их унялись.

— Надеюсь, купаться ты не собираешься? — сказал Дротт. — А то нас эти косари живо утащат

ко дну.

— Эату его жердина на плаву точно удержит, — хмыкнув, заметил Рох.

— Пойдем далеко, на север. Лодку нужно нанять. Думаю, если пройтись по набережной, что-нибудь да подвернется.

— Если хозяева согласятся. И если нас не арестуют. Ты же знаешь, Автарх…

— Севериан, — напомнил я. — Одетый в гильдийское, я — Севериан.

— Э-э… Севериан, нести эти штуки нам можно только до плахи, и убедить пельтастов в том, что для дела нас нужно сразу трое, будет непросто. Чего доброго, разговоров до вечера хватит. Поймут они, кто ты такой, если что? Не хотелось бы мне…

На сей раз его перебил Эата:

— Глядите, вон! Вон лодка! — воскликнул он, ткнув пальцем в сторону реки.

Рох завопил во все горло, Эата с Дроттом замахали руками, а я, подняв над головой один из хризосов, одолженных у кастеляна, повернул его так, чтоб монета блеснула в первых лучах солнца, только-только выглянувшего из-за башен за нашими спинами. В ответ человек у руля махнул нам шапкой, а еще один, с виду ловкий, строй-

ный парнишка, вскочив с палубы, перекинул приспущенные рейковые паруса на другой галс.

Лодка оказалась двухмачтовым люггером, узким, маневренным, невысоким в бортах — вне всяких сомнений, идеальным суденышком для провоза беспошлинных товаров мимо патрульных тендеров, внезапно ставших моими. Впрочем, кормчий, обрюзгший старый простолюдин, выглядел способным и на много худшее, а «стройный парнишка» оказался девчонкой со смешинкой в глазах, немедля принявшейся разглядывать нас искоса.

— Похоже, денек нынче удался, — сказал кормчий, увидев наши облачения. — Пока поближе не подошел, думал, вы в трауре. А вы, стало быть, «глаза»? В первый раз вижу… как сказал один мутный тип под судом.

— Именно, — подтвердил я, поднимаясь на борт и со смехотворным удовольствием отметив, что привычки к качке, приобретенной на «Самру», не утратил, а вот Дротту с Рохом пришлось хвататься за паруса, когда люггер дал крен под их тяжестью.

— Позволь-ка взглянуть на твоего желтолицего малыша! Для порядку — проверить, хорош ли. Не сомневайся, мигом верну.

Я бросил кормчему хризос, а он потер монету между пальцами, попробовал на зуб и, наконец, с почтительным видом вернул мне.

— Возможно, твоя лодка потребуется нам на весь день.

— За этого желтолицего малыша — хоть до завтрашнего утра. Компании мы оба будем рады, как сказал один гробовщик привидению. Тут, на реке, почти до рассвета творились странные вещи. Сдается мне, из-за этого вы, оптиматы, и вышли к берегу спозаранку?

— Отчаливай, — велел я. — О странных вещах, если пожелаешь, можешь рассказать нам в пути.

В подробности кормчему, хоть он и поднял сию тему сам, вдаваться явно не хотелось — возможно, лишь потому, что ему не хватало слов для выражения собственных чувств и описания увиденного и услышанного. Легкий западный ветер исправно наполнял растянутые на реях паруса, и вверх по течению люггер бежал вполне резво. Смуглолицей девчонке, за неимением прочих забот, оставалось только сидеть на носу да переглядываться с Эатой. (Вполне возможно, из-за грязной серой рубахи и штанов она посчитала его всего-навсего нашим наемным слугой.) За разговором кормчий, назвавшийся ее дядюшкой,

не забывал налегать на румпель, удерживая люггер по ветру.

— Расскажу, что сам видел, как сказал один плотник, поднимая ставень. Шли мы этак в восьми-девяти лигах от того места, где взяли вас на борт, с партией венерок на борту, а при этаком грузе мешкать никак нельзя, особенно если день обещает быть теплым. Покупаем мы их в низовьях, у ловцов моллюсков, вот какие дела, а после сразу идем наверх, расторговаться, пока венерки не стухли. Испортятся — нам сплошные убытки, но если свежими довезти, можно выручить за них вдвое, а то и больше; главное, не зевай.

Ночей на реке я в жизни провел куда больше, чем еще где-либо. Можно сказать, Гьёлль — моя спальня, а эта лодка — колыбель, хотя до утра мне обычно спать не приходится. Однако нынешней ночью… порой казалось, будто вокруг вовсе не старый добрый Гьёлль, а какая-то совсем другая река, текущая прямиком в небо, а может, под землю.

Вы вряд ли заметили, если только не выходили из дому за полночь, но ночь выдалась спокойной, ветерок дул порывами: подует и сразу же — выругаться от души не успеешь — утихнет, а вскоре, глядишь, подует опять. А реку туман накрыл,

густой, что твоя вата. Повис над водой, как обычно, так что между рекой и туманом едва хватит места прокатить небольшой бочонок. Огней по берегам чаще всего тоже было не видно — только туман вокруг. Раньше-то я такими ночами в горн дудел, подавая знак тем, кто не видит наших огней, да в прошлом году упал он за борт и утонул, как всякой медной вещи от природы положено. Поэтому пришлось мне нынче ночью горло драть всякий раз, как подумаю, будто к нам еще лодка или другое что приближается.

Около стражи спустя после того, как появился туман, я отпустил Макселенду спать. Оба паруса были подняты так, чтоб каждый порыв ветра легонько гнал нас вверх по реке, а как ветер утихнет, я снова бросал якорь. Вы, оптиматы, этого можете и не знать, однако тут, на реке, закон таков: идешь кверху — держись берегов, идешь книзу — держись середины. Мы шли наверх, а потому держаться старались ближе к восточному берегу, но в этаком-то тумане поди его разгляди!

Вдруг слышу я: весла плещут. Пригляделся как следует, но огней в тумане не разглядел и заорал: «Сворачивай!» А сам перегнулся через планшир и поднес ухо к воде, чтоб лучше слышать. Туман любой шум заглушает, и лучше всего звуки

слышны, если голову опустить пониже, под слой тумана, так как разносятся по-над водой. Так вот, опустил я голову и слышу: а корабль-то не маленький. Если команда хороша, гребцов на слух не сосчитать, ведь веслами-то работают слаженно, все заодно, но когда большое судно идет полным ходом, хорошо слышно, как его штевень рассекает воду, и тут уж с размерами не ошибешься. Взобрался я на крышу рубки, чтоб разглядеть его, а огней нет как нет, хотя корабль наверняка где-то рядом.

И верно: слезая вниз, я его наконец-то увидел — галеас, четырехмачтовый, весла в четыре ряда, без огней, на полном ходу шпарит вверх по фарватеру. Ну, думаю, помоги боги вниз направляющимся, как сказал один вол, рухнув с мачты!

Ясное дело, видел я его всего-то минутку, пока он снова не скрылся в тумане, но слышал еще долгое время. И такой он на меня нагнал жути, что принялся я орать время от времени, на всякий случай, хотя других судов рядом не было. Так прошли мы, наверное, еще с пол-лиги, а может, чуть меньше, и слышу я: еще кто-то ка-ак завопит, только вроде бы не на мой крик отзываясь, а будто его шкертиком, да по мягкому месту, да от всей души. Крикнул я тогда снова, и тогда он

отозвался обычным манером. Тут я и понял: это ж мой старый знакомец, Тразон, тоже владелец лодки вроде моей! «Это ты?» — кричит. «Я, — отвечаю, — а с тобой там все ладно?» А он мне: «Швартуйся!»

Я отвечаю: не могу, дескать, у меня венерок полны рундуки, их бы распродать поскорей, пусть даже ночь прохладна. А Тразон снова кричит: «Швартуйся! Швартуйся и давай на берег поскорей!» Ну я его спрашиваю: «А сам-то чего не швартуешься?» — и тут его лодка показалась в виду моей. Глядь, а на ней народу — битком, как только на плаву еще держится, и все вроде пандуры, только пандуры, которых я прежде видел, как на подбор были смуглыми, темнокожими, вроде меня, а эти белые, точно туман. И вооружены скорпионами да вульжами — я сам видел наконечники, торчащие над гребнями шлемов.

Тут я, прервав его рассказ, спросил, не выглядели ли эти солдаты истощенными голодом и не отличались ли необычайно большими глазами.

Кормчий, слегка усмехнувшись, покачал головой:

— Нет, здоровяки были, все как один, больше и нас с тобой, и всех прочих, кто сейчас на борту, — на голову выше Тразона. Однако вскоре они тоже

скрылись в тумане, совсем как тот галеас. Других судов мне больше не попадалось, пока туман не рассеялся, но…

— Но ты видел что-то еще или еще что-то слышал, — подсказал я.

Кормчий кивнул:

— Я сразу подумал: может, ты со своими людьми из-за них и поднялся в такую рань. Да, и видел, и слышал. Новые твари в реке объявились — сколько живу, а таких еще не видал. Рассказал Макселенде, когда проснулась, а она говорит: морские коровы небось… И верно, при луне морские коровы кажутся почти белыми, и на людей издали здорово смахивают, но я-то с мальчишества на них досыта насмотрелся, меня-то не проведешь. Вдобавок голоса над рекой слышались — женские, негромкие, но очень уж басовитые. И еще чей-то голос. Что говорили, о чем, я не понял, но тон… знаешь ведь, как человеческий говор звучит над водой? И вот они вроде бы говорят: «Так-то, и так-то, и так-то». А голос еще басовитее — мужским его назвать не могу, не мужской он, по-моему, вовсе, да и не человеческий — отвечает: «Ступайте, мол, сделайте то-то, и то-то, и то-то». Женские голоса я слышал трижды, а этот, другой, дважды, и… Может, вы,

оптиматы, и не поверите, но порой мне казалось, будто доносятся они прямо из-под воды.

На сем кормчий умолк и устремил взгляд вдаль, поверх множества ненюфаров. От Цитадели мы к тому времени удалились изрядно, но ненюфары и здесь росли тесно, теснее диких цветов на любом лугу, не считая разве что райских.

Сама Цитадель отсюда была видна целиком и, при всей своей необъятности, казалась стаей сверкающих на солнце птиц: скажи только слово, и металлические башни разом взовьются к небу. Под ними пестрым бело-зеленым гобеленом раскинулся некрополь. Знаю, сейчас у нас модно поминать «нездоровую» пышность трав и деревьев в подобных местах с оттенком легкого отвращения, однако я ни разу в жизни не находил в ней ничего нездорового. Все зеленое гибнет, чтоб продолжали жить люди, а люди — даже тот неотесанный, ни в чем не повинный волонтер, убитый мною в давние времена собственным же топором, — умирают, чтоб дарить жизнь растениям. Говорят, в наше время листва их изрядно поблекла, и, несомненно, так оно и есть, однако с явлением Нового Солнца его невеста, Новая Урд, одарит деревья великолепием пышной изумрудной листвы. Но в настоящее

время, во времена старого солнца и старой Урд, я нигде не видал столь сочной, темной зелени, как зелень огромных сосен в нашем некрополе, когда ветер раскачивает их кроны. Черпающие силы в ушедших поколениях рода людского, эти сосны превосходят высотой даже сооруженные из множества деревьев мачты океанских судов.

Кровавое Поле отстоит от реки далеко. По пути туда мы вчетвером привлекали к себе немало удивленных взглядов, однако никто нас не остановил. Харчевня Утраченной Любви, казавшаяся мне самым непостоянным из сооруженных людьми домов, обнаружилась на прежнем месте, как и в тот день, когда я пришел туда с Агией и Доркас. Увидев нас, невероятно тучный харчевник едва не лишился чувств, и я велел ему привести ко мне официанта по имени Оуэн.

В тот день, когда он принес нам с Доркас и Агией поднос с заказанным угощением, я к нему не приглядывался, а вот теперь присмотрелся внимательно. Лысеющий, ростом примерно с Дротта, Оуэн оказался человеком довольно худым, на вид порядком изможденным, с васильково-синими глазами, и изящество их разреза вкупе с разрезом губ я узнал без промедления.

— Известно ли тебе, кто мы? — спросил я.

Официант неторопливо покачал головой.

— Доводилось ли тебе когда-нибудь прислуживать за столом палачу?

— Всего один раз, сьер, этой весной, — отвечал он. — И, вижу, эти двое в черном тоже принадлежат к палачам. А вот ты, сьер, не из палачей, хотя и одет палачом.

Разубеждать его я до поры не стал.

— И прежде ты меня никогда не видел?

— Нет, сьер.

— Допустим. Возможно, так оно и есть. — (Как странно было обнаружить, что с тех пор я столь разительно изменился!) — Что ж, Оуэн, поскольку ты меня не знаешь, неплохо бы мне побольше узнать о тебе. Скажи, где ты родился, кто были твои отец и мать и как ты нашел место в этой харчевне?

— Отец мой был лавочником, сьер. Жили мы возле Старых Ворот, на западном берегу. Когда мне исполнилось десять или около того, отец отдал меня в люди, в трактире прислуживать — так я с тех пор и тружусь, то в одном заведении, то в другом.

— Стало быть, отец был лавочником… а мать?

Лицо Оуэна по-прежнему сохраняло приличествующую официанту почтительность, однако

во взгляде отразилось нешуточное недоумение.

— Матери я не знал, сьер. Ее звали Кас, однако она умерла, когда я был совсем мал. Отец говорил, при родах.

— Но как она выглядела, тебе известно.

Официант кивнул:

— У отца был медальон с ее портретом. Однажды, лет двадцати или около того, я заглянул навестить его и обнаружил, что медальон отдан в заклад. Деньги у меня имелись — заработал, помогая некоему оптимату в любовных делах, нося дамам записки, карауля у дверей и так далее. Отправился я к процентщику, уплатил долг и забрал его. И до сих пор ношу на груди, сьер. В таком месте, как наше, где постоянно толпится самый разный народ, все самое ценное лучше держать при себе. Целей будет.

Запустив руку в ворот рубашки, он вытащил из-за пазухи медальон перегородчатой эмали, называемой «клуазоне». Действительно, внутри оказался портрет Доркас — вряд ли много моложе той, моей Доркас — анфас и в профиль.

— Значит, ты, Оуэн, начал служить по трактирам с десяти лет. Однако читать и писать обучен.

— Немного, сьер, — смущенно подтвердил он. — Я часто при случае спрашивал у людей,

что значит та или иная надпись, а память у меня неплоха.

— Весной, в тот день, когда к вам в гости зашел палач, ты написал кое-что, — напомнил я. — Помнишь ли, что именно?

Изрядно напуганный, официант отрицательно покачал головой:

— Точно не помню… всего лишь записку с предупреждением для той девушки, что приходила с ним.

— Зато я помню. Там было сказано: «Эта женщина была здесь раньше. Не верь ей. Трюдо сказал, этот человек — палач. Мама, ты вернулась!»

Оуэн спрятал медальон под рубашку.

— Она просто была на нее очень похожа, сьер. В юности я часто думал, что когда-нибудь найду себе женщину точно такую же, как мать: я, дескать, куда лучше отца, а он ведь — поди ж ты — сумел. Однако мне это так и не удалось, и лучше отца я себя уже не считаю.

— В то время ты не знал, как выглядит облачение палача, — сказал я, — а вот твой друг Трюдо, конюх, знал. И вообще знал о палачах куда больше твоего, потому и сбежал.

— Да, сьер. Услышал, что палач его спрашивает, и сбежал.

— А ты, отметив простодушие этой девушки, решил предостеречь ее насчет второй женщины с палачом. И, может статься, в обоих случаях оказался прав.

— Тебе лучше знать, сьер.

— А ведь ты, Оуэн, довольно-таки похож на нее.

Толстяк-харчевник, почти не скрываясь, слушавший наш разговор, звучно хмыкнул:

— Да он на тебя похож куда больше!

Боюсь, обернувшись, я взглянул на него гораздо строже, чем следовало.

— Не сочти за обиду, сьер, но это чистая правда. Конечно, он малость постарше, но когда вы заговорили, я поглядел сбоку на ваши лица, и… разницы, можно сказать, никакой!

Я еще раз пригляделся к Оуэну. Волосы официанта были заметно светлее, а глаза — синими, не карими, как у меня, но, если не брать в расчет цветовых отличий, черты его лица действительно в точности повторяли мои.

— Ты сказал, что так и не нашел женщины, подобной Доркас — то есть портрету из твоего медальона. Однако некую женщину ты, думаю, себе отыскал.

— И не одну, сьер, — подтвердил он, вильнув

взглядом в сторону.

— И стал отцом.

— Нет, сьер! — вздрогнув, возразил Оуэн. — Детей у меня нет и не было.

— Как интересно. А не в ладах с законом тебе бывать доводилось?

— И не раз, сьер.

— Громко кричать, разумеется, ни к чему, но и шептать нужды нет никакой. И смотри на меня прямо, когда говоришь со мной. Одну из тех, кого ты любил — возможно, единственную, любившую тебя, кареглазую, темноволосую, — схватили и отдали под суд?

— Да, сьер. Именно так, сьер, — подтвердил Оуэн. — А звали ее Катериной. Старинное, я слышал, имя… — Осекшись, он пожал плечами: — И вышло с ней в точности как ты сказал, сьер. Она сбежала из какого-то Ордена затворниц, а после была схвачена властями, и больше я ее не видел.

Идти куда-либо он не желал, однако на люггер вернулся с нами вместе.

Той ночью, когда я плыл вверх по реке на «Самру», граница между живой и мертвой частями города весьма походила на линию, что отделяет темную дугу нашего мира от купола небес, усеянного россыпью звезд. Теперь, при свете дня,

она исчезла из виду. Вдоль берегов тянулись вереницы полуразрушенных зданий, но служат ли они пристанищем самым убогим или давно заброшены, я не понимал, пока не заметил возле одного веревку с тремя развевавшимися по ветру тряпками.

— В нашей гильдии нищета считается идеалом, — сказал я Дротту, стоявшему рядом, опершись на планширь. — А этим людям идеал ни к чему: они его уже достигли.

— По-моему, им идеалы нужней, чем кому бы то ни было, — отвечал он.

Однако он ошибался. Там, с обитателями этих самых домов, пребывал сам Предвечный — тот, кто неизмеримо выше и иеродул, и тех, кому они служат: даже отсюда, с воды, я чувствовал его присутствие, как чувствуешь присутствие хозяина огромного особняка, хотя он на время удалился в одну из задних комнат, а то и на другой этаж. Когда мы сошли на берег, у меня возникло стойкое ощущение, будто, войдя в любую, первую попавшуюся дверь, я застану за нею врасплох некое сияющее существо, а повелитель всех этих существ сейчас повсюду вокруг, незримый лишь потому, что слишком велик.

На одной из заросших травой улиц нам подвер-

нулась под ноги мужская сандалия, поношенная, однако не такая уж старая.

— Я слышал, по этим местам шатаются мародеры, — предупредил я. — Это и есть одна из причин, побудивших меня взять с собой вас. Не будь тут замешан никто, кроме меня, сделал бы все один.

Рох, понимающе кивнув, обнажил меч, однако Дротт сказал:

— Вокруг нет ни души, Севериан. Ты стал куда умнее, мудрее нас, но, сдается мне, слишком привык к вещам, обычных людей пугающим до полусмерти.

Я спросил, что он имеет в виду.

— Ты понял, о чем толковал лодочник, я по лицу заметил. Понял и тоже слегка оробел или, по крайней мере, встревожился, но не перепугался, как он ночью, посреди реки, или как Рох, или вот Оуэн, или я сам, окажись мы в то время у берега да знай, что происходит. Мародеры, о которых ты помянул, нынче ночью были здесь — надо думать, таможенные суда высматривали, и теперь к воде даже близко не подойдут. Сегодня уж точно, а может, еще с неделю.

Эата коснулся моего локтя:

— А как ты думаешь, с этой девчонкой, с Мак-

селендой, ничего не случится? Она же при лодке осталась.

— Сейчас она в куда меньшей опасности, чем ты рядом с нею, — ответил я.

Конечно, Эата не понял, о чем я, но для меня-то все было ясно. Да, Макселенда — не Текла, и повторить мою его история не могла никак, но я-то видел за ее мальчишечьим лицом со смешинками в карих глазах коловращение коридоров Времени. Любовь для палачей — долгий труд, а палачом, причиняющим боль по природе своей, желая того или нет, Эата, как всякий, по рукам и ногам связанный презрением к богатству, без которого человек не вполне человек, станет наверняка, даже если я распущу гильдию. Думая обо всем этом, я всем сердцем жалел его, а еще сильнее жалел Макселенду, девчонку, с раннего детства сроднившуюся с рекой.

Оставив Роха и Дротта с Эатой на страже, в некотором отдалении, мы с Оуэном двинулись к тому самому дому. Стоило нам подойти к двери, изнутри донеслись негромкие, мягкие шаги Доркас.

— Кто ты таков, мы не скажем, а кем можешь стать, нам неизвестно, — заговорил я, — однако мы — твой Автарх, а посему вот тебе наш при-

каз.

Слов власти над ним я не знал, но обнаружил, что их и не требуется: подобно кастеляну, Оуэн тут же пал на колени.

— Палачей мы привели с собой, дабы ты понял, к чему приведет ослушание. Однако ослушания мы не желаем и теперь, познакомившись с тобой, полагаем, что надобности в них не возникнет. Там, в доме, женщина. Сейчас ты войдешь внутрь, расскажешь ей о себе все то же, что рассказал нам, а после останешься с ней и будешь служить ей опорой, пусть даже она попытается отослать тебя прочь.

— Я постараюсь, Автарх, — отвечал Оуэн.

— Когда сможешь, непременно убеди ее покинуть эти кварталы смерти. А до тех пор… прими от нас вот это и держи при себе. — С этими словами я вручил ему найденный в шкафу пистолет. — Цена ему — целый воз хризосов, однако, пока ты здесь, он будет куда полезнее любых богатств. После того как вы с этой женщиной переберетесь в места поспокойнее, мы его, если захочешь, выкупим.

Показав Оуэну, как управляться с пистолетом, я оставил его у порога и двинулся прочь.

Итак, я снова остался один. Полагаю, многие

из тех, кто прочтет сию весьма краткую повесть о необычайно бурно проведенном лете, скажут, что к одиночеству мне не привыкать. В конце концов, Иона, единственный мой настоящий друг, считал себя самого всего-навсего машиной, а Доркас, которую я люблю до сих пор, на свой собственный взгляд, была лишь неким подобием призрака.

Однако мне так вовсе не кажется. Остаться ли в одиночестве или нет, каждый из нас выбирает, принимая решение, кого взять себе в спутники и товарищи, а кого отвергнуть. Таким образом, пустынник в уединенной горной пещере отнюдь не остается один: всюду вокруг него — пищухи и птицы, посвященные, чьи слова живут в его «лесных книгах», не говоря уж о гонцах самого Предвечного, ветрах. Тем временем некто другой, живущий среди миллионов людей, вполне может быть одиноким, поскольку со всех сторон окружен только врагами да жертвами.

Агия, которую я вполне мог полюбить, предпочла стать Водалом в женском обличье, противницей всего, что наиболее полно раскрывается в людях. Я же, тот, кто мог полюбить Агию, тот, кто горячо (хотя, возможно, недостаточно горячо) полюбил Доркас, ныне остался один, так как

сделался частью ее прошлого, которое Доркас любила куда сильней, куда крепче, чем когда-либо (кроме разве что самых первых дней) любила меня.

XXXVIII. Воскресение

Дальше рассказывать почти не о чем. Взошедшее поутру солнце огромным кроваво-алым глазом смотрит в окно. Из-за окна веет холодным ветром. Еще немного, и в комнату войдет лакей с подносом, уставленным исходящими паром блюдами, а следом за ним порог наверняка переступит сгорбленный старец, Отец Инире, спешащий напоследок посовещаться со мной, — старый Отец Инире, проживший на свете куда дольше обычного, столь краткого срока жизни, отпущенного его собратьям… хотя, боюсь, этого алого солнца ему надолго не пережить. Как он расстроится, старый Отец Инире, обнаружив, что я всю ночь напролет просидел здесь, у окна клеристория…

Но ничего. Все вздор. Вскоре мне предстоит облачиться в серебряные одежды, одеяния того цвета, что чище, непорочнее даже белого.

Далее меня ждет долгая череда неспешно текущих дней в корабельной каюте. Время я займу чтением — ведь мне еще многому нужно выучиться. Еще я буду подолгу спать, дремать в койке, вслушиваясь в мерный, негромкий плеск

столетий за бортом. Эту рукопись надо будет отослать мастеру Ультану, однако на корабле, не в силах более спать, утомившись от чтения, я — я, не забывающий ничего, — перепишу ее вновь, слово в слово, в точности как на сих страницах. Назову я ее «Книгой Нового Солнца»: говорят, точно так же была озаглавлена утраченная многие эпохи тому назад книга, предрекшая его явление. Снова закончив ее, я велю запаять второй экземпляр в свинцовый ларец и пущу его в вольное плавание по морям пространства и времени.

Все ли обещанное я вам рассказал? Помню, помню: в самых разных местах сей повести я сулил читателю прояснить то или иное к ее завершению, и ни об одном обещании не забыл… однако помню еще столь многое! Посему, прежде чем счесть, будто я сплутовал, перечтите вновь то, что мне вновь предстоит написать.

Лично мне совершенно ясны две вещи. Прежде всего, я — вовсе не первый Северианин. Странствующие по коридорам Времени видели его восхождение на Трон Феникса, отчего Автарх, слышавший обо мне, встретил меня в Лазурном Доме улыбкой, а ундина вытолкнула наверх, спасая от неизбежной гибели в водах реки. (Впрочем, первый Северианин тоже не утонул, запутавшись в

ненюфарах, а значит, моя жизнь уже в ту пору пошла несколько иным путем.) Позвольте, я — хотя все это только догадки — попробую вкратце представить себе историю того, первого Севериана.

Пожалуй, он также рос среди палачей. И тоже был отослан в Тракс. И тоже бежал из Тракса, и хотя Когтем Миротворца не обладал — несомненно, в надежде спрятаться от архонта среди солдат, — был вовлечен в сражения на севере. Каким образом ему удалось встретиться там с Автархом, я судить не могу, однако встреча произошла, и посему, подобно мне, он (тот, кто в конечном счете был и является мной) стал новым Автархом, отправился в плавание к берегам, что лежат далеко-далеко за пределами свечей ночи… ну а затем странствующие по коридорам Времени воротились назад, в дни его юности — к началу моей истории, изложенной мною здесь, на стольких страницах.

Второе же состоит вот в чем. В свои дни он не вернулся, но сам сделался странником в коридорах Времени. Теперь-то мне ясно, кем был тот человек, именуемый Ликом Дня, и отчего та самая встреча закончилась гибелью Хильдегрина, оказавшегося слишком близко, и что обратило в бегство обеих ведьм. Знаю я и кому был посвящен

мавзолей, крохотный каменный домик, украшенный вычеканенной в бронзе розой, фонтаном над гладью вод и кораблем с распростертыми крыльями, под крышей коего я бездельничал в детстве. Потревожившему собственную гробницу, мне еще предстоит вернуться к ней снова, дабы улечься в нее.

Вернувшись в Цитадель вместе с Дроттом, Эатой и Рохом, я получил срочные сообщения от Отца Инире и из Обители Абсолюта, но с возвращением во дворец решил не спешить, а попросил у кастеляна план Цитадели. После долгих поисков план кастелян раздобыл — огромный, древний, растрескавшийся во многих местах. Межбашенная стена на нем изображалась целехонькой, однако названия башен оказались совсем другими, незнакомыми ни мне, ни самому кастеляну, и мало этого, на плане значилось немало башен, в Цитадели не существующих, а кое-каких из имеющихся, напротив, не значилось вовсе.

Тогда я приказал подать флайер и добрых полдня кружил на нем среди башен. Не сомневаюсь, за это время я много раз видел то место, которое тщился найти, но если и так, узнать его не сумел.

В конце концов, разжившись яркой, негасну-

щей лампой, я снова отправился в наши подземелья и вскоре, пролет за пролетом, добрался до нижнего яруса. Интересно, что сообщает подземельям столь выдающуюся способность сохранять в целости прошлое? Одна из мисок, в которых я таскал Трискелю (Трискелю, пробужденному к жизни прикосновением моей ладони за два года до того, как ко мне попал Коготь) суп, до сих пор стояла на прежнем месте. Вновь двинувшись по следам Трискеля, я, как и в то время, когда еще числился учеником, достиг той же всеми забытой двери, а далее, по следам собственным, углубился в лабиринт темных коридоров.

На сей раз, в ровном свете взятой с собою лампы, я увидел, где сбился с пути, пробежав прямо, тогда как Трискель свернул в сторону. Тут меня охватил нешуточный соблазн свернуть за ним следом и, может быть, выяснить, кто сумел подружиться с ним, к кому он возвращался, повидавшись со мною в каком-нибудь уединенном закоулке Цитадели. Возможно, вернувшись на Урд, я так и сделаю… если, конечно, вернусь.

Однако в сторону я не свернул и теперь снова, вслед за мальчишкой, за тем человеком, которым был в прошлом, двинулся прямо по коридору, устланному слоем ила, мимо вентиляционных

решеток и накрепко запертых дверей, изредка попадавшихся на глаза. Преследуемый мной Севериан ходил в сапогах не по мерке, со стоптанными каблуками, с истершимися подметками, и, обернувшись, посветив назад, я отметил, что Севериан, преследующий его, великолепно обут, однако шаги его неровны — один много короче другого, а ногу он изрядно подволакивает на ходу. «Одному Северианy — добротные сапоги, другому — исправные ноги, — с негромким смехом подумал я. — Интересно, кто еще заглянет сюда спустя много лет? Догадается ли, что оба следа оставлены одними и теми же ступнями?»

Для какой надобности некогда вырыли эти туннели, мне неизвестно. Не раз и не два видел я лестницы, ведущие еще ниже, но все они неизменно спускались к темной спокойной воде. Наткнулся я и на кости скелета, разбросанные быстрой ногой мчавшегося вперед Севериана, однако то был всего лишь скелет, не сказавший мне ни о чем. На стенах кое-где попадались надписи — то блекло-оранжевые, то ярко-черные, однако алфавит оказался мне незнакомым, и смысла в них я находил не больше, чем в пачкотне крыс из библиотеки мастера Ультана. В паре комнат, куда я заглянул мимоходом, обнаружились стены,

на коих некогда тикала тысяча, а то и больше, всевозможных часов. Разумеется, все они ныне были мертвы, и перезвон их умолк, а стрелки намертво приржавели к циферблатам, показывая время, которому никогда уж не наступить вновь, но я, ищущий Атриум Времени, счел это добрым знамением.

И вправду, Атриум Времени я отыскал. Крохотное пятнышко дневного света оказалось точно таким же, каким мне запомнилось. Глупо, конечно, однако, увидев его, я погасил лампу и остановился во мраке, разглядывая его. В окружавшей меня тишине яркий неровный квадратик казался, по крайней мере, не менее таинственным, чем прежде.

Я опасался, что не сумею протиснуться в узкий пролом, но если нынешний Севериан и стал несколько шире в кости, то при этом изрядно отощал, и в результате, как только снаружи оказались голова и плечи, дальше дело пошло легче легкого.

Конечно, тот самый достопамятный снег давным-давно стаял, однако царящая вокруг прохлада предвещала его скорое возвращение. Среди увядающих роз нашли покой несколько сухих листьев, должно быть, вознесенных восхо-

дящими токами воздуха весьма и весьма высоко. Покосившиеся гномоны по-прежнему отбрасывали во все стороны тени, столь же бессмысленные (хотя вовсе не столь неподвижные), как и остановившиеся часы в боковых комнатах подземного коридора, а каменные звери по-прежнему, не мигая, взирали на них со всех сторон.

Подойдя к двери, я постучал. Дверь отворил тот же пугливый старый слуга, что подавал нам мате с печеньем, и я, пройдя в ту же затхлую, заплесневелую комнату, где некогда отогревался с мороза, велел ему позвать ко мне Валерию. Слуга поспешил за ней, но прежде чем он скрылся с глаз, из изъеденных временем стен, пробужденные чем-то неведомым, загремели бесплотные стоязыкие голоса, требующие, чтоб Валерия немедля явилась с докладом к некоей титулуемой на древний, давно позабытый манер особе… и я далеко не сразу, к немалому своему изумлению, понял, что под этой особой имеется в виду не кто иной, как я сам.

Здесь, мой читатель, перу моему (но не мне) надлежит завершить путь. Я проводил тебя от ворот до ворот, от запертых, окутанных пеленою тумана ворот некрополя близ старой Цитадели до врат за пеленой облаков, называемых нами

небом — тех самых, которые, смею надеяться, уведут меня за пределы окрестных звезд.

Итак, мое перо завершает путь, однако я иду дальше. Ты же, читатель, дальше со мной не пойдешь. Пора нам обоим заняться собственной жизнью.

Писано собственноручно мною, Автархом Северианом Хромцом, в тот год, что будет назван последним годом старого солнца.

Приложения

Об управлении провинциями

Краткое описание карьеры Севериана в Тракссе — пожалуй, лучший (хотя и не единственный) доступный нам источник сведений о работе органов государственного управления в эпоху Содружества вдали от великолепия коридоров и залов Обители Абсолюта и многолюдных улиц Несса. Очевидно, современные, наши собственные понятия о разнице между властями законодательными, исполнительными и судебными здесь неприменимы: вне всяких сомнений, услышав, что законы должна писать одна группа людей, претворять в жизнь другая, а карать за их нарушение третья, администратор наподобие Абдиеса разве что посмеялся бы от души. Подобную систему Абдиес счел бы несостоятельной, неработоспособной, и это не так уж редко подтверждается нашей практикой.

В описываемый рукописями период *архонты* и *тетрархи* назначались Автархом — персоной, представляющей собою народ и как таковой наделенной всей полнотой власти. (См. также адресованное Северианy замечание Фамулим.) Данным чиновникам вменяется в обязанность

приводить в исполнение приказы Автарха и вершить правосудие с учетом обычаев подвластного им населения. Кроме этого, они вправе издавать местные законы (имеющие силу лишь на управляемой законодателем территории и только до тех пор, пока он остается в должности) и добиваться их соблюдения, пусть даже под страхом смертной казни. По-видимому, в Траксе, так же как и в Обители Абсолюта, и в Цитадели, наказание в виде лишения свободы на определенный срок — одно из самых распространенных наказаний в нашу эпоху — неизвестно. Заключенные в Винкуле содержатся под стражей в ожидании пытки либо казни, либо в заложниках, дабы их друзья и родные вели себя смирно.

Как явно сказано в рукописи, надзор за Винкулой («домом оков») есть одна из служебных обязанностей *ликтора* («налагающего оковы»). Данный чиновник является главным подчиненным архонта по части отправления уголовного судопроизводства. В случаях церемониальных он идет впереди своего господина с обнаженным мечом, внушительным напоминанием о власти архонта, в руках. Во время заседаний суда архонта (согласно жалобам Севериана) от него требуется стоять по левую руку от судейской скамьи. Лично

им приводятся в исполнение казни и иные особо масштабные приговоры суда, а кроме того, он руководит деятельностью *клавигеров* («хранителей ключей»).

Означенные клавигеры — не только стража Винкулы, но и своего рода сыскная полиция: данные функции им облегчают возможность добиваться показаний от поднадзорных любыми, самыми жесткими методами. По-видимому, ключи, которые они носят при себе, достаточно велики, чтоб заменять им дубинки, и, таким образом, служат одновременно рабочим инструментом, символом власти, а также оружием.

Димархии («те, кто бьются двумя способами») являются патрульной полицией, а также военной силой, подчиненной архонту. Однако название их, по всей видимости, никак не связано с данной двойственностью функций — скорее суть в том, что их экипировка и навыки позволяют, смотря по обстоятельствам, биться и в конном, и в пешем строю. Ряды их, следует полагать, пополняются профессиональными солдатами, ветеранами северных кампаний, причем не из местных уроженцев.

Сам Тракс, вне всяких сомнений, являет собой город-крепость. Разумеется, против противни-

ков-асциан подобная крепость продержится не более суток — скорее предназначена она для того, чтоб отражать набеги разбойничьих шаек либо мятежников, возглавляемых местными экзультантами и армигерами. (Супруг Кириаки, не заслуживающий никакого внимания в Обители Абсолюта, здесь, в окрестностях Тракса, — персона, очевидно, немаловажная и даже довольно грозная.) Хотя содержание частных армий экзультантам и армигерам, по-видимому, запрещено, у нас есть все основания полагать, что многие из их слуг, называемые егерями, сенешалями и т. п., по сути, прежде всего бойцы. Предположительно, им вменена в обязанность защита хозяйских вилл от грабителей и сбор ренты, но в случае народных волнений они могут стать источником серьезной опасности, однако укрепленный город, запирающий верховья реки, обеспечит чиновнику наподобие Абдиеса решающее преимущество в любом конфликте подобного рода.

Маршрут, избранный Северианом для бегства, наглядно показывает, как хорошо контролируется выезд из города. Северную оконечность долины охраняет собственная крепость архонта, замок *Акиэс* («острие клинка»), по всей видимости, никак не соединенный с дворцом архонта,

расположенном в пределах городских стен. Южную оконечность долины замыкает *Капул* («рукоять меча») — очевидно, крепостная стена весьма сложной конструкции, уменьшенный вариант Несской Стены. Вдобавок к этому гребни окружающих долину утесов защищены фортами, соединенными меж собой стенами. Таким образом, обладающий неисчерпаемым источником пресной воды, Тракс вполне может выдержать продолжительную осаду любыми силами, не располагающими тяжелым вооружением.

О вооружении войск Автарха и о кораблях иеродул

Ни в чем ином рукописи «Книги Нового Солнца» не кажутся столь же неясными, как в вопросах, касающихся вооружения и организации военной службы.

Путаница в отношении снаряжения союзников и противников Севериана, по-видимому, является следствием двух причин, первая из каковых — его очевидная склонность отмечать любое отличие в устройстве и назначении особым названием. Переводя оные, я неизменно старался учесть не только предназначение и внешний вид, но и буквальное значение корней слов; отсюда — *фальшион, демилюн* и мн. др. В одном эпизоде мне пришлось вложить в руки Агии так называемый *атам*, ритуальный нож колдунов и ведьм.

Второй причиной путаницы следует счесть существование трех совершенно различных уровней технологии оружейного производства. Низший, самый простой, можно назвать уровнем кузницы. Сюда относятся всевозможные мечи, сабли, кинжалы, топоры и пики, каковые по си-

лам выковать любому умелому кузнецу века этак, скажем, пятнадцатого. Очевидно, все это вполне доступно среднему горожанину и дает неплохое представление о технологических возможностях общества в целом.

Второй уровень может быть назван уровнем Урд. Сюда, вне всяких сомнений, следует отнести длинномерное оружие кавалеристов, названное мною *пиками, контосами* и т. д., а также «копья», которыми угрожали Севериану гастаты за дверьми аванзалы, и прочее вооружение пехотинцев. Насколько широко распространено подобное оружие, из текста неясно. В одном эпизоде упоминаются «стрелы» и «хетены на длинных древках», предлагаемые на продажу несскими лавочниками. С другой стороны, представляется очевидным, что контосы иррегулярам Гуасахта выдавались перед началом боя, а после изымались и хранились в специально для этого отведенном месте (к примеру, в командирском шатре). Возможно, здесь следует отметить, что таким же порядком раздавали и изымали личное оружие на флоте в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, притом что и абордажные сабли, и огнестрельное оружие могли быть невозбранно приобретены на берегу. К, так сказать, «оружию Урд», несомненно,

относятся и арбалеты наемных убийц, приведенных Агией к выходу из рудника близ Сальтуса, но эти люди с немалой долей вероятности могли быть дезертирами.

Таким образом, оружие Урд представляет собой венец технологий, каковыми располагает население данной планеты, а возможно, и всей Солнечной системы. Насколько эффективно оно в сравнении с оружием наших дней, точно сказать затруднительно. Как следует из текста, в какой-то мере от него защищает латный доспех, однако то же самое вполне справедливо в отношении привычных для нас винтовок, карабинов и пистолетов-пулеметов.

Третий уровень я назову межзвездным. К межзвездному оружию, безусловно, относится как пистолет, отданный Водалом Тее, так и пистолет, врученный Северианом Оуэну, однако судить с той же уверенностью о многих других видах оружия, упомянутых в рукописях, у нас оснований нет. Межзвездным оружием вполне может оказаться часть артиллерии, а то и вся артиллерия, применяемая в горной войне. *Фузеи* и *джезайли*, состоящие на вооружении в частях специального назначения обеих сторон, с равным успехом могут и принадлежать, и не принадлежать к

таковому, хотя мне более вероятным кажется первое.

Представляется вполне очевидным, что межзвездное оружие невозможно производить на Урд, а приходится, причем по весьма высоким ценам, закупать у иеродул. Тут возникает весьма интересный вопрос — и достоверного ответа я на него подыскать не могу — касательно товаров, которыми оплачиваются поставки оружия. По нашим меркам, полезными ископаемыми Урд старого солнца очень и очень бедна: говоря о труде горняков, Севериан, очевидно, всякий раз имеет в виду то, что мы назвали бы археологическим мародерством, а среди богатств новых континентов, согласно пьесе доктора Талоса, готовых подняться из глубин моря с явлением Нового Солнца, в одном ряду со «златом и серебром» упоминаются «*железо* и *медь*» (курсив мой. — *Дж. В.*). Таким образом, за межзвездное оружие властители Урд, вероятнее всего, расплачиваются рабами (рабство в обществе Севериана существует вне всяких сомнений), мехами, мясом и прочими съестными продуктами, а также вещами трудоемкими в изготовлении, наподобие ювелирных украшений ручной работы.

Разумеется, нам хотелось бы знать много

больше практически обо всем, упомянутом в данных рукописях, однако наибольший интерес вызывают корабли, бороздящие межзвездные пространства под командованием иеродул, порой укомплектованные человеческими существами. (Вполне возможно, именно на таких кораблях некогда несли службу два самых загадочных персонажа повествования, Иона и Гефор.) Однако здесь переводчику довелось столкнуться с одним из самых головоломных препятствий — с неспособностью Севериана отчетливо отличать суда космические от морских.

Сие, конечно, весьма и весьма досадно, однако в его положении вполне естественно. Если иной континент кажется столь же далеким, как и луна, то и до луны, в свою очередь, нисколько не дальше, чем до иного континента! Вдобавок межзвездные корабли, очевидно, приводит в движение давление световых волн на исполинские паруса из металлической фольги, и посему прикладная наука о мачтах, канатах и реях применима к космическим кораблям в той же мере, что и к судам морским. Поскольку многие навыки (и, вероятно, прежде всего привычка к долговременной изоляции) равно востребованы и на море, и в межзвездном пространстве, следует

полагать, матросы с судов, к которым мы отнесемся с одним лишь пренебрежением, вполне способны завербоваться и на те, возможности коих поразят нас до глубины души. Тут также вполне уместно вспомнить о капитане люггера, нанятого Северианом, обладающем теми же речевыми особенностями, что и Иона.

И, наконец, замечание последнее. В представленных вашему вниманию переводах и сопутствующих им приложениях я старательно избегал каких-либо собственных домыслов, и, полагаю, теперь, вплотную приблизившись к завершению семилетних трудов, вправе позволить себе таковой. Состоит он вот в чем: что, если способность сих кораблей к преодолению часов и эпох — не более чем естественное следствие способности оных насквозь пронзать межзвездное и даже межгалактическое пространство, уходя от предсмертных конвульсий вселенной, и, таким образом, путешествия во времени — дело далеко не столь трудное, каким мы склонны его полагать? Что, если Североан с самого начала обладал неким предощущением своего будущего?

Дж. В.

Михаил Назаренко. Как читать «Книгу нового солнца»

Хорошая история – та, в которой симпатичные трехмерные герои переживают захватывающие и необычные приключения на разнообразном и интересном фоне. Великая история – та, которую утонченный читатель может прочитать с удовольствием, а перечитать – с еще большим удовольствием.

Джин Вулф. «Солнце гелиоскопа»

1

«Книга Нового Солнца» — произведение прославленное и прославленно-сложное. Подобно тому, как Северианин, главный герой «Книги...», ищет (и находит) «ключ к Мирозданию», многие читатели пытаются отыскать ключ к роману Вулфа, но в руках у них слишком часто оказываются отмычки, а то и ломики, которые вовсе не помогут разобраться в устройстве конструкции — разве что позволят разбить ее вдребезги. Более

того, Вулф принадлежит к тому направлению американского постмодернизма, от Набокова до Пинчона, которое, по словам одного критика, создает «детективы типа «сделай сам»: читатель вынужден собирать факты и выстраивать одну из возможных фабул, без всякой уверенности в том, что истинная версия событий вообще существует.

Тем не менее некоторые общие принципы найти вполне возможно.

2

1) Слепо доверьтесь тексту. Все ответы — там.

2) Не доверяйте тексту ни на грош, нет — ни на полгроша. Это штука ненадежная, коварная, того и гляди, взорвется прямо в руках.

3) Перечитывайте. Со второго раза вам понравится больше. С третьего — еще больше. Да и в любом случае книжки незаметно меняются, пока вы не смотрите. При первом чтении «Покой» показался мне элегичным мемуаром о Среднем Западе. В роман ужасов он превратился только со второго или третьего раза.

4) Там водятся волки, рыщут у слов за спиной. Иногда они проглядывают на странице, иногда

ждут, пока вы закроете книгу. Мускусный волчий запах порой заглушен ароматом розмарина[1]. Только имейте в виду, что это не нынешние волки, серой тенью крадущиеся по глухомани. Это огромные древние лютоволки-одиночки, которые могут выстоять против медведя гризли.

5) Читать Джина Вулфа — опасное занятие. Сродни метанию ножей. Можно остаться без пальцев, ушей или глаз. Джина это устраивает. Джин-то и метает ножи.

6) Расположитесь поудобнее. Заварите побольше чаю. Повесьте на дверь табличку «НЕ БЕСПОКОИТЬ». Начинайте с первой страницы.

7) Умные писатели бывают двух типов. Одни выпячивают свой ум, а другим совершенно незачем его выпячивать. Джин Вулф — из вторых, причем интеллект для него не главное, главное — рассказать историю. Он умен не для того, чтобы выставить вас дураками, а для того, чтобы вы тоже поумнели.

8) Он там был. Он все видел. Он знает, чье отражение видели в зеркале той ночью.

---

[1] Примечания: 1

Розмари Вулф (1931–2013) — жена писателя, с которой он познакомился еще в детстве. Джин и Розмари прожили вместе пятьдесят семь лет, до самой ее смерти.

9) Будьте готовы учиться.

Нил Гейман. Из эссе «Как читать Джина Вулфа»

3

Прежде всего, мне хотелось сотворить что-то крупное. За многие годы до того, как я начал читать НФ в вашем и моем понимании термина (см. «Карманную книгу научной фантастики»[2]), я вместе с Флэшем Гордоном странствовал по огромной планете Монго; после этого меня нередко раздражало (и раздражает до сих пор), когда какой-нибудь автор предполагает, что одна простая и единообразная культура может охватывать целый мир. За исключением тех случаев, когда пространство, годное для жизни, чрезвычайно мало (по сути, один остров), а обитает там небольшая популяция, владеющая высокими технологиями, — такая картина представляется мне и невероятной, и скучной: комбинация

---

[2] Примечания: 2

Антология, составленная Дональдом А. Уоллхеймом (издательство Pocket Books, 1943). Состав был звездный: в книгу входили рассказы Герберта Уэллса, Амброза Бирса, Джона Кольера, Стенли Вейнбаума, Джона В. Кэмпбелла, Теодора Старджона, Роберта Э. Хайнлайна и других авторов.

прискорбная, но нередкая. Я же хотел изобразить целое общество и сделать его правдоподобно сложным.

Во-вторых, я хотел показать молодого человека, идущего на войну. Я бросил учебу в колледже, попал под призыв и оказался на Корейской войне. Живо припоминаю медленное движение от гражданской жизни, когда и мои родители, и я сам были уверены, что меня вообще не призовут, до мгновения, когда я услышал вдали пальбу орудий крупного калибра. В «Алом знаке доблести»[3] я нашел похожую историю (подготовка молодого бойца) и хотел написать свою в НФ-антураже. Два эти импульса вовсе не были в противоречии — они даже подкрепляли друг друга: моего героя втягивает в битву, словно в водоворот, а тем временем он проходит сквозь общество, которое я хочу описать.

Примерно в это время я посетил круглый стол, посвященный маскарадным костюмам. (Как помнится, попал я туда только потому, что беседовал с Бобом Такером — почетным гостем этого конвента, забыл какого. Отчего-то он должен был присутствовать на круглом столе и попросил

[3] Примечания: 3

Роман (1895) американского писателя Стивена Крейна о Гражданской войне.

меня пойти с ним.) В числе участников были Кэрол Резник и Сандра Мизел. Я сидел, слушал инструкции, как получить первый приз на маскараде — чего я вовсе не собирался делать, — и хандрил из-за того, что в моих героев, кажется, никто и никогда не переодевался. И, разумеется, я стал придумывать персонажей, которые хорошо сгодятся для такой игры, — героев в простых и выразительных костюмах. Одним из них оказался палач: черные брюки, черные сапоги, голая грудь, черная маска.

Мрачная фигура, олицетворение боли и смерти, несомненно, оказывает сильное эмоциональное действие, но не всегда легко сказать, какое именно. Тогда я еще не читал «Волхва»[4], так что идея пришла не оттуда; впрочем, откуда бы она ни явилась, я вполне сознавал не только ужас пытки и казни, но и то, как ужасно, когда тебя заставляют *быть* палачом и казнедеем. Агностики «от сохи» любят говорить, что существование боли «опровергает» или по крайней мере служит опровержению бытия Божия. Мне же казалось, что легче обосновать точку зрения, согласно которой боль доказывает или служит доказательству

[4] Примечания: 4
Роман (1965) английского писателя Джона Фаулза.

реальности Бога.

Агностики заявляют, что боль возникла в результате слепой эволюции, дабы мы избегали телесных повреждений. Против этой теории можно выдвинуть два довода. Первый: сто́ит поразмышлять несколько минут, и вы придумаете с полдюжины лучших способов добиться того же результата (один из них — разум, который также эволюционировал; но чем более разумно существо, тем сильнее оно может ощутить боль). Довод второй: этот механизм, как правило, не работает. Люди прыгают на мотоциклах через фонтан во «Дворце Цезаря»[5], собаки бегают за машинами.

Боль и вправду действует как мотиватор, но совсем не очевидными путями. Она ответственна за сочувствие и жестокие розыгрыши; людей, которые не верят, что Бог допустил бы существовать боли, она заставляет думать о Боге. Тысячу раз было сказано, что Христос умер под пыткой. Многие из нас так часто читали, что он был «скромным плотником», что при этих словах начинает подташнивать. Но, кажется, никто не заметил, что орудиями пытки были дерево,

---

[5] Примечания: 5
Отель в Лас-Вегасе.

грозди и молоток; что человек, сколотивший крест, несомненно, тоже был плотником; что человек, вбивавший гвозди, был в той же мере плотником, что и солдатом, — что и палачом. Очень немногие замечали, что, хотя Иисус был «скромным плотником», только об одной вещи сказано, что он сделал ее своими руками. Это не стол и не стул, а бич[6].

А если Христос знал не только боль пытки, но и боль палача (мне кажется, так оно и есть), тогда мрачная фигура казнедея может стать героической и даже святой, подобно Христам, которых вырезают в Африке из черного дерева.

И, наконец, я хотел рассказать историю о новом варварстве. Одна из самых мудрых фраз, которые мне доводилось слышать, принадлежит Деймону Найту, и сказана она была о научной фантастике тридцатых годов: «Мы прожили их будущее».

---

[6] Примечания: 6
Ин. 2:15.

Именно так. У нас были телевизоры, и космические полеты, и роботы, и «механические мозги». Идет бешеная разработка лучевого оружия, которое так любил Флэш (когда не размахивал мечом), и, возможно, лет через десять оно заработает. Задача современной НФ — описывать не слегка продвинутый сегодняшний день, а подлинное будущее: время, которое радикально не похоже на современность, но из нее произрастает. Очевидно, таких будущих несколько. Есть то, в котором человечество возвращается в море за новыми источниками пищи и сырья. Есть то, в котором все мы гибнем. Я решил, что мрачной фигуре, которую я вообразил, и ее странствию навстречу войне наиболее соответствует «будущее ничегонеделанья»: человечество прильнуло к своей древней родине, континентам Земли, и ждет, когда деньги наконец закончатся.

Джин Вулф. Из эссе «Гелиоскоп»

4

Джин Вулф начал работу над «Книгой Нового Солнца» в 1975 году, будучи автором четырех романов, два из которых еще не были опубликованы, и закончил почти через семь лет, осенью

1981-го. Как нередко случается, зерно замысла было сравнительно скромным: Вулф хотел написать повесть для серии антологий Деймона Найта *Orbit* (большую, но повесть — в сорок тысяч слов, то есть в десять раз короче окончательного текста). История эта называлась «День святой Катерины» и по содержанию примерно соответствовала главам VII–XII «Тени палача» — первого тома «Книги…». Главным героем был ученик гильдии палачей, нарушивший ее писаные и неписаные правила, а действие происходило в сверхдалеком будущем — примерно через миллион лет после нашего времени[7].

«Было время, — вспоминал Вулф, — когда я мог положить руку на обложку истрепанного пейпербэка «Умирающей Земли» [Джека Вэнса] и ощутить, как магия просачивается сквозь картон: Туржан Миирский, Лайан-Странник, Т'Саис, Чан Неминуемый. Никто из моих знакомых даже не слышал об этой книге, но я знал, что она — лучшая в мире».

Как и у Вэнса, в мире Вулфа достаточно развитая наука неотличима от магии, с одной важной оговоркой: магии как таковой в «Книге…» нет

---

[7] Примечания: 7
См. Примечание 1 в конце этой статьи.

вообще (максимум — «экстрасенсорные способности»), и подлинные чудеса имеют прямое отношение к метафизике, а не волшебству, что бы ни понимали под этим словом[8].

Тут и начинаются проблемы перевода: мир, где происходит действие «Книги…» (его обитатели, как правило, не используют слово «планета»), называется *Urth*, что по произношению совпадает с *Earth* — «Земля». Стало быть, «Зимля» или что-то в этом роде. Но две другие планеты той же системы именуются Верданди и Скульд, а значит, *Urth* — это Урд, третья норна, богиня судьбы в германо-скандинавской мифологии. Оба значения, увы, никак не передать, и в этом издании мы выбрали второе, поскольку любой читатель довольно скоро понимает, о какой именно планете идет речь. Призовые очки тому, кто раньше всех догадается, на каком континенте живет Севериан.

Но вернемся к повести. Финал ее должен был стать совсем иным, нежели в «Книге…», но Вулф до него так и не добрался: ему казалось, что придуманный им мир заслуживает большего внимания, а значит, Севериана сто́ит отправить

[8] Примечания: 8

В одном интервью Вулф заметил, что и Вэнс, и он сам многим обязаны рассказам Кларка Эштона Смита. Вероятно, именно к Смиту восходит «некромантическая» линия «Книги Нового Солнца».

в странствие.

К тому времени, когда автор вместе с героем дошел до стены города Несс, книга по объему уже равнялась среднему роману. «Вместо того чтобы закруглить сюжет, я начал с полдюжины новых — и не меньше Севериана был изумлен появлением Доркас. Розы возникают в моих историях, независимо от того, сажал я их там или нет, и уже с первых глав они росли в трещинах несских стен… Очень хорошо. Я напишу трилогию».

Через три с лишним года трилогия была вчерне закончена, но третий том оказался куда больше предыдущих. Вулф попросил своего литагента Вирджинию Кидд спросить редактора Дэвида Хартвелла из *Pocket Books*, как он отнесется к такому неравновесию. «Она смягчила его ответ, но, подозреваю, тот был непечатным». По счастью для Вулфа, он заранее продумал запасной вариант: разделить последний том на два и расширить оба. Против тетралогии Хартвелл ничего не имел, и Вулф принялся за дело. Когда все четыре тома прошли две черновые стадии, он стал доводить до ума каждый из них последовательно, и в результате «Цитадель Автарха», например, была опубликована в *пятой* редакции. Так что, если вам, читатель, что-то покажется лишним

или непонятным, будьте уверены: это замысел, а не авторский недосмотр.

Но приключения «Книги…» не окончились. Многих сбивает с толку ее финал; в недоумение пришел и Хартвелл. Он потребовал, чтобы Вулф написал еще абзац-другой и рассказал, чем же все, черт побери, кончилось. Вулф справедливо полагал, что абзаца-другого не хватит и вообще — история, которую он хотел рассказать, уже завершена. Какое-то время редактор и автор орали друг на друга (по крайней мере, если верить Вулфу), а потом решили, что первый напечатает «Книгу…» как она есть, а второй со временем напишет продолжение.

«Урд Нового Солнца» появилась лишь в 1987 году, через четыре с лишним года после публикации последнего тома «Книги…», поскольку Хартвелл ушел в издательство *Tor*, а *Pocket Books* и фантастику больше не собирались печатать, и популярного автора отпускать не хотели. Но и эту проблему удалось решить.

Так что четырехтомная «Книга Нового Солнца» — и ее продолжение, «Урд Нового Солнца», которое без первых четырех романов читать нельзя (а их без него — можно и, как многие полагают, нужно), составляют своеобразную

дилогию.

Прошло еще несколько лет, и Вулф написал вторую дилогию — четырехтомную «Книгу Долгого Солнца» и трехтомную «Книгу Короткого Солнца». Их события предшествуют «Книге Нового Солнца», но читать весь цикл лучше в порядке написания.

5

Первое, что бросается в глаза читателю «Книги...», — это огромное количество необычных, экзотических или архаических слов. Вулф гордится тем, что ни одно он не выдумал, хотя многие вводил не в основном значении, а иногда и допускал ошибки.

«Я использовал странные слова, чтобы передать ощущение странного места в странное время. Некоторые фэны готовы стерпеть любую галиматью, лишь бы это была галиматья, но пусть только трудяга-автор отважится ввернуть вполне уместное слово «эпопт», и... но лучше мне остановиться, пока пишущая машинка не заржавела от слез».

Смысл этих слов можно найти в хорошем словаре (Википедии, Гугле, а лучше всего — в

справочнике *Lexicon Urthus*), но, как правило, их значение примерно ясно из контекста: «такое оружие», «такая одежда»; а если неясно вовсе, значит, так и задумано. (Читающим книгу в переводе несколько сложнее: Вулф учитывает, что многие латинские и греческие корни вошли в английский язык.)

Примерно так же дело обстоит и с именами. Основной принцип ономастики «Книги…», по словам Вулфа, — «как названо, то и есть» (*everything is just what it says it is). Обитатели Содружества, как правило, носят имена христианских святых. Чудовища названы в честь чудовищ. Инопланетяне — в честь малоизвестных богов и ангелов. Иногда имена служат подсказками: обращая на них внимание, читатель может куда быстрее Севериана сообразить, кто такие Доркас (букв. «Серна» — см. девятую главу «Деяний Апостолов») или доктор Талос.*

Названия глав более важны, чем обычно в романах. Северианy кажется, что на монете, данной ему Водалом, изображено лицо женщины, но стоит вернуться к началу главы…

6

«Книга Нового Солнца» — безусловно, постмодернистский роман, но даже для постмодернизма он необычен.

С одной стороны, модель текста и мироздания вполне привычна и узнаваема. Да, Урд — это «Земля» после конца истории, да, культура исчерпала себя («Многое мы испробовали, но все впустую», — говорит старый Автарх), и мир существует на ее перетасованных обломках, которые можно лишь иронически переосмыслять.

Прямых и косвенных отсылок у Вулфа действительно множество: Пруст (столь любимый Вулфом, что он начал роман «Пятая голова Цербера» прямой цитатой из «По направлению к Свану»), Кафка («В исправительной колонии»), Борхес («Вавилонская библиотека», «Книга вымышленных существ», «Фунес, чудо памяти» и др.), Мервин Пик («Горменгаст»), не говоря уж о мифах, сказках и религиозных писаниях.

«Сказание об ученом книжнике и его сыне», вставная история из второго тома, соединяет миф о Тесее (вполне очевидно), «В кругу развалин» Борхеса (менее очевидно) и подлинный

эпизод Гражданской войны в США — сражение броненосцев «Монитор» (в сказке — чудовище-«минотавр») и «Вирджиния» (в сказке — «Страна Дев»). «Сказка о мальчике по прозванию Лягушонок» из третьего тома отождествляет Моисея, Ромула и Маугли, прибавляя к мифу и сказке историю Дня благодарения (откуда в текст Вулфа пришел дикарь по имени Скванто).

Многие критики, желая доказать, что Вулф не просто какой-то там фантаст, а Настоящий Писатель, особенно упирают на то, что Северианн, как и подобает в (пост) модернистской литературе, является «ненадежным рассказчиком». Конечно, в семидесятые годы этот прием еще не был так затрепан, как сегодня, но подлинные литературные достоинства «Книги...» в ином — хотя бы потому, что Северианн как рассказчик вполне надежен, насколько вообще может быть надежен любой рассказчик (а Вулф явно полагает, что не очень-то). Северианн несколько раз повинен в умолчании, он время от времени старается интерпретировать события в свою пользу, но, за единственным (и важным!) исключением, не лжет и не пытается лгать. Как правило, он честно излагает свою историю, как она ему виделась, — другое дело, что обычные для него

вещи (зеленая луна, звезды, видимые днем, или горы, все до единой превращенные в гигантские статуи) он упоминает мимоходом, полагая их вполне банальными. Здесь читателю стоит быть повнимательнее.

То же касается и пресловутых «загадок текста». Раскапывать их не надо. Все, что по-настоящему важно, рано или поздно будет объяснено, причем прямым текстом, нужно это лишь заметить. Так, например, тайну гильдии палачей, в которую Севериана посвящают в начале первого тома, он раскрывает нам в начале третьего. Порой читатель должен соотнести сведения, данные в разных местах книги (Атриум Времени и Последняя Обитель имеют одинаковую природу, почему и попасть в них можно лишь одним путем, вне которого они просто не видны). Что не сказано прямо — не принципиально важно. По сути, из ключевых моментов «Книги...» только два не разъясняются в ней самой: что за крылатое существо Севериан увидел в книге Автарха и что произошло с Хильдегрином в каменном городе. Потому-то Вулф именно эти эпизоды и рассматривает так подробно в «Урд Нового Солнца». Мир — не только Урд, но и наша Земля — странное место в странное время, и читатели должны быть

начеку.

7

Но, повторяю, все это — типичные черты постмодернизма, и Вулф тут следует путем Набокова.

Необычность «Книги...» связана с тем, что Вулф — католик, причем практикующий: он ходит в церковь, исповедуется и подходит к причастию. «Книга Нового Солнца», как писатель не раз подчеркивал, содержит «импликации его веры».

Джин Вулф написал сочинение в жанре, который настолько вышел из моды, что я опасаюсь, не отпугнет ли читателя его название: *аллегорический христианский роман*[9]. На случай, если я прав в своих опасениях (меня бы отпугнуло!), сразу уточню: речь идет не о той аллегории, которую отвергал Толкин и практиковал К. С. Льюис. Во всей «Книге...» есть лишь два эпизода, которые имеют смысл только в прямом соотнесении с Библией (превращение воды в вино и встреча Севериана с Тифоном). На остальных сотнях страниц Вулф делает примерно то же,

[9] Примечания: 9

А позднейшая «Книга Долгого Солнца» — столь же отчетливое житие святого.

что, ровно тремя веками раньше, Джон Баньян в «Пути Паломника»: рассказывает историю о странствии души.

Когда Вулфа спрашивали: «А Северианин — это Христос?», он терпеливо отвечал: «Не Христос, а христианин», то есть тот, кто пытается уподобиться Христу. На уровне фабулы «Книга Нового Солнца» предстает набором разрозненных сцен, многие из которых никуда не ведут. Одни существа, встреченные Северианом, не только не появятся больше, но даже и не будут упомянуты; другие же неожиданно возникнут через том-другой. Причина проста: не столь важно, как тот или иной эпизод продвигает сюжет; важно, что происходит с Северианом, что готовит его к той роли, которую он принимает в финале.

Поэтому главный вопрос «Книги Нового Солнца» — вовсе не «Кто сестра Севериана?»[10] и т. п., а «Действительно ли за всеми событиями стоит воля Предвечного?» Для Вулфа ответ, несомненно, «да». А для читателя?

В том и заключается своеобразие романа: это постмодернистский христианский текст, где и герой, и читатель должны совершить «прыжок

[10] Примечания: 10

Ведьма Меррин. Фэны догадались, Вулф сказал: «Скорее всего, да». И это совершенно не важно для романа.

веры», потому что любое утверждение, любой вывод могут быть поставлены под сомнение.

«Вседержитель от нас бесконечно далек, — сказал ангел, — и, таким образом, бесконечно далек от меня, пусть даже я парю куда выше, чем ты. О его воле мне, как и всем остальным, остается только догадываться».

Поэтому вполне возможно, так сказать, атеистическое прочтение дилогии, представленное в книге Питера Райта «Наблюдая за Дедалом»: все, что происходит с Северианом, — лишь манипуляции нескольких групп инопланетян, которые действуют в своих интересах и о воле Вседержителя (если Он существует) не имеют представления. Вулф — католик и именно поэтому изобразил не мессию, а одураченного псевдомессию, то есть, собственно говоря, антихриста.

Логично? Да. Обессмысливает книгу? Как мне кажется — полностью.

В романах не раз возникает образ Севериана и других героев как актеров чужой пьесы, марионеток, которыми управляет незримая длань. На фабульном уровне — длань инопланетная, безусловно. Но, как сказано у Пелевина, «вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха», или, применительно к

данному случаю, фишка в том, что путь Севериана — палача, прелюбодея, убийцы — есть путь христианина, в любом случае направляемый Предвечным. Кто приходил к блудницам и мытарям? Вот именно[11].

В эссе «Гелиоскоп» Вулф напоминает: единственный предмет, о котором мы точно знаем, что его сделал Христос, — это бич. Так как же тогда, спросили писателя однажды, как же понимать название первого тома? «Тень палача»: Севериан, подмастерье гильдии палачей, — лишь тень Вышнего Пыточника? Нет, ответил Вулф, палач стоит перед осужденным, закрывая от него солнце — то есть Бога, — и превращается в сатанинскую фигуру.

Между тем одни критики (Дэвид Уингроув) восприняли «Тень палача» как типично фэнтезийное название, остались довольны и прочитали роман соответственно, другие (Джон Клют) восприняли название так же и остались недовольны, потому что прочитали роман *не* как героическое фэнтези — и справедливо. Сам Вулф, к слову, определяет

---

[11] Примечания: 11

Для контраста: милый старик, повествователь «Покоя» (1975), оказывается убийцей и вором, да еще и призраком, который не осознает, что умер, не может даже себе признаться в преступлениях, не может принять Христа — и поэтому обречен переживать свою жизнь-в-воспоминаниях снова и снова.

жанр «Книги…» как «научное фэнтези» — «научно-фантастическую историю, рассказанную с точки зрения фэнтези, с его привкусом».

Итак, палач — «сатанинская фигура». Но в финале «Цитадели Автарха» взгляды Севериана чрезвычайно близки к мировоззрению Вулфа, как утверждал сам писатель. (Впрочем, он и о герое «Покоя» говорил: «У нас похожие души». Значит, и эту тьму он в себе нашел.)

Смысл романа (один из его смыслов) — в движении между двумя точками: от палача, затеняющего солнце, к палачу, его приносящему. Потому-то и финал, возмутивший Дэвида Хартвелла, именно таков.

Повторю то, что говорил в самом начале: перед вами книга типа «сделай сам». Постмодернистский метанарратив о сомнительности любого нарратива, христианская притча, история лжемессии, нестандартное героическое фэнтези об умирающей Зимле… Всё вместе?

«Дорога сия — нелегка», — предупреждает Севериан.

Примечание 1. Сюжет ненаписанной повести, из которой выросла «Книга Нового Солнца»

Севериан, ученик палачей, встречается с прекрасной узницей Теклой[12] и влюбляется в нее. Он становится подмастерьем (на День святой Катерины, разумеется), но продолжает связь с Теклой. В конце концов она умоляет его помочь ей покончить с собой, и Севериан оставляет в ее камере нож. Увидев, как кровь течет из-под ее двери, он сознается в том, что совершил.

В конце концов (обратите внимание на лакуну) Севериан становится мастером гильдии. Все в безопасности. Гильдия была вынуждена простить его, и он сам почти простил себя. И тут он получает письмо от Теклы. Самоубийство было лишь трюком, позволившим освободить ее без лишнего шума. Вскоре Теклу реабилитиру-

---

[12] Примечания: 12

Имя Thecla, конечно, надо транскрибировать как «Фёкла», но аристократку Фёклу нашему читателю представить трудно. «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фёкла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами», — заметил Пушкин в примечании к «Онегину», извиняясь за то, что дал героине типично крестьянское имя Татьяна.

ют и вернут на прежнее место в обществе. Она утверждает, что все еще любит Севериана, хотя, возможно, на самом деле лишь чувствует вину за то, что так его использовала. Она приглашает Севериана присоединиться к ней.

Что ему делать?

Как честный человек и патриот — а он и то и другое — Севериан обязан донести обо всем. Но тогда позор падет и на него, и на гильдию, а Текла почти наверняка умрет. Если Севериан выполнит ее просьбу, то воссоединится с ней; но он станет парией (а сейчас он обладает властью и уважением в своем узком кругу), возможно, станет парией и она, а значит, вероятно, рано или поздно возненавидит его. Если Севериан просто сожжет письмо и оставит его без внимания, Текла возненавидит его куда раньше, а к тому времени она будет обладать большим политическим влиянием и сможет шантажировать других мастеров гильдии. (Незачем говорить, что я знаю решение этой проблемы — но оставлю его в качестве упражнения для читателей.)

Джин Вулф. Из эссе «День святой Катерины»

Примечание 2. Манвантары

Спойлеры ключевых сцен «Книги…» и «Урд Нового Солнца».

На протяжении всей «Книги Нового Солнца» читатель полагает, что Урд — это сверхдалекое будущее Земли. Собственно, в «Заметке о переводе», завершающей первый том «Книги…», это сказано прямо.

Тем не менее в интервью после выхода романа Вулф не раз повторял, что Севериан жил в предыдущей версии («манвантаре») нашей Вселенной. Почему он передумал?

Остается лишь гадать, но самая вероятная версия такова: Вулф вспомнил, что Господь дал клятву больше не насылать потоп на все сущее (Быт. 8:21–22); между тем превращение Урд в Ушас именно потопом и сопровождается.

Мы знаем, что в космологии Вулфа в каждой новой итерации мироздания «все сущее продвигается вперед на едва заметный шаг». Христос родился единожды — это важнейший богословский постулат; значит, во Вселенной Севериана Его не было, а вскользь помянутый термин

«Теоантропос» относится не к Богочеловеку, но, скажем, к героям как потомкам богов и людей. Севериан — предуготовление Христа (как Ветхий Завет предуготовлял Новый), и, возможно, именно принесенное палачом спасение мира создало ту «полноту времен», благодаря которой в новую Вселенную и пришел Сын Божий.

Модель стройная, но текст «Книги…» ей сплошь и рядом противоречит. Всего один пример: Иона цитирует «Алису в Зазеркалье». В нашем мире ее написал преподаватель Колледжа Христа (Крайст-Черч), а в мире Севериана — кто?

Оставляю и этот (важнейший!) аспект текста на усмотрение читателя.

Литература

Рекомендованное чтение

Gene Wolfe. The Castle of the Otter: A Book About The Book of the New Sun (1983). Сборник перепечатан в более доступном издании: *Gene Wolfe.* Castle of Days (1992).

Michael Andre-Driussi. Lexicon Urthus: A Dictionary for the Urth Cycle (1994, 2-е изд. — 2008).

Michael Andre-Driussi. Gene Wolfe's The Book of the New Sun: A Chapter Guide (2019).

Shadows of the New Sun: Wolfe on Writing / Writers on Wolfe. Edited and introduced by *Peter Wright* (2007).

Нерекомендованное чтение

(книги, которые скорее искажают восприятие «Книги Нового Солнца»)

Peter Wright. Attending Daedalus: Gene Wolfe, Artifice and the Reader (2003).

Robert Borski. Solar Labyrinth: Exploring Gene Wolfe's Book of the New Sun (2004).

Об авторе

Джин Вулф родился в 1931 году в Нью-Йорке (Бруклин), а рос в Хьюстоне, штат Техас. Два с половиной года отучившись в Техасском университете A&M, он бросил учебу, был призван на военную службу, во время Корейской войны награжден почетным знаком «За участие в боевых действиях», а после, воспользовавшись законом о льготах для уволенных в запас, поступил в Хьюстонский университет, где получил специальность инженера-машиностроителя. Вершиной его инженерной карьеры стал пост редактора отраслевого журнала *Plant Engineering*, каковым Джин Вулф оставался до 1984 года В 1956 году женился и принял католицизм, который сильно повлиял на его дальнейшее творчество.

Дебютировал с НФ-рассказом в 1965 году. Потом рассказы стали регулярно появляться в культовой антологии *Orbit*, составителем которой был известный критик и редактор Деймон Найт. Он же и рекомендовал Вулфу перейти на крупную литературную форму. Первый роман *Operation Ares* вышел в 1970 году.

Джин Вулф был признан выдающимся писателем-фантастом с выходом в свет «Пятой головы Цербера» (1972), а в 1973 году удостоился «Небьюлы» как автор повести «Смерть доктора Острова», признанную лучшей повестью года. В 1977 году его роман *Peace* завоевал Премию Чикагского Литературного Фонда, а небольшая научно-фантастическая поэма *The Computer Iterates the Greater Trumps* была награждена премией Рислинга.

Четырехтомная «Книга Нового Солнца» быстро сделалась классикой жанра. Первый том, «Тень палача» (1980), был удостоен Всемирной Премии Фэнтези и Премии Британской Ассоциации Научной Фантастики; второй том, «Коготь Миротворца» (1981), выиграл «Небьюлу» и «Локус»; третий, «Меч ликтора» (1982), удостоился премии «Локус»; четвертый, «Цитадель Автарха» (1983), — Мемориальной премии Джона Кэмпбелла и премии «Аполло». В 1987 году было выпущен пятый, условно завершающий серию том, «Урд Нового Солнца». К циклу о мире Урд также относится тетралогия «Книги Длинного Солнца» (1993–1996) и трилогия «Книги Короткого Солнца» (1999–2001).

Среди прочих его романов можно отметить *Operation Ares* (1970), *The Devil in a Forest* (1976),

Free Live Free (1984), «Воин тумана» (1986) и «Воин арете» (1989), *There Are Doors* (1988), *Pandora by Holly Hollander* (1990), *Castleview* (1990), дилогию «Рыцарь-чародей» (2003–2004) и «Пират» (2007). Сборник его рассказов *Storeys from the Old Hotel* (1988) завоевал Всемирную Премию Фэнтези. Среди прочих авторских сборников Джина Вулфа можно отметить *The Island of Doctor Death and Other Stories* (1980), *Endangered Species* (1989) и *Castle of Days*, под обложкой которого собраны рассказы и эссе разных лет.

Вулф вел ряд творческих мастерских на семинарах и читал курсы писательского мастерства в нескольких колледжах.

Джин Вулф скончался в 2019 году.